

Пьер-Луи Рёдерер

Философские сочинения

Том I

Автобиография и «Курс социальной организации»

Перевод с французского

Echafaud - 2026

В этом издании мы попытались собрать все самые интересные, на наш взгляд, философские, экономические и политические статьи **Пьера-Луи Рёдерера** (1754-1835), взятые из полного собрания сочинений в 8-ми томах, подготовленного его сыном, А.-М. Рёдерером в 1850-е годы. Как говорится на титульной странице каждого из этих томов, материалы собраны «*как на основе неопубликованных рукописей автора, так и по фрагментарным изданиям тех его произведений, которые уже выходили в свет, с исправлениями и изменениями, внесенными им впоследствии*». Проще говоря, некоторые из ранних статей Рёдерер мог изменять и дополнять, и здесь публикуются не всегда первоначальные версии.

Восемь томов сочинений с самого начала собрания несколько проблематично. Они не соблюдают ни строго хронологического, ни строго тематического принципа. Сын Рёдерера пытался двигаться по тематикам (например, первые два тома выделены под исторические сочинения, и т.д.), но часто что-то пропускал, и потом повторял уже затронутые тематики в последних томах, где объединял материалы по роду написанного материала (письма отдельно от статей, статьи отдельно от книг и т.д.). Поэтому каждый отдельный раздел внутри любого из томов может содержать статьи как 1790-х годов, так и 1830-х вперемешку.

Теперь несколько слов об авторе. Как уже было отмечено выше, Пьер-Луи Рёдерер - французский философ, экономист и политический деятель, принадлежавший к тому кругу позднего Просвещения, из которого после революции выросла школа «идеологов». Рёдерер родился в Меце, изучал право в Страсбурге, и в 1780 году стал советником местного парламента. Но гораздо больше юриспруденции его интересовали политическая экономия и общественные реформы. Ещё до революции он выступал за уничтожение внутренних таможенных барьеров, интересовался Адамом Смитом, и в работе «*В чём состоит процветание страны?*» (1787) рассматривал богатство как результат производства, труда, обмена и правильно устроенных общественных институтов. В Меце Рёдерер участвовал и в одном из характерных эпизодов французского Просвещения. По его инициативе местная Академия объявила конкурс на тему: какими средствами можно сделать евреев Франции «более счастливыми и полезными». Среди победителей оказался аббат Грегуар со знаменитым сочинением об эмансипации евреев. Сам Рёдерер последовательно защищал гражданское равноправие независимо от происхождения и вероисповедания.

После начала революции он был избран депутатом от третьего сословия. В Учредительном собрании Рёдерер занимался прежде всего финансами и налогами, выступал за уничтожение корпораций и цеховых ограничений, отмену дворянских титулов, реформу судебной системы, свободу печати и равенство гражданских прав. Позднее он стал генеральным прокурором-синдиком Парижского департамента и оказался непосредственным свидетелем падения монархии 10 августа 1792 года. Именно Рёдерер убедил Людовика XVI покинуть Тюильри и искать защиты в Законодательном собрании.

Однако Рёдерер был не только политиком. В 1793 году он читал «*Курс социальной организации*», пытаясь построить общую науку об обществе, отдельные положения которого предвосхищали материалистические идеи **Кабаниса**. Именно здесь прозвучит эта цитата:

«Мы ищем принципы человеческих действий. Что мы прежде всего понимаем здесь под принципами? Человеческие действия определяются волей, а воля - привязанностями или страстями. Таким образом, привязанности или страсти являются мотивами, принципами человеческих действий. Но являются ли эти привязанности или страсти первопричинами сами по себе? Нет, они представляют собой изменения чувствительности. Чувствительность же может быть приведена в движение только ощущениями. Следовательно, ощущения являются первопричиной человеческих страстей, заложенной в самом человеке. Но эти ощущения сами зависят от воздействия внешних тел на органы чувств, и это воздействие в свою очередь зависит от большей или меньшей степени совершенства самих чувств. С другой стороны, чувствительность - в том, что касается продолжительности, интенсивности и регулярности её воздействия на волю и на органы, исполняющие эту волю, - зависит от физической силы своих

проводников в физиологии организма. Таким образом, устройство человеческого тела и его конституция являются не только источником страстей и их инструментом, но также одним из их регуляторов и движущих сил. Следовательно, общая система принципов человеческих действий была бы, по существу, результатом анатомических и физиологических знаний. Я без колебаний утверждаю, что под скальпелем анатома обнаруживаются большие политических и моральных элементов, чем во всех исторических повествованиях и во всех размышлениях простых созерцателей человеческих поступков, называемых моралистами и политиками. До настоящего времени моральным наукам не хватало людей, которые умели бы объединить их с физическими науками, чтобы укрепить и обогатить первые за счет вторых. Естествоиспытатель, который видит в материи только материю, и моралист, который видит в страстях только духовность, одинаково далеки от истинных и полезных результатов.

Локк, Кондильяк и Бонне провели каждый свой анализ способностей души. Этот анализ представляет собой хорошую психологию; но перед этой наукой идет **физиология**, или анализ чувств; а перед физиологией должна идти **анатомия**, которую называют трансцендентной, поскольку она во многих отношениях носит предположительный характер, так как оптических приборов недостаточно, чтобы различить форму элементов, наличие которых предполагают наблюдаемые явления. **Химия**, которая является наукой о самих элементах по преимуществу, также должна была бы играть первостепенную роль в создании полного труда о человеке и его способностях. Подобное сочинение стало бы прекраснейшим даром человечеству. Оно стало бы вечным источником верных принципов для законов и правительств. Оно позволило бы свести политику и мораль к правилам столь же достоверным и очевидным, как правила геометрии».

Поведение людей Рёдерер связывал с потребностями, интересами, страстями и ощущениями, а задачу законодательства видел в таком устройстве институтов, при котором частные стремления работали бы на общественное благополучие. Поэтому мораль для него была не набором религиозных предписаний, а вопросом о реальных мотивах человеческого поведения и условиях, способных их направлять. Правда, даже несмотря на такие высказывания, и явно комплиментарное отношение к Гельвецию, Дидро и т.д., Рёдерер уже тогда пытался сглаживать их радикализм при помощи идей Руссо, Вольтера и этики Адама Смита. И в религиозном отношении он считал себя скорее радикальным деистом, но не атеистом. Кроме того, он был весьма консервативен в этическом плане, а иногда его идеи граничат со стоицизмом и даже некоторыми элементами коммунизма, которые он сочетает с экономическим либерализмом на грани современного либертарианства. Рёдерер далеко не идеальный представитель французского материализма, но в целом очень даже хорош.

В 1795 году он был избран в класс нравственных и политических наук Национального института, в секцию политической экономии. Здесь он работал в одной интеллектуальной среде с **Гара, Вольнеем, Кабанисом, Дестютом де Траси, Дону** и другими будущими «идеологами». Он основал «Журнал общественной экономии, морали и политики», где пытался соединить экономическую науку, мораль и исследование общественных институтов. Особенно показательным его сочинение «О современной философии и её участии во Французской революции» (1799), написанное против Ривароля. Пока консервативные авторы обвиняли философов XVIII века в разрушении старого порядка, Рёдерер открыто защищал наследие Просвещения и право современной философии исследовать мораль, политику и общество средствами человеческого разума. В этот же период вышли его двухтомные «Мемуары по общественной экономии, морали и политике».

Поэтому в целом Рёдерера можно считать одним из представителей школы идеологов. Его интересовали не метафизические сущности, а человек со своими ощущениями, потребностями и интересами; не богословская мораль, а реальные механизмы поведения; не отвлечённое «идеальное государство», а институты, налоги, собственность, образование и условия общественного благополучия. Он оказался одним из тех, кто перенёс философию Просвещения

из трактатов Локка, Гельвеция и экономистов XVIII века непосредственно в новую науку об обществе революционной Франции.

И именно поэтому, в рамках проекта по восстановлению философской традиции эпикурейского материализма, мы обращаем внимание на этого почти забытого автора и публикуем избранные философские, экономические и политические фрагменты из его работ. Однако, из-за масштабности этой работы, в первый том вошли только автобиография Рёдерера и его «Курс социальной организации» (1793). Все остальные мелкие сочинения, фрагменты и статьи опубликованы во втором томе.

Содержание

Содержание	1
Курс социальной организации, прочитанный в Лицее в 1793 году (II год Республики)	2
Первая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее в 1793 году.....	2
Вторая речь о социальной организации. Произнесена в Лицее 3 февраля 1793 года (II год Французской республики).....	12
Третья речь о социальной организации. Произнесена в Лицее 10 февраля 1793 года (II год Французской республики).....	26
Четвертая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее 17 февраля 1793 года (II год Французской республики).	37
Пятая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее 3 марта 1793 года (II год Французской республики).	54
Шестая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее 10 марта 1793 года (II год Французской республики).....	64
Седьмая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее в марте 1793 года (II год Французской республики).....	76
Восьмая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее в апреле 1793 года (II год Французской республики).....	92
Девятая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее 21 апреля 1793 года (II год Французской республики).....	106
Десятая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее	119
Одиннадцатая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее в мае 1793 года (II год Французской республики).	132
Двенадцатая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее в 1793 году (II год Французской республики).	157
Тринадцатая речь о социальной организации. Прочитанная в Лицее в июне 1793 года (II год Французской республики).	175
Очерк моей жизни для моих детей. Часть первая.....	190
Заметка для биографии, составленная по просьбе моего сына Антуана (1824). Часть первая.....	229
Заметка издателя (сын Рёдерера) и некоторые фрагменты о Бонапарте.....	235
Очерк моей жизни для моих детей. Часть вторая.	257
Заметка для биографии, составленная по просьбе моего сына Антуана (1824). Часть вторая.....	282

Курс социальной организации, прочитанный в Лицее в 1793 году (II год Республики)

«В то же время (в 1793 году) я противостоял доктрине демагогии в курсе, который читал в лицее, где боролся со всеми писателями, нападавшими на собственность, и старался показать её основы».

(Очерк о моей жизни для моих детей, т. III собрания сочинений, с. 287.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, относящееся ко всем частям данного сочинения. Этот курс, из которого в лицее было дано всего тринадцать лекций, был составлен за три месяца, в большой спешке. Каждое выступление было плодом недельной работы, так как я неосмотрительно объявлялся начать занятия, еще не успев составить план и, следовательно, не имел ни одной написанной строки. Пока я выполнял эту работу, мне также поручили редактирование статьи «Конвент» для «Парижского журнала» (*Journal de Paris*) - труд, которому я уделял по три-четыре часа ежедневно. Наконец, мне приходилось терпеть непрерывные муки беспокойства, которое вызывали общественные дела в течение этого года у всех друзей отечества, а также тревоги из-за народных предубеждений, вызванных против меня злонамеренностью некоторых личных врагов. Поэтому не стоит удивляться, что это сочинение настолько же тяжеловесно, насколько незавершенно и бесформенно. Я рассматриваю его лишь как собрание заметок, которые необходимо привести в лучший порядок, придать им больше методичности, украсить стилем и, прежде всего, развить. Ведь в них видны зачатки, обещающие обильные плоды, из которых, однако, пока ничего не вышло. Вынужденный скрываться с 1 октября в самом мрачном убежище, чтобы спасти свою голову от топора проскрипций, я посвящаю те моменты, когда способен работать, завершению хотя бы наброска своего труда. В этом убежище, похожем на могилу, я подготовил проект пятнадцатой речи, хотя четырнадцатая еще не написана. Я также составил, но не закончил, «Беседу» между различными философами, которая должна послужить введением к моей тринадцатой речи о предпочтении, отдаваемом различным формам правления. Я дополнил и разъяснил некоторые другие части; я продолжу совершенствовать или дополнять эту работу до тех пор, пока преследования позволяют мне оставаться в моем убежище или пока общественные бедствия оставляют мне печальную возможность жить. Но, повторяю еще раз, я пишу в гробнице и, кажется, постоянно чувствую, как она омывается кровью чистых граждан, искренних друзей Республики, которых ежедневно приносят в жертву ненависть и месть...

Первая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее в 1793 году.

Граждане, цель, которая нас объединяет, состоит в том, чтобы искать принципы, согласно которым должно быть организовано общество, чтобы сделать людей счастливыми. Общественное устройство не сводится лишь к организации правительства. Социальная наука не заключается исключительно в области публичного права. Правительство - это лишь часть общественного устройства, и оно даже не является его абсолютно необходимой частью.

Подобно тому, как общественное устройство является лишь гарантией общества, так и само правительство - это лишь гарантия общественного устройства. Или же можно вполне представить себе иную гарантию общественного порядка, кроме правительства; и эта гарантия заключалась бы в полном слиянии всех интересов в один, в просвещении или знаниях, которые заставили бы повсеместно признать это единство, а также в нравах или обычаях, которые заставили бы его уважать.

Что же такое, собственно говоря, общественное устройство? Это такое распределение людей и собственности, благодаря которому человеческий род воспроизводится и сохраняется, земля производит средства к существованию для всех людей, а все виды использования накопленных фондов или капиталов - распределяются между всеми видами труда и плодами земли так, будто они являются продуктом общей собственности, эксплуатируемой сообща.

Поскольку во всем мире общества имеют одинаковую экономическую структуру, поскольку повсюду есть собственники земли и те, кто ею не владеет, поскольку есть собственники движимого капитала или капиталов, вложенных в самих себя через образование и обучение; богатые и бедные, рабочие и ремесленники, а также торговцы – то принято считать, что все это составляет саму суть любого общества. Полагают, что здесь нет, так сказать, никакого человеческого вмешательства, и что все это не должно быть предметом заботы правительства. Напротив, именно в этом и заключается, по существу, социальная система, от которой зависит само правительство, и которая зависит только от первичных понятий об обществе.

В античности мы видим народы, которые не знали собственности, и где все граждане были земледельцами и воинами. Мы видим другие народы, где только магистрат может заниматься торговлей с иностранными народами; в иных же, вопреки существованию собственности, действовали законы о разделе имущества, предотвращавшие возникновение глубокого неравенства состояний. Как мы видим, эти общества были организованы иначе, чем наши современные, и, следовательно, государственное управление в них неизбежно строилось совершенно иным образом. Если у нас забота о делах, возникших с установлением собственности, ложится на самих владельцев, то там это были общественные работы. Они находились под надзором магистратуры, отвечавшей за строительство, сельское хозяйство или торговлю, и выполнялись гражданами в качестве трудовой повинности или рабами - то есть классом людей, чуждым как правительству, так и гражданскому союзу.

Незнание физических элементов общества и их спонтанного сочетания привело к роковым ошибкам политических мыслителей и правительств; пришло время развеять эти заблуждения или предотвратить появление новых.

Политика до настоящего времени также пренебрегала - по крайней мере, в своих учениях - **нравственным и физиологическим** изучением человека. Между тем именно в его физических, интеллектуальных и нравственных способностях скрыта пружина социальной организации. Именно интеллектуальные и нравственные качества человека придают этой организации ту или иную силу, в зависимости от того, призваны ли они способствовать её могуществу или же настроены так, чтобы её ослаблять.

Анализ элементов общества включает: (1) физические элементы, к которым относятся вещи и люди; (2) нравственные элементы, то есть социальные и моральные качества людей. Этот анализ является абсолютно необходимым предварительным этапом для построения государственного управления и формирования того, что называют политической организацией, которая отличается от организации социальной. Правительство создается для людей. Следовательно, необходимо знать потребности, права, обязанности, добродетели, пороки и даже несовершенства людей, чтобы дать им подходящую систему управления. Нужно понимать назначение каждой вещи, чтобы сделать её пригодной для этой цели в процессе создания.

Правительство - это механизм, состоящий из людей, где каждая деталь - это отдельный человек или группа людей. Следовательно, нужно хорошо знать человека, чтобы создать механизм, работа которого была бы надежной - точно так же, как в механике нужно знать свойства материалов, из которых собирают машину, чтобы она могла отвечать целям, поставленным при её постройке.

Вы видите, что в одном курсе мы объединяем, а в рамках одной науки связываем основные понятия трех дисциплин, которые до сих пор считались обособленными и скорее заимствовали друг у друга отдельные идеи, чем полноценно взаимодействовали. Я имею в виду этику, политику и экономическую науку. Пришло время соединить в единую, упорядоченную

и полную систему то, что академические методы разделили вопреки их естественной неразделимости. Наконец, необходимо классифицировать в порядке их возникновения истины, которые последовательно вытекают одна из другой, и которые никогда прежде не рассматривались в совокупности всех их взаимосвязей. Одним словом, нужно объединить в одну семью и под началом одного принципа три науки, которые (выражаясь современным и весьма привычным языком) до сих пор были едва связаны федеративными узами и оставались почти бесполезными друг для друга, сохраняя взаимную независимость.

Вот краткий очерк предметов, которые мы будем рассматривать; этот набросок окончательно устранил любую неопределенность в том, что я понимаю под социальной организацией.

План курса, или Анализ социальной организации.

Первое, что следует изучить, - это элементы общества: какова их природа, и как их классифицировать. Они бывают двух видов: физические элементы и нравственные элементы. Физические элементы - это люди и вещи; нравственные элементы - это моральные качества индивидов, призванных к состоянию гражданского общества.

О физических элементах.

Очевидно, что необходимо знать, какие именно люди вступают в общественное состояние, чтобы хорошо понимать природу и цель общества. Здесь возникнет несколько важных вопросов, которые обсуждались многократно, но так и не были разрешены, потому что исследовались скорее отдельные ветви, чем сам ствол. Эти вопросы перестанут казаться даже сложными, несмотря на всю их важность, как только они будут освещены лежащим в их основе принципом.

Речь пойдет о следующем: **во-первых**, являются ли женщины составными частями гражданского общества? Было ли общество, созданное фактически для них, основано на соглашении, заключенном вместе с ними? Не является ли гражданское общество, созданное прежде всего для защиты семейного союза, лишь гарантией этого первого, интимного общества, основанного непосредственно природой, без посредничества человеческого разума? Это общество, чьи принципы заложены не только в сердце, но и в крови, в самой плоти, и которое именно по этой причине смогло обойтись без писаных законов, чтобы сформироваться, сохраниться и даже совершенствоваться. Необходимо выяснить, не имели ли мужчины, вступая в общественный союз между собой, своей главной целью более легкое и надежное исполнение обязанности, возложенной на них природой - защищать и оберегать женщин. И если это так, то участвовали ли женщины, этот любимый объект гражданского общества, в его создании и являются ли они его членами.

Во-вторых, следует рассмотреть, было бы справедливо, чтобы они входили в гражданские обязательства как договаривающиеся стороны и брали на себя бремя немедленной и прямой ответственности. Не освобождает ли женщин от общественной ответственности (то есть от содействия в обеспечении гражданских соглашений) воспроизводство человеческого рода - труд, с которым ничто иное не может сравниться ни в естественном состоянии, ни в общественном, и которому мужчины не могут предложить никакого эквивалента в своих самых возвышенных или ужасных трудах? Подобно тому, как в естественном состоянии женщины освобождены от охоты и войны, справедливо ли, чтобы труд по *сохранению* жизни по-прежнему лежал на более слабом поле, уже обремененном трудом *сотворения*, в то время как более сильный пол может участвовать только в первом из них?

В-третьих, необходимо выяснить, есть ли у женщин интерес в том, чтобы брать на себя дополнительные тяготы, добавляя общественный труд к тому естественному труду, который на них возложен. Стоит ли им опасаться, что законы, принятые без их участия, часто будут

направлены против них? Не следует ли их социальное положение всегда за положением мужчин? Не пропорциональна ли их домашняя свобода всегда и неизбежно степени политической и гражданской свободы, которой пользуются граждане? Не остаются ли они, будучи хозяйками в домах своих мужей, владычицами даже в сералах над теми, кто имеет наглую претензию держать их в неволе? И наконец, не превращаются ли они, будучи королевами в домашнем кругу, пока ограничиваются им, в подчиненных при исполнении общественных функций, даже если восседают на троне?

В-четвертых, наконец, мы рассмотрим: даже если допустить, что фактически женщины принимали прямое участие в формировании общества, и даже если допустить, что по праву они должны были в этом участвовать и заинтересованы в этом, было бы целесообразно наделять их политическими правами? Не окажется ли осуществление этих прав призрачным или невозможным? И не будут ли два пола, совещаясь вместе, всегда подвержены либо вражде, которая не терпит доводов разума, либо соблазну, который заставляет одну сторону всегда слепо принимать мнения или волю другой?

Рассмотрев и определив права полов в гражданском обществе, мы перейдем к изучению прав, зависящих от возраста. Мы выясним, в каком возрасте должен прекращаться статус подопечного в семье и начинаться статус гражданина или члена гражданского общества. В зарождающемся обществе это вопрос крайне простой. В условиях высокой цивилизации он усложняется из-за связи с нравами и народным просвещением - обстоятельствами, которые раньше или позже делают людей пригодными для государственных дел. Также он зависит от формы правления и масштабов государства - факторов, которые делают зрелость разума более или менее необходимой или требуют большего числа голосующих при принятии общих решений.

Мы также попутно рассмотрим, можно ли отделять политическое совершеннолетие от гражданского, как это происходит сейчас во Франции. Можно ли признавать двадцатиоднолетнего мужчину дееспособным гражданином в вопросах управления национальными интересами, и при этом отказывать ему до двадцатипятилетнего возраста в административном управлении его же частными интересами; может ли общество как единое целое позволить ему договариваться с ним о делах общего характера, и при этом отказывать ему в праве договариваться с другим частным лицом исключительно в своих интересах.

Вопрос о совершеннолетию, или эмансипации, приведет нас к изучению того, что представляет собой статус **слуги** и статус **солдата**. Не являются ли слуга и солдат, в каком бы возрасте они ни находились, людьми, которые по сути остаются несовершеннолетними под властью «семьи»? И не по этой ли причине они выведены за рамки гражданского общества? Мы увидим, не являются ли наши военные объединения именно искусственными семьями, созданными по образцу домашнего уклада. И не потому ли военная дисциплина, чей устав одновременно столь требователен и властен, может - не нарушая свободы - предписывать свободным людям время подъема, сна и приема пищи, определять место их жительства, место, где они будут обедать и отдыхать каждый день, и подчинять воле начальников (один из которых выступает как глава, а другой как старший в семье) все подробности каждого года их жизни.

С вопросом о совершеннолетию связан другой, крайне важный: может ли к нему привести один лишь возраст? Стоит ли понимать это слово только в физическом смысле? Может ли общество, достигнув определенного уровня цивилизации, допускать к своим соглашениям людей, чей разум лишен необходимого развития, которое можно было бы подтвердить определенными испытаниями или экзаменами? Поскольку оценка моральных знаний крайне сложна и произвольна, а гражданские экзамены превратились бы в утомительную и бессмысленную формальность, если бы они касались лишь сведений, которые можно просто зазубрить без пользы для ума, можно было бы, по крайней мере, выяснить, не обязан ли гражданин обладать хотя бы теми знаниями, которые считаются необходимыми инструментами для совершенствования разума. Я имею в виду прежде всего *чтение*, без которого невозможно по-настоящему взаимодействовать с обществом, в котором живешь, получать знания, которые оно

приобретает изо дня в день, знать его законы и сохранять точную память об обязательствах, принятых на себя перед ним. Во-вторых, это *письмо*, которое помогает памяти, фиксирует воспоминания и позволяет человеку в любое время собирать и воспроизводить в своем сознании мысли всей своей жизни. Объединяя его юность, зрелость и старость, письмо может рассматриваться как дополнение к человеческому интеллекту.

Позволительно, по крайней мере, полагать, что человек, который не способен прочитать ни инструкцию, ни закон, ни газету, который зависит от любезности, знаний или честности других, чтобы узнать об интересах общества и даже о его требованиях, не может считаться полноценным участником. Его разум словно окружен толстыми, непреодолимыми стенами, и освещается лишь в угоду чужим интересам, часто чуждым или даже враждебным обществу. Такой человек, пребывающий в подобном невежестве, по моему убеждению, не является членом гражданского общества. Оно должно защищать его так же, как защищает женщин и детей, но он не может претендовать на большие права, чем они.

Можно полагать, что человек, лишенный главного инструмента связи с обществом, не принадлежит ему, что бы ни предпринимал закон для их сближения. Ведь закон не может совершить то, чего не желает природа; он не может создать союз там, где нет точек соприкосновения и средств для объединения. Человек, не умеющий читать, в каком бы возрасте он ни находился, на самом деле остается несовершеннолетним. Он фактически находится в подчинении у того, у кого вынужден заимствовать глаза для чтения и перо для письма. Это «взрослый ребенок», чье существование общество гарантирует, но который, находясь в вынужденной зависимости от одного или нескольких граждан, может участвовать в осуществлении политических прав только через них.

Исследовав, какой пол, возраст и уровень образования позволяют стать членами политического сообщества, необходимо изучить, какие критерии для допуска или исключения могут быть найдены в различных способах, которыми люди обеспечивают себе пропитание. Именно исходя из этих способов такие великие и добродетельные политики, как **Тюрго**, **Кондорсе** и **Сийес**, а также конституции Англии и Соединенных Штатов Америки, предоставляли, отказывали в правах или распределяли их между гражданами, а французская Конституция 1791 года их регламентировала. Здесь проводилось различие между собственником и тем, кто живет только на зарплату; там - между землевладельцем и владельцем движимого капитала; в других случаях - между владельцем крупного капитала и владельцем капитала поменьше. Один из классов, отделенный таким образом от целого или его части, исключался из числа обладателей гражданских прав. Устанавливалось разделение на арендаторов и тех, кто ими не является, на активных и пассивных граждан, на тех, кто имеет право занимать определенные государственные должности, и тех, кто такого права лишен, а также множество других различий подобного рода.

Мы самым тщательным образом изучим различные способы, которыми люди обеспечивают свое существование, то есть разные виды оплачиваемого труда в обществе и различные доходы, получаемые от разнообразного вложения капиталов. Мы увидим, не является ли любой труд, имеющий продажную или арендную стоимость, основанием для получения благ земли; не имеют ли художник или ювелир такого же права, как пахарь и чернорабочий; не обладает ли капиталист или владелец любого вида имущества, движимого или недвижимого, равным или хотя бы схожим правом на долю того продукта земли, который называют доходом собственника (рентой). Мы выясним, дает ли владение капиталом, вложенным в производство спичек или в акции Учетной кассы, такое же право на плоды земли, как и владение самой землей. Одним словом, является ли то, что называют земельной собственностью, и капиталы, вложенные в сельскохозяйственные предприятия и промышленность, которые приносят доход, чем-то иным, нежели хранилищами плодов земли, предназначенных для распределения между всеми рабочими и капиталистическими классами общества. Со своей стороны, эти классы наделены всеми движимыми богатствами и всеми производственными

возможностями, которые стремление к удовольствиям делает необходимыми для собственников средств к существованию, и которые только эти классы создают сверх своих собственных потребностей. Эта часть нашей работы будет сухой, но она необходима. Я осмелюсь заявить, что она будет новой, если можно считать заслугой то, что я первым заметил вещи, которые находятся у всех на виду.

Прежде чем закончить изучение этого вопроса, мы заметим, насколько классификация людей внутри или вне ассоциации, основанная на их знаниях или невежестве, отличается от классификации, принципом которой является размер или природа их собственности - классификации, послужившей основой для поистине несправедливых различий. Обнаружив путем анализа различия, которые наметила сама природа, и сравнив их с теми, что были сделаны на основе поверхностных взглядов недостаточно просвещенного разума, мы увидим, что последние столь же бесполезны, сколь и отвратительны. Ведь первые полностью соответствуют той цели, которую искусственно пытались достичь с помощью вторых.

Анализ профессий необходим не только для того, чтобы признать права каждого рода деятельности в рамках гражданского союза; он также нужен для подготовки решения великих вопросов, которые возникнут впоследствии: о преимуществах или недостатках собственности, о системе законов, ограничивающих собственность, о системе запретительных законов. Эти системы создали Дидро и Руссо - первый в своем «Кодексе природы», второй в «Рассуждении о неравенстве условий». Позже Мабли подробно развил их в «Принципах законодательства», в «Сомнениях, предложенных философам-экономистам» и в «Письмах господину Адамсу о конституциях Соединенных Штатов Америки». Кажется, что эту систему приняли несколько членов Конвента, о чем они заявляют в публичных газетах и с национальной трибуны. Один финансовый декрет уже предрешил ее справедливость и основательность, и остается опасаться, как бы народное невежество вскоре не навязало ее силой, воспользовавшись слабостью или продажностью подлых прихвостней господствующего мнения. Проведенный нами анализ позволит нам судить о споре между защитниками равенства прав и общественного богатства в условиях неравенства состояний и теми «уравнителями» состояний, чей тяжелый свинцовый каток сдавливает землю, которую следовало бы пахать, душит или калечит ростки производства, которые следовало бы развивать, и, следовательно, вредит всем правам и всем интересам.

Социальная организация предлагает нам рассмотреть еще одно деление людей. Одни живут изолированными семьями в уединенных домах, другие образуют скопления в деревнях и селах, третьи формируют городские общины и, наконец, четвертые - столицы. В связи с этими объединениями возникло множество вопросов. Говорят, что города вредят сельской местности, а столицы - и городам, и деревням; в этих упреках есть доля истины. Но какую пользу приносят даже обоснованные упреки, если им не достает точности? И пока мы не видим ясно, в чем именно заключается вред, где заканчивается польза и начинается злоупотребление, мы воспринимаем явление лишь в целом; мы осуждаем вместо того, чтобы судить, и разрушаем вместо того, чтобы реформировать. Общественное мнение уже призвало к ответу города и особенно столицы; давайте же осознаем те жертвы, которые они должны приносить, определим благо и осмелимся затем мужественно защищать то, что мы считаем уместным им оставить.

Анализ физических элементов общества, очерк которых я только что набросал, станет темой следующей лекции. Анализ нравственных элементов, то есть моральных качеств людей, будет предметом последующей лекции.

В самом деле, недостаточно знать, какие люди вступают в гражданское объединение и как они должны быть распределены для физических действий, необходимых для поддержания общества. Нужно знать самого человека, то есть те качества, которые могут обеспечить работу социального механизма, и те, что могут стать ему препятствием. Это необходимо, чтобы иметь возможность исправлять или сдерживать одни качества и давать другим всю полноту деятельности, на которую они способны. В этой части нам предстоит искать истоки человеческих страстей и основ морали. Мы увидим, как все страсти происходят из одного и того

же принципа, из **физического принципа**, ощутимого в любой момент всеми нормально развитыми людьми - одним словом, из чувства нужды, которое называют **самолюбием**. Это чувство, так сказать, перерабатывается интеллектом в социальные привязанности или в анти-социальные пороки, в нежные узы для всех сердец или в тяжелые цепи для всякой воли, в зависимости от того, насколько этот интеллект направляется просвещением и руководствуется привычками.

Мы увидим, как чувство нужды, пробуждаемое способностью наблюдать за собой и окружающим миром и размышлять (способностью, характеризующей человеческий разум), породило в нас два совершенно разных вида социальной доброжелательности. Одна - расчетливая, которая велит нам не причинять зла, чтобы самим его не опасаться, и делать добро, чтобы иметь право на него рассчитывать. Другая - спонтанная, глубоко личная, всегда живая и настойчивая; она движет нами и увлекает нас еще до того, как разум даст свой совет. Она заставляет нас сопереживать всем страданиям, свидетелями которых мы становимся, и улыбаться любой радости; она отождествляет нас с другими, перенося в них часть наших горестей и наших удовольствий.

Мы увидим, как физические законы, которые управляли домашним обществом и объединяли его, как непрерывность (или, по крайней мере, непериодичность) потребности в любви - этого почти исключительного атрибута человеческой природы, - как длительность детства, привязывающая родителей к детям, длительность старости, привязывающая детей к родителям, и долгота жизни, которая, проходя через тысячи различных ситуаций, дает каждому человеку историю всех остальных в его собственной судьбе. Мы увидим, как все эти обстоятельства воздействовали на самолюбие и на интеллект, чтобы оплодотворить их и вызвать к жизни их союзом великий принцип социальности.

Мы также заметим, насколько форма, строение и мышцы человеческого лица и даже сама его посадка способствовали тем великим обстоятельствам, которые мы указали. Мы увидим, как одна лишь прозрачность кожи - позволяя проявляться на лице различными движениями крови в зависимости от впечатлений удовольствия или боли, испытываемых душой; позволяя бледности или румянцу выражать через множество оттенков все чувства, разделяющие крайний ужас или безмерную тоску и высший восторг или экстаз; заставляя, так сказать, боль и удовольствие проступать на лице в ярких красках - мы увидим, повторю я, как сама эта прозрачность человеческой кожи послужила упражнению, развитию и совершенствованию осознанной доброжелательности, наделенной лучшими качествами, чем первая, и чье преимущественное право является главным благодеянием природы по отношению к человеческому роду.

Эта естественная доброжелательность заменяла законы в естественном состоянии; она по-прежнему помогает им или исправляет их в состоянии общественном. Ее кодекс записан в сердцах всех людей. Существует также доброжелательность расчетливая или мотивированная, которая нуждается в позитивных законах: во-первых, потому что ей необходима гарантия, обеспечивающая вознаграждение за ее услуги и объединяющая права с обязанностями; во-вторых, потому что она нуждается в просвещении и ориентирах, так как ей приходится действовать на больших расстояниях и в отношении огромных масс людей; потому что она всегда должна соотноситься с общим интересом, зачастую невидимым и скрытым в далеком будущем, и нередко жертвовать благом, которого она не видит в данный момент, ради блага общественного или частного. Ведь ее полезность проявляется лишь в согласии с целым и в содействии - зачастую холодном и безмолвном - установлению или поддержанию порядка... порядка, этой великой силы природы, которой достаточно для ее сохранения и которая должна быть одновременно стражем и гарантом общества.

Доброжелательность, о которой мы говорим, проистекает, как мы уже упоминали, из страха перед злом и надежды на благо, которые могут исходить от подобных нам существ. Если в обществе царит порядок - то есть если каждый частный интерес, подчиненный исключительно общему интересу, также им гарантирован, - тогда достаточно направить страх и надежду, дав понять первому, где его убежище, а второй - какой источник открыт перед ней

для обеспечения общественного порядка. В таком случае именно просвещенный и совершенный разум определяет счастье людей. И если в условиях нынешней испорченности общества мы считаем безумием полагаться на разум отдельных личностей в деле поддержания регулярного общественного порядка, то это происходит главным образом потому, что народный разум оказывается бессилем перед общественным порядком из-за тайного опасения столкнуться с каким-либо серьезным злоупотреблением в наших плохо организованных государственных институтах, находящихся под угрозой со стороны народного разума.

Когда же, напротив, стремятся к тому, чтобы общество обеспечивало счастье лишь немногих в ущерб большинству, тогда страх перед злом может только возрастать от самого характера социального устройства. Поскольку надежда на благо не может найти надежной опоры, становится необходимым для сохранения этого порочного режима либо подавлять, либо сдерживать с помощью террора те вполне обоснованные опасения, которые он порождает; заставлять забывать в иллюзорных надеждах о тех справедливых ожиданиях, которые он обманывает. Отсюда возникает необходимость создания правительств - одновременно крайне репрессивных и крайне коррумпированных; правительств властных и лживых, которые в одно и то же время угрожают и заискивают, держат топор в одной руке и погремушки в другой. Такие правительства объединяют - словно в колониальном поселении - рабов, подневольных или добровольных, под властью нескольких временных или постоянных правителей, вместо того чтобы на вольном воздухе свободы соединять людей с людьми, братьев с братьями, в радостном процветании искренней общественной жизни.

Я не утверждаю здесь, что нет середины между утратой свободы и учреждением правительства. Несомненно, может существовать правительство, соответствующее общественному порядку и являющееся его гарантией; такое правительство необходимо установить. Но прежде чем его устанавливать, нужно найти его принципы, и именно для этого необходимо открыть те ресурсы, которые заложены в человеке для правильного и свободного управления его действиями, ведь политическое устройство не должно ни противоречить природе, ни подменять ее, а должно быть механизмом, данным самой природой для содействия действию всех остальных ее сил.

4-я Лекция. - Когда мы таким образом изучим физические и моральные основы общества, необходимо будет определить цель гражданского объединения. Это станет предметом нашей четвертой лекции. Часто предпринимались попытки разделить, классифицировать или объединить под одним общим названием все те преимущества, которые общество призвано обеспечивать людям. Ни одно из предложенных делений не является верным. **Тома**, один из философов, чье имя реже всего упоминалось во время Революции, и который, тем не менее, первым сказал народу: «Научись ценить ее и познай ее величие», свел все эти преимущества к свободе и собственности; но он имеет в виду земельную собственность; безусловно, эта физическая собственность - институт полезный, но она является лишь применением или, скорее, ветвью права собственности, которое сопутствует свободе.

Экономисты относили всё к трем видам собственности: собственности человека на самого себя, собственности на недвижимое имущество и собственности на движимое имущество. Признаюсь, я не понимаю, что такое собственность на собственную личность, собственность на самого себя. Нельзя быть собственником самого себя в той же мере, в какой являются собственником своего имущества; нельзя распоряжаться собой в качестве владельца, совершать в отношении себя акт собственности, не располагая собой в то же время, и не выступая в качестве объекта собственности. Когда говорят: «Человек - собственник своей личности», имеют ли в виду, что он не принадлежит другому? В таком случае правильнее было бы просто сказать, что он свободен. Или же слово «собственный» (propre) здесь - лишь слово, которое в нашем языке ни к чему не годно. Это Сийес использовал выражение, которое я здесь критикую; его можно найти в его возвышенном изложении прав человека, и работа эта убедит нас, что даже малейшая неточность в философском языке всегда наносит ущерб истине и разуму.

Кондорсе в своих «Письмах буржуа из Нью-Хейвена» выделил четыре объекта: свободу, собственность, равенство и защищенность. Однако очевидно, что равенство и защищенность - это не нечто отличное от свободы и собственности. Равенство - лишь условие свободы, а защищенность - лишь следствие свободы и собственности. Я мог бы таким же образом подвергнуть критике разграничения **Локка** и **Монтескье**. Вот к чему, по моему мнению, сводится и как представляется деление преимуществ, которых люди ожидают от своего объединения в общество. Мне кажется, что безопасность в отношении своего сохранения и своих благ - это единственная цель, к которой стремятся. Безопасность - это чувство защищенности, следовательно, она зависит от защищенности. Идея защищенности включает в себя идею собственности, причем не той или иной конкретной собственности, а собственности вообще, то есть свободного распоряжения всем, что приобретено трудом, сбережениями или унаследовано, в частности, потребляемыми плодами земли, без которых само существование было бы под угрозой.

Идея защищенности также включает в себя идею свободы; ведь какой смысл в уверенности в своем существовании благодаря собственности, если нет уверенности в использовании своих способностей, или даже в самом своем существовании? Что толку гарантировать объекты пользования, если сама возможность пользоваться ими всегда была бы призрачной и находилась бы под угрозой? Таким образом, безопасность - это цель общества. Защищенность - средство обеспечения безопасности. Свобода и собственность - это средства обеспечения защищенности.

Эти преимущества представляют собой краткое изложение прав человека. Основание и развитие этих прав необходимо знать. Анализ физических и моральных основ общества покажет законодателям средства и ресурсы, которые они должны использовать; анализ естественных прав человека покажет не только цель, которую необходимо достичь, но и границы, в которых следует оставаться. Этот анализ существует, и он совершенен в признании и обоснованном изложении прав человека и гражданина, представленном Сийесом в 1789 году в Учредительном собрании; о нем я говорил совсем недавно. Мне не остается ничего лучшего для четвертого занятия, кроме как прочесть его перед этим собранием, добавив лишь краткий комментарий, чтобы сделать более понятными или близкими некоторые понятия, изложение которых, возможно, слишком сжато, чтобы быть предельно ясным, несмотря на строгую точность автора.

5-я лекция. - Когда потребности людей дали им познать свои естественные права и привели их к объединению, они заключают свой союз, и это и есть общественный договор; затем они составляют условия своего союза, и так рождается гражданский закон. Общественный договор и гражданский закон являются, таким образом, лишь гарантиями естественных прав человека: один - опосредованной, другой - непосредственной.

Теория этого договора и теория закона станут темой пятого занятия. Три главы книги Руссо «Об общественном договоре» содержат в этом отношении все истины, которые важно знать. Мы попытаемся найти им некоторое применение. Мы увидим принципы, касающиеся закона и его сущности, и они раскроются во всем своем значении и важности лишь тогда, когда мы сопоставим их с обстоятельствами нашего нынешнего положения или с событиями недавнего прошлого. Мы представим уроки опыта как дань уважения этим принципам, не беспокоясь о том, станут ли они критикой многих общепринятых мнений и ряда широко известных фактов.

6-я, 7-я и 8-я лекции. - Когда для обеспечения естественных прав заключается общественный договор и гражданский закон устанавливает фундаментальные условия существования общества, то самому общественному договору и закону требуется дополнительная гарантия. И какой может быть эта гарантия? Это правительство.

Устройство правительства представляет собой создание системы различных органов власти, наделенных полномочиями общества и организованных таким образом, чтобы оберегать

его и работать на его благо, подобно тому, как один человек управляет делами множества других людей. Эта совокупность лиц, облеченных государственной властью, подобно отдельному человеку, должна обладать моральными способностями, физическими способностями и собственностью. Моральными способностями - потому что она должна иметь волю; физическими способностями - потому что она должна действовать; собственностью - потому что для проявления воли и осуществления действий необходимо существовать, а следовательно, иметь средства к существованию.

Между волей и действием должна существовать третья способность: напоминать о воле общества, когда о ней забывают, провозглашать её и применять её, когда её смысл оспаривается. Эта способность, называемая судебной, могла бы называться «общественной памятью», ибо судебное решение есть не что иное, как напоминание о законе в тех случаях, когда его применение и исполнение становятся необходимыми.

Существует несколько форм правления; нам предстоит их изучить, и этому будут посвящены четыре последующих исследования. Однако, прежде чем сравнивать их, необходимо обсудить несколько предварительных принципов, которые принимались на веру и долгое время служили основой для оценки различных видов правления. Никогда не подвергаясь серьезному критическому разбору, они пошатнулись под воздействием систем, появившихся в последнее время. К числу таких принципов относится **разделение властей**; этот принцип, черпавший весь свой авторитет в нескольких красноречивых строках Монтескье, сегодня почти утратил свою силу. Красноречие, защищавшее его в одиночку, без помощи строгой науки, и делавшее это в слишком общей, абсолютной и, так сказать, властной манере, более не может защитить то, что в этом принципе справедливо и необходимо. Анализ придет на помощь тому существенному и фундаментальному, что в нем заложено. Возможно, мы обнаружим, что разделение властей абсолютно необходимо для избежания тирании, но при этом власти могут быть реально и прочно отделены друг от друга, не будучи разделенными и распределенными между разными лицами. Такое разделение влечет за собой необходимость так называемого политического уравнивания, то есть системы противовесов или, точнее говоря, противоборствующих сил, ибо подобное распределение ставит власти в состояние вечной войны друг с другом. А на войне учитываются силы, а не веса сражающихся сторон.

За этим предварительным вопросом последует другой, очень важный: о том, какими услугами должно ограничиваться правительство; должно ли оно видеть всё и делать всё в социальном организме; необходима ли магистратура для отправления правосудия по гражданским делам; не будет ли напоминание и применение гражданского закона всегда более справедливым, если оно осуществляется третейскими судьями (то есть судом, который стороны создали для себя сами), нежели судом, являющимся постоянным политическим институтом; и так ли необходимо иметь суд присяжных для своих частных дел, как иметь консилиум врачей для своего здоровья.

Мы рассмотрим, должно ли народное образование, в том числе образование народа, быть предметом непосредственной заботы правительства. Мы также поговорим о религии, но исключительно для того, чтобы доказать: мы не забыли, насколько она чужда государственному устройству. Наконец, мы увидим всё то, что следует исключить из сферы государственного управления, дабы предотвратить избыточное правление - верный способ править плохо. Мы исследуем, должны ли государственные должности быть оплачиваемыми, и если да, то следует ли платить за них, как того хотел Руссо, землей, продуктами или деньгами.

Только после изучения этих и некоторых других подобных и связанных вопросов мы сравним различные системы политического устройства, опубликованные до настоящего времени, в частности федеративную систему, столь справедливо отвергнутую во Франции, и систему единства и неделимости - системы, противоречия между которыми могут быть сведены к незначительным деталям.

9-я и 10-я лекции. - Когда правительства установлены и обманывают ожидания народов, против них остается еще одна гарантия - восстание. Теория восстания завершит этот курс, подобно тому, как восстание замыкает цепь гарантий, которые человек возводит между своими потребностями и средствами их обеспечения.

Право на восстание, несомненно, должно казаться нам грозным и пугающим средством защиты: оно является таковым в том смысле, что заставляет честного чиновника постоянно тревожиться при исполнении своих обязанностей; оно дает мятежному чиновнику возможность успешно осуществлять проекты, наиболее разрушительные для общества; оно всегда заставляет опасаться кровопролития и - что в тысячу раз хуже самого кровопролития - упадка нравов.

Однако все эти неудобства присущи беспорядочному восстанию, а не восстанию как таковому. Ему необходимо дать не правила, которые бы его сковывали, а средства для самоуправления; ему нужно дать возможность привязаться к цели и двигаться к ней согласованно, кратчайшим путем.

Такова, граждане, приблизительная последовательность тем, которые я предлагаю вам рассмотреть одну за другой. Тот очерк, который я только что представил, позволит каждому из вас судить о степени интереса, которого может заслуживать задуманный мною труд, и о степени доверия, которое вы можете оказать автору в его исполнении. Для многих он может стать предупреждением не посещать этот курс, а для тех, кого моя программа не испугала, он станет введением, которое укрепит их терпение и облегчит их критику.

Я призываю к критике; я не претендую на то, чтобы учить, а лишь искать - искать вашими глазами так же, как и своими. Я лишь намечаю те области, где мы будем вместе проводить наши изыскания, и указываю пути, которые туда ведут. Истинам не учат - их открывают. Горе тем методам, которые поучают: они ничему не научают. Честь же, напротив, принадлежит анализу, который показывает вещи всем или, скорее, делает так, что вещь проявляет себя сама, и каждый становится учителем самому себе.

Вторая речь о социальной организации.

Произнесена в Лицее 3 февраля 1793 года (II год Французской республики).

О материальных основах общества.

Наша цель на этом заседании - проанализировать по крайней мере часть физических элементов общества и посмотреть, как они объединяются для взаимного сохранения. Мы займемся тем, что есть; в анализе же прав мы исследуем, должно ли быть то, что есть.

Общество существует, потому что оно сохраняет и воспроизводит себя. Оно воспроизводится через союз полов. Оно сохраняется через союз всего человеческого рода с природой и, прежде всего, с землей, которая ежедневно восполняет то, что ежедневно потребляется. Земля не производит сама по себе достаточно, чтобы прокормить общество; того, что она производит спонтанно, едва хватает для пропитания *небольшого числа изолированных людей*, потребляющих мало. Для пропитания одного дикаря, живущего охотой или дикорастущими плодами, необходимо триста или четыреста арпанов необработанной земли, в то время как во Франции одному человеку достаточно пяти арпанов, а в Китае двенадцать человек живут на одном арпане. Следовательно, необходимо, чтобы к земле прикладывался человеческий труд, чтобы человек объединял свои способности с силами природы, дабы обеспечить обществу средства к существованию, необходимые для его питания и сохранения.

Требуется еще больше: чтобы вызвать плодородие земли, человек должен бросить в нее семена, а следовательно, накопить определенное количество продуктов. В самом начале это могло быть сделано только за счет сбережения дикорастущих плодов, а в дальнейшем путем

накопления продуктов земледелия. Земли общества могли бы находиться в общей собственности; если бы они оставались общими, труд, необходимый для их удобрения, был бы общим для всего общества, авансированные средства были бы общей собственностью, а плоды распределялись бы мирно между всеми участниками. Но на деле всё иначе: земли стали владениями немногих; капиталы или авансовые фонды стали собственностью других лиц; труд же стал уделом большинства. Таким образом, сложились три класса людей, которые, так сказать, неразрывно связаны с землей: **собственник, капиталист и земледелец.**

Природные процессы, подстегиваемые человеческим трудом, и недра земли, оплодотворенные его сбережениями, способны производить огромный избыток продовольствия. Труд одного человека с помощью плуга может прокормить четыре или пять семей. Благодаря этому люди, не связанные с землей напрямую (ни через право собственности, ни через капитал и авансовые фонды, ни через труд по ее обработке), получили возможность существовать за счет продуктов земли. Однако при этом собственники, капиталисты и работники вольны единолично пользоваться плодами плодородия земли. Не имея возможности потребить весь урожай, получаемый при умеренных трудозатратах, они могут принять решение сократить объемы возделывания, чтобы не обременять себя лишними излишками. На самом деле существует множество людей, не имеющих отношения ни к собственности на землю, ни к ее обработке; их число, возможно, равно половине от количества всех остальных.

Как расширялось земледелие в соответствии с их численностью? Каким образом столько людей, не владеющих производительной собственностью, не работающих на земле, но обладающих капиталами, вложенными в совершенно иные отрасли, или вовсе не имеющих капиталов, но занятых трудом, также далеким от сельского хозяйства, ежедневно делят продукты земли с их непосредственными владельцами, и пользуются столь же твердой гарантией своего пропитания, что и сами собственники? Каким может быть их право на плоды земли? Каковы их гарантии того, что их будут постоянно допускать к разделу этих плодов? Именно это нам и предстоит изучить.

Анализа этой первой части материальных основ общества и их сочетания будет достаточно, чтобы заполнить сегодняшнее занятие. Я уже предупреждал о сухости этой темы. Здесь придется смириться с необходимостью внимательно слушать без особого удовольствия, в надежде на то, что это внимание не будет бесплодным.¹

Рассмотрим сначала, как создаются продукты земли. Они образуются путем воспроизводства и размножения доверенных ей семян. Но как земля приумножает производимые ею блага? Как мы уже говорили: силами природы при содействии человеческого труда. И каким же трудом человек может помочь силам природы? Расчисткой или улучшением земель, правильной эксплуатацией, возобновляемой ежегодно - словом, **сельским хозяйством.**

Но достаточно ли одной воли человека для ведения сельскохозяйственных предприятий? Нет. Необходимы авансовые средства, то есть капиталы, накопленные богатства, от которых предприниматель мог бы на время отказаться, за счет своего ежедневного потребления. Эти средства нужны для покрытия расходов на расчистку земель, строительство хозяйственных построек, затрат на инвентарь для вспашки и на семена, которые нужно впервые бросить в землю. Также для ежегодного возобновления обработки земли необходимо, чтобы часть капитала, затраченная на семена, восполнялась и приумножалась каждый год таким образом, чтобы она обеспечивала и оплату труда, и прибыль от движимого и недвижимого имущества, задействованного в сельском хозяйстве.

¹ То, что следует далее, вплоть до 2-го столбца 26-й страницы (ниже на стр. 143), составляло начало работы, написанной мною в 1788 году, чтобы доказать необходимость переноса таможенных границ за пределы провинций, называвшихся тогда «иностранными»: Лотарингии, Трех Епископств, Эльзаса и т. д. Эта работа нажила мне множество врагов, но склонила многие умы к системе единства и единообразия, которая была установлена Учредительным собранием без какого-либо сопротивления.

(Примечание редактора.) См. том VII данного собрания, начиная с 45-й строки 1-го столбца на стр. 451 и до 33-й строки 2-го столбца на стр. 454; см. также страницы с 63 по 67 настоящего тома. Как можно видеть, результат этого превосходного анализа дает решение множества вопросов.

В самом деле, капитал - это не что иное, как сбережения. Сбережения могут быть сделаны лишь путём лишений, либо благодаря обеспечению значительного избытка потребления за счёт труда, который превосходит меру текущих потребностей. Иными словами, человек стремится получить излишек лишь через труд или лишения, чтобы тем самым расширить свои возможности для удовольствий в будущем. Таким образом, без надежды на прибыль не будет ни сбережений, ни капиталов, ни возделывания земли сверх потребностей собственников и их слуг. Однако для того, чтобы расширить свои удовольствия за счёт прибыли, извлекаемой из земли, необходимо, чтобы промышленное производство обеспечило их разнообразие. Ведь расширить круг удовольствий - значит диверсифицировать их. Таким образом, без ремёсел нет смысла желать прибыли, а значит, нет ни сбережений, ни капиталов, ни расширенного земледелия.

В Европе, где право собственности установилось в результате завоеваний, когда множество людей было лишено земель, а сами земли были разделены между собственниками с крайним неравенством, три четверти почв остались бы невозделанными, если бы не существовало перерабатывающей промышленности.

Первые капиталы неизбежно сформировались в руках собственников. Опасение возможного голода заставляло некоторых из них откладывать часть продуктов урожая, или производить эти продукты за счёт экстраординарного труда. Поскольку плодородие земель год от года накапливало продукты далеко за пределами их потребностей, они оказывались обладателями огромного избытка средств к существованию. Если не предполагать, что их окружали слуги, и если предположить, что эти слуги были заняты исключительно работами, в результате которых и были получены те накопленные запасы, что вы видите, то я спрашиваю вас: что стало бы с этой горой лишнего продовольствия? Разве перед собственниками не стоял выбор: либо дать ему сгнить, либо жить в праздном расточительстве, прекратив всякую обработку земли, пока запасы не будут съедены, либо, наконец, использовать их для расширения земледелия через освоение новых участков? И из этих трёх путей не был бы последний самым разумным? Ведь чтобы на время избавиться от бесплодного избытка, им пришлось бы тяжело трудиться, лишь бы увеличить его в будущем.

Но стоит лишь некоторым из их слуг, до того занятым примитивными ремёслами, неотделимыми от сельского хозяйства, придумать и изготовить какую-нибудь удобную мебель и предложить её собственникам, как у последних тут же возникнет идея новых удовольствий. Они опробуют плоды зарождающегося мастерства своих рабочих, и вскоре освободят их от грубых занятий. Содержание этих рабочих, в сочетании с сырьём, над которым они должны трудиться, позволит использовать ту часть продовольствия, чей избыток ранее был обременителен. Но так как при создании нового класса рабочих необходимо было обеспечить их существование, не нанося ущерба старому порядку, ещё одна часть самого капитала послужила бы новому возделыванию земель. Именно так промышленное производство расширило бы сельскохозяйственное производство и добавило бы к продуктам земли стоимость заработных плат рабочих.

То, что промышленность сделала в самом начале, она продолжает поддерживать своим ежедневным влиянием. Представьте, что некая высшая власть навсегда запретила бы владельцу земли, приносящей сто тысяч ливров ренты, любые удовольствия, которые не относятся к предметам первой необходимости. Не кажется ли вам очевидным, что возделывание этой земли вскоре сократилось бы до тех пределов, которые необходимы для удовлетворения первичных нужд владельца? Таким образом, в Европе и везде, где существует большое неравенство в собственности, сельское хозяйство зависит от промышленности.

То, что мы только что сказали, выводит нас на путь понимания того, какую роль промышленность играет в распределении продуктов земли. Прежде всего, совершенно очевидно, что именно она одна ввела в оборот часть земель Европы и поддерживает их возделывание. Следовательно, деятельность мануфактур нужно рассматривать если не как полноценное сотрудничество с сельским хозяйством, то, по крайней мере, как непосредственную причину его трудов, подобно тому, как услуга, для которой эти труды совершаются, является их условием. Или,

если угодно, сельское хозяйство и промышленность следует рассматривать как разделение работ и равное приложение усилий к разным занятиям, продукты которых являются взаимной целью друг для друга. Без сомнения, нет такого закона, который говорил бы собственнику продовольствия: «Ты отдашь его любому, кто предложит тебе товары или обменные работы; но это регулируется высшим законом природы, согласно которому человек всегда стремится к новым благам. Этот закон, заменяющий собой все остальные, не может быть выполнен ничем другим. Таким образом, речь здесь идет лишь о том, чтобы понять, как формируется доля перерабатывающей промышленности в продуктах земли».

Мы видели, что промышленные работы предпринимались только с помощью капитала, часть которого передавалась рабочим, а другая - земле, чтобы производить там средства к существованию для этих самых рабочих. И действительно, для промышленных работ недостаточно одной лишь воли и трудолюбия, точно так же, как и для земледелия; необходимы также фонды или капиталы для обустройства мастерских, закупки инструментов, сбора сырья и запасов продовольствия.

На заре развития общества, как мы уже видели, капиталы в ремеслах принадлежали землевладельцам, а рабочие были лишь наемными слугами. Мы заметили, что эти капиталы после своего формирования делились на две части: одна предназначалась для инструментов, сырья и текущего содержания рабочих; другая - для ежегодного воспроизводства этих материалов и продовольствия. При таком порядке вещей рабочим полагалась лишь плата за их труд; и эта плата была именно воспроизводством той части капитала, которая доверялась земле для обеспечения их годового пропитания. Но должен был установиться новый порядок: **рабочие, откладывая сбережения из своей заработной платы**, накопили капитал, достаточный для ведения своего дела в полной свободе. С этого момента те средства, что могли сформироваться в руках владельцев для оплаты промышленных работ, вместо того чтобы делиться на две части (одна - в руки рабочему, другая - земле для обеспечения пропитания нового класса людей и поддержки новых работ через расширение посевов), смогли полностью перейти к земле для дальнейшего воспроизводства. Следовательно, доходы от земель увеличились именно в той пропорции, в которой вырос капитал промышленника; это равносильно тому, как если бы он сам вложил эти средства в обработку земли. Таким образом, он приобрел право на долю в приросте продукта, который стал результатом этого процесса, и у собственника не было никаких оснований отказывать ему в участии в этом разделе.

Для того чтобы общество после первых успехов, которыми оно обязано сельскому хозяйству и зарождающейся промышленности, смогло расти дальше и достичь своих естественных пределов, необходимо было, чтобы эти отрасли совершенствовались, а промышленные блага множились так же, как и средства к существованию. Для достижения этих преимуществ потребовалось установить **точнейшее разделение труда** - не только различных изделий между разными предпринимателями, но даже отдельных операций, необходимых для изготовления одного и того же предмета, между разными рабочими руками или разными машинами. Это делалось для того, чтобы каждая часть работы всегда выполнялась рукой или механизмом, которые никогда не занимались бы ничем другим. Но для того, чтобы постоянно использовать машины или рабочих исключительно для изготовления частей одного изделия, необходимо производить его в огромных количествах, а следовательно, вести работы в **крупном масштабе**. Чтобы предпринимать масштабные работы, нужно рассчитывать на потребление товаров на больших расстояниях и на большое число потребителей. Однако расширение рынка, необходимого для сбыта, влечет за собой столько трудностей, хлопот и рисков, а также столь значительную потерю времени, что процессы производства и изготовления не могут подстроиться под такой сбыт. С другой стороны, отдавая себя на милость множества потребителей, производитель умножает неблагоприятные шансы. В обоих случаях возврат капитала задерживается, и возникает риск приостановки работ, что чаще всего равносильно их полному прекращению. Сколько бы ни хотелось продавать свои товары оптом, никто не желает покупать их иначе как в розницу и именно для личного потребления; сколько бы ни хотелось продавать у себя или рядом с собой, никто не хочет покупать товар, не увидев его.

Что же должно было произойти, когда ремесла были подготовлены к тому совершенству и росту, которого они достигли с тех пор? Было предложено стороннее посредничество, и так зародилась **торговля**. Из обстоятельств, сделавших торговлю необходимой, видно, что ей недостаточно было просто сельского хозяйства, мануфактур и воли к действию, но также им были необходимы капиталы. В самом деле, чтобы позволить предпринимателям в сфере земледелия или производства полностью посвятить себя своим трудам, и избавить их от траты времени, которая неизбежно возникла бы при прямых отношениях с множеством потребителей из разных мест - потребовалось не только, чтобы торговля изучала на расстоянии, с одной стороны, потребности потребителей, а с другой - возможности, которые предлагали производство и изготовление товаров для их удовлетворения. Потребовалось не только, чтобы торговля взяла на себя оптовые закупки для последующей розничной перепродажи. Не только, чтобы она совершала закупки по мере того, как земля производит, а мануфактура выпускает продукцию, ожидая ежедневного потребления, и не только чтобы она соответствующим образом организовывала перевозки. Помимо того, чтобы оставить предприятиям сельского хозяйства или мануфактуры все капиталы, необходимые для их деятельности, торговле пришлось нести расходы на склады и хранение, а также авансировать транспортные затраты. Но и это еще не все: чтобы не подвергать риску замедления работы в сельском хозяйстве или мануфактурах из-за длительного лишения части их капиталов, состоящих из продовольствия и товаров, торговле также пришлось заменять эту часть текущими платежами или, по крайней мере, оплатой, произведенной вскоре после покупки, несмотря на неопределенность своих продаж, всегда зависящих от капризов потребителей, и несмотря на неопределенность взыскания средств, которое всегда оказывается более трудным, по крайней мере для розничного торговца, чем для фабрики или сельского хозяйства.

Когда торговля только начинала свою деятельность, она должна была оплачиваться сельским хозяйством и мануфактурами, подобно тому, как последние изначально оплачивались первым. Следовательно, капиталы, без которых торговля не могла действовать, должны были принадлежать предпринимателям-земледельцам или мануфактуристам, агентом которых она являлась; и она не могла претендовать ни на что иное, кроме оплаты своих трудов. Когда они направляли капитал на нужды торговли, ставшей необходимой для их собственного дела, сельскому хозяйству приходилось в тот же момент направлять другой капитал на расширение земледелия, чтобы обеспечить средства к существованию для нового класса людей, занятых в этой новой сфере. Передавая продукты этого расширенного земледелия торговле, они, очевидно, отдавали всё, что могли ей дать.

Но когда впоследствии торговля сама накопит некоторые сбережения и сможет действовать на собственные средства, то капиталы, сформировавшиеся в руках мануфактуристов или земледельцев для нужд торговли, вместо того чтобы делиться на две части - одну бесплодную, предназначенную для потребления, и другую производительную, предназначенную для земли, - смогут быть полностью направлены на воспроизводство. Тогда сельское хозяйство еще более расширится, причем не непосредственно за счет торгового капитала, а за счет капитала сельского хозяйства или мануфактур, который торговля наконец вернула земле. Таким образом, торговля приобретет очевидное право на участие в распределении продуктов земли, и не только пропорционально своим трудам, но и пропорционально своим трудам и капиталам. Она получит законное основание претендовать одновременно и на оплату своих трудов, и на прибыль со своих средств, а у сельского хозяйства не будет повода ей в этом отказать.

Таким образом, представляется четко установленным, что сельское хозяйство, мануфактуры и торговля - имеют равное первоначальное и сокровенное **право на продукты земли**, и что это право является источником их дохода. Следовательно, для плодородия земли необходимы три (*sic*) вида собственности: собственность на почву и собственность на капиталы; и поскольку также требуются три вида совместных и, так сказать, оговоренных между их участниками работ по эксплуатации земли - работы сельскохозяйственные, работы мануфактурные и работы торговые, - необходимо также, чтобы капиталы распределялись между этими тремя видами работ. Таким образом, общество состоит из двух классов людей: **собственников**

и **трудящихся**; из собственников земли, собственников капиталов; из трудящихся сельскохозяйственных, мануфактурных и торговых; из капиталистов-земледельцев, капиталистов-мануфактуристов и капиталистов-торговцев. Капиталисты, которые ничего не делают, являются лишь партнерами тех, кто трудится, подобно тому как собственник земли является лишь партнером труда природы.

Теперь нам надлежит рассмотреть, не является ли эта комбинация людей между собой и с вещами ради удобрения земли и распределения её плодов - наилучшей из всех комбинаций, указанных или известных до настоящего времени, и наиболее благоприятной для воспроизводства средств к существованию. Мы могли бы даже расширить этот вопрос и спросить себя, не является ли подобное сочетание наиболее соответствующим правам людей, объединенных в общество? Возможно, это несколько нарушило бы дидактический порядок изложения, если бы мы представили вопрос таким образом; это было бы предвосхищением последующих уроков, ведь прежде чем спрашивать, соответствует ли то или иное учреждение правам, следовало бы сначала проанализировать сами эти права. Однако активность разрушительной системы или системы расхищения собственности, которая с каждым днем добивается новых успехов; значимость самого вопроса, который аналитический порядок предлагает нам в данный момент; та легкость, с которой можно допустить верность некоторых понятий (точность которых, впрочем, будет доказана далее); и, наконец, преимущество того, чтобы сосредоточить внимание на только что изложенных принципах и закрепить их в сознании через применение на практике - всё это дает нам право связать наше сегодняшнее обучение с тем спором, который в данный момент яростно затрагивает интересы почти всех слоев общества.

Во вступительной речи мы уже видели, что права и интересы, гарантий которых люди требовали от общества, заключались в одном-единственном слове: **Безопасность**, то есть в совершенном чувстве собственной защищенности. Мы видели, как важно придерживаться этого понятия, и не путать безопасность как внутреннее чувство - с самой по себе фактической защищенностью. Также мы убедились, что безопасность требует большего, чем просто защищенность, ведь для того чтобы человек был полностью проникнут чувством своей защищенности, недостаточно, чтобы она существовала в строгом смысле слова; необходимо еще, чтобы она была очевидной, ощутимой для каждого ума и чтобы она выходила за рамки тех точных расчетов, которые могут произвести просвещенные и внимательные люди.

Если, например, внешняя защита государства строго требует трехсоттысячного войска, если его внутренняя защищенность требует десяти тысяч жандармов, если его пропитание в определенный период требует ста тысяч мешков муки, то для чувства безопасности граждан необходимо увеличить эти объемы примерно на одну шестую или одну пятую часть сверх того. Поэтому я повторяю: каждый из нас требует от общества именно безопасности; а то, чего требует безопасность, в свою очередь, шире того, что необходимо для простой защищенности.

...Три вида опасностей угрожают существованию людей в обществе. Одни исходят от **иностранных государств**; другие - от **внутренних врагов** или недоброжелателей внутри самого общества; третьи приходят к нам от **природы**, то есть от недостаточного плодородия земель или случайного разорения угодий, кормящих общество. Ведь обществу необходимы хлеб, порядок и мир. Исходя из этого, не очевидно ли, что любая система общественного устройства (или любая ее ветвь), которая не обеспечила общественную безопасность, или поставила ее под угрозу в одном из трех вышеуказанных аспектов, не достигла цели существования общества? Что ж, я осмелюсь утверждать, что не существует ни одной политической системы, которая была бы безупречна в этом отношении.

Все известные системы можно свести к двум: системе **экономистов**, которые видели лишь опасности, исходящие от природы; и системе **уравнителей**, видевших лишь опасности, порожденные социальным состоянием. Первые, знаящие только землю или принимавшие в расчет только ее, создали общество исключительно ради нее. Они организовали его как огромное предприятие по эксплуатации сельской местности, как большую фермерскую мастерскую.

Они посвятили сельскохозяйственным работам класс граждан, рожденных без иного наследства, кроме их собственных рук. Затем они разделили собственников на два класса: один должен оставаться на втором плане, а другой, состоящий из крупных землевладельцев, по своей сути и по закону природы образует сословие знати, которому должны быть доверены все государственные должности и все рычаги власти. Во главе созданного таким образом общества они поставили совладельца всех имуществ - следовательно, собственника, несравненно более могущественного, чем все остальные. Из этого верховного собственника они сделали короля, абсолютно деспотичного монарха, чья воля и любые капризы не должны сдерживаться ничем, кроме «деспотизма очевидности» - не отвлеченной очевидности его обязанностей, что было бы слишком абстрактно, а наглядной очевидности интересов земледелия, верховным главой которого этот король является.

Безусловно, это весьма «обнадеживающая» гарантия для самого сельского хозяйства, поскольку деспотизм очевидности до сих пор так и не смог создать во Франции двадцать ферм, подобных тем тысячам хозяйств, что уже столетие существуют в Англии и обеспечивают процветание этой прекрасной страны. Это также весьма «обнадеживающая» гарантия для самих граждан, поскольку колонисты-рабовладельцы, прекрасно зная, что принудительный труд убивает их чернокожих рабов, тем не менее обрекают их на него. Расчет подсказал им, что доход от этого труда превышает стоимость самих рабов. В конце концов, люди ежедневно рискуют жизнью самой дорогой лошади, чтобы выиграть пари, ставка в котором ценнее коня.

Уравнители, напротив, не рассматривали людей по отдельности, как это делают те, кто наблюдает за ними ежедневно; они изучали их в массе, через призму истории. Они нашли истоки наших пороков и добродетелей, вычислили силу наших страстей - словом, они отлично знают людей, но не знают земли. Они видели лишь одну опасность и один интерес: угрозу тирании и пользу равенства. Они видят, как собственность искажает равенство, и потому отвергают собственность. Если вы укажете им, что это приведет к снижению производства, то они ответят: *«Меньше богатства - чище нравы; а с чистыми нравами приходит и большая сила»*. И если настаивать, если сказать им: *«Меньше производства значит и меньше населения»*, то они возразят: *«Это население будет более счастливым и добродетельным»*. Ну а если спросить: *«Но что же делать с уже существующими людьми?»*, то здесь они приходят в замешательство... Но затем отвечают: *«Земля не станет давать меньше плодов»*. И здесь они принимают за данность то, что еще требует доказательства.

Система экономистов не заслуживает нашего долгого внимания, хотя она и была украшена внушительными названиями: *физиократия*, власть природы, принципы естественного и сущностного порядка политических обществ. Уравнители быстро с ней расправятся. Эта система падет под их ударами, потому что их принципы равенства превосходны, в то время как выводы, которые они из них делают, ошибочны. Я собираюсь подробно изложить систему уравнителей; я черпаю ее прежде всего из книги **Мабли** под названием «Принципы законодательства» - труда, который представляет собой лишь пространный комментарий к рассуждению Руссо о неравенстве условий.

Первое наблюдение, служащее фундаментом этой системы, заключается в том, что богатство не приносит счастья. Оно порождает в человеке множество искусственных потребностей, которые ставят его в самую унижительную зависимость. Один философ, прогуливаясь по дворцу богача, воскликнул: *«Как много вещей, которые мне не нужны!»*. Он был гораздо ближе к счастью, чем обладатель всех этих безвкусных безделушек!

Второе наблюдение состоит в том, что обладание богатством ослабляет общественные связи. Оно заставляет богатого человека замыкаться в своих удовольствиях и потребностях, которые богатство лишь множит; оно ожесточает его сердце по отношению к страданиям себе подобных. С другой стороны, бедняк, озлобленный или униженный нуждой, всегда взирает на богача с завистью или постыдно заискивает перед ним. Он опускается с уровня свободного гражданина и сотоварища до уровня раба, склоняющегося перед господами. Богатый и бедный отделены друг от друга железными стенами.

И это еще не все: между богатыми и всей массой общества устанавливаются пагубные отношения. Жажда богатств, привычка к наслаждениям - начинают с того, что внушают страсть к стяжательству - то самое желание, из-за которого обществу отказывают в помощи, в которой оно нуждается и которую можно было бы ему предложить. Это страсть, ради которой преследуют, крадут и вырывают у других то, чего не имеют сами. Это желание, из-за которого человек никогда не бывает даже посредственным гражданином, а часто становится очень плохим. Эта страсть - настоящая болезнь, называемая алчностью.

Но эта болезнь порождает другую: властолюбие. Стремление к власти, с помощью которой закрепляют или расширяют господство над определенными удовольствиями, - путь к ним как раз подготавливает и обещает (пусть и несовершенно) обладание богатствами. Отсюда рождаются дерзкие предприятия, которые подтачивают или открыто атакуют свободу страны, распространяют коррупцию во всех слоях общества и вселяют во все сердца пагубные страсти, которые унижают человека и развращают общество.

Третье наблюдение, на котором уравниатели основывают свою систему, заключается в том, что богатство не обеспечивает безопасность государств, а напротив, подвергает их серьезной опасности со стороны иностранцев.

Во-первых, оно подрывает мощь государства из-за раскола, который вносит в сами основы общества: из-за обособленности богачей, ослабления их физических сил и из-за того, что оно препятствует формированию любого общественного духа даже у бедняка, который не может питать теплых чувств к обществу, где он является лишь отбросом.

Во-вторых, богатство возбуждает зависть или алчность. Оно втягивает народы, владеющие им, в войны, которых бедность позволила бы избежать; какой интерес нападать на страну и завоевывать ее, если она примечательна лишь тем, что в ней живут свободные люди, преданные исключительно своей свободе?

В-третьих, богатство делает человека дерзким, несправедливым и предприимчивым, тогда как скромная и добродетельная бедность уважает права каждого.

В-четвертых, бедному народу легче, чем богатому, найти надежных союзников для своей защиты: (1) потому что он никогда не вызывает у них зависти; (2) потому что он верен принятым на себя обязательствам; (3) потому что он ничего не просит у них, когда они в нем нуждаются; (4) потому что он отдает им всю военную добычу, когда нуждается в них сам.

В-пятых, силой, способной противостоять врагам, обладает отнюдь не самое многочисленное население, а население счастливое и добродетельное. Справедливость этой истины подтверждается, если вспомнить о победах, одержанных горсткой афинян и лакедемонян над бесчисленными армиями Ксеркса; о победах горстки воинов, основавших Рим, над всеми народами мира; и, наконец, о победах горстки франков над римлянами, ставшими к тому времени хозяевами мира.

Таким образом, богатство не приносит счастья отдельному человеку; оно не приносит счастья государству и не гарантирует его безопасность. Следовательно, бедность и равенство - вот, по мнению уравниателей, основы социальной организации, или, вернее, просто равенство. Ведь они проповедуют не абсолютную бедность и не нищету, а просто владение всем необходимым в достатке, что, как считается, стало бы возможным для каждого в результате справедливого распределения излишков богатых в пользу нужд бедных.

От апологии равенства и бедности уравниатели переходят к осуждению собственности. Ибо именно из собственности, из накопления капиталов, которое стало ее следствием и принципом, родилось неравенство состояний - как из собственности земельной, так и из движимой; поэтому они одинаково ополчаются на обе. Они также нападают на торговлю и даже на любой другой труд, кроме того, что направлен на общие нужды. Это является необходимым следствием их принципа, поскольку уравнивание земельных владений не принесло бы большой выгоды для дела равенства, если бы сохранилась собственность движимая, которая сейчас составляет по меньшей мере половину первой. Очевидно даже, что в случае полной отмены земельной собственности - было бы бессмысленно запрещать владение капиталом, поскольку

тогда каждый был бы ограничен именно той долей плодов земли, которая необходима для его пропитания, и никакой обмен не был бы возможен ни на изделия, ни даже на промышленный труд, предлагаемый капиталистами или рабочими.

Разумеется, атакуя собственность, уравниатели начинают с того, что вычеркивают ее из хартии прав человека. Они утверждают, что **она является общественным институтом** и, следовательно, подчинена интересам и потребностям общества. Всем известно, говорит Мабли, что до возникновения общества собственности не существовало: при том порядке вещей, который предшествовал обществу, у людей было слишком мало потребностей, чтобы посвящать себя обработке земли; и разве история не доказывает, что все народы начинали с кочевого образа жизни?

Теперь системы уравниателей можно свести к четырем основным подходам. (1) **Первый** заключается в полном расформировании накопленных состояний после смерти владельцев путем лишения их семей права наследования. В этом случае наследником становится государство (фиск), которое тратит средства от продажи земли или капитала, если наследство было движимым имуществом. (2) **Второй** подход состоит в том, чтобы ограничить состояние определенной суммой, сверх которой государство занимало бы место собственника - либо абсолютным образом, забирая у него излишек земли или капитала, либо требуя ежегодно выплачивать ему ренту с этого фонда или капитала, либо делать это частично и периодически, забирая каждый год лишь долю дохода. Наконец, можно изымать этот излишек полностью или частично, из капитала или из дохода, только в случае чрезвычайной необходимости, характер которой будет четко определен. (3) **Третий** способ заключается в том, чтобы разделить всю собственность между всеми гражданами поровну, с условием возобновлять этот раздел через определенные промежутки времени. Такой метод практиковался в древности у еврейского народа, или же по воле политических группировок у римлян. Другой вариант этого способа - обязать каждого гражданина, как это было у лакедемонян, передавать полученную им долю старшему ребенку. Это могло бы на некоторое время установить своего рода равенство внутри семей, но, безусловно, не создало бы большего равенства между отдельными людьми, чем то, которое писаное право или феодальные законы устанавливали в Лангедоке между дворянами-первенцами и их младшими братьями. (4) **Четвертый** способ, наконец, состоит в том, чтобы вовсе отменить собственность, передать земли в общественное владение, обрабатывать их совместно, хранить продукты в общественных амбарах, и распределять плоды труда между всеми гражданами через органы государственной власти. Именно такой порядок был установлен иезуитами в Парагвае и квакерами в городе Эфрат; то же самое существует в некоторых частях Африки и Америки... Так долгое время поступали и монахи, пока не оставили земледелие.

Но есть ещё (5) **пятый** способ - установить правила и законы против роскоши, которые, делая излишества бесполезными, побуждали бы направлять их на помощь бедным или на общественно полезные заведения. Такие нравы, публично почитая скромность, обязывали бы к ней и должностных лиц, привнося простоту и даже строгость во всё, что касается государственных учреждений.

Рассмотрим доктрину уравниателей, начиная с их принципов, и прослеживая их шаг за шагом до самых последних последствий. Прежде всего кажется, что они слишком сильно упрощают понятие счастья, исключая из него часть тех удовольствий, которые дает богатство. Счастье складывается из всех тех наслаждений, которые не притупляют чувств, не противостоят долгу, и не уменьшают средств для его исполнения. Подобно тому как наличие защиты не всегда достаточно для ощущения безопасности, так и одного лишь чувства существования недостаточно для счастья; о счастье должны возвещать некие восторги, некие удовольствия, чтобы оно стало реальностью. Когда человек находится точно на границе, отделяющей счастье от несчастья, то он уже несчастлив. Нельзя быть счастливым, даже находясь в благополучном положении, если взор устремлен в бездны горя. Неравномерное распределение богатств - я

говоря именно о неравномерном, и я далек от того, чтобы рассуждать о крайнем или даже значительном неравенстве состояний - является источником радости не только для богатых, но даже для бедных (под этим словом я не имею в виду нищих, ибо их не должно существовать). Вид этого богатства внушает им надежды и желания - два самых ощутимых и, возможно, самых реальных источника счастья.

Богатство, рассматриваемое в контексте общественного благополучия, гражданского единства и человеческого братства, предстает не в самом лучшем свете. Нужно признать, что оно является **источником эгоизма**, и что в сознании владельца оно всегда стоит выше общественных интересов. Однако по этому поводу можно сделать три-четыре замечания.

(1) Хотя богатство всегда отделено от бедности, оно, тем не менее, не лишено связи с ней. Потребность в наслаждениях и стремление их разнообразить заставляют богатых обращаться к услугам промышленности, которая является достоянием бедного. Таким образом, богатство обязано *платить* бедности, если оно не хочет ей *давать*. Оно является её *данником*, если не является её благодетелем.

(2) Нельзя скрывать, что богатые обладают меньшим рвением к отечеству, чем граждане, рожденные в скромном достатке; однако они привязаны к нему сильным интересом. К самопожертвованию их ведет не столько душевный порыв, сколько расчет, но результаты получаются почти одинаковыми. Если в ходе недавних кризисов во Франции бедные граждане проявили более полную самоотверженность, чем богатые, всё же общественные дела не были окончательно брошены богатыми на произвол судьбы.

(3) Очень богатых граждан на самом деле немного. Поскольку они встречаются повсюду - на дорогах и во всех общественных местах, - кажется, будто их бесчисленное множество, но это заблуждение. Между богатством и нищетой находится умеренный достаток, в котором сосредоточены все добродетели, желательные для государства. Причем достоинства этого среднего состояния являются следствием его положения между пороками крайней бедности и пороками чрезмерного богатства.

(4) Наконец, вполне возможно, не прибегая к принудительному уравниванию состояний, сблизить их настолько, чтобы свобода и равенство более не находились под угрозой. Вся задача сводится к тому, чтобы предотвращать появление новых чрезмерных состояний, которых еще нет, и разделять те, что уже существуют, не разрушая их.

Предотвратить накопление непомерных богатств можно следующими способами: запретив любые виды государственных доходов, требующих услуг откупщиков для их сбора; сокращая государственные расходы, которые всегда становятся добычей интриг и жадности, особенно в военное время; избегая любых форм государственных займов, которые создают почву для алчности и, возбуждая ложные надежды, становятся основой для спекуляций; и, наконец, ограничивая определенные виды коммерции.

Разделить собственность, не разрушая ее, можно через установление равенства при разделе наследства между детьми владельца; через раздел, который закон устанавливал бы для боковых наследников при отсутствии детей (такой раздел не позволял бы одному родственнику получать все наследство целиком); через снижение возраста совершеннолетия, что позволит раньше вступать в брак и, следовательно, приведет к увеличению числа детей; через развод, который позволит чаще вступать в новые браки тем же лицам и, предотвращая или исправляя неудачные союзы, сделает браки более многодетными; через продажу национального имущества и земель эмигрантов; через упразднение финансовых должностей и любых подобных способов пополнения государственных доходов - способов, скандальность которых могла быть превзойдена лишь нашим новым методом ведения расходов.

Уже принятые законы для предотвращения накопления огромных состояний за счет общества включают: упразднение финансовых корпораций, отмену права первородства и феодальных прав, введение развода, снижение возраста совершеннолетия - ко всем этим законам можно добавить право на усыновление. Но еще более действенными мерами являются продажа крупных национальных владений и конфискованного имущества, а также церковных земель; отмена гражданского листа и пресечение злоупотреблений при дворе; возвращение

каждому гражданину свободы заниматься своей отраслью наиболее выгодным способом, а также повышение заработной платы - необходимое следствие народного правления, при котором богатый стыдится проявлять тиранию по отношению к бедному. Этому же способствуют успехи всех видов промышленности, активность во всех сферах труда в стране, которая еще полна новых возможностей; и, наконец, любовь к труду, ведущая к бережливости, умеренности и скромности. Все эти обстоятельства должны вскоре сблизить состояния, неравенство которых будет значительно смягчено властью, дающей бедняку право избирать богатого на любые общественные должности, а также возможностью для самого бедняка занять эти посты, что ставит состояние каждого под защиту и в зависимость от всех.

Нам остается рассмотреть собственность, или, если угодно, неравенство богатств, в его связи с угрозами, исходящими от иностранных государств, и с опасностями, идущими от самой природы. Легко доказать, что все предлагаемые системы уравнивания собственности (я имею в виду все, кроме тех, о которых я уже упомянул - направленных на сближение состояний через их раздел) являются **чистым грабежом**. Они ведут к сокращению ежегодного производства средств к существованию, и тем самым не защищают нас, а, напротив, отдают во власть опасностей, исходящих от природы и от внешних врагов.

Прежде всего, мы откладываем в сторону четвертый способ - изъятие всей собственности и ее новый передел. Общеизвестно, что такая система обеспечила бы лишь кратковременное равенство, и стала бы источником вечных раздоров. Даже если предположить, что сегодня раздел будет произведен поровну, то завтра расточитель, лентяй или нетрудоспособный продадут свои доли, которые тут же перейдут к алчному, трудолюбивому и здоровому человеку. Завтра единственный наследник какого-нибудь гражданина снова объединит в своих руках целую долю, а возможно и несколько, в то время как многочисленные дети одного отца получили бы в наследство лишь ничтожную часть.

Идея изъять всю частную собственность, чтобы объединить её в общую массу, не намного более убедительна. Я не буду сейчас разбирать, действительно ли право собственности возникло позже, чем общество, и, следовательно, может ли оно быть отозвано по его воле, может ли такая отзывность быть следствием его позднего возникновения, и может ли общество, которое, несомненно, имело право установить или не устанавливать собственность в момент своего формирования - отозвать это право после того, как гражданин вложил в неё свой труд и сбережения. Я не буду спрашивать, не станет ли это посягательством на его свободу, ведь забирать у человека плоды его труда - значит вводить принцип, который ему могли бы навязать ранее: превращать его труд в принудительную повинность, вместо того чтобы позволить ему владеть её результатами. Здесь мы исследуем лишь физический эффект от организации собственности.

Я ограничусь доказательством того, что предлагаемая идея привела бы к уничтожению всякого земледелия. Однако замечу мимоходом, вслед за Руссо, что собственность является истинным гарантом обязательств граждан. Если бы имущество не отвечало за действия людей, то произошло бы одно из двух: либо стало бы слишком легко уклоняться от своих обязанностей, либо пришлось бы вводить жестокие законы, направленные непосредственно против личности, из-за невозможности наложить взыскание на имущество. Замечу также вскользь, что раздел результатов труда привел бы к постоянным спорам между трудолюбивым и ленивым, между сильным и слабым, между женатым и холостяком, между отцом семейства и бездетным, между всеми гражданами и властью. Каждый претендовал бы на равную долю, исходя не из своих потребностей, а из своего вклада, то есть из своих сил.

Теперь я докажу, что предлагаемая идея привела бы к уничтожению всякого земледелия.

(1) В природе человека заложено отсутствие индивидуальной привязанности к тому, что является общей собственностью. Человек не может вкладывать душу в дело, за результатами которого он не может следить лично в процессе их производства. Дороги принадлежат всем, не так ли? И всё же, когда их строили с помощью принудительного труда (барщины), как они строились? У нас перед глазами огромное количество общинных земель, распределенных

между жителями одного муниципалитета; эти земли расположены среди хорошо возделанных частных владений, они принадлежат тем же самым земледельцам, которые обрабатывают соседние поля. Но этим землям не хватает плодородия, рабочих рук, авансов, знаний или производительности - в них не хватает всего, потому что общая собственность не рождает воли и не побуждает никого к труду.

Басня о «Глазе хозяина» была написана для того, чтобы доказать: именно хозяйский глаз заставляет сохранять вещи, и тем более способствует их приумножению. Плохой гарантией хорошего земледелия была бы замена хозяйского глаза надзорными органами. В предлагаемой системе такая власть была бы тем хуже, чем многочисленнее она бы становилась. Потребовалась бы как минимум треть нации, чтобы следить за остальными; а кто бы следил за самими надзирателями?

(2) Признано, что самым выгодным видом земледелия является тот, который сочетает в себе выращивание культур с содержанием большого количества скота. Тот же участок земли, засеянный пшеницей, кормит меньше людей и кормит их хуже, чем участок, две трети которого отведены под искусственные луга. Такие луга служат пастбищем для множества голов скота и дают обильные удобрения, позволяющие оставшейся трети земли производить столько же пшеницы, сколько дали бы две трети при обычном посеве и использовании остальной части под пастбище. Также несомненно, что в интересах большой политики - увеличивать изобилие мяса и уменьшать потребность в хлебе. В свободных странах для спокойствия народа недостаточно наличия пропитания; важно, чтобы народ был спокоен относительно способов его распределения торговцами и владельцами. Пшеницу легко скупить, экспортировать, её прячут, чтобы избежать обвинений в спекуляции; иногда её не хватает в некоторых департаментах, и её приходится перевозить с большими затратами. Скот же, мясо которого идет в пищу, нельзя ни спрятать, ни экспортировать так просто; когда их нужно перегнать из одного места в другое, они идут сами и, таким образом, служат транспортом для самих себя. Следовательно, важно увеличивать поголовье скота. Но животные требуют постоянного, последовательного и длительного ухода в течение нескольких лет; они требуют знаний и даже искренней привязанности, какая бывает у пастухов и погонщиков, которых не стоит путать с мясниками. Но разве могли бы такой уход обеспечить стадам крестьяне, отрабатывающие барщину, которые менялись бы каждый день?

(3) Земледелие требует трех видов знаний: общих, местных и практических. Сельское хозяйство стоит во главе самых сложных искусств, так же как оно стоит во главе искусств важнейших. Закон вполне может сказать человеку: «Ты вонзишь лемех своего плуга в эту почву и проведешь здесь борозды»; но он не может сказать ему: «Приложи свой разум к этой земле; изучи её свойства; заставь её плодоносить самыми надежными способами и постарайся извлечь из неё всё лучшее, что она может дать». Именно разделение ремесел довело искусства до совершенства; упразднить самое полезное из них - земледелие - значит желать его регресса.

(4) Жилые поселения в нынешних государствах вовсе не приспособлены для коллективного ведения хозяйства. Только деревни находятся в пределах досягаемости тех полей, которые их кормят. Городам же пришлось бы обрабатывать земли, находящиеся далеко от них. Если бы Париж был вынужден выращивать всё необходимое для своего пропитания на собственных землях, его жителям пришлось бы рассредоточиться на территории радиусом более чем в тридцать лье; для того чтобы каждый парижанин оказался на расстоянии, позволяющем выполнять свою работу, этот город должен был бы немедленно прийти к полному распаду.

Система лишения семей наследства и призыва государственного казначейства к сбору всех наследственных масс привела бы к двум пагубным последствиям. Во-первых к уничтожению капиталов. Во-вторых к препятствованию многим сельскохозяйственным улучшениям и даже к запустению нынешних хозяйств.

Человек на закате дней не проявлял бы никакого интереса к своим владениям. Сколько деревьев было посажено, сколько домов построено, сколько земель расчищено из отеческой любви, которая ничуть не менее сильна, чем любовь сыновняя, если даже не называть это стра-

стью к сохранению памяти в потомстве (*postéromanie*). Разве это не нежный и ценный для человеческого сердца способ продлить память о своем существовании в растениях, которые продолжают жить после него, кормят его детей и укрывают своей тенью его семью, напоминая им о его жизни и нежности?

С первого взгляда не так просто заметить всё то зло, которое принесет уничтожение капиталов. Этому вопросу необходимо уделить некоторое внимание. Мы видели, что земля производит что-либо лишь в том случае, если сельскохозяйственные, торговые и промышленные работы получают импульс от капиталов (т.е. сбережений по терминологии Рёдерера). Таким образом, капитал является одним из основных принципов богатства. Повсюду он - то семя, без которого невозможно ожидать урожая, каким бы активным ни был труд, и какой бы плодородной ни была земля. Исходя из этого, всё, что уничтожает капитал, вредит воспроизводству. Поэтому расточительность рассматривалась Смитом как один из самых пагубных пороков общества, в то время как скупость, напротив - по крайней мере та, что накапливает капиталы и затем пускает их в оборот, - обогащает государство. Что же это было бы за учреждение, которое ежедневно заставляло бы правительство именем закона уничтожать бесконечное количество капиталов? Разум осуждает подобное даже в отношении небольшого числа расточителей, чьи растраты, впрочем, покрываются и даже с лихвой компенсируются сбережениями экономных людей.

В остальном, закон, который сделал бы государство наследником вместо семей, был бы иллюзорным; потому что каждый с помощью реальных или фиктивных актов продал бы или отдал бы свое имущество еще при жизни. Законы против роскоши (сумптуарные законы) снижают интенсивность труда. Нравы, поощряющие роскошь, напротив, увеличивают её. Они способствуют формированию капиталов; они умножают расходы на удобства, уменьшая при этом расходы на показное великолепие. Наконец, существует проект ограничения состояний - проект, для реализации которого предлагаются различные средства, более или менее эффективные, более или менее грабительские.

Дальнейшее рассмотрение убедит нас в том, что всё, что направлено на ограничение состояний, неизбежно ведет к упадку культуры и уменьшению урожаев.

1. Есть огромное количество людей, которые трудятся лишь для того, чтобы достичь огромного избытка; одни, обладая беспокойным духом, находят безопасность только в огромном изобилии средств к существованию. Другие, обладая подвижным умом, находят счастье только в крайнем разнообразии удовольствий. Есть также люди, которые находят интерес в своих делах лишь до тех пор, пока они преследуют цель, которая постоянно ускользает. Охотнику доставляет удовольствие только погоня за дичью; как только он её убил, она перестает его интересовать. Наконец, есть такие умы, которые ценят лишь то, что видят неясно, что расположено далеко от них, в тумане будущего - цель, которую они сами не вполне осознают и ради которой не захотели бы сделать и шага, не имея они свободы пройти весь путь целиком. Ограничить всех этих людей - значит задушить их предприимчивость и заставить их прекратить свой труд.
2. Поскольку максимум состояния устанавливается произвольно, он может постоянно меняться. Поэтому любой частный человек, находящийся вблизи этой границы, скорее сделает что-то, чтобы отдалиться от неё, чем чтобы к ней приблизиться.
3. Существуют сельскохозяйственные и промышленные предприятия, которые могут быть полезными - и даже в принципе осуществимыми - только в том случае, если они масштабны. Установить максимум выше уровня капитала, строго необходимого для существования, - значит ничего не сделать для равенства. Установите его ниже - и больше не будет ни крупных сельских хозяйств, ни судов в море.²

² До сих пор не до конца выяснены преимущества крупного хозяйства перед мелким, сильно раздробленным. Лучшее из того, что мне известно по этому вопросу, содержится в экономическом анализе аббата Бодо, том форматом в 1/8 листа. «Если бы на одного хозяина не приходилось тридцать рабочих, - говорит Вольтер, - земля не возделывалась бы. Тот, кто владеет плугом, нуждается в двух батраках и нескольких подёнщиках. Чем больше будет людей, у которых нет ничего, кроме их рабочих рук, тем в большей цене

4. Если о богатстве гражданина судить по его доходу, то он постарается уменьшить этот доход так, чтобы не достичь установленного максимума; при этом он сохранит свой основной фонд или капитал, чтобы иметь возможность продать его в подходящий момент или оставить детям. Отсюда, опять же, следует сокращение производства. Предположим, у человека есть земля стоимостью 300 000 ливров, приносящая 12 000 ливров дохода, а максимально разрешенное состояние приносит 10 000 ливров. В таком случае собственник, не желая производить лишнее для государственной казны и стремясь сохранить свой капитал для раздела между двумя или тремя детьми (в руках которых он будет далек от законного предела), позволит культуре своего имения прийти в упадок так, чтобы получать с него лишь 10 000 ливров. Таким образом, при этом сценарии ежегодное производство потеряет 2 000 ливров, которые исчезнут для всего общества.

Следовательно, итогом любого проекта по уравниванию всегда становится упадок культуры земледелия и сокращение объема продукции. Сокращение производства у народа, которому едва хватает самого необходимого! У народа, который вечно тревожится о своем пропитании! Сокращение производства в тот самый момент, когда свобода и равенство, купленные ценой стольких жертв, обещали процветание и изобилие! Кто мог бы поддержать такую идею?

Мы, безусловно, хотим свободы и равенства; но равенства в изобилии, а не в нищете. Мы хотим равенства, мы полны решимости купить его ценой всех опасностей войны, но не ценой добровольного голода. Мы хотим равенства полного, абсолютного, даже равенства состояний, если оно необходимо для сохранения свободы; но мы ставим условием всем жертвам, которых оно потребует, чтобы это не стоило нам ни единого колоса при будущем урожае. Мы хотим свободы плодотворной, а не той, что несет бесплодие. Мы хотим жить равными и свободными, несомненно, но прежде всего мы хотим быть уверены в том, что сможем выжить.

Довольно распространенная ошибка среди людей грубых и невежественных - полагать, что богатые потребляют бесконечно больше, чем бедные, лишь потому, что они больше тратят. Такие люди путают два совершенно разных понятия: расходы и потребление. Они верят, к примеру, что человек, тратящий тысячу ливров в день, потребляет в тысячу раз больше, чем рабочий, чьи расходы ограничиваются двадцатью су; или что тот, кто тратит тридцать ливров на обед, съедает в девять раз больше того, кто обедает за один экю. Они скажут вам: *«Если бы этот богач потратил на свой обед всего один экю, то двадцать семь других человек, которые остались без обеда, могли бы плотно поест на остальные двадцать семь ливров»*.

Однако те десять экю, которые этот человек тратит на свой обед, - это лишь возможность выбирать способы потребления, блюда и напитки, а вовсе не способность поглотить всё это в большем количестве, чем позволяют его пищеварение и объем желудка. Такие критики не видят, что эти тридцать ливров на самом деле оплачивают, помимо его собственного обеда, трапезу двадцати пяти или двадцати шести человек, которые прямо или косвенно трудились над его приготовлением. Дом и кухня богача - это на самом деле всего лишь мастерская, где разные люди, работая не для того, чтобы увеличить потребление одного человека, а чтобы изменить его форму, трудятся прежде всего ради собственного пропитания, которое включено в общие расходы этого дома и этой кухни. Таким образом, при упразднении кухни богача не будет сэкономлено ни унции продовольствия; произойдет лишь перемещение кухни и поваров.

будут земли. Но чтобы использовать эти руки с пользой, нужно, чтобы господа были на местах». (Выдержка из статьи «УДОБРЕНИЕ» [FERTILISATION] в «Философском словаре».)

Вопрос о том, дает ли большой участок земли, обрабатываемый одним владельцем, больший валовой или чистый продукт, чем тот же участок, разделенный на мелкие владения и обрабатываемый каждым собственником отдельно, еще не решен окончательно. Это правда, что в целом в промышленности разделение труда между рабочими, занятыми одним и тем же делом, ведет к большему совершенству и экономии. Но до какой степени этот принцип применим к сельскому хозяйству или, в более широком смысле, к искусству, последовательные процессы которого привязаны к определенным периодам и порядку смены времен года? (Примечание Кондорсе к статье «УДОБРЕНИЕ» из «Философского словаря».)

Если доказано, что проекты уравнивателей противоречат производству, то очевидно, что они наносят вред и внешней безопасности. Меньше продукции - меньше населения; меньше населения - меньше сил. Франция кормит одного человека на каждые пять арпанов земли. В этом отношении она имеет преимущество перед Германией и Испанией. Но Англия, Швейцария и Голландия в этом же плане превосходят Францию. Нам необходимо сравняться с ними в этом, не теряя своего превосходства в другом.

Если греки победили персов, если римляне покорили мир, если франки победили римлян, то из этих примеров не стоит делать выводов против пользы многочисленного населения. Во-первых, изобретение пороха, полностью изменив военное искусство, лишило личную доблесть значительной части ее силы. Таким образом, численность стала необходимым ресурсом. Во-вторых, поскольку все воюющие народы сейчас изнежены примерно в равной степени, то преимущество, которое почти дикарские нравы некогда давали некоторым молодым народам перед древними развращенными нациями, больше не существует. И это еще одна причина искать преимущество в численности.

В конце концов, наше население, избыточное оно или нет, существует, оно здесь. Не может быть и речи о его уничтожении; и горе тому, кто осмелится поставить под угрозу само его существование.

Третья речь о социальной организации.

Произнесена в Лицее 10 февраля 1793 года (II год Французской республики).

Продолжение темы физических основ общества.

На прошлом заседании мы видели, что дикорастущих плодов земли недостаточно для пропитания общества, поскольку общественное состояние способствует размножению людей в пропорции, значительно превышающей ту, в которой необработанная земля воспроизводит свои дары. Мы видели, что для получения от земли обильного и постоянного воспроизводства средств к существованию необходимы две вещи, а именно: труд и авансы (предварительные вложения). Первоначальный труд и первые авансы нужны для расчистки земель; ежегодный труд и ежегодные авансы - для обработки и засева земли, а также для пропитания людей и скота во время работ. Признав таким образом принципы производства, мы заметили, что труд одного человека, облегченный и расширенный благодаря изобретению плуга и разделению ремесел, может обеспечить пропитание еще четверых, и, более того, в изобилии предоставить всем массу предметов наслаждения, из которых может складываться человеческое счастье.

Мы видели, как общество вместо того, чтобы взять землю в общее владение, доверило ее заботам отдельных лиц и передало ее, так сказать, под охрану частного интереса, согласившись с тем, что первоначальные работы и первые авансы по расчистке земель составляют наследственную земельную собственность. Мы видели, как труд и движимое имущество - будь то в применении к обработке земли или к полезным и изящным искусствам - обеспечили себе в ежегодном продукте земли долю гораздо более значительную, чем доля самого собственника. При этом они пользовались ею столь же законно и необходимо, как и сам владелец. Мы видели, что установленная таким образом собственность была самой надежной гарантией максимально обильного производства и, возможно, даже справедливого распределения плодов земли между людьми. Мы поняли, что любое посягательство на собственность, и тем более её отмена - привели бы к уничтожению культуры и гибели общества; а равенство, ставшее результатом грабежа, обернулось бы равенством в голоде и крайнем бедствии. Наконец, мы увидели, что с помощью очень простых и мягких законов можно было бы положить конец чудовищному неравенству, которое является скорее злоупотреблением, а не пороком самой собственности. Безопасность собственности, обеспечивая изобилие, которое создает спрос на труд

и, следовательно, щедро его оплачивает, была одним из самых эффективных способов достижения благосостояния народа, не портя при этом добродетелей, присущих его деятельной бедности.

Таков краткий итог нашего первого исследования социальной организации. Прежде чем оставить эту тему, я считаю нужным подтвердить несколькими примерами установленный мною абстрактный принцип. А именно: любой капитал, как бы он ни использовался, и любой труд, каким бы пустяковым он ни казался, **во-первых**, являются реальным вкладом в обработку земли и дают равное право на её продукты. Собственник земли или фермер-владелец большой части урожая на самом деле являются лишь хранителями общих средств к существованию. **Во-вторых**, хотя никакой закон не обязывает этого хранителя быть готовым каждый день и каждый час возвращать часть продуктов тем, кто потребует их для своего пропитания, этот возврат происходит неизменно. Это случается потому, что так велит закон природы, более властный, чем любой человеческий закон. Я говорю о законе, который заставляет человека постоянно стремиться к новым удовольствиям. Способность его разума к совершенствованию, а возможно, и его непостоянство, заставляют его ежесекундно совершать открытия везде, куда проникает его мысль, а привычка делает эти открытия необходимыми, стоит лишь раз их попробовать.

Задержимся еще на мгновение на этих истинах, и это не будет пустой тратой времени. Всем важно, а сегодня особенно, четко понимать, что такое земельная собственность. На неё нападают как на захваченное господство, как на ужасающее право морить голодом три четверти человечества. Под этим предлогом постоянно говорят об освобождении народа от мнимых опасностей - как будто богатство остается богатством, если его не тратить. Разве бесконечные обличения роскоши богачей (которую называют *неизбежным следствием богатства*) не доказывают также и то, что распределение этого богатства само по себе необходимо?

Я ограничусь двумя примерами, чтобы доказать зависимость, в которой находятся землевладельцы: 1) от капиталистов и рабочих мануфактур; 2) от капиталистов и сельскохозяйственных рабочих.

В качестве примера влияния мануфактурной промышленности на продовольственные ресурсы, собираемые собственником и земледельцем, я укажу на два великих народа, которые процветают у нас на глазах. Они не владеют и десятой частью территории, необходимой для их пропитания, но зато обладают многочисленными и совершенными мануфактурами. Население этих государств растет с каждым днем под защитой чисто морального влияния промышленности - этой искусной вдохновительницы фантазий и изобретательной создательницы всех человеческих потребностей. Эти два государства - **Голландия** и **Швейцария**, которые живут за счет Польши, Германии, Франции, а иногда и Италии.

Сравните процветание Голландии с состоянием Польши, которая её кормит. В этой Польше существуют только собственники, а все остальные - крепостные, то есть вещи, а не личности. Вы придете к странному результату: вы увидите, что Польша кормит лишь четверть того населения, которое могли бы пропитать её урожаи, в то время как Голландия, население которой в три раза превышает то количество людей, которое она способна прокормить, получает недостающее продовольствие из Польши. Таким образом, можно с точностью утверждать, что благодаря своей промышленности Голландия владеет тремя четвертями польских земель, прикрываясь именами посредников - князей, палатников и польских дворян. Сама же Польша, по сути, оказывается лишь обширным поместьем, принадлежащим верховной власти промышленности, которая производит в Голландии бархат, сукно, ратин и сыры.

Если великие государства живут за счет земель других великих государств только потому, что промышленность дает им на это право и создает законные основания, то разве внутри одного и того же государства, департамента или округа влияние промышленности (или, если угодно, ее настойчивые требования) может остаться безрезультатным при взаимодействии с соседом-землевладельцем? Ведь природа дала последнему больше хлеба, чем он может

съесть, и в результате он оказывается перед выбором: либо отдать этот хлеб крысам, лишив себя всяких благ, либо отдать его людям в обмен на их усердие и услуги.

Теперь я перейду к тому, чтобы показать, как землевладелец зависит от фермера, взявшегося за обработку его земель. Представим себе, что некая сила, стоящая выше человеческой воли, принудила бы собственников земли и владельцев капитала разойтись и забрать друг у друга то, что принадлежит каждому, запретив им любое взаимное общение. В ту же секунду землевладелец вернет себе все свои фермы, а владельцы капитала заберут своих лошадей, оboзы, семена и инструменты и покинут эти места.³ К чему приведет подобный разрыв?

У землевладельца останутся земли, но не будет плугов; останутся луга, но не будет скота; останутся амбары, но не будет урожая. Рабочие, брошенные уехавшими фермерами, толпами придут обрабатывать землю, но не найдется зерна, чтобы их прокормить, так как зерно принадлежало фермерам, и они уехали, забрав с собой все свое имущество. И вот эти собственники, еще недавно столь богатые, великолепные и могущественные - те, кого считали абсолютно независимыми, и кто сам был убежден, что все зависит от них, а они не зависят ни от кого, - вынуждены тратить на обработку лишь малой части своих обширных владений ту самую ренту, которую они получали натурой от своих фермеров, и которую планировали потратить на роскошь и удовольствия. Они окажутся лишены привычных благ ради обеспечения простого выживания. И они не смогут вернуться к достатку, перейти от достатка к изобилию, а от изобилия к излишествам иначе как путем ежегодной строгой экономии, чтобы сформировать капитал и тем самым постепенно, в течение столетий, накопить и заместить капиталы, вывезенные из страны.

Безусловно, фермер со своей стороны тоже понесет огромный ущерб от такого переезда, но здесь речь не о том, чтобы доказать зависимость фермера от землевладельца.

Можно было бы - и даже весьма легко - продемонстрировать тесную взаимозависимость, существующую между всеми классами общества, между всеми видами собственности и всеми видами труда. В конечном счете все живут и существуют благодаря какому-то закону или, вернее, некоей охранительной, хотя и невидимой силе. Слишком многие люди, несомненно, живут несчастно - кто станет это отрицать? Но принцип, благодаря которому они живут вопреки невзгодам, сильнее и универсальнее, чем причина этих невзгод, которая не может привести к полному разрушению. Вполне возможно, и даже очень легко усилить энергию этого благотворного принципа и заставить другой полностью исчезнуть. Думаю, мы признали эту истину в нашем предыдущем исследовании.

Остановимся же на этой важной истине: несмотря на захват земель одними народами и изгнание других в болота или на скалы, несмотря на оккупацию самых прекрасных и обширных регионов у первых народов. Из-за того, что небольшое число людей владело всем, а все остальные были полностью лишены собственности - человеческие институты со временем приспособились к тому великому закону природы, который так красноречиво провозглашал Руссо: закону, согласно которому земля не принадлежит никому, а её плоды принадлежат всем. В действительности пожелание Руссо исполнено: на самом деле **земля принадлежит лишь человеческому труду**. Она является лишь вверенным имуществом в руках того, кого называют собственником; вознаграждение же, которое он получает, - это лишь плата за его надзор, а также за его первые труды или труды его предков по освоению этой земли. Собственник допускает капиталиста к разделу ежегодных продуктов лишь в той мере, в какой капиталы - сформированные путём сбережения даров, полученных только **благодаря прошлому труду**, - используются для обеспечения средств к существованию тех, кто занят трудом текущим. Наконец, земля принадлежит всем видам работ, потому что работы в ремеслах, как и

³ Землевладельцам было бы бесполезно утверждать в такой ситуации, что капиталы промышленных классов сформированы из продукта их земель; те все равно забрали бы их с собой, и были бы правы. Каким бы ни было происхождение этих капиталов, они являются священной собственностью. Изначально они могли сформироваться только благодаря сбережениям наемных работников из их заработной платы. А капитал, созданный за счет отказа от законных удовольствий, столь же законен, как и сами эти удовольствия.

работы на земле, являются лишь взаимными услугами людей, которые ими занимаются; это лишь обмен их усилий, и именно труд человека дает ему право на блага земли.

Изучив, как люди в общественном состоянии объединяются между собой и с капиталами для воспроизводства средств к существованию, и как общество соединилось с природой и, так сказать, «обвенчалось» с землей, чтобы сделать её плодородной, мы должны теперь признать, как формировались и распределялись различные группы жилищ, которые называют деревнями, местечками, городами и столицами. Ведь отнюдь не случай дал им рождение и распределил их так по поверхности цивилизованных стран. Воссоздать историю их формирования - значит провести их анализ, значит дать возможность оценить их по достоинству.

Чтобы не вдаваться в излишние детали, мы будем говорить только о сельскохозяйственных странах, таких как Франция. Формирование и распределение городов и деревень в странах чисто мануфактурных или морских происходило по иным принципам, но это лишь частные случаи. Какое бы применение ни находила земля - будь то пастбища, пшеничные поля или виноградники, - необходимо, чтобы фермеры или работники, которые руководят трудом, жили совсем рядом. В противном случае время, которое потребовалось бы, чтобы дойти до своих полей и вернуться в свои дома, поглощало бы слишком большую часть дня. Отсюда возникла необходимость в деревнях. Рядом с земледельцами должны селиться некоторые рабочие, чтобы изготавливать и ремонтировать инструменты, плуги и повозки, которых требует сельскохозяйственная эксплуатация. Размер деревень обычно пропорционален числу земледельцев, обрабатывающих окрестные земли, и числу ремесленников, чьи услуги необходимы этим земледельцам.

Земледельцам нужно продавать свои продукты; кроме того, им, как и окружающим их ремесленникам, нужно покупать некоторые товары или предметы потребления, которые не производит их земля или их промысел. Поскольку жители деревень испытывают потребность продавать и покупать, они заинтересованы в том, чтобы иметь возможность покупать и продавать в одном и том же месте и в одно и то же время. Для этой цели в кантоне, в центре нескольких деревень, устанавливается рынок.

Если бы земледельцу приходилось ждать покупателя у себя дома, чтобы продать имеющиеся у него продукты, он часто был бы вынужден оставаться дома в то время, когда его труд необходим в поле. Он также не смог бы установить цену или стоимость своего товара. Если бы ему также приходилось ждать бродячего торговца, чтобы обеспечить себя железом, солью или сахаром, необходимыми для потребления, он мог бы очень часто испытывать нехватку этих товаров; кроме того, его бы постоянно обманывали в честной цене. Наконец, он был бы вынужден оплачивать торговцу расходы на постоянные разъезды, что чрезвычайно удорожило бы крупногабаритные и малоценные товары. Если бы только ради того, чтобы продать и купить, приходилось отправляться в очень удаленный город, расходы и потеря времени были бы еще более значительными.

Из этих обстоятельств родилась необходимость в местечках (bourg); там рынки проводятся два или три раза в неделю; там селятся торговцы и ремесленники; жители деревень привозят туда свои продукты. Эти продукты скупаются мелкими торговцами, которые затем перепродают их в городе. Жители деревень покупают у этих же торговцев вещи, в которых нуждаются. Цены регулируются конкурентным взаимодействием покупателей и продавцов, что является их истинным мерилем; покупка необходимого и продажа излишков - всё это происходит в одно и то же время и за одну поездку.

Поселения естественным образом соразмеряются с количеством и богатством деревень, которые они обслуживают, числом торговцев и ремесленников, привлеченных достатком края, а также количеством мелких собственников, которых могли побудить здесь обособиться красота или удобство местности. Поскольку не все земли производят одни и те же продукты, и не везде сосредоточены одни и те же мануфактуры, становится необходимым существование крупных рынков, куда оптом свозятся товары и продукты, которые затем должны распределяться по разным местам небольшими партиями или храниться для нужд определенной местности. Отсюда возникает **необходимость в городах**.

Их формированию мощно способствует наличие крупных землевладельцев или обладателей капиталов. Эти собственники по большей части праздны; все они призваны к примерно одинаковому образу жизни; у них почти идентичные интересы; общее образование еще больше усиливает это сходство. Таким образом, подобие их положения, идей, привычек и возможностей неизбежно заставляет их искать сближения. Кроме того, они чувствуют, что естественным результатом тесного союза является приумножение удовольствий каждого за пределы его собственных возможностей, позволяя ему участвовать в разнообразных наслаждениях всех остальных. Это также ведет к совершенствованию не той глубокой и интимной общительности, которая соединяет людей сердцами, а той внешней общительности, которую называют вежливостью и учтивостью, и которая объединяет людей умом и манерами. Такая общительность должна была бы быть только дополнением и украшением первой, но для людей, избавленных от несчастий и горестей, она заменяет её, обладая своими тонкостями и наслаждениями.

Когда несколько крупных владельцев земель или капиталов объединяются с купцами, которых необходимость большого рынка собрала в определенном месте, вокруг них множатся и суетятся ремесленники всех видов. Возводятся роскошные дома для богатых людей; а рядом с этими блестящими зданиями - множество скромных жилищ для рабочих, которые строят и украшают первые, а также для ремесленников, которые будут жить за счет ежедневных трат собравшихся здесь богачей. **Так рождается город.**

Не физическая организация обществ требует или приводит к образованию столиц, а институт правительства. Слово «столица» (*capitale*) происходит от *caput*, «голова»; это не означает, что столица является головой государства, но это место, где пребывает глава правительства. По правде говоря, столица - это обычное средоточие очень крупных собственников; но причина этого в том, что там находится верхушка государственного аппарата. Чрезмерное богатство всегда стремится максимально приблизиться к чрезмерной власти, либо чтобы принять в ней участие, либо чтобы найти в ней опору. Таким образом, в обществе без правительства столицы бы не существовало. В обществе, где центральная власть правительства была бы кочующей, столицы бы тоже не было. В обществе, где глава правительства не будет обладать колоссальным весом, где эта власть будет республиканской - то есть соразмерной реальным услугам, которых требует управление свободным государством, - столица не будет столь огромной, как в странах, где глава правительства носит корону. Там, где ему присвоены великая власть, обширные прерогативы и огромное содержание как необходимое дополнение к авторитету, который не оправдан самой природой вещей и который по этой причине люди и обстоятельства постоянно и единодушно атакуют и подрывают. Существование столиц и их масштаб, следовательно, зависят от существования, местопребывания, постоянства и объема полномочий главы правительства.

Однако следует заметить: там, где политический закон учреждает столицу, он должен также способствовать в ней известному величию и проявлять тот вид национального величия, который допускает конституция, либо же прививать скромность и строгость, которых она требует. Это нужно для того, чтобы примеры исходили из того же источника, что и правила, и чтобы нравы соответствовали законам.

Вскоре мы увидим, хорошо ли, когда существуют столицы. Но здесь следует ещё отметить, что если невозможно создать столицу иначе, чем разместив в ней высшие органы государственной власти, то точно так же нельзя лишить статуса столицы город, в котором эти органы уже находятся. Нельзя утверждать, к примеру, что Париж перестал быть столицей, пока в нем пребывают законодательный корпус, исполнительная власть и кассационный суд.

Было бы огромным противоречием - как того желают некоторые современные политики - пытаться лишить его тех художественных богатств, которыми он владеет уже долгое время. Эти ценности являются также и моральным достоянием, поскольку большинство наших памятников могут служить стимулом к тем добродетелям, в любви и распространении которых заинтересована республика.

Мы только что увидели, что представляют собой столица, город, малый город и деревня. Рассмотрим теперь их взаимоотношения. Точно не известно, в какой пропорции городское население соотносится с сельским. Два английских автора (Кантильон в «Эссе о природе торговли», часть II, глава III, и Артур Янг) полагают, что половина жителей государства проживает в городах. Мого («Исследования о народонаселении») считает, что во Франции две трети населения живут в сельской местности. Этот факт полезно знать, как мы увидим в дальнейшем.

Нам предстоит рассмотреть общий вопрос относительно **очень крупных городов** и столиц, которые - то из-за ложно понятого усердия в интересах деревни, то из-за рвения, то республиканского, то «ангельского» в вопросах морали - без разбора обвиняются во всех бедах общества. Мы уже знаем, что интересы самого сельского хозяйства потребовали создания малых и больших городов; они необходимы как *рынки* для продажи излишков сельской продукции и покупки того, чего не хватает в деревне. Таким образом, их польза неизменна. Посмотрим теперь, не являются ли недостатки, на которые жалуются, лишь злоупотреблениями, вполне отделимыми от самого явления и поддающимися исправлению, и не компенсируются ли они иными преимуществами.

Мы говорили, что города обычно служат местом жительства собственников, и что собственники в целом распределяются по малым городам, крупным городам и столицам в зависимости от того, является ли их состояние скромным, крупным или огромным. Таким образом, собственники отдаляются от своих земель по мере того, как эти владения расширяются. Вот первый факт, который представляет собой серьезное неудобство для сельского хозяйства.

Земля, как мы уже говорили, нуждается в капитале для процветания. Собственник, находящийся вдали от своей земли, не видит и не осознает этой потребности. Он не может найти удовольствия в том, чтобы сажать леса, строить, выкармливать скот. Это столь интересное и трогательное зрелище созидания, которое собственник может поддерживать вокруг себя - выращивание животных, забота о людях, число которых может расти в условиях благополучной жизни - всё это теряет ценность для человека, удаленного от своего имущества, и земля страдает от безразличия отсутствующего владельца.

Собственник, чуждый своим владениям, не только не откладывает средств на их улучшение и не прилагает труда для повышения их плодородия, но даже постоянно и различными способами стремится к их истощению.

Эта часто ненасытная жажда пустых удовольствий, столь далеких от наших истинных нужд, что они кажутся почти чуждыми нашей природе; эта мука капризов и фантазий, которые возбуждаются в городах нашими нравами, неравенством и стараниями всех видов промышленности, почти всегда толкают богатого горожанина на расходы, совершенно несоразмерные его средствам. Отсюда - притеснение фермеров, выжимание всех ресурсов; отсюда же и те предварительные платежи, называемые «наградными» (*pots de vin*), которые при передаче фермы в аренду лишают земледельца капитала, который он хотел бы направить на полезные вложения в землю. Это обрекает землю на бесплодие и оборачивается «мертвыми потерями», в десять раз превышающими реальную выгоду.

И это еще не всё: проживание крупных собственников в больших городах ежегодно стягивает туда стоимость как минимум трети дохода с земель, составляющего земельную ренту. И эти деньги никогда не возвращаются к своему источнику, если только их не привлекут обратно мануфактуры, что не может быть повсеместным явлением. Таким образом, окраины государства регулярно **выплачивают дань** центральному пункту. Что же из этого следует? А следует то, что деньги в центре обесцениваются из-за их постепенно растущего избытка, и что он приводит к росту цен на окраинах, где товары становятся с каждым днем всё более дефицитными. Как следствие, стоимость продовольствия в центре возрастает до чрезмерных пределов, в то время как на окраинах эти товары обесцениваются. В результате, чтобы оплатить в столице продукт, произведенный на одном арпане земли, приходится отдавать продукт десяти, двадцати или даже тридцати арпанов из приграничных провинций. Таким образом, налог, основные расходы по которому осуществляются в центре, оплачивает малую долю труда, но обходится очень дорого владельцам собственности, которые его выплачивают.

Таковы основные экономические недостатки столиц и крупных городов. Однако они не являются неисправимыми. Политические институты и, прежде всего, мягкое воздействие общественных нравов могут заставить крупных собственников вернуться в свои поместья. Что же нужно добавить во Франции к тому, что уже сделано для достижения этой цели? Раз больше нет королей, не будет больше ни двора, ни царедворцев; не будет больше жалований, привязанных к титулам без реальных функций, как не будет и высоких окладов, привязанных к какой-либо должности вообще. Таким образом, у богатых наследников исчезнет повод для стяжательства в городах. Амбиции людей, занимающих государственные посты, вместо того чтобы притягивать их в столицу, заставят заурядных людей - которых большинство - вернуться в свои владения. Им будет гораздо проще привлечь к себе внимание и получить поддержку народа там, нежели оставаясь незаметными в огромном городе. Любовь к спокойствию - если Республике суждено всегда или долгое время пребывать в волнении - заставит людей избегать городов, которые неизменно остаются очагами беспорядков и центрами крупных потрясений. Республиканская скромность поспешит укрыться от блеска показной роскоши, которая может сиять лишь в больших городах, чтобы искать, совершенствовать и множить удовольствия и удобства, которые лучше всего можно совместить и оценить в сельской местности. Добавьте к этим обстоятельствам интерес, который глубокое уважение к собственности внушило бы владельцам для повышения доходности их поместий, - и вы сделаете достаточно, чтобы вернуть богатых людей к земле, которая их кормит и обогащает. Сама природа заставит их любить свое достоинство, если гражданские и моральные институты помогут им его познать.

Недостатки крупных городов, как мы видим, не только вполне поддаются исправлению, но и могут быть уравновешены значительными **преимуществами**.

1. Только крупные города способны утвердить хороший вкус в изящных искусствах.
2. Они служат ориентиром для общественного мнения в государственных делах.
3. Они становятся полезными очагами национального духа.
4. Только крупные города могут сохранять и развивать те редкие науки, которые требуют периодических или регулярных встреч людей, посвятивших себя их изучению.
5. Только они могут взрастить высококвалифицированных специалистов в других науках, таких как медицина, требующих обширной практики, поскольку только здесь постоянно находятся объекты для опыта или наблюдения. Только крупные города позволяют сделать помощь этих ученых выгодной для тех, кто ее продает, не обременяя при этом тех, кто ее получает.⁴
6. Большие города необходимы для общения выдающихся талантов во всех областях с иностранцами: столица должна быть, так сказать, рынком произведений гения.
7. Наконец, они необходимы для старости: должны существовать места, ставшие средоточием всевозможной помощи, где старики могли бы обосноваться и дожить свой век. Я бы охотно добавил, что там они находят единственные удовольствия, которые им еще доступны - общество избранных сверстников. Ведь человек, который не смеет смотреть в будущее, видя в нем лишь свой конец, может жить только воспоминаниями. Поэтому ему не может быть по душе компания юноши, который, торопя время, стремительно несется в самые далекие пространства будущего, предаваясь иллюзиям, которые вызывают у стариков лишь раздражение или презрение.

Рассмотрев факторы, служащие питанием общества, распределение собственности и социальных жилищ, мы переходим к изучению того, какие люди формируют гражданское или политическое общество. Прежде всего исследуем, не являются ли они по самой природе вещей одинокими мужчинами и совершеннолетними мужчинами.

⁴ Например, городской врач принимает тридцать больных за то же время, за которое сельский врач принимает одного или двух. Следовательно, первый гораздо легче приобретает опыт, чем второй. И значит, получая меньшее вознаграждение от каждого отдельного пациента, он может извлекать больше прибыли.

До возникновения гражданского общества существовало семейное общество. Оно встречается как у дикарей, так и среди животных; оно создано самой природой. Никакое человеческое установление не могло его создать и не сможет разрушить. Какова цель семейного общества? Союз полов, сохранение женщин и пропитание детей. Брачный союз, возникнув благодаря взаимному влечению полов, поддерживается интересами женщины и детей. Женщина беременеет, становится матерью и кормилицей; в этих различных ситуациях муж обеспечивает её средствами к существованию и ограждает от опасностей. Таким образом, на женщину возложен труд по воспроизводству, первичному вскармливанию и непосредственной заботе о детях, а мужчина обязан на протяжении всего времени, пока длится эта забота, поддерживать её, помогать ей и защищать от любых угроз.

Союз полов и пропитание детей - это общие интересы супругов, в которых они равны. Однако сохранение женщины, будучи также их общим интересом, не является для них равнозначным: у женщины есть личная заинтересованность в собственном выживании, тогда как у супруга этот интерес продиктован лишь привязанностью. Тем не менее именно на заботах и трудах одного лишь мужчины зиждется это благополучие женщины. Именно он во время беременности и кормления грудью должен бодрствовать, охотиться, ловить рыбу, пахать и собирать урожай для неё; именно он должен ограждать её от всевозможных опасностей, которые могут ей угрожать. Несомненно, страдания женщины гораздо тяжелее, чем труд мужчины. Она вправе требовать такую цену за союз, который, возможно, приносит ей столько же удовольствия, сколько и её мужу, но совершенно точно стоит ей гораздо больших мучений. Но если страдания женщины не приносят мужу никакой выгоды, то труд мужа является спасением для женщины. Следовательно, брачный союз служит защитой для женщины, так же как он, очевидно, служит защитой для детей. Эта защита, безусловно, приобретена законно и оплачена довольно дорого, но, в конечном счете, это именно защита.

Такова сущность брачного союза: в нем кроются истоки и природа того, что называют супружеской властью - властью, которая заключается не в праве командовать женщиной, а в возможности делать без её участия то, что касается её пропитания и обеспечения её семьи. Эта власть не ведет к господству, а лишь определяет условия служения.

Неверно утверждение многих писателей о том, что гражданское общество является лишь расширением семейного уклада. Это мнение было выдуманно для лести королям; его целью было вывести их власть из власти отцов, когда пришлось отказаться от идеи о её божественном происхождении. На самом же деле именно домашнее общество стало основным мотивом для создания общества гражданского.

В естественном состоянии, как мы только что видели, безопасность женщины зависит от её супруга; она может просить об этом только его и надеяться только на него. Природа не указала ей и не дала никого другого в качестве стража и хранителя, и она не нуждается ни в ком ином. Но муж черпает собственную безопасность и безопасность своей семьи в самом себе, в своей силе, ловкости и бдительности. Поэтому, если он сталкивается с трудностями или предвидит их со стороны других людей, способных поспорить с ним за добычу или плоды; если он опасается войны с ними; если он боится, что его сил и стараний будет недостаточно для общей безопасности - именно он испытывает потребность и признает необходимость вступить в общество. И с кем же, по его мнению, следует заключить этот союз? С теми, кто, имея те же потребности, те же права и те же силы, что и он, беспокоят его столкновением интересов и своей физической мощью; с теми, кто, также имея жену и детей, которых нужно кормить и охранять, имеет еще более насущный интерес, чем собственное выживание - сделать плоды земли изобильными через труд или мирно разделить то, что природа предлагает сама; одним словом, с другими мужчинами.

Таким образом, первоосновой обществ является соглашение мужчин между собой - соглашение, цель которого состоит в том, чтобы лучше обеспечить покой и безопасность женщин в том великом и тягостном труде, которым их наделила природа; предоставить им более легкую и действенную помощь; одним словом, лучше исполнять перед их полом обязанности

нашего пола. Гражданское общество, таким образом, является лишь гарантией общества домашнего. Следовательно, формирование гражданского общества - это не что иное, как акт проявления домашней власти мужчин или, вернее, средство для выполнения их семейных обязанностей и реализации соглашений супружеского союза. Из вышесказанного вытекает очевидное следствие: если семейное общество предшествует обществу гражданскому; если оно является непосредственным творением природы; если природа непрестанно возобновляет это общество своей неизменной волей, запечатленной во всех чувствах и во всех человеческих способностях; если гражданское общество - это лишь гарантия общества домашнего и средство выполнения основного условия этого естественного и необходимого союза, то было бы абсурдно утверждать, что женщины могут принимать непосредственное участие в общественных соглашениях. Это значило бы идти наперекор цели, приносить цель в жертву средствам; это значило бы если не распускать домашнее общество, то, по крайней мере, считать его несуществующим, ибо каждый из супругов в гражданском обществе мог бы голосовать против интересов своего союза, против своего обязательства, против своего партнера. Это значило бы подвергнуть риску обсуждения то, что природа установила как факт, и вынести на рассмотрение то, что она дала как заповедь; это значило бы сделать через гражданское общество шатким тот естественный институт, который гражданское общество призвано укреплять и гарантировать.

Предположим, что сто торговых товариществ, состоящих из двух человек каждое, имеют некие общие интересы и говорят себе: «Давайте объединимся, чтобы поддерживать друг друга». Разве не ясно, что каждое товарищество может быть лишь единицей в общей конфедерации или объединении; что оно должно передать полномочия одному из своих членов для представительства; что это объединение будет союзом обществ, а не союзом индивидов? Если бы было иначе, если бы решения объединения принимались при участии всех лиц, составляющих входящие в него общества, могло бы случиться так, что разногласия возникли бы между всеми участниками каждого из этих обществ. То есть один из членов каждого общества оказался бы в оппозиции к своему партнеру. Безусловно, при таком положении дел наступил бы распад, а не гарантия сохранности всех отдельных обществ; или, если угодно, произошло бы смешение всех обществ, слияние их всех в одно общее общество, но не ассоциация каждого из них.

Что ж, то же самое произошло бы, если бы все члены супружеского союза были индивидуально допущены в гражданское общество. Они могли бы, несомненно, быть соединены гражданской связью, но домашнее общество более не было бы гарантировано, поскольку все его члены были бы вольны совместно разрушить или, по крайней мере, пошатнуть то, что они создали в частном порядке. Существовала бы такая разница между смешением различных супружеских союзов в одно общество и смешением различных коммерческих компаний: то же самое соглашение, которое установило последние, могло бы быть аннулировано теми, кто его заключил; в то время как человек не может вступать в сделки по поводу того, что создала природа, по поводу обязанностей, которые она на него возложила, и обязательств, которые он принял под её непосредственным руководством.

Если формирование гражданского общества - это лишь акт власти или, скорее, обязанностей мужчин по отношению к их семьям и гарантия супружеских соглашений, то из этого следует, что осуществление политических полномочий, установленных для безопасности общественных договоров, может быть точно так же лишь продолжением их домашних обязанностей. И, таким образом, **женщины, являющиеся объектом этих обязанностей, не могут принимать в этом участия.** Было бы, в самом деле, странным противоречием обременять женщин бесконечными трудами на благо общества после того, как это общество было учреждено, чтобы обеспечить им больше покоя или, вернее, чтобы сберечь их силы и время для физического труда, который был возложен на них природой. Мы бы сделали для них в общественном состоянии меньше, чем в состоянии грубой и дикой природы.

Женщины не должны принимать в делах управления участия большего, чем они принимают в других трудах общества. Они не являются ни земледельцами, ни ремесленниками, ни

извозчиками. Между тем эти профессии не запрещены им никаким законом; ни одна из них не требует особого образования. Следовательно, женщины сами определили свою долю в общем распределении человеческих занятий или согласились на то распределение, которое было произведено.

Женщины создают людей; дело мужчин - работать для женщин.

Один довольно резкий философ, когда его спросили, почему госпожа де Сталь, бывшая в ту пору беременной, не могла бы стать послом Швеции, ответил лишь вопросом: а почему госпожа де Сталь не могла бы просто быть беременной женщиной? Материнство - это долг, от которого ничто не должно отвлекать; это также уединенное наслаждение, требующее сосредоточенности. Нужно собрать всю эту силу любви, чтобы сохранить её чистой и цельной. Уберегите слово *права* из трудов о политике, назовите их политическими *обязанностями*, и вопрос вскоре будет решен; ведь некоторые философы из галантности добиваются для дам именно прав, а вовсе не обязанностей. Я обнаружил теорию, которую только что изложил, представленной, так сказать, в красках - в описании одного из островов Новой Зеландии, сделанном капитаном Куком. *«Господа Банкс и Соландер, - пишет он, - сошли на берег; [...] так как они вернулись лишь поздно вечером, им представилась возможность понаблюдать, как туземцы устраиваются на ночлег. У них не было иного убежища, кроме нескольких навесов из ветвей; женщины и дети располагались чуть дальше от моря, чем мужчины, которые образовывали вокруг них подобие полукруга и ставили свое оружие рядом с собой, прислонив к деревьям; это доказывает, что они постоянно опасались нападения какого-нибудь близкого врага».*

Вот, как мне кажется, истинная картина: женщины заняты своим домашним хозяйством, а мужчины исполняют общественные функции - то есть обеспечивают безопасность своих жен и детей, создавая вокруг них своими телами живой оплот.

Здесь спрашивают: какова же будет гарантия для женщин против мужчин? Нам замечают, что мужчины считают необходимым заключать соглашения, чтобы находиться в безопасности друг рядом с другом; почему же женщины должны полагаться на добрую волю мужчин? Ответ таков: мужчины заключают между собой соглашения, потому что они подобны друг другу; мужчинам же и женщинам нет нужды заключать их между полами, потому что они различны. Мужчины боятся друг друга; мужчины и женщины любят друг друга. Мужчины объединяются между собой из страха перед злом; мужчины и женщины объединяются ради привлекательности удовольствия. Мужчины нуждаются в других людях как в посредниках в своих спорах; у женщин и мужчин в их разногласиях есть посредничество самой природы.

Мужчины равны и независимы: необходимы конвенции, чтобы обеспечить взаимность их услуг; мужчины и женщины не являются таковыми по отношению друг к другу, ибо мужчины рождены, чтобы служить женщинам, или, если угодно, защищать их, подобно тому как солдаты защищают страну, которая делает их счастливыми. Какое соглашение могло бы предписать эту службу, и в каком соглашении эта служба нуждается, раз она предшествовала им всем? Существуют ли законы, диктующие матерям, как им любить своих детей? Разве любовь, победившая столько тираний и восторжествовавшая над столькими варварскими законами, нуждается в социальных законах, чтобы поддержать свое могущество?

— *«Любовь, - скажете вы, - существует только в пору расцвета сил».* Ошибка! Она существует для детства в виде предчувствий, для старости - в виде воспоминаний. Нечто от неё присутствует во всех отношениях между полами; нечто от неё есть в чистой дружбе мужчины к женщине - дружбе, которая всегда нежнее, чем дружба мужчин между собой или женщин между собой. Нечто от неё есть, осмелюсь сказать, даже в чувствах деда к своей внучке или маленького мальчика к своей бабушке.

— *«Разве не существует домашних тиранов? Что защищает женщин от них? Законы, законы, созданные мужчинами».* - Всё человечество любит вас, начиная с ваших собственных тиранов.

— *«Но разве нет целых стран и огромных земель, населенных женщинами-рабынями?»* - Да; но видите ли вы в этих странах хоть одного свободного человека, видите ли вы там настоящих

мужчин? Вид азиатских сералей ужасает вас; но меня еще больше пугает то, что вся страна, в которой заключены эти серали, не что иное, как каторга.

— *«Но во Франции, разве не было момента, когда женщины не подвергались опасности получить "lettres de cachet" [прим.: королевские указы о внесудебном аресте]?»* - Да; но и мужчины тоже. Во всех свободных странах, где нет таких указов для мужчин - в Америке, в Англии, в Швейцарии, в возрожденной Франции, - видите ли вы, чтобы они существовали для женщин?

— *«Но почему же в странах, где царит рабство, женщины должны быть брошены в домашнее рабство?»* - Это не вина мужчин, это вина тиранов. Дело в том, что в порабощенных странах может быть только один господин - деспот; женщины же являются королевами везде, где они не рабыни, а иногда даже и там, где они ими остаются.

— *«Но почему при деспотических режимах закон, отдающий женщин под власть мужчин, исполняется мужчинами так же строго, как если бы они сами его создали?»* - Потому что рабство, унижающее разум, уничтожает нравственную любовь, чувство которой доступно лишь тонким и совершенным натурам.

Общие интересы и, в частности, интересы самих женщин требуют, чтобы политические функции оставались им чужды. *«Не делайте из спутниц вашей жизни соперниц»*, - сказал Талейран-Перигор, - *«пусть, пусть в этом мире сохраняется союз, который никакое соперничество не сможет разрушить»*. *«Говорят, что в великие моменты женщины укрепляли характер мужчин. Это происходило потому, что они находились вне поприща борьбы. Если бы они стремились к той же славе, то потеряли бы право распределять награды»*.

Я знаю, что **Кондорсе** писал о правах женщин. Он считает, что они должны пользоваться политическими правами: *«Либо ни один представитель человеческого рода не обладает правами, либо все обладают одинаковыми»*. Прежде всего, это утверждение не совсем верно. Доказано, что женщины, как и дети, имеют право на труд мужчин, в то время как мужчины не имеют права на труд женщин. Но даже если бы их права были равны, разве не существовало бы различных способов их реализации? Женщины реализуют свои права в домашней сфере под властью природы, а также под защитой закона; мужчины реализуют свои права только под защитой закона. Именно с женщинами обращаются лучше всего.

«Почему, - спрашивает Кондорсе, - существа, подверженные беременностям и временным недомоганиям, не могут пользоваться правами, которых никто и не думал лишать людей, страдающих подагрой каждую зиму или легко простужающихся?» - **Ответ:** здесь речь идет не о правах, а об обязанностях. Во-первых, больные подагрой и простуженные обычно освобождаются от любых обременительных обязанностей. Во-вторых, мужчины, которые каждую зиму страдают подагрой или постоянно простужаются, встречаются редко; а беременные женщины, кормящие матери или временно недомогающие женщины - нет.

«Женщины, - продолжает Кондорсе, - обладают теми же способностями, что и мужчины. Даже если допустить, что они не наделены гениальностью, как некоторые, разве они не стоят наравне со всеми остальными?» - **Ответ:** несомненно, они обладают теми же интеллектуальными способностями, что и мужчины, но у них есть и множество других занятий. И эти занятия, не терпящие никакого отвлечения внимания, порой даже превосходят их силы и требуют нашей помощи.

Кондорсе нельзя считать беспристрастным, когда он говорит в пользу женщин, так же как и Сократа, когда тот высказывался против них. У обоих были слишком веские причины думать именно так, как они думали. Ничто, пожалуй, не доказывает лучше, чем сочинение Кондорсе, написанное в забвении философии, и в присутствии его жены, ту истину, что женщинам достаточно их домашней власти, чтобы влиять на мужчин сверх своих прав.

Мы только что проанализировали права и интересы женщин. Мы видим, что эти права и интересы согласуются с действительностью, ставя их, если можно так выразиться, выше гражданского общества, но не внутри него. Теперь мы вправе сделать вывод, что социальная организация призвана их оберегать, но сами они не являются её частью. Добавим еще одно наблюдение. Даже если бы у женщин было право и заинтересованность в исполнении общественных функций, это исполнение было бы невозможным. В самом деле, как бы они их осуществляли?

Либо их представляли бы депутаты их пола, либо депутаты нашего. Опять же, одно из двух: либо их представляли бы во всех делах, либо только в тех, что касаются отношений между полами.

Если бы их представляли во всех делах депутаты их пола, тогда возникло бы множество случаев, когда их интересы совпадали бы с интересами их мужей; и результатом их голосования, которое в большинстве случаев совпадало бы с мнением их мужей, стало бы то, что женатые мужчины получили бы в обществе слишком значительное преимущество перед теми, кто не состоит в браке. Если бы интересы женщин представляли депутаты нашего пола, то и в этом случае они чаще всего объединялись бы в пользу своих мужей; таким образом, женатые мужчины, вероятнее всего, избирались бы чаще и в большем количестве, чем холостяки.

В общих делах следовало бы также опасаться опасности отвлечения внимания или соблазна - неизбежного следствия того неодолимого обаяния, которое всегда влечет один пол к другому, и той безмолвной просьбы, которую они постоянно обращают друг к другу ради удовлетворения самых нежных и сокровенных потребностей.

Сведется ли их представительство только к тем делам, в которых они заинтересованы? Но тогда они смогут выбирать депутатами лишь лиц противоположного пола, с которыми они находятся в состоянии борьбы, или, по крайней мере, от которых не смогут ожидать подлинной защиты. Если же они будут избирать представителей своего пола, то число таких депутатов должно быть равно числу мужчин; если бы их было меньше, их права оказались бы прозрачными; если бы больше - права мужчин стали бы мнимыми. Но если их число будет равным, кто разрешит спор в случае противостояния? Кто прекратит ссору? Я не вижу в собрании, где враждующие стороны схлестнулись друг с другом, места для судей.

Эти последние рассуждения отвечают на все, что можно было бы сказать в пользу вдов или совершеннолетних дочерей, даже если бы они не составляли исключения из общего положения женщин - исключения слишком ограниченного, чтобы его стоило принимать в расчет.

Таким образом, когда совершенствование обществ через свободу не гарантировало бы женщинам избавления от всех опасностей, у них не оставалось бы иного ресурса, кроме как довериться мужчинам, подобно тому как это происходит в естественном состоянии; доверяться им так, как дети доверяются им; полагаться на законы природы, которые не всегда всемогущи среди беспорядка наших обществ, но часто остаются таковыми и всегда имеют голос в совести огромного числа мужчин.

В завершение замечу, что моя доктрина не исключает женщин из права на доступ к государственному образованию; на управление больницами и службу в них - ведь это, по сути, домашние заботы, и на участие в семейном суде. Мы рассмотрим эти исключения в соответствующих местах.

Четвертая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее 17 февраля 1793 года (II год Французской республики).

Продолжение и окончание [раздела] о физических элементах общества.

Мы видели, что женщины в индивидуальном качестве не являются членами политического объединения. Поговорим теперь о детях. С первого взгляда совершенно очевидно, что дети не могут быть членами этого объединения. Но когда индивид перестает быть ребенком? Происходит ли это в тринадцать лет, как у евреев? В двадцать один год, как в Англии? В двадцать пять лет, как прежде во Франции? Или в тридцать лет при определенных обстоятельствах, а в других случаях раньше? Не продолжается ли это состояние до тех пор, пока жив отец семейства, как это соблюдалось у римлян? Наступает ли оно в период полового созревания или сразу после полного завершения роста? Указала ли природа определенную эпоху для

большинства? Если она это сделала, относится ли это к гражданскому праву или к праву политическому – кто будет изменять это? Вот вопросы, которые требуют разрешения.

Их решение зависит, в частности (даже больше, чем в вопросе прав женщин), от точного знания прав родителей в отношении своих детей, которое само зависит от точного анализа естественного режима семьи. Мы сейчас попытаемся провести этот анализ. Впрочем, он входил в курс наших исследований, ибо семья, будучи семенем общества, поставляющим и подготавливающим элементы, которые его возрождают, и будучи по этой причине первичной, будучи поставленной мужчиной, который является ее главой, под защиту гражданского общества, требует признания ее прав и ее режима для обеспечения их независимости. Незнание истинных принципов организации семей породило самые серьезные ошибки в наших политических и гражданских законах; оно породило, с одной стороны, наши варварские законы о браке и отцовской власти, а с другой – наделило её абсолютной и произвольной властью, окружив всеми возможными силами и престижем.

С одной стороны, утверждалось: семья – это исток политических обществ, их прототип и модель. Затем, с другой стороны, заявляли, что семья – это часть политических обществ, их зависимая единица, владение или собственность. Первое из этих мнений перенесло домашнюю власть в социальный строй; оно создало или оправдало абсолютную власть в руках одного человека. Однако в социальном строе такая власть может быть только тиранией, поскольку природа не наделила абсолютных правителей политических обществ родительскими чувствами к своим подданным, какими она наделила отцов по отношению к детям. Второе мнение, в свою очередь, привнесло тиранию гражданских институтов в сферу домашней власти; оно возвысило или, скорее, низвело мужей и отцов до уровня деспотов.

Таким образом, после того как одно мнение представило мнимые права отцов и мужей над семьей в качестве законного основания политической тирании, другое мнение использовало мнимую законность политической тирании как основание для тирании домашней. Сначала говорили: «Короли – это отцы своих народов»; а затем: «Отцы – это короли в своих домах». На самом же деле семья вовсе не является обществом, и ни в коем случае не служит его моделью. Общество не является семьей и не строится по её образцу. Устройство одного и другого принципиально различно. Семья основана на правах детей и женщин, а также на обязанностях мужей и отцов – правах и обязанностях, которые не являются взаимными и не могут ими быть. В семье мы видим лишь силу, знание и опыт, которые природа поставила на службу невежеству и слабости. Здесь нет союза или объединения, кроме как через различия и неравенство. Общество же, напротив, основано на полном сходстве, на строгом равенстве прав, которое влечет за собой полную и строгую взаимность обязанностей.

Именно ради сохранения семей нужно остерегаться устраивать общество по их подобию; и именно ради сохранения общества нужно остерегаться устраивать его по образу семей. В семьях следует рассматривать три различных типа отношений:

1. Отношения супругов между собой как мужа и жены;
2. Отношения супругов как отца и матери;
3. Отношения супругов, рассматриваемых вместе и по отдельности, к своим детям.

Отношения мужа и жены, рассматриваемых как супруги.

Какова природа этих отношений? Являются ли они одной из основ семейного состояния? Являются ли радости любви, в которых заключается привлекательность супружества, также и связующим звеном для их постоянного союза? Стремятся ли радости любви объединить одного мужчину с одной женщиной, или одного мужчину с несколькими женщинами, или нескольких мужчин с одной женщиной? Обладает ли один пол в этих радостях большими правами, чем другой? Может ли он требовать их как услугу, или навязывать их как дань? Вот вопросы, от которых зависит вся система наших брачных законов. Попробуем их рассмотреть.

I.

Тому, кто никогда не размышлял и не читал об этом, вопрос о полигамии (многоженстве) или полиандрии (многомужестве) показался бы очень странным и даже абсурдным; настолько то, что находится у нас перед глазами, кажется существующим всегда и везде. Но когда мы читаем, что в некоторых странах, например в королевстве Бантам, на одного мужчину приходится десять женщин; когда мы читаем, что в Азии и Африке женщины становятся половозрелыми уже в восемь или девять лет, то мы невольно задаемся вопросом: не указала ли сама природа некоторым народам на полигамию, не предписала ли она её одним и не разрешила ли, по крайней мере, всем? И человек осмеливается задать себе этот вопрос, видя в истории список цивилизованных и даже добродетельных народов, установивших многоженство, а также список древних философов, у которых было по несколько жен одновременно - список, в который, по словам Диогена Лаэртского, следует включить и имя Сократа, о котором все говорят, что он имел лишь одну жену, настолько он позволял изводить себя той, чье имя сохранила история. Еще меньше сомнений возникает, когда мы видим, как Монтескье верит в необходимость многоженства в случае значительного численного перевеса женщин над мужчинами в той или иной стране.

Прежде чем разбирать факты, на которых основывается доктрина **Монтескье**, изложим один вполне неизменный факт. Он известен нам не из преданий, а подтверждается самой природой, что куда надежнее: по всей земле - в Европе, Азии, Африке, в Бантаме - животные обоих полов одного и того же вида рождаются примерно в равном количестве. И ничто в природных аналогиях не дает оснований полагать, будто человеческий род в каком-либо месте является исключением из этого общего правила. Теперь я замечу, что в стране, где на одного мужчину приходилось бы десять женщин, для мужчины было бы гораздо труднее иметь несколько жен, чем там, где число мужчин и женщин примерно одинаково. Ведь десять женщин, бесспорно, были бы сильнее одного мужчины; они скорее сами заперли бы его в алькове и держали бы на привязи, чем позволили бы ему запереть себя в серале. А поскольку между собой они были бы примерно равны по силе, то произошло бы одно из двух: либо они растерзали бы мужчину, либо перегрызлись бы друг с другом из-за него.

Но перейдем к самим фактам. Сведения о Бантаме крайне недостоверны. Все они противоречат друг другу. Немногие путешественники умеют наблюдать, и еще меньше тех, кто умеет оставаться точными в описаниях. Они боятся показаться скучными, если не будут рассказывать о чудесах. Во-вторых, во всех странах очень трудно проводить переписи населения. Не прошло и двадцати лет, как во Франции был открыт метод приблизительного расчета численности населения, и метод этот весьма несовершенен: он предполагает наличие точных реестров смертей, рождений и браков. А такие реестры возможны только у высокоорганизованного народа, да и в этом случае ознакомиться с ними невозможно, если вы не облечены высокой властью. В-третьих, указание на волю природы следует искать не в соотношении живущих в стране людей каждого пола, а в соотношении рождающихся. Природа могла создать мужчин и женщин в равном количестве, но превратности общественной или дикой жизни могли привести к гибели - в детстве или в зрелом возрасте - гораздо большего числа представителей одного пола, чем другого. У поработанного народа, где деспот распродал своих мужчин, или у народа воинственного, пережившего долгую и разорительную войну, женщин будет гораздо больше, чем мужчин. У народа мирного, но где большинство населения бедно, где о женщинах плохо заботятся, плохо кормят во время беременности или после родов, вскоре станет меньше женщин, чем мужчин, несмотря на равенство при рождении. Таким образом, мнимые наблюдения, сделанные в Азии или Африке, и в частности в королевстве Бантам, даже если предположить их точность, ничего не доказывают против истины, которую природа утвердила повсеместно.

На первый взгляд, большее затруднение вызывает другой факт, который представляется более достоверным: а именно, что в Африке и даже в Азии женщины становятся способными

к деторождению с раннего детства, и стареют уже к наступлению поры рассудка. Европейец, размышляющий над этим наблюдением, прежде всего говорит себе: *«Вот женщины, которые созревают гораздо раньше наших и гораздо раньше нас самих. Мы оказались бы в затруднительном положении, если бы наши женщины были столь же преждевременны или если бы нам пришлось жить среди них»*. Подобная преждевременность производила бы тот же эффект, нарушая пропорцию между потребностями одного пола и возможностями другого, как если бы один пол, женский, был бесконечно многочисленнее мужского. Ведь при равном количестве мужчин и женщин, если женщины вступают в период зрелости задолго до мужчин, в одно и то же время фактически существовало бы больше женщин, чем мужчин, стремящихся к браку. Но такое рассуждение европейца было бы крайне ошибочным. И почему же? Потому что тот, кто его строит, сравнивает свои наблюдения с собой и своими соотечественниками вместо того, чтобы соотносить их с мужчинами Африки. Нужно сравнивать количество африканок, созревших к определенному возрасту, не с числом европейцев того же возраста, а с самими африканцами. Европейцы должны созревать позже, чем люди, живущие между двумя тропиками. Следовательно, половое созревание должно наступать - и на самом деле наступает - у африканских мужчин так же рано, как и у женщин той же части света. Таким образом, соотношение мужчин и женщин, достигших брачного возраста, у них, как и у нас, примерно равное.

Постараемся же понять этот принцип и придерживаться его. Коль скоро повсеместно число женщин и мужчин примерно одинаково, а физические потребности почти равны по продолжительности и интенсивности, природа не предназначает ни нескольких жен для одного мужчины, ни нескольких мужей для одной женщины. Если в Европе число женщин и превышает число мужчин на ничтожную долю, то в этом незначительном различии нельзя не видеть нового доказательства стремления природы к союзу одного мужчины с одной женщиной. Ведь того избытка женского пола над мужским едва хватает, чтобы компенсировать число женщин, которые из-за болезней или недомоганий временно отстранены от близости с мужчинами.

Многоженство или многомужество не только не предусмотрены природой, но и очевидно ей противоречат. Это нанесло бы ущерб интересам детей. Отец не может любить двадцать детей так, как мать любит двоих. Следовательно, один мужчина не должен иметь несколько жен. С другой стороны, отец любит своих детей лишь в той мере, в какой он уверен в своем отцовстве. Он всегда заботится о своих детях с должным усердием лишь тогда, когда окружающие разделяют его мнение о его отцовстве и словно постоянно твердят ему: *«Вот твои дети, не забывай о них, не оставляй их без попечения»*. Таким образом, у женщины не должно быть нескольких мужей, чтобы дети в случае необходимости могли быть уверены в поддержке отца.

Многоженство противоречит правам самих женщин; оно влечет за собой их порабощение. Несколько жен одного супруга, живущие в одном доме, превращаются в фурий, которые вскоре начинают терзать друг друга, если их не разделить и не запереть. Взгляните на достоверную картину серала в *«Персидских письмах»*. В этом фрагменте романа больше подлинной истории, чем во многих исторических трудах, из которых Монтескье черпал сведения для своего трактата *«О духе законов»*. Нет истории лучше, чем хороший роман, и нет романа скучнее, чем плохая история. Наконец, скажем вслед за автором *«О духе законов»* (т. II, стр. 122, изд. in-12), что полигамия столь же противоречит счастью и даже удовольствию мужчин, как и женщин: она приносит с собой отвращение к радостям любви. Она ведет мужчин к постыдному пороку, который природа глубоко презирает. Именно в сералах, где заперты женщины, любовь к мужчинам доходит до своей последней степени; или, вернее, именно там, пресытившись женщинами, мужчины ищут у других мужчин те удовольствия, которые они больше не находят в их естественном источнике.

Сделаем вывод: природа не предназначала ни многих жен для одного мужчины, ни многих мужей для одной женщины. Таким образом, первым принципом супружеского союза является то, что он заключается только между двумя супругами.

II.

Теперь зададимся вопросом: предназначила ли природа один пол для улады другого, или же она предназначила их обоих для взаимного удовольствия? Может ли один пол в любви требовать от другого больше того, что дает сам? Вне моментов физической потребности все животные, так сказать, одного пола; вне этих моментов один ничего не требует и не получает от другого. Спрашивать, может ли один человек отказать другому в обладании своим телом - значит спрашивать, рожден ли он **свободным или рабом**; или, скорее, является ли он живым и **чувствующим существом или машиной**. Природа создала удовольствие для продолжения рода, но это удовольствие для двоих; при изнасиловании нет зачатия, потому что в нем нет обоюдного удовольствия. Даже если бы природа создала удовольствие только для того, чтобы его дарить, с того момента, как она наделила этим чувством и потребностью оба пола, каждый из них имеет на него такое же право, как и другой. Следовательно, человек одного пола не может быть собственностью другого. Физический союз супругов должен быть не только свободным, но и желанным для обоих, ибо природа не дарует благо зачатия при холодности простой уступчивости.

По мнению Монтескье, климат может требовать чтобы женщин держали взаперти. В жарких странах, по его словам, природа обладает огромной силой, а стыдливость - крайней слабостью. В Патане сладострастие женщин вынуждает мужчин принимать меры предосторожности против их посягательств. По мнению г-на Смита, дела обстоят не лучше и в небольших королевствах Гвинеи... Те, кто прочтет о предательствах, отравлениях и убийствах, к которым приводит свобода женщин в Гоа и в португальских поселениях в Индии, где религия позволяет иметь лишь одну жену... и так далее.⁵

Вольтер оспорил факты, на которых основывал свои рассуждения Монтескье. Прежде чем ознакомиться с его замечаниями, отметим, что Монтескье всегда сопоставляет две вещи, которые для этого не предназначены: пылкость южанок и холодность северян. Если африканки кажутся слишком страстными для европейцев, это вовсе не означает, что они таковы для самих африканцев. И если вы сравниваете африканок с самими африканцами, я спрошу вас: говорите ли вы о рабах или о свободных людях? Говорите ли вы о людях, изнуренных трудом и плохо накормленных; о людях, подавленных страхом и повиновением; о людях, дрожащих и пресмыкающихся перед хозяевами, или же об энергичных африканцах в лоне свободы?

К чему эти разговоры об убийствах, к которым якобы приводит свобода женщин в Гоа, где религия позволяет иметь только одну жену, причем всегда одну и ту же? Говорите тогда о рабстве, а не о свободе этих женщин; говорите об их вечном и суровом подчинении домашнему тирану. Таково положение женщин в португальских колониях, где христианская религия запрещает развод, где самое нелепое суеверие утяжеляет оковы религии, а пустые и ревнивые нравы усугубляют гнет самого суеверия.⁶

Впрочем, из чрезвычайной потребности в удовольствии, которой природа якобы наделила женщин в этих странах, следовала бы не необходимость или право запирают их, а, напротив, необходимость отказаться от закрепления какой-либо из них за конкретным мужчиной. Мы только что сделали еще один шаг к пониманию принципа брака.

III.

Посмотрим теперь, состоит ли цель физического союза полов в создании постоянных объединений. Под словом «постоянные» я подразумеваю не союзы, длящиеся всю жизнь, а лишь те, что продолжаются дольше самого акта, который послужил для них приманкой. Частое и неперiodическое пробуждение физических потребностей любви, несомненно, может вызвать

⁵ Монтескье, «О духе законов» (*De l'esprit des lois*), т. II, стр. 128.

⁶ См. статью «Женщина» (*Femme*) в «Философском словаре» (*Dictionnaire philosophique*) Вольтера.

у мужчины и женщины желание постоянно находиться в зоне досягаемости друг друга. Однако конкретный мужчина и конкретная женщина не испытывают нужды именно друг в друге, как только наступает состояние даже самого примитивного общества. По-видимому, в странах с избытком продовольствия, где по этой причине женщины меньше нуждаются в помощи мужчин, все женщины принадлежат всем мужчинам. Капитан Кук приводит несколько фактов, которые, судя по всему, подтверждают это.

Философы, наиболее глубоко размышлявшие о человеческой природе, в частности **Джон Локк**, полагают, что если бы союз супругов не приносил детей, то в таком союзе не было бы постоянства. Платон основал свою республику на трех принципах: общность имущества, общность жен и общность детей. Но давайте поищем принцип, которого нам следует придерживаться в отношениях между супругами, рассматриваемыми как отец и мать или как муж и беременная жена.

Когда женщина беременеет, в её семье устанавливается иной порядок вещей. На следующем занятии, где я проведу анализ моральных основ общества, то есть принципов человеческих поступков, мы увидим, как естественный человек, до того бывший лишь холодным или праздным любовником, распознает беременность с самых первых её сроков, волнуется, привязывается к своей женщине, и обретает величественный и трогательный облик супруга и отца. Здесь нам достаточно просто констатировать факт и заметить, что именно в этот момент начинается настоящий союз, подлинное общество между мужчиной и женщиной.

Пример животных также доказывает, что супружеский союз является следствием не любовных утех, а чувств или предчувствий отцовства. Животных можно разделить на два класса: тех, что питаются плодами земли, которых называют **травоядными**; тех, кто питается плотью других животных и кого называют **плотоядными**. К этому последнему виду принадлежит и человек. У травоядных животных союз самца и самки длится лишь в моменты их физического спаривания, так как трава есть повсюду и всегда; мать кормится, одновременно выкармливая детенышей; сами же детеныши, еще не перестав сосать молоко, пытаются пастись рядом с ней. Таким образом, помощь самца совершенно бесполезна для выживания самки и потомства.

Напротив, у хищных животных сообщество устанавливается после того, как половые потребности удовлетворены. И почему? Потому что для добывания пропитания охотой требуются сражения, хитрость и усилия; потому что самка не способна ни к борьбе, ни к уловкам, ни к нагрузкам в период выкармливания детенышей, которые сами обретают силу лишь с возрастом. Следовательно, необходимо, чтобы самец помогал самке и потомству. Посмотрите также на птиц. Союз самца и самки устанавливается у них потому, что нужно строить гнездо для кладки яиц, а самка не может в одиночку собрать всё необходимое для этого; кладки многочисленны, и когда птенцы вылупляются, требуется пища для огромного количества подопечных, которую мать не в состоянии обеспечить одна; наконец, птенцы из-за отсутствия крыльев не могут спуститься с вершин деревьев или скал на землю, чтобы самостоятельно искать пропитание.

Разве нельзя заключить из этих примеров, что именно отношения отца и матери, а не супругов, составляют основу брачного союза; и что вместо названия «супружеское общество» следовало бы, выражаясь точнее, называть его «родительским обществом»? Я замечаю, что продолжительность и, если можно так выразиться, теснота или близость этого союза обусловлены не только интересами беременности или ребенка. Этот интерес мог бы ослабевать, остывать с каждым днем, истощаться - словом, как и все привязанности - по мере своего продления. Физический союз супругов, постоянно примешивающий удовольствие к этому интересу, вскоре добавляет к нему новый. Едва ребенок, плод первой любви, встает на ноги, как мать уже снова беременна, и, таким образом, новая связь удерживает мужа в семье. Привычка к совместной жизни между супругами еще больше укрепляет множество причин для союза и

продлевает его длительность по крайней мере до обретения самостоятельности первыми детьми.⁷

Какется, это **Руссо** произнес те слова, которые оспорил Вольтер («Философский словарь», статья «Человек»): *«Для мужчины неестественно привязываться к женщине в течение девяти месяцев ее беременности; когда аппетит удовлетворен, мужчина больше не нуждается в этой женщине, а женщина - в этом мужчине; последний не испытывает ни малейшей заботы, ни, возможно, малейшего представления о последствиях своего поступка. Один уходит в одну сторону, другой - в другую; и нет никакой вероятности, что через девять месяцев они вспомнят друг о друге. Зачем ему помогать ей после родов? Зачем ему помогать ей растить ребенка, о котором он даже не знает, принадлежит ли тот ему?»*.

«Нет ничего более ложного, чем всё это, - говорит **Вольтер**. - Если бы это варварское безразличие было истинным природным инстинктом, человеческий род почти всегда поступал бы именно так. Инстинкт неизменен; его непостоянство встречается крайне редко. Отец всегда бросал бы мать, мать бросала бы своего ребенка, и на земле было бы меньше людей, чем плотоядных животных и так далее... Наша природа весьма далека от того ужасного вымысла, который создал этот одержимый. За исключением некоторых совершенно очерстневших варварских душ или, возможно, еще более очерстневшего философа, самые суровые мужчины по какому-то господствующему инстинкту любят еще не рожденное дитя, чрево, которое его носит, и мать, чья любовь удваивается к тому, в чьем лоне она приняла зародыш существа подобного ей. Инстинкт угольщиков Шварцвальда вызывает к ним так же громко и так же сильно побуждает их заботиться о детях, как инстинкт голубей и соловьев заставляет их выкармливать своих птенцов».

Но ответ Вольтера недостаточен: вторая его часть сводится к утверждению как факта того, что само по себе является спорным вопросом - а именно, что инстинкт человека и животных якобы велит им оставаться привязанными к самке после любовных утех. Вольтер приводит в пример голубей и соловьев, но ему можно противопоставить собак, кошек, лошадей, петухов и прочих, которые перестают замечать самку сразу после акта. Таким образом, поскольку инстинкт не является универсальным в том виде, как его представляет Вольтер, для того чтобы сделать какой-либо вывод из примера голубей и соловьев в пользу человеческого рода, ему следовало бы доказать, что причины инстинкта у этих птиц и у людей - общие. Однако Вольтер этого не делает.

Между тем, сделать это вовсе не трудно. Я уже указывал на существенные обстоятельства, отличающие животных, которые хранят верность самке во время беременности и после родов, от тех, что бросают её, едва удовлетворив аппетит. Эти обстоятельства заключаются либо в способности матери выкормить потомство без посторонней помощи, либо в её полной невозможности сделать это. Курице не нужен петух, чтобы вырастить цыплят, потому что она всегда находится на земле; им достаточно просто клевать корм рядом с ней, чтобы выжить. Собаке нужны только её соски, чтобы выкормить щенков. Но голубь и соловей, чей инстинкт велит им усаживаться очень высоко и, соответственно, вить гнезда в труднодоступных местах, откуда птенцы не могут спуститься, пока не оперятся, вынуждены приносить корм в гнездо, и этот труд требует поддержки.

Беспомощность самки в этих двух случаях - это в точности история женщины, когда она становится матерью. Её дети долго остаются в младенчестве; у неё их может быть несколько, и их нужно кормить в то время, как один из них еще прижат к груди; пропитание для детей

⁷ В общественном состоянии, там, где установлена собственность, к собственно супружескому союзу добавляется другой - тот, который объединяет имущество супругов. Женщина и муж приносят каждый свою долю, и в этом отношении женщина во многом компенсирует неравенство, существовавшее между ней и ее супругом в естественном состоянии. Это обстоятельство я недостаточно учитывал, и оно может ослабить все рассуждения, которые я привел в предыдущем рассуждении о существующих отношениях между мужем и женой в естественном состоянии, чтобы утверждать, что муж должен единолично осуществлять социальное управление и домашнюю власть.

можно добыть лишь тяжким трудом или суровыми физическими усилиями. Помощь мужчины здесь просто необходима. И подобно тому, как соловей и голубь хранят верность благодаря инстинкту, заставляющему их предвидеть нужды еще не рожденных птенцов, так и мужчина будет верен женщине, которую он сделал плодотворной.

Но что это за инстинкт, заставляющий заранее любить существ, чьим отцом ты являешься, когда они нуждаются в поддержке? Как объяснить и осознать то, что отец любит еще не рожденное дитя и чрево, которое его вынашивает? Полагаю, я могу выделить причины этого инстинкта в тех впечатлениях, что испытывал сам. Я рискну их изложить. Прежде всего, я понимаю это так: мужчина, который перед любовным наслаждением охвачен чрезвычайным избытком сил и жара, томим крайним возбуждением всех своих чувств, а сразу после акта впадает в состояние покоя и неожиданного упадка сил, должен был почувствовать, что он только что излил излишек собственного бытия, и дал старт новой жизни. Впечатления пыла и угасания, которые он переживал последовательно, он видел разделенными со своей женой, которую оплодотворил. То, что они внезапно утратили в огне и жизни в своих взаимных объятиях, в своего рода пожаре, они должны были посчитать собранным, соединенным и сконцентрированным в жидкости, исторгнутой в тот же миг. И когда они заметили, что эта жидкость, принятая в лоно матери, осталась там на хранении, они должны были ожидать великого события от самого этого явления.

Супруг должен был с интересом взирать на живот своей жены - и разве его инстинкт в этом отношении мог быть менее настойчивым, чем чувства земледельца, созерцающего поле, в которое он бросил семена, доверив их плодородию земли! Едва проходит несколько дней, как женщину начинают мучить недомогания, которые, смешиваясь с воспоминаниями о сладчайших наслаждениях, делают её более нежной и ласковой к мужу. Супруг же сопереживает и страданиям, причиной которых он стал, и удовольствиям, ставшим их началом, и новыми радостями скрепляет и без того тесный союз... Вот так, я полагаю, сердца супругов выходят от взаимной любви к чувствам любви отцовской и материнской; и так одно счастье, являющееся одновременно добродетелью, рождается из другого счастья и другой добродетели.

Но здесь остается одна трудность. Почему этот человеческий инстинкт, в некотором смысле общий с голубем и соловьем, не проявляется так же у собаки или петуха? Если он истекает из физического наслаждения любовью, то почему первым это свойственно, а вторым чуждо? Дело в том, что органы любви у этих животных имеют особую природу. Петуха достаточно для нескольких куриц, и ему требуется несколько куриц. Собаки, кошки, лошади не испытывают потребности в любви в строго определенных периоды, в отличие от самок своего вида. Поскольку у последних в году есть лишь краткий миг для удовольствия, они принадлежат всем самцам своего вида, и ни один самец не может посвятить себя исключительно им. Это удивительное согласие законов природы: она оставила полную свободу тем животным, чья помощь не обязательна для их потомства, и наложила на самцов, чье содействие необходимо самке и детенышам, ограничения, которые сладостнее самой свободы.

Здесь было бы уместно привести те рассуждения, которые мне пришлось изложить заранее на прошлом занятии относительно распределения домашней власти между мужем и женой, рассматриваемыми как партнеры по обеспечению и процветанию семьи. Ограничусь напоминанием о том, что у родителей (и под этим словом я подразумеваю здесь только отца и мать) в этом союзе есть две весьма различные обязанности. Женщина проявляет непосредственную заботу о ребенке; супруг же заботится и о ребенке, и о матери. Он трудится за двоих, женщина - только за одного, но этот труд посвящен *ее ребенку*, и такое единство составляет их общий с мужем интерес. То же, что муж делает для жены сверх того, что она делает для него, является платой за удовольствия, которые он получил от нее - удовольствия, которые, несомненно, были взаимными и, **возможно, для женщины были даже более сладостными**, чем для мужа, но которые имели для нее опасные и мучительные последствия, не грозящие мужчине. Именно поэтому она вправе назначать за них цену, и имеет основания требовать взаимности. Труд матери в семейном союзе отличается от труда мужа; труд мужа независим от

труда жены. Муж обеспечивает все потребности, жена распоряжается всем, что он собрал. Подобно тому как у животных самец приносит солону для гнезда, а самка ее укладывает, так и в родительском союзе муж приносит пищу, а жена готовит ее и распределяет между детьми.

Мы видели ранее, что то, что называют *супружеской властью*, по сути является лишь правом делать без участия жены всё то, что муж обязан делать для неё. У людей возникли странные представления об отношениях родителей и детей. Общепринятая система взглядов на этот счет целиком заключена в привычных выражениях: *отцовская власть, материнские обязанности, сыновнее послушание*. Считалось, что отцы обладают над своими детьми властью, подобной власти собственника над вещью; что матери должны исполнять великие обязанности, а дети обязаны родителям *долгом благодарности*. Отсюда возникло множество разнообразных законов о мере прав родителей и о длительности этих прав.

На одну хорошую книгу, подготовившую почву для мудрых законов, всегда приходилась тысяча тех, что освящали законы абсурдные. Некоторые политики выводят права родителей над детьми из самого акта продолжения рода. К их числу принадлежит **Гроций**; они уподобляют детей родителям так же, как изделие уподобляют мастеру. Очевидно, что в этой системе, достаточно опровергнутой её же собственными выводами, люди оставались бы *исключительно вещами*, пока живы их родители. Гражданское общество состояло бы лишь из дедушек и бабушек, а всё остальное население было бы лишь их собственностью. Эта система прекрасно объясняет законы, удерживающие человека всю жизнь (или, по крайней мере, большую её часть) под властью отца, а также те законы, которые, как в Риме, дают отцу право распоряжаться жизнью и смертью своих детей.

Другой мыслитель, а именно **Гоббс**, выводит право родителей над детьми из естественных наклонностей человека, которые злы и свирепы. Поскольку люди, по его словам, от природы находятся в состоянии войны и равны в этой войне, естественное право диктует родителям не давать своим детям стать их врагами и добиваться от них абсолютно пассивного подчинения. А так как общественное состояние есть не что иное, как мир, установившийся в результате подчинения побежденного победителю (то есть слабого сильному), то дети, рождаются слабыми, рождаются побежденными и подчиненными. Вот что можно прочесть у одного из самых сильных логиков, когда-либо писавших на эту тему. Как мы видим, эта система не менее благоприятна для идеи абсолютной родительской власти, чем система Гроция.

Имя Гоббса еще может придать вес этой системе, о которой иногда говорят как о досадном заблуждении, но которую не опровергают как опасную ошибку. Слишком хорошо известно, что право не может возникнуть из силы и неожиданности, чтобы всерьез рассматривать предложенное Гоббсом происхождение власти; ведь очевидно невозможно представить себе большего злоупотребления силой, чем подчинение ребенка тем, кто является его родителем. В этом нет и никакой «неожиданности», столь же совершенной, как та, когда ребенку при его рождении говорят: «Я делаю тебя своим пленником».

Другая теория, более правдоподобная на первый взгляд, основывает права родителей на услугах, которые они оказали ребенку. Считается, что они вправе требовать за них плату, когда дети достигают возраста, когда у них появляются силы. Чтобы еще больше обезопасить себя, родители стремятся приучить детей к необходимой покорности, обучая и приспособлявая их к занятиям, соответствующим той выгоде, которую от них намерены получить. Этот принцип, насколько мне известно, не выдвигался открыто тем или иным писателем, но он стал общим местом во всех трудах по морали и во всех разговорах об обязанностях молодежи и о правах родителей. Он кажется настолько неоспоримым, что повсюду подразумевается, хотя его, так сказать, не формулируют прямо. Именно с этим убеждением мы считаем своим долгом бороться.

Прежде всего заметим, что мы говорим здесь не о моральных правах и обязанностях, а о положительных обязательствах со стороны детей и о положительных правах со стороны отцов требовать от своих детей определенных услуг, реальных и личных выплат. Первый предмет относится к сфере морали; второй - к политике.

Давайте поищем в самой природе: 1) какова должна быть мера родительских прав и сыновних обязанностей; 2) какова должна быть их продолжительность для тех и других.

Родители не состоят в общественном союзе со своими детьми, так как их вклады не могут быть равными, услуги не могут быть взаимными, а общая цель не может одушевлять и родителей, и детей. Между ними также нет договора о взаимных услугах: младенец не заключает никаких соглашений, да и сами родители в этом отношении не свободны. В силу властного закона природы они по необходимости и добровольно становятся сиделками при немощных. Они находятся в состоянии обязательной помощи - помощи не только бескорыстной, но и стоящей выше любых интересов. Если между отцами и детьми нет общественного союза и нет договора, который бы их связывал, а существует лишь закон природы, обязывающий первых заботиться о сохранении вторых, то у детей также нет никаких обязательств по отношению к родительской помощи в период младенчества. Человек обязан лишь за те услуги, на которые он согласился, которые запросил или которые были получены исходя из интересов, отличных от его собственных. Напротив, или по крайней мере в большинстве случаев, услуги оказываются людьми, посторонними нашим интересам и независимыми от нас. Однако природа и даже социальные институты наделили родителей интересом в сохранении детей. Если ребенок нуждается в материнской груди, то и материнская грудь нуждается в ребенке. Дети ничего не просили и ничего не обещали родителям в обмен на помощь при появлении на свет. Если бы эта помощь не была безвозмездной, она не была бы отцовской и материнской заботой. Если бы за нее нужно было платить чем-то иным, кроме той же самой заботы, то эти услуги были бы не природными, а продиктованными расчетом и выгодой. Если бы эти услуги не дарились, они бы продавались; они были бы подобны всем прочим услугам, всей промышленной суете, авансам, сделанным ради получения прибыли. Дети обязаны своим родителям за действия, необходимые для их выживания, не более чем за сам акт зачатия, потому что все эти действия несут в себе свою цену и свою необходимость.

Я уже предупреждал, что говорю только о положительных обязательствах, о реальных услугах со стороны детей по отношению к родителям. Тем не менее, беспокойство любого рода власти таково, что на мои мнения могут возразить.

— Как! - скажут мне. - Вы оправдываете неблагодарных детей!

— О нет! - ответил бы я. - Но разве вы не говорите от лица корыстных родителей?

— Как! - скажут мне снова. - Вы, значит, отказываете в признательности за порывы любви и заботу дружбы?

— Вовсе не признательности. Несомненно, я обязан ей той любви и дружбе, которые были предложены мне добровольно. Но, повторяюсь, речь здесь идет не о благодарности, а об обязательствах. То, как другой человек распоряжается своей свободой, любя меня, не ограничивает мою собственную свободу.

Впрочем, родители находятся совсем в ином положении, нежели влюбленные или друзья; ведь последние вовсе не были обязаны нас любить, тогда как родители обязаны любить своих детей. Родители не обретают права на моральную благодарность своих детей - права, подобного тому, что возникает в добровольной дружбе, - за исключением тех случаев, когда они продолжают заботиться о них и после выхода из младенческого возраста и когда они исполняют роль друга. То есть когда к заботе, предписанной самой природой, они добавляют нечто большее благодаря своей исключительной доброте и постоянной бдительности. Но помимо того, что нет ничего общего между этими правами родителей на моральную благодарность и правами на послушание, вопрос не в том, чтобы проповедовать добродетель или ослаблять любовь в детях. Вопрос в том, чтобы знать, свободны они или нет, и могут ли они претендовать на радости и почести добродетели, посвящая себя служению родителям в качестве платы за заботу, полученную в детстве. Заметьте, что я вовсе не стремлюсь поколебать авторитет этой почтенной добродетели, напротив, я посвящаю себя ей. И именно вы радикально уничтожаете её, оспаривая мой принцип. Если ваша идея состоит в том, чтобы навязать детям рабскую зависимость и продлить её за пределы детства в качестве платы за услуги, полученные ими от

родителей, то очевидно, что вы уничтожаете сыновнюю признательность, поскольку не оставляете детям выбора. Вы лишаете их самой возможности проявить её. Добавлю, что вы тем самым посягаете и на достоинство отцовской и материнской любви; вы унижаете их благородный характер, лишаете их самых нежных радостей. Словом, вы оскорбляете мораль в двух самых прекрасных её проявлениях, а природу - в её самых трогательных законах.

О дети мои, будьте свободны в сочувствии моим несчастьям и в том, чтобы связать себя с моей судьбой, дабы, если мне суждено еще жить, я был бы менее склонен пренебрегать вами, забывать вас - что я говорю! - менее склонен любить вас слабо и редко доказывать вам свою любовь. Будьте свободны оказывать мне услуги, чтобы, если я снова получу их от вас, они были для меня доказательствами вашей нежности. Будьте свободны даже называть меня нежным именем отца, чтобы, когда вы его произносите, я мог верить, что оно кажется вам еще более приятным на слух, чем имя друга. О дети мои, что бы я ни сделал для вас, я лишь едва исполнил свой долг, и я сделал недостаточно, чтобы возместить вам все тяготы жизни.

Таким образом, установлено: 1) между родителями и детьми не существует никакого общественного союза; 2) нет никаких взаимных обязательств; 3) не возникает никакой безусловной обязанности со стороны детей в ответ на заботу, которой родители окружают их в детстве. Следовательно, в этой заботе нельзя найти никакого основания, которое могло бы определять меру или *длительность* родительской власти. Эта власть является авторитетом, а не правом; это естественное служение, которое, как и любое другое, правильнее называть долгом, нежели правом.

Принцип, который здесь диктуется разумом, заключается в том, что власть родителей над детьми проистекает исключительно из обязанности помогать им. Она ограничивается использованием средств, необходимых для оказания этой помощи, и длится не дольше, чем существует в ней необходимость. Эти истины подтверждаются несколькими доказательствами.

Во-первых, мы видели, что мужчины вступают в постоянный союз с женщинами лишь из-за потребностей самих женщин и детей. Таким образом, нужды детей являются основанием для власти отца над ними. Эти нужды, будучи основанием его прав, также определяют их меру и срок действия.

Во-вторых, как только дети становятся взрослыми и в них пробуждается потребность в любви, природа освобождает их: (1) потому что их родители не могут удовлетворить эту новую потребность, в отношении которой каждый индивид сам является единственным судьей при выборе объекта, соответствующего его вкусу и склонностям; (2) потому что молодой человек в тот период, когда природа делает его способным вступить в союз с женщиной и стать отцом, может в любой момент оказаться связанным узами супружества и родительства. Следовательно, он становится обязанным по отношению к женщине и ребенку проявлять ту же заботу, которую его родители проявляли по отношению к нему; а значит, для исполнения ожидающих его обязанностей, он должен пребывать в полной свободе.

В-третьих, если человек рождается свободным, то он должен начать осуществлять свою свободу одновременно с тем, как начинает пользоваться разумом - своим разумом, без которого его свобода была бы лишь возможностью причинять себе вред. Но благодаря разуму он может лучше, чем кто-либо другой, заботиться о собственном сохранении и всех своих интересах, так как только разум способен верно распознать все его потребности, оценить все средства и управлять механизмом, находящимся под его единственным наблюдением. Разум развивается с наступлением половой зрелости; при рождении он еще не вполне просвещен, но его способности существуют в своей полноте. Им недостает лишь опыта; и чем раньше человек начинает его приобретать, тем быстрее начинает им пользоваться.

В-четвертых, мера родительских прав настолько четко определяется мерой их обязанностей, что кормилица на время кормления обладает всей властью матери, а учитель в процессе обучения всегда наделен властью и матери, и отца. Разве родители когда-либо помышляют о том, чтобы сохраняя за собой особые права на детей, когда доверяют их воспитание посторонним людям?

В условиях социального состояния детство испытывает два вида потребностей: физические и моральные - то есть, с одной стороны, пищу и одежду, а с другой - образование. Следовательно, родительская помощь должна включать обе эти составляющие: содержание и обучение. Таким образом, власть родителей распространяется и на использование средств, необходимых для достижения обеих целей, но не идет дальше этого. Птицы не покидают своих птенцов, как только те научатся выбирать и собирать корм; они оставляют их лишь тогда, когда у тех вырастают крылья. Образование - вот те крылья, которые необходимы ребенку, прежде чем его оставят среди превратностей и крутых троп общественной жизни.

Теперь остается рассмотреть, как родительская власть распределяется между отцом и матерью. Мудрый Локк справедливо выступает против исключительного использования выражения «отцовская власть». В естественном состоянии власть принадлежит исключительно матери как лицу, на которое непосредственно возложены физические заботы - единственный вид забот, присущий дикой жизни. Отец же был бы лишь гарантом и защитником. В социальном состоянии мать всегда обладает непосредственной властью, но под надзором мужа. Это последнее условие неизбежно, если права матери должны быть соразмерны обязанностям, которые она должна исполнять; тем не менее они не могут быть равны правам мужа, ибо при столкновении воля только сила могла бы стать решающим фактором.

Но почему же следует давать *высшую власть мужу*? Потому что он может осуществлять лишь надзор и руководство, и если бы у него не было этой власти, он не имел бы никакой, так как само действие принадлежит исключительно женщине. Также потому, что супруг уже единолично управляет делами, принадлежащими семье; кроме того, его функция естественного гаранта семьи делает его ее арбитром; и, наконец, потому, что он является гарантом перед обществом, членом которого в семье является только он один.

Остановимся здесь на мгновение и подведем итог. В семье существуют три различных типа отношений:

- Отношения супругов между собой как супругов.
- Отношения супругов между собой как отца и матери.
- Отношения супругов по отношению к детям; к ним я мог бы добавить слуг, которые являются лишь взрослыми детьми той же семьи.

Как супруги, мужчина и женщина не образуют общества; они соединены для совершения одного или нескольких актов, которые не могут быть предметом обязательства, поскольку зависят от физических влечений и моральных симпатий, и потому что в каждом акте каждая из сторон исполняет свой долг перед другой. Таким образом, договор начинается с взаимного признания насущной потребности и завершается актом, который ее удовлетворяет. Они соединены, если угодно, обязательством, которое не объединяет их в ассоциацию и не делает их постоянными *спутниками* друг друга, ибо *ассоциированный* означает спутник, а *общество* означает обязательство разделять общую судьбу или, по крайней мере, общие риски в совместном предприятии. Супруги становятся соратниками только в качестве отца и матери. Общество между ними начинается в момент беременности. Сохранение жизни детей, питание матери, которое в период кормления грудью сливается с самим младенцем - это задачи, которые природа доверяет отцу и матери и ради которых они образуют подлинное сообщество. Подобно тому как два торговца или два предпринимателя в сфере земледелия объединяются, чтобы совместно развивать торговое или сельскохозяйственное предприятие, союз полов является движущей силой семейного союза, дети - его наградой и украшением, но именно отцовство и материнство служат его связующим звеном. Как отец и мать, они также представляют собой власть, взаимно подчиненную друг другу, а дети находятся в полном подчинении во всем, что касается их сохранения, вплоть до достижения ими половой зрелости. Таков анализ семьи.

Из вышесказанного вытекает несколько следствий. Мы видим, что в системе семьи нет ничего, что могло бы служить моделью для политических обществ, и нет ничего на них похожего. Прежде всего, в отцовской или супружеской власти нет ничего, что могло бы служить

образцом для власти монархической, для власти деспотической или для полного политического тирана. Повторим еще раз: семья основана на различии прав тех, кто ее составляет; общество же - на их равенстве. Семья организована высшими законами природы, общество же может существовать только благодаря соглашениям. Семья имеет свою главную опору в самых сокровенных и необходимых чувствах отцовского и материнского сердца; у общества же она есть только в общей воле его членов. Между этими вещами нет ничего общего, абсолютно ничего.

С другой стороны, если семейное состояние определено природой; если его организация основана на правилах, сущностно присущих его природе; если формирование общества может иметь своей целью и предметом лишь вторичную гарантию этого состояния, то из этого следует, что общество не может произвольно лепить, регулировать или подчинять его себе. Общество не может быть гарантом семьи и в то же время ее владельцем, ибо человек вовсе не обязан ничем по отношению к своей собственности. Следовательно, представляется необходимым, чтобы декларация прав четко определяла права и признавала интересы семьи. Вот какими они должны быть в отношении брака.

О браке.

Поскольку союз двух лиц разного пола сам по себе не является сообществом, а представляет собой последовательность актов, каждый из которых требует нового согласия и идеальной взаимности, а также предполагает взаимное исполнение обязательств в тот же момент, его следует рассматривать как принцип естественного права:

1. Когда в таком союзе нет ни детей, ни беременности, этот союз не скован никакими узами; я не скажу, что он расторгнут, он просто не существует.
2. Когда детей больше нет, после того как они были, брачное обязательство аннулируется в тот же миг.
3. Когда дети эмансипированы или стали совершеннолетними, ситуация остается той же.

В этих трех обстоятельствах любое совместное проживание является следствием ежедневного договора, который заканчивается каждый день или каждый вечер. То, что вносит путаницу в представления по этому вопросу, заключается в том, что обычно в браке, помимо физического союза, существует ассоциация, касающаяся имущества супругов. Но это лишь случайное обстоятельство брака, которое должно следовать за основным. Абсурдно сковывать людей из-за того, что они объединились общностью имущества, вместо того чтобы подчинить общность имущества союзу людей.

Когда между родителями, имеющими детей и состоящими в обществе, возникает антипатия, супружеский союз должен быть расторгнут законом; здесь есть основания для развода. Этого требуют права родителей. Интересы детей требуют того же в не меньшей степени. Права родителей - потому что возникло бы порабощение одного родителя другим или обоих перед законом, если бы они были обязаны оставаться вместе, когда один, другой или оба испытывают отвращение.

И неважно, будет ли это отвращение физическим или моральным. Согласно нашим старым законам, супружеской изменой называли физический союз двух людей, соединенных сердцами, но связанных с другими гражданскими узами. Нет ничего более справедливого, если бы эти узы были нерасторжимы; но когда закон нарушает природу и не оставляет ей ни одного из ее прав, тайное возвращение к природе не является преступлением. Согласно природе и разуму, проституция и адюльтер заключаются в физическом союзе двух существ, которые ненавидят друг друга и вступают в связь с другими по естественной симпатии.

Права родителей были бы также ущемлены в том, что разделяющая их антипатия, что бы они ни делали, лишает их счастья иметь общих детей, а также еще более прекрасной возможности иметь их от союза с другими людьми. Взаимное влечение полов, безусловно, является законом природы, поскольку оно служит основой для воспроизводства человеческого рода.

Однако в условиях цивилизации, по мере ее развития, это влечение не распространяется на всех мужчин по отношению ко всем женщинам и наоборот; для реализации этого природного принципа необходимы симпатии, которые мы называем любовью. Природа, как я уже говорил, дарует детей лишь тем союзам, которые созданы любовью. Таким образом, любовь является реальным фундаментом семьи; неприязнь же - это ее фактическое разрушение. Следовательно, в любом супружеском союзе, где царит неприязнь, семейное начало более не существует. В любом супружеском обществе, где каждый из партнеров тянется к другому в силу симпатии, такая связь не только фактически распадается, но на ее месте возникает активный и развитый принцип другого союза, образованию которого препятствует лишь принуждение. Поскольку целью брака является исключительно продолжение человеческого рода, брак должен быть расторгнут, как только его составляющие разрушены или когда они становятся препятствием для иных союзов, отвечающих велению природы. Интересы детей страдают ничуть не меньше в случае принудительных браков или тех браков, которые, будучи свободными в своей основе, продлеваются по принуждению.

Супружеская измена неизбежно подрывает вынужденный союз. Если она разрушает его и покинутый или преданный супруг чувствует себя оскорбленным, дети, оказавшись между враждующими родителями, вынуждены делать выбор: ненавидеть и презирать одного из тех, кто дал им жизнь, а возможно, и обоих сразу; в таком случае семья фактически перестает быть семьей. Если же супруги прощают друг другу или игнорируют свои взаимные увлечения, увлекшись новыми союзами, которые им дороги, они никогда не объединят свои усилия в заботе о детях, и те окажутся брошенными или заброшенными обоими родителями.

И даже если измена не разлучает безразличных друг к другу супругов, станет ли их союз более полезным для них самих и для их семьи? Какое значение имеет для детей то, что ледяное безразличие разделяет их родителей, мешает им объединиться в общих заботах и делает невозможным то соревнование в нежности и услугах по отношению к детям - соревнование, которое, как и все добродетели, предполагает дружбу между всеми, кто его проявляет?

Горе даже тем детям, что рождаются у безразличных друг к другу супругов. Отцовская привязанность основывается лишь на уверенности в отцовстве; однако в условиях того распутства, которое столь обычно для цивилизованных обществ, этой уверенности недостаточно, чтобы сделать любовь деятельной и полезной для детей. Необходимо также, чтобы общественное мнение считало отцом своих детей того, кого они так называют; нужно, чтобы оно напоминало ему о его отцовских обязанностях через порицание, если он от них уклоняется, или удерживало его угрозами, если он отвлекается. Между тем, единственная гарантия верности жены, которую может иметь муж, - это любовь его жены. Супружеский союз, лишенный этой любви, становится колыбелью боли для ребенка, который в нем рождается. Такой ребенок в некотором роде изначально отвергнут.

Если принуждение или общественные приличия заставляют непостоянных супругов хранить верность, они неизбежно возненавидят друг друга. Любить - это самое сладкое из чувств. Природа заставляет нас ненавидеть то, что мешает нам любить, потому что она заставляет нас ненавидеть всё, что противостоит нашему счастью. Таким образом, участь супругов, которые любят вне дома, заключается не только в том, чтобы больше не любить друг друга, но и в том, чтобы ненавидеть друг друга. Разве для детей не все равно - жить ли в условиях взаимной ненависти родителей или в условиях их неверности, которая не всегда сопровождается ненавистью?

Напротив, измены в свободных союзах не всегда разрушают дружбу; они даже не являются абсолютно несовместимыми, особенно у мужчин, с любовью; часто они лишь подстегают и усиливают ее. Именно по этой причине при законе о разводе люди будут любить друг друга дольше, даже когда у них появится больше поводов жаловаться друг на друга. Именно поэтому мы видим, как союзы скрепляются в тот самый момент, когда заходит речь об их расторжении. Таким образом, дети скорее выигрывают, чем теряют от расторжения браков.

Несомненно, было бы гораздо лучше, чтобы дети видели своих родителей всегда любящими друг друга. Но для того, чтобы они могли любить друг друга вечно, человеческая природа должна была бы быть устроена так, чтобы человек мог любить лишь раз в жизни. Однако сами дети, когда перестанут быть детьми, будут очень рады возможности любить более одного раза. И очень хорошо, что такая возможность существует, ведь иногда человеку выпадает несчастье полюбить тех, кто мало достоин любви; и тогда вполне естественно желание перемен. Ведь то, что мы любим, не бессмертно, и нужно иметь силы утешиться в случае утраты. Ведь то, что мы любим, не всегда находится рядом, и нужно уметь восполнить это отсутствие, особенно когда оно становится вечным. Ведь то, что мы любим, не всегда отвечает нам взаимностью, и нужно иметь возможность искать того, от кого можно дожидаться ответного чувства.

Я знаю, что принципы, к которым ведет философия, приписывали распущенности; однако и закон о разводе - этот святой и способствующий добрым нравам закон - также считали законом распутства и разложения. Но ничто так не чуждо распущенности, как любовь; ничто не делает распущенность столь невозможной, как любовь, которая не позволяет себе никакой вольности и не предоставляет ее другим. Ничто так не укрепляет власть нравов, как гарантия прав личности. Любовь более сурова и требовательна, чем законы; свободная любовь - лучший страж морали. Именно наглая вседозволенность домашней тирании назвала распущенностью нежные мольбы любви, которой препятствуют, которую оскорбляют и мучают наши общественные институты. Все эти горестные жалобы, которыми полны наши романы, поэзия и драмы; эти проникновенные сетования, которые называют столь опасными для юношества, являются таковыми лишь потому, что они справедливы и обоснованы. Они черпают свою огромную силу в законах природы и находят в нас столько же чувствительных откликов, сколько нервных волокон в нашем организме. И, в конце концов, разве суть всех романов не сводится к тому, что недавно закрепил закон: (1) что родители не имеют права препятствовать браку своих детей; (2) что они не имеют права принуждать детей к бракам, которые тем противны; (3) что брачный союз не должен длиться дольше, чем союз сердец. Наши современные законы говорят именно об этом; и если бы революция, произошедшая в этой сфере, была заслугой романов, их следовало бы благословить тысячу раз. Не физические союзы, к которым подталкивает любовь, являются распутством; напротив, распутство - это союзы, в которых любви нет места. Именно в них мятущиеся сердца, в сочетании с пылким темпераментом, ищут своего рода компенсацию за невозможность обладать тем, кого любят, или своего рода месть за то, что ими обладают те, кого они не любят.

Наши романы (я не говорю о тех, что похотливы или непристойны) - это истинная декларация прав любящих сердец. Именно они утвердили свободу любить - эту первейшую из свобод, которая берет начало в самом неприкосновенном святилище, в сердце, и которая достаточно ясно доказывает, что ее нельзя законно нарушить ни в ее проявлении, ни в ее последствиях. Наши романы противоречат лишь нашим старым и порочным установлениям. Они губительны для чувствительных сердец лишь в той мере, в какой изложение прав человека когда-то было губительно для пылких и свободных умов, сталкивая их естественные желания с суровостью наших социальных тираний.

Как же так! Распутством называли и карали жестокими наказаниями те вечно скрываемые, но никогда не остающиеся тайными связи несчастных женщин с чуткими мужчинами - это прибежище угнетенных сердец, ищущих покровительственной и утешительной любви. Сколько несчастных женщин было создано из этих существ, и без того измученных принуждением и своими оковами! Сколько женщин, отвергнутых обществом и своими семьями, вырванных из сердец собственных детей лишь за то, что им не удалось заглушить чувства в своем собственном сердце! Долгое время говорили о жертвах тирании, но говорили ли об этих женщинах? Часто вспоминали о разрушенных Бастилиях, но ведь каждый дом был Бастилией для какой-нибудь несчастной жены. Эти темницы открылись лишь в тот день, когда был учрежден развод. Сравните же проступки домашней распущенности; я перечислю вам преступления супружеской тирании, и мы увидим, кто из нас должен молить другого о снисхождении.

Я говорю это ясно и во всеуслышание: нет ничего святого и почтенного, кроме союза существ, объединенных велением сердца. Это единственный союз, который природа соизволила освятить величайшей и самой почитаемой из своих тайн – тайной рождения. Именно любви, а не формальностям или торжественным свадебным обрядам природа дарует детей. Что же мы должны уважать больше: эти жалкие формальности, контракты, нотариусов, священников - слугителей нашей домашней тирании - или же священное благословение самой природы?

Гарантия прав детей.

Если дети находятся под защитой супружеского союза, а супружеский союз - под защитой гражданского общества, то последнее не может наделить родителей правами, которые не дала им природа: такими как право распоряжаться жизнью и смертью, право обращать детей в рабство или продавать их, право заставлять их работать ради собственной выгоды. Родители не могут отказывать детям в образовании; общество в любом случае должно его гарантировать. Родители не могут препятствовать браку взрослых детей или задерживать их освобождение от опеки по достижении половой зрелости. На этом теория семьи заканчивается.

Я связываю эту теорию с непосредственной целью данного курса - теорией общественного устройства. Если статус ребенка в семье заканчивается в восемнадцать лет, то именно тогда, безусловно, начинается общественное состояние. Если человек покидает семью в то время, когда природа призывает его основать свою собственную, он вступает в круг всех тех интересов, которые объединяют политическое общество: ему нужно гарантировать свою свободу, защищать свою семью. В этот момент он оказывается именно в том положении, в котором находились сами основатели общества; следовательно, по закону он должен быть принят в ряды граждан.

Недостатка в аргументах против допуска молодых граждан к гражданской деятельности с восемнадцати лет нет. Ссылаются на их неопытность, невежество, пылкость и легкомыслие. Безусловно, политический закон может устанавливать возраст допуска в восемнадцать лет или позже, подвергать их какому-либо экзамену или испытанию перед принятием. Но, по крайней мере, политический закон не может продлевать семейную зависимость; он должен определить возраст допуска, исходя из высших интересов общества. Итак, является ли допуск в восемнадцать лет высшим интересом общества? Это легко решить.

Во-первых, благоустроенное общество, особенно организованное как республика, не подвергается никакой опасности при допуске восемнадцатилетних юношей, поскольку их число по отношению к мужчинам старшего возраста крайне мало... (См. Мохо, «О народонаселении»). Таким образом, их влияние отнюдь не было бы опасным. Их горячность компенсировалась бы сдержанностью стариков, а их невежество - чистотой их взглядов; их легкомыслие было бы лишь негативным недостатком, эффект которого заключался бы, самое большее, в том, что они не смогли бы содействовать общему благу.

Но я иду дальше и утверждаю, что их допуск был бы полезен, потому что родина стала бы объектом их первой страсти, они теснее сплотились бы с ней и лучше прониклись бы общественным духом. Также они быстрее и лучше усваивали бы знания, необходимые для общих интересов, поскольку вся масса граждан, воспитанная таким образом в лоне родины, вскоре стала бы более просвещенной, чем если бы она приступала к делам поздно, после долгого растрачивания сил на домашнюю или светскую суету или после поспешного и исключительного занятия частными интересами.

Можно ли рассчитать выгоды, которые принесла бы общественной морали и образованию практика, позволяющая людям рано участвовать в государственных делах? Она бы во сто крат увеличила число образованных людей и удвоила бы знания и опыт каждого. Свет ума притягивает свет; опыт не просто удваивается, но, удваиваясь, приумножает сам себя. Когда человек достигает определенного уровня образованности, все новое, что входит в его голову, образует не просто прибавку к богатству, а умножение богатств. Накопление такого рода не

просто пропорционально, а прогрессивно; если то, что приобретается сегодня, стоит половины того, что было вчера, то приобретенное завтра будет стоить в четыре раза больше. Следовательно, высший интерес народа состоит в том, чтобы накопить как можно больше знаний в одних и тех же головах. Даже лучше, если бы немногие умы сильно обогатились, чем иметь много бедных и бесплодных умов. Посредственность - удел людей, которые не знают и не могут выучить ничего, кроме того, что знают все. Знания продвигаются вперед лишь настолько, насколько их продвигают наука и опыт. Итак, если вы хотите иметь много высокопросвещенных людей, позаботьтесь о том, чтобы они получали образование как можно раньше; тогда их станет больше, а те, кто им обладает, станут еще образованнее. Пятидесятилетний человек, посвятивший учебе и практике тридцать два года, будет совсем иным специалистом, нежели тот, у кого за плечами лишь десять или двенадцать лет опыта. Именно к сорока годам разум достигает своей полной силы, но именно в двадцать лет память наиболее остра. Если человек не начинает накапливать знания до сорока лет, он разом теряет и преимущества памяти, и силу разума. Теряется прежде всего способность учиться или размышлять над изученным - способность, которую дает, укрепляет и поддерживает только привычка. И в итоге теряются целых двадцать лет, и эта потеря, безусловно, невосполнима.

Позволим же жизни начинаться раньше, раз это способ продлить её и сделать достойной: удвоим наше население, удвоив его ценность; удвоим нашу мудрость, заставив прошлое каждого человека служить его будущему. Сделаем так, чтобы первая половина его жизни перетекала во вторую, создавая в течение всего его существования своего рода запас питания для последующих лет. Сделаем так, чтобы в юности он уже предвкушал будущее, готовясь к нему своими славными трудами, а в зрелости - пользовался всеми плодами трудов своей юности. Сделаем жизнь единой, однородной, наполненной и плотной; чтобы все наши действия и мысли соответствовали друг другу от начала и до конца и вели к одной и той же цели. Общественная жизнь - это великий труд или великая задача, которую необходимо выполнить на благо государства. Чем настойчивее будет общий характер, тем лучше будет выполнена задача: частный интерес здесь совпадает с интересом общественным.

Тот, кто станет человеком просвещенным в ранние годы, останется им надолго. Тот, кто трудится с двадцати лет, не почувствует тягости труда и в семьдесят пять. Изматывают человека лень или легкомыслие; труд же - укрепляет. Именно привычная непоследовательность всех жизненных занятий приводит к тому, что к шестидесяти годам в нашей голове ничего не держится вместе и что к восьмидесяти годам мы кажемся пятью или шестью разными людьми, никак не связанными друг с другом. Единство и нераздельность человеческих занятий не менее важны, чем единство государства, ведь они являются самой надежной его гарантией.

Нельзя лишить молодого гражданина его прав без того, чтобы одновременно не лишить общество его услуг; в противном случае из него сделали бы раба. Между тем, если бы государство в период войны, во внутренней службе полиции безопасности, лишало себя рук и мужества молодых граждан от восемнадцати до двадцати пяти лет, оно приносило бы в жертву свой самый драгоценный ресурс и в то же время самый прекрасный способ воспитать в юношестве любовь к отечеству и практику добродетелей, в которых оно нуждается.

«Отцовская власть, - говорил Монтескье, - крайне полезна для поддержания нравов. В республиках нет столь сдерживающей силы, как в других формах правления; поэтому необходимо, чтобы законы восполняли этот пробел; они делают это через отцовскую власть. В Риме отцы имели право жизни и смерти над своими детьми. В Лакедемоне каждый отец имел право наказывать чужого ребенка. В монархиях, где нет нужды в столь чистых нравах, стремятся к тому, чтобы каждый жил под властью магистрата. Законы Рима, приучившие молодых людей к зависимости, установили длительное несовершеннолетие. В Риме отец всю жизнь оставался господином имущества своих детей» (О духе законов, кн. V, гл. 8).

Отцовская власть полезна для поддержания нравов! О каких нравах идет речь? О домашних или об общественных? Если о первых, я отвечу, что монастыри были бы еще лучше. Если

о вторых, то я скажу, что отцовская власть, распространенная в тех же пределах, что и у римлян или лакедемонян, противоречит общественным и республиканским нравам. Дух главы семейства по своей сути монархичен; республика же требует привычки к равенству. Дух главы семейства - это подчинение и страх; как же он станет энергичным и смелым ради общественных интересов, если в своей частной жизни он привык быть покорным и трепещущим? Семейный дух концентрирует привязанности отцов и детей в узком кругу семьи; общественный дух заключается в том, чтобы распространить их на отечество, на все человечество. Семейный дух привязан к интересам дома; общественный дух состоит в том, чтобы часто приносить их в жертву общему интересу.

Несомненно, нужно что-то делать для домашних нравов, но не в ущерб общественной морали и, прежде всего, в ущерб основным правам человека. Напротив, нравы должны быть благочестивыми хранителями этих прав и опираться на поддержку законов. Пусть семейные нравы служат подготовкой к общественным, иначе о них и вовсе не стоит говорить.

Пятая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее 3 марта 1793 года (II год Французской республики).

О моральных составляющих общества.

Мы уже обсудили предметы и людей, которые являются физическими или материальными элементами общества. Мы увидели, как вещи сохраняются и воспроизводятся через союз людей с вещами - союз, называемый собственностью. Мы рассмотрели, как люди находят пропитание и выживают благодаря союзу мужчин и женщин в рамках семьи. Наконец, мы увидели, как и кем закладываются основы гражданского общества, какой пол призван заключать общественный договор, какой лишь находится под его защитой, а также в каком возрасте пол, допущенный к договору, может участвовать в нем, ратифицировать его или подчиниться ему.

Чтобы прийти к точным и философски обоснованным выводам по двум последним вопросам, потребовалось проанализировать семейное положение, и я предпринял этот анализ. Я знаю, что моя работа вызвала скандал. Многие открыто выражали свое недовольство. Мне жаль, ведь тот скандал, который я имел несчастье вызвать у приверженцев благочестия, само это «благочестие» нанесло философии и свободе, защищающей добрые нравы.

Мои «еретические идеи» свелись к утверждению, что мужчины не являются королями в своих домах, а женщины не являются их собственностью; что брак должен соединять лишь тех, кто связан сердцами. Относительно детей я сказал, что родители, заботясь о них в младенчестве, не приобретают права продлевать свою семейную власть сверх срока, установленного природой для освобождения человека, и дольше времени, продиктованного интересами общества. Я утверждал, что ребенок рождается не в большей степени рабом или слугой своих родителей, чем любого другого человека. Ведь если бы он был собственностью родителей, им ничего не стоило бы продать его, сделав собственностью чужака.

Я заявил, что не имею в виду ту моральную благодарность, которую любимые дети, окруженные заботой и после выхода из младенчества, должны испытывать к добрым родителям. Моя тема касалась не теории моральных добродетелей, которые полезно распространять и похвально практиковать, а теории прямых обязательств, связывающих людей друг с другом. Говоря об этой моральной благодарности, я добавил, что устанавливать необходимость принудительной признательности - значит обесценивать или, скорее, уничтожать её. И если не оставить благодарность детей свободной, как добродетель, то следует вычеркнуть из наших словарей понятия «сыновнее почтение» или «сыновняя нежность», заменив их терминами «сыновние обязательства» или «сыновнее рабство». Такова суть моего выступления. Я не могу

упрекнуть себя ни в малейшей неясности или двусмысленности. Изложения самой сути дела достаточно для его оправдания.

Некоторые заметили, что не всякую истину полезно высказывать во всеуслышание, а особенно в Лицее, где жены, матери и дети собираются вместе с гражданами. На это я отвечаю: я не вижу разницы между Лицеем и другими клубами, кроме той, что здесь можно говорить обо всём, в то время как в других местах это не всегда возможно. Именно потому, что здесь присутствуют жены, матери и дети, уместно говорить о правах и обязанностях жен, матерей и детей. Неужели права изучают для того, чтобы скрывать их от тех, кому они принадлежат? Впрочем, на прошлом заседании здесь были мои собственные дети; следовательно, нельзя предполагать, будто я хотел позволить детям ненавидеть или презирать своих родителей.

Я также отвечаю, что в своей работе я рассматриваю предмет исследования, а не аудиторию, которая, несомненно, собирается здесь не для того, чтобы любоваться собой или ждать похвалы от профессора, а для того, чтобы вникнуть в предложенную тему дискуссии. Добавлю, что не в моей власти утаивать истины, встречающиеся на моем пути. Я веду учебный курс, а не произношу разрозненные речи. Это курс, все части которого должны быть связаны и соответствовать друг другу, а не отдельные выступления, темы которых можно выбирать, обрамлять или отрывать от контекста по желанию, обстоятельствам, или сообразно вкусу того таланта, который им распоряжается. Это даже не курс лекций, который я читаю; это долгий анализ, в котором я выступаю лишь простым исполнителем и в ходе которого верность отчетов является моим долгом. Наконец, я замечу, что те, кто верит в существование опасных истин, подобно тем, кто говорит о полезных заблуждениях, на самом деле утверждают лишь следующее: *существуют ложные истины и истинные ошибки*. В морали и политике понятия истины и пользы, а также ошибки и вреда - синонимичны. Человек, произнесший слова: *«Если существует истина, должна вызвать скандал, то пусть лучше разразится скандал, нежели истина останется невысказанной»*, вовсе не был глупцом. И я сообщаю благочестивым душам, что этот человек, не будучи глупцом, был к тому же святым; это был святой Амвросий.

Впрочем, во всём сказанном мною нет ни единого слова, которое не было бы оправдано нашими новыми законами о разводе и совершеннолетию; то есть, говоря вкратце, законами о гражданской свободе и о свободе любить свои обстоятельства и привязанности. Если я не прав, то не правы и законы. Я знаю, что в нынешние времена соответствие законам не для всех является оправданием. Это не нравится ни сторонникам анархии, ни приверженцам старых порядков. Но Лицей - это часть республики более древней, чем французская республика, и более обширной, чем когда-либо была монархия: я имею в виду «республику словесности», в чьих владениях находится философия; и наши законы о браке и эмансипации давно провозглашены в этой республике.

Перехожу к предмету настоящего исследования. Нам предстоит провести анализ моральных основ общества. Под этими словами мы понимаем принципы человеческих поступков, мотивы, побуждающие людей действовать: потребности, интересы и страсти, которые их определяют. В своей первой речи я объявил, почему этот анализ составляет необходимую часть курса социальной организации, и я повторю это иными словами, ибо для поддержания внимания к столь абстрактному предмету необходимо часто держать перед глазами цель, к которой мы стремимся.

Цель общества состоит не столько в том, чтобы установить права его членов, сколько в том, чтобы гарантировать их, назначая каждому пределы, которых он должен придерживаться, дабы не ущемлять интересы другого, и удерживать в этих пределах личный интерес, который всегда может пожелать их преступить. Непосредственной гарантией прав является гражданское право. Это социальные соглашения. Вспомогательной гарантией является закон политический - то есть учреждение правительства. Чтобы гражданский закон хорошо выполнял свою задачу, он должен отвечать двум условиям: во-первых, четко фиксировать права; во-вторых, эффективно сдерживать натиск частных страстей против прав окружающих и даже заставлять эти страсти служить их защите. Таким образом, чтобы правильно составить гражданский закон, необходимо знать, помимо прав человека, еще и его нравственную природу.

Для создания политического закона, для основания и организации правительства знание нравственной природы человека еще более необходимо. Оно нужно для того, чтобы предвидеть злоупотребления правящей власти, сопротивление управляемых и дать средства для их преодоления.

Два главных и крайних мнения, между которыми можно поместить множество других, разделяют политических писателей, и нам придется сделать выбор между ними. Одни для гарантии социальных соглашений желают не только крайне независимого, могущественного и сильного правительства или исполнительной власти, но и дополнения к правительству в виде религии, внушающей трепет строгостью своих заповедей, числом служителей и пышностью церемоний - грозной в своих угрозах и обольстительной в своих обещаниях. Эта система является крайним пределом правительственной жесткости. Другая крайность - это мнение тех, кто **вовсе не желает правительства**; не потому, что они питают отвращение к порядку, подобно анархистам, а потому, что считают правительство едва ли необходимым для установления порядка. Они смотрят на людей, предоставленных самим себе, как на существ, всегда достаточно разумных и человечных, чтобы избегать великих и длительных крайностей. И прежде всего они верят, что можно до такой степени объединить интересы граждан и так просветить их умы относительно выгод этого союза, что общество будет существовать благодаря одной лишь силе самого объединения, по причине одной лишь приверженности общему настроению всех его частей. Люди воображают, что, подобно театральному представлению, где одно дуновение заставляет всех замолкнуть, или как в церкви, где один знак заставляет всех преклонить колени, точно так же и в обществе, где закон отвечал бы вкусам большинства и где уважение к закону было бы всеобщей религией, одного взгляда, вздоха или жеста было бы достаточно, чтобы поддерживать порядок; этого хватило бы даже для того, чтобы восстановить его.

В качестве примера приводят Америку в первые времена её независимости. Она существовала не только без правящей власти, но даже без законов; она держалась в рамках правил лишь благодаря силе той естественной общительности, которую природа вложила в сердца людей. Можно было бы привести в пример и Францию, где вплоть до 3 сентября 1792 года ни один акт, предвещающий всеобщее забвение морали, не осквернил революцию, и где, тем не менее, с 1789 года не существовало никакой подавляющей силы. Можно было бы даже с полным правом сказать, что приписывать анархии преступления сентября 1792 года - значит клеветать на неё. Это произошло не потому, что во Франции вовсе не было правительства; и эти преступления не были следствием анархии. Это случилось потому, что существовала некая «антиархия», своего рода реальная «контр-архия», из-за которой нам приходится оплакивать столько бед и краснеть от такого позора.

Промежуточные мнения различаются лишь степенью правительственной власти, которую их авторы считают необходимым установить, и количеством сфер, которые, по их мнению, должны быть ей подчинены. Но все они сходятся в одном важном пункте: чем сильнее можно сократить правительство, не нанося ущерба общественному порядку, тем лучше этот порядок защищён.

Теперь я задаюсь вопросом: как было бы возможно сделать выбор между одним мнением и другим, если бы мы не знали, какого рода сопротивление необходимо предотвратить или преодолеть в сердцах людей, чтобы поддерживать между ними гармонию; если бы мы не знали всех трудностей, преодолевая которые можно объединить все воли и страсти, позволяющие общему интересу восторжествовать в каждом индивиде над заблуждениями частного интереса? Для того, кто не знал бы людей иначе как по их противоречиям, их войнам, их постоянным битвам в нынешнем состоянии наших обществ, одновременно варварских и развращенных, железное ярмо, наложенное на всех без исключения, не показалось бы слишком суровым, чтобы подчинить их общим правилам и общественному порядку. Кто знает, напротив, не предназначено ли человеку, сведущему в природе человеческого разума и чувствах себе подобных, поддерживать социальную гармонию средствами, свободными от всякого принуждения, превращать все обязанности в удовольствия, а все добродетели - в потребности? Но

поскольку пока никому не дано проникнуть в тайну интеллектуальных и моральных способностей человека, чувствуется, что, по крайней мере, уже можно извлечь большую пользу из знаний, накопленных в этой области, чтобы дать социальному порядку новые гарантии и уменьшить неудобства, неотделимые от любой политической гарантии.

Гельвеций является апологетом этой промежуточной системы; **Неккер** - сторонник системы религиозной и монархической, а **Томас Пейн** отстаивал бесполезность исполнительной власти. Авторитет этих имен достаточно ясно подтверждает, что каждое из трех мнений может быть подкреплено философскими принципами, и одного этого соображения было бы достаточно, чтобы обязать нас рассмотреть их и, следовательно, изучить факты, которые должны служить основой для нашего выбора.

Когда я захотел составить опись всех человеческих страстей, всех пороков и всех добродетелей; когда я захотел выстроить их по порядку, расставить их, так сказать, в боевой порядок, каждую под тем знаменем, к которому она принадлежит, под началом того руководителя, которому она подчиняется, я не нашел никакой помощи ни в книгах, ни в самих названиях или определениях, которые обычай закрепил за каждой из них. Когда я захотел проследить генеалогию каждой из них, узнать, где и как эти дети одной общей матери - **физической чувствительности** - разделялись, расходились и выстраивались в противоположные лагеря, одни под именем пороков, другие под именем добродетелей, мое замешательство стало еще сильнее. Анатомы, физиологи, психологи, моралисты, священники и поэты говорили о пороках и добродетелях, а также о страстях души. Читая то, что они пишут об одних и тех же вещах, вы решите, будто они говорят о совершенно разных предметах. Попробуйте найти систематическую таблицу, где они были бы четко разграничены, распределены или классифицированы в каком-либо порядке; это будет напрасный труд - подобной таблицы не существует.

В 1750 году иезуиты сочинили и поставили в коллежском театре в Руане балет, целью которого было доказать, что удовольствие приучает юношество к истинным добродетелям. Первый выход был посвящен гражданским добродетелям, второй - военным, третий - религиозным; причём в последнем олицетворенная религия исполняла па-де-де вместе с удовольствием. Основная идея этого балета была философской, однако очевидно, что ни цель, ни исполнение таковыми не являлись. Авторы преследовали единственную цель - польстить обычным ожиданиям родителей, отправляющих своих детей в коллеж. Это было лишь жалкое зрелище, программа которого должна была служить оберткой для рекламного проспекта пансиона. В этом нет ничего, что могло бы помочь в классификации или правильном и полном объединении социальных элементов. Следовательно, нам самим нужно трудиться над созданием этого труда, рискуя лишь тем, что мы подадим идею другим, которые воплотят её лучше.

Мы ищем принципы человеческих действий. Что мы прежде всего понимаем здесь под принципами? Человеческие действия определяются волей, а воля - привязанностями или страстями. Таким образом, привязанности или страсти являются мотивами, принципами человеческих действий. Но являются ли эти привязанности или страсти первопричинами сами по себе? Нет, они представляют собой изменения чувствительности. Чувствительность же может быть приведена в движение только **ощущениями**. Следовательно, ощущения являются первопричиной человеческих страстей, заложенной в самом человеке. Но эти ощущения сами зависят от воздействия внешних тел на органы чувств, и это воздействие в свою очередь зависит от большей или меньшей степени совершенства самих чувств. С другой стороны, чувствительность - в том, что касается продолжительности, интенсивности и регулярности её воздействия на волю и на органы, исполняющие эту волю, - зависит от физической силы своих проводников в физиологии организма. Таким образом, устройство человеческого тела и его конституция являются не только источником страстей и их инструментом, но также одним из их регуляторов и движущих сил. Следовательно, общая система принципов человеческих действий была бы по существу результатом анатомических и физиологических знаний. Я без колебаний утверждаю, что под скальпелем анатома обнаруживается больше политических и моральных элементов, чем во всех исторических повествованиях и во всех размышлениях простых созерцателей человеческих поступков, называемых моралистами и политиками. До

настоящего времени моральным наукам не хватало людей, которые умели бы объединить их с физическими науками, чтобы укрепить и обогатить первые за счет вторых. Естествоиспытатель, который видит в материи только материю, и моралист, который видит в страстях только духовность, одинаково далеки от истинных и полезных результатов.

Локк, Кондильяк и Бонне провели каждый свой анализ способностей души. Этот анализ представляет собой хорошую психологию; но перед этой наукой идет физиология, или анализ чувств; а перед физиологией должна идти анатомия, которую называют трансцендентной, поскольку она во многих отношениях носит предположительный характер, так как оптических приборов недостаточно, чтобы различить форму элементов, наличие которых предполагают наблюдаемые явления. Химия, которая является наукой о самих элементах по преимуществу, также должна была бы играть первостепенную роль в создании полного труда о человеке и его способностях. Подобное сочинение стало бы прекраснейшим даром человечеству. Оно стало бы вечным источником верных принципов для законов и правительств. Оно позволило бы свести политику и мораль к правилам столь же достоверным и очевидным, как правила геометрии.

Мы не претендуем на создание подобного труда - это было бы слишком большой дерзостью. Давайте четко обозначим те пункты, из которых мы хотим исходить, подобно тому как мы обозначили цель, к которой стремимся. Для изучения мы берем человека с обычным правильным телосложением. Мы рассматриваем его в тот момент, когда его способности уже развиты, в условиях общественного состояния и среди различных интересов, которые его окружают; то есть со всеми его естественными, а также социальными или искусственными страстями. Мы изучаем его чувствительность и порождаемую ею волю, оставляя в стороне ощущения, которые служат источником его деятельности, и прежде всего её природу, которая всё ещё остаётся тайной.

Человеческая чувствительность - это способность подвергаться воздействию и влиять на волю и на органы воли. На человека могут воздействовать только **страдание** или **удовольствие**. Страдания и удовольствия бывают либо мимолётными и слабыми, либо продолжительными, периодическими и сильными. Те состояния удовольствия или страдания, которые кратковременны и слабы, порождают лишь незначительные и преходящие склонности или антипатии; за ними сохраняется общее название «чувственных переживаний». Состояния страдания или удовольствия, которые отличаются продолжительностью, периодичностью и силой, порождают страсти. Страсти, то есть состояния, удерживающие душу в сильном напряжении или в своего рода пассивном состоянии, сводятся к двум видам: отвращению и желанию. У каждой из этих страстей есть две движущие силы, которые воздействуют на волю и которые ошибочно путают с самими страстями; это страх и надежда. Поскольку страсти представляют собой либо отвращение к страданию, либо желание удовольствия или благополучия, очевидно, что каждая из них имеет свой объект приложения, без которого они бы не существовали. Именно от этих объектов страсти и получают свои различные названия, что ещё больше добавило путаницы в представления о самой сути этих страстей.

Существует два вида страданий и два вида удовольствий: те, что даны нам природой и называются физическими страданиями и удовольствиями; и те, что возникают из общественного состояния и называются моральными страданиями и удовольствиями. Следовательно, существует два класса страстей: физические желания и отвращения, а также моральные желания и отвращения. Моральные наслаждения и страдания не являются абсолютными и реальными наслаждениями и страданиями. Лишение или обладание славой, властью, богатством или моральной любовью - это, по сути, интеллектуальные страдания или удовольствия. Блага, являющиеся их объектом, - это лишь обещания или гарантии наслаждения, вот и всё;⁸ если обладание ими само по себе кажется наслаждением, а их лишение - страданием, то лишь в

⁸ Известны слова извозчика, который, будучи осуждён по приговору суда, услышал от председателя: «Суд порицает тебя и объявляет бесчестным». Он ответил: «Это не мешает мне водить мою повозку; такие приговоры костей не ломают». Подобные высказывания часто можно было услышать в среде простых людей.

том смысле, что обещать - значит давать, а быть уверенным в обладании - значит уже наслаждаться. И напротив, тревога о том, чем владеешь, или отсутствие того, что может стать необходимым в любой момент, - значит испытывать муку нужды.

Таким образом, моральные страсти отличаются от физических не своим объектом; разница лишь в том, что первые представляют собой совокупность самих физических страстей, соединённых с предвидением - способностью, присущей нашему разуму. Эта способность, постоянно устремляющая нас в будущее, является источником той внутренней потребности в безопасности, которая необходима нам, чтобы быть счастливыми даже среди самых обильных и упоительных наслаждений. Голод, жажда, физическая любовь, отдых после деятельности и деятельность после отдыха - вот к чему сводятся физические потребности. Обладание предметами, необходимыми для удовлетворения этих потребностей в данный момент, - это физическое удовольствие; их отсутствие - физическое неблагополучие. Таковы первоначальные и основные объекты физических отращений и желаний. Такова материя физических страстей. Такова же и отдалённая цель тех гордых моральных страстей, которые поднимают столько шума.⁹

Человеческий род - единственный, который знает, что он должен умереть. Умереть - значит лишиться всех наслаждений, но это также значит лишиться способности наслаждаться и страдать; следовательно, это значит не терять ничего. Но так как мы хорошо понимаем, что такое состояние наслаждения, и не понимаем, что такое небытие, поскольку оно является отрицанием всего того, что воспринимается нашими чувствами, мы, как бы, воспринимаем смерть лишь наполовину. Мы соотносим со своей чувствительностью, которую смерть разрушает, тот разрыв, который она создает между нами и удовольствиями, между нами и самой нашей способностью чувствовать. В тех представлениях, которые мы создаем о смерти, мы все еще предполагаем наличие жизни, необходимой для того, чтобы ощутить ее ужасы; и эта слабость нашего разума превращает любовь к жизни и страх перед смертью в страсть, состоящую из всех остальных, чья причудливая сила может заставить человека бросать вызов самой смерти и даже искать ее.

Слава, власть, богатство, духовное обладание женщинами - вот непосредственные объекты главных моральных страстей, которые мы видим господствующими в мире. Слава - потому что она *привлекает* все физические удовольствия; власть - потому что она ими *распоряжается*; богатство - потому что оно их *покупает*; духовная любовь - потому что только она может гарантировать самое сладкое, но в то же время самое неопределенное и независимое из всех физических благ. Таким образом, этими моральными страстями являются гордость, амбиция, алчность и любовь.

Наряду с ними в человеческой организации у страстей есть: 1° *принцип направления*, 2° *регулятор их интенсивности*, 3° *мерило их продолжительности*.

Их принцип направления - то, что превращает их в пороки или добродетели, что заставляет их служить общему благу или концентрирует исключительно на частном интересе, - это, во-первых, *разум*, который просвещает их относительно их наибольшей выгоды. Если законы и общественное мнение поставили удовлетворение этих страстей в зависимость от поведения, полезного для общества, разум подсказывает человеку следовать этим законам ради личной выгоды, и общество получает от него все, что желает. Если же законы или мнение связали удовольствия, являющиеся целью этих страстей, с поведением, противоречащим общему интересу, разум по-прежнему рядом и говорит: «Трудись для себя, а об остальном пусть заботятся другие», и к этому совету тоже очень внимательно прислушиваются. Во-вторых, *нравственные привычки* или *нравы* - это еще один принцип направления, часто независимый от разума, законов и даже самого общественного мнения; привычки овладевают человеком с детства, прежде чем разум успеет порекомендовать ему законы и мнение общества; они становятся в дальнейшем более могущественными, чем его разум. Привычки усваиваются прежде всего

⁹ Главные занятия нашего рода, говорит Вольтер, - это жильё, пища и одежда (он забывает о любви), всё остальное - второстепенно. И именно это жалкое «второстепенное» стало причиной столько убийств и разрушений. *Философский словарь, статья «Человек».*

через подражание; подражание, к которому нас всегда подталкивает лень, а иногда и беспокойство от необходимости принять неверное решение, действуя самостоятельно. Это происходит также, если угодно, по совету *детского ума*, который находит интерес в том, чтобы делать то же, что делают окружающие люди и обстоятельства, в которых проходит детство; но этот детский ум и его предпочтения не подходят для зрелого возраста, который обычно помещает нас среди других людей и иных обстоятельств, особенно в богатых и развращенных странах, где общественное мнение меняется от класса к классу, от деревни к городу, от богатства к бедности, от простоародья к знати и т. д., и где человек получает в своей жизни не только два разных воспитания - от людей и от обстоятельств, - но где и то, и другое подразделяются до бесконечности.

Регулятор интенсивности страстей - это темперамент (желчный, сангвинический или флегматичный), который более или менее воздействует на волокна и жидкости организма и придает большую или меньшую энергию волевым устремлениям; именно темперамент, модифицируя людей на тех путях, куда их привели разум, привычки и страсти, делает их вялыми или пылкими, малодушными или робкими, создает великих злодеев или великих людей, подлых негодяев или тех *порядочных людей без добродетели* - презренную породу, которая, несомненно, не совершает преступлений, но становится соучастницей всех совершаемых злодеяний, покорно допуская их; вся их сила ограничивается жалобами, но никогда не переходит к действию. Темперамент не влияет на *направление* поступков людей, но именно он одушевляет их или оставляет в бездействии, разжигает их или леденит, превращая их либо в гидравлические машины, либо в огнедышащие жерла.

Мерилом продолжительности волевых импульсов является характер, то есть совокупная сила темперамента и разума; потому что характер - это то, что составляет, если можно так выразиться, привычное состояние человека; а привычное состояние человека определяется двойным действием разума и темперамента: разума - потому что он более или менее твердо принимает решения в зависимости от своей просвещенности; и темперамента - потому что он определяет их энергию.

Прежде чем продолжить этот анализ, заметим, что уже сейчас видно, как социальные институты могут воздействовать на людей, заставляя их исполнять общие обязанности ради их же частных интересов. Те немногие моральные элементы, которые мы встретили, вместе со страстями, порожденными старыми институтами, могли бы уже сформировать мощную социальную организацию.

Хорошо понимая и точно различая истоки страстей, их направленность, движущую силу, управляющую ими способность, принцип их интенсивности и продолжительности, можно, так сказать, овладеть человеческими поступками в самом их источнике, еще до их возникновения. Законодатель может в некотором роде не допускать в воле ничего, кроме полезных и добродетельных действий.

Одни и те же страсти, видоизменяясь в зависимости от различных форм правления, порождают в нас противоположные пороки и добродетели: эта истина если и не абсолютна, то, по крайней мере, общеприменима.

«В любой стране, - говорит Гельвеций, - где благодаря форме правления слава всегда служит наградой за добродетельные поступки, человек, страстно стремящийся к славе, неизбежно становится добродетельным». Чтобы создать Леонида, Гораicia Коклеса, Курция или Деция, достаточно лишь поместить их в страну и обстоятельства, подобные тем, в которых находились эти великие мужи. Напротив, в стране, где слава сопряжена с властью и тиранией - как это было в Риме в последние времена республики, - то же стремление к славе, которое вначале создавало героев-граждан, Курциев и Дециев, создаст Мариев, Сулл и Октавиев. В странах, где сила правительства делает невозможной славу, связанную с властью, гордость превращается в тщеславие. Желание казаться значимым порождает лакеев и интриганов, которые довольствуются тем, что принимают на коленях отблески величия, перед которым сами же и унижаются.

В зависимости от устройства государств любовь к женщинам либо порождает самые возвышенные добродетели, либо принижает и развращает души. В деспотических странах, где женщины являются собственностью, и в монархиях, где обладание ими становится платой за легкомыслие, они способствуют удушению гражданских чувств; они постоянно трудятся - даже не подозревая об этом - над тем, чтобы сделать мужчин смешными. В свободных же странах, напротив, где правительство сумело извлечь пользу из потребности в любовных наслаждениях, где институты и нравы гарантировали обладание женщинами лишь в обмен на доблесть и заслуги, любовь к женщинам творила чудеса. Критяне, фиванцы, самниты и все народы, преданные любви, были самыми храбрыми, потому что женщины дарили свои симпатии только самым отважным, что, как говорят Платон и Плутарх, является достойнейшей наградой для героев и добродетельных мужей.

Вспомним те лакедемонские празднества, учрежденные Ликургом, где юные и прекрасные девушки приходили в народное собрание, чтобы увенчать молодых воинов, отличившихся в бою, и осыпать презрительными насмешками трусов, плохо послуживших родине; и тогда станет ясно, какую огромную пользу извлекало отечество из силы любви.

И в самом деле, какая жажда добродетели не должна родиться из желания обладать существами, которым природа вверила источник наших острейших наслаждений, когда эти существа потребуют доказательств доблести в качестве платы за обладание ими? Я невольно задаюсь вопросом: неужели в предвкушении будущего нельзя представить себе, как во Франции женщины - одним лишь своим присутствием на национальных праздниках, где они занимали бы почетные места и где на их глазах проходили бы все слуги государства - стали бы прекраснейшим залогом общественного порядка? Как они, без официальных патентов и дипломов государственной власти, превратились бы в величественных распределительниц самых сладких наград и самых чувствительных наказаний? Как без судебных приговоров, без слов и лишь одним своим мимолетным взглядом они влияли бы на огромные расстояния во времени и пространстве на людей всех сословий и возрастов? Как, наконец, они осуществляли бы своего рода *сверхмагистратуру*, которая гарантировала бы упорядоченную работу всех органов власти?

И если мы осознаем ту важную роль, которую можно извлечь из естественной власти женщин над мужчинами для совершенствования гражданского общества, то больше не найдется - и, несомненно, не будет более изыскиваться - ни одного аргумента ни в пользу исключения женщин из сферы гражданского общества, ни против священного принципа неотчуждаемой свободы их сердец и их рук. Я уже говорил: если поставить их на одно поприще с мужчинами, они утратят способность одарять их венцами, и мужчинам останется лишь отказаться от самой приятной награды за свои труды и добродетели.

С другой стороны, если женщины лишаются свободы в супружеском союзе, то у каждой из них будет лишь одна награда, которую она сможет вручить за всю свою жизнь, а этого недостаточно. Необходимо, чтобы многие женщины имели возможность раздавать более чем по одному венцу, так как есть женщины, настолько превосходящие мужчин, что они никогда не соизволят отдать более одного венца, и существует еще большее число тех, от кого мужчины и вовсе не захотят их принимать.

То, что мы только что сказали о любви к славе и любви к женщинам, можно сказать и о любви к богатству. Любовь к богатству в стране, где оно является наградой за подлость, интриги или обман, породит лишь подлость, интриги и обман. В странах же, где оно становится наградой за трудолюбие, активность и экономность, оно породит трудолюбие, активность, экономность, скромность и умеренность, которые повсюду сопутствуют бережливости и любви к труду, даже среди огромных богатств. Голландия и Швейцария служат примером этого последнего наблюдения.

Гельвеций считал даже любовь к власти склонностью, благоприятствующей добродетели, учитывая, что законодатель волен обусловить обладание властью лишь следованием общественным добродетелям. Это неоспоримое мнение доказывает не то, что любовь к власти сама

по себе является добродетелью, а то, что эта страсть, которая по своей сути может быть пороком, тем не менее может быть принуждена платить дань общественным интересам и, если можно так выразиться, более или менее долго идти по пути добродетели для достижения своей цели, которая вполне может быть преступной. До сих пор мы говорили лишь о страстях, рожденных личным интересом и действующих ради личного интереса, независимо от того, получают ли они благодаря своему направлению название добродетелей или же общественное мнение клеймит их как пороки. Но разве не существует иных принципов действия? Разве нет в человеке принципа всеобщего благожелательства, не только чуждого личному интересу, но даже превосходящего его?

Пуфендорф, Мандевиль, Гоббс, Ларошфуко и в особенности **Гельвеций** отрицали существование этого принципа. Наши пороки и наши добродетели, говорил Ларошфуко, - это лишь замаскированное самолюбие: интерес является единственной мерой всех человеческих поступков. Во всех наших страстях, говорил Гельвеций, даже в тех, объект которых, казалось бы, меньше всего относится к чувственным удовольствиям, мы всегда ищем избавления от боли или физического удовольствия. Мы желаем богатства, влияния, власти, уважения, дружбы не иначе как в обмен на всевозможные удовольствия или ради избавления от множества страданий;¹⁰ более того, мы помогаем несчастному лишь для того, чтобы вырвать самих себя из физической боли, которую причиняет нам зрелище его страданий; чтобы насладиться его благодарностью, которая рождает в нас как минимум надежду на некую отдаленную пользу; чтобы совершить акт власти, пробуждающий в нас чувство удовольствия, связанного с этой властью; чтобы снискать уважение и любовь людей, что само по себе дает право на личные наслаждения.¹¹ Интерес и потребность, говорит тот же писатель, являются принципом всякой общечеловеческой ответственности. Любой автор, который, желая внушить доброе мнение о своем сердце, основывает общественность на ином принципе, нежели принцип физических и привычных потребностей, вводит в заблуждение слабые умы и дает им ложные представления о морали.¹² Раскаяние, согласно Гельвецию, - это лишь предвидение физических мук, которым подвергает преступление; человек, стоящий выше законов, не ведает раскаяния.

Многочисленные противники выступили против этих мнений. Я не говорю о теологах и ханжах всех мастей, которые находят мораль лишь в тех общих истинах, которые они слышали и повторяли всю свою жизнь. Я говорю о писателях-философах, в частности о **Дэвиде Юме** в его «Опытах о морали» и об **Адаме Смите** в его глубокой «Теории нравственных чувств».

Юм без колебаний утверждает, что человеку присуще бескорыстное благожелательство, которое превосходит даже любой личный интерес. Материнская нежность служит ему примером этого чувства. Мать изнуряет себя у постели больного ребенка; она делает это не потому, что её здоровье подорвано... Но Юм, как правило, не слишком убедителен в своих рассуждениях; он также не вполне удачен в описании моральных феноменов, которые приводит для подкрепления своего мнения. Кроме того, у него есть недостаток: он не объясняет происхождение этого бескорыстного благожелательства, которое приписывает человеку, из-за чего оно кажется неким врожденным чувством или идеей, что никак не согласуется с тем, что нам известно о происхождении человеческих знаний и привязанностей.

Смит же является несравненно более мощным противником. Он не только борется с системой личного интереса, рассматриваемой как единственный мотив действий, но и выстраивает иную систему, которой в равной степени уделяет внимание и чувствительность. Он применил самый точный анализ ко всем моральным чувствам, ко всем феноменам душевных привязанностей, и во всех них обнаружил принцип, отличный от личного интереса; и этот принцип - *симпатия*. Речь идет не о той таинственной симпатии, которую предполагали, никогда не доказывая, знаменитые шарлатаны от медицины или физики. В еще меньшей сте-

¹⁰ Об уме, гл. IX, рассуждение 3.

¹¹ О человеке, т. I, стр. 124 и 134.

¹² Там же, 137.

пени речь идет о той романтической симпатии, которую поэты и влюбленные считали привилегией своих чувств. Смит понимает под симпатией благородную способность сострадать бедам других и радоваться их счастью; способность разделять впечатления себе подобных при одном лишь взгляде на них, при одном лишь предвидении их удовольствий или страданий; способность, которую Смит признает непосредственным порождением любви к себе и чувствительности, подобно самому личному интересу, для которого она является, по его словам, старшей сестрой, хотя и отличается от него, несмотря на общее происхождение.

Явления, которые, по-видимому, привели Смита к системе симпатий, были вполне достаточны, чтобы позволить здравомыслящему уму принять её. Одобрение, которое мы выказываем добродетелям великого человека, умершего несколько веков назад, и от которого мы, следовательно, не получили никакой выгоды и не можем ожидать её в будущем, - это один из тех феноменов, которые, кажется, закладывают в нас принцип действия, отличный от личного интереса. Разве нельзя предположить, вслед за Смитом, что именно из симпатии к современникам этого великого человека мы чтим его память и разделяем их благодарность? Холостяк огорчается вместе с отцом семейства, потерявшим ребенка, хотя прекрасно знает, что ему самому не стоит опасаться подобного несчастья. Человек сочувствует роженице, хотя сам не подвержен подобным страданиям. Когда мы видим, как кого-то бьют по руке или ноге, мы непроизвольным движением отдергиваем собственную ногу или руку и чувствуем удар вместе с пострадавшим человеком. Мы беспокойно покачиваемся, пытаясь сохранить равновесие на своем сиденье, глядя на канатоходца, идущего по канату. Мы разделяем радость других, не зная её причин, лишь при виде улыбающихся лиц. Мы также разделяем чувства, которые, как нам кажется, мы узнаем в других, но которых на самом деле там нет; например, мы краснеем за наглеца, который сам никогда не краснеет; мы плачем из-за безумца, который смеется, глядя на наши слезы; мы страдаем даже за покойника; мы разделяем горести, которыми, как нам кажется, он поражен в ужасе могилы, вдали от своих друзей, от своих родителей, лишенный дневного света и обреченный стать пищей для червей. Откуда берутся наши чувства во всех этих обстоятельствах? Исключительно из воображения, которое, согласно Смиту, ставит нас на место наших ближних и заставляет нас покинуть свое собственное; которое вводит нас, так сказать, в их тела и отождествляет нас с ними. И как иначе объяснить наше сострадание к покойнику - сострадание, которое является не страхом или предчувствием собственной кончины, а интересом, прикованным к умершему человеку?

Как же иначе, - говорю я, - объяснить этот интерес, если не признать, по словам Смита, что мы, так сказать, полностью переносимся в это неодушевленное тело и наделяем его нашими чувствами?

На следующем занятии мы подробно разберем, в чем именно расходятся взгляды **Гельвеция и Смита**, в чем они противопоставлены друг другу и в чем согласны. Оба они признают одну и ту же основу - физическую чувствительность, но каждый из них претендует на то, что нашел ее единственное или, по крайней мере, самое любимое дитя. Мы увидим, как можно примирить их по многим пунктам и как рассудить их в остальных вопросах. Мы выясним, нельзя ли основать значительную часть теории Смита на физических принципах, которых он не знал или, по крайней мере, не указал, и придать ей тем самым прочное основание.

Мы проанализируем симпатию, если в ходе наших исследований выяснится, что ее следует считать первоначальным принципом наших действий. В частности, мы изучим, верно ли утверждение Смита о том, что закон симпатии является главной причиной существующего в обществе неравенства между людьми; правда ли, что он придает принципам и королям особую значимость, и что, таким образом, естественный и первозданный закон препятствует существованию правительства без коронованного, богатого и могущественного главы.

Эти исследования позволят нам завершить анализ принципов человеческих действий и составить из них стройную картину, где всё займет свое место, готовое послужить нам, когда придет время очертить для законодателей принципы гражданского и политического права.

Шестая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее 10 марта 1793 года (II год Французской республики).

Продолжение темы о нравственных основах общества.

Наша сегодняшняя цель - рассудить спор между Смитом и Гельвецием, между тем, что называют личным интересом, и симпатией. Нам предстоит выяснить, действительно ли в человеке существуют два различных принципа - природное доброжелательство и общительность, и если существует лишь один, то каков он.

У обоих мнений есть множество сторонников, поскольку каждый считает для себя выгодным придерживаться одного из них. С обеих сторон считается делом чести защищать выбранную позицию. Сторонник личного интереса считает себя более правдивым, искренним или рассудительным, чем его противник. Приверженец симпатии мнит себя более возвышенным, добрым, великодушным и добродетельным. Первый обвиняет второго в невежестве, иллюзиях, романтизме и, возможно, в лицемерии и шарлатанстве. Второй же обвиняет первого в деградации, низости и близости к самому подлому злодейству.

Многие люди тяготеют к симпатии по личным соображениям. Ее любят защищать, потому что в ней есть нечто таинственное, что льстит воображению и скрывает от него как источник, так и пределы добродетелей и самых нежных радостей; потому что в ней есть нечто мягкое, что приятно сердцу, пробуждая в нем счастливые чувства, затронувшие его по многим причинам; и прежде всего потому, что в ней есть нечто удобное, потакающее любым вкусам и мирящееся с любыми слабостями.

Что ж, во всем этом споре я обнаружил лишь злоупотребление словами; по сути, все согласны друг с другом. Было бы счастьем, если бы злоупотребление словами никогда не разжигало более серьезных войн и не заставляло говорить или писать еще больше глупостей!

Чтобы вынести обоснованное суждение по поводу этих двух мнений, необходимо точно их резюмировать. И вот как я понял **систему Смита**. Он выделил в человеческих привязанностях и поступках два различных свойства: первое - это их достоинство или недостоинство, иначе говоря, их вредоносность или полезность; второе - это их соответствие или несоответствие, то есть их уместность или неуместность, или, выражаясь иначе, их пропорциональность или непропорциональность мотиву, который их вызывает, или цели, которую они преследуют. Затем он исследовал и проанализировал мотивы суждений, которые мы выносим о поступках или чувствах других людей, чтобы обнаружить в них мотив наших собственных чувств и поступков; он исследовал, как мы обретаем чувство заслуги или вины, соответствия или несоответствия, чтобы обнаружить, как мы судим самих себя и как у нас формируется чувство долга. Он полагает, что нашел основу: мы оцениваем привязанности и поступки других людей, опираясь на природный принцип, который отождествляет нас со страданиями и радостями окружающих. Свои же чувства мы сверяем с общим мнением, которое складывается (на основе их собственного сочувствия) у большинства людей, с которыми мы живем, а также с тем удовольствием, которое мы получаем от единодушия с ними во всех вопросах нашего существования. Таким образом, мы любим или ненавидим качества или пороки других людей не потому, что они полезны или вредны, а потому, что их любят или ненавидят наши ближние, и в силу сочувствия к ним.

Смит, однако, не отрицает, что полезность поступков может рассматриваться как принцип наших суждений о себе и других; но, по его мнению, это лишь побочный, дополнительный и подкрепляющий принцип, а не первичный и существенный. Этот философ также признает, что обычаи и мода оказывают определенное влияние на чувства морального одобрения и осуждения, но добавляет, что это происходит лишь до определенного предела. По его словам, они могут исказить некоторые этические понятия, обесценить достойные качества или возвеличить некоторые пороки, но никогда не смогут дойти до того, чтобы заставить полюбить преступление и возненавидеть добродетель. Самые большие заблуждения, в которые нас ввергает

обычай, случайны и относятся к частным случаям; они не затрагивают общий характер поведения. Дух нравов каждого народа обычно лучше всего соответствует его положению. Мода и обычай могут сделать наши моральные чувства более тонкими. В остальном они служат мерилем и правилом суждения во множестве случаев, к которым нормы морали неприменимы; они определяют правила приличия для каждого сословия и каждой профессии.

Таково краткое изложение системы Смита. Его представление о сочувствии сводится к тому, что это чувство более или менее отождествляет нас с переживаниями наших ближних. И способность сочувствовать заключается, по мнению автора, в той игре воображения, которая переносит нас *со всеми нашими способностями* в положение наших ближних, когда мы видим или даже просто предполагаем, что они в настоящий момент, в будущем или в недавнем прошлом охвачены какой-либо страстью, радостью или горем. Обратим внимание на эти слова: *со всеми нашими способностями*. Именно потому, говорит Смит, что мы проникаем *со своим разумом* в голову безумца, мы оплакиваем отсутствие разума у него, в то время как он сам смеется над нашим горем. Именно потому, что мы переносимся *со своей чувствительностью* в мертвое тело, мы страдаем от всего того, что оно должно было вытерпеть перед тем, как лишиться жизни.

Принцип Гельвеция сводится к следующим словам: именно чувство личного интереса заставляет нас поступать хорошо или плохо. Это чувство движет нами в амбициях, в скупости, в дружбе, в любви к славе. Это чувство не только не противоречит доброжелательности, но и весьма ей способствует. *«Способность вредить другим, уравновешенная равной способностью других вредить нам в ответ, защищаясь или мстя, является скорее поводом воздерживаться от зла, чем совершать его. Способность помогать другим, уравновешенная равной способностью других помогать нам, является для каждого веским мотивом действительно желать помогать окружающим. Власть, которой обладает каждый человек в отдельности, чтобы вредить другим, значительно уступает власти, которой обладают все остальные или многие из них, чтобы защищаться или мстить. Способность каждого творить добро уступает той силе, которой обладают все остальные или многие, чтобы вознаградить его за это».*

Легко доказать, что эти две системы во многом близки друг другу; мне даже кажется, что они дополняют друг друга, а не противоречат.

1. Во-первых, Смит признает, что осознание общей пользы великого поступка отчасти входит в мотив, который его определяет, независимо от всякого сочувствия. Но в общую пользу обычно включена и частная польза. Следовательно, обычно можно полагать, что в поступках, совершенных ради общей пользы, присутствует и частный интерес.

2. Крайне редко случается, чтобы поступок, приносящий общую пользу, не давал его автору вполне реальных преимуществ как творцу, даже если он не получает никакой выгоды как член общества. Следовательно, всегда есть достаточно оснований надеяться на это, так что подобное ожидание вполне могло входить в круг его побуждений.

3. Смит признает, что существуют добродетели, мотивом и целью которых может быть только частный интерес; такова, например, умеренность. Если же мы выводим определенные добродетели из частного интереса, то ничто не мешает нам по крайней мере допустить, что этот интерес является первоосновой всех остальных.

4. Смит также признает, что мода и обычаи оказывают определенное влияние на нравственные чувства. Однако мода и обычаи могут воздействовать лишь на личный интерес, который всегда стремится подстроиться под общее мнение, поскольку зависит от него. Вот еще один принцип действия, который, по словам самого Смита, вытекает из принципа, выдвинутого Гельвецием.

5. Смит не указывает прямо, на каком принципе зиждется симпатия. Тем не менее любая моральная способность принадлежит к числу наших физических способностей. Гельвецию не пришлось долго искать источник принятого им принципа: интерес - дитя самолюбия и рассудка, а самолюбие и способность рассуждать - дети физической чувствительности. Не указы-

вая на ту способность, которую он считает первоосновой или матерью симпатии, но и не отрицая, что таковая имеется, и не утверждая, что симпатия является независимой и первичной способностью, а признавая ее равной интересу, Смит, вероятно, полагал, что у них есть нечто общее в происхождении.

По правде говоря, если не отвергать доказательства Локка, Кондильяка и Бонне, которые устанавливают, что наши идеи происходят от чувств и собираются и сохраняются чувствительностью в мозгу, являющемся ее единственным средоточием, Смит должен признать чувствительность источником симпатии, так же как она является источником личного интереса - в предположении, что это два разных принципа. Симпатия происходит от нее напрямую: она, возможно, является ее дочерью, тогда как интерес - лишь потомок во втором колене. Таким образом, используя, возможно, приземленное, но привычное выражение, я считаю, что симпатия - это *дочь*, а интерес - *внук* физической чувствительности. Следовательно, в этой системе оба противника принадлежат к одной семье.

6. Симпатия, в каком бы смысле ни понималось это слово, - это всегда личный интерес. Это как минимум сопереживание чужому интересу. Но если наша природа заставляет нас разделять эту нужду, то мы делаем это всегда из любви к самим себе, когда удовлетворяем её.

7. Личный интерес побуждает нас делать добро другим, чтобы получить от них добро для себя; симпатия же - чтобы наслаждаться им вместе с ними. Интерес дает, чтобы получить; симпатия дает, чтобы наслаждаться сообща. Интерес побуждает пообедать у соседа при условии, что сосед потом придет обедать к нему. Симпатия несет свой обед к другим, но она садится за стол вместе с ними: интерес покупает, симпатия объединяется. Интерес покупает в рассрочку, симпатия платит наличными. Вот еще ряд связей, которые придают интересу и симпатии явное семейное сходство.

8. Но так ли уж верно, что существует разница в степени родства, связывающего интерес и симпатию с чувствительностью? Разве то, что называют симпатией, не является в определенных обстоятельствах просто самим интересом в действии? Не стоит отвергать эту мысль: что нам стоит лишить симпатию её достоинства, если мы вернем его интересу во всей полноте? Что нам стоит потерять приятную химеру, если в реальности мы обретем всё то очарование, которым мы её наделили?

Поэтому я рискну выдвинуть следующее предложение:

Симпатия - под этим словом я понимаю способность не только сопереживать другим, но и без долгих раздумий и колебаний решаться делать добро другому, - эта способность, кажущаяся столь же быстрой, как и само движение, с которым она сливается, тем не менее является лишь приобретенной способностью. Она есть не что иное, как результат расчета интереса, ускоренного привычкой. По крайней мере, она может быть лишь этим и проявляться через те же следствия и те же признаки, по которым её узнают.

В симпатии (сочувствии) я различаю два начала: то, что заставляет нас сопереживать чужой боли или радости, и то, что побуждает нас спешить на помощь для облегчения страдания или стремиться доставить удовольствие. Передача чужой боли или радости - это всего лишь ощущение, которое запечатлевается в нас при виде знаков, выражающих это страдание или удовольствие. Однако действие, направленное на облегчение боли, приумножение или создание удовольствия, обязательно является результатом суждения.

Подобно тому, как ребенок, впервые обжегшись, отдергивает руку от огня лишь после некоторого размышления, так и в первый раз именно раздумье и осознание собственной выгоды заставляют нас действовать, когда мы получаем некое впечатление боли или удовольствия, видя людей, охваченных одной из этих страстей. Но точно так же, как ребенок, однажды осознав действие огня, в дальнейшем всегда и мгновенно отдергивает руку при малейшем прикосновении и даже при одном приближении к горящему предмету, так и мы, когда размышление и учет наших интересов однажды побудили нас действовать ради приумножения благополучия или облегчения страданий другого человека, при малейшем намеке или подозрении на чувство, которое, согласно нашей выгоде, велит нам позаботиться о ближнем, мы

сразу же настраиваемся на это действие. В результате ощущение и поступок становятся для нас почти одновременными.

Только благодаря суждению, причем суждению очень натренированному, музыкант способен распознать значение шестнадцати шестнадцатых нот, составляющих один такт. Чтобы научиться понимать их ценность, требуется много времени. Но когда человек уже обучен, ему достаточно одного взгляда на нотный лист, чтобы различить все эти мелкие знаки, и пальцы исполняют их так же быстро, как глаз их встречает.

Метафизика человеческого разума прекрасно объясняет, почему привычка действует так быстро и как суждение воспроизводится столь же мгновенно, как и само ощущение. Вынести суждение в первый раз - значит сравнить две или несколько идей и решить, рождает ли их союз третью идею, которую называют выводом. Повторить это суждение - значит лишь заново почувствовать то, что уже было прочувствовано ранее. В акте суждения одновременно присутствуют несколько идей, и они одновременно приводят в движение несколько волокон; внимание созерцает их все вместе, чтобы прийти к результату. В суждении, основанном на памяти, задействована лишь одна идея, лишь одно волокно, и возникает лишь одно ощущение. Однако, поскольку мы способны испытывать столько же и даже больше ощущений в течение одного музыкального такта, сколько нот можно исполнить за это же время, и поскольку действие, как и рука, подчиняется каждому ощущению столь же мгновенно, мы понимаем, почему сочувственные действия, будучи результатом суждения, совершаются так быстро, ловко и оперативно.

Меня могут спросить: если личный интерес может действовать на основе столь молниеносных расчетов, то почему он не всегда действует без колебаний, без задержек и медлительности? Почему обычно он столь вдумчив, осторожен и нетороплив в принятии решений? Я отвечаю: потому что очень часто он направлен на объекты, находящиеся на большом расстоянии во времени и пространстве; потому что элементы его расчетов часто неизвестны и крайне сложны; потому что в важных делах или в делах нового рода расчеты никогда не бывают завершены заранее. В таких обстоятельствах человек подобен ребенку, который еще не обжегся и нуждается в раздумьях, чтобы понять, что именно огонь причинил ему боль и что в будущем его следует избегать.

Мне кажется, что слово «интерес» изначально не означало ничего иного, кроме вклинивания расчета между ощущением и действием. Слово *intérêt* происходит от латинских слов *inter est*, что значит «находится между». Оно предполагает не больше личной выгоды или эгоизма, чем само сочувствие. Более того, оно предполагает наличие самого сочувствия, то есть способности разделять впечатления других людей; оно предполагает это, ибо если бы человек не разделял эти впечатления, он бы не стал утруждать себя расчетами, чтобы решиться облегчить их, когда они мучительны. Таким образом, в том, что называют личным интересом, есть сочувствие, точно так же как в сочувствии присутствует личный интерес.

С помощью этой теории можно объяснить тот пыл, с которым сочувственное действие бросает человека в самые крайние опасности, вовлекает в жертвы, наиболее противоречащие личному интересу. Во-первых, даже самый расчетливый личный интерес порой приводит к серьезным просчетам. Есть люди, которые проводят шестьдесят лет жизни в разного рода добровольных кризисах, надеясь удвоить свои возможности для наслаждения в том возрасте, когда им остается только умирать.

Во-вторых, заложенный в нас принцип действия - чувствительность - не всегда соразмеряет свою решительность с мотивом, который на неё воздействует; зачастую она выходит за рамки меры. Её пружина расслабляется более или менее плавно, в зависимости от множества физических и моральных обстоятельств. И причина проста: иногда достаточно задеть лишь одну струну, чтобы привести в движение другие, или пробудить одно-единственное воспоминание, которое вызовет еще двадцать других, воздействующих на волю. Когда множество струн, которые не могли подчиняться регулярно и размеренно, срабатывают по очереди, способностей к действию не хватает, чтобы справиться со всеми сразу; и когда, повторяю, эти

струны начинают действовать одновременно, они лишают рассудка, подавляют его и выходят далеко за пределы того, чего требовал вызвавший их интерес. Именно они толкают Курция в пропасть и возвращают Регула в Карфаген. Тысяча фунтов пороха могут сгорать на складе постепенно, один за другим, не причиняя вреда; но подожгите сразу бочку в двадцать фунтов - и склад взлетит на воздух.

«Но как вы объясните интерес, который мужчина проявляет к роженице?» - Так же, как я объясняю интерес человека, никогда не получавшего ран, к раненому. Мы все знаем, что такое боль; нам не нужно знать, что представляет собой именно та или иная конкретная боль. А как вы объясните интерес живого к покойнику? Я объясню это одним словом, или, скорее, мне вовсе не нужно это объяснять, ведь в смерти мы жалеем не саму смерть, а умирающего человека, о котором напоминает нам этот труп.

Меня также спросят, как я объясняю совесть в системе личного интереса и считаю ли я, подобно Гельвецию, что угрызения совести - это лишь страх перед наказанием? - **Нет**; но я полагаю, что идею, которую Смит дает об угрызениях совести, следует объяснять через идеи Гельвеция. Согласно первому, угрызения - это сочувствие виновного к тому ужасу, который он внушает свидетелям своего преступления или тем, кто о нем знает, а также сострадание, которое испытывают к жертве. Однако я объясняю это сочувствие привычными и быстрыми расчетами сильно подавленного личного интереса. Угрызения совести - это, я знаю, не просто страх наказания; они сами по себе являются наказанием. Слово «remords» (угрызение) происходит от «mordre» (кусать) и «remordre» (кусать снова). Угрызение - это укусы за укусом, укус, повторяющийся в самой чувствительной и живой части нашего существа. Но какие зубы кусают подобным образом? Я готов признать, что они принадлежат тому *беспристрастному наблюдателю*, которого Смит помещает внутри нас под именем совести; но Смит утверждает, что именно симпатия вводит этого персонажа в душу виновного. Я же говорю, что именно страх запечатлел этот образ рядом с воспоминанием о преступлении и заставляет чувствовать эти острые зубы. Именно страх заставляет порой верить, что тебя укусила собака, когда видишь, как она бежит к тебе с разъяренной пастью. Таким образом, страх целиком относится к области личного интереса.

«Но в конце концов, - скажут мне, - откуда берется эта чувствительность к чувствам других, которую вы отказываетесь признавать симпатией и которую, тем не менее, находите рядом с личным интересом даже для того, чтобы предостеречь его о том, что следует делать?» - Она происходит из двух вещей: 1) из способности видеть и различать в других признаки наших собственных страданий или наших собственных радостей; 2) из крайней очевидности, из очень ощутимого проявления, из поразительной наглядности наших болей или наших удовольствий и, если можно так выразиться, из внешней формы их знаков. Животные также обладают способностью распознавать беды своих сородичей; но эти беды ни у кого не проявляются так явно, как у человека; поэтому собаки чувствительны к страданиям своих хозяев, лишь прочитав их на лицах.

И что же составляет и характеризует видимость человеческих страстей? Два обстоятельства, специфических для нашей природы: устройство нашей **нервной системы** и прозрачность нашей кожи. Благодаря игре наших нервов и наших мышц, мы смеемся и плачем. Благодаря прозрачности кожи мы краснеем, бледнеем и проходим через тысячи промежуточных оттенков между крайней бледностью и густой краснотой. Смех и слезы, румянец и бледность - это показатели состояния нашей души и состояния нашего тела; такое их сочетание не встречается ни у одного вида животных. Добавьте к этим обстоятельствам силу слова и искусство языка, которые также свойственны только нам и придают форму или, по крайней мере, звучание всем нашим чувствам и привязанностям. И вы без труда поймете, как человек, чье состояние постоянно проявляется через множество внешних признаков, может передать представление о нем своему подобному. И как он, в свою очередь, лишь однажды понаблюдав за собой или увидев своих детей в минуты горя или радости, чтобы узнать, какими знаками они сопровождаются, становится способен мгновенно, живо и глубоко воспринимать эти чувства.

Прозрачность человеческой кожи, безусловно, является одним из самых активных заложённых в нас начал общительности. Она позволяет распознавать как яркие порывы, так и самые тайные чувства, обнажая игру крови, которая всегда следует за движениями души. Радостные чувства, мягко ускоряя кровообращение, окрашивают лицо в умеренный красный цвет. Мучительные переживания, заставляя кровь отливать к сердцу, вызывают бледность. Бурные страсти, сжимая сосуды сердца, гонят кровь к конечностям и вызывают крайнюю красноту. Тысячи оттенков между этими крайностями выдают умеренные или смешанные чувства. Прозрачность человеческой кожи настолько является принципом общительности, что социальные чувства, как мне кажется, весьма заметно градуируются - не скажу, что в прямой зависимости от различий, которые климат и возраст накладывают на кожу людей, но, по крайней мере, соразмерно этим различиям и, следовательно, как будто заимствуют от них некие свойства.

Страдания темнокожего человека трогают или поражают нас меньше, чем страдания белого; возможно, в этом также кроется одна из причин их неспособности до сего времени сформировать истинные общества между собой. Горе загорелого, обветренного, заросшего бородой человека впечатляет меньше, чем горе человека с чистой кожей и выбритого; горе самого свежего мужчины - меньше, чем горе женщины; горе смуглой и морщинистой женщины - меньше, чем горе молодой и свежей женщины (заметьте, я не говорю «интересуют», а «поражают нас меньше»); горе темноволосой брюнетки - меньше, чем блондинки; горе женщин любого возраста поражает нас меньше, чем горе детей - детей, чье очарование во многом заключается в этой подвижности их лиц и в постоянной смене красок на их коже.

Теперь, когда мы разложили моральные чувства на составляющие, попробуем воссоединить их из тех элементов, которые мы выделили по отдельности; это способ убедиться в точности нашего анализа. Прежде всего я утверждаю: человеческие чувства обладают очевидностью, свойственной нашему виду; они, так сказать, бросаются в глаза каждому. Наши глаза, наученные наблюдением за тождеством, существующим между чужой болью и нашей собственной, передают в мозг ощущение чужого страдания и пробуждают, как минимум, мысли о подобных болях, и тогда мы страдаем сами.

Болезненно затронутая чувствительность стремится избавиться от страданий; отсюда возникает желание, воля к действию. Здесь заметьте, что речь идет об индивидуальной чувствительности, о способности чувствовать собственную боль. Здесь одно из двух: либо чувствительность уже проявлялась в подобном случае, либо ее призывают к действию впервые. И снова одно из двух: либо ее призывают совершить лишь один акт, либо некую последовательность действий.

Если чувствительность действует впервые, она будет размышлять над тем, что следует предпринять, чтобы избавиться от поразившего её зла. Она осознает, что самый надежный способ добиться успеха, не навлекая на себя еще больших бед, заключается не в том, чтобы отвести взгляд, а, напротив, в том, чтобы оказать помощь. И тогда возникнет промежуточный расчет между волей к действию и самим действием, и этот расчет, к которому обратятся, будет называться *интересом*.

Если чувствительность призывается к долгой последовательности взаимосвязанных действий, то и тогда придется выбирать между действием и волей к действию; и тогда снова скажут, что здесь присутствует *интерес*. Если же, напротив, чувствительность уже проявила себя после раздумий, и речь идет лишь о совершении одного благодеяния, то она внезапно устремляется к нему и переходит к действию. Тогда говорят, что она действует из сочувствия (симпатии), то есть в силу разделения чужого страдания и желания это страдание прекратить. Это не может быть истинным в буквальном смысле, поскольку мы не можем ощущать чужое страдание через чувства другого человека, так же как не можем воспринимать чужие идеи через его органы чувств. Наконец, если страдающие нервные волокна, определяющие действие, сильно возбуждены или напряжены, если они приводят множество других волокон в крайне быстрое движение - что зависит от тысячи физических обстоятельств - тогда воля к действию подобна пружине из бесконечного числа наложенных друг на друга пластин. Она распрямляется тем

сильнее, чем на большее количество пластин воздействовало давление. Её разрядка может быть настолько бурной, что она сломает то, что должна была поддерживать или приводить в движение, либо отбросит это дальше, чем позволяли обстоятельства.

Таким образом, принципы человеческих поступков сведены к единству, а именно - к физической чувствительности, которая может быть только индивидуальной и личной. Симпатия и интерес - лишь её проявления.

На следующем занятии мы выясним, верно ли утверждение Смита о том, что в нашей физической организации заложен принцип социального неравенства. После этого отступления мы дополним систему вторичных принципов, определяющих действия человека. Мы кратко проанализируем инструмент этих принципов, а именно разум, и обозначим основы двух искусств, составляющих искусство законодательства: (1) искусство управления страстями и их координации; (2) искусство увеличения или уменьшения их интенсивности.

Наблюдение

Это рассуждение было составлено в дни общего и личного кризиса. Оно совершенно неудачно. Суть моего мнения верна, но доказать это должен анализ. Необходимо обозначить различные значения слова «симпатия», различные значения слова «интерес» или, вернее, слова «самолюбие», и соотнести различные явления, приписываемые этим мотивам, рассматривая их в каждом из этих значений. Эта работа уже сложилась у меня в голове, но прежде чем изложить её на бумаге, я хотел бы прочесть обширный труд госпожи де Кондорсе о «Теории нравственных чувств» Смита; труд, который я видел в руках Эмманюэля Сийеса в 1790 году и который его поразил. Госпожа де Кондорсе обещала мне его дать. Я совершенно не уверен, что когда-нибудь увижу её снова, но так же мало я уверен в том, что закончу работу, которую предпринял бы, не ознакомившись с её трудом. Он мог бы дать мне новые идеи и, возможно, развил бы мои собственные лучше, чем я способен сделать это сам. К тому же в моём уединении у меня нет даже книги Смита. С собой у меня лишь сделанная мною выписка из его труда, и она, возможно, довольно плоха, ведь выписка, сделанная для изучения книги, обычно не так хороша, как та, что делается, когда книгу знаешь в совершенстве. Тем не менее, вот несколько заметок по поводу некоторых положений, которые я нахожу в этой выписке.

Заметки о различных положениях Смита («Теория нравственных чувств»)

1. Прежде всего, что означает слово *симпатия*? Оно происходит, я полагаю, от двух греческих слов: *pathos* (чувство, страсть) и *sun* (с, вместе). Это разделенная страсть. (Нужно проверить эту этимологию в греческих корнях.) Однако *страдать вместе с кем-то* или *радоваться вместе с кем-то* не означает находиться в состоянии, чуждом самолюбию. Симпатия в этом смысле синонимична *состраданию*, *доброжелательности* или *сорадованию*. Это страдание или наслаждение того же рода, что и у другого человека, но не той же интенсивности; они воспроизводятся в памяти или воображении при виде, рассказе или воспоминании о них. Это значит страдать или радоваться по случаю кого-то, одновременно с кем-то, но при этом ощущать свои собственные наслаждения и переживать свои собственные страдания. Это значит вспоминать о уже пережитых чувствах, когда нечто, способное напомнить о них так же эффективно, как и их внешние проявления у подобных нам людей, вызывает их в памяти. В симпатии, рассматриваемой таким образом, нет ничего, что нельзя было бы объяснить законами самолюбия. Если когда-то давно я тяжело болел или находился в крайне мучительном душевном состоянии, и теперь вновь вижу ту постель, ту комнату, где меня считали мертвым или где меня оперировал хирург и так далее, или если я перечитываю строки, написанные в моменты моих душевных страданий, - я вновь впадаю в те же состояния благодаря своим воспоминаниям и проливаю слезы над своим прошлым положением. Это лишь результат действия моей памяти, сосредоточенной на объектах, которые коснулись самого моего существования. Я сочувствую самому себе; мое сегодняшнее «я» отвечает моему «я» из прошлого. Так вот, это

сострадание к самому себе - то же самое чувство, которое я испытываю при виде знаков, предвещающих страдания другого человека. Если бы я никогда не страдал и не радовался сам по себе, я не был бы способен ни к состраданию, ни к сорадованию. Между симпатией, вызванной зрелищем чужих чувств, и свидетельствами моих собственных прошлых переживаний нет никакой разницы, кроме самого объекта, напоминающего о моих чувствах. Этот памятный объект трогает меня или он трогает другого - вот и всё различие; но это всегда лишь призыв от меня к самому себе, от моего прошлого к моему настоящему.

Но Смит, по-видимому, понимает под симпатией нечто иное, чем страдание или радость через память в связи с чувствами себе подобных. По его мнению, симпатия переносит нас, вводит нас в других людей, заставляет нас чувствовать в них независимо от всякого возврата к самим себе; она заставляет нас разделять беды, которых мы никогда не испытывали. Она заставляет мужчину страдать за роженицу, здорового и невредимого человека - за искалеченного солдата, холостяка - за отца семейства, потерявшего сына, и так далее. Смит приводит и другие доказательства того, что симпатия побуждает к действиям помимо того, что она заставляет чувствовать. Он замечает, что во многих случаях она заставляет нас действовать бескорыстно, а иногда и вопреки нашим интересам и так далее. В этой теории Смит совершенно непонятен. Он противоречит тому, что нам известно о происхождении идей и, следовательно, о происхождении страстей. Он предполагает либо то, что мы можем знать ощущение боли, не имея о ней представления, либо то, что мы можем получить это чувство или представление через органы чувств другого человека; и что, не испытав на себе, что значит страдать, я испытываю это, видя страдания другого, путем некой передачи или тайного сродства. Это погрузило бы нас в область магнетизма, флюидов Месмера и тому подобного. В своем выступлении я уже высказал то, что считаю наиболее подходящим ответом на аргументы, основанные на примере роженицы, а также на тех вещах, которые самолюбие совершает в ущерб выгоде. Здесь я соберу несколько замечаний по поводу других частей труда Смита.

2. Чужого смеха достаточно, чтобы вызвать наш собственный; грустного вида других достаточно, чтобы опечалить нас. Смит использует это явление как аргумент в пользу своего мнения, и все же из этого нельзя сделать никаких выводов: смех заставляет нас смеяться потому, что он является знаком удовольствий, которые часто заставляли нас смеяться прежде. Сам Смит далее говорит нам, что в целом наша симпатия возникает не столько от вида самого страдания или удовольствия, сколько от созерцания обстоятельств, которые, как мы знаем, способны вызвать то или другое. С каким преимуществом можно противопоставить заразительности беспричинного смеха гораздо более общую и постоянную сопричастность причинам смеха без вида смеющихся лиц!

3. Смит признает, что подобно тому, как мы разделяем чувства других, нам нравится, когда другие разделяют наши. Какой мотив может заставить нас придавать этому значение? Как назвать любовь к чужому сочувствию нам? Это уже не симпатия; желание любезности или сострадания со стороны другого не является любезностью или состраданием к другому. Это, очевидно, непосредственный результат самолюбия и личного интереса. Смит, однако, оспаривает эту истину. Человек, говорит он, расстроен, когда над его шутками не смеются, и в восторге, когда над ними смеются; самолюбие, добавляет он, не может придавать значения столь ничтожным удовольствиям. Но почему же? Человек, который умеет развлекать, везде желанный гость; с преимуществом быть востребованным связано столько удовольствий и удобств, что желание развлекать вполне может и не быть бескорыстным; у него есть, по крайней мере, мотив удовольствия развлекать самого себя, и прискорбно утомлять других тем, что забавляет нас самих; это свидетельствует о нехватке того душевного или характерного сходства, которое служит залогом многих радостей в обществе.

4. Мы изо дня в день читаем другу книгу, которую когда-то нам самим было приятно читать, но от которой мы уже устали; мы читаем ее этому другу, чтобы увидеть, как он разделяет то удовольствие, которого мы сами уже не испытываем. Что ж, нельзя лучше доказать, что человек постоянно стремится либо завести друга путем любезности, либо проверить, совпадает

ли еще ум его друга с его собственным. В обоих случаях он преследует важный интерес, принося мгновение в жертву скуке (т. I, стр. 21).

5. Другое явление, замеченное Смитом и доказывающее наличие себялюбия там, где он видит симпатию. По его словам, мы гораздо больше жаждем делиться с друзьями нашими неприятными переживаниями, нежели теми, что доставляют нам удовольствие.

6. Другие положения, доказывающие работу себялюбия. Сострадание никогда не бывает столь же глубоким, как страдание, на которое оно обращено. Дело в том, что воспоминания всегда слабее реальности. Мы страдаем от того, что не всегда можем сочувствовать чувствам, свидетелями которых являемся. Это происходит либо потому, что мы боимся, как бы нам не отказали в участии так же, как отказываем мы, либо потому, что мы воображаем это беспокойство, даже когда сами его причиняем. Скорбящие люди, чувствующие, что сострадание всегда остается слабее вызывающей его боли, сдерживают себя в присутствии друзей, еще более - перед простыми знакомыми, и еще сильнее - перед чужими людьми. Это происходит потому, говорит Смит, что мы смотрим на себя так же, как смотрят на нас другие; мы в действительности уменьшаем наше несчастье, сводя его к тому уровню, который другие согласны разделить. Что из этого следует? Неужели страдающий человек сочувствует безразличию людей, которые не хотят сочувствовать его горю? Разве может быть что-то более противоречивое, чем признание симпатии к отсутствию симпатии? Или признание ее в страдающем человеке по отношению к безразличию зрителя, при том что в самом зрителе по отношению к страдальцу она признается лишь слабой и постепенной? И наконец, как объяснить это различие в сочувствии между незнакомцем, знакомым и другом, если не личной заинтересованностью? Страдальцы сдерживаются перед друзьями, потому что боятся их охлаждения; перед знакомыми - потому что боятся их оттолкнуть; перед незнакомцами - потому что боятся их презрения или хотят вызвать их восхищение. Это всегда личный интерес, вызывающий к личному интересу и принимающий формы, приспособленные к сопротивлению последнего в зависимости от обстоятельств. Ни один пример не свидетельствует убедительнее в пользу системы себялюбия.

7. Другие доказательства себялюбия. «Каждая страсть имеет свою меру, за пределами которой она перестает нас интересовать. Горе и негодование, зашедшие слишком далеко, кажутся нам слабостью или безумием; если же они слишком умеренны, то выглядят как тупость или трусость. Мера приличия меняется в зависимости от страсти. Мы лишь слабо разделяем преходящие физические недуги - голод или жажду, так как знаем, что для их утоления нужно совсем немного. Мы гораздо охотнее разделяем чувства, порожденные воображением, нежели самые сильные телесные боли. Трагедия была бы крайне нелепой, если бы ее эпизоды состояли из приступов колик, а развязкой была бы сломанная нога; и напротив, весьма трогательна та трагедия, что повествует о несчастной любви». Во всех этих явлениях мы видим лишь себялюбие под разными личинами. Если бы в нас существовало некое начало, независимое от себялюбия и памяти о наших собственных чувствах, которое заставляло бы нас разделять чужие эмоции, очевидно, что мы бы вовсе не рассматривали причины, чтобы привязаться к ним, и чем сильнее были бы страдания, тем больше бы они нас интересовали. Однако все обстоит иначе. Почему же мы соизмеряем наше сострадание с причинами страдания, а не с самим страданием? Потому что мы проявляем интерес, соотнося его с самими собой. Мы не сочувствуем безмерному страданию, потому что чувствуем, что причина, вызвавшая его в другом, не произвела бы такого же действия в нас. Мы презираем труса, который не чувствует большого несчастья, потому что мы видим в нем человека, который не смог бы сопереживать этому несчастью, если бы его испытали мы сами, и потому что мы считаем ниже себя того, кто не чувствует так же, как мы. Тот факт, что в нас есть эта сила, эта привычка не разделять страдание, не одобряя его причину, служит важным доказательством роли самолюбия в сочувствии. Если бы сочувствие было истинной способностью или потребностью нашей природы, то какое значение имели бы для нас причины чужих страданий? Мы были бы не вольны видеть что-либо иное, кроме самой боли. Мы мало сочувствуем голоду или жажде, потому что сами ни в чем не нуждаемся. Мы мало сопереживаем при коликах, потому что это преходя-

щий недуг; при сломанной руке - потому что это редкий случай. Мы сопереживаем несчастьям любви или амбиций, потому что это наши привычные страсти. Приведите солдат после войны на спектакль, где на сцене показывают раненых Баярда или Танкреда; или же после голода - на представление, где показывают умирающих от истощения людей, матерей, убивающих своих детей; прочитайте им песнь из «Генриады», где описывается голод в Париже во время осады, и вы увидите, останутся ли они равнодушными. Но приведите их на «Беренику», и вы посмотрите, насколько они будут тронуты ее слезами.

8. *Мы больше сочувствуем страху, чем боли, потому что страх - это плод воображения.* Страх неопределенен, он охватывает сразу несколько смутных бедствий; а нам больше стоит опасаться множества бед, чем какой-то одной.

9. *Мы больше сочувствуем ране, чем подагре.* Рана может быть легкой, а подагра - крайне болезненной; но каждый из нас когда-то получал царапину, тогда как подагрой страдали далеко не все. Рана часто кажется смертельной даже при менее серьезном виде, чем у легкого ранения, тогда как подагра редко приводит к смерти. Рана вызывает кровотечение, а вид крови почти всегда является признаком насильственной смерти; по крайней мере, это доказательство сильного удара, который мог бы быть еще сильнее. Словом, рана пробуждает мысли о смерти - смерти мучительной или насильственной. Почему многие люди не могут видеть, как режут курицу, не падая в обморок? Почему другие чувствуют дурноту только от вида собственной крови при кровопускании, которое они сами себе назначили и о пользе которого знают? Это происходит потому, что вид текущей крови вызывает в памяти идею насильственной и смертельной потери крови.

10. *Мы мало сочувствуем счастливой любви, но гораздо больше - несчастной.* Дело в том, что счастливая любовь исключительна, она изолирует влюбленных и отделяет от нас наших друзей. К тому же в нее мало верят; для девяти сотых влюбленных она сводится к чисто физическому наслаждению, равноценному хорошему обеду.

11. *Чтобы сочувствовать ненависти и обиде, мы требуем, чтобы они были умеренными и оправданными.* Напротив, избыток добрых чувств никогда не кажется нам неуместным. Ничто не трогает нас больше, чем безрассудная, безоговорочная и незащитная доброта. Это объясняется тем, что мы сами опасаемся злых и несправедливых страстей; их проявление напоминает нам скорее о том, чего стоит бояться нам самим, нежели о причинах, их породивших. Нам выгоднее избегать крайностей и несправедливости, чем вникать в обстоятельства, которые могли бы оправдать ненависть и месть. Мы любим даже самую безрассудную доброту, потому что она несет благо и пороку, и добродетели, и нуждам, и прихотям; нам приятно осознавать, что мы можем рассчитывать на снисхождение или хотя бы на легкость прощения наших проступков.

12. *Наше сочувствие горю более УНИВЕРСАЛЬНО, чем сочувствие радости.* Боль - это более острое ощущение, чем удовольствие; однако, если не вмешивается зависть, наша склонность сопереживать радости ОКАЗЫВАЕТСЯ СИЛЬНЕЕ, и то участие, которое мы принимаем в приятных эмоциях, очень близко к чувствам самого человека. Дело в том, что состояние радости нам приятнее, чем состояние страдания.

13. *Мы сочувствуем справедливому негодованию.* Наши интересы могут подвергнуться такой же атаке, как и интересы того человека, за которого мы желаем отомстить. Мы сопереживаем благодарности, потому что она напоминает нам о двух удовольствиях: удовольствии получать благодеяние и удовольствии его оказывать. Но при этом важно, чтобы благодарность была справедливой и умеренной. Мы мало сопереживаем тому благу, которое человек получил без нужды от расточителя. Именно поэтому мы мало ценим удовольствия расточителя, которые ничего ему не стоят, и радость получателя, который ни в чем не нуждается.

14. *Мы сострадаем злодею, которого ведут на эшафот, но мы не разделяем его негодования по отношению к судьям.* Это различие доказывает, что мы чувствительны к любым страданиям, но в то же время ощущаем потребность в справедливом наказании за преступление.

15. Мы не разделяем дурного настроения, вызванного отсутствием благодеяния, но мы разделяем то, что вызвано несправедливостью. Дело в том, что мы не всегда нуждаемся в первом и никогда не можем обойтись без второго. В требовании благодеяния есть доля тирании, тогда как требование справедливости абсолютно законно. Отсутствие благодеяния - это всего лишь отказ в благе, в то время как несправедливость - это причинение зла. Очевидно, что именно этот интерес определяет степень, оттенки и разнообразие наших симпатий.

16. Раскаяние рождается из того, что преступник соперничает ненависти и ужасу, которые он внушает, а также страданиям своей жертвы. Мысль о причиненных им мучениях берет верх над удовольствиями, которые он обещал себе, совершая преступление. Ужас, который, как он знает, живет во всех душах по отношению к преступлению, заставляет его видеть во всех людях врагов. Он боится и тех, кто на него похож, и тех, кто от него отличается.

17. Чувство благородного поступка приносит нам радость. Это происходит потому, что оно напоминает нам о счастье творить добро, что объединяет расположение всего мира и удовольствие получать от нас признание, которое мы заинтересованы ценить и почитать.

18. Отсутствие успеха уменьшает ценность наших добрых намерений как в глазах окружающих, так и в наших собственных. Это заставляет нас сомневаться в благодарности человека, которому мы хотели помочь, и заставляет его сомневаться в искренности нашего усердия. Точно так же отсутствие успеха уменьшает и вину за дурные намерения. Происходит это потому, что злому умыслу не хватает его главного доказательства или, по крайней мере, того доказательства, которое запечатлевает его в памяти. Тот, кто задумал дурное, может сомневаться в негодовании, которое он мог бы вызвать. Добро или зло, которое нам причиняют без намерения, возбуждает нашу благодарность или наше негодование. Дело в том, что сам факт важен для нас больше, чем замысел того, кто его совершает.

«Этот принцип, - говорит сам Смит, - несомненно, был установлен природой, чтобы побуждать людей уделять своим добрым поступкам внимание, способное обеспечить их успех, и отвращать страсти от мести за дурные намерения, которые всегда трудно, а иногда и невозможно доказать». Разве можно сказать после этого, что он говорит о самолюбии? Как можно этого не заметить?

19. Женщина в душе не радуется похвалам своей красоте, если она добилась ее только за туалетным столиком. В ней хвалят кого-то другого, а не ее саму; она не уверена в восхищении, которым обязана своему обману. Мы же, напротив, наслаждаемся чувством собственного достоинства, даже когда о нем никто не знает. Это происходит потому, что мы представляем себе то уважение, которое к нам питали бы, если бы нас знали лично.

20. Уверенность в сохранении тайны преступления вовсе не успокаивает преступника. Он ставит себя на место зрителя и разделяет его ужас. Видели людей, имея гарантии сохранения тайны ужасных преступлений, были вынуждены ужасом своего положения раскрыть их самостоятельно. Предаваясь негодованию своих сограждан, они надеялись примириться с человеческим родом. Я отрицаю это последнее утверждение до тех пор, пока не будут приведены убедительные примеры. Ужас перед самим собой может вызвать помрачение ума, заставляющее выдавать себя, но не искать убежища в заслуженной муке и в жалости, которую она внушает. Я признаю первое положение, но оно объясняется личным интересом. Цена, которую придают уважению себе подобных, удовольствие, которое находят в нем, боль, которую чувствуют, будучи его лишенными (и это в силу вытекающих преимуществ), заставляют человека беспрестанно осуждать себя за то, что он подвергся риску потерять его из-за преступления. Впрочем, никогда не бывает абсолютной уверенности в тайне; ведь можно выдать самого себя во сне, в состоянии опьянения, в бреду, из-за простой нескромности или даже по невнимательности. Именно поэтому виновный чувствует, что должен постоянно следить за собой; и это беспокойство, являющееся частью его наказания, лишь усиливает сожаление о том, что он сам довел себя до такого состояния. Удовольствие, связанное с самоуважением, проистекает из уверенности в том, что оно обеспечит уважение со стороны окружающих. Точно так же и тревога, сопутствующая преступлению, рождается из неуверенности в этом уважении.

21. Мы рассматриваем свои поступки так, как это делал бы беспристрастный наблюдатель. Мы одобряем или осуждаем их, сопереживая этому судье. Совесть - это не что иное, как присутствие этого судьи, которого наше воображение наделило властью над нашими способностями. Чтобы устранить любую двусмысленность в этом определении, нужно изменить лишь одно слово - слово «сопереживание» (симпатия). Следует сказать: «из страха, который мы испытываем перед этим судьей».

22. Привычка ставить внутри себя бескорыстного наблюдателя, который нас судит, возникла из столкновения суждений и интересов, которые мы заметили, едва вступив в общество. Мы создали этого наблюдателя как посредника между другими людьми; он остался в нас в качестве цензора и внутреннего регулятора. Теперь мы смотрим на свои интересы и обязанности только его глазами. Именно он удерживает нас на краю преступления и направляет к добродетели. По сути, это означает, что мы ищем некое общее мнение среди крайних суждений, поскольку в наших интересах соответствовать мнению большинства.

23. Нравственные правила, которые мы сами себе устанавливаем, происходят из чувств привязанности или отвращения, которые вызывают у нас определенные действия и которые они внушают окружающим. Затем эти правила превращаются в привычку ума и руководят нами как бы незаметно для нас самих. Даже если бы эти слова написал Гельвеций, они бы ни в чем не противоречили его убеждениям.

24. Красота, рождающаяся из пользы, - это еще один принцип одобрения или порицания. Полезность приятна потому, что она постоянно предлагает идеи удовольствия или удобства. В полезной вещи ценят не столько саму ее фактическую пользу, сколько способность быть полезной. Мастерство ценят больше, чем само изделие. Большее уважение вызывает масштабная система, грандиозный замысел, охватывающий множество полезных идей, нежели сами эти идеи по отдельности. Здесь применимы те же рассуждения, что и выше.

25. Однако неверно полагать, будто наше одобрение добродетели сводится лишь к ощущению её полезности. Благоразумие и любая власть, которую мы осуществляем над своими желаниями, вызывают у нас уважение не только потому, что это полезно, но и потому, что это устанавливает правильную пропорцию между потребностями и их объектом. ЗАМЕЧАНИЕ. Уважение, которое мы выказываем чувству меры, основано на том же принципе, по которому мы оцениваем их объект с точки зрения нашего интереса. Разум интересуется нас не меньше, чем добродетель; нам важно, чтобы благо не совершалось неумело. Мы не можем мириться с безрассудством в честном человеке так же, как не приемлем подлость, подкрепленную хитроумными расчетами. Продолжим слушать Смита. Мы восхищаемся применением разума в высшей математике, даже не ощущая от этого практической пользы. Мы не чувствуем её, но верим в неё на слово. Солдат, жертвующий собой ради офицера; молодой офицер, рискующий жизнью ради малейшего расширения владений своего государя; бездарный чиновник, уступающий свое место выдающемуся человеку, - все они действуют не ради собственной выгоды. Они лишь подстраиваются под чувства бескорыстного наблюдателя, который живет внутри них. Возможно, они ничего не выигрывают в данный момент, но, вероятно, делают это ради своего будущего успеха. Впрочем, абсолютное самопожертвование, отдача собственной жизни - единственное, что определенно выше любого личного интереса, - объясняется энтузиазмом, который подобен лихорадке и не является постоянным состоянием души...

Видно, что все явления, собранные Смитом, полностью объясняются принципом Гельвеция: иначе их и невозможно объяснить.

Седьмая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее в марте 1793 года (II год Французской республики).

Продолжение и завершение основ морали.

Полагаю, в прошлый раз я доказал, что симпатия - это не какой-то принцип, отличный от личного интереса, а лишь видоизменение физической чувствительности. Она заставляет нас радоваться и страдать *не внутри других*, как полагает Смит, а как *другие*, или, если угодно, *вместе с другими* по поводу того, что происходит с другими. Мы убедимся в истинности выдвинутых нами положений, применив их к парадоксу Смита относительно происхождения амбиций и сословных различий. Напомним, что в своей системе он признает *естественный принцип неравенства условий среди людей*.

«Существуют, - говорит Смит, - две моральные причины, способствующие установлению неравенства среди людей. Первая - это амбиции, заставляющие их желать богатства и власти. Вторая - уважение всех людей к тем, кто приобрел богатство и власть. И стремление к богатству и власти, равно как и почтение к ним, проистекают из той симпатии, которую все люди испытывают к радости и счастью своих ближних. Взгляд человека с удовольствием останавливается на созерцании могущественного и богатого человека или на слушании его речей; о нем говорят без умолку. Находится ли он в толпе - его замечают; остается ли он один - видят только его; и если только его поведение не выглядит совсем уж нелепым, каждое мгновение дает ему возможность вызывать интерес. Вследствие этого мы стремимся обрести богатство и власть. Нами движет тщеславие, а не любовь к удовольствиям или комфорту. Таков принцип честолубия».

«Люди, - продолжаю излагать мнение Смита, - симпатизируя богатству и могуществу, превращают саму эту симпатию в гарантию сохранения богатства и могущества. Почтение, привязанность, все чувства благосклонности окружают их и объединяются ради них. Всё наперебой им помогает, всё стремится укрепить их или даже заменить их в тех случаях, когда они оказываются бессильны. Воображение представляет положение богатого и могущественного как совершенство счастья; люди боятся любого нарушения, изменения или прекращения этого состояния. Несчастье могущественных и богатых трогает нас больше, чем беды людей, рожденных в нужде, потому что нам кажется, будто первые потеряли больше; в результате люди больше желают и готовы прилагать большие усилий, чтобы предотвратить или облегчить их невзгоды, чем облегчить участь кого-либо другого. Только несчастья королей, как и несчастья влюбленных, становятся сюжетами для трагедий, так как именно с участью королей и блаженством влюбленных, кажется, связано больше всего наслаждений, а их утрата вызывает самые глубокие сожаления. Отсюда проистекает принцип - или, по крайней мере, санкция и легитимация социальных различий».

Против этой системы говорят два положения: 1) симпатия вовсе не является мотивом любви к власти и богатству; 2) богатство само по себе не является источником социального неравенства, равно как и любая власть.

Когда есть простой способ объяснить явление, искать другие - значит добровольно впадать в заблуждение. Богатство следует любить потому, что оно служит залогом всех наслаждений, дает возможность разнообразить их и потому, что излишек гарантирует наличие необходимого. Власть следует любить потому, что она заменяет богатство, позволяя распоряжаться усердием людей, а также потому, что она это богатство приносит. Богатство и власть нужно любить как естественные средства достижения весьма естественной цели - а именно удовлетворения наших физических потребностей.

Разумеется, можно любить богатство и власть из тщеславия; но в более общем смысле люди стремятся к изобилию благ и большому числу слуг, чтобы быть уверенными, что ни в чем не будут нуждаться.

И в самом деле, что значит любить богатство и власть из тщеславия? Это значит любить их как средство привлечь к себе внимание, благосклонность и уважение. Но почему люди желают благосклонности и уважения? По тем же причинам, по которым они желают власти и богатства. Мы уже говорили, что быть богатым - это не значит иметь способность потреблять больше других, а значит иметь возможность распоряжаться большим объемом чужого труда для разнообразия своего потребления и обеспечения себе удобств. Быть могущественным - значит обладать той же возможностью. Разница между богачом и могущественным человеком, который не богат, заключается лишь в том, что первый оплачивает доступный ему труд деньгами, а второй благодаря милостям. Что ж, уважение, обретаемое благодаря богатству и власти, также является средством распоряжаться огромным количеством труда, распоряжаться им для сохранения самого богатства и власти; для их защиты, укрепления, а также для того, чтобы защищать их без лишних трат. Ведь почет, сопутствующий власти и состоянию, позволяет пользоваться положением и богатством, так сказать, экономя их потребление; таким образом, благодаря ему скряга может творить много благого, сберегая свое имущество, а расточитель - совершать множество трат, не имея ни гроша, при этом оба они живут лишь за счет видимости значительных владений. Общественное признание в социальной жизни часто подобно кредиту в торговле - это способ распоряжаться чужим трудом, не оплачивая его, а лишь пробуждая надежды, которые никогда не сбываются. Стоит ли удивляться, что к нему стремятся? Неужели это лишь пустое тщеславие - желать окружить себя видимостью, которая порождает столь полезную реальность?

Если для нашей физической природы существует реальная и непосредственная выгода в том, чтобы все наши потребности находились под защитой почета, приносимого богатством и властью, то зачем же нужны симпатии для объяснения той цены, которую эти преимущества имеют в наших глазах? И если можно объяснить то рвение, с которым мы стремимся их обрести, не прибегая к этим симпатиям (которые сами по себе нуждаются в объяснении), то как можно было бы объяснить их через них самих? Две противоречащие друг другу причины не могут быть истинными одновременно.

Заметьте, в какую цепочку последствий мы вовлекаемся, принимая здесь систему симпатий. Чтобы понять их воздействие на честолюбца, нужно предположить, что они отражаются; поясню: Смит утверждает, что мы стремимся к богатству и власти, потому что они заставляют окружающих соперничать нам, и что нам приятно это соперничество. Но что значат эти последние слова? Либо они означают, что нам приятно, когда с нами разделяют наши горести и радости, и в этом смысле здесь нет ничего, что не объяснялось бы вполне личным интересом; либо же они означают, что мы симпатизируем той симпатии, которую наши ближние проявляют к нам (это я называю отраженной или зеркальной симпатией), и в этом смысле данные слова можно перевести так: *Мы любим состояние из симпатии к той симпатии, объектом которой мы становимся, обладая этим состоянием* - что является полнейшей бессмыслицей; ибо если люди сочувствуют нашему счастью в богатстве, то это очевидно потому, что они полагают, будто само богатство делает нас счастливыми. Следовательно, если счастье, связанное с богатством, является причиной симпатии к нам, это счастье не может быть следствием этой симпатии; оно предшествует ей и не может быть ее результатом. Оно не может быть одновременно и причиной, и следствием одного и того же.

В самом деле! Если бы богатство и власть не нравились нам сами по себе, разве симпатия, которую мы возбуждали бы их обладанием, не была бы пустой иллюзией, всё ничтожество которой мы бы ясно видели? Могли бы мы смотреть на нее без презрения или жалости? Возможно ли, чтобы мы придавали больше значения ложным представлениям других о нашем счастье, чем самим причинам этого счастья? Чтобы мы становились жертвами того самого обмана, в который вводим других? Чтобы мы хотели заставить их полюбить то, что не любим сами, лишь для того, чтобы они заставили нас это полюбить? Чтобы мы дорожили мнением,

которое служит сохранению нашего существования, не заботясь о самом сохраняемом существовании? Чтобы мы предпочитали весьма сомнительное и мимолетное средство распоряжаться чужим трудом средствам существенным; средство, состоящее из пустой видимости, - постоянной реальности, которая действует сама по себе и, более того, оказывает влияние одним своим видом?

Но, скажут нам, разве мы не хотим часто казаться счастливыми, хотя прекрасно чувствуем, что это не так? Что это значит? Что мы хотим казаться обладателями того, чего нам недостает: состояния, когда мы без гроша; расположения, когда мы в опале; бодрости, когда мы истощены; здоровья, когда мы больны? Да, я согласен, что подобные притязания весьма обычны. Но что совсем не обычно, так это чтобы мы хотели казаться богатыми, когда нам нет дела до богатства; влиятельными, когда мы гордимся тем, что отвергнуты; сильными, когда чувствуем лишь потребность во врачах и сиделках. Однако именно это и предполагает система Смита, раз он говорит, что мы любим богатство и власть из симпатии к свидетелям нашего благополучия, то есть по причине абсолютной, не зависящей от тех удовольствий, которые она приносит, и, следовательно, стоящей выше даже самого факта лишения их. Мы хотим казаться счастливыми, это так, когда это служит средством достижения счастья и не вредит истинным основам нашего бытия; но мы не желаем этой видимости ценой прочных и материальных благ. Мы бы даже не стремились к ней, если бы она не дополняла и не восполняла последние. Значит, именно ради самих удовольствий мы любим власть и богатство.

Смит задается вопросом: какова цель, которую преследуют алчность и честолюбие, стремясь к превосходству в богатстве и власти? Состоит ли она в удовлетворении естественных потребностей? Нет, отвечает Смит. Заработка даже самого простого ремесленника достаточно для их удовлетворения. Этого дохода хватает даже на излишества, чтобы потешить тщеславие или желание пустить пыль в глаза. Следовательно, заключает он, только любовь к отличиям и желание пробудить симпатию разжигают алчность и честолюбие.

Я уже отвечал на это возражение, говоря, что мы любим излишество как гарантию необходимого. Мы любим его из-за потребности в абсолютной уверенности во всем, что касается нашего самосохранения, - ведь только тогда мы счастливы. В нас постоянно происходит инстинктивный расчет, сопоставляющий наши ресурсы с нашими потребностями. Чем больше первые превышают вторые, тем спокойнее мы себя чувствуем; чем ближе они друг к другу, тем сильнее наша тревога; когда же ресурсов перестает хватать, мы начинаем страдать. В то время как простой рабочий говорит: «Если бы хлеб продавался по десять су за фунт, моего нынешнего заработка хватило бы лишь на половину необходимой еды; мне было бы не во что одеться, негде жить и нечем топить. Моя жена и дети умирали бы от голода и холода». Человек, имеющий 1000 ливров дохода в день, говорит себе - или, скорее, чувствует, даже если не произносит это вслух, - что, если бы фунт хлеба стоил 500 ливров, ему не на что было бы жить. И он наслаждается своим состоянием, думая: «Какая огромная дистанция между голодом и мной!» В то время как рабочий ограничен в выборе спутницы жизни бедными девушками из своего окружения (за исключением красавиц), человек со стотысячным доходом в эку имеет выбор среди тысяч женщин и может даже обладать ими последовательно или одновременно в большом количестве.

При старом порядке обычный гражданин видел над собой тридцать инстанций власти, которые могли произвольно посягнуть на его свободу, начиная от клерка и комиссара полиции и заканчивая министром с его королевскими указами о заточении (*lettres de cachet*). Каждый в этой иерархии беззакония рассчитывал, что при такой удаче, на такой должности, при таком общественном положении над ним будет всего пять, десять или пятнадцать властных фигур, способных его заточить или притеснить, и говорил себе: «Там, в самом низу, сидят еще двадцать пять, двадцать или пятнадцать несчастных, а я, следовательно, избавлен от половины, двух третей или трех четвертей их рисков». Сегодня, когда популярность стала мерой безопасности, а самые привилегированные в этом смысле люди говорят себе: «Между явным

аристократом и мной - тридцать или сорок рядов граждан, которых перережут во время мятежа прежде, чем доберутся до меня», за ними стоит толпа бедолаг, которые все еще считают себя на передовой и дрожат день и ночь при малейшем шуме.

Так вот, именно для того, чтобы застраховаться от голода, человек хочет иметь состояние, способное прокормить сто тысяч человек. Именно для того, чтобы иметь женщину по своему вкусу, он стремится к возможности выбирать из ста тысяч женщин. Именно для того, чтобы его не путали с аристократами, многие трусы называют себя патриотами, не будучи таковыми; а те, кто еще трусливее, доходят до крайностей и эксцессов, которые патриотизм заставлял прощать некоторым слепым и неистовым людям, и делают эти крайности правилом своего поведения.

Таким образом, симпатия не имеет никакого «материнского права» претендовать на порождение алчности и честолюбия. Следовательно, именно интерес и физическая чувствительность являются единственным принципом человеческих действий и страстей. Таким образом, во-первых, неравенство условий не имеет никакой опоры в этой мнимой скрытой, неопределимой и в то же время властной силе, которую Смит приписывает симпатии. Посмотрим теперь, не являются ли само по себе обладание богатством и стремление к нему, а также к власти, принципами неравенства.

Любовь к богатству и честолюбие сами по себе вовсе не являются принципами неравенства. Любовь к богатству не является врожденной по своей сути, поскольку, как мы уже видели, его могут желать ради тех удовольствий, которые оно доставляет. Богатству не всегда сопутствуют общественное уважение и внешний блеск, однако оно не становится от этого менее ценным для того, кто им владеет. Ведь существуют богачи скромные, богачи-скупцы, богачи, стыдящиеся своего достатка, богачи беспокойные и богачи осторожные; и все те состоятельные люди, что скрывают свое состояние, привязаны к нему ничуть не меньше тех, кто выставляет его напоказ. Следовательно, вполне возможно свести любовь к богатству к такому состоянию, когда соображения престижа, связанного с ним, перестанут играть какую-либо роль в мотивации человека. Итак, если отсечь от этой страсти всякое желание выделиться, то из неё исчезнет всё, что могло бы привести к нарушению равенства. Для достижения этого эффекта достаточно законов против роскоши. Более того, сама по себе любовь к богатству склоняет к скромности. Достаточно лишь не отвлекать её от этой естественной склонности и для этого не открывать пути к тщеславию, суетности, сословным привилегиям, знатности происхождения - всем тем источникам состояний, которые должны оставаться закрытыми. Напротив, следует оставить открытыми и свободными те пути, что ведут к богатству через труд и талант. Любовь к богатству - это, по сути, принцип активности, трудолюбия и экономии; следовательно, в ней заложен и принцип скромности, ибо применение сил в труде и искусствах заменяет тысячи пустых удовольствий, которые существуют лишь от безделья. Именно страх перед скукой заставляет праздных людей гнаться за блеском и шумом; этот страх никогда не ведом человеку трудящемуся, который, приумножая свое состояние или таланты, ежедневно испытывает удовольствие от того, что начинает, продвигает или завершает полезное дело, и направляет способности своего ума на все обстоятельства воспроизводства своего дохода или ведения своих дел. Посмотрите на Швейцарию или Голландию: тамошние миллионеры ведут себя скромнее, чем вели себя во Франции мелкие чиновники налогового ведомства.

Любовь к власти не похожа на любовь к богатству; она не является естественной страстью человеческого сердца. В тех странах, где великие обязанности неотделимы от больших полномочий, о власти мало заботятся, и она ничуть не тревожит равенство. В странах же, где она смешана с произволом, её любят лишь потому, что она существует, потому что она есть, потому что закон её выдумал и установил. В иных местах о ней могли бы даже не подозревать. Она не происходит из естественного состояния, так как дети сами освобождаются от опеки, как только достигают возраста силы. При деспотических или аристократических правлениях люди приучаются любить власть как необычайное удобство, расходы за которое общество охотно берет на себя ради того, кто сумеет этой властью завладеть. Там её ищут, потому что

она необходима - если не для того, чтобы распоряжаться другими, то, по крайней мере, чтобы не быть в распоряжении других; если не для того, чтобы быть господином, то хотя бы для того, чтобы оставаться свободным.

Человеку естественно любить моральную власть, основанную на уважении; но этот вид власти в любом благоустроенном обществе зависит от привязанности, социального братства, применения выдающихся талантов и высоких добродетелей на благо себе подобных. Неравенство такой власти между людьми есть лишь неравенство заслуг, добродетели и полезности. Следовательно, именно тот человек, который обладает наименьшей такой властью, может беспокоиться о равенстве, а не тот, кто обладает ею в полной мере.

Даже если бы любовь к активной власти была естественна для человеческого сердца, то, как только от общества стало бы зависеть, устанавливать власть или нет, и изменять её по своему усмотрению, не было бы ничего проще, чем помешать этой страсти вредить равенству. Речь шла бы лишь о том, чтобы учредить такие органы власти, которые защищали бы равенство, а не противодействовали ему. Но в таком случае власть была бы не правом приказывать, а обязанностью служить; она была бы не правом делать то, что хочется, а обязанностью делать то, что полезно другим. Любовь к такой власти была бы не чем иным, как любовью к великим обязанностям, преданностью своей родине и, в крайнем случае, желанием уважения, связанного с общественной пользой.

Гельвеций утверждает, что любовь к власти, какова бы ни была её природа - произвольная или нет, абсолютная или ограниченная, - является предрасположенностью, наиболее благоприятной для добродетели, потому что власть дает право на любые наслаждения, и законодатель может направить это стремление только в русло заслуг и патриотизма. Любовь к власти произвольной и абсолютной кажется мне порочной по своей природе. Если она и располагает к некоторым добродетелям, то лишь как к средствам достижения своей цели, коей является неравенство. Добродетели, к которым её можно приспособить, никогда не могут быть теми, что предполагают или заставляют любить равенство; если только под словом «добродетель» здесь не подразумеваются лишь краткие мгновения принуждения и лицемерия, которые к тому же невозможно долго выдерживать. Ведь трудно ожидать, что люди, идущие по одному и тому же пути, чтобы обойти друг друга на финише, не будут пытаться подставить друг другу подножку еще в самом процессе, даже когда они сталкиваются лицом к лицу. Трудно поверить, что они будут делать вид, будто идут под знаменем равенства и открытости, когда могут быстрее или вернее достичь неравенства - а именно оно является их истинной целью - либо ползком, либо совершая резкие рывки, рискуя разрушить всё на своем пути. Невозможно, чтобы общественное мнение предлагало всем умам одну цель, но при этом заставляло любить средства, противоречащие этой цели, или даже не уважало бы то, что к ней ведет; невозможно, чтобы целью было неравенство, а средствами достижения - равенство и братство.

«Посмотрите, - говорил Карл V, - на эти тридцать часов на моем столе; нет и двух, которые показывали бы абсолютно одинаковое время. Как же мне вообразить, что в вопросах религии я заставляю людей думать одинаково?». Точно так же можно спросить: как в вопросах власти когда-либо удастся заставить честолюбцев идти в ногу и в одном строю? Однажды неловкий слуга вошел в покои Карла V; он опрокинул стол, на котором стояли тридцать часов, и разбил их. *«Ты нашел, - сказал ему Карл, - единственный способ привести их к согласию»*. Хотите ли вы примирить тридцать честолюбцев? Тогда сломайте пружины их честолюбия, опрокиньте стол, на котором оно может проявляться.

Обычное стремление людей угождать тем из себе подобных, кто наделен властью и богатством, является признаком естественного принципа неравенства не более, чем само честолюбивое желание обладать этими преимуществами. Разумеется, люди заискивают перед признанной и установленной властью; но это почтение относится не к той или иной конкретной власти, а к власти господствующей. Следовательно, если в государстве единственной господствующей силой будет уважение, основанное на добродетели и соблюдении принципов равенства, то почести, воздаваемые ей, будут воздаваться самому равенству и, значит, не станут подтверждением принципа неравенства.

Вы скажете, что несчастья королей вызывают больше сочувствия, чем несчастья других людей. Да, но почему? Потому что вы наделили королей большим авторитетом, чем таланты и добродетели. Вы замечаете, что казнь Карла I оставила у англичан более горькие воспоминания, чем вся кровь, пролитая в гражданских войнах его времени; но я противопоставляю этому смерть Сократа, которая уже восемнадцать столетий трогает людей во всех странах. Вы согласны, что несчастьям влюбленных и несчастьям королей сочувствуют примерно одинаково; это доказывает, что нас трогает не контраст между властью и бедой, а само противопоставление счастья и несчастья. Подобно тому как в участи несчастных влюбленных нас волнует лишь разница между восторгами счастливой любви и муками любви преследуемой, так и в несчастьях короля люди видят лишь утрату его удовольствий, а не его власти. Если пример несчастных влюбленных доказывает возможность вызвать интерес к моральной власти (ведь права счастливого любовника можно назвать именно так), то это наводит на мысль, что точно так же можно вызвать интерес к глубокому почтению перед добродетелью и знанием.

Все вышесказанное приводит к двум выводам: во-первых, в человеке нет никакого естественного принципа социального неравенства; во-вторых, в человеке не существует иного принципа действия, кроме физической чувствительности.

Чтобы сделать это последнее понятие полезным на практике и извлечь пользу из его плодovitости для политических истин, необходимо развить два принципа, которые мы обозначили на одном из предыдущих занятий. Первый заключается в том, что нашими моральными привязанностями можно управлять. Второй - в том, что они способны усиливаться или ослабевать в зависимости от сопутствующих обстоятельств.

Мы уже видели, что в нас нет иных постоянных, абсолютных и необходимых страстей, кроме физических - таких как голод, жажда и т. д. Они созданы природой, и власть человека не простирается до того, чтобы освободиться от них. Моральные же страсти или привычки, порожденные социальным состоянием, являются лишь опосредованными стремлениями к физическим объектам, приносящим наслаждение; прямыми стремлениями к установленным и известным средствам для достижения этих целей; следовательно, это случайные и изменчивые стремления, подобные самим этим средствам. Иными словами: физические страсти - это постоянное желание самих благ; моральные страсти - это постоянное желание средств для получения этих благ.

Блага сводятся к небольшому числу удовольствий, связанных с потребностями нашего организма. Поэтому наши физические страсти немногочисленны. Средства же для получения реальных удовольствий в общественном состоянии неисчислимы; они возникают из бесконечного сочетания причин - физических, гражданских, политических и моральных, которые переплетаются друг с другом. Следовательно, и наши моральные страсти чрезвычайно многочисленны.

Блага всегда остаются одними и теми же, поэтому наши физические страсти постоянны. Средства же подвижны и переменчивы, как законы, обычаи, мнения и так далее. Точно так же обстоит дело и с нашими моральными страстями.

Отсюда следует, что моральные страсти можно направлять, изменять или уничтожать по воле общественных институтов. Объекты моральных страстей - это, так сказать, лишь мощные инструменты, способные захватывать, удерживать и сохранять то, что необходимо для физических удовольствий. Власть, богатство, общественное признание - это сети, которые их собирают; резервуар, который их удерживает; преграда, которая их окружает. Наделяя один из этих инструментов силой двух других, вы добьетесь того, что те вскоре будут заброшены. Дайте одному лишь признанию всё то, что принадлежит богатству и власти, или свяжите власть и богатство только с признанием, и вы превратите жажду признания в господствующую добродетель, в единственную моральную страсть граждан.

Склонность человеческих страстей к возбуждению - это способность, изучение которой заслуживает внимания законодателя, так как именно от неё зависят энергия и интенсивность страстей. Эта способность подчиняется действию тех сил, что заключены в самих страстях.

Страсти можно усиливать или ослаблять: 1) в их основе - желании или отвращении; 2) в их движущей силе - надежде или страхе; 3) в их инструменте - темпераменте. Это может происходить временно и случайно, ради конкретного действия в определенных обстоятельствах. Но это может быть и постоянным состоянием, так чтобы граждане всегда были готовы к великим и решительным поступкам.

Желание или отвращение можно усилить, умело отдаляя или приближая объекты, которыми заняты эти страсти. Иногда эти объекты будут скрыты от глаз или, наоборот, представлены им - как, например, окровавленная одежда Цезаря; иногда их будут предлагать воображению в аллегорических представлениях или через общественные памятники. Отвращение также удваивается желанием, а желание - отвращением; для этого достаточно противопоставить объекты желания и отвращения друг другу.

Надежды и страхи следует пробуждать как по отдельности, так и через взаимодействие друг с другом - либо постоянно, либо от случая к случаю, ради внутреннего порядка в государстве или его внешней безопасности. Надежда пробуждается отдельно, если вознаграждение всегда находится рядом с полезным поступком. Страх - отдельно, если наказание находится рядом с вредным действием. Надежда и страх действуют одновременно через частое, осязаемое и очевидное сопоставление наказаний и наград. Я сказал «рядом», потому что именно от теснейшего сближения наказания с преступлением, а награды с благородным поступком - именно от их близости, а вовсе не от суровости наказаний или величины наград - зависит работа главного механизма страха и надежды. Таковы правила для обычного внутреннего порядка.

Для поддержания внутреннего порядка во времена волнений необходимо использовать внушительные средства, которые бы наглядно предупреждали всех о последствиях - даже самых отдаленных - того, что может произойти. Если бы у собственности и свободы были свои храмы, статуи и алтари, то в момент смуты, угрожающей этим двум великим ценностям, следовало бы немедленно закрыть храм, покрыть статуи траурным крепом, а магистратам - облачиться в траур. Если бы опасность стала крайней, статуи должны были бы содрогнуться, словно от чуда, а своды храма - обрушиться, как будто некий подвижный ключ, за который ухватилась бы крепкая рука, находящаяся на вершине здания, и вырвала бы его, если бы беспорядок стал крайним, и т. д.

Для обеспечения безопасности со стороны иностранных государств в военное время потребовались бы торжественные прокламации, спектакли, изображающие первые передвижения врагов и враждебные сцены, а также еще более ужасающие картины того, что враги могли бы задумать, и т. д. Потребовались бы публичные призывы в армию (предполагая, что средств, которые я предложу далее для организации вооруженных сил, будет недостаточно или они окажутся не слишком быстрыми для внезапного удара). Нужно, чтобы эти призывы проходили торжественно, в присутствии стариков, женщин, девушек и детей обоего пола, собравшихся вокруг статуи Отечества, словно ища там убежища от врагов республики. После этих наборов, для которых было бы легко открыть одновременно множество реестров на большом пространстве, все призванные граждане должны были бы пройти маршем на глазах у этих женщин и детей, защитниками которых они становятся. Избранные за свою красоту девушки должны осыпать их путь цветами, вручать им лавры, дубовые ветви, оружие и т. д.

Наконец, государство может позаботиться о темпераменте людей, чтобы либо приспособиться к нему и извлечь из него выгоду, либо улучшить его. Здоровый дух может обитать только в здоровом теле. Отечеству нужны люди не только сильные, но и способные на энергичные страсти. Я не хочу сказать, что государство должно следить за каждым отдельным человеком, как врач за больным. Но известно, что климат, обычаи и питание производят эффекты, которые важно ослабить или использовать как для физического, так и для морального состояния людей. (См. в книге под названием *«Лондон»* рассуждение о причинах английского характера; а также у Вольтера статью *«Самоубийство»* в его *«Философском словаре»*).

Обучение может предотвратить большинство существенных различий; оно научит регулировать через полезные привычки пагубные последствия определенных температур;

направлять сами привычки с помощью институтов, которые поощряют одни и отвергают другие. Чтобы распространять само просвещение, потребуются (как я это покажу позже) не публичные школы, поддерживаемые государственной властью, а институты, которые, воздавая честь полезному знанию, каким бы способом оно ни было приобретено, давали бы каждому настоятельную заинтересованность в его получении, не ограничивая в выборе средств.

Среди средств, которые я только что набросал в отношении градации страстей, нет ни одного, которое не воздействовало бы на чувства. Все, что мы встретили, сводится скорее к социальным институтам, чем к законам; к мягкому давлению на интерес, а не к сильному принуждению воли; к спонтанному, постоянному и легкому проявлению власти вещей, а не к власти невидимого авторитета, подобного чистому разуму, или искусственного авторитета, подобного власти правительств.

Поскольку чувствительность является принципом интереса, а интерес - движущей силой человеческих поступков; поскольку для управления интересом очень просто поместить удовольствие, к которым он стремится, в завершение пути, где общественное благо требует действия граждан, - точно так же для управления этой движущей силой совершенно естественно действовать косвенно и вспомогательно на саму чувствительность. И как воздействовать на чувствительность, если не через органы чувств? Если чувствительность - это источник поступков, то чувства - это источник чувствительности. Если чувствительность постоянно стремится к приятным ощущениям и постоянно избегает тех, что не таковы, то это потому, что она изначально подверглась воздействию приятных или противоположных им ощущений.

Эти истины неизменны; но поскольку они лежат в основе теории законодательства, которая может показаться парадоксальной, я должен настоять на их демонстрации. С этой целью я резюмирую основные понятия, составляющие теорию человеческого разума. Эта работа, впрочем, необходима для завершения системы моральных элементов общества; потребуется также с точностью оценить силу нескольких основных факторов, которые должны служить для градации человеческих страстей и о которых я уже упоминал, я имею в виду наши искусства постоянного подражания: одно из них воспроизводит внешние формы страстей и подразделяется на две ветви - живопись и скульптуру; другое подражает их голосовым выражениям, то есть музыку.

О разуме.

У нас есть пять чувств, с помощью которых мы взаимодействуем с внешними объектами: **зрение, слух, обоняние, вкус и осязание**. Кроме того, у нас есть общий центр, где через нервную систему соединяются все впечатления, произведенные на наши чувства внешними предметами. Этот центр - **головной мозг**. Именно здесь находится средоточие чувствительности или, если угодно, души. С чувствительностью связана память, которая заключается в двойной способности мозга *сохранять* и *воспроизводить* свои идеи или, иными словами, возобновлять те движения, которыми он был затронут при получении ощущений. Эта способность проявляется с такой скоростью, которую невозможно даже вообразить, если только не сравнить её с той быстротой, с которой музыкант исполняет на клавишине ноты, составляющие музыкальное произведение.

То, что называют *идеями*, - это всего лишь ощущение, переданное в мозг воздействием физического тела на одно из наших чувств. Воля - это *реакция*, отклик центра чувствительности, то есть мозга, на наши органы и конечности. То, что называют *абстрактной идеей*, есть не что иное, как образ осязаемого качества тела, взятый отдельно от этого тела и рассматриваемый сам по себе. *Нравственные идеи* - это лишь результат абстрагирования, которое мы производим от полезных или вредных качеств каждого действия. Анализ наших идей показывает, что все они сводятся к физическим представлениям; и искусство обучения глухонемых, являюще-

еся результатом этого анализа, доказывает наше утверждение. История наших идей, изложенная одновременно двумя глубокими мыслителями - **Кондильяком** и **Бонне**, также доказывает, что все они являются продуктом ощущений.

Реакция мозга на волевые органы часто оказывается гораздо сильнее, чем само воздействие, что может натолкнуть на мысль, что она не является чисто механической. Однако пример зажигательного зеркала, которое сжигает тела, на которые оно отражает лучи, почти лишенные тепла при падении на него, позволяет приписать нашей физической организации те эффекты, которые иные захотели бы приписать причине, находящейся вне природы. Пример машин, которые выполняют работу двадцати человек и приводятся в движение ребенком, ещё ближе и убедительнее. Для того, кто знаком с механизмом человеческого тела, не составляет труда объяснить интенсивность человеческой силы.

Единственное, что, возможно, представляет собой неразрешимую задачу, - это сама способность чувствовать, та способность, в силу которой мы ощущаем в себе *личность*, некое «я», которое не только приводится в движение и движет в свою очередь, но и наблюдает за своей деятельностью и даже за своей пассивностью, направляя и то, и другое. Это внутреннее зрение, которое видит, судит и направляет наше органическое зрение; это внутреннее осязание, которое касается, судит и направляет наше физическое осязание; это внутренний слух, который слушает, судит и направляет наш собственный слух и так далее. Это способность, которая видит себя, созерцает себя, судит себя и сама себя направляет. Во всех феноменах человеческой природы нет ничего, что нельзя было бы объяснить законами материи и движения, подобно работе часов или клавирина. Но то, что до сих пор не могло быть объяснено этими законами и, однако, никогда не будет объяснено другими, - это способность человеческих часов заводить самих себя, смотреть на себя, сохранять себя, чинить себя, замедляться, ускоряться - словом, регулировать самих себя. Это способность клавирина слушать себя, касаться себя и настраивать самого себя. В связи с этим важно понимать, что нет необходимости знать сущность чувствительности, чтобы управлять ею и регулировать её интенсивность; достаточно знать как причины, воздействующие на неё, так и те процессы, посредством которых она сама побуждается к действию. Вот анализ способностей, составляющих разум.

Первая - это *внимание*, вторая - *сравнение*, третья - *суждение*, четвертая - *размышление*, пятая - *воображение*, шестая - *рассуждение*. Благодаря вниманию ощущение постоянно пребывает в мозге, который в течение этого ощущения словно напряжен ради него.

Внимание - это не что иное, как длительное ощущение. Такова природа мозга: в нем могут одновременно присутствовать несколько ощущений; его волокна могут быть одновременно сосредоточены на нескольких идеях. Когда способность чувствовать таким образом затрагивает сразу несколько точек, она сравнивает эти различные воздействия. Таким образом, вторая ее способность - это способность сравнивать.

Сравнение, следовательно, представляет собой лишь двойное внимание, двойное длительное ощущение. *«Мы не можем сравнивать два объекта или испытывать одно за другим два ощущения, которые они вызывают исключительно в нас, не замечая тут же, что они схожи или различны. Однако замечать сходства или различия - значит судить. Следовательно, суждение - это всего лишь ощущение».*

«Если с помощью первого суждения я познаю одну связь, то для познания другой мне требуется второе суждение. Если я хочу, к примеру, узнать, чем различаются два дерева, я буду последовательно наблюдать за их формой, стволом, ветвями и листьями; я буду последовательно сравнивать все эти части и вынесу ряд суждений. И поскольку в этот момент мое внимание как бы переносится с одного объекта на другой, я скажу, что размышляю. Таким образом, размышление - это лишь последовательность суждений, которые формируются в результате ряда сравнений; а так как в сравнениях и суждениях нет ничего, кроме ощущений, то и в размышлении нет ничего, кроме ощущений».

«Когда в процессе размышления были замечены качества, которыми объекты различаются, можно с помощью того же размышления собрать в единое целое качества, которые в

реальности разделены. Именно так поэт, к примеру, создает образ героя, которого никогда не существовало. Размышление, создающее такой образ, получает название "воображение"».

Таким образом, воображение - это лишь способность представлять себе образ вещи, прообраза которой не существует, путем объединения качеств, заимствованных у различных существующих вещей. Следовательно, это всего лишь еще одно упражнение способности чувствовать. Рассуждение, или способность строить рассуждение, - это лишь способность выводить одно суждение из другого, в котором оно уже содержится. Это способность переходить от известного к неизвестному, чувствовать следствие в причине, результат в принципе.

Все способности разума, те, с помощью которых мы понимаем вещи, являются, таким образом, элементами или, скорее, модификациями способности чувствовать. Следовательно, если признано, что все наши идеи приходят к нам через органы чувств и являются лишь собранными и сохраненными в мозгу ощущениями; если признано, что операции разума - это лишь модификации, различные упражнения способности чувствовать; если, наконец, признано, что действия, относящиеся к воле, принципы активности и решимости также берут начало в физической чувствительности, то очевидно, что мы сможем, когда пожелаем, посредством законодательства занять все те пути, через которые можно привить человеческой воле правила, а их поступкам - справедливость и добродетель. Очевидно также, что, заняв эти пути, мы обеспечим счастье общества гораздо надежнее, чем если бы мы, подобно публицистам прошлого, ограничивались тем, что поджидали бы страсти на их выходе из человеческой воли, чтобы, так сказать, расстреливать их на ходу, если они нам не нравятся, или давать им свободный выход, если они нас не задевают.

Вернемся к рассмотрению средств для градации и направления страстей; поговорим о музыке и живописи.

О музыке.

Всё, что история сообщает нам о власти музыки над некоторыми древними народами, всё, что рассказывают нам о ее чудесах в современные времена маленькие ложи Оперы или театра Буфф и, прежде всего, будуары наших светских дам, - всё это обязывает нас исследовать, что есть реального в могуществе этого искусства. Нам необходимо выяснить, каков его физический и материальный принцип, какова интенсивность этого принципа, как его следует использовать для достижения величайших и полезнейших результатов и, наконец, какое применение может найти политика для этого искусства, чтобы управлять людьми или, скорее, вести их за собой, не управляя ими.

Чудеса музыки признаются далеко не всеми. Те, что зафиксированы историей в древние времена, весьма далеки от того, чтобы принадлежать исключительно тому искусству, которое вы сегодня называете музыкой; и те примеры, на которые вы указываете нам сегодня, ничто в сравнении с эффектами древности. Привести в восторг щеголя в его ложе или заставить томную даму упасть в обморок в её будуаре - это совсем не похоже на великие политические и национальные эффекты греческой музыки. Эти эффекты также различаются и по своей природе; сегодня музыка превозносит изнеженные страсти, а энергичные страсти по этим причинам скорее потеряли, чем приобрели от её чудес. Даже среди самих любителей музыки, среди тех, кто не позволяет говорить о ней без экстаза, сколько ведется споров о превосходстве одного жанра над другим! Сторонник Люлли глубоко пожалел бы поклонника Саккини или Глюка; почитатель Глюка ничего не смыслит в удовольствии приверженца Пиччинни, который, со своей стороны, зевает при одном только имени Глюка. И, наконец, люди с не слишком тонким слухом и душой, мало привыкшей к нежным выражениям, убеждены, что в конвульсиях меломанов много притворства; они смотрят на их преувеличения как на доказательство тщеславия, претендующего на обладание более тонкими органами чувств и более чувствительной душой, чем у большинства людей. Постараемся же выяснить, что есть реального во

власти музыки, поскольку история народов, извлекая из неё столь большую пользу, не позволяет нам её игнорировать, хотя многие обстоятельства, кажется, заставляют сомневаться в этой власти.

Мы исследуем две вещи: Во-первых, существует ли физический закон, согласно которому музыка непосредственно порождает в нас волевые импульсы и моральные решения, или, иными словами, существует ли механическое и прямое воздействие музыки на нашу волю; и если такого воздействия нет, то какова природа моральной власти музыки. Во-вторых, какой жанр музыки лучше всего подходит для осуществления этой моральной власти?

Но прежде всего соберем некоторые факты, свидетельствующие об очаровании музыки; одни из них относятся к животным, другие - к людям: одни принадлежат к древним временам, другие - к современным.

Воздействие на животных. — Собака скулит и плачет под звуки флейты; она оживляется на охоте при звуке рога. Конь бросается в огонь под звуки трубы. Орфей своими напевами привлекал тигров к своим ногам.

Воздействие на людей в древние времена. — Амфион своими песнопениями воодушевлял рабочих, строивших крепость Фив. Песнопения использовались для восстановления стен Мессены. Стены Фив воздвигались под звуки лиры. Согласно Плутарху, лакедемоняне, разделенные между собой, воссоединились благодаря гармониям Терпандра. Тот же Плутарх сообщает, что афиняне были увлечены песнями Солона на остров Саламин, вопреки указу, который осуждал любого оратора, дерзнувшего предложить завоевание этого острова. Нравы аркадийцев, по словам Полибия, были смягчены музыкой. Тимофей, афинский музыкант, проявил силу своего духа, воздействуя на великую душу и на великие народы. Он подчинил в Александре самые буйные страсти. Александр, как пишет Поуп, ссылаясь на Плутарха, был растроган:

Под звуки разные великого Тимофея,

Он воодушевляется, гневается, готов на любой подвиг;

То он - неумолимый воин, то - слабый любовник;

... С восторгом то требует он оружие,

То вздыхает и обливается слезами.

Тимофей, добавив четыре струны к своей кифаре, которая по обычаю имела их всего семь, и добавив новый лад к уже известным, отправился в Лакедемон. Магистрат, пораженный его напевами и обеспокоенный производимым ими эффектом, занялся этим как делом государственной важности. Эфоры приговорили Тимофея к штрафу за то, что он, по их словам, попытался развратить спартанскую молодежь непристойностью, разнообразием и изнеженностью своих песен. В Афинах Платон выступал против слишком большого разнообразия, которое внедрялось в музыку в его время: *эти новшества*, говорил он, *колеблют основы государства*.

Воздействие на людей в современные времена. — Около 1750 года в Венеции жил лютнист, который, как говорят, внушал своим слушателям любую страсть, какая ему была угодна. Дож пожелал провести испытание. Искусный исполнитель заставил его последовательно переходить от меланхолии к радости и от радости к меланхолии с таким мастерством и силой, что дож, придя в неописуемое волнение, приказал ему прекратить это волшебство.

Музыка есть единственное известное средство против укуса тарантула. В «Энциклопедическом журнале» за апрель 1762 года описаны два следующих случая. Страделла, скрипач из Неаполя, произвел на одну молодую особу столь сильное впечатление, что покорила её сердце и её саму, и она бежала с ним в Рим. У этой девушки был ревнивый любовник, который тут же пустился в погоню. Прибыв в Рим, он оказался в церкви, где играл Страделла. Услышав его музыку, ревнивец был обезоружен и проникся к похитителю своей возлюбленной даже большей страстью, чем к ней самой. Пальма, другой музыкант, был застигнут у себя дома крайне суровым кредитором, который пришел его арестовать. Пальма спел ему ариетту, аккомпанируя себе сам, и в итоге кредитор ссудил ему еще одну сумму денег.

В «Истории Академии наук» за 1717 год упоминается, что один выдающийся музыкант, страдавший от непрерывной лихорадки, сопровождавшейся бредом, исцелился благодаря хорошей музыке. Также и учитель танцев, сраженный тяжелой горячкой, летаргией и безумием, вернул себе здоровье и рассудок тем же способом. Лека в своей «Физиологии» опирается на этот факт, чтобы доказать, что музыка чрезвычайно полезна для здоровья, так как флюид, передающий звук к органам слуха, весьма пригоден для исправления «животного флюида» - первоначала наших ощущений и страстей.

В современные факты, которые я только что изложил, легко поверить, однако они касаются лишь отдельных личностей и не являются чудесами.

Что касается свидетельств древности, мы могли бы прежде всего задаться вопросом, доказаны ли они. *«Во времена Амфиона и Орфея, - говорит аббат Террасон, - музыка находилась на том же уровне развития, на каком она сегодня находится в самых удаленных от столицы городах. Именно тогда она останавливала течение рек, притягивала дубы и заставляла двигаться скалы. Сегодня же, когда она достигла высочайшего совершенства, её очень любят и почитают её красоты, но она оставляет всё на своих местах.»*

В «Мемуарах Академии словесности» (т. V, стр. 133) содержатся рассуждения, которые в значительной степени лишают ореола сверхъестественного те эффекты, что приписывались музыке древних. Но остановимся на мнении Руссо. *«Несомненно, - говорит этот философ, - во всём следует делать скидку на греческую склонность к преувеличению. Однако было бы чрезмерной уступкой современным предрассудкам доводить эти упрощения до такой степени, чтобы полностью отрицать любые различия между их музыкой и нашей.»* («Опыт о происхождении языков»).

Не углубляясь в излишнюю ученость, ограничимся этим кратким замечанием Руссо относительно древних событий. Не беспокоясь о том, строго ли они доказаны, посмотрим, что они подтверждают, если отсеять лишь то, что противоречит здравому смыслу. Первое важное наблюдение заключается в том, что мы отделяем от греческой музыки многие элементы, которые она в себе сочетала. Мы представляем себе ариетту Мармонтеля на музыку Пиччинни, исполняемую Лаисом в черном фраке с нотами в руках под аккомпанемент бесстрастной кифары. Мы представляем себе ариетту, в которой вещает герой иного века и иной страны; ариетту, в которой этот герой поет о любви перед воюющим народом или о войне перед народом мирным. И мы воображаем, что исполнение подобного произведения могло вызвать чудесные последствия. Как же мы далеки от истины!

Прежде всего, рассуждая о Греции времен музыкальных чудес, отбросим всякое представление о нашей современной музыке. Там, как мы увидим далее, существовало простое пение, поддерживаемое лишь несколькими аккордами. В этом пении почти не было гармонического искусства, но в избытке присутствовала энергия сильных страстей. В те времена пение было неразрывно связано со словами; там петь и говорить было, если можно так выразиться, одним и тем же (согласно Страбону), а термины «пение» и «выразительность» служили синонимами.

Вторая истина, которую необходимо знать: греки называли словом «музыка» мелодию, ритм, поэзию, танец, жест, грамматику, совокупность всех наук и даже знание всех искусств (*Путешествия Анахарсиса*, т. I, стр. 217, изд. in-12), можно сказать, всех предметов, входящих в ведение муз. Тот, кто исполнял слова и аккорды, был одним и тем же человеком, и этот человек сопровождал свое пение весьма оживленной игрой; но это еще не все: этот человек не просто пел - то есть не просто обращался с выразительной речью к собравшимся гражданам, пришедшим не для того, чтобы насладиться музыкой, а чтобы обсудить интересы отечества, - он говорил именно об этих самых интересах. И этот человек, наконец, был либо воином, шедшим в бой во главе народа, либо законодателем, предлагавшим им законы, либо магистратом, призывавшим их к решениям; и он был облачен во все знаки своей власти. Орфей был военачальником. Солон, который своими песнопениями вдохновил афинян на захват Саламина, был законодателем Афин и одним из их воинов.

Таким образом, когда мы говорим о воздействии музыки у древних как о силе, связанной с сочетанием неких звуков, использованием ритма и природой инструментов, мы на самом

деле, сами того не подозревая, говорим о силе поэзии, красноречия и пантомимы. Они соединялись в человеке, зачастую наделенном огромным моральным и политическим авторитетом, с гармонией, и применялись к повседневному домашним, гражданским и военным обычаям, к самым дорогим и сокровенным интересам народа, чья жизнь ограничивалась небольшим числом общих для всех привычек и интересов, одинаковых у каждого. Мы говорим, сами того не ведая, обо всех силах человеческого разума и устройства, воздействующих на души, наиболее склонные к тому, чтобы им поддаться; мы говорим о величайшем возможном соединении моральных сил, приложенных к самому слабому сопротивлению. Мы говорим о Мирабо на трибуне, возвращающемся с полей сражений, увенчанным лаврами, подобно Дюмурье, или о Дюмурье, обращающемся к своей армии в Бельгии с красноречием Мирабо. Одним словом, мы говорим о вещах совершенно иных, нежели те, о которых мы думаем, что говорим; и мы доказываем реальность способностей, значительно превосходящих те, что приписываются искусству сочетания звуков.

Тем не менее, существует некая сила, присущая определенным сочетаниям звуков; и эта сила играла хотя бы некоторую роль в действиях тех, кто влиял на греков, когда их философы, поэты и полководцы пели или декламировали им речи. Впрочем, нельзя отрицать влияние музыки на отдельных людей и на животных. Какова же природа этого влияния?

Оно бывает двух видов: физическое и моральное. Первое - это ощущение, производимое на орган слуха: мы объясним его механизм далее. Моральное воздействие заключается в пробуждении, усилении или ослаблении наших душевных чувств; я говорю «пробуждение» и «изменение» наших чувств, потому что музыка сама по себе не рождает в нас никакой страсти. Органы чувств дают идеи и удовольствия, но только потребности порождают страсти. Мы можем получать удовольствие через орган слуха, слыша определенные звуки, но эти удовольствия не могут стать объектом устойчивой и постоянной потребности.

Происходит ли это по тем же физическим законам, теми же механическими средствами - то, что музыка вызывает у нас ощущения и пробуждает или изменяет в нас моральные чувства, то, что музыкальное произведение нравится нашему слуху и волнует нашу душу? Существуют ли такие соответствия, которые заставляли бы определенные звуки, определенные аккорды, определенные движения откликаться конкретными чувствами, подобно тому как существуют соответствия, связывающие с этими звуками, аккордами и движениями почти одинаковые ощущения у всех людей, чей слух одинаково развит и примерно одинаково устроен? Иными словами, должны ли определенные звуки заставлять испытывать определенные чувства так же, как они обычно заставляют испытывать определенные ощущения? Нет, несомненно, и нет ничего проще, чем это доказать.

Для убедительности достаточно одного первого наблюдения. Ежедневно музыкальное произведение, композиция и исполнение которого доносят до слуха двух разных людей одинаковые ощущения, пробуждает в их душах совершенно противоположные чувства. И тот, и другой находят красоты гармонии одинаково совершенными, но один восхищен восхитительными воспоминаниями, а другой погружен в воспоминания скорбные. Следовательно, музыка воздействует на душу и на слух, вызывает ощущения, пробуждает или изменяет чувства не по одному и тому же принципу и не одними и теми же средствами.

Руссо выделял в музыке два начала: гармонию и мелодию. Гармония - это сочетание звуков, определяемое физическими законами и поддающееся расчету. Мелодия же - это использование этих звуков, соединенных таким образом, чтобы подражать интонациям, присущим нравственным чувствам. Гармония обращена к слуху; мелодия же вызывает к сердцу. Гармония рождает ощущения, а мелодия пробуждает чувства. Таким образом, в своих собственных эффектах власть музыки весьма ограничена; зато в тех, которые она заимствует, её сила становится огромной. Она черпает мощь не в том, чем она является сама по себе, а в том, чему она подражает; не в том, чем она владеет, а в том, что заимствует. Именно в этой истине заложены подлинные принципы политической или национальной музыки, которую нам предстоит породить сегодня. Не упустим ничего, чтобы доказать это. Послушаем Руссо по этому поводу:

«Подобно тому как ощущения, вызываемые в нас живописью, вовсе не исходят от самих красок, так и власть музыки над нашими душами - вовсе не дело одних лишь звуков. Прекрасные цвета с тончайшими оттенками радуют глаз, но это удовольствие - чисто чувственное. Именно рисунок, именно подражание вдыхают в эти цвета душу и жизнь; именно страсти, которые они выражают, волнуют наши собственные страсти; именно предметы, которые они изображают, трогают нас. Уберите краски с картины - и линии всё равно будут нас волновать. Сотрите же линии, оставив краски, - и ваш взор даже не удостоит их вниманием. Мелодия делает в музыке то же самое, что рисунок в живописи; именно она очерчивает штрихи и фигуры, тогда как аккорды и звуки - это всего лишь краски. Если бы живопись была лишь искусством приятного для глаз сочетания цветов, а музыка - лишь искусством приятного для уха сочетания звуков, то и та и другая относились бы к разряду естественных наук, а не изящных искусств. Только подражание возводит их в этот ранг. И раз то, что делает живопись искусством подражания - это рисунок, то в музыке этим началом является мелодия».

Непосредственный эффект звуков чисто физический: он возникает в результате взаимодействия различных частиц воздуха, приводимых в движение звучащим телом и доставляемых в ту часть нашего уха, которую анатомы называют улиткой. Когда касаются струны инструмента рядом с другой такой же струной, настроенной в унисон, эта вторая струна начинает колебаться от звука первой. Вот почему: движение звучащего тела состоит из двух движений: 1) из содрогания всех мельчайших частиц, составляющих это тело, и 2) из вибрационного движения всего тела целиком. Содрогание приоткрывает волокна звучащего тела; вибрация же непрерывно возмущает воздух или, скорее, ту особую среду, которая переносит звук. Таким образом, когда струна совершает вибрацию, способную произвести звук, и находится параллельно другой струне, настроенной в унисон, последняя должна воспринять всеми своими частями пульсацию воздуха, приведенного в движение первой струной, и по этой причине испытать аналогичное содрогание.

Исходя из этого, следует знать, что улитка - это инструмент, устроенный в нашем ухе таким образом, чтобы входить в резонанс со всеми звуками тел, находящихся в пределах его досягаемости, точно так же, как натянутая в унисон струна входит в резонанс с той, из которой извлекают звук. Внутренняя часть улитки состоит из двух лестниц или двух видов спиральных каналов, отделенных друг от друга тончайшей перепонкой. Устройство этого органа приводит его во взаимодействие со всеми вибрациями внешнего воздуха. Спиральная пластинка полностью предрасположена к колебаниям; описывая у своего основания более широкие витки, она совершает более длинные вибрации; у вершины же, по обратной причине, вибрации очень короткие. Если вы скрутите латунную проволоку в виде улитки, то увидите, что широкие витки мягкие, а малые - жесткие. И вот, от самого начала основания спирали, где пластинка наиболее гибкая, до самого её верха, где достигается крайняя степень жесткости, существует неощутимый переход эластичности.

Таким образом, какую бы последовательность тонов мы ни представили, не найдется ни одного, который не встретил бы в какой-то точке этой спирали свой унисон или равную ему вибрацию; следовательно, нет такого тона, который не мог бы передать свою вибрацию этой спирали.

Именно в этом органе рождаются физические удовольствия от гармонии. В нашем ухе находится, так сказать, натянутая струна, настроенная в унисон со всеми звучащими струнами природы и готовая отозваться на их дрожание, подобно тому как струна скрипки отвечает такой же струне другой скрипки, которую заставляют звучать рядом.

Мы видим, что принцип физического удовольствия, доставляемого гармонией, не имеет ничего общего с теми чувствами, которые она может пробудить в душе; и, повторю еще раз, что может быть общего между душевным состоянием и ощущением слуха, если одно зачастую становится тем мучительнее и болезненнее, чем другое чище и слаще?

«Даже если тысячу лет вычислять соотношения звуков и законы гармонии, - говорит Руссо, - как можно превратить это искусство в искусство подражания? Символом чего является гармония и что общего у этих аккордов с нашими страстями?». «Если задать тот же вопрос о мелодии, - добавляет Руссо, - ответ придет сам собой. Мелодия, подражая интонациям голоса, выражает жалобы, крики боли или радости, угрозы, стоны. Ей подвластны все вокальные знаки страстей. Она имитирует акценты языков и обороты, свойственные в каждом наречии определенным движениям души. Она не просто имитирует, она говорит; и ее язык, нечленораздельный, но живой, пылкий, страстный, обладает в сто раз большей силой, чем сама речь. Вот откуда берется мощь музыкальных подражаний; вот в чем секрет власти пения над чувствительными сердцами».

Некое подобие психологического воздействия мелодии можно заметить даже у животных. Лай одной собаки возбуждает другую. Если мой кот слышит, как я подражаю мяуканью, он тут же становится внимательным, тревожным, возбужденным. Когда же он понимает, что это я притворяюсь, он успокаивается и остается в покое. Почему же возникла эта разница в впечатлении, если все дело не в колебании волокон, в чем он сам обманулся?

Если бы музыка воздействовала на нас только через физические причины, почему она была бы лишь пустым шумом для ушей караиба или даже французского крестьянина? Разве их нервы устроены иначе, чем наши?

В качестве доказательства физической силы звуков часто приводят исцеление от укусов тарантула; но этот пример доказывает обратное, так как одних только звуков недостаточно для исцеления. Каждому укушенному человеку нужна знакомая ему мелодия и фразы, которые он понимает. Итальянцу нужны итальянские арии, турку - турецкие. Французский музыкант, который, как говорят, исцелился от лихорадки благодаря кантатам, возможно, не получил бы никакой помощи от итальянского музыканта.

Длинная череда аккордов, даже самых разнообразных, неизбежно вызвала бы скуку. Лишь последовательность аккордов, смешанных с живыми акцентами, волнует, интересует и захватывает.

Веским доказательством отсутствия физического закона, в силу которого музыка производит свои великие эффекты, является разнообразие мнений о музыке. Люди, как правило, сходятся в своих физических ощущениях; но они расходятся в своих моральных склонностях, и именно в этом их различие. Еще одним доказательством того, что музыка заимствует свою силу у голоса, у человеческой речи, является построение музыкальной фразы, созданной по тому же образцу, что и наши разговорные фразы, и музыкальных произведений - по образцу наших связных речей. Лады, которые различают в музыке, стали выделять только после того, как заметили, что та или иная страсть соответствует тому или иному тону.

Помимо силы мелодии или подражания, которую так верно подметил Руссо, музыка обладает еще одной особенностью - менее энергичной и выдающейся, но более привычной и действенной. Насколько мне известно, ее никто не замечал. Это сила, во многом похожая на силу слова, но превосходящая его своей мощью; сила, возникающая отчасти из ее постоянной связи с самой речью в повседневной жизни, а отчасти из ее связи с определенными удовольствиями, такими как танцы, или определенными событиями, такими как битва, охота и т. д. Поскольку язык выражает, не имитируя их, все идеи, которые возникают благодаря чувствам и размышлениям, и поскольку музыка напоминает о них всех, определенные гармонические звуки - подражательные или нет - связываясь с определенными словами в привычных песнях, или с определенными действиями, или даже с определенными ситуациями, приобретают способность вызывать идеи и чувства, выраженные теми же словами, чувства, сформированные при тех же обстоятельствах. Только этой способностью можно объяснить пробуждение мыслей и ощущений - эффект, который производит музыка. Принцип мелодии или музыкального подражания сам по себе не объясняет воскрешение в памяти моральных чувств, ведь именно эти чувства наделяют музыку теми интонациями, которые она заимствует.

Такое разделение власти, присущей словам или языку, - одно из свойств, благодаря которым музыка превосходит живопись. Живопись вызывает в памяти лишь образы того, что

можно увидеть. Музыка же, помимо образов видимых и осязаемых, пробуждает мысли о том, что можно услышать, и о том, что произносится словами. Иными словами, она охватывает абсолютно все идеи без исключения, даже самые абстрактные. Ведь сколько музыкальных произведений, написанных во славу Бога, спустя двадцать или тридцать лет воскрешают в нас нечто иное, даже если они исполняются без тех слов, под которые мы их когда-то слушали.

Принцип, который, как мне кажется, я обнаружил, вероятно, гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Я осмелюсь даже утверждать, что его помощь необходима для объяснения явлений, которые Руссо приписывал исключительно мелодии. Ведь именно благодаря ассоциации определенных мелодий или песен, надлежащим образом акцентированных, со словами, выражающими все наши страсти, или с играми, частными событиями, определенные напевы и аналогичные песни так быстро и глубоко захватывают нас даже в отсутствие слов и обстоятельств, которые их сопровождали в самом начале. Это происходит не только потому, что мы всегда слышали определенные интонации и ритмы, связанные со словами любви, ненависти, счастья, несчастья, ярости, восторга, печали, удовольствия или привязанные к определенным танцам, упражнениям или ситуациям. Эти интонации и движения захватывают нас так внезапно и мощно и пробуждают в нас такую огромную массу идей при повторении в современных песнях, что нынешний эффект музыки, на мой взгляд, гораздо меньше зависит от прямых впечатлений, производимых современным подражанием, чем от воскрешения в памяти всех тех впечатлений, которые музыка произвела своими прошлыми подражаниями или ассоциациями.

Именно по этой причине наслаждение музыкой (я не говорю об искусстве) требует обучения. Именно поэтому существуют определенные прелести, доступные лишь людям искушенным - я говорю не о знаниях, а о способности наслаждаться музыкой. Именно поэтому люди, которые в юности никогда не тренировали слух ни на живых, нежных и ласковых выражениях, ни на воодушевленном пении или чтении, чье сердце никогда не было открыто чувствам, заставляющим менять тон голоса подобно языку, никогда не смогут по-настоящему чувствовать музыку. И это при том, что их душа со временем могла стать чувствительной, нежной и даже подверженной страстям, полным боли и удовольствия. Именно по этой причине существуют национальные напевы, национальная музыка, такая как «Ранц де Ваш» (*Ranz des vaches*), в гармонии которой нет ничего примечательного, а мелодия лишена выразительности и трогает только швейцарцев. Им она напоминает о ситуации, в которой они находились, когда слышали ее прежде, то есть об их детстве и счастье. Очевидно, что в этом напеве музыка воздействует не как искусство звуков, а как памятный знак.

Я не буду продолжать наблюдения за принципом удовольствия, которое доставляет музыка; принципом, существование которого кажется мне бесспорным.

Итак, я утверждаю, что музыка нравится слуху своими созвучиями, немедленно волнует душу своими интонациями, пробуждающими страсти, у которых они заимствованы, и опосредованно - своей привычной связью с языком, что пробуждает сразу всевозможные идеи и страсти, а также связью с различными играми и праздниками общественной жизни, особенно с танцами. В двух словах, она воздействует звуками на слух, проникает в душу своими интонациями и полностью всколыхивает душу воспоминаниями.

Здесь отчетливо видно основание тех надежд, которые политика может возлагать на музыку. Здесь, выходя из тумана неопределенности, мы видим, как она действует, в чем заключается ее сила и откуда она происходит. Здесь мы видим, что создание, направление и распределение музыкальных эффектов зависит от социальных институтов, и что искусство создавать, направлять и распределять их сводится к правилам столь же определенным, как и в любой другой науке.

На следующем заседании мы наметим принципы музыки, рассматриваемой как социальный механизм. Мы увидим, что необходимо различать три жанра музыки: первый - это частная музыка; два других составляют народную музыку, а именно: одна предназначена для

игр и повседневных песен, другая - для торжеств и общенациональных событий. Сейчас существует музыка только для удовольствия; необходимо же создать музыку для морали или, скорее, возродить мелопею, подобную той, что была у греков, и создать третий жанр, чтобы соединить простую и нравоучительную музыку греков с восхитительной и искусной музыкой наших артистов. Такое объединение столь же необходимо для нашего глухого и гнусавого языка, чтобы моральная музыка производила у нас тот великий эффект, который был невозможен у греков, где чувственная музыка неизбежно должна была вызывать отвращение к другой.

Восьмая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее в апреле 1793 года (II год Французской республики).

Продолжение и завершение темы моральных основ общества.

На прошлом заседании мы пытались отыскать принципы того впечатления, которое музыка производит на нас. Мы обнаружили три различных начала: первое - это **звук**, который воздействует на слух своей физической силой; второе - это **акцент**, который воздействует на душу через подражательную силу; третье - это **язык или знак**, который также воздействует на душу через силу воспоминания. Таким образом, музыка обладает тремя видами воздействия: силой ощущения, силой впечатления, силой воспоминания - то есть одной физической силой и двумя моральными.¹³

Прежде чем перейти к последствиям, которые могут вытекать из этого разграничения, я предложу еще несколько размышлений о силе воспоминания. Поскольку мы хотим обосновать полезную теорию на тех элементах, которые собираем сегодня, и так как беглых наблюдений нам недостаточно, важно закрепить наши основы.

На предыдущем заседании я говорил, что музыка, благодаря своей привычной связи со словами в наших песнях, в наших спектаклях, в наших гражданских и религиозных праздниках, благодаря своей связи с нашими играми, военными упражнениями, нашими танцами, стала своего рода языком. Она воздействует на нас по тому же механизму, что и речь; и как слова, примененные в речи к определенной идее, пробуждают в нас эту идею, точно так же и последовательность гармонических звуков, примененная в пении или инструментальной музыке к тем или иным словам или к той или иной ситуации, отчетливо воскрешает в памяти идеи, связанные с этими словами или этой ситуацией.

Помимо примеров, которые я привел в подтверждение этой истины, существует множество других, которыми меня снабдили беседы, поводом для которых послужило последнее заседание, и которыми я обязан людям из этого самого общества. Я приведу лишь один пример, но он самый убедительный из всех. Вот он:

Мы каждый день встречаем старых любителей старинной музыки. Эти люди обычно крайне нетерпимы к современной музыке и к похвалам, которые мы ей расточаем. Но мы берем свой реванш. Они осуждают наши удовольствия или жалеют нас; мы же, со своей стороны, высмеиваем их собственные. Они называют экстазы наших любителей кривлянием, мы же обвиняем их в лживости рассказов об их былом восторге. И они, и мы ошибаемся; и они, и мы одинаково добросовестны, и они, и мы говорим правду. Но обе стороны одинаково не понимают причину нашего разногласия. Эта причина заключается в том, что музыка, которую они слышали, ассоциируется у них с воспоминаниями о чувствах, которыми она была наполнена для них и которых в ней нет для нас - в ней нет нашего языка или знака. Наша же музыка

¹³ Руссо называет мелодией то, что я называю силой акцента. Слово «мелодия» не подходит для этого понятия. «Мелодия» происходит от *melos* - «нежный», и *meli* - «мёд». Идея нежности подходит к любому виду звука или гармонии, которые могут приятно воздействовать на слух, даже если душа не принимает в этом никакого участия.

не может ассоциироваться у них с чувствами, на которые они более не способны и для которых она является лишь для нас уникальным языком.

Нам доводилось слышать музыку Люлли и оперы Рамо только в исполнении престарелых любителей. Мы никогда не слышали, чтобы о любви во французском пении воспевали иные люди, кроме тех, кого уже сковал возраст; о красоте - те, кто ничего не видит без очков; о наслаждении - те, кто обременен недугами; о юности - те, чьи надтреснутые голоса исходят из дряхлых лиц. Удивительно ли после этого, что мы не нашли в такой музыке ничего чувствительного? Оставим в стороне её недостатки, даже изъяны голосов исполнителей; представим даже, что актеры в спектакле, который мы берем для примера, обладают четкостью, блеском и выразительностью Мандини, нежностью и свежестью пения мадемуазель Балетти и мастерством мадам Моричелли в исполнении музыки Паизиелло. Но вообразим, что всё это присуще актерам или актрисам ста лет от роду, облаченным в костюмы времен Люлли и страдающим от недугов, неотделимых от глубокой старости. Предположим также, что мы никогда не слышали этих же произведений в чем-либо ином исполнении. Я спрашиваю: какое воспоминание останется у нас от подобного зрелища? Какое впечатление оно произведет? Будет ли это впечатление любви, наслаждения, красоты или юности? Нет, оно не вызовет у нас ничего, кроме ощущения чего-то нелепого, странного, настоящей карикатуры. И почему? Да потому, что идеи любви, наслаждения, юности и красоты не передаются интонациями, так как интонации являются лишь выражением чувств, а не идей. Эти идеи обозначаются лишь словами или звуками, а в нашем примере они полностью отсечены от нас видом всего того, что им противоположно. Силы звуков, музыкальных ладов и ритма недостаточно, чтобы связать с музыкальными фразами те душевные привязанности, от которых их отделяют физические обстоятельства.

Теперь представьте себе любителя старинной музыки среди наших новых песен и аккомпанементов. Эти песни и сопровождения - язык чувств, которых у него больше нет и к которым он более не восприимчив. Он *видит*, что этот язык относится к страсти, но он её не *чувствует*, потому что этой страсти в нем больше нет. И поскольку он никогда не говорил на этом языке в то время, когда был способен испытывать страсть, выражением которой этот язык является, он находит в нем не больше своих воспоминаний, чем нашел бы их в речах молодого англичанина, обращенных к его возлюбленной, если бы сам никогда не учил английский или выучил его лишь в преклонном возрасте.

Напротив, дайте этому старику послушать арии, которые он слышал в юности в Опере, сидя рядом со своей возлюбленной, или которые, возможно, исполняла она сама. Тогда, что бы ни говорили, в нем пробудятся нежнейшие и самые сокровенные воспоминания, оживляя его угасающее существование. Это происходит потому, что данные арии - тот самый язык, на котором говорила или которому внимала его любовь; потому что они принадлежали его любви. Итак, еще раз: музыка действует как *памятный знак*, и, возможно, в более общем смысле и более мощно, чем как *выразительный знак* или подражательная интонация.

Теперь, чтобы открыть физический принцип этой власти музыки и увидеть его во всей полноте, необходимо изучить две вещи. Во-первых, как слово, которое само по себе ничего не имитирует, не является интонацией и часто напоминает лишь об абстракции, тем не менее всегда вызывает в памяти идею, к которой оно привязано обычаем, и как обычай делает его знаком этой идеи. Во-вторых, почему музыка обладает силой, аналогичной силе языка, но при этом гораздо более мощной. Я подчеркиваю, что мы будем искать именно физический принцип, потому что в законодательстве невозможно построить ничего надежного, если не опираться на этот фундамент. Любое моральное или политическое понятие, не подкрепленное материальной и ощутимой истиной, крайне неопределенно или, по меньшей мере, весьма шатко.

Слово - это либо *фигура*, воздействующая на зрение через письмо, либо последовательность звуков, воздействующая на слух через речевую артикуляцию. Таким образом, слово *само по себе* неизбежно вызывает ощущение у того, кто его читает или слышит; оно даже должно вызывать два ощущения, поскольку может воздействовать на два чувства одновременно. Но

каким образом, вызывая ощущение, оно почти всегда ограничивается тем, что пробуждает уже существовавшее ранее чувство? Как определенное слово вызывает определенную идею, будучи само по себе нейтральным? Ведь при чтении текста, который нас интересует, нас занимают не шрифты и не бумага, а исключительно тот предмет, знак которого заключен в фигуры, напечатанные на этой бумаге? Все дело в привычке, которая постоянно связывает определенную идею с конкретным словом, проходящим перед нашими глазами или поражающим наш слух. Пример детей, которых учат говорить и читать, подтверждает мое утверждение. Когда ребенка хотят научить говорить и читать, ему, к примеру, показывают стул, чтобы он назвал его, и заставляют прочесть слово «стул», подкладывая его под глаза; при этом одновременно произносится слово «стул» и перед ним пишутся буквы *с, т, у, л*. Эти три ощущения, испытанные несколько раз одновременно, затем воспроизводят друг друга в памяти, потому что привычка в некотором роде связала их воедино. Вид стула напоминает слуху звук «стул»; при виде написанного слова вспоминается звук и сама вещь; звук же напоминает и о предмете, и о его графическом знаке. Не сложнее понять, как слово вызывает идею какого-либо предмета, например цветка, чем осознать, почему аромата определенного цветка достаточно, чтобы напомнить нам о его форме, цвете и объеме, хотя идеи формы, цвета, протяженности и запаха мы приобрели по отдельности, последовательно, через разные органы чувств и посредством различных ощущений. Причина, по которой запах розы напоминает нам о розе во всей ее полноте, заключается в том, что мы, как уже было замечено, очень часто одновременно видели, чувствовали и трогали этот цветок. И хотя в самом начале мы воспринимали его свойства лишь последовательно, и никогда - одновременно, а только через разные органы чувств и посредством разнообразных ощущений, в итоге они слились в единый образ.

Следовательно, если именно привычное совпадение определенных артикуляций рта с известными ощущениями объединяет их до такой степени, что одно и то же слово обычно вызывает одну и ту же идею, то вполне легко представить, как привычное использование определенной музыки, определенного лада и размера, применительно к конкретному предмету, делает музыку своего рода дополнением к языку и аналогичным образом воздействует на нашу память. Нет ничего более удивительного в том, что три созвучных и гармонизирующих звука - такие как *до, ми, соль, до* - означают «победа», чем в артикуляции самого этого слова.

Теперь объясним, почему музыка как знаковая система обладает большей силой, чем язык; и здесь кроется еще одна трудность, поскольку музыка определенно не обладает той же точностью, что и язык, и в ней нет музыкальной фразы, размера или лада, которые были бы закреплены за той или иной идеей так же строго, как в языке за каждой идеей закреплено отдельное слово.

Причина этого явления заключается в том, что последовательность звуков лучше связывается в памяти, чем последовательность шумов и, следовательно, последовательность слов. Из этого следует, что музыка может бесконечно помогать запоминанию самих слов, даже если они объединены сильной логической и грамматической связью. Мы видели, что орган слуха обладает двоякой способностью: во-первых, принимать и передавать в мозг впечатление от шума (эта способность является чисто слуховой или пассивной); во-вторых, точно чувствовать соотношения звуков, настраиваться в лад со звучащими телами, различать в них основной тон, терцию и квинту - одним словом, разделять вибрации звучащих тел, подобно тому как натянутая скрипичная струна, настроенная в унисон с другой подобной струной, отвечает ей, когда ту задевают в пределах ее досягаемости. Эта способность и есть гармоническая чувствительность. Очевидно, что звуки - то есть шумы, в которых различается совершенное созвучие и которые следуют друг за другом согласно гармоническим интервалам, воздействуя на этот орган, - должны лучше запечатлеваться в памяти, чем простые шумы, которые лишь утомляют, почти никогда не вызывая душевного трепета. Следовательно, они лучше помогают объединять идеи, которые привычка, так сказать, привязала к их последовательности. И если этот эффект присущ отдельному звуку, то тем более он должен быть присущ аккордам, ибо аккорды являются развитием элементов звука.

Согласно изложенным мною понятиям, когда речь идет о том, какую пользу можно извлечь из музыки для социальной организации, становится понятно, как можно было бы установить такой род музыки, который был бы способен соединиться с политической системой.

Музыкальную систему следовало бы разделить, или, скорее, она сама собой разделяется на две основные части: музыку публичную и музыку частную. Первая была бы ответственна исключительно за торжества и государственные праздники; другая будет осуществляться в рамках частной жизни. Первая будет разделена на два рода: музыку подражательную, или акцентированную, и музыку мемориальную. Обе они будут служить общественным интересам. Частная же музыка будет оставлена на вкус любителей и на откуп капризам искусства.

Мемориальная музыка будет применяться к песнопениям, которые планируется сделать привычными для народа и с помощью которых захотят передавать, распространять, прославлять события, утверждать добродетели и так далее.

Подражательная, или акцентированная, музыка будет использоваться в тех случаях, когда уместно произвести на народ сильное впечатление, дать мощный стимул или умерить его порывы. Только она способна вызвать эти великие и полезные эффекты.

Первая больше служила бы для направления умов, вторая - для регулирования страстей; они могли бы объединяться, помогать и поддерживать друг друга.

Музыка впечатления может быть только простой; именно здесь не следует прилагать великих усилий искусства, но нужно сохранить всю истинность природы. Здесь нужны не ученые композиторы, а композиторы вдохновенные. Существует лишь одно выражение, способное передать образ или чувство во всей их силе. Несчастным удастся так сильно тронуть нас лишь потому, что их голос выражает страдание правдиво и они используют выражение, свойственное именно боли. Точно так же для каждого стиха, для каждого слова в любой ситуации существуют лишь один тон, один акцент и одно движение, которые им подходят. Этот тон, это движение, этот акцент и составляют музыкальное выражение. И это выражение не обладает бесконечным разнообразием; никакое произвольное сочетание звуков не может его заменить, и никакой аккомпанемент не может окружить его, не исказив его единства, его правдивости и, прежде всего, его силы.

Чрезвычайно веская причина, помимо прочего, диктует простоту музыканту, желающему произвести глубокое моральное воздействие на большой народ и под открытым небом. Здесь, как при разговоре издали, нужно мало слов, но много выразительности; мало артикуляции, но сильной артикуляции; мало интонационных изгибов, но интонаций четко выраженных. Одним словом, мало разнообразных звуков, но много сильных и проникающих акцентов. Именно по этой причине Руссо считал акцентированные языки языками свободных людей, видя в них доказательства и средства политической свободы, а языки тяжелые и гнусавые - языками рабов.

Однако эта музыка будет лишь помощницей поэзии в действиях или торжествах, представляющих большой общественный интерес. Ведь, как мы уже видели, не следует приписывать исключительно или даже главным образом ей те чудеса, которые всегда были результатом лишь её сочетания с другими силами, не менее значительными, чем она сама.

Эта музыка станет тем, чем была музыка у греков в эпоху её расцвета, когда музыкант был одновременно оратором, поэтом, философом, политиком, судьей, полководцем и воспевал то, что внушал ему общественный интерес при исполнении его функций. Она станет тем, чем была в те времена, когда мудрецы Афин и Спарты противились введению сложной и ученой музыки - той музыки, которая впоследствии осмелилась освободиться от поэзии и попыталась господствовать собственной силой; которая осмелилась обходиться без слов или заглушать их чуждыми украшениями; которая засияла тысячью прелестей и презрела всякую пользу; которая открыла грекам новые наслаждения и перестала воспитывать добродетели. Менее осторожные или более опытные, чем греки, а возможно, и более невосвратно испорченные, мы сохраняем во Франции наши различные жанры музыки, но отводим каждому свою роль. Акцентированная музыка будет служить морали через впечатления, которые она пере-

дает; ученая музыка - через воспоминания, которые она увековечивает или оживляет; а музыка, желающая лишь услаждать слух или служить сладострастию, будет замкнута в кругу развлечений, предназначенных, среди прочего, для людей богатых и праздных.

Если попытаться составить представление об этих двух видах моральной или политической музыки, которые я только что разграничил, опираясь на примеры из всего, что мы слышали, то, я уверен, возникнут затруднения по крайней мере в отношении одного из них.

Можно встретить немало примеров музыки, с памятной силой в наших уличных песнях - песнях, которые связаны с народными нравами гораздо теснее, чем принято считать; песнях, которые описывают, формируют, развивают и закрепляют народные привычки. Мы видели их веселыми и легкомысленными при монархическом строе, мужественными и воинственными - в годы зарождающейся республики. Несомненно, через тридцать лет две великие эпохи Французской революции будут отчетливо воскресать в памяти наших детей благодаря двум столь разным напевам, которые их олицетворяют в наших народных песнях: это мелодия «*Ça ira*» и гимн Марсельезы. Слова станут менее важны, чем сами звуки, из которых состоят эти мотивы, чтобы напомнить обо всех обстоятельствах, породивших их. Одних этих звуков будет достаточно, чтобы песня и гимн стали для французского народа историей и живой картиной того времени, когда он их пел.

Первая мелодия - веселая, живая и легкая - напомнит о начальном периоде революции, когда француз, радуясь победе над деспотизмом, одержанной без особых усилий, вновь обрел в своей монархической жизни ту природную жизнерадостность, которую не смогло омрачить ни одно несчастье в ходе революции - и которая, возможно, была лишь тем беспечным легкомыслием, которое революционное движение лишь временно приостановило.

Вторая - торжественная и ритмичная - напомнит о том внезапном, всеобщем и единодушном порыве целого народа в тот момент, когда ему угрожали великие опасности; о его марше навстречу врагам, собравшимся на границах; о его стремительном ударе по тайным внутренним врагам. Она воскресит то чувство справедливости, которое он проявляет против противостоящих ему внешних врагов; то чувство негодования, которое берет верх над одними и поражает других; то чувство силы и мощи, которое возносит его над любым страхом, в то время как он выступает против них, облекаясь при республиканском строе, который он себе устанавливает, в новые формы и обретая новый характер.

Безусловно, такова будет мемориальная сила этих двух знаменитых мелодий, хотя последняя, возможно, сохранит в себе и память о некоторых преступлениях, которые было так легко совершить и которые все еще стремятся заставить нас забыть!

Но где нам найти примеры этой выразительной подражательной музыки, способной волновать народ, при этом вызывая у него интерес к действию? Спросите наших заурядных музыкантов, и они ответят вам: «Везде». Спросите самих себя чистосердечно, и вы ответите: «Нигде». Будет ли это в музыке наших спектаклей? В этой музыке не только все аккорды, но и все напевы смешаны и спутаны в одной и той же песне и ее сопровождении; здесь музыкант гораздо меньше занят поиском истинной выразительности, чем стремлением восполнить ее отсутствием аксессуарами. Здесь музыкант - это совсем не тот человек, что поэт; поэт - не тот, что герой. В результате оригинал, так сказать, не говорит сам за себя, а звучит лишь через бесконечных посредников. Вследствие этого одно и то же вдохновение никогда не объединяло и не сливалось воедино чувство, его словесное выражение и его музыкальное воплощение. Здесь простое «увы» вынуждено пройти через души трех разных людей, чтобы облечься в некую форму выражения.

В этой музыке, к тому же, всё изнежено, всё отдано во власть любви и почти чуждо великим, гордым и сильным страстям. Талант наших артистов никогда не мог заставить различить в пении интонации храбрости в бою, удовольствия на охоте, крики ужаса во время грозы, отчаяния при пожаре или нужды во время бури. Мелодия охоты, мелодия боя, мелодия грозы или бури ничем не отличаются друг от друга; они характеризуются лишь аккомпанементом: то есть валторнами, которые заставляют «лаять» в первых, трубами, в которые трубят во вто-

рых, литаврами, по которым колотят в третьих, или тарелками, которыми заставляют свистеть, ударяя их друг о друга, в четвертых. Здесь оркестровые машины делают всё, а человеческий голос - ничего. Здесь стремятся воссоздать образ происшествий, которые волнуют, а не передать само чувство. Здесь интонации голоса, если им и соизволили придать некую истинность, оказываются заглушены и погребены под неистовой музыкой оркестра. Наконец, найдется ли это в той лишенной правды, характера и единства музыке, которая является нашей лирической музыкой? Нет; она может доставлять нам удовольствие, но не страсти, даже не страсть любви. Ревнивая угрюмость старых любителей или скудоумие и нечувствительность некоторых плохо развитых или невосприимчивых ушей могла бы несправедливо оспаривать у музыки право дарить нам яркие наслаждения; однако политик и моралист никогда не будут требовать от неё нравственного воздействия.

Лишь однажды в жизни я ощутил на себе силу прекрасной музыки, наполненной выразительными интонациями, которые были созвучны великому национальному чувству, хотя исполнялась она одними лишь инструментами. Но, при всем моем уважении к таланту композитора - а это был Госсек, - должен признаться: я обязан этим восторгом не только его творению, но во многом и физическим обстоятельствам. Именно они лишили меня всей той части произведения, которая была написана ради амбиций, из привычки или ради демонстрации учености, и таким образом отсекали для меня всё, что было чуждо выражению искренних чувств.

Это произошло на траурном торжестве на Марсовом поле, устроенном в честь национальных гвардейцев Меца, погибших под Нанси в 1791 году. Оркестр располагался на «алтаре отечества»; огромное расстояние отделяло его от депутатов Учредительного собрания, к числу которых принадлежал и я. В безветренную погоду до нас доносились лишь отдельные звуки, и эти звуки - стоит сказать это к славе Госсека - были подлинными интонациями живой души. Это были вздохи, жалобы, стенания женщин, детей, отцов и друзей, оплакивающих первых жертв закона. Когда ветер поднимался и дул в нашу сторону, он усиливал эти интонации, а когда стихал или прекращался, они замирали с такой постепенностью, за которой искусство, пожалуй, не смогло бы последовать в её неуловимых нюансах. Ветер, так сказать, сам расставлял акценты в этих звуках. Он также создавал для нас паузы там, где музыкант их не предусматривал, и даже эти мгновения тишины были красноречивее нежных переливов, которые были слышны вблизи оркестра. Эта тишина без музыки, эта музыка без слов, эти интонации без лишнего прикрас вызывали в сердцах самое глубокое волнение.

Таким образом, игра воздуха и расстояние, устранив для нас три четверти произведения Госсека, придали ему такую выразительную силу, какой не было для тех, кто слышал его целиком. Оно превратилось в шедевр именно тогда, когда ветер, образно говоря, выдул из него все ноты, которые одно лишь мастерство добавило туда помимо или, возможно, вопреки истинному чувству. Так, избыток музыки не утомлял слух; лишний шум и путаница аккордов не заглушали живых интонаций.

Размышляя над этим опытом с траурной музыкой Госсека, я пришел к следующему выводу: если бы, слушая этот отрывок, я держал в руках партитуру и вычеркнул карандашом всё, чего не слышал из-за ветра или расстояния, оставив лишь то, что до меня долетало; если бы я отметил нарастание и затухание звуков так, как их давал мне почувствовать воздух; если бы затем я собрал воедино всё, что осталось, в одну непрерывную нить, особенно точно указав паузы и моменты тишины; и если бы, наконец, я представил этот отрывок Госсеку или любому другому музыканту - он, вероятно, посмеялся бы надо мной.

Если бы я сказал ему: «Посмотрите, какой прекрасный образец греческой мелопеи», он бы с жалостью улыбнулся простоте греков, которым удовольствие доставалось так дешево. Если бы я добавил: «Но это лишь выжимка из вашего собственного сочинения», он стал бы слушать меня внимательнее. «Вот это, - продолжил бы я, - всё, что я услышал в вашем произведении. И именно это вызвало у меня слезы, тронув до глубины души, ведь всего остального я просто не слышал. И в то время как вы наполняли мою душу скорбью и восторгом, я видел,

что люди, стоявшие к вам намного ближе, были затронуты гораздо меньше, чем те, кто находился на одном расстоянии со мной. Неужели вы станете отрицать результат? Отвергнете ли вы моё восхищение только потому, что доставили мне больше удовольствия своим талантом, нежели своим знанием? Неужели в Госсеке артист станет завидовать композитору, наделенному чувством?»

Что бы ответил Госсек на эти слова? Ничего. Или же он признал бы, что величайшая мощь музыки заключается именно в интонациях, и для достижения её максимальной энергии необходимо, чтобы она действовала в одиночку, чтобы никакой шум не разделял требуемого ею внимания и не нарушал её единства.

Именно к этой силе я взываю в интересах общественного блага. Соедините её с силами, воздействующими на другие чувства: с жестом, пантомимой, поэзией и красноречием, а прежде всего - с авторитетом внушительной власти, которая сама опирается на большое личное уважение, и вы получите музыку, служащую целям морали и политики.

Когда мы приступим к организации общественных институтов, мы увидим, при помощи каких празднеств и каких мер можно обеспечить успех различным музыкальным жанрам; в частности, мы поймем, насколько важен успех мнемонической музыки. Мы увидим, что во Франции, как в Италии и Германии, детей следует учить пению по голосам и в такт, чтобы они могли лучше запоминать, лучше исполнять и глубже чувствовать те песнопения, с помощью которых мы захотим сохранить или привить определенные нравственные привычки. Ведь, как я уже говорил, слух требует такого же воспитания, как и разум. Пиччинни говорил мне восемь лет назад, что французским голосам не хватает гибкости: он ошибался. Это нашим ушам не хватает тонкости; именно наши уши управляют нашим голосом. А почему нашим ушам не хватает тонкости? Потому что в детстве они лишены упражнений; потому что их постоянно оскорбляют наши уличные напевы. Считается, что на Юге, как говорит Монтескье, уши более чувствительны к гармонии, чем на Севере, - это очередное заблуждение. Во всей Германии крестьяне поют чисто и в такт, в то время как во Франции, и даже ближе к Югу, в самом Париже, в Опере, поют фальшиво и неритмично. Итак, еще раз подчеркну: именно воспитание слуха дает тонкость восприятия музыки. Следовательно, о его воспитании нужно тщательно заботиться.

Перехожу к искусствам постоянного подражания - я имею в виду **скульптуру и живопись**. Я попытаюсь найти принцип их нравственного влияния. Каждый ощущал на себе одно из главных свойств памяти: известно, что когда она живо представляет себе какой-либо объект и когда она с силой охватывает его образ - словом, когда она возбуждена до такой степени, что ее обычно называют воображением, - она в некотором роде приостанавливает действие внешних объектов на органы чувств. Она доминирует, она одна властвует над всеми способностями. Человек, чье воображение или память сильно заняты какой-то мыслью, не видит предметов, находящихся перед глазами, и не слышит шума, доносящегося до его ушей; он даже не чувствует тех впечатлений, которые в другое время были бы болезненными. Архимед чертил геометрические линии, когда враг уже занес меч над его головой. Бюде был настолько поглощен решением задачи, что не заметил, как в его доме начался пожар. Ежедневно воспоминания о былых удовольствиях скрашивают скуку и даже облегчают страдания в нашем нынешнем положении.

Эта способность памяти почти стихийно воздействовать на средоточие нашей воли, несомненно, находит поддержку и укрепляется благодаря постоянному присутствию осязаемых объектов и памятных знаков. Следовательно, живопись и скульптура должны оказывать на эту способность весьма ощутимое влияние. Религиозные чувства и привычка к благочестию, несомненно, чрезвычайно поддерживаются множеством священных образов, которые встречаются нам на дорогах, на фасадах наших домов, на портиках наших церквей. В каждом деревенском доме есть свой образ Христа, в каждом доме - свой святой. Этот Богочеловек, которого повсюду видят распятым *ради нашего спасения*, эти святые, которых повсюду видят молящи-

мися, бодрствующими, страдающими *ради нашего спасения*, - все эти образы, с которыми связывается идея Провидения, к которому можно взывать в своих нуждах и заступничества которого можно просить в опасностях, - всё это, несомненно, служит религии, постоянно напоминающая о тех понятиях, которым учат ее служители.

Вот пример мнемонической силы; можно даже сказать, что это пример злоупотребления ею, что еще раз подтверждает возможность ее более законного использования. Когда я вижу человека, преклонившего колени на большой дороге перед святым Яном Непомуцким, покровителем путешественников, я лишь сожалею, что на месте этого святого не стоит статуя Перроне - того искусного инженера, главы Школы мостов и дорог, истинного покровителя путешественников. Когда я вижу канониров, преклонивших колени перед святой Варварой, я спрашиваю себя, почему они не делают этого перед Тюренном, Вобаном, Фоларом и другими. Когда я вижу человека на коленях перед каким бы то ни было святым, я спрашиваю себя, почему на месте этого святого не могли бы быть Руссо, Франклин, Тюрго и им подобные.

Искусства также освятили множество религиозных басен, которые неизменно служат интересам суеверия. Таким образом, они могли бы точно так же посвятить себя национальной истории или, по крайней мере, самым важным её событиям, и использовать это на благо отечества. Какой прекрасный способ обучать народ его истории - оживлять перед его глазами великие деяния, великие добродетели, я бы даже сказал, великие помыслы его предков! Какое благородное и мощное средство привязать все мысли человека к общественным интересам, к своей стране, к своей родине - дать ему возможность охватить одновременно и прошлое во всём его величии и пользе, и настоящее во всём его благополучии!

Искусства постоянного подражания воздействуют и служат обществу не только благодаря воспоминаниям, которые они пробуждают, и привычкам, которые они питают, но и благодаря тем образцам, которые они представляют, а также соревнованию в добродетели или таланте, которое они возбуждают. *«Если вы никогда не задумывались над силой подражания, - говорит Бартеlemi («Путешествие Анахарсиса»), - посмотрите, насколько глубоко два наших чувства, слух и зрение, передают нашей душе получаемые ими впечатления; с какой лёгкостью ребёнок, окружённый рабами, копирует их речи и жесты, перенимает их наклонности и низость».*

Хотя живопись и не обладает даже близко такой силой, как реальность, тем не менее верно, что её картины - это сцены, при которых я присутствую, а её образы - это примеры, предстающие перед моим взором. Подобно тому как я сохраняю память о позе, которая показала мне красивой, гордой или трогательной, и эта память побуждает меня подражать ей, точно так же воспоминание о прекрасном поступке или благородном чувстве служит для меня мощным стимулом. Цезарь плакал у подножия статуи Александра. Следовательно, эта статуя произвела на молодого героя такое впечатление, которое не произвела история самого прообраза; и кто осмелится утверждать, что именно это впечатление, вызванное образом великого человека, не породило другого великого человека? В «Путешествии Анахарсиса» мы читаем, что «греческие философы, позволяя юношам на досуге созерцать картины Дениса, призывали их не останавливать взгляд на картинах Паусона и чаще возвращаться к произведениям Полигнота. Первый, говорили они, писал людей такими, какими мы их видим; его подражание верно природе, приятно глазу, безопасно, но бесполезно для нравов. Второй, наделяя своих персонажей низменными чертами и функциями, унижил человека; он изобразил его более мелким, чем тот есть на самом деле: его образы лишают героизм блеска, а добродетель - достоинства. Полигнот же, представляя людей более великими и добродетельными, чем они есть в природе, возвышает наши мысли и чувства к возвышенным образцам и глубоко запечатлевает в наших душах идею нравственной красоты вместе с любовью к приличию и порядку».

Если признать, что искусства предназначены не только для славы художников и удовлетворения любителей; если признать, что общество имеет право требовать от них дани пользы, что каждый человек может просить у них удовольствия, помощи в его стремлении к добру и отвращении от зла, поощрения и повода для побуждения к добродетели; если каждый гражданин, требуя полезных воспоминаний для себя, требует также уроков для своих детей - уро-

ков постоянных, живых и впечатляющих; если, одним словом, каждый может сказать художнику: «В вашей власти сделать для нас добродетель лёгкой и приятной, а порок - ненавистным и тягостным», то каждый может также сказать им: «Вы должны использовать эту благородную способность; вы призваны моралью и общественным интересом к служению, которое делает вас стражами и хранителями этих ценностей, и вы должны позволить наделить себя этой властью».

С этого момента должна существовать организация, которая указывала бы искусствам темы, к которым они должны обращаться; организация, которая множила бы их произведения, распределяла бы их по всей территории республики, отводя каждому своё место в каждом департаменте и в каждом муниципалитете. Но и это не всё: необходима общая система общественных памятников. Нужно, чтобы закон определял, какие деяния и какие события будут увековечены, каким образом и в каких местах это будет сделано. Одна часть монументальной системы уместна в городах, другая - на больших дорогах, третья - в уединённых местах, будь то поле или лес; однако необходимо, чтобы каждый департамент был наделён в этом отношении столь же благоприятно, как и любой другой. Памятник в честь великого события или великого национального деяния должен быть достаточно растиражирован, чтобы каждый француз встречал их, не выезжая из своего департамента и даже не покидая дома. Подобный памятник не может быть исключительной собственностью какого-то одного города или департамента: это общее достояние, как и те деяния, которые он увековечивает. Недостаточно просто растиражировать такой памятник в копиях, пока один департамент хранит оригинал, - ведь страсть коллекционеров к оригиналам и тщеславие мест, ими владеющих, обесценивают копии. Памятники, призванные служить образцами для патриотического подражания, должны принадлежать всем гражданам, подобно обязанностям, налагаемым родиной, или добродетелям, которых она требует. Какая же это привилегия, если одна часть свободной республики получает больше возможностей для проявления добродетели, чем другая? Разве эта привилегия не в тысячу раз более спорна, чем та, что дает преимущество лишь в богатстве? Художники, оставьте бронзу и мрамор, если они не могут покинуть пределы крупных столиц. Используйте камень или глину и множьте свои творения. Какое значение имеет их долговечность, если, запертые в одном-единственном городе, они навечно бесполезны для остального мира? И какое значение будет иметь быстрая разрушаемость их материала, если, установленные повсюду, живые, говорящие и действующие везде, они могут быть отремонтированы или восстановлены с минимальными затратами?

Выдающиеся художники, какое вам дело до самого материала вашего труда? Если произведение прекрасно, будьте уверены - оно станет бессмертным. Благодаря тиражированию оно будет защищено от ударов времени. Нуждались ли «Илиада», «Одиссея» или «Энеида» в том, чтобы быть высеченными на меди или мраморе для сохранения? Разливали ли трагедии Расина в бронзе, чтобы передать их нам? Нет. Эти произведения, запечатленные на бумаге - самом недолговечном материале, но размноженные в тысячах экземпляров, - тем самым становятся нетленными. И они гораздо в большей безопасности, чем если бы их сохранение было доверено одному-единственному монументу, из какого бы прочного материала он ни был сделан. Если Аполлон Бельведерский уверен в своей бессмертии, то разве потому, что он из мрамора и стоит в уголке Италии? Нет. Это потому, что он повсюду есть в гипсе или глине. Художники, посвящающие свои таланты национальным памятникам, вы должны предпочесть предоставить нам их сразу восемьдесят три для всех наших департаментов, вместо того чтобы делать один-единственный для Парижа. Разве вы не предпочтете увековечить свою славу, расширяя ее, а не концентрируя? Разве вам не больше по душе слава, которая одновременно понижает все места и времена, нежели та, что распространяется лишь в пространстве длительности? Разве вы не цените выше честь быть полезными гражданами наравне с честью быть великими художниками, чем исключительное право пожинать лавры гения в одиночестве?

Под громким названием «великая идея» и «великолепный проект» было представлено создание музея длиной в 600 футов в галереях Лувра для сбора всех наших богатств в живописи

и скульптуре. Конечно, это великая идея - собрать вместе, беспорядочно и вперемешку, памятники, представляющие фрагменты истории всех времен и всех народов, все добродетели и все пороки, все страдания и все радости, все нравы и все религии, аллегория и обнаженную истину, историю и вымысел, людей и животных, одушевленные существа и неодушевленные предметы. Если это собрание и является великим учреждением, то, несомненно, лишь как прекрасное приложение к великолепной художественной мастерской, как прекрасная коллекция образцов, как собрание, служащее истории искусств не меньше, чем их совершенствованию. Это, несомненно, большая помощь искусству, но отнюдь не помощь, оказываемая искусством нравам и нации. Здесь видно лишь то, что родина служит живописи и скульптуре, а не живопись или скульптура служат родине.

Подытожим сказанное на четырех последних занятиях касательно *Моральных основ общества*. Моральными основами общества мы назвали все принципы человеческих действий. Мы ощутили необходимость познать и оценить эти принципы, чтобы открыть способы наиболее *естественные*, наиболее *мягкие* и наиболее *надежные* для управления и распределения этих действий в соответствии с величайшим интересом наибольшего числа людей. В нашей организации мы нашли физически все принципы наших действий и, следовательно, все принципы морали и политики - наук, которые по этой причине можно свести к доказательствам столь же простым и надежным, как и во всех так называемых естественных науках, и которые по своей сути не относятся к иному роду познания.

В человеческой машине различают:

1. Внешние чувства: зрение, слух, осязание, вкус и обоняние.
2. Внутренние чувства: чувство голода, жажды, любви, усталости после работы, беспокойства после отдыха, чувства холода и тепла, а также чувство секреции (выделений).
3. Мозг - средоточие чувствительности и воли.
4. Нервы, которые являются инструментами воздействия чувств на чувствительность и воли на силу, исполняющую её решения.

Безусловно, это не вся человеческая машина целиком, но это всё, что в данной машине связано с её духовной и нравственной стороной. Остальное относится лишь к вегетативному существованию или к исполнительным способностям воли.

Внутренние чувства - это органы, с помощью которых мы ощущаем наши *потребности*, а также связанные с ними удовольствие и боль. Наши потребности бывают нескольких видов: одни представляют собой *аппетиты*, требующие внешних объектов для своего удовлетворения; другие - это потребности в облегчении, в которых мы ни от кого не зависим.

Существование внутренних чувств неоспоримо. Представления о *голоде* или *жажде*, очевидно, возникают не из внешних чувств - нёба, осязания и так далее. Внешние чувства не являются единственными, что способны воспринимать ощущения, и, следовательно, не они одни дают нам идеи. Даже если бы мои глаза были вечно закрыты, нос заложен, уши заткнуты, а осязание притуплено, я всё равно чувствовал бы голод, жажду и любовь, если бы при этом мои жизненные функции выполнялись исправно.

Внешние чувства - это органы, с помощью которых мы познаем все внешние объекты, приобретаем все наши представления о вещах и через которые наши потребности связываются с внешними объектами, способными их удовлетворить, или со средствами обеспечения самих этих объектов. Многие из наших внешних чувств взаимодействуют с внутренними чувствами и являются, так сказать, их посредниками. Наш *вкус* отвечает на *голод*, наше *осязание* - на чувство любви и так далее.

Внешние чувства, которые, как, например, обоняние, не обязательно связаны с внутренними чувствами, передают свои ощущения непосредственно в мозг. Другие же сначала соединяются с ощущениями внутренних чувств, и именно это делает их сильнее, а производимое ими впечатление - глубже.

Чувства, которые, подобно слуху, обонянию и зрению, не являются обязательными для внутренних чувств и сами по себе не передают острых впечатлений, тем не менее соединяются с этими внутренними чувствами через память. Пробуждая или воспроизводя формы и звуки объектов, которые их занимали, они вызывают чувство потребности, а также связанные с ними страдания и удовольствия. Именно поэтому подражательные искусства и речь пробуждают через зрение и слух те страсти, наслаждение которыми возможно только через осязание.

Мозг через органы чувств получает впечатления от внешних объектов. Способность принимать эти впечатления называется чувствительностью. Мозг способен сохранять постоянное напряжение в тех изменениях, которые он претерпевает. Эта способность, которая, собственно, является лишь проявлением *внимания*, тем не менее называется этим словом - *внимание*, происходящим от латинского *ad-tensio* (напряжение). Благодаря этому напряжению впечатления или изменения в мозгу, будучи однажды испытанными, могут восстанавливаться независимо от объекта, который их вызвал; это работа припоминания. Способность, функцией которой является припоминание, называется памятью.

Все наши ощущения - это либо удовольствие, либо боль, потому что все они либо противоречат нашим органам, либо соответствуют им, воздействуя на мозг способом, аналогичным или противоположным его субстанции. Даже если бы они давали лишь ощущение самого существования, они уже в этом приносили бы удовольствие. Но не все удовольствия и страдания имеют одинаковую природу. Одни связаны с интересами нашего самосохранения, другие - нет. Одни привязаны к нашим потребностям, другие - к нашим ощущениям. Одни из них - это лишь впечатления от внешних объектов, передаваемые мозгу через органы чувств. Другие же - это впечатления, возникающие в мозгу не только благодаря чувствам, но и посредством внутренних органов, которые служат посредниками между чувствами и мозгом. Вслед за физиологами я назвал их внутренними чувствами (Борденав).

Внутренние чувства - это внутренние стражи жизнедеятельности организма, сосредоточенные в центрах наших потребностей, или, вернее, это сами органы наших потребностей. В то время как внешние чувства - это органы ощущений, которые могут быть связаны с нашими потребностями, а могут и не иметь к ним никакого отношения.

Вдыхать аромат розы - значит получать приятное ощущение через обоняние; слышать гармоничные аккорды - значит получать приятное ощущение через слух. Однако подобные ощущения вовсе не являются необходимыми для жизни и даже не полезны для самосохранения. Они воздействуют лишь на глаза, уши и мозг, причем на мозг - только через глаза и уши. Испытав их, можно пожелать их снова, но желание, объектом которого они являются, не может быть ни слишком настойчивым, ни продолжительным.

Напротив, есть, пить, наслаждаться любовью - это не просто получать приятные ощущения, это удовлетворять потребности, необходимые для существования и здоровья. В данном случае мы получаем удовольствие не только через вкус и осязание, но и через внутренние органы желудка и репродуктивной системы.

Потребность в деятельности после отдыха, в отдыхе после деятельности или просто после бодрствования - это также потребности, вытекающие из нашего внутреннего устройства и не зависящие от наших внешних чувств. Эти потребности не являются результатом ни слуха, ни обоняния, ни какого-либо другого конкретного чувства. Они порождаются общим чувством, присущим всем частям нашего существа, всем нашим органам. Они - результат нашей подвижности и нашей силы инерции, которые постоянно противодействуют друг другу и поочередно берут верх.

Именно ощущения, относящиеся не только к нашим внешним, но и к внутренним органам; связанные не только с чувствительностью, но и с нашим самосохранением; касающиеся не только нашей способности получать удовольствие, но и нашей нужды в определенных наслаждениях, - именно к ощущениям такого рода, повторяюсь, применимы те сильные и постоянные желания, которые называют страстями. Именно они служат мотивами для великих человеческих свершений и лежат в основе моральных страстей. Человек страстно стремится

к средствам обеспечения своего существования, но не к какому-то конкретному блюду. Таким образом, истоки страстей лежат не столько во внешних органах, сколько во внутренних.

Следовательно, **Кондильяк ошибается**, когда приписывает ощущениям - простым восприятиям наших чувств, в зависимости от того, приятны они или неприятны, - все решения нашей воли. При этом он совершенно прав, возводя к этим восприятиям все наши идеи, а к воспринимающей их чувствительности - все действия разума, который их объединяет. Повторюсь: существуют ощущения, которые, будучи лишь приятными или неприятными, производят только мимолетные впечатления и порождают лишь вкусы и склонности. И есть те, которые не только приятны или неприятны, но жизненно необходимы или опасны. Только они порождают сильные и длительные страсти.

Кондильяк в «Трактате об ощущениях» (часть I, глава 10) признает, что вкус в большей степени, чем обоняние или слух, способствует счастью или несчастью статуи. И дело здесь не только в том, что вкусы воздействуют сильнее запахов, но и в том, добавляет он, что потребность в пище делает вкусовые ощущения более необходимыми, а голод может сделать несчастным. Таким образом, Кондильяк отдает должное тому принципу, который он, казалось, игнорировал в анализе человеческих способностей, представленном в его «Логике». Он признает, что существует орган голода, независимый от органа вкуса.

Более того, в главе 10 третьей части своего «Трактата об ощущениях» он говорит, что чувство вкуса необходимо для нашего самосохранения. Именно голод стимулирует вкус. Когда голод затягивается, он распространяет по всем частям тела статуи мучительное беспокойство, которое особенным образом проявляется на ее губах и во рту. Тогда статуя вонзает зубы во все, что попадается ей на пути, грызет камни, щиплет траву... Новорожденный ребенок берет сосок точно так же, как схватил бы любой другой предмет; он заставляет свои губы двигаться любым способом, пока не найдет средство извлечь молоко, предназначенное для его питания; тогда удовольствие побуждает ребенка повторять эти движения, и он делает всё необходимое для своего самосохранения.

Вот что Кондильяк говорит о потребности в движении: *«Счастье детей, по-видимому, заключается в движении; именно движению они обязаны самым живым осознанием своего существования. Зрение, вкус, слух и обоняние, кажется, ограничивают это осознание одним органом, но движение распространяет его по всем частям тела и дает возможность наслаждаться телом во всей его полноте»*. Вот что он говорит о потребности в отдыхе: *«Движение кажется статуе настолько естественным состоянием, и она испытывает такое сильное любопытство к перемещению повсюду и любыми способами, что она не предвидит бездействия, в которое неизбежно должна впасть. Но постепенно силы покидают её, и, начиная чувствовать усталость, она некоторое время борется с ней, так как всё ещё хочет двигаться. Наконец, отдых становится самой настоящей из её потребностей; она чувствует, что против воли её любопытство уступает; она вытягивает руки и замирает»*. (Глава 9, часть II «Трактата об ощущениях»). Эти отрывки подтверждают мою теорию. Возвращаюсь к ней.

Изменения в мозге, удерживаемые памятью, называются **идеями**. Ум обладает способностью рассматривать отдельно друг от друга как сами объекты, так и различные качества этих объектов: это называется **абстрагированием**. Таким образом, абстрактные идеи - это лишь образы качеств физических тел, отделенные от них мыслью. Мозг способен одновременно воспринимать и вспоминать различные впечатления или, выражаясь точнее, одновременно принимать и возобновлять различные изменения в разных своих частях. Таким образом, мозг может одновременно находиться под воздействием нескольких идей и нескольких ощущений.

Если все ощущения представляют собой либо страдание, либо удовольствие, то, когда мозг одновременно испытывает несколько различных ощущений, он чувствует, что одни воздействуют на него приятно, а другие - неприятно. Вследствие этого в нем происходит сравнение и выносится суждение. Следовательно, суждение - это не что иное, как чувство сходства или различия между ощущениями.

Это суждение сохраняется в памяти подобно ощущению и воспроизводится как идея. Поскольку ощущение, запечатленное в памяти, называется *идеей*, то суждение, запечатленное в памяти, называется **понятием**. Вспомнить суждение или последовательность суждений означает одновременно вспомнить несколько одновременных, «близнецовых» (если можно так выразиться) ощущений, которые сходны или различны; короче говоря, одно или несколько понятий. Эта способность называется **размышлением** (рефлексией). Я считаю это определение более точным, чем определение Кондильяка, который называет *размышлением последовательность суждений о различных качествах одного и того же предмета*.

Идеи и понятия не являются сами по себе страданиями или удовольствиями, это лишь воспоминания о них или, если можно так выразиться, легкие отголоски чувств; ведь помнить - значит чувствовать снова. Когда несколько ощущений, идей и понятий неоднократно сменяли друг друга, достаточно воспроизведения одного из них в памяти, чтобы за ним последовали остальные. Если, следовательно, в текущих обстоятельствах мы находим воспоминание об идее, которая имела те или иные последствия, мы связываем эти последствия с настоящим моментом: в этом и заключается роль способности, называемой **предвидением** - способности, которая, как мы видим, состоит в переносе опыта прошлого в будущее. Впрочем, предвидение лучше было бы назвать *предчувствием*.

В воспоминаниях и предчувствиях, которые возникают в мозгу спонтанно благодаря его подвижности, мозг занят лишь смутно. Когда же они воспроизводятся под влиянием отдаленного беспокойства, состояние мозга характеризуется **любопытством**. Это состояние свойственно созерцателям, философам, политикам; именно здесь проявляется способность к рассуждению и методам.

В ощущениях страдания или удовольствия, соответствующих нашим потребностям, или в воспоминаниях и отголосках этих ощущений, пробуждаемых в нас нынешним осознанием этих потребностей, мозг испытывает сильное воздействие.

В воспоминаниях такого рода память настолько живо представляет объекты, что кажется, будто она воспроизводит образ перед теми же чувствами, которые были им затронуты. Иногда она также создает образы вещей, которых не существует, составляя их из качеств, заимствованных у существующих предметов. В обоих этих случаях она получает название воображения; тем не менее в этих двух случаях память выполняет две совершенно разные функции: в первом она верна оригиналу, а во втором - нет.

Когда память в состоянии недоумения или беспокойства, сопровождающих долгое чувство нужды, вызывает идею, которая некогда приятно воздействовала на мозг - то есть наслаждение предметом, способным удовлетворить потребность, - она фиксируется на этом состоянии, и такое состояние и есть **желание**.

Если это состояние длительно, оно превращается в страсть. Если в воспоминаниях, вернувших в мозг идею этого предмета как подходящего для удовлетворения испытываемой нужды, обнаруживается ряд других идей, заставляющих верить, что наслаждение должно последовать за обстоятельствами, в которых человек находится, - возникает *надежда*; если же встречается обратное - впадают в *отчаяние*. В зависимости от тех или иных обстоятельств страсть ведет либо к *воле к действию*, либо останавливается и изнуряет себя в страдании.

Игра надежды и страха оказывает на страсти действие пружины, которая их возбуждает или подавляет; эта игра часто даже превращает в страсть то, что ею не является. Именно это действие делает страстным охотником человека, который, не дрогнув, не зарезал бы и курицы; именно оно превращает в игрока того, кому посул целого состояния не дал бы воли на малейшую жертву.

Ассоциация наших воспоминаний происходит благодаря совпадению наших идей в мозгу, вызванному встречей наших ощущений; но она сохраняется благодаря привычке чувствовать их вместе. Привычка, будучи однажды усвоенной, заставляет одну из этих идей всегда воспроизводить другую, причем в тот же самый момент; то есть когда наш мозг был изменен одновременно несколькими ощущениями или идеями определенного рода, он остается к

этому предрасположен и в дальнейшем. Это объясняет, как длинная череда понятий и суждений мгновенно воспроизводится в уме; это также объясняет, почему наши привычки иногда подавляют наш разум или заменяют его; наконец, это объясняет, как наши страсти зависят от наших привычек.

Темперамент через состояние, в котором он поддерживает органы, способствует градации страстей; он содействует их силе или слабости своим влиянием на нервную субстанцию, которая является одновременно инструментом внешних объектов для воздействия на наш мозг и инструментом реакции мозга на внешние объекты.

Из всего вышесказанного видно, что наши действия или волеизъявления зависят от трех великих способностей: способности приобретать идеи, сочетать их и формировать понятия или ассоциации идей; способности вспоминать одновременно большое количество этих идей и понятий; и способности сильно и исключительно привязываться к некоторым из них. Идеи приобретаются через чувства и сочетаются воображением и привычкой; они становятся страстями из-за потребности в предметах, которые воображение или привычка представляют как способствующие наслаждению. Таким образом, искусство управления волей заключается в следующем: (1) предупреждать ложные ассоциации идей и подготавливать правильные, то есть просвещать суждение; (2) обеспечивать при необходимости точное воспроизведение всех правильных ассоциаций, то есть гарантировать память от любого важного забвения в серьезных раздумьях; (3) ставить наслаждения в зависимость от действий, соответствующих общим интересам. Иными словами, все сводится к тому, чтобы: (1) просвещать разум, (2) придавать привычкам моральный характер, (3) направлять страсти.

Разум просвещается двумя способами: воспитанием юношества и наставлением зрелого возраста. Мы увидим, что должно сделать государственное учреждение для достижения этой двойной цели. Привычки направляются к общественной пользе через все обряды и обычаи, которые обычно воздействуют на чувства: (1) через одежду и манеры - важная тема, которой мы уделим некоторое внимание; (2) через наставления, даваемые народам в газетах или в афишах; (3) через популярные песни; (4) через памятники живописи, скульптуры и архитектуры; (5) через драматические представления; (6) через празднества в память о счастливых событиях; (7) через памятный траур о общественных несчастьях, которые следует забыть. В конечном счете, страсти управляются наказаниями и наградами, и, как мы увидим, когда люди научатся извлекать пользу из наград, потребность в наказаниях станет незначительной. Однако создание эффективной системы вознаграждений не сводится лишь к написанию поощрительного кодекса по образцу нашего уголовного кодекса, с учреждением трибуналов и торжественных процедур для присуждения тех или иных премий, подобно тому как мы устанавливаем наказания. Необходимо, чтобы то, что природа сделала наслаждением в системе вознаграждений, было доступно; нужно, чтобы ни одна частица счастья не доставалась иначе как в награду за какую-либо добродетель. Кроме официально учрежденного трибунала, который будет судить предосудительные действия, необходимо, чтобы в самой среде семей существовали постоянно действующие институты, сопровождающие граждан на всем протяжении их жизни, следящие за их общественным поведением и частной жизнью, присутствующие, так сказать, при их самых сокровенных помыслах и присуждающие каждому ту награду или кару, которая ему причитается. Эти суды, чьи судьи будут повсюду, чьи ресурсы будут неисчерпаемы, чей глаз сможет всё видеть, а ухо - всё слышать; чья справедливость сможет оценить всё по достоинству и воздать сполна; чья деятельность будет неутомимой, - такими судами может быть только хорошо просвещенное, добродетельное, единодушное, короче говоря, высоко-нравственное общественное мнение.

Часто говорили, что общественное мнение правит миром. Мы увидим, что в наших современных государствах оно никогда не правило и что титулом «общественного мнения» ложно именовали мнение того класса людей, из которых оно состояло. Мы также увидим, что для осуществления той справедливости, на которую мы указываем, всё сводится к созданию, обеспечению и гарантированию подлинного общественного мнения. Можно представить себе несколько институтов, способных произвести этот великий эффект. Наш анализ принципов

человеческих действий открыл физические законы, на основе которых можно сформировать эти институты. Мы нашли в человеческом устройстве прочный, материальный фундамент для их обоснования. Применение наблюдений, сделанных на трех последних заседаниях, убедит вас в этом. Мы увидим, и я повторю это, что возможно установить систему вознаграждений, которая сделает ненужными многие страницы уголовного кодекса; которая, сея радость на каждом шагу, избавляет от необходимости выставлять казни перед взором каждого; которая, воздвигая повсюду алтари Надежде, позволяет разрушить храмы, посвященные Страху.

Девятая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее 21 апреля 1793 года (II год Французской республики).

О правах и общественном договоре.

Мы сходимся во взглядах с Национальным конвентом именно в вопросе обсуждения прав, и мы можем почерпнуть ясность из того, что было сказано по этому поводу с его трибуны. Прежде всего, о каких правах идет речь? Что это за права, изложение которых предполагается сделать в предварительной декларации Конституции, и которые мы должны проанализировать и теоретически обосновать в курсе общественного устройства? В чем состоит их принцип, какова их последовательность, в чем их цель? Имеется ли в виду говорить о правах, предшествующих общественному состоянию, которые передаются под защиту общества и священные для него самого, или о правах, рожденных самим обществом, но служащих основой для других? И в этом последнем случае - где заканчивается цепь прав, которые можно назвать *фундаментальными*, и где начинаются права *обоснованные*? Каковы бы ни были точка начала и точка завершения декларации прав, какой логический метод позволит узнать, не упущено ли какое-либо из прав, которые должны быть помещены между этими крайностями?

Вот вопросы, которые необходимо решить. Дебаты Конвента по первой статье проекта его комитета, несходство деклараций прав, составленных Соединенными Штатами Америки, Учредительным собранием 1789 года и комитетом Конвента, Кондорсе в 1788 году и Сийесом в 1789 году, доказывают, что в этом вопросе царит большая неясность. Ведь если бы существовало согласие относительно сути декларации прав, то какой бы метод ни избрали составители, результат их работы, количество статей и перечисление прав были бы схожими, поскольку речь шла не о создании прав, а об объявлении тех, от которых невозможно отречься и осознание которых должно быть присуще каждому. Крайне важно, чтобы взгляды на эту работу совпадали, поскольку она является фундаментом, на котором должны основываться политические и гражданские законы, а также мерилom, по которому граждане будут определять степень своего уважения и послушания им.

В Декларации штата Массачусетс права названы естественными, существенными и неотчуждаемыми; в Декларации Пенсильвании они названы так же, но слово «постоянные» поставлено впереди остальных; в Декларации Делавэра они именуются фундаментальными правами и принципами. В заголовке Декларации, предшествующей французской Конституции 1791 года, они названы «правами человека и гражданина»; в преамбуле Конституции - «естественными, неотчуждаемыми и священными правами человека»; во второй статье этого акта - «естественными и неотъемлемыми правами». Кондорсе называет их просто «естественными правами», а Сийес - «правами человека и гражданина». В проекте конституционного комитета Национального конвента они названы «естественными, гражданскими и политическими правами людей». Наконец, в статье, принятой в среду в Конвенте, они названы просто «правами человека в обществе».

В составе этих деклараций наблюдается такое же разнообразие, как и в их названиях. Каждый расширял перечень прав по своему усмотрению и в большей или меньшей степени раз-

вивал вытекающие из них следствия. Похоже, авторы уделяли меньше внимания точному анализу прав, чем ощущению конкретных опасностей, которым они подвергались в определенных обстоятельствах. Так, например, в одну весьма известную декларацию прав была включена статья о том, что письма не могут вскрываться на почте; это, безусловно, относится скорее к полицейскому кодексу, чем к декларации прав.

По одним только заголовкам очень легко судить о том, что ни одна декларация не дает четкого, точного и определенного представления о правах. И прежде всего, само название «Декларация прав человека и гражданина» подразумевает, что она охватывает всё, что регулируется гражданским и политическим законом. Однако декларация прав, будучи вступлением к закону, не может включать в себя права, вытекающие из самих законов.

Декларация естественных прав, строго говоря, могла бы заключаться в одной из двух вещей: либо в правах, принадлежащих человеку в естественном состоянии, либо в правах, которые общество не может ему запретить или не признать, не нарушая при этом саму человеческую природу. Декларация первых была бы декларацией прав человека в абсолютном смысле; декларация вторых охватывала бы, как и декларация прав человека и гражданина, всю совокупность гражданских прав. В самом деле, едва ли найдется хоть одна статья гражданского закона, которая не была бы в той или иной степени сообразной или противоречащей естественному праву в собственном смысле слова. Таким образом, выражение «естественные права» всё еще не определяет ни того, что именно предполагается включить в декларацию, ни того, что именно является её объектом.

Понятие, связываемое со словами «естественные, гражданские и политические права», охватывает абсолютно все права, установленные законом, вплоть до права закрывать свои ставни или строить на общей с соседом стене: следовательно, это всё еще не то, что мы ищем.

Слова «права человека в обществе» также неявно включают в себя все права, установленные законом.

Выражения, содержащиеся в декларациях прав Массачусетса и Пенсильвании, представляют более ограниченные идеи; они обозначают постоянные, естественные, существенные и неотчуждаемые права людей в обществе. Можно упрекнуть эту формулировку в избыточности, ибо одно лишь слово «существенный» (*essentiel*) заключает в себе все остальные. Существенное право человека - это право постоянное, естественное и неотчуждаемое. Сущность вещи или личности неотделима от них самих, следовательно, она постоянна, естественна и неотчуждаема. Впрочем, сами декларации вовсе не соответствуют этому названию, так как содержат различные права весьма произвольного характера, мало относящиеся к сущности человеческой природы - такие, например, как освобождение от постоя военнослужащих.

Какова цель, которую преследуют при составлении декларации прав? Когда эта цель будет определена, станет ясно, из каких именно прав она должна состоять.

Прежде всего, предлагается создать акт, предшествующий гражданским и политическим законам, из которых эти самые законы и рождаются. Мы хотим подготовить введение к конституции, которая сама по себе является введением в законодательство. Следовательно, изначально в декларацию не должны входить права, вытекающие из конституции и законодательства - то есть гражданские и политические права. Декларация прав - это первый акт объединяющегося народа; следовательно, она не должна содержать права, предполагающие действия, совершаемые уже после объединения.

Мы намерены составить не просто вступление к политическим и гражданским законам, но руководство, определяющее правила, которым и те, и другие должны подчиняться. Это изложение неотчуждаемых качеств, сохранение которых является целью законов. Таким образом, это введение не должно состоять из того, что может быть лишь следствием или гарантией прав. В противном случае оно перестало бы быть введением. Оно должно заключаться в анализе и изложении прав, происходящих из источника, предшествующего самому обществу, то есть прав, установленных природой и вытекающих из вечного порядка вещей.

Здесь возникает трудность: признаюсь, я бы никогда не заметил её, если бы дебаты, проходившие на прошлой неделе в Национальном конвенте, не выявили её. Было высказано мнение, что человек может получать права только от общества и что из естественного состояния не вытекает никаких прав, поскольку в этом состоянии всё решала сила. Это серьезные заблуждения.

Если бы свобода, равенство прав и право собственности были дарами общества, то грабеж, рабство и неравенство прав были бы естественными установлениями. Но если бы эти несчастия были установлены самой природой, как общество могло бы им помешать? Означало бы это, что общество - это разрушение законов природы, а не их совершенствование?

Если бы права рождались только из общественного состояния, то было бы нелепым нарушением порядка вещей объявлять их вместо того, чтобы учреждать; объявлять их предварительным условием любого закона, в то время как они сами были бы творением этого самого закона; предлагать их в качестве правила для законодателей и учредителей, в то время как они зависели бы от них. И это еще не все: если бы права были следствием договора, они были бы изменчивыми и произвольными, ибо суть соглашений в том, что они могут быть изменены по желанию сторон. Что стало бы при таком предположении с правами морали и справедливости?

Говорят, что природа установила неравенство, а общество, напротив, призвано его уничтожить. Природа установила неравенство сил, роста, красоты; но она установила равенство прав, ибо красивый человек имеет не больше прав на жизнь, чем уродливый, высокий - чем низкий, прекрасный - чем безобразный. И в самом деле, если бы не существовало естественного права, то что же тогда представляло бы собой правило, сдерживающее народы по отношению друг к другу не только в состоянии мира, но и в состоянии войны, и составляющее международное право? Народы находятся по отношению друг к другу в диком, чисто естественном состоянии, и тем не менее они соблюдают законы между собой. Следовательно, если для них существует какое-либо право, то это право неизбежно существует и между людьми, живущими в естественном состоянии.

Человек, говорит Сийес, по своей природе подвержен потребностям, но по своей природе он обладает и средствами для их удовлетворения. Стремление к благополучию постоянно дает о себе знать, но у человека есть также разум, воля и сила, которые позволяют ему познавать, принимать решения и исполнять их. Именно из этих обстоятельств вытекают права человека. Каждый имеет *право* распоряжаться собственными *средствами*, поскольку они связаны с его потребностями; в противном случае его средства были бы уничтожены и, следовательно, потеряны для всех. Либо же они были бы отчуждены. Но если бы отчуждение было добровольным, то само это действие было бы осуществлением права; если же оно было бы принудительным, то даже в этом случае пришлось бы признать право по крайней мере за узурпатором на его собственные средства, ибо как на самом деле он мог бы узурпировать права другого, если бы не использовал или не злоупотреблял своими собственными?

Люди могут взаимно становиться *препятствием* для осуществления своих прав или же становиться *средствами* для обеспечения их осуществления в естественном состоянии, где никакая обязанность не связывает одного человека другому; они часто становятся **препятствием**, но никогда - **средством**. Именно общественное устройство делает их **средствами** и не дает им быть **препятствиями**. Следовательно, общественное устройство не создает права, оно лишь обеспечивает их соблюдение: таково мнение Сийеса.

Гоббс придерживался той же идеи относительно **прав** в естественном состоянии. *«Нет ничего абсурдного, предосудительного или противоречащего здравому смыслу в том, - говорит он, - чтобы каждый человек прилагал усилия для защиты своего тела и конечностей от смерти и боли, а также для собственного самосохранения. То же, что не противоречит здравому смыслу, обычно считается справедливым и законным; и под словом права следует понимать не что иное, как свободу каждого использовать свои природные способности в соответствии со здравым смыслом. Таким образом, первой основой естественного права является следующий принцип: каждый должен защищать свою жизнь и свое тело настолько, насколько*

это в его силах». (Ст. 7, гл. 1, кн. I, *De Cive*). «Но, - продолжает он, - поскольку право стремиться к цели было бы иллюзорным, если бы в средствах для ее достижения было отказано, из права каждого на самосохранение следует, что каждый должен также иметь право использовать все средства и совершать все действия, необходимые для его сохранения (ст. 8). Однако по естественному праву каждый сам является судьей тех средств, которые он должен применять, и тех действий, которые он должен совершать для своего самосохранения. Ведь если бы признание моей собственной опасности противоречило разуму, то судить об этом должен был бы кто-то другой. Но если другой судит о делах, касающихся меня, то точно так же, в силу существующего между нами равенства, я буду судить о том, что касается его интересов. Таким образом, по естественному праву - или, что то же самое, в полном соответствии со здравым смыслом - я могу судить о его мнении, то есть способствует ли оно моему сохранению или нет (ст. 9). Природа дала **каждому право на всё**, и это право сохранялось до тех пор, пока люди не ограничили себя соглашениями. В таком положении дел каждый был волен и вправе делать всё, что ему угодно, по отношению к кому угодно, а также владеть, пользоваться и распоряжаться всем, чем он хотел и мог. В самом деле, поскольку вещи, которых желает человек, кажутся ему благом (раз уж он их желает), и они могут служить или кажутся необходимыми для его сохранения (а судьей в этом вопросе является он сам, как мы показали выше, так что следует считать необходимым то, что является таковым в его глазах), и поскольку вещи, служащие защите его жизни и тела, признаются принадлежащими ему по естественному праву, то из этих принципов следует вывод: в естественном состоянии каждому позволено делать всё. Отсюда и пошло изречение: Природа дала всё всем; и по этим же причинам всем очевидно, что в естественном состоянии мерилом права является польза (ст. 10). Однако это право всех на всё абсолютно бесполезно, ибо оно дает каждому такой же результат, как если бы оно не принадлежало никому. Поскольку каждый может сказать о любой вещи: Это принадлежит мне, никто не может этим пользоваться. Стоит кому-то попытаться завладеть чем-либо, как тут же появляется сосед и оспаривает это с равным правом и равной силой (ст. 11). Если к естественной склонности людей, порожденной их впечатлениями и особенно эгоистическим интересом, заставляющим их изнурять друг друга, добавить право всех на всё - право, в силу которого один нападает, а другой сопротивляется, порождая вечные подозрения и постоянную тревогу всех по отношению ко всем; если добавить еще и трудность защиты от врагов, которые беспрестанно наступают на нас с намерением угнетать, - вы не сможете отрицать, что естественным состоянием людей до их объединения в общество была война. Причем не просто война одного против другого, а война всех против всех. Ведь что такое война, как не тот промежуток времени, когда готовность сражаться с применением силы достаточно явно выражена в словах и поступках? Всё остальное время называется **состоянием мира** (ст. 12).

«Итак, поскольку состояние войны противоречит самосохранению людей, взаимный страх, который они внушают друг другу, побуждает их, - продолжает автор, - искать соратников. Это делается для того, чтобы, если войне суждено продолжаться, каждый не воевал против всех и не оставался без помощи на милость окружающих и так далее. Отсюда и происходит формирование общества и прочее».

Вот что думает по этому же поводу **Кондорсе**: «Никакая власть, - говорит он, - за исключением единогласного согласия всех членов общества, не может сделать законным посягательство на естественные права; но этого согласия самого по себе было бы достаточно лишь для того поколения, которое его дало. Чтобы наложить обязательства на последующие поколения, необходимо, чтобы каждый человек, достигнув возраста разума, выражал свое согласие. Более того, необходимо, чтобы каждый, даже дав свое согласие, был волен отозвать его по истечении определенного срока, так как основные права неотчуждаемы.

Общество также не может ограничивать эти права определенными рамками; оно может лишь признавать и устанавливать те границы, которые уже положены самой природой. Оно не может даже регулировать само осуществление прав; однако в тех случаях, когда природа и разум требуют, чтобы это осуществление подчинялось общему правилу, общество имеет право это правило определить.

Предположим, я владею полем, внутри которого находится участок другого собственника. Наложение на меня обязательства предоставить владельцу этого участка возможность обрабатывать землю и вывозить урожай не является ограничением моего права собственности. Ведь очевидно, что без этого его поле не могло бы стать собственностью, независимой от моей. Следовательно, установление законом порядка пользования его участком не является стеснением моего или его права собственности. В подобных случаях, при отсутствии добровольного соглашения между нами, очевидно, что пользование должно быть подчинено общему правилу для всех, кто оказался в такой ситуации».

Ошибка ораторов Конвента, отрицавших существование прав, предшествующих общественным договорам, проистекает из того, что они смешивали само право с гарантией его осуществления. Они путали право человека на помощь или снисхождение со стороны другого с правом самого человека отказывать в помощи или снисхождении окружающим. В дообщественном состоянии никто, несомненно, не имеет права требовать помощи от себе подобного или подчинения своим желаниям (что называется *активными правами*); и причина тому - его свобода. Но и каждый другой избавлен от обязанности помогать ему или уступать его воле. Почему? Потому что каждый так же свободен, как и он. Таким образом, свобода - это право, существующее до возникновения общества.

Я не могу отрицать, что право на сопротивление или отказ, которое я назову *пассивным правом*, часто вынуждено уступать силе. Но почему? Потому ли, что права на сопротивление не существует? Нет, а потому, что оно не гарантировано. Разве сила уничтожает само право? Нет, она лишь препятствует его осуществлению.

Вы признаете, что сила не рождает права; следовательно, вы не должны утверждать, что сила способна уничтожить право уже существующее. Повторю еще раз: существуют права, присущие самой человеческой природе, и именно эти права надлежит изложить в декларации. Поэтому неверно утверждать, как это недавно делалось в Национальном конвенте, что естественных прав не существует. Ошибочной поправкой стало исключение слова «естественные» из названия новой Декларации прав, поскольку она не может провозглашать права иной природы.

Здесь меня спрашивают, не может ли декларация прав выходить за рамки естественных и фундаментальных прав. Это все равно что спросить химика, не может ли его анализ выйти за пределы элементов. Как только мы покидаем область естественных прав, которые не подлежат ни увеличению, ни уменьшению, мы вступаем в сферу соглашений (конвенций); мы больше не провозглашаем, мы договариваемся. Несомненно, соглашения могут соответствовать естественным правам человека или противоречить им, но они не создают эти права. Так, например, когда новая Декларация прав включает в их число социальную гарантию - иными словами, установление единого и неделимого национального суверенитета с ограничением государственных функций и т. д., - она провозглашает соглашение, согласующееся с правами, но не само право. Национальный суверенитет предполагает наличие нации; нация - это общество, а индивид по своей сути не обладает безусловным правом на общественное состояние, ибо для создания общества недостаточно желания одного человека.

Меня также спросят, не стоит ли поместить между собственно декларацией прав и законом некие важные выводы, чтобы направлять законодателя и, так сказать, пролить свет на все вопросы, которые ему предстоит решать. «Безусловно», - отвечу я. Но в таком случае нужно называть вещи своими именами и ставить их на свои места, чтобы не путать идеи и не смешивать предметы. Благородство законов, несомненно, является их первой защитой; но так как о нем обычно судят скорее по теоретическим рассуждениям, чем по опыту, залогом их благородства является ясность. И если метод помогает правильно судить о законах, он еще больше помогает им следовать. То, что здесь требуется, - это просто-напросто *социальный пакт*, акт, по своей природе отличный от декларации прав, который должен был бы стоять во главе наших политических уложений; акт, являющийся гарантией прав не от посягательств частных лиц, а от посягательств самого общества; акт, представляющий собой договор отдельной личности со всем сообществом участников и указывающий представителям народа, ответственным за

создание конституции, основные опасности, которых следует избегать; акт, который можно расширять по своему усмотрению, при условии, что он не выходит за рамки отношений индивида со всем социальным организмом; акт, в котором можно согласовать определенные условия с опасениями, которые в силу времени, места и обстоятельств ощущаются особенно остро.

Этот акт начинался бы с соглашения о формировании или преобразовании общества; затем он устанавливал бы *право суверенитета* - право, которое, не принадлежа Конституции, а принадлежа обществу, является одним из первых условий социального пакта. Этот пакт включал бы в себя три категории общих мер предосторожности для защиты прав от общества и возлагал бы их исполнение специально на законодателей.

«Общество, - говорит Кондорсе (декларация прав, переведенная с английского, 1789 г.), - могло бы посягнуть на права человека двумя различными способами:

1. Издавая законы, положения которых сами по себе нарушали бы эти права;
2. Издавая законы, исполнение которых явно подвергало бы эти права частому нарушению».

«Это различие необходимо. Если закон приговаривает человека к смерти за поступок, не имеющий значения для общества, он наносит прямой удар по общественной безопасности; но если закон позволяет приговаривать к смерти без соблюдения определенных формальностей, гарантирующих справедливость приговора, нельзя сказать, что он напрямую атакует безопасность, но он подвергает её опасности. В первом случае право нарушается; во втором - оно ставится под угрозу.

Наконец, люди объединяются лишь для того, чтобы пользоваться своими правами более надежным, спокойным и полным образом; недостаточно того, чтобы общественная власть избегала их ущемления или создания для них угроз; она, кроме того, обязана перед гражданами издавать законы, необходимые для обеспечения этого пользования.

Первое разделение, которое я только что наметил, указывает пределы власти, которую общество может осуществлять или делегировать; второе - правила, от которых оно не может отступать при осуществлении своей законной власти, не допуская злоупотреблений; третье - обязанности, которые оно должно выполнять по отношению к гражданам».

Таким образом, социальный пакт должен содержать после условия об объединении и общего положения о естественных правах:

1. Как можно более подробное описание тех прав, которые общественная власть должна особенно стараться не нарушать в законах, которые ей предстоит принять;
2. Запрет тех форм и положений, которые при исполнении законов подвергали бы эти права нарушениям;
3. Обязательство издавать все законы, необходимые для того, чтобы граждане не испытывали помех в пользовании своими правами со стороны силы, берущей свое начало в обществе».

(Примечание. Этот фрагмент не скопирован дословно. Я внес несколько изменений, которые показались мне необходимыми для ясности; однако следует пересмотреть саму работу). Все статьи, которые были накоплены в декларациях прав и которые к ним не относятся, могли бы быть отнесены к этому разделу социального пакта. Таким образом, нет ничего проще, чем разделить эти два акта: по крайней мере, каждый предмет был бы четко определен и носил бы подобающее ему имя. Разделите социальный пакт и декларацию прав, и путаница в заглавиях прекратится, как и словопрения вокруг терминологии. Хотите пример таких словопрений? Взгляните на преамбулу проекта декларации, представленного Конвенту конституционным комитетом; вот она: «Поскольку целью любого объединения людей в общество является сохранение их естественных, гражданских и политических прав; эти права являются основой общественного договора. Их признание и провозглашение должны предшествовать Конституции, которая гарантирует их соблюдение».

Разве не является очевидным противоречием утверждение, что *гражданские и политические права* служат основой общественного договора и должны предшествовать Конституции?

Разве это не то же самое, что называть следствия причиной, а детей - предшественниками своих отцов?

Не менее грубым противоречием будет заявить, будто целью любого объединения людей является сохранение их гражданских и политических прав. Не значит ли это утверждать, что цель общества - сохранение того, что без него не возникло бы и не могло бы существовать до его появления?

Возможно, силе разума и морали пошло бы на пользу, если бы вместо одного существовало два великих национальных акта. Имея еще более величественный статус, чем законы, они могли бы самым своим разграничением внести порядок в мысли народа и закрепить понятия, с которыми ему надлежит быть знакомым.

Определив, из чего должна состоять декларация прав, и показав логическую необходимость, а также моральную и политическую пользу общественного договора, я перехожу к анализу самих прав, которые должны быть включены в собственно декларацию прав.

Если сущность естественных прав заключается в том, что человек может использовать свои личные средства для удовлетворения собственных нужд, то эти права должны составлять две основы: *свобода и возможность приобретать собственность*.

Без свободы и собственности у человека нет надежных средств для удовлетворения своих потребностей, а обладая ими, он получает все возможности, какие только можно пожелать.

Свобода и собственность - вот краткая суть прав. В декларации достаточно лишь глубоко проанализировать смысл этих двух слов и точно их определить. Это именно то, что мы пытаемся сделать. Все остальное, что выделяют помимо них, является лишь их объектом или составной частью.

Я уже говорил, что свобода и собственность включают в себя всё необходимое для безопасности человека; доказательство этой истины предельно просто. Свобода обеспечивает ему использование всех его средств;¹⁴ собственность гарантирует ему владение предметами, необходимыми для его нужд.

Безопасность принято отделять от свободы и собственности, однако безопасность - это вовсе не право, а объект прав, результат их полного осуществления. Когда человек обладает свободой и собственностью, он тем самым уверен в своем самосохранении или безопасности. Равенство также отделяли от свободы и собственности, но оно является лишь условием и того, и другого. Не может быть ни собственности, ни свободы без равенства. Мы обладаем равенством тогда, когда в полной мере обладаем свободой и собственностью. Следовательно, равенство не является чем-то отличным от этих двух понятий.

Если справедливый интерес к равенству и оправданные опасения перед тайными принципами, стремящимися его постоянно подрывать, вызывают желание получить особую гарантию этого права, то ее следовало бы указать в общественном договоре, а не вносить в декларацию прав, где это лишь повредит ясности понятий.

Я утверждаю, что равенство заключено в собственности и свободе. И в самом деле, укажите мне хоть один способ нарушить равенство, против которого я не смог бы успешно возразить, взывая к тому или другому. Заговорите ли вы о почетных привилегиях, о наследственных отличиях? Я отвечу: они оскорбляют свободу уже тем, что угрожают ей. Заговорите ли вы о реальных привилегиях, об освобождении от государственных повинностей? Я заявлю о нарушении интересов моей собственности, ибо если кто-то платит государству меньше положенного, значит, я должен платить больше. А быть обложенным налогом хоть на грош сверх того, что я должен, - значит быть обворованным, значит подвергнуться посягательству на мою собственность.

¹⁴ Свобода, говорит Руссо в «Общественном договоре» (книга I), есть следствие человеческой природы. Первым законом человека является забота о собственном самосохранении. Его первыми заботами являются те, которыми он обязан самому себе; и как только он достигает разумного возраста, он сам становится единственным судьей средств, пригодных для его сохранения, и тем самым - своим собственным господином.

В самом деле, что можно было бы сказать в защиту равенства, если бы пришлось требовать его ради него самого, не имея возможности опереться на интересы свободы и собственности? Можно ли отделить так называемое право на сопротивление угнетению от понятия чистой свободы? То, что называют правом на социальные гарантии не является ли очевидным и исключительным следствием и результатом общественного договора?

Таким образом, доказано, что собственность и свобода включают в себя все права, пользование которыми служит сохранению жизни. Теперь мы докажем, что они одинаково необходимы друг другу, поскольку для того, чтобы быть правами, они должны обладать характером необходимости.

Первая и самая постоянная потребность человека - это потребность в средствах к существованию. Эти средства являются плодами земли; способы их получения - это труд и способности к труду. Следовательно, для существования необходимы две вещи: *свобода способностей* для добывания предметов потребления и *собственность*, чтобы их обеспечить. Собственность предполагает свободу, а свобода предполагает собственность. Свобода нужна не только для того, чтобы приобретать и сохранять собственность, но и для того, чтобы пользоваться ею; какой смысл владеть чем-то, если нельзя использовать это для своих нужд или удовольствия? Собственность нужна для того, чтобы пользоваться свободой и сохранять её; ведь какой прок в свободе, если человек умирает от голода, и не окажется ли он в таком случае в приниженном положении?

Право собственности оспаривается чаще, чем право на свободу; оно также кажется менее очевидным правом, чем свобода, потому что оно не является таким же простым и единым; оно заключается не только в возможности владеть движимым имуществом, но и в возможности владеть земельной собственностью; не только во владении ею временно или пожизненно, но и в передаче её по наследству. Между этими различными обстоятельствами собственности проводят большие различия. Мы попытаемся их проанализировать.

Во второй лекции этого курса мы рассмотрели вопрос о том, полезнее ли для общества установление земельной и наследственной собственности, чем владение и обработка земель сообща. Мы увидели, что земли могут быть продуктивными лишь в той мере, в какой их плодородие стимулируется частным интересом. Мы доказали, что имущественное неравенство не является неизбежным результатом собственности; что существующее неравенство может быть смягчено разумными законами; наконец, что любая другая система владения и возделывания земель привела бы к худшему неравенству в самом сердце глубочайшей нищеты.

Здесь речь идет уже не о пользе, а о *праве* собственности. Присуще ли это право природе человека, предшествует ли оно обществу, является ли оно для него незыблемым? Вот в чем вопрос.

Я без колебаний отвечаю «да» на эти вопросы, напоминая при этом о различии, которое я уже провел между *правом* и *реализацией* права. Я знаю, что осуществление права собственности может быть гарантировано только обществом; я знаю, что в естественном состоянии мои изгороди могут быть вырваны, мои жилища разрушены, и что только социальные гарантии могут защитить осуществление моего права. Но здесь речь идет о самом праве, а не о гарантии его реализации.

Своё положение я основываю на следующих положениях, которые уже были изложены выше: естественно, что человек может использовать свои средства для удовлетворения своих потребностей; по естественному праву вещь, к которой человек применяет свой *труд* для обеспечения своих нужд, становится его собственностью. Его труд был свободным; никто не мог ему приказывать, никто не может лишить его того вознаграждения, которое он сам себе обещал, когда брался за дело. Как первый занявший, он не нарушил ничьих прав; сосредоточенный на своих нуждах, он не выходит за рамки интересов собственного самосохранения - принципа своего права. Таким образом, плоды, которые человек собирает в естественном состоянии, и дичь, которую он убивает, являются его собственностью. Оспаривать это - значило бы оспаривать право на жизнь, ибо нельзя жить без вещей, на которые приобретено право

собственности; таким образом, прежде всего, нельзя оспаривать *право собственности на движимое имущество или право собственности на плоды труда*.

Но из того же принципа рождается поземельная собственность. Когда я первым занимаю участок земли, который расчищаю и на котором основываю хозяйство для *своих* нужд и нужд моей семьи, я приобретаю право на эту землю. Из одного того факта, что за мной признают право на свободу, я мог бы приобрести земельное владение; ибо в силу моей свободы никто не может приказывать мне работать: следовательно, никто не может оспаривать у меня плоды труда, свободно совершенного на земле. Из одного того факта, что за мной признали бы право собственности на движимое имущество, я доказал бы путем вывода право на земельную собственность; ведь если я расчищаю и засеиваю землю, я вкладываю в неё определенные ресурсы. Что это за ресурсы? Это плоды земли, которые я имел право потребить, но сохранил. Если я, безусловно, мог их потребить, но вместо этого поместил их в землю и связал с почвой так, что они стали с ней неразрывны, то эта почва, первым владельцем которой я являюсь, становится - как и её плоды - моей собственностью. Тот, кто хочет иметь ребенка от своей любви, берет в жены женщину; тот, кто хочет иметь плоды, вступает в брак с землей.

Здесь мне прежде всего возражают, оспаривая саму потребность в земле. Мне говорят: «Вам нужны только плоды». Таким образом, моё право атакуют в самом его принципе. Я отвечаю, что потребность в плодах порождает у меня потребность в земле. Мне нужно не просто иметь пропитание сегодня, но иметь его и завтра. Моя потребность живет не только в желудке, но и в моей предусмотрительности - способности разума, из-за которой мы испытываем больше бед и благ, чем от самих ощущений. Моё право обеспечивать свои будущие потребности - это не некое сомнительное или абстрактное право; это право трудолюбивого муравья, на которого мы наступаем каждый день.

То, чего я ищу в собственности, как и в свободе, - это моя защищенность. То, чего я ищу в защищенности, - это безопасность, которая является её ощущением. Таким образом, безопасность - это та из моих потребностей, которая включает в себя все остальные; то, что для неё абсолютно необходимо, составляет часть моих прав. Следовательно, если я могу чувствовать себя в безопасности только владея землей, дающей мне ежегодный урожай, и домом для хранения зерна, то право иметь поле и дом - или, одним словом, земельную собственность - является одним из моих естественных и основных прав.

Но, говорят мне, если общество в момент своего формирования может обеспечить ваше пропитание, забрав вашу собственность, что вы сможете возразить, если такова будет его воля?

Я отвечаю: (1) Если моя земля приобретена до того, как сформировалось общество, оно не может меня её лишить, так как моё право возникло раньше него. (2) Когда я вступаю в общественный договор, я делаю это не для того, чтобы общество давало мне хлеб, а для того, чтобы оно гарантировало мне возможность приобретать его собственным трудом или усердием. (3) Я утверждаю, что общество не обладает физической возможностью гарантировать мне средства к существованию, если только оно не доверит землю частному интересу. Это объясняется тем, что за общинными хозяйствами всегда плохо ухаживают; там, где они созданы, каждый стремится жить в максимальном достатке, прикладывая к общему делу как можно меньше труда. Кроме того, малейший сбой в социальной организации останавливает все сельскохозяйственные работы или приводит к разграблению амбаров. (4) Я утверждаю, что поскольку общество не имеет и не может иметь физической возможности гарантировать мне пропитание, оно не имеет права требовать, чтобы я доверил ему заботу об этом, и чтобы я лишил себя своих личных средств, парализовав их в общей ассоциации. Я говорю, что так же, как общество не имеет права произвольно лишать гражданина жизни, оно не может требовать ни от кого, чтобы тот полагался на сомнительные меры в вопросе своего выживания. (5) Я добавлю, что потребность в потреблении благ то расширяется, то сужается у одних и тех же людей и различна у разных лиц; эта потребность следует за развитием человеческого интеллекта и расширяется вместе с ним. Из этого следует, что человек должен иметь возможность применять больше или меньше своих средств для удовлетворения своих нужд - то есть трудиться больше

или меньше в зависимости от их масштаба. Таким образом, истина заключается в том, что человеку должен быть разрешен труд сообразно его интересу к личным удовольствиям, и от него нельзя требовать ничего сверх его потребностей - будь они реальными, привычными или воображаемыми. Если бы собственность была общей и не обрабатывалась, человек не мог бы соразмерять свой труд со своими потребностями. Если бы собственность была общей и обрабатываемой, гражданин был бы принужден к всегда одинаковой мере труда, и эта мера могла бы быть выше или ниже той, к которой его побуждало бы чувство собственной нужды. Следовательно, только земельная собственность может обеспечить ему пользование его правами. (6) Наконец, способность развивать, совершенствовать свои средства труда, свою предприимчивость, таланты и силы свойственно человеку не меньше, и составляет часть его прав не меньше, чем само право пользоваться благами. Однако такое развитие и совершенствование были бы невозможны в стране, где земля принадлежит всем, а любая собственность и, следовательно, любое разделение профессий были бы запрещены. Ведь именно из разделения труда рождается промышленность, и именно благодаря ему появились почти разумные машины, которые в стократ увеличивают человеческую силу и облегчают тяжесть любых работ.

Таковы мои размышления о праве земельной собственности.

Я понимаю, что после долгих споров со мной кто-то мог бы согласиться предоставить работнику в качестве вознаграждения за его труд лишь годовой урожай (Мирабо, «Речь о наследовании»). Но это же просто насмешка! Чтобы иметь очевидное право на урожай текущего года, мне достаточно вспахать и засеять уже расчищенную и удобренную землю. Однако я приобретаю гораздо более широкое право, когда сам расчищаю землю от зарослей, сажаю деревья, строю ферму, прокладываю дороги и возвожу ограды. Я бы не стал делать всего этого ради одного урожая; я не сделал бы этого и ради двадцати, так как все эти постройки потребовали от меня больше труда, чем двадцать лет ежегодной обработки земли. Этот расчет кажется вам преувеличенным? Он даже занижен. Недостаточно просто сравнить время, затраченное на освоение целины, с временем ежегодных работ; нужно также сравнить вложения, ведь любые вложения - это накопленный результат предшествующего труда. Так вот, на создание хозяйства уходит в двадцать раз больше ресурсов, чем на его ежегодную поддержку.

Здесь меня снова прерывают и говорят: *«Но, по крайней мере, ваше право пользования не должно быть наследственным, и право собственности должно иметь предел. Этим пределом является момент, когда первому поселенцу полностью возмещаются его первоначальные вложения. Позволим ему пользоваться землей в течение всей жизни, но после его смерти имущество должно отойти государству»*. Я оставляю в стороне те неудобства, которые возникли бы при подобном порядке. Я уже показал, что последствия были бы катастрофическими. Здесь же, повторяюсь, я говорю исключительно о *праве* и с этой точки зрения продолжаю оспаривать мнение, отрицающее наследственность.

Во-первых, я утверждаю, что принятие такой точки зрения нанесло бы ущерб первому поселенцу. Во-вторых, я заявляю, что наследственность не нарушает ничьих прав и даже полезна для прав каждого человека.

Мое первое утверждение о том, что отсутствие наследственности было бы несправедливостью, легко обосновать. Первые хозяева, первые создатели богатства, сделавшие землю плодородной лишь благодаря своему труду, - на каком основании какой-то пришелец может претендовать на получение собственности, не трудясь? Неужели первые земледельцы должны были стать лишь слугами последующих поколений? Когда первые земледельцы обрабатывали землю, они, несомненно, делали это соразмерно числу своих детей; было естественно, что они передавали им по наследству то, что создавалось ради них. Поскольку первые земледельцы также основывали мастерские, строили фермы и дома, которые гораздо долговечнее их самих, было естественно, что после их смерти всё это не становилось собственностью государства или случайного встречного.

Строго говоря, наследственность, конечно, можно было бы отделить от первоначального права собственности. Но в таком случае общество, существовавшее до начала освоения земель, должно было предупредить первого земледельца об этом разделении и смириться с тем, что

хозяйства будут несовершенными и непроизводительными. В такой ситуации земледелец сказал бы себе: *«Я не стану ничего сажать, потому что не смогу этим воспользоваться; я буду строить только на срок своей жизни и без прочности, так как никто из тех, кому я дорог, не займет эти здания после меня. Я буду расчищать землю лишь для того, чтобы прокормить себя и своих малолетних детей, поскольку после смерти не смогу ничего им оставить. На склоне лет я даже сокращу или заброшу обработку земли, которую освоил, ведь мои силы и потребности уменьшатся, и нет ничего разумнее, чем поберечь себя и экономить свои ресурсы»*. Если же, напротив, первый поселенец сажал, строил на века, расчищал и улучшал свой участок так, чтобы он приносил плоды долгое время после его смерти, он должен иметь право передать его своим детям. Иначе у него крадут плоды труда, который никто не имел права ему навязывать, и вложения, которые никто не в силах оспорить; нарушается одновременно и его земельная собственность, и его движимое имущество.

Во-вторых, я уже отмечал, что право наследования не ущемляет ничьих прав, а, напротив, служит интересам всех. Когда земля дает лишь дикорастущие плоды или дичь, для пропитания одного человека требуется несравнимо больше площади, чем когда она возделана. Следовательно, когда охота или сбор дикорастущих плодов являются единственным средством существования диких орд и земля находится в общем пользовании, каждый индивид пользуется гораздо большим количеством арпанов, чем когда он занимается земледелием. Человек, который пользуется десятью тысячами арпанов необработанной земли сообща с двадцатью другими людьми - что составляет по пятьсот арпанов на каждого, и этого, безусловно, не слишком много - не наносит никакого ущерба своим сотоварищам, когда он ограничивается четырьмя арпанами, которые возделывает сам, и оставляет им остальные четыреста девяносто шесть.

«Но что, если некоторые разделят между собой всю землю и отвергнут остальных?» - Тогда они совершат захват, они превысят свои потребности и, следовательно, свое право. Сейчас я говорю только о праве. Но по существу само это предположение абсурдно. Недостаточно сказать: *«Это мое»*; нужно иметь возможность вступить во владение и иметь интерес в этом вступлении; а владение землей приобретается только трудом, так как только труд делает её плодородной, а производительная сила труда не распространяется на всё то пространство, которое может охватить воображение. Во-вторых, даже если бы способности к труду были безграничны, воля к труду была бы ограничена способностью к потреблению и наслаждению. А человек не может наслаждаться сверх определенной меры, которая определяется его физическими и психическими возможностями.

«Но что, если орда станет настолько многочисленной, что для жизни ей потребуется больше земли, чем имеется в наличии, и придется отвергнуть часть людей?» - Еще одно абсурдное предположение; ибо, повторяю, необработанный участок земли, которого достаточно для пропитания орды, будучи возделанным, сможет прокормить в сто раз больше людей.

«Но что, если впоследствии, когда всё будет возделано, появятся новые люди - что вы сделаете с этими пришельцами?» - Я отвечу: либо они приходят извне, либо они родились в самом государстве. В первом случае им нужно ответить так:

«Когда наделы уже распределены, ты приходишь и говоришь нам:

— „Я такой же человек, как и вы; у меня две ноги, две руки, столько же гордости и даже больше, чем у вас; мой ум столь же беспорядочен, по крайней мере, как и ваш... Я пришел требовать свою долю земли. В нашем известном полушарии имеется около пятидесяти миллионов арпанов для возделывания, как сносных, так и бесплодных. Нас на этом континенте всего около миллиарда двуногих животных без перьев. Это составляет по пятьдесят арпанов на каждого. Восстановите справедливость; дайте мне мои пятьдесят арпанов“.

— Ступай и возьми их у готтентотов, у кафров или у самоедов... Если ты хочешь здесь есть, одеваться, иметь жилье и очаг - работай на нас; служи нам, развлекай нас» (Я заимствую у Вольтера этот ответ, столь же оригинальный по форме, сколь и глубокий по сути). В самом

деле, земля, на которую каждый имеет право, - это земля необработанная, заросшая терновником и колючками. Требовать долю в расчищенных и вспаханных землях - значит требовать плоды чужого труда и сбережений наших отцов и нас самих.

Если же просители родились в самом государстве, я отвечу им: тот пришелец, который рождается лишенным всякой собственности, находится именно в том же положении, что и первые поселенцы. Им пришлось трудиться, чтобы освоить землю, им пришлось трудиться, чтобы накопить капитал, необходимый для этого освоения. Что ж, пришельцы будут трудиться, чтобы заработать на покупку, если они того пожелают, этой уже расчищенной земли. Их положение даже более благоприятно, чем положение первых колонистов, поскольку они находят землю уже облагоустроенную и защищенную, готовую к приобретению, в то время как те рисковали в своих первых попытках - риск, который должен учитываться при передаче их прав. Вот к чему сводится этот контраст, столь оскорбительный на первый взгляд, между теми, кто рождается с собственностью, и теми, кто рождается неимущими; между людьми, наделенными благами благодаря общественным институтам, и теми, кто рождается, чтобы быть покинутыми или отвергнутыми ими.

«Но ведь может случиться перенаселение! И в таком случае, почему децимация или депортация должна пасть на одного, а не на другого? И почему вообще должны быть бедные, на головы которых падет депортация, в то время как богатые будут от неё избавлены?» - Это опять же ошибочное предположение. В государстве, где установлена собственность и где есть богатые и бедные, никогда не будет перенаселения. Ведь количество браков там будет соответствовать тем средствам к существованию, которыми располагают люди.

Именно в условиях общей собственности стоит опасаться перенаселения. Ведь в такой системе никто не обязан трудиться больше, имея жену и детей, чем когда он одинок. Поскольку общество гарантирует средства к существованию каждому, всякий склонен вступать в брак, не обращая внимания на ресурсы общества. В результате оно вынуждено принимать законы, ограничивающие браки рамками, которые признаны необходимыми. Тем самым нарушается свобода и осуществляется деспотичная власть над теми человеческими способностями, которые меньше всего подчиняются и больше всего диктуют наше поведение.

Шесть строк из «Рассуждения о неравенстве условий» послужили для одних пунктом обвинения, а для других - оправданием преступления: *«Первый, кто, огородив участок земли, додумался сказать: "Это моё", и нашёл людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы своим ближним: "Не слушайте этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля - никому!"»*.

Каким странным образом злоупотребили этими словами! Из них хотели сделать вывод, будто, по мнению Руссо, земельная собственность противоречит правильно устроенному общественному состоянию. Напротив, Руссо хотел доказать, что она является его основой, и именно по этой причине противопоставлял её дикой жизни.

Всем известно, что его рассуждение - это лишь апология естественного состояния в противовес цивилизации, и что он сожалеет о собственности исключительно как о средстве цивилизации. Таким образом, глупость и недобросовестность, бесстыдно выступая от имени Руссо, представили нам как высшее совершенство гражданского общества отмену собственности, которую Руссо считал вернейшим способом восстановить первобытное состояние и сделать невозможным существование общества.

То, что я здесь утверждаю, доказывается не только всем смыслом рассуждения, но даже первыми строками того самого отрывка, на котором основывают свои доводы: *«Первый, кто додумался сказать: "Это моё" и т. д., был истинным основателем гражданского общества»*. То, что следует непосредственно за цитируемым отрывком, также весьма убедительно подтверждает мою мысль. *«Но весьма вероятно, - говорит Руссо, - что к тому времени (то есть когда человек сказал: "Это моё") положение вещей уже дошло до того, что не могло более оставаться прежним. Ибо идея собственности, зависящая от множества предшествующих идей,*

которые могли возникнуть лишь последовательно, не сформировалась в человеческом разуме в одночасье. Потребовалось достичь значительного прогресса, накопить немало трудовых навыков и знаний, передавать и приумножать их из поколения в поколение, прежде чем прийти к этому последнему пределу естественного состояния».

Из этих слов совершенно ясно, что Руссо рассматривал установление собственности как необходимое следствие тех тенденций, что уже проявились в общественном состоянии, и, если можно так выразиться, как завершение естественного состояния. Другие произведения Руссо, написанные не против общественного строя, а о его совершенствовании и истинных принципах, содержат множество доказательств его глубокого уважения к собственности. В его «Рассуждении о политической экономии» - работе, написанной позже труда о неравенстве условий, - на странице 303 Кельского издания мы читаем: *«Основой общественного договора является собственность; его первое условие - чтобы каждый сохранял мирное пользование тем, что ему принадлежит»*. В том же рассуждении на странице 289 находится ещё более примечательный отрывок: *«Несомненно, - говорит он, - что право собственности является самым священным из всех прав граждан и в некоторых отношениях более важным, чем сама свобода: то ли потому, что оно теснее связано с сохранением жизни, то ли потому, что имущество легче захватить и труднее защитить, чем личность, и мы больше ценим то, что можно похитить с большей лёгкостью; либо же потому, что собственность является истинным фундаментом гражданского общества и подлинным гарантом обязательств граждан: ведь если бы имущество не отвечало за людей, ничто не было бы так просто, как уклоняться от своих обязанностей и смеяться над законами»*.

В сущности, если даже понимать слова Руссо в их абсолютном смысле и переносить в социальное состояние то, что он сказал о завершении естественного состояния - а именно, что *плоды принадлежат всем, а земля никому*, - из этого следовало бы, что нужно проводить не новый передел земли, а организовать её совместную эксплуатацию и распределение её плодов между всеми. В такой системе плоды принадлежали бы исключительно труду. Что ж, при нынешней системе собственности они точно так же принадлежат труду и всем видам работ, поскольку виды труда равноценны друг другу; таким образом, как я уже сказал, никто не остаётся в обиде. Более того, я утверждаю, что это выгодно для всех: ведь земля даёт больше благодаря разделению труда между людьми и постоянному усердию некоторых в её возделывании, чем она дала бы при общинном труде; таким образом, при текущем режиме труд гарантированно получает не только ту часть плодов земли, которую он получал в естественном состоянии, но и часть бесконечно более значительную, поскольку сами продукты стали более обильными.

Завершу несколькими размышлениями о принципах, которые сегодня громко выступают против собственности: одни из них стремятся к её уничтожению, другие - к ограничению; все они идут к своей цели гнусными и насильственными средствами; все они готовят крах нации и толкают бедняка против богача к самым крайним бедствиям. Когда говорят об установлении границ собственности и угрожают богатству, мне кажется, я слышу слова, обращённые к человеку, у которого есть немного: *«Берегись, не давай приносить плоды тому, чем владеешь»*; а к тому, кто начал создавать состояние своим зарождающимся трудолюбием: *«Берегись совершенствоваться; старайся остановить развитие своего таланта, ибо он приведёт тебя к росту благосостояния, за который закон накажет тебя, обобрав до нитки»*.

Когда говорят о том, чтобы покуситься на излишки богатого ради обеспечения достатка бедному, это всё равно что сказать, с одной стороны, бедняку: *«Даже не думай трудиться, ведь у тебя есть иные основания для достатка, кроме труда»*; а с другой стороны, богачу: *«Остерегайся показывать своё богатство, скрывай свои способности, сокращай расходы, не предлагай больше высокую цену за труд, иначе за шумом твоих денег не будет слышно само предложение работы, которое он тебе делает»*. Результатом этих советов, данных обоим сторонам, становится то, что бедняка морят голодом и навязывают ему необходимость грабежа, которую ему уже рекомендовала праздность. Таким образом, одновременно атакуется и собственность бо-

гатого, и добродетель бедного; тем самым подрывается и принцип дохода для обоих, ибо когда бедняк приобрёл что-то путём грабежа, он должен принять за правило отказ от приобретения чего-либо трудом из страха быть, в свою очередь, ограбленным.

Когда проповеди против богатых не приводят к всеобщему перевороту и вызывают лишь частичные грабежи, они обрушиваются прежде всего на людей среднего достатка, которые и становятся жертвами этих покушений; так что нападки на богатых обычно заставляют грабить тех, кто ими не является. Громкие речи против владельца ста тысяч экю дохода первым делом приводят к ограблению отца семейства, имеющего сто тысяч ливров капитала. И почему? Потому что купец или ремесленник, чей капитал состоит из обычных товаров, находится в своей лавке на виду у всех и обычно имеет под рукой больше собранных богатств - и богатств более соблазнительных, - чем рантье, который никогда не держит в своём сейфе больше, чем часть своего дохода, и который может легко скрыть его от взоров алчности. Именно купец предлагает приманку для грабежа, спровоцированного против богатого рантье; и именно тогда, когда громче всего кричат против спекулянтов, банкиров и землевладельцев, обманутый народ грабит сахар и мыло. В особняках много вещей, которые можно разбить, но мало того, что можно украсть; именно в лавках находят всё, в чём нуждаются. Таким образом, никто не может безнаказанно разлагать общественную мораль, и дело собственности едино для всех людей, которые чем-то владеют, и даже для тех, кто не владеет ничем, но имеет желание что-то приобрести.

Десятая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее ...

О суверенитете. - О законе.

На прошлом занятии мы определили, в чем должна заключаться декларация прав, из каких именно прав она должна состоять и к чему эти права сводятся. Мы увидели, что всё охватывается понятиями свободы и собственности; те различия, которые между ними проводят, на самом деле не являются существенными. Мы признали основные черты свободы и собственности, и нам было доказано, что свобода - это способность использовать свои средства для удовлетворения своих потребностей, а собственность - это способность применять эти же средства к внешним объектам, подходящим для удовлетворения потребностей. Таким образом, эти две способности неразделимы, поскольку свобода действий может быть полезна лишь при применении к чему-либо, а владение вещами - лишь химера без использования средств и без возможности ими пользоваться.

Определив предмет декларации прав, мы показали, что актом, который должен за ней последовать для создания общественного устройства, является формирование общественного договора. Этот договор должен содержать: 1) детальное описание прав, которые люди взаимно доверяют друг другу и которые каждый оставляет за собой лично; 2) формальное признание суверенитета в лице сообщества участников; 3) общие положения как против посягательств любой государственной власти на естественные права, так и для того, чтобы обязать власть защищать эти права от частных интересов.

Таким образом, мы знаем, какие действия необходимы для начала организации общества. Воображение может представить их довольно точно. Люди почувствовали - каждый в отдельности - желание объединиться. Это желание родилось у них из чувства своих потребностей, из недостаточности собственных средств или из надежды их приумножить. Вследствие этого они ищут друг друга, предупреждают друг друга, назначают встречу. В назначенный день каждый приходит в условленное место, неся в сердце одно и то же желание, имея ту же цель и то же чувство своих прав. Начинают с того, что заявляют об этих правах; это и есть хар-

тия прав человека. Когда сказано: «Вот права, принадлежащие каждому из нас», каждый заявляет, что намерен не только сохранить их за собой, но и обеспечить их соблюдение, и с этой целью передать их под гарантию всех присутствующих. Тогда из естественных прав в общественном состоянии выводятся первые следствия, которые должны из них вытекать: первые условия, необходимые для их осуществления в обществе. Принимаются также меры предосторожности для их обеспечения во всех тех моментах, где злоупотребления общественным состоянием могли бы легче всего им повредить и где пренебрежение со стороны всех государственных властей было бы наиболее опасно. Словом, составляется декларация естественных прав, рассматриваемых в общественном состоянии, в то время как собственно декларация прав есть лишь декларация естественных прав в их природном состоянии.

Затем переходят к определению признаков гарантии, которую дают каждому. Устанавливается национальный суверенитет, его единство, неделимость, неотчуждаемость, и общественный договор считается заключенным. Тогда общество уже существует, но у него еще нет организации, жизни, движения, гарантий; оно находится в состоянии анархии, то есть социальный союз держится лишь на той же воле, которая его создала, что само по себе ценно, но недостаточно устойчиво. Следовательно, установление гарантии общественного договора станет темой следующей встречи. Таким образом, люди разделяются, назначив новую встречу, на которой суверенитет создаст гражданский закон и закон политический, то есть Конституцию.

На прошлом занятии мы проанализировали естественные права в их природном состоянии; теперь нам предстоит рассмотреть их в состоянии общественном, в том виде, в каком они должны быть сформулированы в первой главе общественного договора. Это станет первым предметом данной лекции.

Затем мы изучим признаки социальной гарантии, или, иными словами, природу суверенитета. Завершим мы теорией закона - теорией, неразрывно связанной с понятием суверенитета.

Первая задача.

В различных декларациях прав Соединенных Штатов Америки, а также в многочисленных проектах, составленных во Франции, встречаются разнообразные классификации свободы в условиях общественного состояния; эти подразделения обычно называют просто *свободами*. Так, говорят: свобода мысли, свобода слова, свобода печати, свобода передвижения. Все эти классификации, проведенные без четких принципов, в той или иной степени неточны. Непонятно, почему в них включены одни вещи и почему не включены многие другие. Неясно, где они начинаются и где заканчиваются. Любая классификация - это не что иное, как анализ, и она не должна быть более произвольной, чем сам анализ.

Если свобода - это способность применять наши средства для удовлетворения наших потребностей, то для правильного разграничения понятия свободы необходимо знать, каковы наши средства и наши потребности.

Нам остается лишь вспомнить здесь то, что мы говорили о человеческих способностях при анализе моральных основ общества. Наши потребности бывают двух видов: физические и моральные. Физические потребности расширяются по мере развития интеллекта; моральные же потребности зависят от него целиком и полностью. Наши средства также делятся на два вида: средства физические и средства интеллектуальные. Последние необходимы для совершенствования первых; более того, они служат им дополнением. Именно благодаря интеллекту человек управляет лошадью, быком, слоном; именно с его помощью он отправляется ловить китов в океане, пересекает моря подобно рыбам и небесные просторы подобно птицам. Свобода, следовательно, предполагает использование физических и интеллектуальных средств.

Однако способность применять свои средства предполагает также способность развивать и совершенствовать их, без чего она не была бы полной. И если бы она была подчиненной,

зависимой или ограниченной в некоторых отношениях, она могла бы быть полностью уничтожена и вовсе перестала бы существовать. Между тем, способность развивать и совершенствовать свои средства предполагает свободное общение людей между собой.

Существует два основных способа общения между людьми: слово и письмо; следовательно, есть две свободы, которые должны стоять выше всех остальных: свобода слова и свобода письма. А так как свобода письма включает в себя свободу переписки через конфиденциальные письма и через книги, необходимо обеспечить безопасность почты. Почта - это общественное учреждение, которое может существовать или нет, и которое общество может создавать только для открытой переписки или же и для переписки секретной. Однако безопасность частной переписки, свобода частных сообщений и свобода печати - эта драгоценнейшая из всех свобод, поскольку именно печатный станок, а не ручное письмо, является великим инструментом человеческого общения - должны быть гарантированы.

Наши физические возможности сводятся к трем способностям: способности к труду любого рода, который не нарушает прав других людей; способности к отдыху после труда; и способности к любви. О последней никогда не упоминали. Что это - стыдливость? Религиозные предрассудки? Не знаю, но это не имеет значения: анализ наших потребностей указывает на потребность в любви наряду с прочими; анализ наших средств также обнаруживает способности к любви в дополнение к другим способностям человека; наконец, анализ прав показывает нам среди прочего свободу любить со всеми её составляющими. От меня зависит отвергнуть то, что предлагает мне анализ свободы, не более, чем от Фуркруа зависело отвергнуть воду или огонь как элементы воздуха, когда он проводил его химическое разложение. Именно на праве любить основана истинная теория семейного положения и здравое законодательство о супружеском союзе.

Права любви тем более священны, что они сами являются первоосновой священного долга - долга каждого отца перед своими детьми; долга, от которого он не может освободиться, который он не может переложить на другого и который по этой самой причине обязывает общество сделать этот долг дорогим для него, позволяя ему самому выбирать супругу, с которой он должен его разделить. Почему же мы не упоминаем об этом праве в декларации? Могут ли нам сказать, что по своей природе эти права достаточно защищены от любых посягательств? Можно ли утверждать это в эпоху, когда мы едва выходим из-под действия самых угнетающих брачных законов для обоих полов, крайне пагубных для нравственного воспитания детей - цели, несомненно, более важной, чем их удача; разве нам не могут сказать в момент, когда из-за противоположной крайности мы, возможно, готовы перейти от предложения установить общность имущества к предложению установить общность жен? Кто не знает, что первые философы, чьи слова заимствовали и на чей авторитет ссылались ради первой из этих общностей, предлагали и вторую? Разве божественный Платон в своей республике, которую долгое время называли прекрасной мечтой, но которая чаще всего является лишь чудовищным сном, не оставил нам достаточно известного памятника деспотизма систем без принципов и безумия политики, чуждой законам природы? Вот ее основные черты; это отступление будет вполне уместным.

Женщины смогут рожать детей для государства только в возрасте от двадцати до сорока лет, а мужчины смогут вступать в союз с женщинами только в возрасте от тридцати до пятидесяти пяти лет. Браки будут заключаться во время периодических празднеств магистратами; количество браков, совершаемых на каждом торжестве, будет регулироваться потребностями республики. Жребий определит среди мужчин и девушек, достигших брачного возраста, тех, кто должен вступить в брак в день праздника; однако магистрат устроит всё так, чтобы жребий исключил всех негодных субъектов; ибо, как говорит Платон, когда дома спаривают охотничьих собак или лошадей, выбирают самых красивых и сильных. После того как магистрат совершит обряд, каждая из замужних женщин будет принадлежать всем мужчинам, а каждый мужчина - всем женщинам. Дети после рождения будут передаваться в общий приют, где их будут кормить грудью без разбора все женщины, у которых есть молоко, причем ни одна мать

не сможет отличить или даже узнать своего ребенка. Все дети, рожденные в период, когда супругам по закону разрешено вступать в физический союз, будут называть каждого мужчину *моим отцом*, каждую женщину - *моей матерью*, а между собой будут называть друг друга *братьями и сестрами*. Магистраты будут отделять сильных и энергичных детей от тех, кто слаб и болезнен. Первых будут воспитывать, вторых - нет. Последних спрячут, как и подобает, в каком-нибудь тайном и неизвестном месте (Почему Платон не говорит прямо: «Их убьют и похоронят»? Почему не иметь смелости сказать то, что, по его мнению, он имеет право внушать? Почему думать и внушать то, что не осмеливаешься сказать вслух? Разве мы не видим здесь борьбы разума и совести?). Точно так же будут поступать и с плодами тайного сожителства, так как эти плоды родятся без покровительства и гарантий. По достижении установленного законом возраста для вступления в брак все женщины будут принадлежать всем мужчинам, а все мужчины - всем женщинам; но такие союзы не удостоятся чести публичной церемонии - они оставлены на волю сиюминутного желания.

Такова политическая уловка, которая вместе с общностью имущества, по мнению Платона, должна сформировать идеальное общество. Таким образом, Платон полагает, что социальное совершенство заключается в том, чтобы свести его к единству естественной семьи. Он думает, что природные привязанности станут общественной связью. Это, несомненно, великое заблуждение, так как придуманная им социальная связь чисто тираническая; она подавляет естественные чувства. Платон хотел расширить семейный интерес, а в итоге уничтожил его. Он хотел свести все интересы к одному-единственному и не оставил ни одного. Он претендовал на то, чтобы переплавить или спаять воедино все элементы общества, а вместо этого он, так сказать, разбавил их, утопил, лишил всякого принципа сцепления и активности.

Именно к способности трудиться следует относить ту разновидность свободы, которую американцы называли *локомотивной*, или способностью менять место, приходить и уходить, входить и выходить без стеснения и препятствий. Ведь если человеку плохо там, где он находится, то первым делом, продиктованным потребностью в благополучии, становится переход в другое место.

Я говорил о свободе отдыха - этого также требовала логика анализа; и здесь я добавлю, что под свободой отдыха следует понимать не только свободу спать или сидеть, но также право ничего не делать, когда не хочется ничего делать, и совсем не говорить, когда не хочется говорить. Недавно Ромм, предлагая Национальному конвенту декларацию прав от имени «Комитета шести», при перечислении свобод произнес следующие слова: *Свобода говорить или молчать*. Собрание рассмеялось. Ромм заметил, что свобода молчания была сформулирована в труде одного заслуженно известного человека; и действительно, она содержится в обоснованном изложении прав человека и гражданина, составленном Сийесом в 1789 году. Если бы Ромм назначил Сийеса, Собрание, без сомнения, еще больше стремилось бы отрицать существование этого права, которым Сийес, безусловно, пользуется слишком свободно; однако сам принцип от этого не становится менее незыблемым. Его следует провозгласить сразу, как только он возникает, тем более что он настолько очевиден, что, кажется, его часто просто не замечали. Когда во Франции требовали исповедальные грамоты, тем самым заставляя человека говорить, часто вопреки его воле, и высказываться о вещах, которые не могли служить правам других, это, безусловно, нарушало принцип. Впрочем, эта свобода связана со всеми остальными; было бы невозможно заставить человека действовать, когда он не хочет действовать и когда общественный интерес не требует этого его действия, не обладая при этом способностью заставлять его действовать определенным образом, а не иначе, что привело бы к регламентации всех его поступков.

Здесь следует поставить вопрос о том, может ли общество принуждать всех своих членов браться за оружие и сражаться - будь то во внешних войнах, в гражданских войнах или для охраны правопорядка в государстве. Эти три случая различны. Нет сомнений, что каждый человек обязан содействовать полиции безопасности; это необходимое условие общественного договора, по которому каждый будет помогать наказывать злоумышленников и задерживать их.

Что касается внешней войны, то здесь дело обстоит иначе. Кажется противным человеческой природе убивать себе подобного; и как в естественном состоянии каждый был волен бежать от своего врага, так и в общественном состоянии каждый может считать себя вправе сказать: «Я предпочитаю оставить свое имущество и свою родину, чем убивать людей, чтобы их сохранить». Эта доктрина не принадлежит плохим гражданам, которые сказали бы другим: «Охраняйте мое добро и мою личность, давайте себя убивать за меня, я же не стану давать убивать себя за вас». Эта доктрина сводится к следующему: «Я не хочу защищать ни вас, ни ваше добро; но я также не прошу, чтобы вы защищали меня. Я ухожу и оставляю вам свою собственность». Известно, что анабаптисты и квакеры никогда не носят оружия. Человечество вполне может оправдать их благородные принципы.

Будут возражать, что под предлогом отказа убивать врагов мы позволяем врагам убивать братьев и друзей. - На это можно ответить, что если у государства нет права заставлять идти в бой тех граждан, кому претит кровопролитие ради его защиты, то и у врагов нет больше преимуществ для нападения: ведь если нападение совершается только теми индивидами, которые сами хотят нападать, то и оборона найдет равные ресурсы.

Возражают, что по общественному договору каждый гарантирует всем их свободу и собственность против внешних врагов; что это является сущностным условием. - Я отвечаю, что это обязательство взаимно и что когда я отказываюсь от своих прав по отношению к другим, я должен освободиться и от прав других по отношению ко мне.

Но, скажут мне, нельзя разрывать договор в момент опасности! - Я не просто разрываю договор, который заключил с обществом, я выплачиваю ему неустойку, оставляя ему свое имущество.

Таким образом, государство может быть покинуто в тот момент, когда оно нуждается в защите; таким образом, позорное дезертирство ожидает его в тот момент, когда оно под угрозой! Таким образом, государство могло бы вовлекать людей во все преступления войны, которую они сочли бы несправедливой! Какой закон может обязать меня убивать человека вопреки моей совести? Вы говорите, что он объявил вам войну, а я считаю, что вы его спровоцировали. Вы говорите, что имеете право вести с ним войну, а я говорю, что это несправедливость. То, чего я больше всего хотел обезопасить в общественном состоянии, - это моя совесть. Если бы вы приказали мне убить соседа, я бы этого не сделал, я бы покинул вас. Вы приказываете мне убивать иностранцев, я не хочу этого делать и подавно, и я говорю вам: прощайте. Если подавляющее большинство государства хочет войны, пусть оно ее ведет; в дезертирстве нескольких человек нет ничего прискорбного. А если это не подавляющее большинство хочет войны, то кто же претендует за других? По какому праву они ее объявляют или поддерживают? Впрочем, что такое армия, не состоящая из добровольцев, по крайней мере, в большей ее части? Собище предателей или трусов, внутренних врагов, которые подыгрывают внешним врагам; неужели это то, чего вы требуете? Наконец, скажите мне, что такое свобода передвижения, свобода приходить и уходить, если я не могу покинуть свою страну, когда считаю, что, оставаясь в ней, я оскорбляю человечество, и что я могу служить ему, лишь нанося ущерб собственному разуму и совести.

Именно во время гражданских войн гражданам позволительно, и я осмелюсь сказать, даже похвально покидать свои очаги, нежели принимать в них участие. Я оставляю в стороне риски, неотделимые от такого рода войн: опасность ошибиться в выборе стороны, которой себя посвящаешь; риск быть вслепую втянутым в ту сторону, которая внушает наибольшее отвращение; постоянную угрозу оказаться побежденным сразу после победы, ибо в гражданских войнах никогда не знаешь, когда поражение окончательно, а партия лишена ресурсов. Сущность подобной войны заключается в том, чтобы постоянно возрождаться из пепла. Я придерживаюсь того факта, что в гражданской войне преступления, ошибки и оправдания всегда есть со всех сторон; и я говорю: я вовсе не желаю осквернить себя невинной кровью или помогать вождям фракций пожинать преступные лавры. И я говорю своим согражданам: вы превратились в свирепых зверей, я возвращаюсь в леса, где мне придется опасаться лишь диких

животных. Никакое соглашение, никакая власть не может заставить меня убивать моих братьев...

У многих народов Греции каждый гражданин был обязан принять чью-либо сторону в гражданских распрях. Это было весьма разумно; таким способом война сокращалась, так как каждой фракции наглядно демонстрировался точный объем её ресурсов, что вынуждало их к действию. Но разве было запрещено тем, кто не желал принимать ничью сторону, отправиться дышать воздухом других земель? Я так не думаю. Повторюсь, никакой закон не может сказать человеку: ты будешь дышать кровью!

Следует заметить, что права человека включают в себя не только то, что он в силах сделать для удовлетворения своих потребностей, но и то, что он по естественной обязанности должен делать для удовлетворения нужд своих женщин и детей. В социальном состоянии дети и женщины в некотором роде являются частью главы семьи. И действительно, отец, мать, малолетний ребенок - всё это не столько отдельные независимые индивидуумы, сколько единое целое. Ноги, руки, голова супруга и отца являются достоянием жены и ребенка. Мужчина и женщина составляют части друг друга; это две половины одного целого, и это выражение, которое кажется лишь метафорой любви, на самом деле является философской истиной.

Собственность, как мы уже говорили, есть наследственное право, которое распространяется на движимое и недвижимое имущество, на капиталы и доходы; именно это весьма прочно закрепила новая Декларация прав.

Свобода ограничена тем пределом, где её осуществление наносит ущерб правам другого. Робеспьер недавно предложил Конвенту заключить собственность в те же рамки. Это настоящий спор о словах. Границами свободы являются права других, то есть свобода и собственность другого; это само собой разумеется. Это необходимо установить, поскольку свобода, заключающаяся преимущественно в праве *действовать* или *избегать действия*, могла бы нанести ущерб свободе и собственности другого. Но поскольку собственность, или право владения, не является правом действовать, непонятно, почему необходимо говорить, что она ограничена свободой или собственностью другого. Сказать, что собственность не есть право на узурпацию, кражу или порабощение - значит сказать вещь слишком излишнюю и очевидную, чтобы не быть нелепой. Если бы собственность была правом на кражу, она не была бы правом на сохранение, и, следовательно, не была бы собственностью. Если бы собственность была правом на порабощение, она была бы несовместима со свободой, пределом которой является то, что вредит свободе другого.

Факт в том, что Робеспьер, возможно, сам того не подозревая, не признаёт права собственности. Он превращает право владения в право временное, зависимое, переменчивое, подчинённое гражданскому закону, подчинённое должностному лицу, подчинённое народным предрассудкам. Он считает собственность общественным установлением и, следовательно, произвольным понятием. Он упрекает комитет в том, что тот рассматривает её как абсолютное право и имеет о ней ложные представления. Послушаем, что он говорит по этому поводу:

«...Комитет, по-видимому, имел весьма ложные представления о собственности. Определяя свободу, он справедливо сказал, что её границами являются права других. Почему же он не применил этот принцип к собственности, которая является общественным установлением? Вы умножили статьи, чтобы обеспечить максимально полное осуществление права собственности, и не сказали ни слова, чтобы определить её законность; так что ваша декларация, кажется, составлена не для людей, а для богачей, для корыстных перекупщиков, для биржевых спекулянтов и для тиранов. Я предлагаю вам исправить эти недостатки, утвердив следующие истины:

Ст. I. Собственность - это право каждого гражданина пользоваться и распоряжаться той частью имущества, которая гарантирована ему законом.

II. Право собственности ограничено, как и все остальные права, обязанностью уважать права других.

III. Оно не может наносить ущерб ни безопасности, ни свободе, ни существованию, ни собственности наших ближних.

IV. Любое владение, любая сделка, нарушающая этот принцип, является незаконной или аморальной».

Робеспьер исходит из ложного предположения, но из верного принципа.

Верный принцип заключается в том, что земельная собственность - это не право морить голодом тех, у кого для жизни нет ничего, кроме движимого имущества или собственных рук. Земельная собственность - это не право оставлять свои земли необработанными, сжигать посе́вы, выбрасывать урожай в реку, позволять крысам поедать зерно в амбарах или развеивать муку по ветру - и всё это на глазах у людей, умирающих от голода и истощения. Если Робеспьер имел в виду именно это, он был бы прав тысячу раз.

Но чтобы сделать отсюда вывод о необходимости ограничить использование собственности, нужно предположить, что владельцы, пользуясь своим имуществом в полной мере, абсолютно и без всяких ограничений, имеют *власть* или, скорее, могут иметь желание делать всё то, в праве на что им отказывают Робеспьер и здравый смысл. Вот это предположение и является ложным.

На самом деле собственники не только не могут иметь такого желания и не имеют власти морить людей голодом, но они должны обладать совершенно иным стремлением; их возможности направлены на прямо противоположное. Таким образом, абсолютная, неограниченная земельная собственность - это самая надежная гарантия средств к существованию, которую можно дать людям, не имеющим собственности.

Видите ли вы много необработанных земель, принадлежащих крупным собственникам? Нет. Видите ли вы, чтобы крупные собственники выбрасывали много зерна в реку? Нет. Видите ли вы у них множество складов, где были бы накоплены урожаи за десять, пять или три года? Нет.

Тем не менее, каждый год они собирают в сто раз больше зерна, чем потребляют сами, их дети, слуги и домочадцы. Почему же тогда они обрабатывают столько земли и что они делают со своими излишками? Они возделывают землю, чтобы иметь возможность обменять что-то на те блага, которые им предлагает труд рабочих классов. Они заставляют плуги работать, чтобы иметь средства на покупку предметов роскоши, и они совершают этот обмен.

Потребность в удовольствиях растет в человеке по мере совершенствования интеллекта, а подвижность ума тем выше, чем меньше человек задействует свои физические способности; это, я полагаю, неоспоримо. Что ж, именно эта потребность в наслаждениях, причем в наслаждениях постоянно меняющихся, служит поручителем собственности перед промышленностью. Именно на этой потребности зиждется безопасность трудолюбивых и нуждающихся людей, живущих бок о бок с богатыми и праздными людьми. Посмотрите на целые народы, лишенные земельной собственности, но живущие в изобилии; посмотрите на Швейцарию, посмотрите на Голландию - там есть только капитал и промышленность, а зерно из Польши, Германии и Бербери стекается туда непрерывно.

Притязания промышленности на собственность признавались во все времена и во всех странах. Если этот обмен происходит между народами, разделенными огромными расстояниями и временем, вопреки налоговым законам, запретам и войнам, разделяющим народы, то права эти, несомненно, должны осуществляться еще легче и надежнее между частными лицами, от гражданина к гражданину в пределах одного государства, в одном городе, в духе общественного братства и под защитой общих законов. Следовательно, собственность вовсе не является препятствием для прав других людей.

Но я скажу больше: я утверждаю, что лучшая гарантия пропитания, которую может иметь народ, - это доверить свои земли частному интересу. И в самом деле, кто не знает силы частного интереса? Кто не знает, насколько его забота, бдительность и активность превосходят управление, доверенное чужим рукам или возложенное на большое число соучастников? Кто не знает, что эксплуатация частной собственности приносит более обильные урожаи, чем это было бы при коллективном владении?

Следовательно, если собственность является гарантией прав людей, не имеющих собственности, из этого вытекает следующее: вместо того чтобы ограничивать её или чинить ей

препятствия, необходимо оберегать её всей мощью законов, обычаев и общественного мнения. Нужно провозгласить её абсолютную неприкосновенность, а не ослаблять её и не заставлять колебаться.

Всё, что касается *общественных гарантий и суверенитета*, изложено в следующих статьях декларации, принятой Национальным конвентом. (См. газету «Монитор».)

Я замечу, что цель гарантии состоит не только в том, чтобы направить возможности каждого на защиту прав других лиц, но и в том, чтобы они служили к их выгоде. Она не ограничивается обеспечением соблюдения принципа: «*Не делай другому того...*» и так далее, но распространяется и на принцип: «*Делай для другого...*» и так далее, при условии, однако, полного сохранения собственных прав.

Первые четыре статьи, упомянутые выше, являются сущностными выводами из общественного договора. Руссо вывел их с большой силой и ясностью. То, о чем я собираюсь сказать, будет лишь их кратким изложением.

Если исключить из общественного договора, говорит Руссо, всё, что не относится к его сути, то мы увидим, что он сводится к следующему: каждый из нас передает в общее достояние свою личность и свои возможности под высшим руководством общей воли, и мы принимаем каждого члена как нераздельную часть целого.

Руссо добавляет, что по общественному договору каждый отчуждает свои права в пользу всего общества. Это не совсем верно. Каждый отчуждает свои индивидуальные *средства*, чтобы гарантировать другим - и тем самым обеспечить самому себе - осуществление тех прав, которые он оставил за собой. Он отчуждает их, чтобы объединить их с возможностями себе подобных ради интереса, который он признает общим для всех. Он отчуждает их, чтобы укрепить, а не ослабить их; ради самого себя, а не ради кого-то другого.

Таким образом, акт объединения подразумевает взаимное обязательство общества перед частными лицами. Это обязательство состоит в том, что любой человек, который откажется подчиняться общей воле, будет принужден к этому всем союзом. Это означает лишь то, как отмечает Руссо, что его заставят быть свободным. Ведь таково условие, которое,веряя каждого гражданина отечеству, возлагает на отечество обязанность оберегать его от любой личной зависимости.

Осуществление общей воли - это то, что называется суверенитетом. Таким образом, основополагающий принцип заключается в том, что общественная гарантия прав человека зиждется на национальном суверенитете, который в своей основе принадлежит всему народу.

Если общественный договор - это обязательство целого перед частями, если он создан соглашением постоянных интересов каждого участника для пресечения временных заблуждений некоторых из них, то очевидно, что только общая воля может направлять силы государства в соответствии с целями его создания. Следовательно, суверенитет, являющийся осуществлением общей воли, никогда не может быть отчужден. Договор индивида с государством подобен обязательству одного человека перед другим. Когда я лично заключаю договор с кем-то одним, я не заключаю его с другим. Поэтому, когда я заключаю договор со всеми, все принимают обязательства передо мной. В сущности, нет даже равенства между обязательствами человека перед другим человеком и обязательствами индивида перед целым обществом. Ведь если то, что мне обещал частный человек, вполне может исполнить и кто-то другой, то никакая воля, кроме общей, не способна постоянно и непоколебимо защищать мои частные права. Более того, существует только эта общая воля, сформированная из однородных интересов, которая неизменно и прочно совпадает с моим частным интересом и может служить его гарантией.

Хотя не исключено, говорит Руссо, что частная воля может в чем-то совпасть с общей волей, невозможно, по крайней мере, чтобы это согласие было долгим и постоянным. Ведь *частная воля по своей природе стремится к предпочтениям, а общая воля - к равенству*. Еще более невозможно иметь гаранта этого согласия, даже если бы оно существовало всегда; это было бы не следствием намеренных действий, а лишь делом случая. Суверен вполне может сказать: «Я желаю в данный момент того же, чего желает такой-то человек, или, по крайней мере, того,

что он называет своим желанием», но он не может сказать: «То, чего этот человек захочет завтра, захочу и я», поскольку нелепо, чтобы воля сковывала себя цепями на будущее, и поскольку она не зависит ни от какой воли, соглашающейся на что-либо вопреки благу существа, которое этого желает. Если, таким образом, народ просто обещает повиноваться, он самым этим актом лишает себя своей сути; он теряет свое качество народа. С того момента, как появляется господин, суверена больше не существует, и с этого времени политический организм разрушен. Таковы истины, результатом которых стало выражение, закрепленное в Декларации прав: *Национальный суверенитет неотчуждаем*.

«По той же самой причине, по которой суверенитет неотчуждаем, - говорит Руссо, - он и неделим; ибо воля либо является общей, либо ею не является. Она принадлежит либо всему народу, либо только его части. В первом случае провозглашенная воля есть акт суверенитета и становится законом. Во втором случае это лишь частная воля или акт представителя власти; в крайнем случае - это декрет».

Я ничего не добавляю к этим немногим словам, чтобы обосновать статью о правах, гласящую, что суверенитет *неделим*. Мне нечего сказать по поводу других слов, нагроможденных в Декларации лишь для того, чтобы снова и снова повторять содержание этих двух терминов: *Национальный суверенитет неотчуждаем и неделим*. С этими иными выражениями не связано никакой идеи, кроме тех, что я только что представил.

Говорят, что суверенитет *един*, - это уже было сказано и даже более полно, когда утверждалось, что он *неделим*. Добавляют, что каждый гражданин имеет равное право участвовать в осуществлении суверенитета. Когда было сказано, что суверенитет *по существу пребывает во всем народе*, что он неотчуждаем и неделим, - тем самым косвенно было признано равенство прав каждого гражданина на участие в осуществлении этого суверенитета; следовательно, эта формулировка является излишеством. Кто-то скажет, возможно, что в тот момент, когда только что были разрушены перегородки, отделявшие один класс граждан от другого, это право должно было быть скрупулезно зафиксировано. Я же отвечу, что рассматриваемая статья не решает вопроса о том, должны ли существовать активные и пассивные граждане; ведь когда эта статья установила, что каждый гражданин имеет равную долю в суверенитете, остается еще определить, на каких условиях человек будет признан гражданином - вопрос, который был передан на усмотрение Конституции, но который, очевидно, относится к общественному договору. Ибо именно общественный договор должен определять, какие лица допускаются к его подписанию; именно при заключении договора каждый спрашивает и хочет знать, с кем он его заключает.

И если вопрос о политической активности или пассивности не заслуживал обсуждения в отношении имущественных различий, то он требовал его в отношении различий в возрасте и образовании. Необходимо было знать, в каком возрасте молодой человек становится гражданином, то есть вступает в осуществление своих естественных прав. До сих пор вопрос о совершеннолетию относили к сфере гражданского права; человека рассматривали лишь с точки зрения управления его имуществом и ведения дел; необходимо было рассмотреть его с точки зрения осуществления его естественных прав. Надлежало также изучить, не должен ли человек, не умеющий ни читать, ни писать, у которого отсутствует этот приобретенный навык - не менее полезный для совершенствования всех остальных, чем наши природные чувства, - считаться, независимо от его возраста, своего рода «большим ребенком», которому общество может предписать несколько месяцев школы, прежде чем допустить его в ряды граждан. Таким образом, процитированная мною статья Декларации говорит либо слишком много, либо слишком мало. Она говорит лишнее и упускает необходимое.

Такой же избыточностью является и другая статья: *Никакая часть граждан, ни отдельное лицо не могут присваивать себе суверенитет*. Эта истина уже заключена в тех пунктах, которые объявляют суверенитет неотчуждаемым и неделимым. Но здесь можно сказать, что избыток не вредит; и так как, по моему замечанию, общественный договор может произвольно содержать положения, касающиеся предметов опасения, порождаемых обстоятельствами, в которых находится общество при своем рождении или реформировании (что плохо подходит

для декларации прав), следует признать, что весьма уместно предупреждать узурпацию суверенитета.

Это поистине любопытное зрелище - наблюдать за действиями, постоянно направленными против него. С одной стороны, короли хотят владеть им в своих дворцах, с другой - санюлоты претендуют на владение им в своем клубе. Горы книг были нагромождены одна на другую, чтобы доказать так называемый суверенитет королей. Пройдет еще немного времени, и появятся целые библиотеки, доказывающие суверенитет общества или трибуны.

Гроций, доблестный защитник мнимого суверенитета королей, выдвинул следующее возражение: Бог часто наказывал народы, насылая на них чуму, войну и голод за проступки королей перед самими народами; следовательно, Бог предполагал, что народы могут сами наказывать плохих королей, низлагать их, назначать других и, наконец, менять форму правления. Это возражение, без сомнения, весомо для того, кто верит в божественный надзор над той крошечной точкой вселенной, которую называют Землей. Что ж, оно не смутило Гроция. «Если Бог, - говорит он, - предал смерти целые народы за грехи их королей, то это не потому, что народы имели право предотвращать или наказывать эти проступки: причина в том, что самый жестокий способ наказать короля - это убить его подданных». Что ж! Некоторые клубы Французской республики уже подготовили своего Гроция, готового давать ответы столь же постыдные и столь же преступные, как и аргументы, извлеченные из бедствий, обрушившихся на всю Францию из-за зверств нескольких злодеев, присвоивших себе по собственной инициативе право, которое короли осуществляли через окончательные постановления.

Последние статьи, касающиеся социальных гарантий в новой декларации прав, являются необходимым условием, которое выступает в качестве дополнительной гарантии прав, являющейся целью общества и составляющей его крайнее средство самосохранения: именно благодаря ей все граждане обязуются придавать силу закону, когда их призовут от его имени.

Нам остается сказать несколько слов о предыдущей статье, гласящей, что социальная гарантия не может существовать, если границы государственных функций четко не определены законом. Эта статья является лишь переформулировкой другими словами второй части 16-й статьи Декларации прав 1789 года, гласящей, что любое общество, в котором не определено разделение властей, не имеет конституции.

Злоупотребление, которое роялисты допустили в отношении принципа *разделения властей*, наложило на эти слова печать крайнего неприятия. Они говорили: необходимо, чтобы существовало разделение, чтобы была независимость; чтобы была независимость, должно быть равновесие; или, другими словами, чтобы у короля был интерес защищать свою власть и средства для её защиты. Именно исходя из этого принципа решили наделить короля огромными богатствами, доверить ему распределение множества должностей, распространить его влияние на всё - словом, создать прерогативу. Из этой системы родилось соперничество двух властей, возникли вечные битвы; отсюда проистекает союз одной из них с иностранными державами; отсюда её внезапное крушение и революционный кризис, в котором мы сейчас находимся. Всё то, что Конституция 1789 года сделала для равновесия властей, народ ошибочно смешал с самой системой разделения властей; отсюда его отвращение к самому этому разделению, и именно так злоупотребление принципом пошатнуло сам принцип.

Именно из уважения к общественному мнению, сложившемуся на этот счет, комитет в своем проекте хотел избежать слова *разделение властей*. Но он сделал больше, и по той же причине: он хотел создать впечатление, будто избегает самой сути дела; тем не менее он твердо закрепил её в своем проекте исполнительной власти, и было бы абсурдно, если бы он этого не сделал. Это большое зло, даже если в данном вопросе присутствует лишь притворство, ибо беспокойные умы смогут рассматривать институт исполнительной власти в том виде, в каком он предложен, как нечто тайно введенное в Конституцию в угоду принципам, в которых не осмеливаются признаться.

Что следует понимать под *разделением властей*? Под этим следует понимать разделение двух способностей, которые невозможно смешивать ни в политическом организме, ни в отдельном человеке, а именно - *воли и действия*. Воля - это законодательная власть; действие -

это исполнительная власть, включающая в себя судебную власть. Воля человека находится в мозгу, действие - в его руках и ногах; так же должно быть и в политическом теле: голова и члены. И как руки человека, не будучи прикреплены к его голове, не участвуют в работе мозга, а лишь подчиняются его воле, так можно полагать, что руки тела политики, то есть исполнительные власти, также не должны быть привязаны к национальному мозгу, которым является Законодательный корпус.

Кондорсе в своем докладе о проекте новой Конституции поставил вопрос, который на первый взгляд кажется вопросом о разделении властей, но на самом деле таковым не является.

«По его словам, до сих пор публицисты расходились в двух мнениях относительно организации государственной власти. Одни хотят, чтобы единое действие, ограниченное и регулируемое законом, приводило в движение всю общественную систему; чтобы высшая власть направляла все остальные и могла быть остановлена лишь законом, исполнение которого общая воля народа гарантирует против этой высшей власти, если та попытается присвоить себе полномочия, которыми не наделена, или если она станет угрожать свободе или правам граждан».

«Другие же, напротив, хотят, чтобы принципы действия были независимы друг от друга, находились в некотором равновесии и служили друг другу регуляторами; чтобы каждый из них выступал по отношению к остальным защитником общей свободы и, преследуя интересы собственной власти, противодействовал их узурпации. Но что станет со свободой, если эти власти вместо того, чтобы бороться друг с другом, объединятся против нее? Что станет с общим спокойствием, если из-за настроя умов вся масса граждан разделится между различными ветвями власти и начнет волноваться "за" или "против" каждой из них?»

Любому внимательному читателю ясно, что Кондорсе обсуждал здесь не вопрос о том, должны ли власти быть разделены, а вопрос о том, должны ли они находиться в равновесии. Должны ли они иметь возможность придавать правительственной машине два разных импульса, или, вернее, должен ли один орган обладать прерогативой, позволяющей ему не только уравнивать другой и защищаться от него, но даже нападать на него, ослаблять его и захватывать его сферу влияния? Должен ли этот первый орган быть открыто наделен частью законодательной власти через право вето и получать столь значительную долю из государственной казны и такие полномочия по распределению должностей, чтобы тайно завладеть остальной властью с помощью коррупции? Вот какой вопрос, несомненно, рассматривал Кондорсе; и только по незнанию можно увидеть здесь проблему разделения властей. Впрочем, дальнейшая речь не оставляет сомнений в смысле процитированного мною отрывка.

«Таким образом, - говорит Кондорсе несколькими строками ниже, - власть издавать законы и определять меры общего управления, которые нельзя без опасности доверить никому, кроме представителей народа, будут переданы национальному собранию, а другие власти будут обязаны лишь исполнять законы и постановления, исходящие от него».

Здесь, бесспорно, представлена единица принципа действия, но также и различие между членами, отвечающими за действие, и мозгом, в котором заключен этот принцип, то есть тем, кто формирует волю. Теория исполнительной власти, изложенная далее в докладе Кондорсе, весьма решительно закрепляет, как я уже говорил, разделение властей.

«Между законодательным корпусом и гражданами, обязанными повиноваться закону; между этим корпусом и государственными служащими, которые должны непосредственно обеспечивать исполнение законов или руководить в деталях мерами общего управления, - поддержание единства действий и принципов требует, чтобы Конституция учредила совет государственных агентов. На них возлагается обязанность следить за соблюдением и исполнением законов, прорабатывать детали общих административных мер так, чтобы их можно было немедленно реализовать, действовать согласно тому, что установила национальная воля, и информировать представителей народа о фактах, которые могут потребовать новых решений».

По правде говоря, Кондорсе добавляет следующее: *«Эта связующая нить, необходимая для общественного порядка, не должна рассматриваться как подлинная власть. Этот совет*

не должен изъявлять волю, он должен следить, он должен делать так, чтобы национальная воля, единожды выраженная, исполнялась точно и надежно». Но совершенно очевидно, что Кондорсе оспаривает здесь применение слова «власть» к способности действовать и сохраняет его лишь за способность изъявлять волю только из снисхождения к страхам, которые оставили в памяти невежественных людей воспоминания о старом режиме. По сути, будь то «власть» или «способность», принцип от этого не меняется; и если принять последнее слово, изменится лишь формула принципа и тогда скажут, что способность действовать должна быть отделена от права желать.

Безусловно, Кондорсе никогда нельзя будет упрекнуть в том, что он злоупотреблял словами ради распространения заблуждения; однако гордость или, если угодно, философская утонченность может счесть, что ниже его достоинства было злоупотреблять словами даже ради спасения истины. Наконец, чтобы в этом вопросе не опираться на авторитет Кондорсе, который постоянно противопоставляют сторонникам разделения властей, давайте обратим внимание на то, что он говорит и что предлагает для обеспечения этого разделения:

«Институты свободного народа, - говорит он, - не могут воплощать собой образ рабской зависимости. Если члены совета являются агентами законодательного органа, они не должны быть его ставленниками». И согласно этому принципу он предлагает сделать их избираемыми народом; он наделяет их более выраженным представительным характером, чем даже самих законодателей, которые избираются от своих департаментов.

«Законодательный корпус, - продолжает он, - должен иметь средства принуждать их к повиновению... Но закон, защищающий права всех, должен иметь возможность встать между ними и ним». Вследствие этого он передает вопрос об их отстранении в случае совершения преступления судам, а в случае подозрений или некомпетентности - специальному жюри, которое является лишь органом доверия, а не органом правосудия.

Можно ли более четко обозначить и лучше обосновать разделение властей?

Повторюсь: авторитет Кондорсе не только не расшатывает этот принцип, но, напротив, служит ему опорой. Беда этого принципа заключалась в том, что он был слабо укоренен в общественном мнении, когда недостойное поведение конституционной монархии пошатнуло его. Монтескье, которого считают его создателем, сформулировал его в нескольких строках, не представив доказательств. Руссо доказал его, почти не формулируя, а некоторые политические писатели, работавшие над конституциями Соединенных Штатов Америки - среди которых следует выделить Томаса Пейна, - и вовсе его оспаривали.

Принцип разделения властей проистекает из самих основ общественного объединения и вытекает из теории закона, о которой мы уже кое-что сказали и о которой поговорим более подробно на следующей встрече. Каждый отдал себя под защиту общей воли, потому что она неизменно соответствует благу всех. Общая воля всегда права, хотя общественные обсуждения не всегда бывают верными. Она соответствует общему благу, так как формируется из интересов каждого, и поскольку она охватывает только общий интерес и является всеобщим выраженным желанием, она исходит от всех и применяется ко всем. Таким образом, не существует человека, который, голосуя за всех, не голосовал бы за самого себя; и, следовательно, сама природа человека - то предпочтение, которое каждый отдает себе, - гарантирует равенство прав и соблюдение справедливости.

Но если речь заходит о частном объекте, общая воля теряет свою естественную правоту, поскольку в этом случае большинство людей, судя о вещах, не затрагивающих их интересы, больше не несут в себе того принципа справедливости, который направляет их при создании закона.

«Как только дело касается частного факта или права, - говорит Руссо, - в вопросе, который не был урегулирован общим и предшествующим соглашением, дело становится спорным. Это процесс, в котором частные лица являются одной заинтересованной стороной, а общество - другой; но в этом процессе я не вижу ни закона, которому нужно следовать, ни судьи, который должен вынести решение. Было бы нелепо тогда полагаться на прямое решение общей воли, ко-

торое может быть лишь выводом одной из сторон и которое, следовательно, для другой стороны является лишь чуждой, частной волей, склоняющейся в данном случае к несправедливости и подверженной ошибкам».

Суть общей воли в применении к общему интересу заключается в том, чтобы быть правой и справедливой. Суть же общей воли в применении к частному факту, напротив, не обладает этой правотой и справедливостью. Причина этого различия кроется не только в невнимательности, которая обычно проявляется, когда человек не заинтересован в деле, но и в страсти, которая берет верх, когда интересы судьи или администратора противоположны интересам стороны, подлежащей суду, или просто отличаются от них.

Из этого принципа вытекает первое следствие, которое пока не является тем, чего мы здесь ожидали, но которое к нему ведет. Оно заключается в том, что для обеспечения беспристрастности суждений и административных решений. Эти постановления и решения, вместо того чтобы быть непосредственным или, скорее, видимым выражением общей воли, должны представлять собой исполнение или применение подлинных актов общей воли - общих актов, иными словами, ранее существовавших законов.

Я утверждаю, что это следствие ведет к другому, и именно в нем заключается решение нашего вопроса.

Если административные и судебные акты должны быть лишь исполнением или применением законодательных актов, необходимо, чтобы первые исходили от иных лиц, нежели те, кому поручены вторые, и осуществлялись в иных формах. Необходимо, чтобы орган, осуществляющий *суверенитет*, был отделен от того, который наделен полномочиями магистратов; необходимо, чтобы носители исполнительной власти отличались от носителей власти законодательной. Это разделение необходимо по двум общим причинам, охватывающим множество других.

Первая причина заключается в том, что, поскольку суверен считается справедливым лишь в тех случаях, когда интересы каждого совпадают, он не дает больше гарантий мудрости при применении закона, чем при издании указа по вопросу, не предусмотренному законом. Следовательно, необходимо учредить магистратуры, организованные таким образом, чтобы обеспечить те гарантии, которые не могут предоставить ни сам суверен, ни его представители. Смит, который является не только великим экономистом, но и великим философом, замечает, что в Афинах, где правосудие вершилось пятью сотнями, тысячу и даже полутора тысячами граждан, позор за несправедливое решение, разделенный между таким множеством людей, был почти неощутим для каждого отдельного человека. Поэтому правосудие там было произвольным. В Риме же, напротив, в главных судах заседали лишь небольшое число судей, чья репутация тем сильнее зависела от справедливости и мудрости их решений, что совещались они всегда публично. (*Исследование о богатстве народов*, кн. V, гл. 1). Вот примеры того, какую заинтересованность необходимо создать у судьи, чтобы гарантировать правосудие.

Вторая причина, требующая фактического различия между законодателем, с одной стороны, и администратором или судьей, с другой, состоит в том, что когда невнимательность или страсти толкают последних к принятию ложных решений, узлы закона удерживали бы их крайне слабо. Закон, который оратор создал вчера и который он может отменить завтра, едва ли стесняет его сегодня в том, хорошо или плохо он его применяет. Было бы еще хуже, если бы законодатель, сдерживаемый некоторым почтением к законам, являющимся его собственным творением, и не имея возможности допустить произвол при их применении, вздумал бы ради удовлетворения своих страстей в определенных обстоятельствах ввести произвол в сами законы; тогда всё было бы потеряно.

Однако это было бы неизбежно, так как сосредоточение властей в одних руках неминуемо привело бы к одной из двух крайностей: либо законодатели принимали бы законы в угоду своим страстям по их исполнению, либо исполняли бы их так, как их страстям угодно было бы их принять.

«Нехорошо, - говорит Руссо, - чтобы тот, кто создает законы, их исполнял, или чтобы народ как единое целое отвлекал свое внимание от общих целей ради частных предметов. Нет

ничего более опасного, чем влияние частных интересов на общественные дела, и злоупотребление законами со стороны правительства - меньшее зло, чем коррумпированность законодателя, которая является неизбежным следствием преследования частных целей».

То, что Руссо говорит здесь о народе как о едином целом, еще в большей степени относится к представительному собранию народа. Ибо, помимо причин, ведущих к неверным решениям и влияющих на народ, существуют и причины, специфичные для корпуса представителей, у которого может сформироваться *корпоративный дух*, порой враждебный самому суверенитету, а следовательно, и мужественным гражданам, которые стали бы на его защиту.

Таким образом, я заключаю, что разделение властей является фундаментальным принципом, существенным условием гарантии полномочий. Проекту новой конституции можно поставить в упрек лишь то, что в нем этот принцип не был воспроизведен в тех словах, которыми он уже был закреплен ранее, и что его, так сказать, попытались скрыть от глаз.

Одиннадцатая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее в мае 1793 года (II год Французской республики).

О законе и законодателе.

Когда естественные и неотчуждаемые права человека были признаны на первом народном собрании; когда на следующем были утверждены первые соглашения, составляющие общественный договор, и каждому была обещана защита всех при условии, что каждый обязуется содействовать защите прав остальных, - целью, которую необходимо достичь на третьем собрании или съезде, является:

1. Регулирование отношений общества с теми членами семьи, которые не принимали участия в общественном договоре: женщинами, детьми и слугами, которые приравниваются к детям в семье. Общество должно гарантировать им защиту от всех и даже от глав семейств; таким образом, семья получает дополнительную гарантию по сравнению с главами: а именно, защиту со стороны и главы, и общества, в то время как защита самого главы ограничивается лишь общественной поддержкой.
2. Необходимо отрегулировать осуществление свободы и права собственности таким образом, чтобы в различных обстоятельствах общественной жизни, где права каждого могут стать неоднозначными или оказаться под угрозой, четкое и общеизвестное правило указывало бы каждому ту черту, за которую он не должен переступать, чтобы не нарушать чужие права.
3. Нужно также принять некоторые экономические меры для обеспечения средств к существованию и торговли граждан, а также для их защиты от общих врагов.

В каждой из этих частей дела должны быть устроены так, чтобы вознаграждение всегда сопутствовало оказанной услуге, было гарантированным и соразмерным; чтобы наказание всегда следовало за проступком, было неотвратимым и пропорциональным; словом, чтобы поощрение и кара всегда естественным образом вытекали из каждого действия в гражданской жизни.

Эти вопросы составляют предмет гражданского или частного права, которое, по правде говоря, не всегда рассматривалось в столь широком аспекте.

Правоведы ставят гражданское право далеко после права публичного или политического; однако это происходит потому, что они упорядочивают вещи по их значимости, а не по порядку их возникновения. Очевидно, что люди не могли прийти к идее репрессивного правительства и собственно уголовных законов, не выработав предварительно правила, согласно которым ими будут управлять. Сначала нужно было подумать о том, как согласовать интересы, и лишь затем - о том, как их ограничивать. Необходимость подавления или принужде-

ния стала ощутимой лишь после того, как обнаружилась недостаточность спонтанных механизмов. Первой гарантией договора стал союз интересов. Второй должна была стать лишь борьба с отклонениями этих интересов. Наконец, законы должны были появиться раньше, чем возникла мысль о необходимости органов магистратуры для их применения. Правительство - это лишь средство исполнения законов, поэтому оно не должно предшествовать законам; это инструмент, который общая воля использует для своего осуществления, и это же является ее гарантией. Следовательно, общая воля должна существовать до правительства; оно должно быть создано для нее, согласно ей и, как следствие, после нее.

Утверждая, что люди не могли прийти к мысли о правительстве или политических законах, прежде чем создали свои гражданские законы, я не говорю ничего, что противоречило бы даже исторической правде. Я прекрасно знаю, что люди почти всегда начинали социальное состояние с того, что подчинялись господам или, по крайней мере, вождям; но обретение господ или даже вождей при отсутствии законов - это не создание правительства и даже не конституирование общества; это лишь переход под власть господства, не знающего ни правил, ни преград.

Я также знаю, что существует множество гражданских законов, которые могут возникнуть только из потребностей уже цивилизованного и управляемого общества. Но эти законы не должны происходить от самого правительства; ибо, повторяюсь, оно должно существовать ради гражданского закона, а не закон ради него. Законы, о которых здесь идет речь, должны вытекать из потребностей самого общества, и как только они возникают, они могут заставить изменить и само правительство; по крайней мере, этот вопрос следует изучать при каждом значительном изменении гражданского закона. Таким образом, будет верным утверждение, что даже в этом случае правительство следует за частным законодательством и должно подстраиваться под него. Словом, оно должно быть его опорой, его помощником; следовательно, оно должно следовать за всеми его изменениями. Само по себе введение новых законов в условиях цивилизации - это не создание новых принципов; это выведение новых следствий из уже признанных принципов для их применения к новым общественным комбинациям, порожденным цивилизацией.

Лишь два обстоятельства могли сделать правительство необходимым до принятия гражданского закона: во-первых, внешняя война; во-вторых, создание общественной собственности, такой как дороги и каналы. Добавьте к этому третье, которое дополняет два предыдущих: формирование государственных доходов для содержания армии и общественных владений. Но и это пока лишь администрирование, а не правительство. У нас еще будет возможность четко обозначить различие между этими двумя понятиями, но оно и само по себе достаточно очевидно: администрирование - это служба, которая предоставляет (прим. *служит* - *ministrat*) гражданам ту помощь или услуги, которые общественное достояние обязано оказывать частным лицам; правительство же - это то, что инспектирует, направляет и приводит администрирование в движение.

Наконец, народ может оказаться слишком многочисленным, чтобы создавать законы самостоятельно. В таком случае он назначает представителей; однако представители, избранные для создания законов, не являются правительственной властью.

Но прежде чем более подробно определить порядок, в котором должны располагаться эти различные законы, необходимо сосредоточить внимание на подлинном характере закона - будь то политического или гражданского - и на сущностных чертах гражданского законодателя или законодателя политического, именуемого учредителем.

Когда мы говорили о разделении властей, мы кратко наметили основные признаки закона. То, что последует далее, будет лишь развитием уже сказанного.

Общественный договор дает обществу жизнь, но только законодательство может придать ему движение и волю; ведь первичный акт, посредством которого это тело формируется и объединяется, еще не определяет того, что оно должно делать для собственного сохранения. Необходимы соглашения, чтобы соединить права с обязанностями: именно законы и составляют эти соглашения. Законы - это, собственно, лишь детальные условия гражданского союза. Народ

должен быть их автором, поскольку только тем, кто объединяется, надлежит устанавливать условия своего общежития.

Для формирования закона необходимы два условия: первое - чтобы он выражал общую волю, и второе - чтобы он касался общего предмета. Другими словами, закон должен объединять в себе всеобщность воли, которая его создает, и предмета, к которому он применяется; он должен быть трудом всего народа и для всего народа; он должен исходить от всех, чтобы применяться ко всем.

Воля должна быть общей, потому что индивид заключил договор только со всей совокупностью остальных и может получить гарантии только от большинства. Физически он может быть защищен только большинством, так как реальная власть и преобладающая сила существуют лишь в нем. Морально он может быть защищен также только большинством, ибо именно сходство и соответствие интересов наибольшего числа людей интересам каждого отдельного человека служат залогом последних.

Предмет воли также должен быть общим, так как залогом правомерности общей воли является общность интереса каждого в принятом решении. Между тем в любых решениях, где интерес носит частный характер, каждый судит о том, что ему чуждо, и ни у кого нет того чувства личного интереса, которое является основой верности суждения; в таких случаях люди не боятся задеть или навредить себе выносимым решением.

Отсюда вытекают два следствия:

1. распоряжение, которое человек, кем бы он ни был, отдает от собственного имени по общему вопросу, является не законом, а актом тирании;
2. распоряжение, которое отдает сам суверен по частному вопросу, также не является законом, а лишь административным актом.

Так, например, значительная часть решений, принятых Учредительным собранием, должна называться законами не более, чем постановления короля и его совета при старом режиме. Обвинительный акт или декрет о ликвидации - это не закон, даже если он исходит от учредительного органа, точно так же, как не был законом эдикт об учреждении пленарного суда, когда он исходил от короля в его совете. Разница лишь в том, что эти акты законодательного корпуса, не будучи обязательными в качестве закона, обязательны в качестве актов закреплённой за ним исполнительной власти; в то время как эдикты короля по вопросам законодательства и, прежде всего, конституции были лишь оскорблением народного суверенитета.

К уже изложенным выводам можно добавить третий. Он заключается в том, что суверен не может придавать своим законам обратную силу, поскольку закон не может быть направлен в прошлое и действовать задним числом, не затрагивая при этом частных лиц, из-за чего он теряет одно из своих главных свойств. Это особенно недопустимо в отношении уголовных законов, так как в этом случае предполагалось бы право наказывать за действия, которые на момент их совершения не были запрещены.

Руссо, утверждая, что законодательное право принадлежит исключительно народу и что это право неотчуждаемо, тем не менее выдвигает принцип, согласно которому конституционные и прочие законы должны составляться не собранием делегатов от народа, а одним-единственным человеком, которого он называет *законодателем*, и затем выноситься на свободное голосование народа.

«Только тем, кто вступает в союз, - говорит он, - надлежит определять условия общежития; но как они их определяют? Произойдет ли это по общему согласию, в результате внезапного вдохновения? Есть ли у политического организма орган для выражения своей воли? Кто наделит его способностью предвидеть?».

Таким образом, согласно Руссо, законодательная инициатива должна принадлежать одному человеку и сопровождаться поучительным изложением мотивов этих законов.

Поскольку мнение Руссо по этому вопросу расходится с практикой всех свободных народов, где законодательство доверено представителям, можно задаться вопросом: какой путь лучше и с большей вероятностью приведет к созданию хороших законов? Стоит ли передавать

подготовку закона (с последующим утверждением народом) - иными словами, законодательную инициативу - одному человеку, выбранному народом, или же группе лиц, также избранных народом?

Однако решение этого вопроса не может быть простым. Будет столько же решений, сколько существует возможных форм обсуждения; число комбинаций, которые можно здесь составить, бесконечно, и нет даже двух таких, которые не привели бы к разным результатам.

В общем же можно сказать, что в хорошо подобранном собрании, свободном от страстей, где правильно организованное обсуждение позволит использовать знания каждого голосующего, все элементы решения будут: 1) точно собраны; 2) верно представлены во всей полноте; 3) тщательно взвешены в случае их противоречия. Трудно представить, чтобы один человек не упустил какой-либо интерес, не отнесся к какому-то из них слишком легкомысленно из-за недостатка знаний или внимания, или, наконец, не взвесил бы их все с должной тщательностью.

В собрании у каждой идеи есть свой защитник, который раскрывает всю её ценность; две противоположные идеи развиваются там во всем своем объеме, каждая - через человека, сделавшего это своей задачей. Способна ли одна голова охватить все связи двух противоречивых идей, беспристрастно принять по очереди каждую из них, а затем холодно и справедливо вынести по ним решение?

С другой стороны, в законодательстве, отлитом, так сказать, единым разом, в одной форме, одной рукой и из совершенно однородного материала, наверняка будет больше единства, цельности и согласованности, чем в результатах работы собрания, где из обширного плана часто выбрасывают идею, необходимую для его реализации, или вносят туда нечто противоречащее и т. д.

Впрочем, замечу, что обе эти методики можно свести к одной и что по сути они очень похожи, если орган, обладающий законодательной инициативой, хорошо организован.

Допустим, одному человеку поручено дать законы своей стране: что он сделает? Он начнет с того, что соберет в уме всё, что читал и о чем размышлял; он окружит себя всеми трудами, в которых надеется найти нечто новое; он обратится за советом к людям, которых знает как наиболее просвещенных; если останутся сомнительные моменты, требующие пояснения, он задаст вопросы, вынесет их на суд общественности, предложит тему для обсуждения и т. д. И вот перед нами законодатель, который объединяет вокруг себя все преимущества национального собрания. Он видит все аргументы «за» и «против» по каждому вопросу; и у него есть основания для принятия решения, свободные от лоска красноречия и влияния пафосных речей; он свел их к самой сути с помощью холодного анализа, и к этому преимуществу он добавляет возможность согласовать всё в своем труде, объединить все элементы так, чтобы каждая часть способствовала успеху целого, и так далее.

Точно так же и в национальном собрании можно достичь единства законодателя. Достаточно назначить докладчика, который стал бы своего рода хранителем всех идей. Можно потребовать, чтобы ораторы не просто провозглашали их с трибуны, но и излагали в письменном виде, дабы вдумчивое изучение, проведенное докладчиком, позволило установить все преимущества и недостатки каждой мысли. Можно постановить, что ни одна идея не попадет в итоговый труд, пока у него не будет времени взвесить её и высказать свое мнение. И тогда мы вновь получаем «единого законодателя», ибо в данном случае он - по крайней мере, в условиях уже просвещенного народа - является лишь докладчиком идей, предложенных другими.

В этой последней системе мы находим преимущество, заключающееся в том, что по каждой отдельной идее собрана упорядоченная коллекция всего лучшего, что было сказано в её пользу, поскольку каждый оратор, прикипев душой к своей мысли, постарается собрать всё, что может придать ей веса. Все эти элементы будут представлены в новом свете, так как их противоречия заставят их столкнуться друг с другом. Добавьте к этому, что нам больше не придется бояться соблазнов красноречия, как в ином случае, и что мы в меньшей степени бу-

дем опасаться подкупа законодателя, так как публика, будучи свидетелем дебатов, станет судьей честности финальных дискуссий, которые она к тому же сможет прояснять и направлять собственным мнением. Впрочем, здесь я подразумеваю хорошо организованное собрание.

Какова же должна быть цель законодателя? Вот что говорит Руссо по этому вопросу: «Тот, кто осмеливается взяться за дело устройства народа, должен чувствовать себя способным, так сказать, изменить человеческую природу; превратить каждого индивида, который сам по себе является совершенным и замкнутым целым, в часть более крупного целого, от которого этот индивид в некотором роде получает свою жизнь и свое бытие; изменить конституцию человека, чтобы укрепить её; заменить физическое и независимое существование, которое мы все получили от природы, существованием частичным и моральным. Словом, нужно, чтобы он лишил человека его собственных сил и дал ему взамен другие, которые были бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без помощи других. Чем больше эти естественные силы мертвы и уничтожены, чем больше приобретенные силы велики и прочны, тем более прочным и совершенным является общественное устройство. Так что если каждый гражданин является ничем и не может ничего без всех остальных, а сила, приобретенная целым, равна или превосходит сумму естественных сил всех индивидов, то можно сказать, что законодательство достигло высшей точки совершенства, какую оно только способно достичь».

Этот отрывок, ставший результатом глубоких раздумий, тем не менее отмечен любимым заблуждением Руссо, согласно которому общественное состояние не делает людей ни лучше, ни счастливее. Он полагает, что законодатель должен *изменить* человеческую природу, а не *развивать* её. Он считает, что нужно трансформировать индивида, который сам по себе является совершенным и одиноким целым, в часть общественного целого. Но индивид вовсе не является существом по сути своей одиноким, так как он повсюду вступает в союзы; он также не является существом совершенным, пока он одинок, поскольку он не развивается и вступает во владение всеми своими способностями наслаждаться и своими средствами только в условиях цивилизации.

Следовательно, речь идет не о том, чтобы превратить это *целое* в часть общественного организма, а наоборот, сделать этого индивида - который в естественном состоянии является лишь крошечной частью того, чем он может стать - целым, которое обретает в общественном состоянии всю полноту значимости, на которую оно способно. Речь идет не о замене физического и независимого существования, данного природой, существованием частичным и моральным, а наоборот, о том, чтобы увеличить и дополнить в физическом и моральном плане собственное существование человека и сделать его свободным. Речь идет не о том, чтобы уничтожить естественные силы и дать взамен чуждые, а о том, чтобы приумножить первые, объединив их с другими, которые окажут им поддержку в случае нужды. Речь идет не о том, чтобы низвести каждого гражданина до состояния ничтожества, когда он не может ничего без других, а напротив, о том, чтобы каждый гражданин мог больше для самого себя, больше для других и меньше - против других.

Наконец, с этими уточненными представлениями о цели общества будет легко признать, что для совершенного законодательства недостаточно, чтобы сила, приобретенная целым, была равна или превосходила сумму естественных сил каждого индивида; она должна быть абсолютно выше их, бесконечно выше; ведь общество, сила которого складывалась бы лишь из простой суммы усовершенствованных и развитых способностей его цивилизованных членов, всё еще находилось бы очень далеко от той цели, к которой оно должно стремиться.

Какими же качествами должен обладать законодатель? Вот ответ Руссо: «*Чтобы открыть правила общества, наилучшим образом подходящие для наций, потребовался бы высший разум, который видел бы все страсти людей и не испытывал ни одной из них; который не имел бы ничего общего с нашей природой, но знал бы её досконально; чьё счастье не зависело бы от нас, но кто всё же пожелал бы заняться нашим; и, наконец, кто в ходе времени, готовя себе славу в далеком будущем, мог бы трудиться в одном веке, а плодами своего труда наслаждаться в другом. Понадобились бы боги, чтобы дать законы людям*».

Руссо, как мы видим, вовсе не считал, что искусство управлять людьми - это удел невежества и глупости. Совершенно верно, что все великие истины политики или морали сводимы к понятиям, которые, кажется, принадлежат лишь здравому смыслу. Однако здравого смысла, которого достаточно, чтобы их принять, далеко не всегда хватает для того, чтобы их открыть. Когда вы читаете Тюрго или Франклина, вам кажется, что они лишь говорят то, о чем вы и сами думали или вот-вот готовы были подумать. Но остановитесь в конце главы, прочтите заголовки и тезисы следующей и попробуйте составить её сами; тогда вы увидите, сделали ли вы это так же, как эти философы. Здравый смысл верно судит о политических истинах, когда их ему представляют, но его недостаточно, чтобы оценить, является ли система полной и логичной. Его недостаточно, чтобы собрать, закрепить и объединить элементы; его недостаточно, чтобы распознать в человеке то, что принадлежит его природе, и то, что является результатом влияния общества. Зачастую лишь благодаря проницательности науки мы приходим к здравому смыслу. Не существует ни одной геометрической истины, которая не была бы понятна здравому смыслу, но это - здравый смысл геометра. Посмотрите на всех этих людей, якобы наделенных здравым смыслом, которые хотят создавать законы; вся их доктрина после некоторого бормотания сводится к утверждению, что законов быть вовсе не должно. Чтобы обладать здравым смыслом в каком-либо ремесле, нужно прежде всего быть способным что-то в нем видеть, чувствовать и знать.

Первая часть мнения Руссо, однако, заслуживает критики. Быть может, требовать богов, чтобы дать законы людям, столь же неверно, как и желание наших нынешних «сильных мира сего» иметь дело лишь с невежественными и грубыми умами. Вместо того чтобы говорить вместе с ним: *«Потребовался бы высший разум, который видел бы все страсти людей и не испытывал ни одной из них, который не имел бы ничего общего с нашей природой, но знал бы её досконально»*, скажем так: потребовался бы разум, в данный момент чуждый всем страстям человеческим, но испытавший их все, изучивший все их причины и побудительные мотивы; разум, который был бы во всех отношениях близок нашей природе, чтобы хорошо её знать, но был бы свободен от пороков, которые её извращают и унижают.

Важный смысл заключен в следующих двух строках: *«Потребовался бы человек, чьё счастье не зависело бы от нас, но кто всё же пожелал бы заняться нашим; и, наконец, кто в ходе времени, готовя себе славу в далеком будущем, мог бы трудиться в одном веке, а наслаждаться в другом»*.

Здесь, возможно, кроется широкое основание для конституции.

Законодатель, зависящий от мнения своего времени - мнения, которое порой может быть лишь сплетением чудовищных предрассудков, и которое мимолетные обстоятельства могут сделать властным и неистовым - такой законодатель скорее обречен льстить народному мнению, чем способен просвещать его. Есть опасение, что он будет больше работать для того, чтобы сделать народ довольным, чем для того, чтобы сделать его счастливым; чтобы удовлетворить его чаяния, а не обеспечить ему реальное благополучие; ради его идей, а не ради его интересов; ради дня сегодняшнего, а не ради грядущих веков. Впрочем, не стоит спешить с выводом, будто законодатель должен предлагать свои идеи лишь для далекого будущего, и что его планы должны быть запечатаны сразу после написания и вскрыты лишь после его смерти. Здесь возникает иная опасность: труд, созданный без интереса к текущему моменту, может оказаться лишенным ценности. Именно эту опасность чувствовал Руссо, когда сказал: *«Нужно, чтобы законодатель, готовя себе славу в далеком будущем, мог трудиться в одном веке, а плодами своего труда наслаждаться в другом»*.

Как же избежать этих противоположных опасностей? Станем ли мы рассматривать иностранцев как некое «живое потомство», и - по примеру большинства греческих городов, а также многих современных республик Италии и Женевы - будет ли рождающееся или возрождающееся общество призывать иноземцев, чтобы те предложили ему свои законы? Или же оно заставит законодателя, подобно Ликургу, отказаться от всяких общественных должностей и даже отправиться в изгнание после того, как он создаст конституцию?

Когда греческие города давали себе законы, уже существовали свободные народы, у которых они могли заимствовать свободных мужей. Но сможет ли народ, обретающий свободу среди порабощенных наций, всегда найти людей, которых можно было бы пригласить и которые не были бы развращены?

Если малые народы Италии, создававшие свои республики, легко находили достойных законодателей, то лишь потому, что они стремились к аристократическому правлению; а создателей аристократий никогда не было трудно найти.

Первое человеческое общество, чтобы конституироваться, было ограничено лишь собственными членами. Любое общество, которое пожелает больше свободы, чем существует в современную ему эпоху, также будет ограничено собственными ресурсами. Таким образом, приглашение стороннего законодателя не может быть общим способом устройства государства.

Осуждение законодателей на долгое изгнание, несомненно, было бы хорошим способом оградить их от влияния господствующего мнения; но послужило бы это тому, чтобы заинтересовать их в далекой славе? У народа, чья добродетель сомнительна, способные, но корыстные люди могли бы уклоняться от законодательных функций, дабы избежать ссылки. Или же, приняв их, они могли бы продать себя и свою страну иностранным державам, у которых впоследствии стали бы искать плату за свое вероломство.

Скажу ли я прямо? Единственный способ, который кажется мне способным примирить интересы законодателя с его силой противостоять предрассудкам, заключается не в том, чтобы отделять его от общей судьбы после того, как он создаст законы, а напротив - в том, чтобы подчинить его ей. Нужно не возвышать его над согражданами, а вернуть на их уровень; нужно лишить его на время любых частных уступок и любых социальных отличий.

Прекрасным и полезным был декрет Учредительного собрания, который на два года исключал его членов из всех государственных должностей, назначаемых королем. Еще более величественным был декрет Конвента, объявлявший члена конституционного собрания неспособным занимать какую-либо должность в течение восьми лет. Он заставлял законодателя ставить своей целью не милость народа, а его справедливость; не его мимолетное увлечение, а его просвещенную благодарность. Это изгоняло из его души обманчивое искушение сиюминутной выгодой, предлагая взамен интерес долгосрочный. Этот декрет словно говорил ему: *«Не думай о должностях, которые будут раздаваться завтра; они не для тебя. Тебе предстоит разделить участь простых граждан - так сделай же её счастливой. Если ты жаждешь свидетельств народного довольства, если стремишься к должностям в республике, прежде всего добейся, чтобы конституция, которая их учреждает, была прочной; сделай так, чтобы она принесла народу счастье, и через восемь лет эти должности станут наградой за твои труды»*.

Я хорошо знаю, что зависть в Учредительном собрании и партийный дух в Конвенте обвиняли в том, что лишь они породили этот прекрасный закон. Но я также знаю, что именно ничтожная алчность одних, чувство «бедности без добродетели» у других, а у третьих - почти трусливое снисхождение к этим двум немощам, которыми, как они видели, страдали их коллеги, и, наконец, тактическая игра остальных привели к отмене этого декрета под предлогом соображений, якобы вытекающих из великих принципов, но на деле продиктованных второстепенными правилами.

Когда я говорю, что чувство «бедности без добродетели» повлияло у некоторых на доклад об отмене декрета, я не имею в виду бедность, лишенную терпения или мужества. Я говорю лишь о тщеславной бедности, которая не осмелилась признаться в своем положении и заявить о своих правах. Несомненно, бедные депутаты, чей единственный ресурс заключался в государственной службе, не должны были обрекать себя на голодную смерть, и общество не имело права этого требовать. Но они должны были прямо просить о средствах к существованию, доказать, что нуждаются в них; общество обеспечило бы им пропитание такой ценой, и оно не заплатило бы слишком дорого за сохранение декрета, который Конвент в итоге отменил.

Остается рассмотреть политический характер законодателя, то есть какова природа его функций. «Законодатель, - говорит Руссо (и следует заметить, что под этим словом нужно понимать законодателя политического), - во всех отношениях является в государстве человеком необыкновенным. Если он должен быть таковым по своему таланту, то он не в меньшей степени является им по своей должности. Это не магистратура и не суверенитет. Эта должность, созидая республику, не входит в её устройство. Это функция частная и высшая, не имеющая ничего общего с человеческой властью; ибо если тот, кто повелевает людьми, не должен повелевать законами, то и тот, кто повелевает законами, также не должен повелевать людьми; в противном случае его законы, будучи лишь орудием его страстей, зачастую лишь увековечивали бы его несправедливость; он никогда не смог бы избежать того, чтобы частные интересы не исказили святость его труда».

В этом отрывке из Руссо содержится несколько положений, которые следует рассматривать отдельно и которые не связаны друг с другом. К тому же не все эти положения сформулированы точно; наконец, они не представляют собой законченную теорию учредительной власти. Руссо говорит о том, чем *не является* законодатель, наделенный учредительной властью, но не говорит, чем он является.

Учредительная власть - это вовсе не суверенитет; вот первое положение, на котором необходимо остановиться. Суверенитет неотчуждаем, так как его отчуждение означало бы разрыв общественного договора, в силу которого все обещают каждому защиту и гарантию.

Но может ли суверенитет осуществляться через представительство? Руссо полагает, что нет, поскольку, по его словам, если власть и может передаваться, то воля - нет. Волю нельзя передать, ибо невозможно, чтобы частная воля, которая по своей природе стремится к предпочтениям, во всех случаях и неизменно на долгий срок согласовалась с общей волей, которая всегда стремится к равенству. «Суверен вполне может сказать, - продолжает Руссо, - „Я хочу сейчас того же, чего хочет такой-то человек или, по крайней мере, того, чего он говорит, что хочет“; но он не может сказать: „Я буду хотеть и завтра того, чего захочет этот человек“». Можно оспорить даже первую часть этого последнего утверждения. С точки зрения морали невозможно, чтобы несколько тысяч человек имели одну и ту же волю и, следовательно, были представлены одним и тем же человеком.

В главе XV четвертой книги «Общественного договора» мы читаем такие слова: «Депутаты народа, следовательно, не являются и не могут быть его представителями; они лишь его уполномоченные; они ничего не могут постановлять окончательно. Любой закон, который народ не ратифицировал лично, недействителен; это не закон. Английский народ считает себя свободным: он жестоко ошибается; он свободен только во время выборов членов парламента; как только они избраны, он становится рабом, он - ничто».

Строгим следствием этих принципов Руссо было бы то, что не только учредительная власть не может осуществляться через представительство, но и сама власть законодательная. Если воля не может быть представлена, то решения законодательного и учредительного органов можно рассматривать лишь как предложения уполномоченных, как законодательную инициативу, вынесенную на решение народа; и в этом случае ни одно постановление законодательного корпуса по вопросам гражданского законодательства, каким бы срочным или детальным оно ни было, не может быть приведено в исполнение, не получив одобрения народа.

Именно исходя из этих принципов один из депутатов (Дантон) на заседании 22 апреля прошлого года предложил заменить в Декларации прав слова «представители народа» словом «делегаты». И действительно, согласно принципу Руссо, из конституционного словаря следует вычеркнуть слова «представитель» и «представительный». Если законодательный корпус ни в коем случае не является отражением народа, верным выражением его воли; если не существует способов - будь то в порядке выборов или в порядке обсуждения - обеспечить соответствие общей воли воле большинства делегатов народа, то не стоит более говорить о представительном правлении; само это слово является оскорблением национального суверенитета, богохульством против народа. То, что называли этим именем, должно называться «выборным правлением». В этой системе следует упразднить и само понятие «законодательный корпус»

как посягающее на национальный суверенитет, и заменить его названием «корпус законодательной инициативы» или «совещательный корпус».

Но так ли следует понимать мнение Руссо? В первой главе второй книги «Общественного договора» он говорит, что приказы правителей могут считаться выражением общей воли до тех пор, пока суверен, имея возможность воспротивиться им, этого не делает. В подобных случаях из всеобщего молчания следует предполагать согласие народа.

Можно полагать, что под этими выражениями или «приказами правителей» Руссо имел в виду не только административные распоряжения или правительственные указы в чрезвычайных обстоятельствах, но и вопросы законодательства. Таким образом, чтобы не противоречить самому себе, он должен допускать временную силу решений делегатов; но если он признает этот временный статус в вопросах законодательства, нет причин оспаривать его и в вопросах конституции. Ведь народ, заключая общественный договор (к которому каждый гражданин должен присоединиться лично, чтобы он стал общим для всех), может назначить делегатов для составления конституции, и учреждение правительства может быть доверено этим делегатам при условии последующей ратификации. Если народ может временно наделить правом волеизъявления в области законодательства, он может сделать это и для конституции, поскольку законодательство способно затронуть или даже разрушить саму конституцию. Но в этом случае слова «представители», «представительный», «законодательный корпус», «учредительный орган» не имеют смысла, применимого к делу. Не существует временного представительства постоянной воли. Мимолетное явление не может быть представительством чего-то долговечного. Также не существует представительства целого в его малой части. Нечто шаткое не является образом чего-то абсолютного. Не существует представительства народной власти в функции, подчиненной народу. Не существует представительства общей воли в актах, которые общая воля, возможно, неизбежно отвергнет. Кратковременное восполнение народной власти не является представительством этой самой власти. Следовательно, в полномочиях временного законодателя нельзя видеть ничего, кроме мандата на волеизъявление, по своей природе схожего с мандатом на действие; и если называть уполномоченного, ответственного за волеизъявление, «представителем», то тем же именем следует называть и любого избранного чиновника, ибо каждый чиновник облечен властью действия, принадлежащей народу, точно так же как депутат - властью волеизъявления.

Но даже если называть «представительной» ту власть, которая на деле ничего не представляет; если по причине важности учредительного законодательства считать, что оно не должно исполняться временно, - тогда только за законодательным корпусом можно было бы сохранить это название и статус «собрания представителей». Учредительный орган не мог бы, как таковой, принять эти титулы без узурпации. Из чего следовало бы, что, будучи призван к более высокой функции, чем законодательный корпус, он, тем не менее, именно из-за исключительной важности этой функции обладал бы меньшим авторитетом.

Мое личное мнение по этому поводу сводится к следующим положениям:

Суверенитет не может быть представлен, потому что он неотчуждаем, и потому что не может быть представительства без отчуждения суверенитета. По той же причине суверенитет не может быть и делегирован. В самом деле, чтобы его представительство или делегирование были чем-то реальным, а не иллюзорным, их следовало бы наделить физическими средствами принуждения к повиновению. Но средства принуждения к повиновению являются одновременно и средствами уничтожения суверенитета.

Предварительные этапы формирования общей воли, то есть обсуждение и дискуссия, могут быть доверены делегатам в форме мандата. Суверен может сказать избранным им людям: «Обсудите в моем присутствии все вопросы, которые меня интересуют; я выслушаю вас; примите решение большинством голосов, а я посмотрю, подходит ли оно мне». Право обсуждать и рассматривать конституцию - вот что такое учредительная власть.

В крайнем случае возможно поручить доверенным лицам осуществление воли, имеющей временную исполнительную силу, при условии, что им помешают использовать имеющиеся

в их руках средства для превращения их временных волей в окончательные. Если удастся наложить такую узду на амбиции и дерзость, принцип суверенитета не будет нарушен мандатом на волеизъявление, сопровождаемым правом временного исполнения.

Но благо ли то, что обсуждения делегатов подлежали временному исполнению? Это уже другой вопрос. Подобная мера может быть благом лишь в той мере, в какой она необходима. Следовательно, вопрос состоит в том, чтобы выяснить, существует ли такая необходимость.

Сторонники утвердительного ответа не преминут заявить, что бывают обстоятельства настолько неотложные, а вопросы законодательства столь сложны или детализированы, что количество дел множится и нельзя дожидаться согласия народа, чтобы приступить к исполнению решений.

Я отвечаю на это, что мне противопоставляют тот самый порядок вещей, который я и стремлюсь предотвратить. Не существует такого понятия, как «неотложный закон», там, где принципы ясны, а свобода священна. Общие правила, как говорил Мирабо, - это сокращенное изложение всех возможных случаев. Нужно приучать людей руководствоваться собственной логикой, а не водить их на помочах. Законодательство должно ограничиваться указанием двух вещей: отправной точки для каждого и цели, к которой каждый должен прийти. Разум должен проложить путь между этими двумя крайностями. До сих пор мы ясно видели, что закон может выносить постановления только по объектам общего характера; однако не всякое распоряжение или приказ, имеющий общий предмет, обязательно является по этой причине предметом закона. Средства исполнения большинства административных законов требуют регламентов, которые составляются администраторами, и никто не оспаривает у них это право. До тех пор пока эти регламенты не нарушают ни закон, целью исполнения которого они служат, ни общие принципы, ни какой-либо иной позитивный закон; пока они лишь облегчают и ускоряют исполнение, возложенное на должностное лицо, - они являются обязательными; они входят в функции магистрата. Но поскольку, строго говоря, не существует ни одного предписания или указа, который не был бы более или менее отдаленным следствием некоего исходного принципа или средством его реализации, вопрос заключается в том, где находится то звено в великой цепи следствий, в котором начинается исполнительный регламент и заканчивается законодательный акт. Чтобы решить этот вопрос, над которым я еще недостаточно размышлял, потребовался бы глубочайший анализ. Тем не менее, вот соображение, которое может, по крайней мере, направить на верный путь: всякий акт, который предоставляет или требует, предписывает или запрещает что-либо и который, делая это, может повлиять на естественное состояние гражданина, - всякий подобный акт является предметом закона. Всякий же акт, который лишь предоставляет средства исполнения или регулирует второстепенные детали, является лишь предметом регламента. Исходя из этого различия, мы видим, что сфера законодательства не столь обширна, как принято считать.

Впрочем, я замечу, что для правильной организации государственного управления не менее важно отметить точку, где законодатель становится администратором и где его функция прекращается, чем указать точку, где эта самая функция начинается. Если важно, чтобы он не посягал на права граждан и не совершал ничего, что не вытекало бы из закона, то столь же необходимо избегать того, чтобы он вмешивался в административное управление и не становился министром, администратором или муниципальным чиновником.

Я нахожу несовместимыми эти два слова: *закон* и *неотложный*. Неотложность может истекать лишь из каких-то частных фактов, а закон может касаться только общих случаев. (В дальнейшем я покажу, что голосование по налогам вовсе не является актом законодательства, равно как и их распределение). Я также отрицаю полезность законов, перегруженных деталями; более того, я нахожу и эти два понятия несовместимыми. Мелочи не могут быть предметом закона. Я отрицаю, что должны существовать запутанные законы; и, наконец, я отрицаю, что законов должно быть много. Иметь слишком много законов, да еще и сложных - значит не иметь их вовсе. Разве есть законы у того народа, который не может их изучить или

познать? Не подчинен ли такой народ лишь законникам? Владеет ли такой народ своим суверенитетом на самом деле, если он не знает ни того, что он приказал, ни того, под чем подписался?

Из обязательства выносить законы на утверждение народа вытекало бы, во-первых, то величайшее преимущество, что законов принималось бы мало, они были бы ясными и общими; во-вторых, это привело бы к тому, что законы создавались бы без страсти и небрежности. Де-легированный корпус предлагал бы проекты подлинных законов, так как он более не обладал бы неограниченной властью и был бы вынужден обретаť все необходимые моральные качества, чтобы заменить силу политического господства, которой у него больше не будет, авторитетом своего морального веса; в-третьих, следствием этого стало бы и большее уважение к законам, ибо они стали бы более редкими и по-настоящему стали бы творением народа, который бы их утвердил.

В-четвертых, это позволило бы устранить те различия, которые столь затруднительно как обозначить, так и соблюсти: между законодательными и учредительными органами, между законами конституционными и гражданскими, а также между последними и простыми регламентами. В-пятых, в благих законах стало бы больше стабильности; законодательная власть не ставила бы себе в заслугу реформирование или уничтожение законов своих предшественников. В-шестых, исполнительная власть обрела бы больше деятельности и силы. В-седьмых, формы обсуждения - те самые формы, чье несовершенство столь очевидно и опасно, чье улучшение требует стольких знаний и практики и все еще кажется нам столь далеким, - эти формы имели бы меньшее значение, а их неправильность приносила бы меньше неудобств. В-восьмых, было бы покончено с огромным злом - существованием самой грозной из властей, не несущей никакой ответственности. Это зло неизбежно, так как суть совещательного органа заключается в пользовании полной свободой мнений, а мнение никогда не может считаться преступлением. Может ли общество в таком случае доверяться безответственным законодателям и временно подчиняться их декретам? Говорят, что они несут моральную ответственность; но эта ответственность иллюзорна для индивидов, которые принимают решения только коллективно. Если собрание из тысячи членов совершает ошибку, на каждого члена ложится лишь тысячная доля вины. Но частица вины - это, по сути, оправдание; предполагается, что человека увлекли за собой или что он не смог избежать общего заблуждения. Оправданием ему служит пример всего корпуса.

Второе положение состоит в том, что роль учредителя вовсе не является должностью магистрата. Очевидно, что она и не может ею быть, поскольку магистратура учреждается для исполнения уже созданного закона, тогда как учредитель, существующий до конституции, которая является плодом его трудов, существует и до самого закона.

Третье положение, или, вернее, важное предписание, которое следует извлечь из трудов Руссо, заключается в том, что тот, кто властвует над законами, не должен властвовать над людьми - дабы его законы, став орудиями его страстей, не послужили лишь увековечиванию его несправедливостей.

Это предписание является лишь применением принципа разделения законодательной и исполнительной властей, и это применение гораздо более значимо для законов политических, нежели для законов гражданских.

На трибуне Учредительного собрания так часто повторяли, что учредительный орган облечен всеми полномочиями, что нынешний Конвент в полной мере осуществлял их все, даже не считая нужным напоминать об этом мнимом принципе. Руссо был весьма далек от подобной доктрины, как это видно из комментируемого нами отрывка; он приводит в пользу своего мнения весьма убедительные доводы, на которые, впрочем, опыт уже наложил свою печать. Что было бы, если бы Руссо рассматривал революционные времена! Известно, что он считал невозможным создание конституции в подобную эпоху. Он полагал, что правительства, созданные в пору бурь, губят государство. *«Узурпаторы, - говорит он, - всегда приносят с собой или выбирают времена смут, чтобы под прикрытием общественного ужаса проводить губительные законы, которые народ никогда не принял бы в спокойном состоянии. Выбор момента*

для учреждения - один из самых верных признаков, по которым можно отличить дело законодателя от дела тирана».

В то время как в Учредительном собрании повторяли ложную максиму о том, что учредительная власть включает в себя все виды власти, Сийес вместе со своими друзьями постоянно высказывал прямо противоположное мнение. *«Мы осуществляем, - говорил он, - власть революционную, и именно по этой причине мы не в состоянии осуществлять власть учредительную».*

Революционная власть проявляется лишь через бдительность, сопротивление и действие; учредительная власть - через наблюдение, сосредоточенность и размышление. Обе власти должны бодрствовать; но одна должна бодрствовать с открытыми глазами, а другая - с закрытыми. Первая предельно внимательна к конкретным людям, местам и обстоятельствам; вторая должна охватывать все времена, всех участников общества и не останавливать взгляд ни на одном частном предмете. Первая - это вооруженный судья, держащий одновременно весы и меч, который то выносит приговор в трибунале, то сражается на поле битвы. Вторая - это человеческий разум, обращенный к принципам общественного порядка и указывающий этот порядок людям, не видя их и не касаясь. Что же может быть общего между революционными и учредительными функциями?

Спросите добросовестных депутатов, которые только что осуществляли от имени Конвента всю полноту национальной власти в департаментах; расспросите их о состоянии духа, в котором их оставили зрелища, чьими свидетелями и участниками они были. Они ответят, что их разум был слишком поглощен такими людьми, такими страстями, такими событиями и такими бедствиями, чтобы охватить мыслью всё человечество, все предметы и все времена, чтобы увидеть всё на своем месте и в естественном положении. Они скажут, что привычка к действию делает для них невозможной привычку к размышлению. Следует ли из этого заключить, что Конвент поступил дурно, отправив комиссаров в департаменты? Я далек от этой мысли; напротив, я полагаю, что если для всего состава Национального конвента существовала несовместимость революционных и учредительных функций, то само решение отправить комиссаров, которые осуществляли бы его власть вне Собрания, позволяло большинству депутатов оставаться на некотором расстоянии от движений революции.

Когда Учредительное собрание заявляло, что оно облечено всеми полномочиями, оно заблуждалось как на практике, так и в принципах. Оно обладало лишь властью создать конституцию. Безусловно, само установление этой конституции совершало революцию, и в этом смысле Учредительное собрание также было властью революционной. Но существует огромная разница между тем, чтобы совершить революцию посредством конституции - то есть мирным переходом через законный порядок, - и тем, чтобы осуществлять полицейский надзор в условиях спонтанной революции и восстания или бороться с тайными и явными контрреволюционерами. Из способности делать одно нельзя выводить способность делать другое.

Однако возражали, что, (1) поскольку учредительная власть предшествует властям учрежденным, она неизбежно должна замещать их, пока те не созданы. - Но почему же? Разве народ, избирающий учредительный орган, не может также избрать орган революционный? (2) Как! Поставить рядом два органа равной власти! Разве в смутные времена это не означало бы выставить на обозрение противоборствующих партий два знамени, под которыми они могли бы начать гражданскую войну? - Вовсе нет. С какой стати двум органам, избранным одними и теми же гражданами, иметь противоположные взгляды? И далее: разве равенство ранга и даже равенство силы имеет значение, если эта сила применяется к разным объектам, к разным миссиям и осуществляется, так сказать, в противоположных сферах? Какой конфликт может возникнуть между способностью желать и действовать в настоящий момент и абстрактной способностью обсуждать и предлагать установления на века? Революционная власть осуществляется на своего рода поле битвы; она действует в шуме, в пыли, в дыму, в огне, в крови. Учредительная же власть должна возноситься к небесам, парить в тишине и быть

выше всех голов. Но всё же существует опасение - на мой взгляд, необоснованное - столкновения между этими двумя властями; в таком случае пусть один из этих органов сменяет другой или, если угодно, обе власти осуществляются одним и тем же корпусом последовательно.

Но, скажут еще, то, что вы предлагаете, часто невозможно. Бывает такой размах революции, который можно остановить только конституцией. Следовательно, нельзя приступать к созданию конституции, пока революция не закончится. Это как раз тот случай, в котором мы находимся. - В таком случае, отвечу я, вернитесь к принципу и учредите два различных органа. И если вы по-прежнему упорствуете в том, чтобы считать это средство опасным, я отвечу, что из вашего предложения следует лишь то, что существуют обстоятельства, подчас противоположные принципам; но случайности, препятствующие их соблюдению, не уничтожают самих принципов. Замечу в остальном, что, показывая преимущество разделения этих двух властей, я не претендовал на доказательство невозможности их совмещения, а лишь указывал на трудность того, чтобы выполнять задачу должным образом, когда они объединены.

Здесь заканчивается то, что мы должны были сказать о свойствах закона и законодателя; вернемся к гражданскому закону. Я возвращаюсь к положению, высказанному мной в начале этого рассуждения, а именно: между общественным пактом и конституцией должен находиться гражданский закон, который является непосредственным порождением общественного пакта.

Ланжюине в своем докладе от 6 апреля от имени «комитета шести» предвидел эту истину, но не сумел ее уловить. Он замечает на стр. 4 что конституционный комитет ничего специально не сказал о гражданском состоянии лиц и что это, возможно, является упущением, которое следует исправить. На странице 6 он высказывает мнение, что можно было бы отделить раздел 6 главы X проекта комитета, чтобы сделать его самостоятельной главой. И поскольку этот раздел касается лишь средств обеспечения безопасности, он добавил бы туда, по его словам, несколько статей о гражданском совершеннолетии, о власти мужа, о власти отца, об усыновлении и о внебрачных детях, основные принципы гражданского состояния семей и даже основы системы наследования, а также некоторые другие статьи, которые, как он утверждает, было бы затруднительно поместить в другом месте. Всё это он предлагает объединить под общим заголовком: *«Средства обеспечения свободы, безопасности и равенства»*.

Для любого, кто готов поразмыслить, очевидно, что ничто из этого не может войти в конституцию, ибо конституция есть не что иное, как организация публичных властей, а здесь Ланжюине говорит о частных отношениях и о домашней власти. Если комитет и составил раздел, касающийся гарантии безопасности, то лишь потому, что рассматривал её в связи с политическими институтами, которые должны её обеспечивать, - то есть судом присяжных и так далее.

Однако столь же очевидно, что Ланжюине руководствовался весьма верной мыслью, которая, к сожалению, осталась в его голове неясной и неполной, когда он заявил, что гражданские законы являются непосредственной гарантией естественных прав, и когда он попытался найти им место в конституционном акте.

Гражданские законы - это не только точное определение прав, находящихся под защитой общества, и развитие общественного пакта; они являются его первой гарантией, поскольку должны согласовывать интересы таким образом, чтобы те не могли вредить друг другу, а, напротив, взаимно поддерживали.

Часто повторяют, что нравы сильнее законов, что законы без нравов не имеют никакой силы. Нравы ставили в один ряд с просвещением и общественным мнением как средство оживления или замещения законов, когда те устаревают или отмирают.

Но, во-первых, что такое нравы? Во-вторых, как они зарождаются? Вот два вопроса, которые необходимо решить, чтобы извлечь хоть какую-то пользу из этого наставления. В дальнейшем мы поговорим о просвещении, которое в долгосрочной перспективе влияет на нравы, но также обладает собственным и непосредственным воздействием на акты общественной жизни.

В политике под нравами понимают *привычки народа, общие привычки*. Если они соответствуют морали, говорят, что у народа добрые нравы; если же они ей противоречат, говорят, что у народа нравы варварские или испорченные. Под *привычками* здесь следует понимать не только домашние повадки, но и социальные привычки. Слова «ритуалы» и «обычаи» обозначают скорее практические действия и внешние формальности, нежели волевые привычки, каковыми являются *нравы*. Ритуалы и обычаи не всегда согласуются с нравами: они укрепляют их, когда соответствуют им, но они не порождают нравы и не меняют их, если те отсутствуют или если они иные.

Как же порождаются нравы? Где их первоисточник в общественном устройстве? Чтобы ответить на этот вопрос, почитайте всех моралистов, всех политиков - и вы встретите лишь расплывчатые и противоречивые понятия. Одни полагают, что нравы происходят от воспитания, и сводят всё к искусству растить детей; и тем не менее, как говорит Руссо, первые годы нашей зрелости мы тратим на то, чтобы забыть всё, чему нас учили в детстве. По мнению других, они происходят от ритуалов и обычаев; и всё же ритуалы и обычаи не всегда гармонируют с нравами. По мнению третьих, чьё воображение заблудилось в преданиях древности, нравы рождаются из празднеств, торжеств, публичных и национальных церемоний. Они только и твердят об афинских и римских играх; но при этом доказано, что игры и национальные торжества нравятся народам лишь постольку, поскольку они соответствуют их привычкам, и что именно нравы создали древние празднества, а не празднества создали нравы, хотя, безусловно, первые оказывали сильное обратное воздействие на вторые. Наконец, по мнению некоторых других, нравам обучают, и они являются продуктом просвещения; в этой концепции, самой разумной из всех, речь идет лишь о поддержании свободы прессы. Но мы ежедневно видим, как сама свобода прессы зависит от нравов, а нравы порой бывают столь варварскими, что заставляют просвещение отступать. По мнению других, нравы являются порождением правительства, и потому они с исключительным усердием внедряют свободу и равенство в политические институты; и все же говорят, что существуют такие формы правления, например республиканская, которые могут держаться лишь на общественной морали, и что любое правительство нуждается в определенных нравах, чтобы выжить. Цензура, к примеру, может сохранять нравы, но она и сама от них зависит.

Если продолжить поиск истины, задаваясь вопросом не только о том, откуда берутся нравы вообще, но и откуда берутся добрые нравы, то даже те писатели, что согласны в первом вопросе, расходятся во взглядах на второй.

Наконец, говоря о нравах, всегда путали институты, которые их создают, с теми, что их сохраняют; или же те, что их предполагают, с теми, что служат им опорой; те, что восстанавливают их в государствах, где они исчезли, с теми, что укрепляют их там, где они еще существуют; те, что сдерживают их упадок, с теми, что этому упадку способствуют; и, наконец, те, что, даже поддерживая их на время, в итоге ускоряют их исчезновение и препятствуют их возвращению, когда они окончательно утрачены. (Смотрите главу 9 книги VIII «О духе законов»).

Если искать истоки нравов не в книгах, а путем анализа, то обнаружится, что нравы, будучи лишь привычками, могут возникать только под влиянием обстоятельств, которые чаще всего воздействуют на человеческие способности. Ведь, как мы уже видели, привычки - это не что иное, как результат действий, которые мы повторяем чаще всего. Каковы же причины, определяющие большинство наших повседневных поступков? Это гражданские законы.

Именно в гражданских законах заложены основы общественного благополучия. Там же находится и источник нравов. Те, кто верил, будто всё исходит от правительства, глубоко заблуждались! Оно может всё испортить, но оно не способно всё создать, всё исправить или всё довести до совершенства. Именно гражданские законы ежесекундно воздействуют на волю каждого; они влетают в самые насущные и дорогие нам интересы; они подхватывают человека у самой колыбели и сопровождают его до могилы.

Кто усомнится в том, что установление права наследования имущества придает гражданским и домашним привычкам иное направление, нежели отмена наследования; что отмена субституций, права завещания; что введение развода и усыновления, разделяя состояния, не

подготавливают и не учреждают социальное братство через равенство? Кто усомнится в том, что отмена любых обязательств, принимаемых на всю жизнь - будь то брачные узы, религиозные обеты или обязательства по домашней службе, - а также облегчение и сокращение сыновней зависимости, способствуют сохранению чувства свободы в каждой душе, удаляя рабские привычки и унижительную покорность? И разве все эти институты не являются предметом гражданских законов?

Существует институт бесконечно более активный, более универсальный и более постоянный, чем все остальные; институт, принцип которого сама природа заложила в способностях человека, и который достаточно лишь не подавлять; он отвечает всем его склонностям, всем его нуждам; он расширяет, укрепляет и совершенствует все его возможности; он удовлетворяет все его права и все его обязанности: этот институт - труд.

До сих пор у правительств был лишь один секрет того, как насадить труд в обществе, и этим секретом была нищета многочисленного класса граждан. Безусловно, это вовсе не то, что я называю «институтом труда». При подобном режиме, когда обеспеченный человек ничего не делает, сам бедняк также делает недостаточно. Учредить труд в обществе - значит обязать к нему всех, никого к нему не принуждая; это значит приобщить к нему богатого так же, как и нуждающегося; это значит привязать их к нему: одного - надеждой на благосостояние, а не унижительным страхом крайней нужды; другого - осознанным опасением оказаться в худшем положении в праздности, а не жадной надеждой стать еще богаче благодаря труду. Чтобы действительно и надолго утвердить труд бедняка, нужно сделать так, чтобы его полюбил богатый; ведь именно направляя этот труд на приумножение своих капиталов и талантов, которые развило в нем воспитание ума, богатому дают большую заинтересованность в приумножении своих капиталов и их увеличении путем сбережения. Ведь именно на капиталах основываются предприятия всех видов, заставляющие богатых призывать на помощь трудолюбивую бедность и дающие ей возможность получать щедрую оплату за свои труды. Когда богатый станет трудиться, сила примера подействует и на бедного. Трудовой порыв воодушевит людей всех возрастов и сословий; идеи достатка, общественного уважения и труда тесно переплетутся между собой, и они по взаимному согласию направят все трудовые способности на благо всего общества.

Именно такое полное и всестороннее утверждение труда в великой нации я называю великим, истинным первоначалом нравов и добрых обычаев. Под «добрыми нравами» я понимаю не только привычку к домашним добродетелям, но и к общественным добродетелям во всей их полноте. Именно этот совершенный институт труда, развивая таланты, умножая богатства и увеличивая общее достояние, еще больше укрепляет и облагораживает все отношения человека с себе подобными. Он восстанавливает естественное равенство там, где возникли социальные перекосы, даруя богатому скромность и умеренность, а бедному - достоинство и доступ к благам; он создает братство талантов и заставляет различные дары, которыми природа наделила каждого, служить общему благу. Он гарантирует право собственности, приучая всех к тому, что она достается ценой усилий, и открывая доступ к ней каждому; он гарантирует свободу, удваивая для богатого потребность в бедняке и освобождая последнего от всего, что в его зависимости было унижительного.

Именно этот всеобъемлющий институт обеспечивает каждому личное и прочное счастье. С одной стороны, он помещает надежду рядом с нуждой, а с другой - оживляет желание там, где наступило пресыщение, поддерживая во всех необходимый стимул к жизни и радости. Сосредотачивая ум на личном интересе - интересе прочном и постоянном, - он не только укрепляет мораль, которая всегда неразрывно связана с разумно понятой выгодой, но и оберегает её от мелких, суетных, тревожных и, прежде всего, пагубных страстей, которые рождаются в воображении, когда праздный ум от скуки ищет спасения или, скорее, наказания. Одним словом, подобно тому как движение сохраняет порядок в природе, являясь её вечным обновителем, труд обновляет и общество. Труд - это великий хранитель порядка, главный двигатель всякого устройства, как общего, так и частного, опора любой собственности, общественной или частной; он - истинный творец добрых нравов.

Труд не только способен в одиночку создавать и основывать добрые нравы, но он также обладает силой поддерживать их, укреплять, увековечивать и распространять. Он способен восстанавливать их в период упадка, возрождать, когда они находятся под угрозой, удерживать их от исчезновения и возвращать, когда они уже утрачены. Труд, порождающий нравы, является также их хранителем и преобразователем.

Поэтому, когда народ только формируется или когда он возрождается, выходя из долгого периода коррупции, затяжной войны или длительных и непрерывных потрясений, когда он охвачен беспорядочным брожением, - великим и истинным средством вернуть граждан к порядку, подготовить их к послушанию законам, к упорядоченности действий и воли является незамедлительное приобщение их к труду. Нужно перевести народ из военных лагерей и шумных собраний в сельскохозяйственные мастерские, к искусствам и торговле.

Но как привить гражданам привычку к труду? Где кроется первоначало труда - труда свободного, труда в условиях изобилия и собственности, труда, побеждающего привычки к праздности или расточительству?

Оно заложено прежде всего в гражданских законах; оно также присутствует в некоторых политических институтах. Чтобы в обществе царил всеобщее трудовое рвение, необходимо, чтобы собственность была не только установлена и гарантирована, но и чтобы она была наследственной и передаваемой. В противном случае, накопив достаточно средств для жизни, человек прекратил бы трудиться. Именно так поступают холостяки. В пятьдесят лет они не заботятся ни о чем, кроме наслаждений, в то время как отец семейства продолжает трудиться и в восемьдесят лет. А ведь закон, устанавливающий право наследования, - это гражданский закон.

Необходимо, чтобы собственность, переходя по наследству, разделялась между несколькими преемниками; в противном случае родители, удовлетворенные возможностью сохранить память о великом богатстве, передав его целиком старшему сыну или любимому ребенку, имели бы меньше мотивов для того, чтобы трудиться, кроме тех случаев, когда необходимо обеспечить наследством нескольких детей, которых не хотят оставлять в полной нищете. С другой стороны, и сами дети работали бы меньше. Наследник стал бы слишком богат, а лишние наследства оказались бы слишком бедны, ведь для того, чтобы трудиться с выгодой и иметь возможность нанимать помощников, необходим капитал. Что может обеспечить равенство при разделе имущества между детьми одного отца? Гражданский закон. Что может способствовать увеличению числа детей? Браки и усыновление. Что способствует увеличению числа браков? Скорое освобождение детей от родительской опеки и закон о разводе. Но какими законами устанавливаются и регулируются усыновление, эмансипация и развод? Гражданскими.

Было бы легко привести еще множество примеров гражданских законов, оказывающих мощное влияние на труд. Я полагаю, что к тем, о которых уже было сказано, можно добавить новые. Например, если бы закон, используя потребность в любви и ту заинтересованность, которую каждый гражданин находит в публичном союзе, провозгласил, что признает:

1. Только браки, заключенные публично;
2. Что все браки в пределах одного кантона должны праздноваться в определенные сроки и в присутствии собравшегося народа;
3. Что мужчины, прежде чем получить право на празднование своего брака перед народом, будут обязаны доказать, что владеют каким-либо ремеслом.

Подобный закон ни в коей мере не противоречил бы свободе, так как он не запрещал бы никакие формы брака, а лишь устанавливал бы цену, идущую на благо всем - торжественность, посредством которой все соглашаются подтвердить и освятить законный союз. Такой закон, повторюсь, несомненно, способствовал бы уважению и развитию ремесел; он сделал бы их благородными и привлекательными в глазах женщин, чьим обычным недостатком является легкомыслие. И этот закон все равно оставался бы лишь гражданским законом.

Вот еще несколько идей касательно общественных институтов, способных поддержать гражданские законы, благоприятные для труда:

1. Было бы полезно воздвигнуть в каждом департаменте монумент в честь каждого из основных ремесел общества. Выставив их символы на всеобщее обозрение, можно было бы настроить умы людей на почтение к ним.
2. Следует посвящать каждое воскресенье празднованию того или иного ремесла во всей республике. Все атрибуты этого ремесла возносились бы на алтарь отечества. Песни и танцы, прославляющие его пользу, воспевали бы его значимость. Чествуя их таким образом по очереди и связывая это поклонение с отечеством и общественными интересами, мы заставили бы их объединиться в братстве.

Недостаточно того, чтобы каждый гражданин владел ремеслом, способным его прокормить; нужно еще, чтобы он научился жить так, чтобы довольствоваться заработком от своего ремесла, если превратности судьбы его к этому приговорят, и даже привык к умеренности среди самого изобилия. Для достижения этой цели необходимо, чтобы обучение проходило в духе товарищества, подобно тому как ученики военного дела должны не только нести караул, но и спать на казарменных койках и есть солдатскую пищу.¹⁵ Вскоре возникли бы школы-пансионы для такого образования в сфере искусств и ремесел - пансионы, где наряду с обучением прививались бы и нравственные привычки.

Существуют меры, применимые в периоды волнений и смут. Если богатый человек был встревожен за свою собственность или свободу; если его роскошь и праздность, выставляя напоказ его богатство, навлекли на него неприятности - обеспечьте ему безопасность, и отныне он не пожелает ничего лучшего, кроме как направить свои силы на приумножение своего достояния и находить в этом удовольствие.

Среди всех видов деятельности, в которых общество наиболее заинтересовано, которые, в свою очередь, требуют больше всего капиталов и легче всего их получают (когда ничто не препятствует естественным склонностям граждан и не извращает их), и которые, наконец, дают работу наибольшему числу людей, занимая их вблизи дома на обширных территориях и лучше всего отвечая любым вкусам, любой силе и любым видам мастерства - первое место занимает сельское хозяйство. Нам предстоит совершить великую революцию в аграрной системе Франции. Половина наших земель пустует, пока другая обрабатывается; это всё равно что лишиться половины нашей территории. Это, несомненно, огромная мастерская, открытая для труда в любой точке республики и ожидающая обильного притока капиталов.

Так пусть же государство поощряет премиями и займами каждого сельхозпроизводителя - будь то частное лицо или компания, неважно, - который за год превратит определенное количество земель в искусственные луга, являющиеся основой любой успешной аграрной системы; того, кто установит ограды, проложит судоходные каналы, дороги и так далее.

Я полагаю, что в целом в хорошо управляемом государстве правительство не должно брать на себя управление никакими предприятиями ради собственной выгоды, не должно участвовать в частных спекуляциях и даже покровительствовать отдельным предприятиям иначе, кроме как обеспечивая равную защиту личности и собственности. Обычно достаточно

¹⁵ Только тот, говорит Руссо, истинно свободен, кому не нужно приставлять чужие руки к своим собственным, чтобы помочь себе. Нужда одного человека в услугах другого создает двух рабов: одного из хозяина, другого из слуги. Хотите, чтобы не было нужды в слугах? Сделайте так, чтобы не было нужды в услугах: умеренность, строгость к себе - вот залогов гражданской свободы. Они же являются и залогом свободы политической. В свободном государстве каждый гражданин, в свою очередь, должен быть солдатом. Чтобы быть солдатом, нужно уметь самому оказывать себе все необходимые в домашней жизни услуги: чинить свою одежду, колоть дрова и готовить овощи. Добавьте к этому, что человек счастливее при суровых привычках, чем при изнеженной жизни. Здоровье - это главное условие наших наслаждений - становится крепче, и все радости оказываются впереди, а не позади; у человека сохраняются все аппетиты и надежды; способность наслаждаться, довольствуясь малым, становится более полной и возвышенной, и в то же время у него оказывается гораздо больше готовых предметов для радости. В общении мужчин с женщинами первый взгляд разделенной страсти приносит больше удовольствия, чем последняя милость, потому что предчувствие этой последней милости уже заключено в наслаждении этим взглядом, тогда как воспоминание об этом взгляде не содержится в последней милости. Между любовниками взгляды и ласки, предшествующие наслаждению, - это радости, утраченные для супругов, которые всегда вместе.

придать частному интересу энергии и безопасности, чтобы сделать его предприимчивым. Расходы же, которые государство само несет на содержание промышленных предприятий, всегда оборачиваются убытками для индустрии и часто используются ей во вред; они приносят выгоду лишь интриганам, которые занимаются махинациями и обогащаются не за счет профессионального мастерства, а за счет государственной казны, которая их финансирует.

Но когда речь идет о том, чтобы сформировать нравы или остановить критическое брожение, государству необходимо пойти на особые жертвы; и прежде всего, если нужно восстановить доверие владельцев капиталов, следует пойти на определенные издержки ради достижения успеха. Расходы в подобных случаях будут незначительны, а результаты - огромны. Капиталы, спрятанные из страха, только и ждут возможности выйти в свет и разойтись по стране. Премии и займы в этом случае являются не столько прямой помощью, сколько поощрением для обеспокоенного капиталиста, обязательством, взятым на себя государством по защите собственности, и гарантией выполнения этого самого обязательства.

Руссо в «Общественном договоре» (книга II, глава XI), определив свободу и равенство как главные цели, которые должна преследовать любая законодательная система, предписывает корректировать их в каждой стране в зависимости от условий, вытекающих как из местного положения, так и из характера жителей.

«Если почва неблагоприятна или бесплодна, или если страна слишком тесна для населения, - говорит он, - обратитесь к промышленности и ремеслам, чьи изделия вы будете обменивать на необходимые вам припасы. Напротив, если вы владеете богатыми равнинами и плодородными склонами, если на доброй земле вам не хватает людей - отдайте все силы сельскому хозяйству, которое умножает численность населения, и изгоните ремесла, которые лишь способствовали бы депопуляции страны, собирая в немногих точках территории то небольшое число жителей, что в ней есть; осваивайте протяженные и удобные берега, покройте моря своими кораблями».

Руссо не сосредоточил свое внимание на природе, силе и происхождении великого принципа труда. В противном случае он увидел бы, что бесполезно и даже опасно пытаться направлять его или искусственно повышать его активность. Бесполезно - потому что любовь к труду не является бескорыстной: она обращена лишь к прибыльным предприятиям. Следовательно, труд сам внимательно следит за всеми местными и физическими обстоятельствами, способными сделать его плодотворным или бесплодным. Бесполезно и потому, что для проявления его интенсивности нужна лишь потребность в благах, которая постоянно подгоняет нас. Наконец, бесполезно потому, что, как говорит сам Руссо чуть далее: *«Чтобы направляющие законы привычек сделали государственное устройство прочным и долговечным, необходимо, чтобы естественные отношения и законы всегда совпадали в одних и тех же пунктах, и чтобы вторые, так сказать, лишь подтверждали, сопровождали и исправляли первые».* Очевидно, что бесполезны те законы, которые лишь предписывают то, что уже велено самой природой вещей.

Я добавил, что они были бы даже опасны; и в самом деле, законодатель может ошибиться, в то время как личный интерес, пользуясь свободой, не ошибается в выборе того вида деятельности, которому благоприятствуют обстоятельства. И здесь мои утверждения снова подтверждает Руссо: *«Если законодатель, - говорит он, - ошибаясь в своей цели, избирает принцип, отличный от того, что вытекает из природы вещей - если один ведет к порабощению, а другой к свободе; один к богатству, а другой к росту населения; один к миру, а другой к завоеваниям, - мы увидим, как законы мало-помалу ослабевают, государственное устройство портится, и государство не перестанет пребывать в волнении, пока не будет разрушено или изменено и пока непобедимая природа не восстановит свою власть».*

Мы показали, как нравы рождаются из привычки к труду; как любовь к труду, диктуемая всеми естественными интересами человека, может в особенности подпитываться любовью к женщинам, которая является первым и самым мощным из этих интересов; и как, наконец, общество могло бы сделать подлинное обладание женщинами наградой за этот труд.

Но теперь перед нами стоит затруднение: как регулировать нравы самих женщин. Необходимо упорядочить эти нравы, чтобы женщины - даже если общество предоставит право обладания ими в награду за трудолюбие - сами не предавались лени, праздности и легкомыслию, которое в тысячу раз хуже праздности, ибо оно более заразительно, более унижительно и формирует привычку в тысячу раз более неискоренимую, чем само безделье, являющееся по сути лишь отрицанием всякой привычки.

Есть и еще одна причина, по которой следует регулировать нравы женщин: даже будучи отданы мужчинам, способным и привыкшим к труду, они могли бы расслабить их вкус к делу, уничтожить или, по крайней мере, ослабить это стремление в своих супругах.

Но как регулировать нравы женщин? С одной стороны, брачная тирания в браке более невозможна; сам брак более не может быть нерасторжимым союзом: он должен прекращаться по воле любого из участников договора. Таким образом, в наших принципах брака больше нет места сдержанности, основанной на страхе перед домашним позором. Не стоит жалеть о подобном способе регулирования женских нравов, ибо, как и любое средство принуждения, он служит лишь для сдерживания поступков, а не для упорядочивания воли; вернее, он лишь заставляет скрывать проступки, а не предотвращать их. Он порождает лицемерие, не делая людей лучше; в лучшем случае он лишь меняет одни пороки на другие, вместо того чтобы их исправлять.

С другой стороны, женщинами владеет потребность нравиться: они нуждаются в этом как в постоянном занятии; это необходимо им как средство удовлетворения естественной склонности, влекущей их к союзу с мужчинами, как способ удерживать их внимание и вызывать восхищение.

Желание нравиться приводит женщин к роскоши, особенно когда, обладая богатым приданым, они приносят в супружеский союз значительные средства для трат. С помощью нарядов, которые разнообразят и приукрашивают их природные формы, окружая их ореолом очарования; с помощью пышного убранства комнат, жилищ и множества слуг - всех тех обстоятельств, что создают определенную дистанцию между ними и мужчинами, - возникает иллюзия и мощное влечение. Оно воздействует одновременно на воображение - мать желаний, и на страх и надежду - движущие силы страстей. Именно через поиск всевозможных наслаждений, через крайнее совершенствование всяческих изысков и, наконец, через привычку ко всем тем удовольствиям, что делают обладание ими упоительным и чарующим, женщины привлекают и пленяют мужчин. Привлекать было бы благом; злом является пленение, и именно это зло необходимо предотвратить. Справедливо, чтобы женщины не были собственностью мужчин; но еще более справедливо и, прежде всего, необходимо, чтобы мужчины не становились собственностью женщин, ибо от этого пострадали бы оба пола в равной степени: когда мужчины становятся рабами женщин, тогда и мужчины, и женщины вскоре становятся рабами общего господина.

Когда римский сенат, все еще верный древним нравам республики, пожелал при Августе восстановить их былую строгость, он предложил ограничить роскошь женщин. Сенат признавал, что женская роскошь влечет за собой деградацию мужчин. При Тиберии сенату предложили запретить правителям провинций брать с собой жен к месту службы из-за тех беспорядков, которые те там чинили. Таким образом, влияние женщин на нравы признавалось открыто.

Галантность, по словам Монтескье, порождает праздность (мужчин). Она приводит к тому, что женщины начинают развращать еще до того, как будут развращены сами; она придает ценность пустякам и принижает важное; она ведет к тому, что люди руководствуются лишь правилами смешного, которые женщины умеют устанавливать столь искусно («О духе законов», кн. VII, гл. VIII).

Монтескье полагал, что для того, чтобы лишить женщин власти галантности, притупить в их руках оружие насмешки и лишить значимости то легкомыслие, которое они привносят в общественный дух, законодатель должен тщательно следить за тем, что он называет женской

добродетелью, то есть за воздержанностью. Он утверждает, что с утратой добродетели у женщин связано столько несовершенств, вся их душа при этом столь сильно деградирует, и утрата этого главного качества влечет за собой падение столь многих других, что в народном государстве общественную распущенность можно считать величайшим несчастьем и верным признаком скорого изменения государственного строя.

Поэтому, продолжает Монтескье, мудрые законодатели требовали от женщин известной серьезности нравов. Они изгнали из своих республик не только сам порок, но и его видимость; они запретили даже ту систему галантного обхождения, которая порождает праздность и так далее.

В этом рассуждении Монтескье следует отметить несколько ошибок.

(1) Женская распущенность гораздо чаще является следствием, а не причиной их несовершенства. Ведь любая женщина, чувствуя свою ценность, следит за собой и, так сказать, бережет себя. Она понимает, что, расточая себя, она бы унизилась, поскольку мужчины в целом ценят вещи по их редкости. Ей даже трудно ощутить потребность часто отдаваться, ибо она редко встречает мужчин, достойных того, чтобы на них остановиться, а когда она встречает такого человека, то привязывается к нему.

Это, однако, не противоречит мнению Монтескье о том, что с потерей воздержанности у женщин связано множество недостатков. Несомненно, те, кто предался распущенности прежде, чем успел приобрести какую-либо нравственную ценность или осознать ту, что у них была, действительно деградируют и портятся. Утратив из-за своей расточительности значительную часть своей цены в глазах мужчин, они теряют ее и в собственных глазах; они привыкают обходиться без общественного мнения и даже презирать его.

Но проистекают ли из подобного рода деградации женщин большие политические неудобства? Это уже другой вопрос.

(2) Республике необходима не столько сама воздержанность женщин, сколько их скромность и простота нравов. Общественный дух развращает не то, что они отдаются всем мужчинам без разбора, а напротив, то, что каждая из них завладевает одним или несколькими, и что их искусство привлекает и удерживает мужчин подле них. То, что развращает общественные нравы - это галантность, которая не тождественна распущенности. Порок галантности как раз в том и состоит, что она назначает слишком высокую цену за те милости, которые распущенность лишь обесценивает. Разве Платон не основал свою республику на общности жен? В Венеции законы, обязывающие жен граждан к скромности, обрекают куртизанок на роскошь. Даже во Франции старинные законы обязывали последних носить золотой пояс. Значит, ни в Венеции, ни во Франции боялись не распущенности; боялись, напротив, расчетливого кокетства в сочетании с богатством.

Основой галантности является богатство женщин в сочетании с очарованием их пола. Именно сочетание власти состояния с властью красоты создает этот искусственный режим, эту глубоко аморальную систему нравов, называемую галантностью. Это праздность, присущая богатству в силу бесполезности любого труда для приобретения, всякого старания ради его сохранения; это легкость, с которой значительные излишки направляются на украшение своей особы и на очарование всего окружающего. Всё это, в сочетании с взаимным влечением полов, со стремлением всегда иметь под рукой предмет своих удовольствий и с осознанием женщинами своей слабости, заставило их создать систему нравственного господства, подчиняющую им мужчин. Нигде не бывает галантности без роскоши, как не бывает и роскоши без богатства.

Я отметил мнение Монтескье, потому что, если бы мы его приняли, пришлось бы признать, что браки должны быть нерасторжимыми, а измены в таких браках - караться жесточайшими наказаниями. Все эти идеи диаметрально противоположны одной из самых дорогих и священных для нас свобод.

Перейдем к последствиям моего наблюдения.

Если галантность и роскошь (одна из составляющих галантности) проистекают из женского богатства в сочетании с потребностью любить, то для предотвращения галантности и разложения общественного духа нужно сделать одно из двух: либо лишить женщин потребности в любви, либо сделать женщин общими, либо сдерживать их суровыми законами против проступков, либо, наконец, лишить женщин владения богатством.

Первый из этих путей невозможен, и этому стоит только порадоваться, ибо потребность любить - самая насущная и нежная потребность человека.

О том, что следует думать об общности жен, мы уже говорили ранее; любое повторение было бы излишним.

Подавление их проступков потребовало бы таких институтов, как домашний суд у римлян и греков, и сурового уголовного кодекса - вещей, которые, помимо нарушения неотъемлемой свободы (о чем я только что говорил), имеют то свойство, что приходят в упадок вместе с нравами и зависят от них, вместо того чтобы служить средством против их падения, а это - единственная выгода, которую от них ожидали.

Поэтому я не колеблясь заявляю: с женщинами нужно обходиться как с королями - нужно лишить их «цивильного листа», который служит лишь для нашего развращения; необходимо отменить или ограничить женское приданое.

Многие возмутятся, но я прошу меня выслушать. Во-первых, это предложение нуждается в уточнениях; во-вторых, его легко оправдать.

Во-первых, если этот закон освобождает от суровых наказаний за супружескую неверность и от злоупотреблений разводами, то это преимущество следует противопоставить строгости предлагаемого мною ограничения.

Во-вторых, женщины также должны ценить преимущество сохранения общей свободы.

В-третьих, эти установления мягче, чем законы многих свободных народов древности. У римлян женщины находились под вечной опекой, пока не выходили замуж, то есть под властью супруга. Закон Папия сделал исключение только для женщин, имевших троих детей. У древних германцев женщины также находились под вечной опекой.

В-четвертых, во всех современных республиках - в Швейцарии, Голландии, вольных городах Германии, везде, где люди трудятся, обычай лишает женщин приданого: их ограничивают суммой, которая меньше годовых расходов главы семьи.

От этого женщины не становятся несчастными, ведь поскольку у всех невелико приданое и, по этой же причине, все мужчины состоятельны, они находят в состоянии мужа то, чего им не достает в собственном. Впрочем (и это важное замечание), не давать женщинам приданого не означает лишать их наследства; они, несомненно, должны делить наследство родителей наравне со своими братьями. Мы лишь не хотим, чтобы они были одновременно и молодыми, и красивыми, и богатыми, и легкомысленными; мы не хотим, чтобы они расточали средства тогда, когда их нужно копить для основания семьи, или злоупотреблять своим имуществом, в то время как муж мог бы заставить его приносить плоды. Мы не хотим, чтобы они имели обособленные состояния и были - по крайней мере, в моральном плане - независимы от своих мужей; вот и всё, и именно поэтому мы отказываем им в приданом; но мы вовсе не хотим, чтобы природа лишалась своих прав, чтобы женщины жили и умирали в нищете, чтобы первенство одного пола ущемляло права другого или заменяло собой отвратительное злоупотребление правом первородства. Мы прежде всего не желаем, чтобы женщина чувствовала нужду в старости или чтобы богатства скапливались лишь в руках мужчин; напротив, мы хотим, чтобы они распределялись и так далее. Таким образом, мы подразумеваем, что женщины должны наследовать своим родителям.

Мне возразят, что такая система ставит их в рабскую зависимость от мужа; я же отвечу, что система приданого ставит мужей в зависимость от жен.

Скажут, что я уничтожаю закон о разводе; я отвечу, что предотвращаю злоупотребления им, заинтересовывая супругов в стабильности союза (не принуждая их к этому), по крайней мере в тот период жизни, когда люди наиболее склонны к непостоянству.

Мне скажут, что муж как глава семейного союза по нашим законам волен распоряжаться имуществом жены, извлекать из него выгоду, копить доходы и тратить их по своему усмотрению. Я отвечу: это верно согласно законам, но ложно согласно нравам. Женщины никогда не тратят меньше, чем пропорционально своему приданому, а зачастую и гораздо больше.

Мне скажут, что я посягаю на естественные права женщин в обществе; я отвечу, что право наследования, возможно, относится к праву позитивному, но даже если бы оно было правом естественным (в чем я убежден), моя система его ничуть не ущемляет. Я добавлю, что институт приданого - это бесспорно и исключительно плод позитивного права, а следовательно, оно может быть отменено или изменено ради высшего блага государства.

Наконец, мне скажут, что, отменяя приданое, я уменьшаю роскошь, а вместе с ней и объем труда. Я отвечу: да, это касается роскоши ради хвастовства, но не роскоши ради удобства или из чувства патриотизма. Последние, напротив, только выиграют от сокращения первой. Они выиграют даже больше, так как в обороте будет находиться больше работающего и приносящего плоды капитала, если суммы, составляющие женское приданое, будут постоянно находиться в распоряжении мужчин, а не передаваться им лишь в качестве приданого - особенно теперь, когда возможность развода делает брачные союзы столь шаткими. Доходы вырастут, а значит, вырастут и расходы.

Монтескье полагает, что в демократических республиках не следует допускать общности имущества супругов или получения женами свадебных даров, так как богатство, по его словам, порождает у них страсть к роскоши. Я не разделяю его мнения по нескольким причинам. Во-первых, общность имущества будет поддерживать супружеские союзы, которые неограниченная возможность развода могла бы слишком легко разрушить или сократить. Во-вторых, справедливо приучать и женщин любить бережливость, если мы хотим, чтобы они ее соблюдали. В-третьих, обычно люди бережнее относятся к богатству, добытому экономией. В плодах сбережений собственник видит лишения, на которые он шел ради накопления, так же как в плодах труда он видит усилия, затраченные на их приобретение.

Лишение себя удовольствия или прямой физический труд - и то, и другое является реальным страданием. Первое мучает воображение, второе - тело. Трудно сказать, какое из них переносится тяжелее. Но невозможно получать удовольствие, в один миг растрачивая то, что стоило долгих лет тягот. Никто не хочет снова обрекать себя на долгие лишения ради мимолетной прихоти; никто не хочет провести половину жизни в желаниях, а вторую - в сожалениях.

Более того, люди, долго жившие в бережливости, благодаря которой они составили состояние, остаются бережливыми и после того, как разбогатели. Вместо того чтобы расточать богатство, они им даже не наслаждаются, продолжая трудиться над его приумножением так же, как в самом начале. Почему? В силу привычки - той силы, благодаря которой мы делаем сегодняя то же, что делали вчера, и с поразительной легкостью совершаем тысячи дел, на которые были бы неспособны в течение долгого времени, если бы каждый день приходилось учиться им заново.

В-четвертых, было бы неплохо, если бы повсеместно и для обоих полов роскошь становилась уделом старости. Тогда она была бы почетным свидетельством трудолюбивой юности и зрелости, компенсировала бы суровость природы, делала бы старость более величественной, а труд - более уважаемым. И наконец, в-пятых, необходимо, чтобы женщина, имеющая веские причины для развода, могла хотя бы забрать из семейного имущества, где она жила бережливо, средства для пропитания своих детей. В противном случае развод стал бы для нее не осуществлением естественного права, а жертвоприношением самых дорогих привязанностей и самых нежных прав.

Вернемся к нашей теме. Законы против роскоши также были бы весьма полезны для трудовой деятельности; однако следовало бы ограничить их лишь одеждой и выездами - единственными вещами, которые оскорбляют равенство и дают одному человеку реальное и мнимое преимущество над другим. Такие законы приносили бы пользу труду, устраняя те тщеславные удовольствия, которые внушают отвращение к полезным занятиям. Они не

нанесли бы вреда, поскольку демонстративная роскошь в архитектуре и убранстве, а также удобства любого рода способны обеспечить работой бесчисленное множество ремесленников.

Было бы крайне опасно распространять законы против роскоши на что-либо иное, кроме одежды и выездов, ибо для старого и богатого народа таится угроза в том, что простые граждане могут стать настолько богатыми благодаря своим сбережениям, что купят, подобно Медичи во Флоренции, общественную свободу.

Таков краткий очерк того, что гражданские законы могут сделать для укрепления любви к труду и установления добрых нравов в государстве.

Гражданские законы можно и нужно свести к небольшому числу. Обилие законов душит само право. Требуется слишком много времени, чтобы их прочесть, слишком много средств, чтобы их купить, слишком крепкая память, чтобы их удержать, слишком острый ум, чтобы их понять, и слишком много усилий, чтобы их согласовать между собой. Нужно либо признать, что сапожник обязан обладать всеми качествами доктора права, либо объявить, что знание законов, которым каждый должен повиноваться, тем не менее является привилегией узкого круга лиц.

Далее мы увидим, что всё законодательство целиком может и должно быть начертано на таблицах или колоннах, всегда выставленных на виду в специально отведенных местах, куда могли бы приходить граждане и которые были бы уединенными, тихими и отделенными от любых административных учреждений. При каждом изменении закона следовало бы не помещать отменяющий акт следом за отмененным, как это делалось до сих пор, а закрывать упраздненный закон тем, который его заменяет, или вовсе удалять его, если он был отменен окончательно. Такой метод избавил бы от необходимости проводить совещания и от порождаемой ими неуверенности; глазам более не являлось бы обременительное нагромождение того, что уже не должно занимать ум; такая система демонстрировала бы истинный объем Кодекса и привлекала бы к нему внимание, которое прежде могло быть отторгнуто пугающей видимостью его безмерности.

Небольшое здание в форме ротонды, внутренний купол которого поддерживался бы колоннами, где каждая колонна несла бы на себе отдельную книгу или главу законодательства и называлась бы соответственно - колонна браков, колонна наследований, колонна договоров и так далее, - полностью отвечало бы поставленной цели. Она могла бы представить воображению наглядные символы, которые помогали бы или, вернее, делали бы излишними усилия рассудка и тому подобное.

Если сокращение гражданских законов до малого числа необходимо, то сделать это не менее легко.

Очертите истинные принципы обязательств - естественных в семейном кругу и договорных в общественном состоянии, то есть примените к обязательствам принципы свободы и собственности, и вы создадите гражданский кодекс. Юстиниан свел к одному тому формату «ин-фолио» законы, существовавшие до него, которые, согласно истории, составляли поклажу для двенадцати верблюдов. У нас то же зло, что и в Риме времен Юстиниана; но мы можем исправить его лучше, чем он. Утвердив верные принципы законодательства, упразднив привилегии, феодализм, субституции, завещания - словом, все злоупотребления правом собственности; обретя, наконец, благодаря знаниям и привычке к анализу искусство истинных методов, мы способны сократить наше гражданское законодательство до двадцати страниц. Когда такое законодательство будет создано, давайте упраздним гражданские суды, а вместе с судами - адвокатов и законников, и тогда наш кодекс, ограниченный лишь правилами справедливости, всё равно покажется слишком длинным.

Поговорив о нравах, я должен сказать и о просвещении. Просвещение влияет на нравы. Нравы влияют на просвещение и на поступки вопреки просвещению. Просвещение влияет на те действия, которые не определяются нравами, - на те редкие и случайные поступки, что не принадлежат к повседневной жизни.

Нравы влияют на просвещение, так как привычки порождают оправдывающие их пред-рассудки. Они подстраиваются под правила, которые их одобряют. Люди, сделавшие своей

профессией обучение других, но обладающие продажной душой, естественным образом стремятся потакать привычкам, поскольку рассчитывают извлечь из них выгоду. На существующей привычке легко спекулировать - это некая устойчивая основа; от привычек же будущих и случайных нельзя ожидать ничего верного, и никогда нельзя предсказать, когда они возникнут, когда укоренятся и когда смогут стать достоянием шарлатана, который им льстит. Как только народные привычки обзаводятся писателями на жалованье и царедворцами в своем распоряжении, все освобождают себя от необходимости - и даже боятся - их изучать и судить. Их начинают считать правом. Их воспринимают как нечто окончательно решенное. Всё, что им противоречит, отсекается как досадная помеха. Хуже того, ими вскармливают детей, превращая их в правило жизни. От них отгоняют даже малейшее сомнение, которое клеймят как непокорность, и всякое подозрение, которое называют дерзостью.

Когда установившиеся нравы на руку правительству, оно вступает в союз с силой привычки и безнравственностью писателей, добавляя новые средства для их укрепления. Тогда для друга истины становится опасным ее провозглашать и, следовательно, бесполезно и тягостно ее искать. Вспомните судьбу Галилея, судьбы всех философов, проявивших хоть каплю смелости - будь то под тиранией королей или под властью демагогов. В подобном состоянии дел разве не правда, что нравы преграждают путь просвещению? Более того, часто они заставляют его отступать. Отдайте власть священникам - и разум будет уничтожен; отдайте власть деспотам - и разум будет изгнан.

Начинают с того, что ставят под сомнение всё доказанное, и вскоре добиваются торжества мнимых доказательств некоего мнимого противоположного принципа. Бывают моменты эпидемической лихорадки, когда народ в своем неистовстве начинает считать саму потребность в знаниях оскорблением естественного разума; когда, будучи обманутым ловкими и просвещенными людьми, он видит в талантах и просвещении лишь гнусные средства для обмана и угнетения; когда он проклинает науку и самые необходимые таланты; когда он угрожает даже книгам - хранительницам всего, что важно для его счастья и славы. Тогда гонимые достоинства либо негодуют, либо угасают, парализуются или бегут; тогда обучение юношества прекращается; тогда просвещение, замершее перед тиранией и гнетом предрассудков, впускает в общество целое поколение варваров. Тогда страна оказывается в худшем положении, чем те цивилизованные нации, что были покорены чужеземными варварами. Несомненно, это хуже, ведь те варвары, приходя к просвещенным народам, принимали свет, налагая при этом ярмо на побежденных. Но когда угнетатели рождаются в самом сердце народа; когда невежество и варварство одной части граждан одерживают верх над знаниями и цивилизованностью другой - тогда зло достигает своего предела, ибо эти люди, прежде чем наложить ярмо, начинают с того, что задувают и гасят свет.

Книгопечатание, без сомнения, затруднило полное уничтожение знаний, но на прессу можно воздействовать тысячью способов, и когда она не свободна - абсолютно свободна, - она превращается в орудие заблуждения и рабства. Она не становится бесполезной, она становится грозной. Переставая творить добро, она творит зло; и искренние друзья человечества могут дойти до того, что произнесут это нечестивое желание: «Пусть погибнет само изобретение книгопечатания».

Величайшее несчастье заключается в том, что просвещение не может пропитать массу великого народа всеми теми знаниями и здравыми идеями, которые необходимы для его благоденствия. Эта народная масса слишком плотна; умы, отвлеченные физическим трудом, обычно слишком инертны, чтобы учиться, запоминать или соотносить и применять то, что они узнали и сохранили в памяти. А когда эти умы приходят в брожение и начинают работать, их мимолетное возбуждение слишком яростно, чтобы истина могла в них проникнуть и занять свое место - такова участь великих государств, в которых есть большие города.

Я уже говорил, что нравы влияют на поступки вопреки просвещению. И в самом деле, нет ничего более распространенного, чем применение этого стиха:

*Video meliora proboque,
Deteriora sequor.*

[«Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему» (лат.) - цитата из «Метаморфоз» Овидия.]

Это явление есть следствие власти привычки, о которой мы уже столько говорили. Не менее верно и то, что, вопреки этим наблюдениям, просвещение, в свою очередь, влияет на нравы. Именно тогда, когда нравы спокойны, оно - невзирая на все усилия правительств преградить ему путь - проникает в умы и наполняет головы по крайней мере тех, кто рожден для интеллектуального труда. Оттуда оно постепенно спускается к народным массам, когда рядом с каждой группой необразованных людей оказывается, так сказать, мудрец, который своей беседой и примером просвещает их хотя бы в некоторых вопросах и на краткие мгновения. Когда правительства благоприятствуют просвещению, свободе прессы, государственному образованию и воспитанию; когда людей с детства обучают всем практическим истинам, которые им важно знать (как это происходит в Соединенных Штатах Америки); когда в народе царит достаток, когда у людей есть немного досуга для общения, немного времени для раздумий и немного душевной свободы для саморазвития - тогда просвещение может стать частью национального бытия. Если нравы мягки, если люди живут разобщенно, а не скапливаются по большей части в огромных городах, где порча поражает каждую душу и где всевозможные страсти кипят в тесноте, распаляя друг друга и неизменно приводя к взрывам - тогда просвещение обеспечивает общественное благоденствие. Оно порождает и закрепляет добрые привычки, исправляет дурные; то, что было лишь умозрением, становится велением сердца; то, с чем согласился разум, становится моральной потребностью. Привычка и рассуждение всегда идут рука об руку, или, вернее, именно постоянное упражнение разума становится привычкой для каждого и формирует общие нравы.

Просвещение должно указывать путь, тогда как привычки определяют сам ход движения. Если привычки сформировались раньше, чем пришел свет знаний, к ним не обращаются за советом; если же просвещение освещает путь лишь «сзади» или под ногами, оно бесполезно - его вскоре подавят или оно погаснет само собой. Следовательно, просвещение должно предшествовать привычкам. Но чтобы оно могло ими управлять, необходимо, чтобы все институты, порождающие привычки, были согласованы с просвещением. Чтобы свет, падающий сверху, приковывал взгляды, нужно убрать ложные блики, слепящие глаза; чтобы он направлял, нужно устранить всё, что сбивает с пути и особенно то, что увлекает в сторону. Чтобы быть полезным, просвещение должно не только поражать взор, но и согревать душу. Оно показывает, в чем заключается истинный интерес, но чтобы люди следовали его указаниям, социальные институты не должны расставлять на их пути ловушки в виде сиюминутных выгод и опасных соблазнов. Чтобы просвещение приносило пользу людям, оно должно прежде осветить частное законодательство. Оно вызывает напрасно, когда законы уводят с верного пути. Какой прок в самом ярком свете маяка в заброшенном порту, если другие огни манят меня в маленькие бухты, где есть все удобства? Требуется даже большее: нужно, чтобы государственное законодательство вело в том же направлении. Уличные фонари хорошо освещают дорогу к нашим домам, но они не указывают, куда идти; и человек охотно идет за тем ручным фонарем, который часто ведет по плохим дорогам и приводит совсем не домой, но все же ведет за собой. Именно гражданские институты должны служить такими фонарями в общественном устройстве.

В «Парижском журнале» (*Journal de Paris*) от... я изложил свои мысли о том, что считаю наиболее верным в вопросе народного образования. Оно не должно даваться государством, но должно требоваться им.

Двенадцатая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее в 1793 году (II год Французской республики).

О наказаниях. - О конституции. - О разделении властей. - О различных формах правления. - Об отношениях правительства: 1) с климатом; 2) с размером территории; 3) с объемом потребностей в сравнении со средствами к существованию. - О монархии и республике, о неделимости и федерации.

Когда общественный договор заключен, когда из него выведены гражданские законы, когда разграничение общинной и частной собственности проведена, естественным образом возникает следующий вопрос: «А что если одному из нас будет угодно нарушить наши соглашения, или если несколько человек пожелают освободить себя от обязательств, наложенных на большинство - неужели тогда большинство станет игрушкой в руках нарушителей?». Первый ответ, который напрашивается сам собой, таков: «Давайте договоримся применять наказания к тем, кто посягнет на установленный нами порядок». В этом и заключается происхождение уголовных законов, которые, как мы видим, служат гарантией законов гражданских и нравственных, подобно тому как последние являются гарантией общественного договора.

Здесь был поднят важный вопрос: имеет ли общество право выносить смертные приговоры. Руссо дает утвердительный ответ; Беккариа - отрицательный; а Дидро, оставивший одному из своих друзей (аббату Морелле) рукописные заметки к труду Беккариа (оригинал которых находится у меня), поддерживает мнение Руссо.

§ XVI. Из трактата «О преступлениях и наказаниях». — «Что это за право, - говорит Беккариа, - которое люди присваивают себе, чтобы убивать себе подобных? Оно точно не является тем правом, на котором основываются суверенитет и законы. Законы - это лишь сумма долей свободы каждого отдельного человека, самых малых долей, которыми каждый смог пожертвовать; они представляют общую волю, являющуюся собранием всех частных волей. Но кто когда-либо хотел наделить других людей правом лишить его жизни? Как в этих мельчайших жертвах личной свободой может заключаться право на жизнь, величайшее из всех благ? И если бы это было так, как примирить этот принцип с другим - тем, что человек не имеет права покончить с собой, раз он должен был обладать этим правом, чтобы передать его другим или обществу?».

Вот заметка, которую Дидро сделал по этому поводу: «Именно потому, что жизнь - величайшее из всех благ, каждый согласился с тем, что общество вправе лишить её того, кто отнимет её у других. Никто, несомненно, не хотел давать обществу право лишать себя жизни по любому поводу; но каждый стремится сохранить свою собственную, и никто, не предвидя в себе воли посягнуть на чужую жизнь, видел в смертной казни лишь выгоду для общественной безопасности, защиты и возмездия. Легко представить себе человека, который говорит: „Я согласен, чтобы меня лишили жизни, если я посягну на жизнь других“, и говорит самому себе: „Я не посягну; значит, закон будет за меня и не обернется против меня“. Этот договор настолько естественен, что его часто заключают в частных сообществах, например, в заговорах, где кланутся омыться кровью того, кто раскроет тайну. Что касается справедливости этого наказания, она основана на соглашении и общей пользе; если оно необходимо, то оно справедливо: остается лишь выяснить, необходимо ли оно».

Мнение Руссо совпадает с мнением Дидро. «Мы соглашаемся умереть, если станем убийцами, - говорит он (кн. II, гл. 5, „Об общественном договоре“), - именно для того, чтобы не пасть жертвой убийцы. В этом договоре человек вовсе не распоряжается собственной жизнью, он лишь стремится её обезопасить, и нельзя предположить, чтобы кто-то из договаривающихся сторон в тот момент намеренно рассчитывал быть повешенным».

Мне нечего добавить к этим опровержениям, которые вполне убедительны.

Вот еще одно заблуждение относительно смертной казни, которое приходится слышать ежедневно: её легитимность пытаются обосновать законом талиона. Что под этим подразумевается? Имеется в виду естественное право на личную месть? Но это право - первое, от чего отказывается каждый, вступая в общество: он доверяет ему свою безопасность и передает ему средства защиты.

Подразумевается ли, что общество, осуществляя права индивидов, имеет право мстить так же, как они? В таком случае я спрошу: означает ли выражение «мстить так же, как они», что нужно осуществлять их месть или же мстить в той же мере, что и они - то есть соразмерно опасности, которой оно подверглось, или ущербу, который оно понесло? Если хотят, чтобы общество осуществляло месть каждого отдельного человека, то общество перестает быть коллективным существом с собственной индивидуальностью. Если же под этим понимают, что общество, рассматриваемое как коллективное целое, должно мстить соразмерно ущербу не одного из своих членов, а своему собственному, то я утверждаю: из закона талиона в таком истолковании не следует, что общество обязано наказывать убийцу смертью; ведь убийца, лишая человека жизни или посягая на неё, вовсе не посягает тем самым на жизнь общества и не убивает его; он лишь наносит ему рану. Следовательно, закон талиона предписывает применять к нему лишь соразмерное членовредительство.

Но является ли закон талиона подлинно естественным законом? Когда я в силах обезоружить убийцу, имею ли я право убить его? А если он убьет меня, разве мои дети имеют право, в свою очередь, стать убийцами?

Когда мы придерживаемся принципа, что законы суть соглашения, мы ощущаем необходимость отбросить все эти идеи, почерпнутые из дикого естественного состояния или сверхъестественных откровений. Люди, заключающие соглашения, всегда преследуют лишь одну цель: понять, какие из них необходимы, а какие полезны.

Сведем же, подобно Дидро и Руссо, вопрос к тому, является ли смертная казнь необходимой или полезной для обеспечения общественной безопасности.

ВОПРОС ВТОРОЙ. — Смертная казнь, тем не менее, сопряжена с двумя примечательными обстоятельствами: тем, что человек [якобы] неисправим, и тем, что доказательства преступлений, к которым она применяется, часто обманчивы; к тому же смерть не оставляет человеку ни возможности исправиться, ни надежды на средства защиты от судебных ошибок. Более того: часто случается так, что преступник, раскаявшийся в содеянном, в момент казни за прошлое злодеяние пребывает в самом искреннем расположении духа, свойственном добропорядочному человеку. Эти два обстоятельства не должны заставлять закон необходимости отступать, но они должны крайне затруднять признание доказательств этой самой необходимости.

Что касается меня, я вовсе не верю в эту необходимость.

Воровали прямо под виселицей, на которой прежде карали воров; в смутные времена заговоры плетутся под самым эшафотом, на который падают головы заговорщиков. Было время, когда во Франции отменили смертную казнь для дезертиров; было установлено, что за весь период этой отмены ежегодное число дезертирств не превышало того, что было до и после неё. Во времена Франциска I законы против краж со взломом были ужасающими, но такие преступления совершались беспрестанно. Эти законы вышли из употребления, и теперь кражи со взломом редки. В 1724 году смертная казнь была установлена за домашнюю кражу: они были часты; за последние тридцать лет, когда была признана жестокость этого наказания и его стали применять редко, не заметно, чтобы число домашних краж увеличилось.

Преступников удерживает именно уверенность в неизбежности наказания, а не страх перед его ужасающей суровостью.

Как может мысль об ужасной казни остановить злодея? Первое, что он исключает из своих расчетов, - это вероятность быть разоблаченным; то, на что он рассчитывает, - это безнаказанность. Когда совершается преступление, от него, несомненно, ожидают какой-то выгоды, иначе бы его не совершали. Таким образом, идя на преступление, человек рассчитывает не лишиться плодов, которые оно сулит; следовательно, он рассчитывает не быть пойманным;

он вовсе не принимает в расчет суровость наказания: его крайняя жестокость, таким образом, совершенно бесполезна.

Раз преступление совершается лишь ради того, чтобы воспользоваться его плодами, уверенности в невозможности ими воспользоваться должно быть достаточно, чтобы отвратить от него.

Причиной того, что крайней жестокости наказаний приписывают действие, которого они на самом деле не производят, является то, что эта жестокость обычно совпадает во времени с моментом их провозглашения и активным применением мер по раскрытию преступлений. Сдержанность, которая на самом деле является следствием уверенности в разоблачении, приписывают страху перед жестокой казнью.

Я признаю, что когда уверенность в наказании и уверенность в том, что это будет смертная казнь, объединяются, ужас преступников должен быть сильнее, чем когда первое отделено от второго; но я утверждаю, что этот избыток суровости лишний.

Заговоры в периоды гражданских смут - это особый разряд преступлений: в такие времена опасно оставлять заговорщиков в живых; их сторонники могут освободить их в любой момент. Следовательно, их нельзя ни держать взаперти, ни без риска использовать на общественных работах. Кроме того, в обстоятельствах гражданских войн только террором можно сдерживать виновных, коих всегда великое множество, и законы войны в таких случаях служат народам кодексом чаще, чем законы общественные. Наконец, в преступлениях такого рода нет места моральному подавлению: позор не ложится на государственные преступления.

В Учредительном собрании говорили что это был, как я полагаю, Лепелетье де Сен-Фаржо, утверждавший, что обществу не следует делать наказанием событие, которое природа сделала обязательным условием человеческого существования; что нужно приучить людей хладнокровно смотреть на смерть и, следовательно, не причислять её к разряду казней.

Это слабое возражение. Во-первых, его можно выдвинуть против любого вида наказания. Можно было бы сказать, что природа создала нас для труда; почему же тогда делать труд наказанием для преступника? Во-вторых, природа предназначила нас к смерти, но не к смерти насильственной. Смерть, которую дает нам природа, мягка; та же, что навязывается законом, - жестока. Природа плавно отделяет нас от жизни через старость или болезнь: она постепенно отрывает нас от всех объектов нашей привязанности. Меч же уголовного закона вырывает жизнь силой, обрывая её в самом расцвете наслаждений. Природа усыпляет нас, а меч - убивает, и это мучительно.

Лепелетье, кажется, дошел даже до утверждения, что закон не должен внушать гражданину ужас перед смертью, поскольку отечеству нужно, чтобы он взирал на неё с презрением... Но для государства было бы великим несчастьем, если бы граждане презирали жизнь. Тот, кто презирает жизнь, не имеет ни отечества, ни семьи. Печальной была бы республика, состоящая из блаженных, которые полагали бы всё своё счастье лишь в созерцании загробного мира и пребывали бы в ненависти к миру нынешнему. На какие жертвы они были бы способны ради существования, не имеющего цены? Где найти тот рычаг, который привел бы в движение таких людей, или, скорее, такие машины?

Обществу нужно, чтобы гражданин всегда был готов пожертвовать жизнью, когда того требуют интересы государства: это значит, что он должен любить государство настолько, чтобы жизнь стала для него невыносимой, если он не сделал для него всего, что было в его силах. Это равносильно утверждению, что он должен жертвовать жизнью ради собственного счастья; уметь умереть, нежели томиться в унижении или несчастье; любить счастливую и благородную жизнь так сильно, чтобы суметь оставить её, когда она перестает быть таковой.

Посему я не стану причислять замечания Сен-Фаржо к мотивам, которые должны побуждать к отмене смертной казни. Впрочем, они излишни. В том, что я сказал, и особенно в том, что было сказано до меня, достаточно доводов для её отмены. Из моих слов можно даже сделать вывод, что любое мучительное наказание становится тем менее необходимым, чем совершеннее становятся средства раскрытия или предупреждения любых преступлений. Руссо

и Дидро согласны с Беккариа в том, что частота казней и их суровость всегда являются признаками слабости или небрежности правительства. Таким образом, несмотря на право каждого индивида [теоретически] согласиться на смертную казнь, хорошо организованное общество не должно её устанавливать.

Изгнать её из своего кодекса вовсе не означает поставить под угрозу безопасность государства в периоды гражданских смут. Закону следовало бы лишь определить обстоятельства, при которых законодательный орган мог бы объявить о состоянии гражданских волнений; в этом случае заговорщики карались бы по законам военного времени, и только в таком порядке вещей смертная казнь сохранялась бы.

Здесь уместно установить принципы основных форм уголовного судопроизводства; рассмотреть вопросы о суде присяжных и суде профессиональных судей; о письменных показаниях и допросах или же только об устных; о формальных законных доказательствах и о доказательствах по внутреннему убеждению. Эти вопросы подробно обсуждались в Учредительном собрании. Кондорсе также писал на эту тему. Иеремия Бентам направил Конвенту свой труд на английском языке по этому же предмету. Всё это необходимо изучить, сопоставить и обобщить.

Когда уголовные законы составлены, замечаешь, что сделано еще не всё. Возникает вопрос: *Но кто будет налагать эти наказания, кто будет их провозглашать?* Вскоре к этой мысли добавляется другая: *Перед нами общая собственность; кто будет её сохранять, содержать, охранять и надзирать за ней?* Затем появляется и третье опасение; человек бросает взор за пределы своей территории и видит там либо уже сформировавшиеся народы, либо бродячие дикие племена, и задается вопросом: *Если эти народы, если эти орды нападут на нас и нашу собственность, как мы узнаем об этом, как мы соберемся вместе, как мы будем защищаться?*

Тогда ощущается потребность в новой гарантии; люди говорят друг другу: необходимо назначить представителей, которые возьмут на себя заботу о внутренней и внешней безопасности, а также об управлении нашим общим имуществом. Так возникает образ *правительства или исполнительной власти*, выражающей национальную волю.

Очевидно, что первые представления о конституции не обязательно включали в себя законодательную власть. Она появляется лишь тогда, когда исполнительная власть желает сама издавать законы вместо того, чтобы просто исполнять уже существующие, а народ, осознав трудность общих собраний для законотворчества или противодействия произволу исполнительной власти, приходит к идее делегирования своих полномочий. Точнее, он поручает представителям подготавливать решения путем предварительных обсуждений.

Однако и здесь возникает предварительный вопрос: существует ли определенный размер территории, абсолютно необходимый для безопасности государства? Этот вопрос следует рассмотреть с трех сторон.

Нам предстоит выяснить: 1) должна ли существовать точная пропорция между населением и территорией; 2) должна ли эта территория иметь определенную протяженность, чтобы быть в состоянии противостоять соседним государствам; 3) должна ли она быть ограничена в размерах, дабы правительство не превратилось в деспотичное.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС. (*Об общественном договоре*, кн. II, гл. X). — Руссо отвечает на него так: максимум силы народа определенной численности заключается в пропорции, *при которой земли достаточно для содержания жителей, и жителей ровно столько, сколько земля может прокормить.*

«Если земли слишком много, - продолжает Руссо, - ее охрана обременительна, обработка недостаточна, а излишки продукции ведут к оборонительным войнам. Если же территории не хватает, государство попадает в зависимость от соседей в поисках недостающих ресурсов, что становится причиной войн наступательных. Любой народ, который в силу своего положения вынужден выбирать между торговлей и войной, слаб сам по себе: он зависит от случайностей и от соседей, а его существование всегда будет кратким и неопределенным».

Это утверждение не совсем верно. Государство, которому не хватает земли для самообеспечения, действительно зависит от соседа, поставляющего ему продовольствие. Эта зависимость проявляется в том, что если сосед запретит ввоз товаров первого государства или создаст собственные мануфактуры, позволяющие ему обходиться без импорта, он обрекает на голод ту часть населения, которая жила за счет промышленности.

Но если это государство сосредоточит на малой территории огромную массу людей, живущих за счет соседа (у которого, следовательно, население не пропорционально площади земель), оно на деле окажется сильнее последнего. Уже в силу этого превосходства оно сможет добиться независимости - либо путем завоевания той самой страны, что его кормила, либо через вторжение на иную территорию.

Следовательно, малонаселенное, но богатое продовольствием государство должно опасаться численного перевеса соседа ничуть не меньше, чем тот боится цен на продовольствие. Слабый богач должен больше бояться силы озлобленного бедняка, чем бедняк, чья сила очевидна, - недоброжелательства беззащитного богача. Таким образом, избыточное население само по себе не является причиной неминуемой войны.

Может случиться даже так, что охрана страны окажется обузой, если в ней проживает лишь столько жителей, сколько она способна прокормить, и при этом она далека от пика своего могущества. Если земля бесплодна, требуется огромная территория, чтобы прокормить немногих, и тогда она охраняется слабо. Страну в двадцать тысяч арпанов, которая при полной обработке может прокормить лишь тысячу колонистов, охранять так же трудно, как и аналогичную территорию, где для пропитания того же числа людей хватило бы половины земель, а остальное оставалось бы невозделанным. Следовательно, охранять ее труднее, чем более плодородную страну, населенную соразмерно ее площади и плодородию.

Максимум силы любого народа заключается в том, чтобы иметь как можно более многочисленное население на как можно меньшем пространстве, и неважно, откуда берутся средства к существованию - от торговли или от собственности.

Однако безопасность страны перед лицом иноземцев обеспечивает не только население, но и физические барьеры, которыми природа разделила части земного шара: моря, реки, горы и тому подобное.

Из двух стран равной площади, одна из которых будет островом или частью материка, окруженной горами, подобно Швейцарии, а другая - страной открытой и незащищенной, как Шампань или Бри, то первая, бесспорно, окажется более легкой для обороны: ее безопасность сможет обеспечить лишь десятая часть того населения, которое потребовалось бы для защиты второй.

ВТОРОЙ ВОПРОС. — Существует ли определенный предел территории, за которым любое регулярное правление становится невозможным?

Послушаем, что говорит по этому поводу Руссо: *«Так же как природа установила пределы для роста человека нормального сложения, за которыми она создает лишь гигантов или карликов, так и для наилучшего устройства государства существуют границы его протяженности. Оно не должно быть ни слишком огромным, чтобы им можно было управлять, ни слишком маленьким, чтобы оно могло обеспечивать свое существование самостоятельно. В любом политическом организме есть максимум силы, который он не должен превышать и от которого он часто отдаляется по мере своего расширения. Чем сильнее растягиваются общественные связи, тем слабее они становятся; и в целом малое государство пропорционально сильнее большого»*.

Эту максиму подтверждают тысячи причин. Во-первых, управление на больших расстояниях становится более затруднительным, подобно тому как груз становится тяжелее на конце длинного рычага. Оно также становится более дорогостоящим по мере умножения ступеней власти: ведь сначала у каждого города есть своя администрация, которую оплачивает народ; у каждого округа - своя, также оплачиваемая народом; затем у каждой провинции, далее идут генерал-губернаторства, сатрапии, вице-королевства, за которые приходится платить

всё дороже по мере восхождения по иерархии, и всегда за счет несчастного народа; наконец, венчает всё высшая администрация, которая окончательно раздавливает всех. Столь многочисленные дополнительные поборы постоянно истощают подданных; и эти различные уровни власти вовсе не способствуют лучшему управлению - напротив, дела идут хуже, чем если бы над народом стояла лишь одна-единственная власть. При этом на чрезвычайные случаи ресурсов почти не остается, и когда к ним приходится прибегать, государство оказывается на грани разорения.

Но и это не всё: правительству не хватает сил и быстроты, чтобы обеспечивать соблюдение законов, пресекать притеснения, исправлять злоупотребления и предотвращать мятежные замыслы, которые могут замышляться в отдаленных землях. Народ же меньше привязан к своим правителям, которых он никогда не видит, к отечеству, которое кажется ему необъятным, словно весь мир, и к согражданам, большинство из которых для него - чужаки.

...Таланты зарыты в землю, добродетели остаются незамеченными, а пороки - безнаказанными в этой массе людей, незнакомых друг другу, которых в одном месте собирает средоточие верховной власти. Правители, обремененные делами, ничего не видят сами - государством управляют чиновники. Наконец, меры, необходимые для поддержания общего авторитета, от которого стремятся ускользнуть или который пытаются обмануть столь многочисленные и далекие должностные лица, поглощают все общественные заботы. На заботу о народном благе ничего не остается, едва хватает сил на оборону в случае нужды; и именно так политическое тело, ставшее слишком великим для своего строения, проседает и гибнет, раздавленное собственным весом». («Об общественном договоре», кн. II, гл. IX).

Ко всем этим доводам Руссо добавляет наблюдение, которое я оспарю ниже. Он утверждает: «Одни и те же законы не могут подходить стольким разным провинциям, у которых разные нравы, которые живут в противоположных климатах и не могут терпеть одну и ту же форму правления». Далее он продолжает: «Различия в законах порождают лишь смуту и неразбериху среди народов, которые, живя под началом одних и тех же правителей и находясь в постоянном общении, переезжают или вступают в браки друг с другом; подчиняясь иным обычаям, они никогда не знают, действительно ли их наследие принадлежит им».

Это мнение заимствовано из «Духа законов». Я докажу, что влияние, приписываемое климату в вопросе социального устройства разных народов, является мнимым. Впрочем, замечу: даже если бы оно было реальным, оно ощущалось бы лишь между тремя или четырьмя частями света, но никак не между провинциями одной империи, как принято считать. Из этого следовало бы, что, возможно, некоторые законы Севера не подошли бы для жаркого пояса, и наоборот, но это не значит, что в таком государстве, как Франция, должно существовать пятьсот или шестьсот различных обычаев, а на территории бывшего Парижского парламента - триста. Здесь я лишь отмечу, что любой закон, который из-за лишнего градуса тепла или холода мог бы стать пагубным для какой-то одной части государства, - это, по сути, дурной закон. Это закон, касающийся предмета, в который законодателю не следовало бы вмешиваться. Напротив, одно из преимуществ, присущих великим государствам, заключается в том, что разнообразие условий в тысяче мелких деталей мешает правительству и законодателю касаться вещей, которые их не касаются.

Руссо, указав пределы, за которые государство не должно расширяться, предлагает несколько размышлений о том, до какой степени ему, напротив, надлежит расти.

ТРЕТИЙ ВОПРОС. — Существует ли определенная мера территории, без которой государству не хватало бы прочности?

«Государство, - говорит Руссо, - должно обладать определенным фундаментом, чтобы иметь прочность и противостоять потрясениям, которые оно неизбежно испытает, а также усилиям, которые оно будет вынуждено прилагать для своего самосохранения. Ибо у всех народов есть своего рода центробежная сила, под действием которой они постоянно противостоят друг другу и стремятся расшириться за счет своих соседей, подобно вихрям Декарта. Таким образом, слабые рискуют быть вскоре поглощенными; и едва ли кто-то может уцелеть

иначе, как привести себя в равновесие со всеми остальными, при котором давление повсюду становится почти равным».

«Существуют, следовательно, причины для расширения и причины для сужения; и найти между ними пропорцию, наиболее выгодную для сохранения государства, - это немалое достижение для политика».

Как мы видим, Руссо, которому нельзя отказать в определенном человеколюбии, не верил в возможность всемирного правительства; он не верил даже в возможность обширного государства. Я же замечу (чтобы не останавливаться на вопросе *Всемирной республики* дольше, чем следует), что *Всемирное общество* вполне может существовать при различных правительствах. Естественное влечение людей друг к другу могло бы само по себе возобладать над отвращением деспотов к тесному общению их подданных с вольными народами. Но есть и нечто большее: интерес и жадность самих деспотов побудили их поощрять это общение. Они хотели быть богатыми, а чтобы стать таковыми, они хотели, чтобы богатели и их подданные. Одним из средств к достижению богатства была торговля, и деспоты стали покровительствовать ей и поощрять её.

Торговля же, делая различные языки общими для торгующих народов, увеличивая их переписку, умножая путешествия из страны в страну, устанавливая круговорот идей через книги и, так сказать, круговорот нравов и привычек через постоянное общение, положила начало своего рода всемирному обществу. Она закрепила и укрепила принципы международного права, установила подобие некоего надзора для взаимной безопасности. Совершенствовать это общество, отменяя запреты и фискальные сборы, развивая разум всех людей и расширяя мораль - вот и всё, что можно сделать для всемирного общества, и это всё, что ему необходимо.

Позволю себе заметить здесь, что всё уже существующее в этом направлении является, как мы видим, одним из великих благодеяний труда - труда, соединенного со свободой и собственностью, подстегиваемого жадной безграничных наслаждений. Этот союз, который труд установил между народами, не связанными никаким договором, и который он поддерживает между частными лицами даже в пылу войн между государствами, служит, несомненно, прекрасным доказательством той силы, которую мы недавно приписали ему в деле поддержания гармонии, братства и счастья среди членов одного и того же общества. Это также доказывает необходимость безграничной защиты свободы и собственности ради самих интересов филантропии.

Общие следствия.

Необходимо добавить несколько слов к наблюдениям Руссо, чтобы привести их к практическому результату. С одной стороны, преимущества большого государства весьма многочисленны и значительны. Обширная территория способствует лучшему разделению труда и наилучшему использованию собственности. Благодаря этому она обеспечивает величайший взлет талантов и максимальное плодородие земель; она гарантирует больше ресурсов в случае нужды и больше рынков сбыта в периоды изобилия. Она благоприятствует крупным общественным работам, столь полезным для процветания частных лиц. Она умножает для самого государства те ресурсы, которые ему необходимы, обеспечивая ему высокий кредит, способный восполнить временную нехватку средств. Наконец, она дает государству средства сопротивления, которые защищают его от нападений.

С другой стороны, активная мощь центрального правительства не имеет четко определенных физических границ. Нельзя сказать точно, сможет ли она без труда распространиться на территорию в сто, двести или пятьсот лиг.

При наличии простых и справедливых законов, которые прежде всего не будут касаться того, что их не касается; при полной свободе и совершенном равенстве прав; при простых и чистых нравах и, в особенности, при такой системе управления, которая будет охватывать

лишь самое малое число предметов, оставляя частному интересу, просвещению, общественному разуму или местным администрациям заботу обо всем, что не требует обязательного вмешательства центральной власти, - государству можно придать весьма обширные размеры.

Иерархическая система, совершенствуясь, также может позволить правительству охватывать огромную территорию в благоустроенной стране, где множатся и содержатся в порядке большие дороги и каналы; где почта налажена и организована так, чтобы обеспечивать максимальную скорость сообщений; где общественные экипажи удобны и дешевы как на суше, так и на воде; где печать вошла в обиход, а типографские станки многочисленны; где существует единство языка и, наконец, прочная привычка жителей к общению друг с другом.

Тем не менее, можно легко рассчитать некоторые основные обстоятельства общественного состояния, которые должны учитываться при определении пределов государства.

Например, необходимо, чтобы расстояния от центра до окраин не были настолько велики, чтобы мешать бедняку или человеку среднего достатка прибегнуть к центральной власти для защиты от богатого угнетателя или от должностного лица, которому долгие путешествия не в тягость.

Следует также избегать ситуации, при которой местные власти могли бы стать независимыми, а подавление любых дерзких попыток с их стороны должно быть максимально оперативным.

Кроме того, расстояния не должны быть слишком велики, чтобы центральная власть могла вовремя получать известия о враждебных действиях со стороны какого-либо соседнего государства и направлять помощь из различных частей страны к угрожаемым точкам... Все эти соображения должны входить в расчеты, и они вполне поддаются исчислению.

О Конституции.

Конституция - это установление и организация государственных властей, призванных гарантировать исполнение общей воли.

Общая воля требует, во-первых, органов для своего провозглашения, и посредников для её подготовки и разъяснения. В этом источник первой власти, которую называют *законодательной властью*.

Чтобы общая воля исполнялась, необходимо уважение к закону, который, в свою очередь, должен иметь своих исполнителей и органы. Это то, что называют *исполнительной властью*.

Вот две власти, необходимые в любой конституции.

Существуют и другие, которые могут быть полезны и даже необходимы в той или иной конкретной конституции.

Почти у всех народов, где законодательная власть была либо узурпирована у суверена (которым является нация), либо делегирована ею доверенным лицам или представителям, между этой властью и властью исполнительной часто возникали конфликты; они нередко вспыхивали и между органами, наделенными этими двумя властями, и всем народом, чьи права те узурпировали. Эти столкновения породили третью власть, которую можно назвать *посреднической* или *регулирующей властью*; она служит гарантией национальной воли против самой конституции.

Трибунал в Риме был лишь регулирующей властью между народом, бывшим сувереном, сенатом, обладавшим законодательной инициативой, и консулами, которые вместе с сенатом делили исполнительную власть. Палата пэров в Англии является подлинным регулятором.¹⁶ Поскольку эта третья власть в Риме пожелала скорее одолеть другие власти, нежели примирить их, понадобилась четвертая, которую называли *цензурой*. Это слово часто понимают в чисто моральном смысле, полагая, что оно обозначает лишь институт, охраняющий домашние нравы, тогда как на самом деле цензура была не чем иным, как органом политической власти.

¹⁶ См. в одном из номеров «Индикатора» (*L'Indicateur*) - периодического издания, выходившего в 1792 году под редакцией Адриена Дюпора, члена Учредительного собрания, статью о регулирующей власти.

Власть цензуры заключалась в том, чтобы переводить гражданина из одного ценза в другой - то есть понижать или повышать его в правах в зависимости от прихоти цензора; делать одного достойным высших должностей в республике, а другого - неспособным их занимать, и так далее. Эта власть распоряжалась всеми остальными, по своему усмотрению управляя всеми их составляющими.¹⁷

Наконец, этим четырем властям помогала пятая, которая повсеместно была самой сильной из них: это власть общественного мнения. Она воздействует на воображение через религию, на разум - через просвещение, и она неизменно вводила в заблуждение разум и развращала воображение.

Политические писатели никогда не упоминали более двух властей: во-первых, потому, что в действительности существуют лишь две власти, которые оказывают непосредственное и ощутимое воздействие на граждан; во-вторых, потому, что остальные были лишь временными и как бы случайными; в-третьих, потому, что они почти всегда соединялись с одной из двух основных властей, как, например, в английской конституции, где Палата пэров является частью законодательного корпуса.

Конституции почти не пришлось бы заниматься законодательной властью, если бы она сохранялась за народом и ограничивалась предоставлением представителям лишь права законодательной инициативы; в таком случае учредителям не пришлось бы ни на мгновение заботиться об остальных властях, и, отсекая таким образом всё, что к ней не относится, они могли бы без труда создать превосходную исполнительную власть.

Впрочем, я уже высказывал свое мнение о законодательной власти. Я говорил, что она должна носить чисто инициативный и совещательный характер, и что в упорядоченном обществе ни один закон не должен провозглашаться или исполняться, даже временно, без санкции народа. Я показал, как этот принцип устраняет любые трудности в организации органа, не совсем точно именуемого «законодательным», в вопросе его мнимого отличия от учредительного собрания, в различии способов отмены гражданских или распорядительных законов в сравнении с законами конституционными; в его отношениях с исполнительной властью, в способах сделать последнюю деятельной и полезной, но никогда - опасной, и, прежде всего, в предупреждении её сговоров с законодательным корпусом без провоцирования враждебных столкновений между ними; в предупреждении их взаимных узурпаций без возникновения недоверия друг к другу; в обеспечении мудрости совещаний и ясности результатов путем устранения опасностей, исходящих от страстей, безрассудства, поспешности и прочего. Обо всем этом достаточно лишь упомянуть, чтобы это почувствовать; эти истины несут доказательство в самих себе.

Напомню здесь также слова Руссо о законодательной власти: *«Тот, кто составляет законы, - говорит этот философ (Об общественном договоре, кн. II, гл. VII), - не должен иметь никакой законодательной власти; сам народ не может, даже если бы он того захотел, лишить себя этого неотчуждаемого права, ибо согласно основному соглашению лишь общая воля накладывает обязательства на частных лиц, и никогда нельзя быть уверенным в том, что частная воля соответствует общей воле, пока она не будет представлена на свободное голосование народа».*

¹⁷ «О цензуре. Цензура в целом весьма полезна для поддержания в народе предрассудков, выгодных тем, кто правит, для сохранения в определенном сообществе всех пороков, порождаемых корпоративным духом: цензура была установлена в Риме сенатом, чтобы уравновесить власть трибунов. Она была инструментом тирании. В качестве предлога использовали заботу о нравах; на деле же воспользовались естественной ненавистью народа к богачам. Страх подвергнуться унижению со стороны цензора должен быть тем сильнее, чем более человек чувствителен к чести, отличиям и привилегиям. Люди, ведомые добродетелью, лишь посмеялись бы над судом цензоров и направили бы всё свое красноречие на то, чтобы упразднить это нелепое учреждение».

(Заметка Кондорсе к ст. 29 «Комментария» Вольтера к «Духу законов», т. II, «О политике», стр. 43, Кельское издание, 12-й формат).

Поговорим теперь об устройстве исполнительной власти. Она включает в себя два объекта, которые не следует смешивать: правительство и администрацию. Администрация бывает общей или частной, местной или центральной. Существуют определенные сферы, которые не могут быть доверены частным администрациям, такие как военное ведомство, морское ведомство и другие; эти администрации являются общими, но они не отличаются по своей природе в политическом отношении от администрации налогов, которые передаются в ведение департаментов и именуются частными администрациями. Правительство - это то, что приводит в движение и управляет центральными и местными, общими и частными администрациями. Различие, которое я здесь провожу между правительством и администрацией, сводится к различию между исполнением и надзором или между действием и предписанием. Впрочем, это различие будет еще более прояснено далее.

В обычной речи правительством называют всю систему исполнительной власти целиком, не разделяя властные полномочия и административные функции. Такое словоупотребление можно принять без возражений, когда исполнительная власть рассматривается в её общих отношениях с другими частями конституции. Мы будем использовать этот термин именно так, чтобы изложить общие понятия, в которых необходимо разобраться, прежде чем приступать к любой политической дискуссии.

(О природе правительства и его сущности. - Здесь было бы уместно поместить главу из «Общественного договора», касающуюся этого предмета).

О различных видах правительств.

Различают три вида правительств.

«Суверен, - говорит Руссо (*Об общественном договоре*, кн. , гл.), - может, во-первых, доверить управление всему народу или большей его части так, чтобы число граждан-магистратов превышало число простых частных граждан. Эту форму правления называют **демократией**.¹⁸ Или же он может сосредоточить правительство в руках немногих, так что простых граждан будет больше, чем магистратов; такая форма носит название **аристократии**. Наконец, он может сосредоточить всё правительство в руках одного-единственного магистрата, от которого получают свою власть все остальные. Эта третья форма является самой распространенной и называется **монархией** или королевским правлением.

Следует заметить, что все эти формы (или, по крайней мере, первые две) допускают определенную широту и гибкость, поскольку демократия может охватывать как весь народ, так и сужаться до его половины; аристократия, в свою очередь, может охватывать от половины народа до самого малого, неопределенного числа лиц. Даже королевская власть допускает некоторое разделение. В Спарте по конституции всегда было два царя, а в Римской империи бывало до восьми императоров одновременно, и при этом нельзя было сказать, что империя разделена».

Из этих определений видно, что так называемое «представительное правительство» не является четвертой формой правления. Слово «представительное», примененное к правительству, а не к конституции, означает лишь то, что оно состоит из делегатов, избранных народом; следовательно, оно является синонимом *выборного правительства*. Таким образом, оно может в равной степени применяться и к демократии, и к аристократии, и к монархии, при условии,

¹⁸ Это представление неточно. В любом правительстве, даже в монархическом, число магистратов может быть настолько увеличено, что их станет больше, чем граждан, не имеющих должностей. Определение монархического правительства, приведенное ниже, нисколько не противоречит моему утверждению, если признать различие, которое я провел между правящей властью и административной властью. Эти понятия могут стать более точными и ясными; и чтобы сделать определение демократии верным, следует сказать: так, чтобы число *правящих граждан* превышало число граждан управляемых или простых частных лиц, и вовсе исключить слово «магистрат».

Точно так же в определении аристократии следует заменить слово «магистрат» словом «правящий»; тогда мы сможем понять друг друга.

что в каждом из этих правительств правитель (то есть правящая власть, будь она единоличной или коллективной) был избран народом.

Так, на прошлой неделе в Конвенте настойчиво требовали провозгласить французское правительство представительным, полагая, что этим словом дают мощную гарантию республиканской системе. Однако это не исключало даже монархию, поскольку при выборном короле правительство также было бы представительным. Это было общепризнано еще в 1791 году, когда во Франции впервые заговорили об установлении республики.

Я также замечу, что слово «республика», как и слово «представительный», применимо к любой системе правления. Говорили и до сих пор говорят «республика Спарта», хотя в Спарте было два царя. Говорят «республика Польша», хотя в Польше есть король. Сегодня говорят и о «Республике Соединенных Провинций», несмотря на то что во главе её стоит статхаудер, обладающий всей полнотой королевской власти.

Точно так же говорят о «Республике Соединенных Штатов Америки», хотя президент Соединенных Штатов - это, по сути, настоящий король, только временный и выборный. Лишь отсутствие наследственности трона отличает подобные монархии от остальных. Петион и Робеспьер в 1791 году заявляли в Учредительном собрании, что французской монархии недостает лишь выборности, чтобы при нашей конституционной королевской власти мы получили республику. Следовательно, если сегодня мы избавлены от бича королевской власти, то это не потому, что Конвент провозгласил во Франции республиканское правление, а потому, что он проголосовал за окончательную отмену монархии и установил смертную казнь для любого, кто предложит равнозначную или подобную власть.

«Республика» в строгом смысле означает «общественное дело» (*res publica*). Таким образом, любое правительство, где гарантировано общественное дело и где частные интересы узурпатора, тирана, наследственного или наделенного огромными средствами короля не преобладают над общественным делом, является республикой. Из этого следует, что республика может не существовать при правлении многих и, напротив, может существовать под властью единственного монарха - при условии (и это нам предстоит изучить), что власть одного человека, какой бы ограниченной она ни была, не является по своей сути развращающей, захватнической или, по крайней мере, враждебной общественным интересам.

Мы еще вернемся к этим понятиям и разберем их подробнее, прежде чем перейти к анализу преимуществ и недостатков, присущих каждому из трех видов правительств, и сделать выбор между ними - чему и будет посвящено следующее занятие. Но сейчас нам необходимо рассмотреть три вопроса, для которых сказанного выше вполне достаточно.

Первый: должна ли форма правления зависеть от климата, в котором она устанавливается?

Второй: должна ли она зависеть от средств, которыми народ располагает для своего пропитания?

Третий: должна ли она зависеть от протяженности территории, которую правительство должно охватывать?

Мы завершим это рассуждение разбором данных вопросов. Мы рассмотрим первые два из них вместе, так как они взаимосвязаны.

Первый вопрос: Должен ли климат влиять на форму правления, и зависит ли она от плодородия земель и т. д.

Монтескье полагал, что климат порождает рабов, а Руссо заявлял (*Об общественном договоре*, кн. III, гл. VIII), что чем больше размышляешь над принципом, установленным Монтескье, тем яснее видишь его истинность. Руссо возвел в принцип - и это его личная идея, - что в странах, где плоды земли обильны, а потребности людей ограничены, люди менее склонны к свободе.

Вот что говорит Монтескье по поводу первого положения: «Есть страны, где жара ослабляет тело и настолько ослабляет мужество, что люди исполняют тяжелые обязанности

лишь из страха наказания: рабство там меньше претит разуму; и поскольку господин там так же труслив перед своим правителем, как его раб перед ним самим, гражданское рабство в таких местах сопровождается еще и политическим рабством... Рабство противно природе, но в некоторых странах оно основано на естественных причинах». Таковы слова, которые мы находим в работе *О духе законов* (кн. XV, глава VII).

То, что Руссо говорит для обоснования второго положения, является предметом восьмой главы третьей книги его «Общественного договора». «Свобода, - говорит он, - не будучи плодом всех климатов, доступна не всем народам». И вот первое доказательство, которое приводит Руссо: «Чем больше увеличивается расстояние между народом и правительством, тем более обременительными становятся подати - и потому, что их размер растет, и прежде всего потому, что их продукт медленнее возвращается к своему источнику. Таким образом, при демократии народ обложен меньше всего;¹⁹ при аристократии - больше; при монархии он несет самое тяжелое бремя. Следовательно, монархия подходит только богатым нациям, аристократия - государствам среднего достатка и величины, а демократия - государствам малым и бедным».

«Таким образом, - заключает Руссо, - в каждом климате заложены естественные причины, позволяющие определить форму правления, к которой подталкивает сила этого самого климата, и даже сказать, какого рода жители должны его населять. Бесплодные и суровые земли, где урожай не окупает труда, должны оставаться невозделанными и пустынными или быть заселены лишь дикарями; земли, где труд людей приносит лишь самое необходимое, должны быть населены варварскими народами - любое гражданское устройство там было бы невозможно; земли, где излишек продукта над трудом умерен, подходят свободным народам; те же края, где территория обильна и плодородна, где малый труд дает богатый урожай, а люди потребляют немного, требуют монархического правления, дабы излишки средств подданных поглощались роскошью государя; ведь лучше, чтобы этот избыток поглощало правительство, чем растрачивали частные лица».

Между тем, согласно Руссо, именно на Юге земли обычно приносят много при малых усилиях, и именно там люди потребляют мало среди великого изобилия. В Индии или в Африке достаточно лишь поскрести землю, тогда как в Англии её нужно пахать. В Индии живут миллионы людей, чье пропитание не стоит и су в день. В Англии зажиточный крестьянин съедает за день столько, сколько хватило бы на обед десяти испанцам. Добавьте к этому, что пища в теплых странах более питательна, чем в холодных; и наконец, заметьте, что жаркие страны, способные прокормить больше жителей, чем холодные, на деле заселены меньше, так как для обслуживания населения там требуется меньше рабочих рук. Деспотизм же прекрасно уживается с разобщенностью людей на огромных пространствах, что мешает им часто собираться и договариваться для сопротивления угнетению.

Как видим, в своих выводах Руссо здесь сходится с мнением Монтескье. Оба они связывают истоки деспотизма с климатом: один - по причине жары, другой - по причине плодородия земель в теплых странах.

Прежде чем представить вам наблюдения, опровергающие обе эти системы, я должен указать на основные ошибки Руссо. Его рассуждение о монархии страдает логическими изъянами, что ему обычно не свойственно, хотя он мог бы сделать свои доводы гораздо более убедительными в рамках собственной логики.

Во-первых, он утверждает, что раз для содержания монархии требуются высокие подати, то монархия подходит богатым нациям: 1) однако дороговизна вовсе не является неотъемлемой чертой монархии, равно как и наличие правителя с непомерным содержанием и прочим; 2) из того, что только богатство способно платить высокие подати, вовсе не следует, что эти подати подходят богатству; 3) из того, что богатство позволяет сносить высокие подати или,

¹⁹ Если верно, что при демократии более половины народа является магистратами, и если эти магистраты получают жалованье, то такая форма правления должна быть гораздо дороже монархии или аристократии.

если угодно, они ему «подходят», отнюдь не следует, что они ему необходимы и что богатые народы жаждут монархического правления ради удовольствия платить налоги.

Руссо добавляет, что страны, где человек потребляет мало, а получает много при малых усилиях, стремятся к монархии, чтобы роскошь государя поглощала излишки подданных. По истине, чтобы это утверждение было верным, нужно предположить либо странную страсть добровольно искать себе господина, либо не менее странную тягость от обладания излишками! Разве существует такой избыток, который нельзя было бы обратить в удовольствие? Разве способность наслаждаться так быстро исчерпываема? Разве есть такой излишек, который нельзя обменять на нечто полезное или даже необходимое? *«Лучше, - говорит Руссо, - чтобы избыток поглощало правительство, чем растрачивали частные лица»*. Для кого лучше? Для правительства, без сомнения. Если автор имел в виду именно это, я с ним согласен. Но я замечу: вопрос не в том, как правительствам нравится грабить граждан, а в том, как народы могут находить удовольствие в том, что их грабит правительство.

Может быть, Руссо хотел сказать, что это лучше для нравов? Я бы спросил его: неужели нравы стран, где процветают откупщики - а они есть везде, где водятся большие деньги, - лучше, чем в странах, где каждый сам тратит свой доход или извлекает из него выгоду? Если бы нравы Парижа были выше нравов Швейцарии, а нравы генеральных откупщиков - выше нравов производителей набивных тканей, то я бы счел его доводы справедливыми. Или, быть может, Руссо хотел сказать, что это лучше для бедняков - получать из рук правительства то, что правительство изымает у богатых граждан? Но и это не объясняет покорность богачей, а тем более их рвение в поддержку монархии. В сущности, я отрицаю, что бедняку когда-либо выгоднее получать средства к жизни от правительства, чем от богатого соседа; от посредника, чем напрямую; от финансового чиновника, чем от собственника; от власти, чем по законам братства. Я отрицаю, что бедняку полезнее трудиться в казенных мастерских, а не у себя дома в кругу семьи, или зависеть от милости чиновника вместо того, чтобы выполнять работу по свободному договору, условия которого обоюдно согласованы гражданами.

Все в этом отрывке Руссо ложно и противоречиво. Чтобы его аргумент выглядел убедительно, его следовало сформулировать так: «В любой стране, где человек довольствуется малым и при минимальных усилиях получает изобилие, он неизбежно становится ленивым и склонным к уединению. Ленивым человеком легко овладевает деспот. Человеком разобщенным он распоряжается так же легко». Вот аргумент, который заслуживал бы ответа и который мы сами себе предлагаем.

Прежде чем ответить на него, заметим, что Монтескье можно противопоставить другие фрагменты из его же собственного труда. В двенадцатой главе четырнадцатой книги он пишет, что климат Индии столь мягок, что и законы там мягки. *«Эти законы, - говорит он, - отдают племянников дядям, а сирот - опекунам точно так же, как в других местах их отдают отцам. Они установили порядок наследования сообразно признанным достоинствам преемника. Кажется, законодатели полагали, что каждый гражданин должен полагаться на добрую природу окружающих. Счастлив климат, порождающий чистоту душ и мягкость нравов!»*. Разве не очевидно, что страна, где братство является естественным порывом сердца и привычкой каждого, меньше всего подходит для деспотизма?

В другом месте Монтескье произносит такие слова: *«Каким бы тяжелым ни был труд, требуемый обществом, всё можно исполнить силами свободных людей... Прежде на рудниках трудились только рабы или преступники, сегодня же там работают свободные люди... Лишь из-за дурных законов людей сочли ленивыми; а раз их сочли ленивыми, их обратили в рабство»* (Книга XV, глава VIII). Этот отрывок прямо противоречит доводу о привычной лени в жарких странах, приведенному в другом цитируемом фрагменте.

Впрочем, неважно, есть ли здесь противоречия или неверные рассуждения. Обратимся к сути дела. Вот опровержение системы влияния климата, сделанное на основе личных наблюдений в тех самых странах, которые Руссо и Монтескье приводили в пример. Его автор - про-

нищательный наблюдатель и в то же время прекрасный писатель **Вольней**. Речь идет о его замечаниях о политическом состоянии Сирии, входящих в его «Путешествие в Египет» (см. страницы с 422 по 436).

«Это наблюдение, применимое ко многим их привычкам и распространенное на другие страны, стало в наши дни поводом для весьма сурового суждения о характере восточных и многих других народов. Один знаменитый писатель, принимая во внимание слова греков и римлян об азиатской изнеженности и отчеты путешественников о медлительности индийцев, счел эту вялость коренной чертой жителей тех краев. Ища затем общую причину этого факта и обнаружив, что все эти народы живут в так называемых жарких странах, он решил, что причиной вялости является жара. Приняв этот факт за основополагающий принцип, он возвел в аксиому положение, согласно которому обитатели жарких стран обречены быть вялыми и инертными телом, а по аналогии - инертными умом и характером. Он не остановился на этом: заметив, что в этих странах преобладающей формой правления является деспотизм, и рассматривая деспотизм как следствие народной апатии, он пришел к выводу, что деспотизм для этих стран столь же естественен и неизбежен, как и сам их климат. Казалось бы, жестокость - или, вернее, варварство - подобного вывода должна была предостеречь умы от ошибочности таких принципов. Тем не менее, эта идея имела блестящий успех во Франции и даже во всей Европе, и мнение автора «О духе законов» стала для большинства умов авторитетом, против которого опрометчиво восставать. Здесь не место писать подробный трактат, чтобы доказать ошибочность этого взгляда; впрочем, сомнения на этот счет встречаются уже в трудах другого философа, чье имя стоит в одном ряду с именем Монтескье. Однако, дабы заронить зерно сомнения в души тех, кто принял это мнение, не дав себе времени на раздумья, я изложу несколько возражений, естественным образом вытекающих из самого предмета обсуждения.

Аксиому о лениности восточных, да и вообще всех южных народов, основывали на мнении, которое греки и римляне оставили нам об азиатской изнеженности. Но на каких фактах зиждется это мнение? Установлено ли оно на основе твердых и определенных данных или же на расплывчатых и общих идеях, коими мы сами привыкли оперировать? Имели ли они о тех странах в свое время более точные сведения, чем мы сейчас? И можем ли мы полагаться на их суждения, которые трудно подтвердить собственным исследованием? Примем факты такими, какими их дает история: разве были ленивы те ассирийцы, что в течение пяти веков тревожили Азию своим честолюбием и войнами? Те мидяне, что сбросили их иго и лишили их владений? Те персы времен Кира, что за тридцать лет завоевали земли от Инда до Средиземного моря? Разве были лишены активности те финикийцы, что на протяжении стольких веков держали в своих руках торговлю всего древнего мира? Те пальмирцы, чьи величественные памятники труда мы видели? Те кардухи Ксенофонта, что бросали вызов могуществу Великого царя в самом сердце его империи? Те парфяне, что были неукротимыми соперниками Рима? И, наконец, сами иудеи, которые, будучи ограничены пределами малого государства, не переставали бороться в течение тысячи лет против могущественных империй? Если люди этих народов были инертны, то что же тогда активность? Если же они были деятельны, то где же здесь влияние климата? Почему в тех самых краях, где некогда проявлялось столько энергии, сегодня царит столь глубокая инертность? Почему современные греки столь ничтожны на руинах Спарты и Афин, на полях Марафона и Фермопил?

Скажут ли нам, что климат изменился? Где тому доказательства? И предположим даже, что это так: значит, он менялся скачками и каскадами, периодами упадка и возврата; климат персов изменился в период от Кира до Ксеркса; климат Афин изменился от Аристиды до Деметрия Фалерского; климат Рима - от Ципиона до Суллы и от Суллы до Тиберия? Климат португальцев изменился со времен Альбукерке, а турок - со времен Сулеймана? Если лень присуща южным поясам, то почему мы видели Карфаген в Африке, Рим в Италии, флибустьеров на Сан-Доминго? Почему мы находим малайцев в Индии и бедуинов в Аравии? Почему в одно и то же время и под одним небом существовали Сибарис рядом с Кротоне, Капуя рядом с Римом, Сарды рядом с Милетом? Почему на наших глазах в нашей Европе северные государства бывают столь

же вялыми, как и южные? Почему в нашей собственной империи южные провинции более деятельны, чем северные? Если при противоположных обстоятельствах мы видим одни и те же факты, а при разных фактах - одни и те же обстоятельства, то чего стоят эти пресловутые принципы? Что это за влияние? Что вообще понимают под активностью? Неужели ее признают только за воинственными народами? Разве Спарта без войны инертна? Что хотят сказать под "жаркими странами"? Где проводят границы холода и умеренного климата? Пусть Монтескье объявит об этом, дабы мы впредь знали, при какой температуре можно определить энергию нации и на каком градусе термометра следует признавать ее пригодность к свободе или к рабству!

Ссылаются на физический факт и говорят: "Жара лишает нас сил, летом мы более ленивы, чем зимой; следовательно, жители жарких стран должны быть вялыми". Допустим, это так; но почему же под тем же небом класс тиранов обладает большей энергией для угнетения, чем народ - для самозащиты? Но кто не видит, что мы рассуждаем как жители страны, где холода больше, чем жары? Если бы этот тезис поддерживался в Египте или Африке, там бы сказали: "Холод сковывает движения, останавливает кровообращение". Факт же заключается в том, что ощущения относительны и зависят от привычки, а тела принимают темперамент, соответствующий климату, в котором они живут; поэтому на них влияют лишь отклонения от привычной нормы. Мы ненавидим пот, а египтянин его любит и боится сухости кожи. Таким образом, будь то на основании исторических фактов или законов природы, тезис Монтескье, кажущийся столь весомым на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении оказывается чистейшим парадоксом. Своим успехом он обязан лишь новизне взглядов на подобные темы в ту эпоху, когда вышло сочинение «О духе законов», и той скрытой лестнице, которую этот труд предлагал принявшим его народам.

Чтобы внести хоть какую-то ясность в вопрос о человеческой активности, существовал путь более близкий и верный, нежели эти туманные и двусмысленные рассуждения: следовало рассмотреть саму природу человека, изучить его истоки и внутренние побуждения. При таком подходе становится очевидным, что любая активность - как физическая, так и интеллектуальная - берет свое начало в потребностях. Ее развитие прямо пропорционально их широте: от простейших элементов до самого сложного состояния. Именно голод и жажда пробуждают в еще первобытном человеке первые движения души и тела. Именно эти потребности заставляют его бежать, искать, выслеживать, прибегать к хитрости или силе. Вся его активность соизмеряется со средствами к существованию. Если они легкодоступны, если плоды, дичь или рыба всегда под рукой, человек менее активен, ибо ему достаточно протянуть руку, чтобы насытиться. А когда он сыт, ничто не побуждает его к движению, пока опыт разнообразных наслаждений не пробудит в нем новые желания, которые станут новыми потребностями и новыми стимулами к деятельности.

Если же добыть средства к существованию трудно, если дичь редка и пуглива, рыба хитра, а плоды сезонны, человек вынужден проявлять больше активности. Тело и ум должны упражняться, чтобы преодолеть препятствия, мешающие выживанию. Человек должен стать столь же ловким, как дичь, столь же хитрым, как рыба, и предусмотрительным, чтобы сохранить плоды. Тогда, стремясь расширить свои природные возможности, он начинает действовать, размышлять, обдумывать. Он догадывается согнуть ветку дерева, чтобы сделать лук, заточить тростинку, чтобы сделать стрелу, прикрепить острый камень к палке, чтобы сделать топор. Тогда он трудится, плетет сети, валит деревья и выдалбливает стволы, чтобы мастерить пироги.

Он уже перешагнул границы первичных нужд; опыт множества ощущений познакомил его с радостями и страданиями, и он проявляет еще больше энергии, чтобы избежать одних и приумножить другие. Почувствовав удовольствие от тени в знойный полдень, он строит хижину; обнаружив, что шкура защищает от холода, он делает себе одежду. Он попробовал спиртное и табак, они ему понравились, и он хочет еще. Но получить их он может лишь в обмен на бровровые шкурки, слоновьи бивни, золотой песок и прочее. Он удваивает усилия и достигает своей цели, проявляя такую предприимчивость, что доходит даже до продажи себе подобных.

Во всем этом развитии, как и в его первоначальном источнике, придется признать, что активность имеет крайне мало отношения к жаре. Просто считается, что северянам нужно больше пищи, чем жителям юга, и на этом основании можно было бы сказать, что они должны быть активнее. Однако разница в необходимых потребностях имеет довольно узкие границы. Впрочем, было ли доподлинно установлено, что эскимос или самоед действительно нуждаются в большем количестве питательных веществ, чем бедуин или «ихтиофаг» из Персии? Разве дикари Бразилии или Гвинеи менее прожорливы, чем обитатели Канады или Калифорнии? Здесь следует быть осторожным: доступность обильной пищи, возможно, является главной причиной прожорливости. А эта доступность, особенно в первобытном состоянии, зависит не столько от климата, сколько от характера почвы - то есть от ее богатства или скудости пастбищами, лесами, озерами, а следовательно, дичью, рыбой и плодами. Эти условия встречаются одинаково во всех климатических поясах.

Размышляя об этом, понимаешь, что именно характер почвы действительно влияет на активность. Как в общественном, так и в первобытном состоянии страна, где средства к существованию добываются с некоторым трудом, будет иметь более активных и трудолюбивых жителей. И наоборот, там, где природа щедро дарует всё, народ будет инертным и ленивым. Это вполне согласуется с общими историческими фактами: большинство народов-завоевателей были бедными народами, вышедшими из бесплодных или трудных для возделывания земель, тогда как завоеванные народы были обитателями краев плодородных и богатых. Примечательно даже, что эти бедные народы, обосновавшись среди народов богатых, за короткое время утрачивают свою энергию и впадают в изнеженность. Таковыми были персы Кира, спустившиеся из Элимаиды на равнины Евфрата; таковыми были македоняне Александра, перебравшиеся с гор Родопы на поля Азии; таковыми были татары Чингисхана, обосновавшиеся в Китае и Бенгалии; и арабы Мухаммеда в Египте и Испании. Отсюда можно сделать вывод, что народы склонны к инертности не потому, что живут в жарких странах, а потому, что живут в странах богатых. Это вполне согласуется с тем, что происходит внутри самих обществ, где мы видим, что именно богатые классы обычно проявляют меньше всего активности. Но так как эта пресыщенность или эта бедность не характерны для каждого отдельного представителя народа, следует признать существование причин более общих и действенных, нежели природа почвы. Это социальные институты, которые мы называем правительством и религией.

Именно они являются истинными регуляторами активности или инертности частных лиц и целых наций; именно они, в зависимости от того, расширяют или ограничивают ли они круг естественных или излишних потребностей, развивают или сужают деятельность всех людей. Именно благодаря их влиянию, вопреки различию почв и климатов, Тир, Карфаген и Александрия обладали такой же промышленностью, как Лондон, Париж и Амстердам; флибустьеры и малайцы обладали тем же беспокойным духом и характером, что и норманны; а русские и польские крестьяне проявляют ту же апатию и беспечность, что индусы и негры. Поскольку их природа меняется так же, как и страсти управляющих ими людей, их влияние меняется от одной эпохи к другой: вот почему римляне времен Сципиона - совсем не те, что были при Тиберии, а греки времен Аристиды и Фемистокла - не те, что при Константине. Заглянем в наше собственное сердце в поисках общих движущих сил человеческой души: разве мы не чувствуем, что наша активность гораздо меньше зависит от физических факторов, чем от обстоятельств того социального состояния, в котором мы находимся?

Когда необходимые или излишние потребности пробуждают в нас желания, наше тело и наш дух тотчас обретают новую жизнь; страсть придает нам пылкую активность, соразмерную нашим желаниям и поддерживаемую нашей надеждой. Если же эта надежда исчезает, желание угасает, активность ослабевает, а уныние приводит нас к апатии и лени. Этим объясняется, почему наша активность меняется в зависимости от возраста, положения в обществе и жизненных ситуаций; почему человек, столь деятельный в юности, становится ленивым на закате лет; почему в столицах и торговых городах активности больше, чем в го-

родах неторговых и в сельской местности. Чтобы пробудить активность, нужны объекты желаний; чтобы ее поддерживать, нужна надежда на достижение наслаждения. Если этих двух обстоятельств не хватает - ни в частном лице, ни в нации, - активности не будет. Такого положение восточных народов в целом, и особенно тех, о ком мы ведем речь. Что могло бы побудить их к действию, если никакое усилие не сулит им надежды на плоды этого труда? Как не стать им инертными в своих простейших привычках, если социальные институты делают это для них своего рода необходимостью?

Даже лучший наблюдатель древности, делая в свое время то же замечание об азиатах, приводил тот же довод: «Что касается изнеженности и лениности азиатов, - говорит он в одном отрывке, достойном цитирования, - если нравы их мягче европейских, то природа их климата, более умеренного, чем наши, несомненно, вносит в это большой вклад... но к этому следует прибавить и форму их правления, сплошь деспотическую и подчиненную произволу царей. Ибо люди, не пользующиеся своими естественными правами, чьи привязанности направляются господами, не могут иметь отважной страсти к сражениям; они не видят в войне справедливого баланса рисков и выгод. Будучи вынуждены покинуть своих друзей, родину, семью, переносить тяжкие труды и саму смерть, - какова награда за столько жертв? Смерть и опасности; лишь их господа пользуются добычей и трофеями, оплаченными их кровью; если бы они сражались за собственное дело и если бы цена победы принадлежала им лично как и позор поражения, они не лишены мужества; доказательством тому служат те из греков и варваров, которые в этих же краях живут по своим собственным законам и свободны - ведь они отважнее любого другого племени людей».

Вот именно таково определение жителей Востока в наши дни. То, что греческий философ говорит об отдельных народах, не признававших власти великого царя и его сатрапов, в точности применимо к тому, что мы видели у друзов, маронитов, курдов, арабов Дахера и бедуинов. Следует признать, что моральный облик народов, как и отдельных лиц, зависит прежде всего от того социального состояния, в котором они живут, поскольку наши действия направляются гражданскими и религиозными законами, а наши привычки - не что иное, как повторение наших действий. Наш характер - это лишь склонность действовать определенным образом в тех или иных обстоятельствах. Из этого очевидно следует, что всё зависит от правительства и религии. Во всех фактах, которые я стремился осмыслить, я всегда видел, что эта двойная причина проявляется более или менее непосредственно».

Заметим, что Вольней, оспаривая влияние жары, до определенной степени признает значение плодородия земель, в чем он поддерживает Руссо. Однако Вольней и Руссо легко спорить в этом отношении, так же как Вольней спорил с Монтескье. Я отрицаю, что изобилие средств к существованию - плод весьма умеренного труда - может быть моральным принципом, способным привить народу ту или иную степень свободы. И вот мои размышления по этому поводу:

Если бы мы ограничивались физическими потребностями - голодом и жаждой, - нет сомнения, что мы были бы тем ленивее, чем доступнее были бы средства их удовлетворения. Но способность наших органов к совершенствованию, их подвижность и, прежде всего, природа нашего разума, позволяющая нам наслаждаться или страдать в будущем благодаря предвидению и предчувствию, делают нас способными к множеству искусственных наслаждений и изысканных потребностей, привычка к которым со временем превращается для нас в необходимость. Итак, эта потребность в наслаждении, эта привычка пользоваться тысячами воображаемых и чувственных благ, давит на нашу волю и воздействует на нашу душу не меньше, чем физическая потребность в еде и питье.

Тысячи богатейших людей, которые даже не подозревают, что такое нужда, трудятся так, будто на себе ее испытали. Африканец, владеющий очень плодородной землей, очевидно, не может быть более уверен в своем пропитании, чем купец-миллионер в центре Лондона. И что же, разве последний бездельничает? Нет, он работает, чтобы приумножить свои излишества,

то есть разнообразить свои удовольствия. Разве богатый плантатор Сан-Доминго менее трудолюбив, чем преуспевающий лондонский торговец, и разве он порой не деятельнее своих рабов?

Труд сам по себе является потребностью, заложенной в природе человека; он есть источник наслаждения. Он дает почувствовать саму жизнь, дает ощутить силу, талант, мощь; он создает и позволяет наслаждаться плодами своих творений и так далее. Когда труд становится привычкой, он делается настолько необходимым, что бездеятельность превращается в летаргию.

Говорят, что в жарких странах климат делает отдых необходимым. Да, после труда; но после отдыха жара подхлестывает кровь и побуждает к деятельности. Она возбуждает воображение, движет волей и так далее. Именно в жарких странах воображение наиболее живо, а страсти наиболее неистовы; в холодных же странах человек пребывает в оцепенении и почти бесстрастен. В Московии, говорит Монтескье, нужно содрать с человека кожу, чтобы он хоть что-то почувствовал; в Марселе же песня ведет людей в бой и дает Франции республику.

Говорят также, что жара лишает сил, но она возвышает дух в пропорции гораздо большей, чем тот упадок сил, который она может вызвать. Как я уже сказал, она является стимулом к труду. Возможно, она быстрее изнуряет людей, но заставляет их совершать гораздо больше.

Наконец, говорят, что жара подавляет саму волю. Это может быть правдой после утомления, но совершенно ложно после отдыха. Хороший физиолог, который одновременно будет и хорошим физиком, возможно, когда-нибудь объяснит нам моральное воздействие жары. Что касается меня, то, опираясь на свой опыт, я скажу: чем жарче на улице, тем легче мне дается умственный труд, тем яснее мои мысли, тем легче они сочетаются между собой и тем активнее работает мое воображение, как в часы бодрствования, так и во сне. Теперь я задаюсь вопросом: не в этом ли душевном настроении кроются важнейшие принципы физической активности? Я также рискну предположить - хотя мои догадки, возможно, и не имеют под собой твердой почвы, - что в жаркую погоду волокна нашего тела становятся более расслабленными, расширенными и восприимчивыми. В то же время жизненные соки и «жизненные духи» делаются более летучими и обильными; благодаря этому они проникают в мозг гораздо глубже, чем в холодное время, делая его способным легче принимать любые изменения и дольше их удерживать.

В завершение я приведу заметку, которую издатель Вольтера (Кондорсе) поместил к одному фрагменту комментария Вольтера к «Духу законов»:

«Возможно, - пишет он, - климату приписывали слишком большое влияние. Похоже, что повсюду человеческое общество формировалось из небольших племен, которые, будучи более или менее цивилизованными, в конечном итоге объединялись или поглощались великими империями. Самое реальное различие - это то, что существует между европейцами и остальным миром, и это различие - заслуга греков. Именно философы Афин, Милета, Сиракуз и Александрии сделали нынешних жителей Европы выше остальных людей. Если бы Ксеркс победил при Саламине, мы, возможно, до сих пор были бы варварами» (См. и изучите замечания Вольтера по поводу мнения Монтескье в «Философском словаре», статья «Климат»).

(Гельвеций в книге «Об уме» исследовал вопрос о том, влияет ли климат на ум и характер народов, и доказал обратное с помощью весьма убедительных исторических сопоставлений. Следует пересмотреть эту часть его труда и извлечь из нее то, что наиболее непосредственно относится к теме данного рассуждения).

ВОПРОС ТРЕТИЙ. - О размере территории; должен ли он влиять на форму правления.

Говорят, что монархия подходит для больших государств, аристократия - для средних, а демократия - для малых. Применительно к демократии этот принцип более чем очевиден; ведь поскольку в этой системе более половины народа может быть правящей частью и при этом сохранять единство своих действий, совершенно ясно, что более половины народа должно иметь возможность постоянно собираться вместе. Следовательно, они должны быть

объединены в одном городе, и такая страна должна представлять собой лишь очень малую территорию, подобную городу с его окрестностями. Но вопрос становится не таким простым, когда речь заходит об аристократии и монархии. Что называть средней территорией? Что называть обширной? Эти понятия туманны и неопределенны. Мы уже видели, что территория, которая кажется очень большой, словно сужается, когда цивилизация, искусства и привычки устанавливают частые и быстрые связи между гражданами разных мест. Мы видели, что существуют способы сокращать расстояния и что эти способы способны совершенствоваться. Таким образом, размер территории, которую может занимать аристократия, зависит от состояния этих средств сообщения, и, похоже, нет причин проводить различие между размером страны, пригодной для монархии, и той, которой может управлять аристократия.

Тринадцатая речь о социальной организации.

Прочитанная в Лицее в июне 1793 года (II год Французской республики).

Продолжение темы государственного управления.

Итак, мы подошли к моменту, когда пора применить все наблюдения, собранные в предыдущих лекциях, и вывести из них принципы, с помощью которых мы сможем судить о различных системах правления, установленных до сих пор. Нам предстоит выбрать между ними, если мы сочтем, что одна или несколько из них отвечают целям общества, или, наконец, представить себе такую систему, которая достигла бы этой цели, если окажется, что все существующие системы были скорее пагубны, нежели полезны для естественного и сущностного порядка политических сообществ.

Об этом вопросе написаны целые тома: «Какое из правительств лучшее?» - и на него до сих пор нет четкого решения. Более того: сам этот вопрос, который прежде обсуждался как чрезвычайно важный, является лишь второстепенным вопросом, который представляет интерес лишь постольку, поскольку предполагается, что либо среди существующих форм правления есть хорошие, либо что невозможно придумать ничего лучшего, либо, наконец, что плохое правительство лучше полного отсутствия власти. Эти три утверждения могут стать предметом долгих споров, и их решения, вероятно, будут сильно отличаться от тех, что продиктованы предрассудками и невежеством.

Я утверждаю, что точного или, по крайней мере, общепризнанного решения этого вопроса не существует; да и как оно могло бы существовать?

1. Политические мыслители вкладывают разный смысл в само слово «*правление*». Монтескье понимает под ним то, что сегодня называют *конституцией*, то есть совокупность и организацию законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти. Руссо же под тем же словом подразумевает исключительно исполнительную власть, то есть лишь часть конституции; и он, как известно, постулирует, что в любом упорядоченном государственном устройстве законодательная власть принадлежит народу и не может быть делегирована.

2. Политические писатели не сходятся во мнениях и относительно того, что такое «*хорошее правление*». Они до сих пор не договорились об условиях, которым должно отвечать правительство, чтобы считаться *хорошим* в абсолютном смысле; не возникло даже мысли отделить эти условия от условий относительных. О правительствах судили по их соответствию определенным физическим обстоятельствам, таким как климат, размер территории, средства к существованию и так далее. При таком рассмотрении забывали о связи правлений с людьми, с их правами и потребностями. То, что называли хорошим правлением, было правлением наиболее активным и прочным применительно к местным условиям, в которых оно действовало. Абсолютное же благо заключалось бы в такой организации, которая максимально благоприятствует правам человека; именно это сущностное благо следовало искать в первую очередь. Нужно было выяснить, ведут ли известные нам институты к главной цели - счастью

объединившихся людей, - прежде чем заботиться об эффективности и прочности их устройства. Какое значение имеют мощь, надежность или изящество машины, если она не может выполнить то, что мне от нее требуется?

3. Политические авторы не согласны и в вопросе разделения видов правления, равно как и в их названиях. Они постоянно говорят о разных вещах, используя одни и те же термины, или о вещах схожих, называя их по-разному.

Одни делят всё на республику и деспотию; под республикой они понимают любое представительное правление, будь то монархическое или аристократическое, а под деспотией - всё то, что не является представительным. Другие делят всё на республику, монархию и деспотию. Таково разделение Монтескье в «Духе законов». В этой системе республика включает в себя демократию и аристократию. Таким образом, понятие «республика» здесь противопоставляется понятию «монархия» (даже выборной) или, по крайней мере, сильно от него отличается. Наконец, другие, как Руссо в «Общественном договоре», выделяют демократию, аристократию и монархию; в этой системе термин «*республика*» применим к каждой из них. Этой же системы придерживаются в своих взглядах Эмманюэль Сийес и Томас Пейн (См. номера газеты «Монитор» от 6 и 16 июля 1791 года, а также труд «Теория и практика прав человека»).

4. Подразделения каждого вида правления не менее разнообразны. Демократия может задействовать большую или меньшую массу граждан - от более чем половины населения до всего народа целиком. В зависимости от близости к тому или иному пределу, она подразделяется на собственно демократию и охлократию; Руссо проводил это различие, а Монтескье - нет.

Аристократия бывает либо *наследственной*, либо *выборной*, либо *естественной*. *Естественная* аристократия - это та, где управление возложено на старейшин. *Выборная* - та, в которой правители избираются народом. *Наследственная* - та, где власть передается от отца к детям. Это различие, принадлежащее Руссо, также ускользнуло от внимания Монтескье. Поскольку в аристократии может участвовать разное число должностных лиц - от двух человек до половины граждан без одного, - она, в зависимости от приближения к той или иной крайности, подразделяется на олигархию, полиархию (или поликратию) или собственно аристократию. Монтескье также не знал, не признавал или пренебрегал этими важными различиями, которые отметил Руссо и признал Сийес.

Чистая монархия может быть *наследственной* или *выборной*, *временной* или *пожизненной* в лице монарха. Она может вручать главе государства право действовать бесконтрольно и безответственно, как это было при Людовике XV; или же оставлять за ним лишь надзор, без ответственности, над подотчетными министрами, которых он назначает и смещает, как это было по конституции 1791 года. Все политические писатели игнорировали эти различия.

Наконец, существуют *смешанные правления*, которые бывают трех видов: *разделенные*, *умеренные* или *усиленные*. *Разделенные* - когда верховная власть, сосредоточенная в одних руках или у узкого круга лиц, отделена от некоторых своих важных ветвей, и те поручены независимым подчиненным органам, как в 1791 году. Исполнительная власть тогда была не только отделена от судебной, но и во многом передана администраторам, избираемым народом, что создавало монархо-аристократическое правление. Так же обстояло дело и до 1789 года: судебная власть тогда была независима от короля, но доверена судьям по его выбору из числа привилегированного сословия; военные должности и высокие церковные посты также отдавались только дворянам. Это также создавало аристократическую монархию, с той лишь разницей, что в системе 1791 года аристократия была *выборной*, а при старом порядке - *наследственной*, то есть худшей из всех.

Умеренные - когда между правительством и народом встает посредническая власть, такая как цензура или трибунал.

Наконец, *усиленные* - когда существуют трибуналы, концентрирующие власть в правительствах, где она слишком рассредоточена между множеством людей и лишена силы и инициативы; как...

Все эти различия, будь они слишком древними или слишком новыми, не были проанализированы политическими мыслителями.

Те, кто утверждал, что смешанные правления - наилучшие, говорили вещь очевидно бессмысленную, ибо смешение может происходить тысячей способов и давать, в зависимости от комбинации элементов, совершенно противоположные результаты. Сказать, что кто-то любит смесь всех видов правления, не значит высказаться ни в пользу какого-то конкретного правительства, ни в пользу определенного сочетания.

Те, кто выбирал одну из трех форм правления, не анализируя подразделяющие их различия, очевидно, делали выбор лишь в пользу туманной, неопределенной гипотезы, способной реализоваться в тысяче разных смыслов и порождать противоположные эффекты. «Я не хочу ада монархий», - писал Томас Пейн Эмманюэлю Сийесу в 1791 году; при этом он имел в виду наследственные аристократические монархии, где корона наделена колоссальными доходами. «И я тоже», - отвечал Сийес, - не хочу ада монархий; но я также не хочу и ада республик». Под «адом республик» Сийес понимал демагогию, охлократию и *миарократию* (власть черни). Пейн, нападая на худший вид монархии с позиции лучшего в республиканской системе, явно вел слишком легкую игру.

Гоббс следовал несколько более убедительному методу. Он сравнил худшую из монархий, или, вернее, самый чудовищный деспотизм при самых чудовищных деспотах - словом, правление Калигул и Неронов - с демагогической республикой, то есть с худшей из республик. Я утверждаю, что этот подход более убедителен, чем метод Пейна, так как нельзя сделать никакого вывода из сравнения худшей монархии с лучшей из республик; в то время как из рассуждений Гоббса можно заключить по крайней мере то, что отвратительная монархия всё же менее отвратительна, чем отвратительная демократия. Но мы не обязаны выбирать между крайними степенями худшего в каждом виде правления; цель нашего исследования - познать лучшую форму, присущую каждому виду, и затем выбрать из них ту, что отвечает общественным целям. Таким образом, Гоббс ничуть не решил этот важный вопрос.

Те же, кто после некоего анализа принял стройную и точную систему, часто называли её именем, отличным от общепринятого. Они использовали столь разные названия, что мы часто сталкиваемся с великим противоречием в словах у писателей, согласных в сути вещей, и с великим согласием в словах у писателей с совершенно разными мнениями.

Так, например, то, что мы сегодня называем *демократией* и *представительной республикой*, Руссо называл *выборной аристократией*; Э. Сийес называл это *полиархией*. И эти последние названия, очевидно, единственно верные, так как никто не подразумевает, что более половины французского народа должно быть наделено государственными должностями. Это, несомненно, привело бы к гибели свободы или, скорее, к гибели самого правительства, но при этом было бы необходимо для создания *демократии* в том смысле, о котором мы говорили. То же, что общественное мнение называет сегодня *аристократией* - ту форму правления, которую оно справедливо отвергло и которую отвергало даже при наследственной монархии - это *наследственная аристократия*: та, что давала привилегии, предпочтения и прерогативы по праву рождения, и позволяла деньгам, почестям и власти доставаться исключительно людям знатного происхождения.

Как же понять друг друга при подобном смещении слов и понятий? И как избавиться от злоупотребления словами, когда оно является плодом властных страстей или угнетающей власти; когда одни слова отвергаются лишь потому, что служили призывом к уничтожению части тех вещей, которые они обозначают; когда другие слова получают признание лишь потому, что их смысл включает вещи, противоположные тем, что были запрещены; когда вещь называют не собственным её именем, а тем, что придает ей вес; когда властно требуют одного под именем другого - когда, к примеру, деспотизм под именем монархии стремится именно к деспотизму; когда демагогия под именем абсолютной демократии стремится к анархии; и когда, наконец, республиканец, искренний сторонник народного правления, но желающий именно *правления*, вынужден называть *представительной демократией* (термин, состоящий из противоречащих друг другу понятий) то, что Руссо называет *выборной аристократией* - то есть власть, состоящую из числа представителей народа, соразмерного делам государства, а

не власть, осуществляемую самим народом или большей его частью, что было бы чистой демократией?

И когда нас останавливают уже на первых понятиях, необходимых для изучения политики, как из-за опасений точности, так и из-за самой трудности задачи, которая и без того велика, становится невозможным достичь элементарных основ и зафиксировать результаты их анализа или даже провести сам этот анализ. Ведь анализ возможен только с помощью языка. Только посредством слов можно отделить в мысли абстрактные качества от физических и материальных вещей, а затем различать их между собой.

Но я повторю: вопрос о том, какая форма правления является лучшей, - это лишь подчиненный вопрос, который может быть задан только после следующего: *Есть ли хоть одна хорошая среди существующих форм правления?* Ведь если все известные формы правления плохи, то для того, чтобы оказаться перед необходимостью выбирать между ними, нужно было бы - как я уже сказал - либо признать невозможность создания хорошей формы, либо констатировать, что лучше иметь плохую власть, чем не иметь её вовсе.

Давайте же выясним, существует ли среди различных известных систем управления такая форма, которая отвечала бы цели, ради которой правительство и учреждается.

Но этот вопрос включает в себя несколько других. Вот их анализ:

1. Какую цель преследует народ, основывая правительство?
2. Каковы условия, необходимые любому правительству для того, чтобы оно отвечало цели своего учреждения?
3. Отвечают ли известные формы правления этим условиям?

Последний из этих вопросов требует дополнительного анализа, так как нужно будет выяснить: 1) как можно разделить, классифицировать и назвать известные правительства; 2) в каждом правительстве нужно будет различать его *структуру* и его *принцип*.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ. - Какова цель любого правительства?

Целью любого правительства является гарантия прав, то есть свободы и собственности, ибо все права сводятся к этим двум вещам. Однако гарантия прав не является непосредственной и прямой целью правительства, как это было принято считать до сегодняшнего дня. Правительство вмешивается в гарантию прав лишь опосредованно. Между правами и правительством находятся три линии защиты, а именно: **общественный договор**, определяющий отношения индивида с обществом; **гражданские законы**, определяющие отношения граждан между собой; и **нравы**. Я уже доказал, что истоки нравов лежат преимущественно в гражданском законодательстве и зависят от того, что делает это законодательство для распространения любви к труду среди всех людей и даже среди обоих полов. К сожалению, эта истина осознана слишком слабо, и наше невежество в этом вопросе может стоить нам еще многих лет счастья. Правительство - это лишь четвертый рубеж, стоящий за первыми тремя, чтобы служить им опорой; это лишь вторичная гарантия, своего рода дополнительное обеспечение.

Это замечание, на первый взгляд кажущееся малозначимым, на самом деле проливает свет на ту грань, что отделяет истину от заблуждения. Как мы увидим далее, именно из-за того, что Монтескье не учел этого, он счел себя вправе защищать самые одиозные черты того, что он называл «чистой монархией». Этот великий гений, которому мы столь многим обязаны и чьими трудами пользуемся даже для того, чтобы критиковать его самого, ошибочно полагал, что «социальная пружина» (движущая сила общества) обязательно должна находиться в правительстве, тогда как на самом деле она коренится в самой организации общества и должна пребывать именно там. Вследствие этого он стремился формировать нравы с помощью политических институтов, а не гражданских, ради чисто социального устройства. Он сосредоточился на укреплении правительственной власти, не помышляя о том, чтобы уменьшить потребность в ней, и даже использовал средства, которые эту потребность увеличивали. Он хотел, чтобы узлы правления затягивались туго, а для создания социальной ткани он лишил социальные связи их живой силы и эластичности.

Чтобы монархия была энергичной, он считал необходимым поставить ниже монарха, но выше народа, духовенство, дворянство и парламенты. Тем самым он разрушал равенство и социальное братство; он растворял тот инструмент, который должен был связывать воедино все части политического целого. Соединять так людей - значит подавлять их, а не объединять; в лучшем случае это заставляет их соприкасаться лишь острыми углами, но не смыкаться по всем контурам.

ВОПРОС ВТОРОЙ. - Каковы необходимые условия для любого правительства?

Если правительство является гарантией, оно должно обладать:

1. Активностью;
2. Силой;
3. Разумом и мудростью;
4. Единством;
5. Стабильностью.

Одним словом, его средства должны быть способны отвечать поставленной цели. Если правительство гарантирует права лишь посредством законов и нравов, оно должно:

1. Соответствовать законам;
2. Соответствовать нравам.

Одним словом, оно должно использовать только те средства, которые соответствуют его цели. Правительству необходима **активность**, так как его суть заключается в том, чтобы превратить в действие общую волю. Правительству необходима **сила**, так как оно призвано подчинять частное сопротивление общей воле. Правительству необходим **разум**, чтобы варьировать свои действия в зависимости от изменчивых и подвижных обстоятельств, которые постоянно сменяют или пересекают друг друга. Механизм, неизменный в своих движениях или негибкий в применении своих сил, часто приносил бы огромный вред.

При создании правительства необходимо рассматривать агентов, которые будут его осуществлять, в двух аспектах: во-первых, в их отношении к самому механизму правительства; во-вторых, в их отношении к актам управления или к управляемым. Если рассматривать их как детали машины, то выбирать их следует как чисто инертный и пассивный первичный материал, служба которого будет строго подчинена движению целого. В этом смысле их следует оценивать подобно прочности и весу дерева, железа или камня, используемых при строительстве обычных машин. Но в их отношениях с управляемыми - так же как и вся машина в целом представляет их коллективный разум - каждый из них, будучи деталью машины, должен также быть наделен особым разумом, чтобы осуществлять управление наиболее полезным способом сообразно месту, времени, обстоятельствам и людям.

Правительству необходимо **единство**, так как права каждого находятся под защитой всех, а защита всех требует содействия каждого; необходимо, чтобы общественный договор исполнялся повсеместно одинаковым образом, иначе сама его суть будет поставлена под удар.

Правительству необходима **стабильность**, ибо гарантия должна быть столь же постоянной, как и права, которые так же неизменны, как и потребности, а те, в свою очередь, неизменны в той же мере, что и наша природа.

Наконец - и это самый существенный момент - правительству необходима **нравственность**, поскольку оно является лишь вторичной гарантией нравов, которые, в свою очередь, гарантируют соблюдение законов, обеспечивающих выполнение общественного договора, стоящего на страже прав.

Все эти условия обязательны для любого правительства. Отсутствие хотя бы одного из них в его структуре лишает его истинного характера, превращая в систему угнетения или приводя к полному краху.

ВОПРОС ТРЕТИЙ. - Что следует думать об известных системах правления?

Вспомним прежде всего, что мы приняли деление Руссо на демократическое, аристократическое и монархическое правление; что первое из них делится на охлократию и собственно демократию; второе - на полиархическое и олигархическое, причем и то, и другое подразделяются на аристократию природную, наследственную и выборную; наконец, третье - на монархию выборную и монархию наследственную. Вспомним также, что понятия «республика» и «представительное правление» не относятся исключительно к одной или двум из этих трех форм; они применимы ко всем трем, при условии, что в любой из них запрещена наследственность общественных должностей, а должностные лица избираются народом и для народа.

Монтескье, как я уже упоминал, различал в каждом правительстве две разные вещи: его *природу* и его *принцип*. Между *природой правительства* и его *принципом*, говорит он, существует та разница, что *его природа - это то, что делает его таким, каков он есть, а его принцип - это то, что заставляет его действовать*. Одно представляет собой его особую структуру, другое - человеческие страсти, которые приводят его в движение. Этот язык, не отличающийся большой ясностью и который многие люди, полагающие, будто прекрасно его понимают, затруднились бы проанализировать, может быть, на мой взгляд, переведен следующим образом: 1) любому правительству для деятельности необходимы органы и части: глаза, руки, кисти и т. д.; 2) ему также необходим жизненный принцип, который одушевляет его и сообщает ему движение, - дух, направляющий его действия или обеспечивающий их регулярность. Совокупность его материальных и физических частей, его **организация**, является делом конституционного закона; жизнь же, которая его одушевляет, и дух, который им движет, - это **общественные нравы**.

Нет ничего более реального, чем это различие между принципом и природой правительства, между его жизнью и его организацией. И еще более верным является учение, выведенное из этого Монтескье: а именно, что если общественный дух и общие нравы не согласуются со структурой правительства, то правительство не может существовать.

Заблуждения Монтескье начинаются лишь тогда, когда он подчиняет направляющий принцип той самой организации, действиями которой этот принцип должен руководить; когда он изобретает особые нравы для каждого вида правления; когда он использует само правительство для создания того рода нравов, которые необходимы для поддержания каждой отдельной организации. В такие моменты он забывает, что существует лишь одна мораль, а значит, может существовать лишь один благой вид нравов; что мораль предшествует правительствам, и потому правительства должны сообразовываться с её предписаниями, а не подчинять её своим расчетам. Он забывает, что если жизненное начало правительств кроется в нравах, то первойшей заботой должно быть установление добрых нравов, а уже затем - согласование правительства с ними. Наконец, поскольку мораль есть не что иное, как верная и точная теория правильно понятого личного интереса, любое правительство, черпающее в ней принцип своей деятельности и организованное так, чтобы быть глубоко проникнутым ею и легко ей подчиняться, несет в себе самом залог величайшей стабильности и величайшей энергии. На деле, если доктрина Монтескье не согласуется с философией, она вполне согласуется с историей всех правительств, которые всегда формировали людей для государственной власти, а не государственную власть для людей.

Но как бы то ни было, в любом правлении необходимо различать его структуру и принцип и судить о нем, исходя из обоих этих факторов. Попробуем, используя этот метод, оценить известные нам системы правления и начнем с демократии.

О демократии

Если, как говорит Монтескье, принципом демократии является добродетель, то демократия вполне соответствует главному условию, которое мы предъявляем к правительству - нравственности. И в самом деле, нет ничего более верного, чем это утверждение Монтескье.

Чтобы демократическое правление оставалось достоянием большинства - что и составляет суть демократии, - необходимо, чтобы никто не мог присвоить себе власть или даже помыслить о ее захвате. Нужно, чтобы царило равенство, чтобы чувство любви к нему жило в сердце каждого. Но чтобы равенство в демократии сохранялось долго, люди должны быть умеренными, непритязательными, скромными и даже суровыми к себе - словом, свободными от тех пагубных привычек, которые ведут к алчности и амбициям, из-за которых люди постоянно стремятся и неизменно ухитряются возвыситься друг над другом. Следовательно, интересы демократического правления совпадают с предписаниями морали.

Чтобы демократический строй держался, необходимо также, чтобы большинство граждан находило удовольствие в его осуществлении. Но чтобы большинству нравилось исполнять правительственные функции, им должно быть дорого отечество, причем дороже любых частных интересов. Нужно, чтобы каждый находил в нем радость и связывал с ним все свои надежды. А чтобы принадлежать отечеству больше, чем самому себе, нужно не только уметь оберегать себя или освобождаться от любых эгоистичных и узких привычек, но и уметь обуздывать властолюбивые фантазии, сдерживать увлекающие страсти и предотвращать, наконец, заблуждения воображения. Таким образом, демократия требует мудрости, умеренности и добродетельного образа жизни - как для того, чтобы не допустить узурпации власти, так и для того, чтобы избежать небрежения ею. Те добродетели, которых требует демократия, она сама же чтит, лелеет и распространяет.

С другой стороны, в демократии есть нечто противоречащее цели законов и общественного договора. Целью законов и общественного договора является сохранение свободы и собственности. Между тем демократия обрекает граждан на пренебрежение своими делами и имуществом. Народ, как говорит Руссо, не может постоянно находиться в собрании для обсуждения общественных дел; ведь в таком случае ему пришлось бы отказаться от своих домашних интересов. Что может быть более противоречивым, чем жертвовать ради правительства тем, что мы намерены передать под его защиту? Что может быть абсурднее, чем жертвовать целью ради средств? Особенно в очень большом государстве, где дел великое множество и они крайне сложны, требуя не только много времени для их ведения, но и для их изучения, и где способность принимать по ним решения зависит от огромного запаса знаний, на приобретение которых само по себе уходит бесконечное количество времени - именно в таком государстве демократия предполагала бы почти полный отказ от собственности.

Демократия - это также правительство, лишённое силы: поскольку правитель, суверен и подданные соединены в одном лице, получается, так сказать, правительство без правительства. *«Объедините, - говорит Руссо, - правительство с законодательной властью; сделайте правителем суверена, а всех граждан - магистратами; тогда правительство, лишённое собственной жизни, индивидуальности и того «я», которое является принципом его деятельности, чья воля слита с общей волей, будет не более активно, чем сама эта воля, и оставит частную волю во всей ее силе...»*

«...Чем многочисленнее магистраты, - продолжает Руссо, - тем слабее правительство, ибо оно истощает само себя; оно вынуждено тратить на своих собственных членов часть той силы, которую оно должно было бы направлять на непосредственное служение самому народу»

«Настоящей демократии никогда не существовало и никогда не будет существовать, - продолжает тот же философ. - Те республики, которые так называют, - это всего лишь небольшие государства, ограниченные, подобно семьям, где царит великая простота нравов, предот-

вращающая возникновение множества сложных дел, и где само существование демократического строя доказывает лишь ничтожность этого правления и избыточность любого правительства в стране, где нечем управлять».

Демократия - это правительство, лишенное активности. «Ведение дел замедляется, - говорит Руссо, - по мере того как ими занимается всё больше людей. Уделяя слишком много внимания осторожности, слишком мало оставляют на долю удачи. Возможность упускается, и из-за долгих обсуждений часто теряется сам плод дискуссии. Ведение дел, - добавляет он в другом месте, - осуществляется быстрее малыми советами, чем большими, и опыт ежедневно подтверждает это наблюдение».

Демократия также рискует иногда, и даже часто, испытывать недостаток мудрости и здравого смысла. Насколько люди в массе своей обычно справедливы, когда принимают законы, настолько же они склонны к ошибкам, когда судят или управляют. Я уже показывал: если сущность общей воли заключается в том, чтобы быть верной, когда она применяется к общему объекту, то ее сущность также заключается в том, чтобы заблуждаться, когда она переходит к частным актам. Именно в управлении делами, гораздо больше, чем в законодательстве, власть ораторов становится грозной, умы легко впадают в заблуждение, а семена гражданской войны легко распространяются и разгораются. Именно здесь невежество осмеливается выносить решения, тяжесть которых оно не будет нести на себе, а личные страсти действуют без узды и сдержанности.

Демократия - это правление, неизбежно лишенное единства в любой слишком обширной стране, где граждане не могут собраться в единое собрание для совместного обсуждения дел. Например, если бы во Франции захотели установить демократию, пришлось бы либо найти способ ежедневно собирать шесть миллионов голосующих, либо смириться с возникновением такого количества различных демократий, что пришлось бы учреждать разные собрания, чтобы избежать столпотворения и необходимости в площадях, несоразмерных силе человеческого голоса. Пришлось бы ограничивать их масштаб так, чтобы ораторы могли быть услышаны всеми голосующими.

Наконец, демократия - это правительство, лишенное прочности: во-первых, потому что оно лишено силы; во-вторых, потому что оно зависит от добродетели граждан, и чтобы подвергнуть его разрушению, достаточно неизбежных случайностей, которые, с одной стороны, порождают дерзких людей или развивают дерзость в людях скромных, а с другой - ослабляют и размягчают сильные души или сокрушают их. *«Нет такого правительства, - говорит Руссо, - которое было бы так подвержено внутренним волнениям и гражданским войнам, как демократическое, потому что ни одно другое не стремится так сильно и постоянно к изменению формы и не требует больше мужества и бдительности для сохранения своего нынешнего состояния».*

Вот отрывок из «О духе законов», где Монтескье, излагая причины порчи демократии, показывает также, насколько они всегда неизбежны при таком правлении:

«Принцип демократии, - говорит он (кн. VIII, гл. II), - разлагается не только тогда, когда утрачивается дух равенства, но и тогда, когда возобладает дух крайнего равенства, и когда каждый хочет быть равным тем, кого он выбрал своими предводителями. Тогда народ, не будучи в состоянии выносить даже ту власть, которую он сам поручает, хочет всё делать сам: обсуждать дела вместо сената, исполнять обязанности вместо должностных лиц и лишать судей их полномочий.

Тогда исчезает и добродетель; больше не уважают ни магистратов, ни стариков, ни отцов, ни учителей. У женщин, детей, слуг больше нет никакого подчинения кому-либо. Перестают уважать саму собственность». В главе 3 той же книги мы находим следующее наблюдение, относящееся к той же теме:

В правильно устроенной демократии люди равны только как граждане; в той же, что не является таковой, человек считает себя равным судье, сенатору, должностному лицу, отцу, мужу. Естественное место добродетели - рядом со свободой; но она не более присуща крайней свободе, чем рабству.

«Когда я был богат, - говорит Хармид в «Пире» Ксенофонта, - я был вынужден заискивать перед клеветниками; они могли причинить мне вред, я же не мог им ответить тем же. Республика ежедневно требовала от меня новой дани; я не мог отлучиться. С тех пор как я беден, я обрел власть; никто не угрожает мне, я сам угрожаю другим; я волен уйти или остаться. Богачи уже встают со своих мест и уступают мне дорогу. Я - царь, а был рабом; я платил дань республике, сегодня же она кормит меня. Я больше не боюсь потерять и надеюсь приобрести».

Народ впадает в это несчастье, когда те, кому он доверяет, желая скрыть собственную испорченность, стремятся развратить и его. Чтобы он не заметил их амбиций, они говорят ему только о его величии; чтобы он не разглядел их корыстолюбия, они постоянно льстят его собственному.

Коррупция, начавшись однажды, постоянно растет; народ хочет вкушать радости роскоши, но, чтобы примирить эту тягу с ленью, у него нет иного ресурса, кроме государственной казны.

Предавшись удовольствиям и праздности, он вскоре станет продажным. Голоса будут покупаться. Появятся мелкие тираны, обладающие всеми пороками одного деспота; остатки свободы станут невыносимыми; и как только возвысится один единственный тиран, свобода будет утрачена».

Таким образом, демократии следует избегать двух крайностей: духа неравенства, который ведет к аристократии или правлению одного лица, и духа крайнего равенства, который ведет к деспотизму или отдает государство в руки завоевателей» (Кн. VIII, гл. II).

Добавьте к этим наблюдениям то, что тот же философ делает в главе IV той же восьмой книги «О духе законов»:

«Большие успехи, - говорит он, - особенно те, в которые народ внес значительный вклад, наполняют его такой гордостью, что управлять им становится невозможно. Афинская республика была развращена победой над персами при Саламине; поражение афинян погубило Сиракузскую республику».

Гоббс написал несколько пугающих страниц о демократическом правлении. Вот буквальный перевод нескольких фрагментов этого любопытного отрывка, недостаток которого заключается в том, что он представляет злоупотребления, являющиеся лишь обычными случаями, как атрибуты, абсолютно неотделимые от демократии:

«Одним из неудобств верховной власти, вверенной одному человеку, - говорит он, - является то, что этот человек может, помимо налогов, необходимых для государственных расходов, для содержания чиновников, строительства и ремонта общественных зданий, военных нужд и достойного содержания своего двора, требовать еще и значительные суммы для обогащения своих детей, родственников, фаворитов и придворных. Нужно признать, что это действительное неудобство, но оно относится к числу тех, что встречаются при любой форме правления. В монархии они даже более терпимы, чем в демократии, ибо родственники, друзья и доверенные лица, которых монарху угодно обогащать, немногочисленны, так как они принадлежат одному человеку. В демократии же, напротив, сколько существует демагогов, то есть ораторов, пользующихся доверием народа (а их всегда много одновременно, и каждый день появляются новые), столько же существует и людей, имеющих родственников, друзей и льстецов, которых нужно обогащать. Ведь каждый из них не довольствуется лишь тем, чтобы придать своей семье блеск и могущество с помощью богатства, они также хотят привлечь на свою сторону чужеземцев, чтобы укрепить свою партию. Поскольку министров и фаворитов монарха немного, он может удовлетворить их амбиции, не обременяя граждан: ему достаточно наделить их гражданскими и военными должностями, находящимися в его распоряжении. В демократии же, напротив, где нужно утолять жадность огромного количества людей, состав которых постоянно обновляется, удовлетворить её невозможно, не притесняя граждан. Монарх, несмотря на свою власть возводит на должности людей, недостойных их занимать, редко желает пользоваться этим правом. Ораторы же демократии всегда вынуждены желать обратного, так как для них это необходимость; ведь тот из них, кто был бы менее разборчив

и без разбора возводил бы на должности всякого рода людей, приобрел бы власть, грозную для своих соперников и для самой республики».

Еще одно неудобство деспотизма заключается в том, что при таком правлении каждый постоянно опасается за свою жизнь, понимая, что монарх волен не только налагать любое наказание за любой проступок по своему усмотрению, но и губить ни в чем не повинных граждан. Это неудобство действительно весьма существенно, но оно связано с личностью монарха, а не с самой монархией. Поведение какого-нибудь Нерона не является обязательным следствием его статуса государя. К тому же при народном правлении граждан князья несправедливо гораздо чаще, чем при власти одного человека. Короли преследуют лишь тех, кто досаждал им неуместными советами, объявлял себя противником их воли или осыпал их оскорблениями. С другой стороны, они мешают гражданам вредить друг другу, пользуясь своим превосходством. Таким образом, в царствование какого-нибудь Калигулы или Нерона никто не подвергается несправедливым карам, если только он не знаком им лично, не входит в число их придворных или не выставил себя напоказ, занимая какую-либо общественную должность. Но даже и в этих случаях опасности подвергаются не все, а лишь те, кому есть что терять. Следовательно, в монархии тот, кто желает жить незаметно, при любом государе находится в безопасности. В условиях же народного господства может существовать столько же Неронов, сколько есть ораторов, льстящих народу: ведь каждый из таких ораторов обладает той же властью, что и сам народ. И когда нужно избавить от наказания тех из них, кто по воле страстей или из личной ненависти несправедливо погубил граждан, они спешат помочь друг другу, словно в силу молчаливого соглашения: "Сегодня я защищу тебя, завтра придет твой черед защищать меня".

Несколькими страницами далее Гоббс описывает игру фракций в общественных обсуждениях; приведем дословно то, что он пишет (заметим, что Гоббс писал это в 1648 году):

«Часто, - говорит он, - когда большинство, вынесшее решение, не столь многочисленно, чтобы побежденная партия потеряла надежду добиться противоположного решения на следующем собрании, вожди этой партии созывают всех своих сторонников. Они заранее обсуждают способы отмены принятого указа. Они договариваются явиться на следующее собрание в большом количестве и прийти одними из первых. Они распределяют между собой роли: кому и что говорить, определяют порядок выступлений, чтобы добиться быстрого обсуждения вопроса и немедленного решения еще до прибытия противников. Тех, кто владеет искусством и навыком подобных маневров, стали называть "фракцией", потому что их деятельность состоит в том, чтобы обрабатывать (façonner), лепить народ по своему желанию».²⁰

Гоббс также писал об опасностях красноречия в больших собраниях...

Из этих и других наблюдений, подробный разбор которых был бы излишен, Гоббс сделал вывод, что народы не только не должны управлять сами собой, но даже не должны сами создавать законы, и что для них нет более разумного решения, чем отказаться от своего суверенитета. Я уже достаточно сказал, чтобы показать, насколько нелепо это последнее утверждение, и я еще вернусь к этому вопросу. Первое же утверждение не является в полной мере следствием изложенного выше; повторюсь, Гоббс описывает лишь крайности демократии, но не раскрывает ее сущности. Упреки, которыми он осыпает демократию в период ее упадка, когда она коррумпирована и умирает, не должны относиться к демократии здоровой и целостной. Однако, поскольку эти причины упадка и коррупции обычно воздействуют на демократии, можно принять за правило, что они несут в себе зародыш нестабильности - и это всё, что я хотел доказать.

²⁰ Вольтер в статье «Фракция» в своем «Философском словаре» также производит это слово от глагола «делать» (faire, facere), но рассматривает его как метафору от слова «faction» в значении службы часового на посту. Фракция, по его мнению, - это мятежный пост с налаженной службой.

Об аристократии.

В данный момент я говорю лишь об общепринятой аристократии - той, что закрепила за собой это одиозное название: о наследственной аристократии, сосредоточившей власть в руках класса благородных по рождению. Я воздержусь от обсуждения выборной аристократии, или представительного правления, до следующего занятия.

Наследственная аристократия, когда она участвует в управлении, существует также и для законотворчества; иными словами, там, где народ не имеет права управлять собой самостоятельно или через своих представителей, он также не имеет права и устанавливать для себя законы; он лишен своего суверенитета. Таким образом, наследственная аристократия является посягательством на свободу и собственность; она не служит гарантией, а, напротив, представляет собой лишь систему угнетения.

Когда дворянство многочисленно, - говорит Монтескье, - необходим сенат, который бы улаживал дела, непосильные для всего дворянского сословия, и подготавливал бы те решения, которые сословие принимает. В этом случае, - продолжает он, - можно сказать, что аристократия в некотором роде сосредоточена в сенате, демократия - в самом дворянском сословии, а народ - это ничто.

Такое правление по самой своей природе способно обладать силой, активностью и просвещенностью; но все эти преимущества, когда они соединяются, направлены против народа. Оно обладает единством и стабильностью, но это - единство угнетения и стабильность преступления.

О монархии.

Обратимся к мнению Монтескье о монархии. Монархия, о которой он ведет речь, - это старая французская монархия, существовавшая в его времена, в царствование Людовика XV. Он пытался её оправдать; именно по его воле этот бесформенный режим был помещен в ряд политических конституций; именно на его слово полагались многие публицисты, восхвалявшие её, и множество французов, питавших к ней привязанность. Следовательно, именно эту монархию важнее всего изучить для развития политической науки. Добавим, что Франция занимала достаточно достойное место среди европейских народов, чтобы вызывать живой интерес; изучим же её устройство - и ради её апологета, и ради неё самой.

Монархическое правление, о котором идет речь, - это такое правление, при котором один человек, вззошедший на трон по праву наследования, правит единолично, но в соответствии с законами, установленными или принятыми народом.

Вот какова природа этого правления согласно Монтескье:

«Природу этого правления составляют подчиненные и зависимые посредствующие власти. Необходимы регулярные каналы, по которым течет власть, дабы она соответствовала основным законам».

«Самая естественная подчиненная посредствующая власть - это власть дворянства; нет монарха - нет дворянства, и наоборот. Уничтожьте в монархии прерогативы сеньоров, духовенства и прочего - и вскоре вы получите либо народное государство, либо деспотическое...»

«В монархии, помимо посредствующих чинов, необходимо хранилище законов. Это хранилище может находиться лишь в политических корпусах, которые обнародуют законы, когда они созданы, и напоминают о них, когда их забывают».

Монтескье желает, чтобы дворянство, как и трон, было наследственным - для того, как он говорит, чтобы у дворян был весомый интерес в его сохранении. Он хочет, чтобы субституции, право родового выкупа, право первородства и привилегии дворянских земель обеспечивали дворянству великий блеск и великую власть.

Вот что он называет природой или структурой монархического правления. А вот что он говорит о принципах этого правления:

«Принципом или движущей силой этого правления вовсе не является добродетель. Порой встречаются добродетельные государи, но народу быть таковым крайне трудно... Честолюбие в праздности, низость в гордыне, жажда обогащения без труда, отвращение к истине, лесть, измена, коварство, отказ от всех своих обязательств, презрение к гражданскому долгу, страх перед добродетелью государя, расчет на его слабости, вечное осмеяние добродетели - всё это составляет характер придворных. Между тем трудно допустить, чтобы первые лица в государстве были людьми бесчестными, а низшие - людьми порядочными; чтобы первые были обманщиками, а вторые соглашались быть лишь обманутыми. Если же в народе и найдется какой-нибудь несчастный честный человек, кардинал Ришелье в своем завещании намекает, что монарху следует остерегаться прибегать к его услугам...

...Монархическое государство существует независимо от любви к отечеству, от стремления к истинной славе, от самоотречения и так далее. Законы здесь заменяют все добродетели, в которых нет никакой нужды; государство освобождает вас от них. Действие, совершаемое без лишнего шума, здесь в некотором роде не имеет последствий.

...Движущей силой монархического правления является честь. А что такое честь? Какие добродетели обязаны ей своим существованием? Те добродетели, которых требует монархия, - говорит Монтескье, - это не столько то, что призывает нас к созиданам, сколько то, что нас от них отличает. В царствование чести поступки оцениваются не как добрые, а как красивые; не как справедливые, а как великие; не как разумные, а как необычайные... В хорошо устроенных монархиях, - добавляет он в другом месте, - почти каждый будет добрым гражданином, но редко можно встретить по-настоящему порядочного человека, который любил бы родину ради неё самой. Иными словами, почти все будут совершать поступки, внешне присущие добродетели гражданину, и будут довольствоваться лишь видимостью совершения этих дел, не совершая их на самом деле».

Эта причина предпочитать монархическое правление республиканскому несостоятельна. Ведь в обширном государстве недостаточно того, чтобы физическая мощь единственного правителя была всегда готова к действию; необходимо еще, чтобы его деятельности хватало на все дела, а в огромной империи это невозможно. Следовательно, монарху необходимо - будь то для принятия решения или для отдачи приказа - созывать совет или министров. Таким образом, неудобство, которое Гоббс находил в республиканском правлении, обнаруживается и в правлении монархическом.

Я не стану также оспаривать единство и активность монархической системы; это следствия того принципа, который мы упоминали выше вслед за Руссо. Я признаю и её стабильность, хотя нынешнее время дало бы мне прекрасный повод оспорить это преимущество. По факту же совершенно очевидно, что существование нескольких сословий ниже государя гарантирует безопасность как правительству, так и тем, кто управляет.

«При народных волнениях в государствах, подвластных деспотизму, народ, предоставленный сам себе, всегда доводит дела до крайности; совершаемые им беспорядки чрезмерны. Иначе обстоит дело в монархиях: предводители опасаются за себя, они боятся быть покинутыми; зависимые посредствующие власти не желают, чтобы народ взял верх. Мятежники, не имея ни надежды, ни желания ниспровергать государство, не могут и не хотят свергнуть государя.

Наши истории полны гражданских войн без революций; истории деспотических государств полны революций без гражданских войн.

Дворянство всегда было склонно защищать трон. Английское дворянство погребло себя вместе с Карлом I под обломками королевской власти. Можно вспомнить, как французское дворянство защищало корону при Филиппе II; как венгерское дворянство поддерживало Австрийский дом, который, тем не менее, прилагал все усилия, чтобы его угнетать». (О духе законов).

Рассуждения Монтескье можно представить в виде того же образа, который использовал Эммануэль Сийес для сравнения монархии с республикой. Можно сказать: монархическое правление прочно, потому что оно завершается пирамидой; верхний камень удерживает все остальные, а сам этот камень, поддерживаемый всеми прочими, опирается на широкое основание. Напротив, на республиканской платформе идет борьба за то, кому она достанется;

люди сражаются у подножия пирамиды, чтобы добраться до неё, и продолжают сражаться, поднимаясь вверх. Если бы монархия была цилиндрической, а не пирамидальной, то цилиндр, возвышающийся среди низких и равных камней, превосходя их все по величине, был бы открыт всем ветрам, не имел бы опоры ни с одной стороны и вскоре пошатнулся бы в самом своем основании.

Соберем здесь то, что сказал Макиавелли в книге «Государь», и то, что сказал король Пруссии Фридрих Великий в «Антимакиавелли» (глава 2) по поводу монархии. Он полагает, что наследственность короны и наследственность дворянства оказывают друг другу взаимную поддержку.

«Гораздо легче, - говорит Макиавелли, - сохранить наследственные государства, чем государства вновь завоеванные, потому что достаточно лишь не преступать порядок, установленный предками, и сообразовываться с обстоятельствами».

Вот что гласит комментарий:

«Наследственные правители упрочивают свою власть благодаря тесной связи между ними и самыми могущественными семьями государства; большинство из них обязаны своим величием или богатствами правящему дому, и их благополучие настолько неотделимо от судьбы государя, что они не могут допустить его падения, понимая, что за этим неизбежно и верно последует их собственный крах».

Все, что можно сказать в пользу прежней французской монархии, содержится в вышесказанном. Одно лишь слово - всего одно слово - перечеркивает или омрачает все эти достоинства: дело в том, что этот режим глубоко аморален. Добавьте к этому, что наследственность почти всегда возводит на престол людей, неспособных творить добро, но весьма искусных в совершении зла. Добавьте и то, что каждая смена правления или даже смена министра влечет за собой перемену во всех принципах; это порождает непостоянство правил, которое ставит под угрозу само существование граждан.

Наследственная власть, несомненно, предотвращает раздоры, которые часто возникают при выборной системе; но не слишком ли высокая это плата за избавление от подобного несчастья - подвергаться риску иметь во главе государства детей, слабоумных или чудовищ? Да что я говорю, «риску»? Вернее будет сказать - обрекать себя на величайшую вероятность того, что нами будут править одни лишь чудовища. Ведь всё вокруг способствует тому, чтобы лишить рассудка людей, которых растят для того, чтобы они командовали. Во Франции почти не бывало добрых королей, кроме тех, кто не был рожден для трона. Впрочем, разве нельзя предумать или исправить пороки, присущие известным и применявшимся до сих пор способам избрания? Искусство выборов еще окончательно не сформировано; и кто знает, до какой степени совершенства можно довести избирательные методы?

Аморальность монархической системы ощутима во всех её частях - как в самом её устройстве, так и в нравах, которые она порождает.

То, что Монтескье называет честью, - это дух, имеющий, так сказать, три лика: первый - это последовательное раболепие, проявляющееся в отношениях подчиненного с начальником, начиная от самых низших слоев общества и вплоть до монарха; второй - это полное безразличие или даже соперничество по отношению к равным; третий - это надменность и властолюбие по отношению к низшим. Честь также можно сравнить с восходящей силой, которая не дает гражданину оставаться на одном уровне с другим, заставляет его постоянно устремлять взор и простирает руки ввысь, попирая ногами всё, что может послужить ему ступенью, или сокрушая всё, что могло бы придать ему большее ускорение и энергию.

Институт дворянства служит препятствием для общественного братства: это разрыв гражданских связей и даже распад семей. Дворяне разных степеней отделяются друг от друга так же, как вся их масса отделена от остального народа; аноблированные отделяются от претендентов на дворянство; претенденты - от тех, кто не осмеливается даже помышлять о величии. Сын, будучи всегда на одну степень благороднее своего отца, считает себя существом высшей природы. Даже среди простонародья существует деление на «низкое» сословие и сословие, «живущее по-дворянски». Наконец, даже искусства и ремесла делятся на свободные

и несвободные. Одним словом, при аристократическом правлении крайне редко случается, чтобы случай свел двух равных по положению людей, один из которых не выказывал бы другому своего превосходства, а тот не признавал бы его каким-либо актом низости.

Что может сильнее истребить в сознании народа всякое понятие о справедливости, чем право первородства, которое Монтескье считал институтом, неотделимым от потомственного дворянства? Что может сильнее развратить народ и склонить его к унижению, чем закон или обычай, признающий в каждой семье лишь одного ребенка? Тот же обычай окружает этого привилегированного ребенка обездоленными, лишенными наследства братьями; он заставляет его начинать жизненный путь, попирая все права природы, и в награду за эту гнусную несправедливость облакает его блеском, приковывающим взгляды, и значительностью, внушающей почтение.

Наконец, что такое наследственность короны? Разве система престолонаследия не оскорбляет свободу, нарушая равенство в пользу одного индивида? Ведь наделяя длинную череду потомков высшей властью, она дает им средства для установления произвола. Разве эта система не оскорбляет свободу, ставя человека на место закона и пробуждая в нем своего рода вечное опьянение, которое навязывает воображению почтение через помпезность, коей окружен монарх; которое, делая его подателем всех благ, обращает к нему все надежды; которое, одним словом, основывает власть правителя на обольщении и заблуждении, низводя людей до уровня детей, вместо того чтобы основывать её на разуме и просвещении, обеспечивающих свободу человека и вверяющих её защите чувства его собственного достоинства.

Подведем итог. Монархия, теорию которой изложил Монтескье, представляет собой правление, противное целям общества. Следовательно, она должна быть отвергнута.

Итак, перед нами три вида правления, которые несут в себе принципы абсолютного неприятия и вред которых не может быть возмещен никакими обстоятельствами. Когда один из этих элементов обнаруживается в смешанном правлении, само такое правление становится противным правам человека.

Теперь выскажем великую, но печальную истину: в Европе не существует ни одного правительства, которое не содержало бы в себе в большей или меньшей степени один из этих порочных элементов; и искренние друзья человечества, особенно его просвещенные друзья, должны заняться созданием новой системы правления.

(Примечание издателя.) - Здесь заканчивается та часть «Курса общественной организации», которая была прочитана в Лицее. В день следующего собрания мой отец ограничился чтением нижеследующего заявления:

«Граждане, обстоятельства вынуждают меня отложить на неопределенный срок последнюю лекцию "Курса общественной организации". Она должна была быть посвящена проекту социальной системы и правительства, вытекающему из предыдущих уроков. Полагаю, что ни общественным интересам, ни интересам Лицея, ни моим собственным не соответствует предложение моих частных идей в тот момент, когда французскому народу торжественно представляется внушительная конституция».

Труд под названием «Беседа нескольких философов о республиканском и монархическом правлениях», представляет собой исследование, относящееся к только что прочитанному тринадцатому дискурсу. В черновике этого отрывка можно прочесть следующие строки, написанные рукой моего отца:

«Брюмер II года, в моем убежище.) — Этот фрагмент - лишь очень слабый очерк, нуждающийся в пересмотре. При его составлении я полагался лишь на свои воспоминания, за исключением тех мест, где я даю слово Вольтеру: его книга была у меня перед глазами. Аргументацию Бейля я знаю довольно плохо. Перечитывая философов, которых я столкнул друг с другом, я собираю материал, чтобы усилить и сделать более убедительными доводы - а это единственное достоинство, на которое может претендовать подобное сочинение; ибо я не стре-

мился вывести окончательный результат из воображаемых мною дебатов, но лишь хотел показать, что для достижения результата вопрос следует анализировать иначе, чем это делалось до сих пор».

Очерк моей жизни для моих детей. Часть первая.

Я родился в Меце 15 февраля 1754 года в семье человека, который снискал славу выдающегося юриста в адвокатуре, он прослыл в судейской среде противником произвола власти, а в светском обществе - человеком приятным во всех отношениях. Именно он, будучи первым заместителем генерального прокурора парламента Меца, составил обвинительное заключение, на основании которого в 1766 году этот суд постановил **изгнать иезуитов** из своей юрисдикции. После изгнания иезуитов парламент поручил ему основать в Меце коллеж по образцу тех, что существовали при Парижском университете. Для этого он отправился в столицу, чтобы лично отобрать в самом университете профессоров, из которых должен был состоять штат коллежа. Благодаря его трудам в Меце была создана система государственного образования, оставившая добрый след в истории города, который в годы Революции оказался не менее плодovit на государственных деятелей, чем на прославленных воинов.

В 1771 году, во время преобразований, проводимых в парламентах канцлером Мопу, парламент Меца был упразднен, а его округ присоединен к юрисдикции верховного суда Лотарингии. Тогда этот же судья поставил перед собой задачу добиться его восстановления. Он убедил жителей провинции и - что было гораздо сложнее - высших должностных лиц, которым упразднение парламента могло быть даже выгодно, ходатайствовать о его воссоздании, и сам горячо выступал за это. В 1775 году он добился своего; всеобщее признание провозгласило его великим и благородным гражданином. В знак благодарности за оказанную услугу три сословия города Меца решили предоставить мне средства на покупку должности генерального адвоката при парламенте. Для моего отца это стало наградой, а для меня - свидетельством доверия к тем способностям, которые я в себе обнаруживал; в то время мне был всего двадцать один год. Действительно, получив образование по университетским методикам, я был принят в адвокатское сословие в возрасте семнадцати лет, и к тому времени уже успешно выступал в суде. Из бескорыстных побуждений отец отклонил предложение трех сословий Меца, и, когда мне исполнилось двадцать пять лет, я сам приобрел должность советника парламента. С самого вступления в эту корпорацию мне поручали составление ремонстраций [протестов], поводы для которых правительство в ту пору давало слишком часто. Посвятив себя судебной деятельности, я обрек себя на изучение великих вопросов публичного права, которые уже тогда волновали умы, и посвятил себя принципам свободы. Парламент использовал на благо общества то усердие и те таланты, которые он охотно поощрял.

Ещё до того, как можно было надеяться на созыв Генеральных штатов, я написал значительный труд, призванный доказать выгоду, которую вся Франция и правительство извлекли бы из переноса таможенных границ к самым пределам государства; так, чтобы вместо внутренних перегородок, отделявших одну провинцию от другой, делавших их чужими друг другу и препятствовавших их общению и торговле, барьеры существовали бы только между Францией и границей. Мец и провинция Трёх Епископств входили в число территорий, *фактически приравненных к загранице*; по этой причине их торговля, свободная со стороны Германии, была - вещь чудовищная - столь же затруднена со стороны самой Франции, как и торговля самих немцев.

Промышленники Эльзаса и Лотарингии, находившиеся в том же положении, что и Три Епископства, возлагали большие надежды на мои усилия, и во мне видели будущего освободителя торговли этих трёх провинций. Когда были созданы Генеральные штаты, репутация, которую я приобрёл в области политической экономии благодаря дискуссиям с приверженцами существующей таможенной системы, привлекла ко мне благосклонность одних и интриги других. Избранный дворянством бальяжа Мец в число секретарей-составителей его наказов, я предложил статьи, на которых упорно настаивал, что в итоге лишило меня голосов этого сословия.

Город Мец, как старинная республика, добровольно присоединившаяся к Франции при Генрихе II, сохранил привилегию самоуправления под началом собрания трёх сословий. Следовательно, третье сословие города имело право избрать прямого депутата в собрание *трёх сословий*; однако из-за предвыборных махинаций был избран барон Путе, мой коллега по парламенту. Против этого назначения посыпались протесты; они были переданы в Национальное собрание. Назначение аннулировали, были назначены новые выборы, и 26 октября 1789 года меня избрали депутатом. Таким образом, я не присутствовал при первых событиях Революции. На прекрасной гравюре Давида, запечатлевшей Клятву в зале для игры в мяч, моё имя значится в списке депутатов, приложенном к гравюре. Давид справедливо предположил, что если бы я тогда был в Собрании, то не преминул бы принести эту клятву. Но факт в том, что меня там не было.

Как депутату от Меца, мне предшествовала репутация человека с гражданской позицией и талантом, которая значительно превосходила мои заслуги. Необычайными аплодисментами встретили мою первую речь, которую мне довелось произнести вскоре после приезда, по поводу протеста парламента (членом которого я являлся) против постановления Генеральных штатов. С этого момента меня стали считать одним из самых энергичных патриотов Собрания.

Меня упрекали в том, что я иногда переходил границы осторожной и консервативной политики, а друзья оправдывали меня тем энтузиазмом, который тогда охватил умы, и раздражением, вызванным сопротивлением двора необходимым реформам. Мной же двигали иные причины: довольно объемный труд, опубликованный мною в 1788 году «*О депутации в Генеральные штаты*»,²¹ раскрывает происхождение и характер всех тех мнений, которые я высказывал в Учредительном собрании. Я выстроил для себя теорию правильно устроенного общественного государства, основываясь на наиболее авторитетных философских сочинениях того времени и на собственных размышлениях. Мой разум утвердился на абсолютных принципах; и когда я оказался в Национальном собрании, я следовал всем вытекающим из них следствиям; я требовал их применения со всей строгостью и упрямой логикой, которая, как мне кажется, является одним из качеств моего ума, и, возможно, той жесткостью, что присуща моему характеру. Именно этими причинами следует объяснять мой порой чрезмерный пыл в борьбе против королевских прерогатив, и в поддержку слишком популярных идей. Хотя меня и причисляли к тем законодателям, чьи принципы были направлены скорее на ослабление или даже уничтожение монархической власти, нежели на ее смягчение и ограничение, я все же не принадлежал к числу тех, кого обвиняли в мятежных намерениях, корыстных взглядах или разрушительных страстях. Бонапарт тоже нашел мою жесткость неудобной, когда воздвиг императорский трон; с тех пор он редко видел меня, не задав вопроса: «*Как поживает метафизика?*». Я изложу по нескольким основным пунктам свои взгляды, высказанные в Учредительном собрании.

Култ. - Духовенство.

В указателе газеты «*Le Moniteur*» значится, что на заседании 13 февраля 1790 года я выступил против того, чтобы католическая религия была объявлена государственной. Такая формулировка может навести на мысль, будто я не хотел признания её национальной. Напротив, «*Le Moniteur*» свидетельствует, что я отверг предложение о подобной декларации как излишнее и оскорбительное для собрания. Это предложение, по моему мнению, могло бы заставить думать, что религия среди нас находится в опасности, и что мы сомневаемся в своем почтении к ней (№ 45 «*Le Moniteur*»). На предыдущем заседании я действительно высказался за упразд-

²¹ В указателе газеты *Le Moniteur* сказано, что я был депутатом от Эльзаса. В биографии, напечатанной в Брюсселе у Валена в 1820 году, говорится, что я был депутатом от третьего сословия Меца. Это две ошибки, имеющие определённое значение. Я часто гордился званием *депутата от трёх сословий*, которое в Собрании принадлежало мне одному.

нение религиозных орденов. Верно и то, что на другом, еще более раннем заседании (12 апреля), я поддержал проект Комитета по десятинам. Он был направлен на то, чтобы церковное имущество, переданное декретом от 2 ноября в распоряжение нации, было немедленно изъято из рук владельцев бенефициев, и передано в ведение гражданской администрации. Кроме того, на заседании 2 июня я выступил против того, чтобы количество епархий соответствовало числу департаментов. Наконец, указатель «Le Moniteur» предполагает, что на заседании 5 января 1790 года я проголосовал за то, чтобы имущество беглых священнослужителей перешло в собственность нации. Здесь следует заметить, что обсуждение касалось не личного имущества священников, а их бенефициев, право пользования которыми согласно ордонансам Блуа и Орлеана утрачивали те, кто в них не проживал.

Впрочем, в «Le Moniteur» не сказано, что на заседании 22 июня я критиковал скудность и однообразие жалования, предложенного комитетом для епископов и приходских священников; я оспаривал право собрания произвольно сокращать его, поскольку это нарушило бы условия, на которых духовные лица принимали свой сан. Я предлагал закрепить за епископами треть их прежнего дохода, при условии, что эта треть составит не менее 15 000 ливров. Я основывал свои рассуждения на том, что имущество духовенства должно было распределяться следующим образом: одна треть - беднякам, одна треть - на ремонт и содержание зданий, и одна треть - самим священникам. Поскольку заботу о бедных и ремонт государство берет на себя, - говорил я, - то остальное принадлежит законным владельцам должностей.

Политические права. - Законодательные и избирательные органы.

Первые основы свободы я видел в почти полном равенстве политических прав. Когда Собрание постановило, что для права быть избранным необходимо выплачивать государству налог в размере одной серебряной марки, я утверждал, что имущественный ценз не должен быть препятствием для избрания на законодательные должности. Достаточно должно быть одного лишь доверия избирателей. Я считал, что было бы справедливее и полезнее устанавливать имущественные требования скорее для права быть избирателем, нежели депутатом. Этого мнения придерживались Сийес, герцог де Ларошфуко, епископ Отёнский (господин де Талейран), Лафайет, Мирабо, Барнав и другие. У меня сохранилось любопытное письмо, написанное мне по этому поводу епископом Отёнским.²²

Я утверждал, что никакое иное положение, кроме состояния домашней прислуги, не должно исключать человека из осуществления политических прав гражданина; что **актеры, евреи, цветные люди**, при условии соблюдения ими требований по возрасту и цензу оседлости во Франции, не могут быть лишены этих прав; и именно по моему предложению актерам был предоставлен статус гражданского состояния.

Я хотел гарантировать чистоту законодательного органа, возведя преграду между совестью его членов и соблазнами двора. Я желал, чтобы депутатам было запрещено занимать государственные должности. Я предлагал установить наказания для тех, кто будет их добиваться. Я требовал, чтобы конституция закрепила за депутатами запрет на занятие министерских постов в течение четырех лет, следующих за окончанием срока их полномочий.

²² Вот это письмо: «Ваши размышления, сударь, превосходны: они принадлежат человеку, чей ум мыслит глубоко и в высшей степени философски. Однако не кажется ли вам, что тем или иным образом необходимо участвовать в несении общественных расходов, чтобы иметь полное право на общественные блага? В противном случае может показаться, что человек имеет право лишь на защиту со стороны общества. Всё это не отменяет того факта, что закон о серебряной марке, к которому мне так и не удалось привыкнуть, не был упразднен или сильно изменен. Я сообщу вам по этому поводу идею, которая, возможно, примирит всё.

Имею честь засвидетельствовать Вам, милостивый государь, моё искреннее почтение, уважение и преданность. Подпись: Епископ ОТЁНСКИЙ» (Примечание редактора)

Правительство и исполнительная власть.

В отношении правительства я выдвигал и настойчиво поддерживал несколько мнений, которые с тех пор были признаны несовместимыми с монархической конституцией. Я хотел, чтобы армия присягала нации; чтобы государственное казначейство находилось в руках хранителей, назначенных представителями нации и ответственных перед законодательным органом; чтобы даже финансовые ведомства были выборными. Я утверждал - и особенно в то время, когда редакционный комитет работал над тем, чтобы через различные изменения ранее принятых декретов вернули королевской власти больше авторитета, силы и достоинства, - я утверждал, что для того, чтобы конституция соответствовала данному ей названию «представительной», и чтобы это название не было обманом, необходимо, чтобы административные функции в департаментах, дистриктах и муниципалитетах были объявлены конституционно, то есть безоговорочно, выборными.

Учредительное собрание ограничилось тем, что оставило выборность должностей в числе законов, подлежащих изменению. В 1792 году я избавился от этого заблуждения благодаря опыту, который приобрел в качестве генерального прокурора-синдика департамента Париж. В своих отношениях с Парижской коммуной я осознал, что было огромной ошибкой позволять народу наделять полномочиями администраторов, чьи должности были созданы для исполнения распоряжений правительства; это выглядело так, будто хотели, чтобы приказы, идущие из центра к окраинам, при исполнении наталкивались на естественное сопротивление окраин центру. Когда со мной консультировался конституционный комитет III года, я заявил в «*Journal de Paris*» и в специальной работе о правительстве, что Директория должна быть наделена правом назначать администраторов департаментов и дистриктов, но из числа кандидатов, представленных народным голосованием. Эта система была усовершенствована ещё больше консульской конституцией, которая предписала составление постепенных списков кандидатов и учредила институт нотаблей, чья весьма сложная правовая база была моей работой.

Правосудие.

Что касается судебной системы, я считал, что отправление правосудия, то есть применение законов, не может быть изъято из рук народа или его представителей в большей степени, чем право создавать законы, поскольку во власти применять законы заключена и возможность злоупотреблять ими; нельзя допускать, - говорил я на заседании 7 апреля 1790 года, - чтобы ежедневно отменялось судебными решениями то, что законодатели установили своими декретами. Исходя из этого принципа, я поддержал проект замены прежнего судебного корпуса учреждением выборных законников и нотаблей для формирования списка, из которого выбирались бы присяжные для каждого гражданского или уголовного дела.

Предметный указатель к «*Moniteur*» приписывает мне голосование сначала за сменяемость судей (№ 124 «*Moniteur*»), а затем за независимость судебной власти (№ 128 «*Moniteur*»). Это было бы странным противоречием. На самом деле я требовал не того, чтобы судьи были сменяемыми, но чтобы они считались временными, что вполне совместимо с принципом несменяемости. «Сменяемый» означает возможность увольнения по воле правительства; «временный» же - это противоположность пожизненному или вечному. Судья может быть назначен на три года или на один год, и при этом оставаться несменяемым: именно это было четко разъяснено в Национальном собрании, но превратно истолковано журналистами. Декрет, принятый сразу после моего выступления, гласит, что судьи должны назначаться только на определенный срок; а следом идет другая статья, также соответствующая моему мнению, согласно которой они могут быть переизбраны без перерыва в стаже.

Впрочем, речь, опубликованная в № 128 от 7 мая, не оставляет сомнений в заблуждении редактора, который в № 124 перепутал идею временного судейства с идеей сменяемого магистрата. На заседании 7 мая вопрос стоял так:

1. Имеет ли король право отказать в утверждении судьи, избранного народом?
2. Должны ли выборщики представлять несколько кандидатур, чтобы король мог выбрать одну из предложенных?
3. Получит ли выбранный народом судья от короля патент, скрепленный государственной печатью?

Я выступаю за абсолютную независимость судебной власти, как и за независимость власти законодательной. В этой речи, которую я осмелюсь назвать примечательной и которой восторженно рукоплескали (*Moniteur*), я обосновал доктрину независимости судей, опираясь, помимо прочего, на примеры из прошлого: «Несменяемость судей, - сказал я, - была введена для того, чтобы они не зависели от короля и не были подвержены его влиянию». Таким образом, утверждение в предыдущем номере *Moniteur* нельзя рассматривать иначе как оплошность.

Конституция.

Когда я прибыл в Учредительное собрание, конституционный комитет уже был сформирован. Поэтому мне оставалось лишь высказывать свое мнение с трибуны по поводу работы этого комитета.

Финансы.

Поскольку Собрание еще не занималось системой государственных налогов, в начале января 1790 года было решено назначить для этой работы комитет из двенадцати членов. Я был избран в него вместе с герцогом де Ларошфуко, Дюпоном де Немуром, Адрианом Дюпором, епископом Отёнским, Дефермоном и другими. Именно тогда я смог свободно применить знания, приобретенные в области политической экономии, и продемонстрировал, возможно, некоторую широту взглядов. Я ясно осознал потребности государства и точно их оценил; я проныцательно определил истинные источники государственных доходов и с присущей мне дальновидностью нашел самые надежные и гибкие способы распределения налогового бремени максимально равномерно. Я был автором закона о гербовом сборе и закона о патентах; я заменил табачную монополию налогом; я перенес таможенные заставы на самые границы государства. А когда комитет по сельскому хозяйству и торговле, состоявший из ста членов, подготовил тариф ввозных и вывозных пошлин, меня назначили комиссаром вместе с господином Дефермоном, чтобы пересмотреть его и подготовить доклад для Национального собрания.

Я был основным автором поземельного налога и его сочетания с налогом на движимое имущество - комбинации, при которой доходы от капиталов неизбежно подлежали налогообложению. Именно я представил Собранию общий план системы прямых и косвенных налогов, объяснил механизм и взаимодействие каждой части в общей системе, показал связи, объединяющие эти части между собой и каждую из них с целым, а всё целое - с ежегодным воспроизводством национального богатства. Я был постоянным докладчиком комитета. Именно мне поручали в ходе дискуссий отвечать на общие нападки, на частные возражения, на местные претензии и предрассудки; я делал это, как говорят, с большим умением; по крайней мере, несомненно, что я делал это с успехом. Система государственных налогов, установленная Национальным собранием, - это единственная часть его законодательства, на которую не повлияли изменения в убеждениях, людях и вещах, произошедшие со времени принятия Конституции 1791 года. Поземельный налог был введен мной в Неаполитанском королевстве, когда я был там министром финансов, а затем в той части Германии, которая образовала великое герцогство Берг, за то короткое время, что я возглавлял там высшую администрацию. Этот налог, который в Неаполитанском королевстве и в великом герцогстве Берг заменил - как

и во Франции - множество различных несправедливых прав, носивших почти произвольный характер и требовавших запутанной отчетности, был сохранен к удовлетворению народов теми государями, которые вновь возглавили эти две страны. Это неоспоримое доказательство его очевидной справедливости и простоты.

Я неизменно выступал защитником неограниченной свободы прессы, утверждая, что законов против преступлений, которые могут стать следствием злоупотреблений, вполне достаточно для их пресечения - точно так же, как законов против преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, достаточно для борьбы со злоупотреблением им.

После окончания сессии Учредительного собрания коллегия выборщиков департамента Сена назначила меня генеральным прокурором-синдиком этого департамента вместо Пасторе, который был избран в Законодательное собрание. Моим коллегой был господин д'Андре, бывший член Учредительного собрания, и, так же, как и я, в прошлом советник парламента (Экса). Назначению последнего способствовал двор.

Мирабо очень рассчитывал занять место генерального прокурора-синдика департамента Парижа, и был крайне задет тем, что его назначили простым администратором и поместили, как он писал, *«в кресло паралитика между телячьей головой и учеником аббата де л'Эпе»*. Он имел в виду генерального прокурора-синдика Пасторе и председателя, герцога де Ларошфуко, который был косноязычен. Мирабо видел в должности генерального прокурора-синдика высший выборный пост в королевстве, с которого легче всего было диктовать волю министрам и двору. У меня были те же мысли. Однако я пробыл в должности совсем недолго, прежде чем осознал, что парижский муниципалитет в годы революции был несравненно могущественнее администрации департамента, а мэр столицы значил гораздо больше, чем генеральный прокурор-синдик департамента. Власть в то время находилась в руках магистратуры, имевшей наиболее прямые связи с самыми многочисленными слоями общества.

Учредительное собрание из-за ошибки, в которой и я принимал участие, придало администрации департамента Сена ту же форму, что и в других департаментах. Согласно общему закону об административных органах, если бы муниципалитет главного города оказал сопротивление администрации департамента, эта администрация располагала бы силами всех остальных муниципалитетов, чтобы его усмирить, и непокорный муниципалитет неизбежно должен был бы вернуться к исполнению долга. В Париже этот закон не действовал. Неужели не было видно, что силы Сен-Дени, Со и Бур-ла-Рен были бессильны против Парижа и его взбунтовавшегося муниципалитета? Наделение администрации департамента Сена главенством над муниципальным корпусом не давало ей ни превосходства в силе, ни реальной власти. Эта ошибка стала одной из побочных причин падения трона.

Впрочем, парижский муниципалитет находился в не более выгодном положении по отношению к коммуне, чем администрация департамента - по отношению к муниципалитету. Мэр, прокурор коммуны и муниципальные чиновники были не менее самонадеянны, чем департамент, когда воображали себя хозяевами положения, способными остановить или направить движение, которое им нравилось поддерживать - вернее, которое они вынуждены были терпеть, чтобы в скором времени не испытать на себе месть двора.

Герцог де Ларошфуко пал жертвой коммуны; Петиона и Манюэля постигла та же участь. Впрочем, сегодня необходимо признать природу и силу обстоятельств, действовавших в то время. Если бы мы захотели исключить из истории революции имена собственные - метод, несомненно, весьма разумный, полезный и в высшей степени нравственный благодаря тому просвещению и умеренности, которые он привнес бы в мысли, - то увидели бы, что всё сводится к двум движущим силам: демократии и произволу. А также к двум периодам, каждый из которых делится еще на два: период растущей демократии и период демократии убывающей; период деспотизма, правящего согласно воле народа, и период деспотизма, стремящегося править согласно своим традициям. До тех пор пока у нас не будет четкого представления о том, что представляла собой народная власть в 1792 году, о её организации, внутренней механике, принципах действия, о её взаимоотношениях с государственной властью, мощи и активности их побудительных мотивов, столкновение их интересов и взглядов, а также различие

в их средствах - без понимания всего этого будет невозможно справедливо распределить похвалу или порицание между выдающимися личностями, и даже целыми объединениями той эпохи. В противном случае мы будем несправедливо осуждать самых безупречных людей. Мы станем восхвалять и превозносить как проявление героизма безрассудство, самонадеянность, дерзость и безумие, которые на самом деле лишь вредили их целям и были пагубны для всех партий.

Ситуацию во Франции в 1792 году называли **анархией**, но это было нечто совсем иное. Анархия - это отсутствие правительства, когда воля каждого подменяет собой общую волю. В 1792 году, напротив, существовала единая, единодушная общая воля; существовала пугающая своей мощью организация, предназначенная для того, чтобы формулировать эту волю, подтверждать её, провозглашать и приводить в исполнение. Словом, существовала демократия или, если угодно, грозная охлократия, опиравшаяся на двадцать шесть тысяч клубов, связанных между собой и поддерживаемых миллионом национальных гвардейцев. Существовали писатели и ораторы для любых мнений и для любых демократических страстей; статьи и речи разлетались с юга на север и с севера на юг. В центре, то есть в Национальном собрании, у парижских клубов и секционных собраний были свои ораторы; общенациональная трибуна служила общим набатом для партии. Это была, безусловно, машина, отлаженная как для обороны, так и для нападения.

Историки революции - если среди них найдутся те, кто достоин этого имени - приписывали все революционные движения импульсам, исходящим от общенациональной трибуны. Какое странное заблуждение! Ораторы этой трибуны, какими бы яростными и неистовыми они ни были, не были ораторами народных масс. Повторюсь: у каждого народного собрания были свои лидеры, и среди них всегда находился один, превосходивший остальных. Во Франции поднялось множество людей, обладавших грубым и мощным красноречием, подобных тому «Дунайскому крестьянину», которого описывает наш баснописец. Они гораздо лучше депутатов Национального собрания понимали, как убеждать и вести за собой толпу. Они проникли гораздо глубже в мысли, страсти, предрассудки и интересы - мнимые или реальные - низших слоев народа, которые были самыми многочисленными. Они представляли пролетариям Францию как добычу, которая гарантированно достанется им, стоит только пожелать её взять. Они обещали абсолютное равенство, фактическое равенство, доступ к государственным должностям и власти.

И в каких обстоятельствах они так будоражили воображение бедняка? Это происходило в то время, когда жизненно важные продукты исчезали из продажи, а платить за них приходилось лишь обесцененными бумажными деньгами. Общее бедствие мощно способствовало разжиганию ненависти масс к власти, к богатству, к собственности. Ораторам достаточно было воззвать к голоду, чтобы пробудить жестокость - и они были уверены в ответе. Это происходило также в тот момент, когда враг вторгся на территорию страны, угрожая принести во Францию беспощадную месть и истребление всех тех, кто взял в руки оружие в 1789 году.

Что еще я могу сказать? В те дни воочию повторилось то, что происходило во время английской революции 1648 года. Политический мыслитель Гоббс, защищавший в своем труде «О гражданине» (*De Cive*) монархическую систему от сторонников демократии, отвечал тем, кто указывал на возможность появления на троне Калигулы или Нерона: *In democratia, tot possunt esse Neronas, quot sunt oratores qui populo adulantur. Simul plures sunt in democratia et quotidie novi suboriuntur.* (В демократии может быть столько же Неронов, сколько есть ораторов, льстящих народу. В демократии их одновременно много, и каждый день рождаются новые). *Suboriuntur* - буквально: «выходят из-под других», из еще более низких слоев.²³

²³ **Примечание редактора.** Г-н Сент-Бёв, приведя этот отрывок в своем очерке о моем отце (8-й том его «Понедельничных бесед»), добавляет следующее замечание: «...Рёдерер настаивал на силе выражения *suboriuntur* - выходят из-под других, снизу... Я искал цитируемый отрывок у Гоббса и нашел нечто похожее в труде *De Cive*, раздел *Imperium* (глава X, § 7), но фраза там приведена не полностью в том виде, в каком её

В 1792 году королевский двор пребывал в плену безумного самомнения и грубых заблуждений. Они тешили себя надеждой, что смогут сдержать бушующий поток, просто выбирая нужных министров, опираясь на принципы высших администраторов департаментов или на нескольких доверенных ораторов на национальной трибуне. Еще более великим и безрассудным было самомнение роялистских ораторов в Ассамблее. Еще более абсурдными были иллюзии администраторов департаментов, воображавших, будто они могут диктовать свою волю муниципалитетам. Но самым абсурдным и непомерным было высокомерие парижского муниципалитета и мэра, когда они льстили себе мыслью, что управляют столичной коммуной. Все те, кто считал себя в то время влиятельным, все те, кто мнил себя правителем - даже та партия, которая, казалось бы, стояла у руля высшей власти, даже Петион и сам Марат - на самом деле подчинялись толпе. Марат был лишь одним из её рупоров. Господствующей силой была демократия; именно она, а не какой-то ничтожный крикун, метала громы и молнии.

Демократия! Демократия! Вот она - inferнальная мощь той эпохи. Одним Маратом больше, одним меньше - события ясно доказали, что это ничего не меняло в этой грозной силе. В 1792 году демократическая партия и партия умеренных республиканцев²⁴ считали двор очагом измены. Исходя из этого принципа, демократы судили о чиновниках по тому рвению, с которым те исполняли свои обязанности. Именно так они оценивали, в частности, генерального прокурора-синдика департамента Парижа.

Я начал свою административную деятельность с установления нового налогового режима, о котором мой предшественник не имел ни малейшего представления. Менее чем за два месяца я составил реестры поземельного налога и налога на движимое имущество: это были мои первые доказательства способностей к управлению.

Но время не благоприятствовало их развитию и расцвету. В человеке, заставлявшем администрацию работать в то время, когда двор подозревали в заговоре против свободы, демагоги видели опасного сообщника этого самого двора. Они считали преступлением работу по укреплению правительства, которое казалось им врагом конституции. В самом деле, я, занимая свою новую должность администратора, полагал, что у меня нет иного обязательства, кроме служения обществу. Я действовал, исполнял свой долг, не вникая и не рассуждая о том, правда ли, что двор и министры не исполняют своего долга. Ораторы от демагогии обвинили меня в коррупции.

Стало еще хуже, когда на стенах Парижа появилось постановление директории департамента, которое по требованию генерального прокурора-синдика запрещало народные собрания, объявленные на 20 июня 1792 года - дату, ставшую знаменитой из-за событий, послуживших прелюдией к 10 августа и последующему 21 января. Это постановление было составлено мною в присутствии мэра Петиона. И стало совсем скверно, когда 20 июня толпа в двадцать тысяч человек, двигаясь по улице Сент-Оноре и оказавшись неподалеку от Тюильри и Национального собрания (которое тогда заседало в Манеже на улице Риволи, напротив Вандомской площади), явился к трибуне Собрания во главе Директории департамента. Там, не обращая внимания на ропот трибун, на явное неодобрение демократической части Собрания, на угрозы, предшествовавшие прибытию толпы, на крики и требования расправы, которые тем же вечером должны были обрушиться на меня в двух грозных клубах, доминировавших тогда

дает г-н Рёдерер. Последней части цитаты, именно той, на которой он настаивает, там нет. По всей видимости, он объединил два разных пассажа. Я оставляю другим право разрешить это небольшое затруднение, на которое указываю лишь из чувства скрупулезности».

Это предположение совершенно обоснованно. В самом деле, в главе X, § 7 книги *Imperium* находятся следующие слова: «Нероны - это те ораторы, что льстят народу»; и в § 6 той же главы находятся эти слова, ускользнувшие от внимания господина Сент-Бёва: «...Они существуют одновременно, и каждый день рождаются новые». Если внимательно прочитать параграфы 6 и 7, о которых идет речь, то можно заметить тесную связь, которая позволила и даже подсказала объединение этих двух фраз в одну.

²⁴ Правильным словом было бы *аристократическая*, но это слово всегда понималось как претензия на наследственное правление. Аристократия, к которой стремились Жиронда и умеренная партия, была аристократией заслуг, подтвержденных народным избранием.

над всеми остальными во Франции (якобинцев и кордельеров), я осмелился заявить Национальному собранию, что его снисходительность к ежедневному приему в своих стенах толп вооруженных людей лишает полицию общественной безопасности возможности предотвращать скопления народа. А такие скопления, стоит им лишь образоваться и вырасти, оказываются сильнее органов власти, призванных их разгонять. Я осмелился призвать его положить конец этой снисходительности, не ослаблять более ответственность администрации департамента и не парализовать его предусмотрительность и силу. Говоря таким образом, я был уверен в поддержке умеренной партии Собрания; фактически я давал ей оружие против демагогов. Однако мне следовало опасаться этой фракции, которая была в большинстве и которая готова была стать более опасной, чем когда-либо, из-за приближения толпы, перед которой дрогнули даже самые решительные роялисты, в частности, Рамон.

Ни один член национального собрания, ни один министр не осмелился бы тогда позволить себе столь открытую атаку, или же это не прошло бы для него безнаказанно. Я ничего не добился. Едва я отошел от трибуны, как фракция добилась решения о том, что толпа пройдет вооруженным строем через зал заседаний. С этого момента дворец Тюильри был захвачен, и все знают, какие оскорбления в тот день предвещали королевской семье катастрофу, которая должна была случиться несколько недель спустя; я говорю о событиях 10 августа.....

В последующие дни газеты этой фракции поставили мне в вину мои распоряжения о применении вооруженной силы против сборища на площади Каррузель. Коммуна опечатала мои бумаги и выдала ордер на мой арест: это был смертный приговор. Я скрылся от угрожавшей мне опасности, прятался и появлялся вновь только в те моменты, когда умеренная партия, в которой у меня были друзья, имела некоторое преимущество над партией разрушителей.

Сначала я прятался у господина Комба на улице Дешаржёр; я занимал там две комнаты. В том же доме, прямо надо мной, скрывались другие жильцы: господин Тьерри, камердинер короля, и господин Тарбе, бывший министр финансов. 28 августа Коммуна призвала всех санкюлотов к оружию, чтобы провести одновременный общий обыск во всех домах Парижа и арестовать всех опасных людей, обреченных на сентябрьскую резню. Я попросил у господина Лебрена, моего соотечественника, убежища в квартире, которую он занимал в Пале-Рояле в качестве инспектора зданий. Лебрен согласился, запросив и получив одобрение герцога Орлеанского. Меня привел туда господин Дюма в сумерках, за час до начала обыска. Лебрен сказал мне: *«Дорогой мой, здесь нам понадобится немного наглости. Как командир батальона, я приведу сюда часть своего отряда и скажу им, что хочу, чтобы осмотр начался с моего жилья; они, вероятно, ничего там не найдут. Но если они всё же войдут, нужно сохранять достойный вид. Вот мундир национальной гвардии, который вам подойдет, наденьте его; вот шляпа, которую вы нахлобучите на голову. Моя экономка накроет стол на двоих, поставит бутылку вина и тарелку со свежими яйцами под салфеткой. Вы повернетесь спиной к входной двери в зал. Как только услышите меня у двери квартиры, вы скажете: „Божье правый! Ну же, иди сюда, наши яйца остыли: я не сдвинусь с места, пока не выпью“. Тогда вы разобьете яйцо и будете есть его как голодный человек, пока они будут осматривать мои три комнаты. Они уйдут; вы последуете за ними в четырех шагах по коридору, а затем вернетесь».*

Я приготовился исполнить всё, что мне советовали, но это оказалось излишним: батальон единогласно отказался подниматься в квартиру командира, и это было, вероятно, большой удачей. Ведь, кроме меня самого, там было одиннадцать швейцарцев, гвардейцев-швейцарцев, спрятанных на чердаке над квартирой Лебрена, и это - по признанию самого герцога Орлеанского, которого столько людей обвиняли в том, что он заплатил убийцам за расправу над королем 6 октября 1789 года. Будь он способен на такое зверство, весьма вероятно, что он не приложил бы столько усилий, чтобы спасти после 10 августа швейцарцев от ярости народа. В ту ночь, о которой я говорю, люди Коммуны арестовали от пяти до шести тысяч человек; это были жертвы, убитые в первые дни сентября. Я обязан герцогу Орлеанскому и Лебрену тем, что мне посчастливилось избежать этой бойни.

Находясь под действием ордера на арест от Коммуны после событий 10 августа; впрочем, мне и не нужно было доказывать, что я не был сообщником этой Коммуны. Тем не менее я

представил и другие доказательства: я взял на себя обязанность составлять для газеты *Journal de Paris* отчеты о заседаниях Конвента на основе заметок, которые мне предоставлял штатный сотрудник этого издания. Под моим пером эта работа приобрела характер, далекий от простого пересказа: я высказывал мнение по всем сложным вопросам и по поводу всех суждений депутатов; я подкреплял одни доводы своими рассуждениями и энергично опровергал другие. Я осуществлял самую настоящую критику. И вот, с того дня, когда открылись прения по процессу Людовика XVI (13 ноября 1792 года), я встал на сторону мнений, благоприятных для обвиняемого, и решительно поддержал предложение двух выступавших об отмене смертной казни. Фоше считал законную смертную казнь недопустимой; Робер также отвергал ее, но желал ее отмены лишь после смерти Людовика. Вот как я отзывался об этих мнениях в *Journal de Paris* (от 14 ноября):

«Это, на мой взгляд, огромный шаг вперед для разума, что два этих мнения сегодня высказаны с такой силой и встречены с таким сочувствием - мнения в пользу отмены смертной казни. В Учредительном собрании ораторов, предложивших эту отмену, слушали с возмущительным нетерпением. Один оратор не раз заявлял с трибуны в течение двух месяцев, что необходимы ужасные наказания, дабы удовлетворить народ. Это, безусловно, ложная мысль. Народ страшен лишь в своем гневе; законы же народа создаются для правосудия, для разума, для безопасности, а не для того, чтобы подражать его мести или превосходить ее. Скажут, что сейчас плохо выбран момент для установления мягких законов, что их нужно принимать тогда, когда народ еще охвачен самыми справедливыми обидами; а я отвечу - напротив, момент выбран очень удачно. Именно в миг удовлетворенной мести сердце наиболее открыто для добрых чувств и с большим желанием возвращается к спокойному разуму; и это также прекрасный момент для самого разума - показать себя во всем блеске именно тогда, когда он еще может столкнуться с какими-то препятствиями. В таком случае он кажется более величественным, потому что действует смелее; он более могущественен, потому что демонстрирует больше уверенности в своей правоте». Нельзя не заметить здесь моего стремления ухватиться за предложение, в корне спасительное для Людовика XVI, и желания направить общественное мнение и мнение собрания на путь спасения, открытый для этого принца.

В номере от следующего 20 декабря я воспользовался предложением изгнать семью герцога Орлеанского, чтобы выступить против самого духа проскрипций, против положений, налагающих смертную казнь: *«Это гарантия, - писал я, - а не жертвы, которых сейчас требует свобода. Это дух партии требует жертв. Республике же не нужно ничего, кроме конституции».* Людовик XVI, очевидно, присутствовал в моих мыслях, когда я писал эти строки. 12-го числа того же месяца генеральный совет Коммуны постановил, что адвокаты, предоставленные королю, должны подвергаться обыску вплоть до самых интимных мест, их следует раздевать и переодевать в новую одежду под надзором Коммуны перед тем, как допустить к общению с Людовиком. 13-го числа Тронше принимает выбор, который остановил на нем король, а Мальзерб также предлагает принцу стать его защитником. Конвент постановляет, что *они смогут свободно общаться с Людовиком.* Сообщив об этом декрете в *Journal de Paris* от 15-го числа, я добавил: *«Слова "свободно", без сомнения, будут замечены генеральным советом Коммуны, которому придется отказаться от исполнения своего постановления где бы то ни было, кроме как в тюрьмах короля Марокко или дея Алжира».*

6 января 1793 года, за десять дней до вынесения приговора Людовику XVI, в те дни, когда самые яростные обращения и безумные сборища осаждали Конвент, на следующий день после заседания, где Барьер произнес с трибуны Конвента мнение, предрекавшее гибель несчастному принцу, я поместил в *Journal de Paris* прямое опровержение этого мнения. Я развил в нем тезис о том, что собрание не имело права судить короля. Я подписал эту статью своим именем, полностью, хотя всё еще находился под действием указа Коммуны о моем аресте и был вынужден скрываться. Барьер утверждал, что осуждение Людовика будет не судебным приговором и не законом, а актом революции и общественной безопасности. Я ответил: *«Общественная безопасность существует лишь там, где обеспечена и безопасность частная; нет ни общественной, ни частной безопасности там, где людей судят, а не преследуют вне*

закона. Нельзя называть актами революции насилия, совершенные в разгар самой революции. Все, что происходило, пока пушки стреляли по Тюильри 10 августа, - это акт революции. Все, что было сделано после, является преступлением, если оно не законно».

Мерлен из Тионвиля прислал из Майнца свой голос по делу Людовика: он проголосовал за *смерть без права обжалования*. В номере «Парижского журнала» (Journal de Paris) от 12 января я обосновал, что этот голос должен быть отклонен, поскольку нельзя голосовать до окончания прений, и поскольку отсутствующий не может быть допущен к голосованию, так как трибунал должен воочию убедиться в физическом и моральном состоянии голосующего.

Демагоги, чтобы наказать меня за смелость, попытались связать мою судьбу с участием депутатов Жиронды. Эти депутаты находились в состоянии открытой войны с Парижской коммуной. Марат, ее рупор в Собрании, в своих сочинениях и даже с трибуны проповедовал аграрный закон, грабежи, проскрипции и убийство собственников. Депутаты Жиронды и министр внутренних дел Ролан нападали на это ужасающее бесчинство; они требовали суда над Маратом и Коммуной, в которых видели организаторов массовых убийств 3, 4 и 5 сентября.

В то же время я выступал против доктрины демагогии в курсе лекций, который читал в Лицее; там я боролся со всеми писателями, нападавшими на собственность, и старался показать ее основы. С другой стороны, в «Парижском журнале» я высказался в пользу депутатов Жиронды. Я уважал их намерения и их мужество, которое часто бывало безрассудным. Я восхищался их талантами; среди них у меня было двое близких друзей - Верньо и Дюко, самые мудрые и умеренные умы Жиронды. В частных беседах они осуждали переменчивые вспышки гнева своих коллег против двора и против Коммуны в 1792 году. Объединив свое дело с их делом, я увеличил число своих врагов и навлек на себя ненависть их противников. Уже 30 января 1793 года, на следующий день после окончательного осуждения Людовика XVI, один из виднейших депутатов (Жансонне), потребовав преследования и наказания убийц 2 и 3 сентября, встретил противодействие со стороны оратора от партии Коммуны (Талльена). Тот противопоставил этому предложению другое: привлечь к ответственности и суду *лиц, собравшихся в замке против народа 10 августа*. Собрание единогласно приняло оба предложения. Это означало передать власть той из двух партий, которой удастся отправить противников на эшафот; это открывало поле для смертельной схватки между умеренной партией и демагогами, ибо последние рассчитывали выставить депутатов Жиронды пособниками двора на том основании, что те хотели судить людей, собравшихся в замке, чтобы спасти короля, если это будет возможно. Я был во главе списка этих лиц, обреченных на смерть. Все еще находясь под действием ордера на арест от Коммуны, я был одним из тех, кому вторая часть декрета угрожала наиболее непосредственно. Мое рвение в защиту партии Жиронды отнюдь не способствовало моему примирению с Коммуной.

31 мая фракция Коммуны и «сентябристы» путем ужасающего мятежа заставили Конвент издать приказ об аресте двадцати одного депутата, среди которых первыми были жирондисты. Это преступление стало поводом для протестов, тайно подписанных 2, 6 и 9 июня следующего года семьдесятю пятью членами Собрания, причем самыми уважаемыми, такими как Дюссо, Дефермон, Дону. Я не стал ждать чьего-либо примера, чтобы высказать свое мнение об этом злодеянии. С 28 мая, дня начала мятежа, я воздерживался от любого участия в редактировании «Парижского журнала»; и когда в газете проявилась некоторая слабость позиции, я пожелал, чтобы мое решение стало известно. 30 июня в номере за этот день я заявил, что *с 28 мая я не принимал никакого участия в редактировании «Парижского журнала»*. Это был открытый протест против любых сделок по поводу событий того дня и последующих за ним.

3 октября 1793 года двадцать одному депутату было предъявлено обвинение, а семьдесят пять человек, подписавших протест, были арестованы на основании доклада Амара от имени Комитета общественного спасения. В этом докладе меня назвали отцеубийцей за то, что я потребовал применить силу против народа: *«Рёдерер, - говорит Амар, - отчитывается (10 августа) о мерах, принятых им для обеспечения защиты дворца Тюильри, а также о речи, с которой он обратился к артиллеристам, призывая их открыть огонь по народу. Он говорит тоном, ис-*

полненным скорби, о неповиновении этих доблестных граждан его преступным приказам. Король, - говорит Рёдерер, - человек, и этот человек - отец! Он просит, чтобы Национальное собрание передало департаменту ту силу, которой ему не хватает, и обещает умереть за исполнение своих приказов». В то время определение «преступный» [в значении посягательства на основы] приравнивалось к объявлению вне закона. Все это, как кажется, является подлинным свидетельством моих чувств. После гибели депутатов Жиронды я погрузился в глубокое затворничество и оставался в нем до самого 9 термидора - времени свержения Робеспьера.

После событий того дня я еще некоторое время не решался показываться и не публиковал никаких трудов. Однако спустя несколько дней Собрание пребывало в нерешительности: сохранить ли систему Террора или вернуться к правосудию; оно не знало толком, объявить ли Робеспьера наказанным за то, что он подтолкнул к стольким преступлениям, или за то, что он хотел остановить их ход. На деле же его свергли лишь как врага его главных предводителей и за то, что он злоупотреблял своим влиянием на Коммуну во вред им. Тогда я изложил теорию системы террора - то есть произвола, переходящего в безудержную жестокость, - и отправил ее господину Ису, редактору газеты «Республиканец», чтобы он опубликовал ее в этом издании без указания имени автора. Господин Ис показал эту рукописную статью Тальену, который тогда как раз решил выступить против Террора и попросил сделать мой труд основой для речи, которую он произнесет с трибуны. Господин Ис передал его ему; Тальен написал вступление и произнес весь текст с трибуны Конвента 11 фруктидора II года (28 августа 1794 года). Позже я переработал это сочинение против Террора, когда господин де ла Бурдонне хотел возобновить его, но оставил рукопись в своем портфеле. С того момента я тайно работал на Тальена. В то же время я написал брошюру под названием «Портрет Робеспьера», которую Мерлен из Тионвиля, с моего согласия, напечатал под своим именем, чтобы придать делу больший вес. Также от имени Тальена я подготовил предложение о возвращении имущества осужденных; это предложение не было оглашено с трибуны, но было напечатано под именем Тальена. Кроме того, я составил для Мерлена речь о мире.

7 ноября 1794 года я опубликовал под именем Жака брошюру в защиту семидесяти одного депутата, находившихся под стражей за протест от 3, 6 и 19 июня 1793 года.²⁵ Вот один из доводов, которые я привел против задержания Семидесяти одного: *«Корпус представителей нации проверяет полномочия своих членов; следовательно, он их не дает; а раз он их не дает, он не имеет права их отнимать. Если он их не дает, значит, их дает народ; а если их дает народ, никто не может их похитить, не нарушив прав народа. Представительный корпус не может посягать на те акты, в силу которых он сам является представительным корпусом. Следовательно, представительный орган не может запретить народу выбирать того или иного депутата (при условии, разумеется, что тот соответствует требованиям, предписанным Конституцией); он не может отвергать депутата, избранного народом. Если бы большинство могло произвольно исключать из своей среды меньшинство, произошло бы одно из двух: либо*

²⁵ Здесь видно, как мой отец, не теряя времени, уже сражался на поле боя. Когда он писал свою теорию системы террора - то есть произвола, переходящего в безудержную жестокость; когда он опубликовал портрет Робеспьера, Конвент еще находился, как он только что сказал, в состоянии неопределенности: «сохранить ли режим Террора или вернуться к правосудию; не зная толком, объявить ли Робеспьера наказанным за то, что он подтолкнул к слишком многим преступлениям, или за то, что он хотел остановить их ход». Стоит вдуматься в эти пугающие слова и в тот зловещий свет, который они проливают на ужасную неуверенность, в которой пребывали порядочные люди, хотя Робеспьер уже исчез! Таким образом, повторюсь: покинув последним ряды защитников Людовика XVI, мой отец первым вернулся на поприще борьбы с анархией. Он провозгласил первые лозунги порядка, гуманности и возмещения ущерба, чтобы поддержать тех, кто казался склонным, хотя еще и колебался, выбрать лучший путь; чтобы ободрить их и укрепить их намерения, предложив им помощь своего пера и свое мужество честного человека. А ведь требовалось немалое мужество, как мы видим, чтобы броситься в эту череду сражений и самопожертвования. В настоящее время невозможно представить себе тот гул негодования, который вызывала в те несчастные времена малейшая попытка моего отца призвать к человеколюбивым идеям, и ту ярость борьбы, которую ему пришлось выдержать. (Примечание издателя.)

оно было бы обязано призывать заместителей, либо было бы освобождено от этой обязанности. Если бы оно было освобождено от нее, могло бы случиться так, что представительный орган, состоящий из семисот членов, в течение десятилетия сократился бы до двух человек. В первый день можно было бы исключить 342 человека, во второй - 175, в третий - 88, в четвертый - 43, в пятый - 21, в шестой - 10, в седьмой - 4, в восьмой - 1, в девятый - еще одного; в десятый же день останется дуумвират. Если же большинство было бы обязано призывать заместителей по мере исключения депутатов, то в силу права на исключение оно все равно имело бы возможность выбирать среди этих заместителей: таким образом, списки национальных выборов превратились бы лишь в списки кандидатов, из которых собрание могло бы выбирать единолично. В таком случае народ обладал бы лишь правом представления, а право назначения принадлежало бы тем, кого представили. И как следствие такой системы, первые собравшиеся депутаты (то есть депутаты, избранные первыми) смогли бы сформировать представительство из самих себя, вместо того чтобы оставаться национальным представительством; они могли бы делегировать свои полномочия доверенным лицам по собственному выбору, вместо того чтобы оставаться доверенными лицами народа и исполнять его мандат».

20 ноября того же 1794 года я анонимно напечатал в газете «Республиканец» статью о клубах. Перед этим я дал понять Тальену, Мерлену и другим участникам переворота 9 термидора, что необходимо, наконец, атаковать демократическую организацию, если мы хотим, чтобы сформировалось мудрое и умеренное правительство. Эта работа была переделана, расширена и переиздана в VII году (1799) в виде брошюры в то время, когда клубы угрожали новым вторжением и когда Бонапарт вернулся из Египта.

Основная причина, по которой я работал, не называя своего имени, и позволял своим сочинениям выходить под именами Тальена и Мерлена, заключалась в опасении, что демагоги обвинят в роялизме всё, что будет объявлено моим трудом. Кроме того, мои принципы приобретали больший вес, когда их произносили с трибуны или подписывали члены Конвента, доказавшие свой республиканизм.

Я снова появился в печати только в январе 1795 года. В номере «Парижского журнала» (*Le Journal de Paris*) от 28-го числа того месяца содержится первая статья, опубликованная там с 28 мая 1793 года. Целью этой статьи была защита адвоката по фамилии Лакруа, который только что опубликовал весьма безобидное сочинение, хотя оно и было наполнено выпадами против жестокостей Конвента. Я отстаивал свободу прессы. С конца января 1795 года не проходило и дня, чтобы я не поместил статью, а иногда две или три, в «Парижском журнале». К концу февраля я взял за правило каждые три или четыре дня публиковать заметку об «общественном духе», который тогда возрождался вместе со свободой, следить за его развитием и часто противопоставлять его мнениям или деяниям Конвента. В то время общественное мнение не имело в себе ничего туманного или неопределенного; оно проявляло себя недвусмысленными признаками. Тогда деньги не имели на него влияния; оно само влияло на то, что заменяло деньги. Оно определяло судьбу ассигната; растущая или падающая стоимость ассигната определяла участь наемного работника и получателя ренты. Общественное мнение можно было оценить с предельной точностью, подобно котировкам на бирже. Я стал его рупором; я говорил от его имени, и зачастую с его авторитетом, обращаясь к Конвенту, и могу льстить себя надеждой, что часто вносил в его работу ясность.

23 мая 1795 года, в эпоху ужасного потрясения демократии (4 прериаля III года), Коммуна восстала; она боялась пасть под ударами депутатов Жиронды. Именно в это время произошло убийство депутата Феро. Конвент приказал Национальной гвардии Парижа маршировать на предместье Сент-Антуан. Я шел под ружьем в авангарде, и по этой причине не смог на следующий день дать отчет в «Парижском журнале» о событиях того дня. Один журналист отметил мое молчание, приписав его слабости или недоброжелательности по отношению к Конвенту. Я ответил делом, и возразить на это было нечего.

11 августа 1795 года я опубликовал брошюру из 28 страниц под заглавием: «О французских беженцах и эмигрантах». Я не хотел, чтобы путали изгнанников, которых режим Террора

заставил искать убежище за пределами родины, с теми, кто покинул её, чтобы вернуться победителями с оружием в руках. В течение августа того же года Конвент принял злополучный декрет, согласно которому две трети его членов сохраняли свои полномочия и входили в следующий состав законодательного органа. Они должны были покидать его лишь постепенно, в течение двух лет, по результатам двух последовательных выборов, которые должны были состояться в эти два года. Декрет предписывал провести консультации с первичными собраниями по поводу этого продления полномочий.

8, 9 и 10 сентября я писал статьи против этого продления. Моё мнение, в котором я предсказал всё, что действительно произошло в результате этой пагубной меры, навлекло на меня нападки и клевету со стороны проправительственных писателей Конвента. Двое самых главных и грозных из них, Пультье и Луве, обрушились на меня с гневными обличениями. Пультье в одной газете назвал меня «имперским Рёдерером». Петиция, составленная под влиянием его статьи, была зачитана перед собранием; в ней моё имя упоминали в ряду бесчестных роялистов, желавших убить Конвент. Луве в газете «Часовой» (La Sentinelle) особенно обвинял меня в том, что 10 августа я вёл себя недостаточно безупречно по отношению к патриотам.

Меня скорее поздравляли, чем хвалили за мою сдержанность (согласно «Брюссельской биографии») в моих сочинениях времён Конвента. Напротив, я был чрезвычайно энергичен и в нападках на закон, и в защите от своих противников. Я заставил Луве горько пожалеть о его несправедливой агрессии, при этом проигнорировав Пультье, который так и не явился на бой. В своём ответе Луве от 14 сентября 1795 года я заявляю, что препроводил короля в Законодательное собрание как в его единственное убежище; что я хотел спасти короля; и что то, что я сделал тогда, я сделал бы снова. Затем я перечислил всё, что совершил с 27 июля 1794 года (9 термидора): *«Я поклялся несчастью, - говорил я, - пока оно давало мне свои суровые уроки в убежище, скрывавшем меня целый год; я поклялся ему не поддаваться никаким чувствам личного интереса, удовольствия, страдания или надежды, даже не думать об отдыхе, пока у меня есть возможность сделать хоть что-то, чтобы вернуть родине и семье жертв тирании, которая угнетала и меня самого, и так далее... Я сдержал эту клятву. Едва я смог вздохнуть свободно, как начал писать в защиту семидесяти трёх заключённых. Затем я писал в защиту двадцати двух человек, объявленных вне закона. Следом - в защиту отцов и матерей эмигрантов;²⁶ затем - в защиту детей осуждённых; и, наконец, я писал в пользу беженцев».*

Конвент добился (или сделал вид), что большинство голосов в опрошенных первичных собраниях высказалось за продление полномочий. Париж не поверил в это большинство. Значительная часть жителей города, не имея иного повода, кроме негодования против декрета о продлении, а также против явно ложного подсчёта голосов нации, восстала против Конвента. К ним примкнула горстка роялистов, которые надеялись использовать общее недовольство в своих целях. Тогда Конвент во второй раз выставил вооружённую силу против мятежа. Бонапарт командовал артиллерией, и 13 вандемьера (5 октября 1795 года) пушечные залпы у церкви Святого Роха отбросили отряд восставших, наступавших на Конвент.

Я перестал писать, как сделал это и 31 мая 1793 года, отличаясь в этом от многих других, которые более или менее быстро и ловко переходили на сторону победителя. Я вновь взялся за перо лишь в начале марта 1796 года, снова взывая к свободе прессы. (Статьи от 1, 2 и 5 марта.)

Тем временем 26 мая декрет Конвента постановил создать **Национальный институт**. Я был избран членом класса моральных и политических наук и прикреплён к секции политической экономии. Ещё в апреле того же года жюри народного просвещения (состоявшее из господ Гара, Женгене и других) избрало меня профессором этой же науки в центральных школах; и с момента этого назначения - в отчете Института об успехах наук и искусств с 1789 по 1815 год мои диссертации упоминаются в ряду достойных трудов по экономике. Составителем

²⁶ См. в «Journal de Paris» от 22 апреля мою статью о брошюре Морелле в защиту отцов и матерей эмигрантов, которых проект декрета предлагал лишить наследственной доли их детей. Эта статья послужила поводом для доноса на меня в Комитет общественного спасения.

этого отчета был Шенье, который входил в партию Конвента и имел несчастье выступать апологетом Марата. Мы враждовали из-за моих статей в «Journal de Paris». В одной из своих сатир Шенье заявил, что в моем «Journal d'économie» я - «экономист лишь в воображении»; а о Лезе он писал:

Педант-юнца,

Что лишь Рёдереру под стать, а мнит себя Руссо.

По этому поводу я опубликовал в «Journal d'économie publique» письмо к Адриену Лезе. В нем я анализировал право Шенье осуществлять цензуру, а также то, какой должна быть сатира в периоды общественных бедствий, и какой она должна быть в республиканском государстве. В связи с этим я высказал Шенье вещи, которые не забываются, поскольку они были серьезны и справедливы. Несмотря на эту затаенную обиду, Шенье счел себя обязанным (или был вынужден) поместить меня в своем отчете в число людей, успешно писавших по различным вопросам общественной экономики. Таким образом, ему пришлось расточать похвалы коллеге, которого до этого он объявил «экономистом лишь в воображении». Вот фрагмент его статьи:

«Различные разделы общественной экономики развивались на протяжении последних двадцати лет и по сей день совершенствуются талантливыми людьми. Здесь мы считаем своим долгом отметить труды господина Лебрена, ныне верховного казначея Империи. Они сделали честь Учредительному собранию и Совету старейшин; они относятся к сфере высшего управления и, скорее, представляют собой общие принципы искусства письма, нежели специальные формы ораторского искусства... Некоторые доклады господина Барбе-Марбуа в Совете старейшин принадлежат к тому же разряду и того же порядка. Господин Рёдерер и господин Дюпон де Немур, к которым мы еще вернемся как к ораторам, также должны занять место в этой главе: один - за несколько удачных диссертаций, включенных в его «Journal d'économie»; другой - за сочинение о банке... в котором было бы несправедливо не признать познаний и полезного просвещенного ума друга Тюрго, а также тех искусных оборотов, которые повсюду и в серьезных темах присущи лишь выдающимся писателям».

Шенье забыл в главе об ораторском искусстве то обещание, которое он дал в главе о морали, политике и законодательстве. Дюпон де Немур и я шли одним путем в государственных делах, и были настроены по отношению к Шенье одинаково. После нескольких вынужденных похвал неприязнь Шенье к нам умело приняла вид забвения в тех вопросах, где мы могли бы заслужить признание в иных отношениях. Шенье напал на меня в нескольких своих сатирах. В «Послании о клевете» он писал: *Я Рёдерера чёл и в тишине зевал.*

Несколько других поэтов, которых я даже не знаю, отомстили за меня: Ферлю, Жозеф Депаз, Баур-Лормиан. Последний писал:

...И если я решу покинуть Геликон,

Я вижу Рёдерера: дух его силен,

Ошибок наших дней он видит корень злой,

Законов и манер оплот он неземной,

И попирает он ничтожных тех пигмеев,

Что кровью жаждут смыть, набросившись, злодеев.

БАУР-ЛОРМИАН, «Мое первое слово» (сатира).

В течение остатка этого года и части 1796-го я ограничивался литературными трудами, которые читал в Институте. Институт распорядился напечатать все мои доклады, а также несколько моих отчетов. Несмотря на настояния секретаря, я постоянно откладывал передачу этих мемуаров - возможно, я хотел пересмотреть их перед публикацией, и в итоге эта цель была упущена из виду.

Новое Национальное собрание, или Законодательный корпус, было сформировано 28 октября 1795 года. 1796 год был весьма славным для французских армий. В марте 1796 года я начал писать для «Journal de Paris». Этой газеты было недостаточно для активности моего ума; её малый объем не позволял давать те развернутые пояснения, в поддержке которых мои принципы иногда нуждались, и я предпринял издание выходящего раз в десять дней журнала

объемом в четыре печатных листа под названием «Журнал общественной экономии, морали и политики» (*Journal d'économie publique, de morale et de politique*).

25 июля 1796 года я опубликовал в «Парижском журнале» статью под заголовком: «Перемена в отношениях правительства с его генералами». В этой статье содержалось предсказание о том предприятии, которое поставило Бонапарта во главе правительства по его возвращении из Италии. По этому поводу он сказал мне после обеда у господина де Талейрана: «Я с удовольствием читаю ваши статьи в "Парижском журнале"; но лучшее, что вы написали, - это статья против меня». 26 ноября я написал резкую статью против знаменитого закона от 3 брюмера, об отмене которого тогда шел вопрос. Этот закон отстранял дворян и родственников эмигрантов от всех государственных должностей до заключения мира.

9 января 1797 года я прямо обвинил в жестокости указ от 6-го числа - дня праздника Волхвов, - который в связи с этим самым праздником устанавливал ежегодное торжество в память о 21 января 1793 года. Я спрашивал, может ли смертный приговор, каким бы заслуженным его ни считали, быть поводом для праздника; не является ли несчастьем для общества сама необходимость выносить такие приговоры.

«Если наказание это тягость, - писал я, - то почему вы празднуете эту тягость как удовольствие?». «Разве не прискорбно, - добавлял я, - что когда речь идет о казни короля, страх прослыть роялистом мешает самым честным сердцам вызывать к приличию и человечности?». Однако праздник все же состоялся; но что это было за празднование! «Парижский журнал» о нем даже не упомянул. «Монитор» (*Le Moniteur*) заговорил о нем лишь для того, чтобы устыдить Директорию и законодательные советы. Официальные лица отправились в собор Нотр-Дам. Весь квартал был заполнен войсками, собранными из опасения мятежа. Власти сочли за счастье, что все обошлось лишь испугом. Весь праздник свелся к принесению клятвы ненависти к королевской власти, которую присутствующие выслушали в глубочайшем молчании. Баррас, президент Директории, произнес длинную речь, в которой говорил о злоупотреблениях старого порядка, о феодализме, об абсолютной монархии и так далее. О Людовике XVI он не сказал ни слова. Также он разразился тирадами против анархии. Он закончил пожеланием, совершенно противоположным цели торжества: «Забудем, - сказал он, - все крайности, всю вражду; пришел миг заглушить все мучительные воспоминания; пусть годы, канувшие в вечную ночь, навсегда увлекут их за собой и прочее». Казалось, что ежегодный праздник в честь смерти Людовика XVI был утвержден лишь для того, чтобы дать повод торжественно призвать к забвению этого события.

Речь Барраса была напечатана в «Мониторе» как произнесенная не на годовщине смерти Людовика XVI, как того требовал указ, а на церемонии принесения клятвы ненависти к монархии и анархии. Вот что я писал обо всем этом в «Журнале общественной экономии» от 20 плювиоза: «Потребовалось лишь одно абсурдное слово партийного деятеля, чтобы учредить праздник, которого все устыдились или содрогнулись, едва он был назначен; праздник, от которого при самом его проведении отреклись даже те, кто на нем председательствовал, и которому они были вынуждены приписать иную цель, нежели та, что была у него на самом деле».

Как бы то ни было, этот праздник отмечался ежегодно, но всегда так же холодно или, вернее, так же позорно, как и в 1797 году, вплоть до консульства Бонапарта, который отменил его на основании моего доклада как председателя секции внутренних дел в Государственном совете. 1797 год был крайне беспокойным из-за раздоров между Директорией и законодательным корпусом. В то время этот корпус после избрания второй трети депутатов освободился от второй трети бывших членов Конвента. Я стал меньше писать в «Парижский журнал», но очень подробно обсуждал в своем «Журнале общественной экономии» все акты Директории и обоих законодательных советов, их взаимные претензии и угрозы. Директория и бывшие члены Конвента в обоих советах обвиняли новичков в планах контрреволюции, и в заговоре с агентами претендента на престол. Те, в свою очередь, обвиняли «конвенционалов» в том, что они все еще говорят на языке времен Робеспьера, постоянно выдвигают предлоги, которыми оправдывался Террор, и готовят нации такие же насилия.

Ежедневно скрупулезно анализируя действия, речи и труды обеих партий, я убедился, что большинство членов Советов придерживалось конституционных взглядов, но испытывало ужас перед духом Конвента. Они непреклонно сопротивлялись принудительному слиянию, которое им навязывали. Правительство же и «конвенционалы» своим недоверием, неотделимым от их положения, резкостью своих жалоб и дерзостью криков вызывали двойственный эффект: они действительно превращали людей в роялистов и - что было еще более повсеместным - вынуждали конституционалистов принимать роялистов в свои ряды в качестве союзников. Одним словом, я приписывал раздоры, от которых тогда страдала Франция, раздражению обеих сторон. Это стало неизбежным результатом закона о продлении полномочий, против которого я так благоразумно боролся, а также несходства умов, которым было труднее выслушать и понять друг друга, чем договориться, если бы они только смогли выслушать. Я был глубоко убежден, что именно «конвенционалы» увеличили небольшое число роялистов своей враждебностью, угрозами и криками против всех умеренных людей и сторонников справедливости. Если бы они не заставляли так сильно опасаться возвращения якобинцев, роялисты не осмелились бы даже надеяться.

Я не скрывал от себя, что роялизм со злорадством наблюдал за этими разногласиями и выжидал момента, чтобы извлечь из них выгоду, но я доверял большинству Советов. Я проложил себе путь между системой «конвенционалов» и системой эмиграции, между революционным террором и контрреволюцией. Я вел войну и с теми, и с другими, и продолжал вызывать ненависть у сторонников обеих фракций. Споры обострялись с каждым днем; в июле всё предвещало скорый взрыв. В то время некоторые журналисты, которые ежедневно искали мое мнение в «Парижском журнале» (Journal de Paris) и находили его там всё реже (поскольку я писал в своей декадной газете, что позволяло мне давать необходимые пояснения в столь серьезных обстоятельствах), упрекали меня в том, что они называли моим молчанием. 5 августа 1797 года (18 термидора V года) я опубликовал в «Парижском журнале» следующую статью:

«Некоторые журналисты оказывают мне честь, упрекая меня за молчание относительно текущих дел (тех самых, что привели к 18 фруктидора), за мое поведение по отношению к правительству и Советам и так далее. Я уже высказывал свое мнение о Директории и Совете Пятисот в "Экономическом журнале" столь же ясно и четко, как любой из них, там, где формат издания позволяет приводить доводы, без которых даже самое простое мнение может быть опасным. У меня не было, как поговаривают, намерения щадить партии, ибо, в отличие от моих критиков, каждый из которых примкнул к одной из них, я осмеливаюсь порицать их ВСЕ. Я упрекаю вожжаков Совета Пятисот в том, что они вызвали тревогу по поводу своих намерений; а большинство Директории - в том, что она вызвала тревогу по поводу своих средств. Я взываю к авторитету Совета Старейшин, чтобы примирить их или сдержать, сохранить законы, находящиеся под угрозой, и уберечь человечество от нового кровопролития. Мои руки и глаза воздеты к богам-хранителям, и я проклинаю всех, кто взывает к богу сражений».

Тем не менее, через несколько дней накал страстей продолжал расти, и, поскольку законодательный корпус, казалось, имел все основания опасаться за свою безопасность, я счел своим долгом поместить в «Парижском журнале» статью, в которой в пугающей для Директории манере указал на средства защиты, которые законодательная власть могла бы ей противопоставить в случае насилия и решительных действий. Эти средства заключались в том, чтобы объявить Директорию вне закона. Ничего более определенного и быть не могло. Эта статья датирована 24 термидора V года (11 августа 1797 года) и вышла под заглавием: «О законодательном корпусе и Директории».

Наконец разразилась катастрофа. Директория вводит войска в Париж, и под командованием Ожеро они окружают Тюильри и Совет Пятисот. Инспекторы обоих советов арестованы, как и несколько депутатов и двое директоров; всё это по приказу трех других членов Директории. 54 депутата подлежат депортации, а также 54 писателя или журналиста, список которых представил министр полиции Соттен. Эти события известны под названием «день 18 фруктидора» (4 сентября 1797 года).

Здесь уместно вернуться к утверждению в одной биографии, авторы которой приписывают моей привычной сдержанности в письме ту свободу, которой мне позволили пользоваться в дни проскрипций. Однако министр полиции включил меня в список 54 писателей или журналистов, подлежащих депортации; но господин де Талейран, тогдашний министр иностранных дел, попросил у директоров сделать для меня исключение и добился его. Именно по этому случаю министр полиции сказал Директории с некой дикой веселостью: *«Граждане директора, вы испортили мой список; мне не хватает людей. Мне нужно 54 человека; дополните мой список!»*. Это примечательное замечание вызвало сожаление о судьбе журналистов, и вместо меня депортировали Перле, чтобы закрыть счет Соттена. Именно этот ужасно комичный штрих я вставил в свою комедию «Церковный староста из Сент-Эсташ».

После 18 фруктидора я не хотел ни продолжать писать на политические темы, ни уходить с арены, не высказав своего мнения об этом дне. Я хотел показать, к чему это может привести, и указать способы исправить брешь, пробитую в конституции. Я напечатал в своем «Журнале общественной экономики» довольно пространный отрывок под заголовком «О том, какую пользу можно извлечь из событий 18 фруктидора для общественного дела». *«Нельзя предвидеть, - говорил я в преамбуле, - последствия того удара, который получила конституция. Средство, использованное для её спасения, может стать причиной её гибели; оно открыло безграничное поле для частных амбиций»*. Смысл этих слов был несомненен: Директория, прибегнув к военной силе против установленных властей, сама рисковала подвергнуться тому же во всех своих начинаниях.

То, что я предвидел после 18 фруктидора, случилось 18 брюмера, поскольку сам день 18 фруктидора реализовал то, что я предсказывал, когда обсуждал статьи конституции, касающиеся исполнительной власти и продления полномочий двух третей членов Конвента в законодательном собрании. Я предлагал увеличить законную силу Директории, чтобы избавить её от необходимости прибегать к покушениям, когда она увидит угрозу своей безопасности. Вскоре после 18 фруктидора, в течение сентября 1797 года, я удалился в Вогезские горы, на стекольный завод в Сен-Кирине, акционером которого я был. Там я работал только над литературными статьями, которые отправлял в «Парижский журнал». Я вернулся в столицу в марте 1798 года и продолжал писать исключительно литературные статьи.

В 1799 году у меня возникла ссора с Дюлором по поводу Монтескье, похвальную речь которому мне поручили произнести в Лицее. Общественные дела шли всё хуже. Нарастала анархия, вновь возникали клубы. Возобновились жестокие законы. Упав духом, я отводил взор от текущих дел, как и все добрые граждане, пребывая в горестном убеждении, что Франция находится в моменте нового потрясения, и что даже самые мудрые советы бессильны его предотвратить. Однако 16 марта 1799 года (27 флореаля VII года) назначение Сийеса на пост директора возродило надежды. Я почувствовал это острее, чем кто-либо другой, так как всегда питал восхищение и дружбу к Сийесу. В июне я вернулся к политическим дискуссиям, начав, по своему обыкновению, с обоснования прав прессы и требования её полной свободы. 12 сентября 1799 года я опроверг сочинение Ривароля «Против современной философии», которое тогда было в большой моде. 9 вандемьера (1 октября 1799 года) я написал в «Парижском журнале» статью против резолюции от 2 вандемьера VIII года (13 сентября 1799 года), которая объявляла предателями родины, и карала смертью тех, кто предложит или примет условия мира, направленные на изменение конституции или нарушение территориальной целостности. Я находил абсурдным издание законов против событий, которые не зависят от нас; когда запрещают уступить деревню ради спасения департамента или колонию ради спасения королевства.

4 ноября 1799 года я написал резкую статью против основ принудительного займа, за который тогда проголосовало законодательное собрание. 16 октября Бонапарт высадился во Фрежюсе. 9 ноября (18 брюмера) он был призван к управлению. Здесь для Франции начался новый порядок вещей, а для меня - новое положение и иная жизнь. 25 декабря 1799 года я вошел в правительство в качестве председателя внутренней секции Государственного совета.

Принципы, которые я исповедовал в то время, когда был лишь наблюдателем за администрацией и критиковал её ход и основы, - буду ли я им следовать, буду ли я уважать администрацию, когда сам стану ее частью? Стану ли я подавлять свободу слова и печати, независимость мнений - то, чего я так страстно желал и чем так активно пользовался против правительства, - когда сам окажусь во власти и стану мишенью для критики оппозиции? Стану ли я похож на тех людей, чье ремесло - быть в оппозиции лишь для того, чтобы свергнуть тех, кто занимает посты, захватить их полномочия и пользоваться теми же злоупотреблениями? Ответ дадут сами факты.

По прибытии Бонапарт поселился в небольшом доме, который он купил на улице Шантерен; раньше этот дом принадлежал Жюли Тальма. Туда стекались все выдающиеся деятели правительства, законодательной власти, армии, Института и все почетные граждане, пользовавшиеся личным авторитетом. Все были настолько измотаны попытками властей навести порядок, настолько подавлены их бессилием и напуганы возвращением демагогии; в сердцах людей с возвращением героя расцвело столько радости, восхищения и любви, что все, даже не задумываясь о том, чтобы официально наделить его высшей властью, уже признавали её за ним. Он обладал ею на самом деле; он еще не осуществлял её, но никто другой не решался действовать без его согласия. Пока он находился во Франции, каждый считал невозможным осуществление тех ужасных предзнаменований, которые всех мучили. Казалось, неодолимая преграда остановила пугающий разлив, или, вернее, поток остановился сам собой, не ударившись о плотины, словно застыв от того самого страха, который до этого момента предшествовал ему повсюду.

Тем временем дальновидные умы и государственные деятели желали, чтобы нация обеспечила себе долгосрочные результаты и закрепила революцию, которая произошла по самому факту приезда Бонапарта. Единственный здравомыслящий человек в Директории, который, однако, находился в меньшинстве, - Сийес, наиболее уважаемые члены обеих палат законодательного собрания, самые прославленные генералы армии, в частности Моро, Макдональд и Бернонвиль, согласились между собой, даже не сговариваясь заранее, заявить Бонапарту, что нация ждет от него изменения той бедственной ситуации, в которой она оказалась. Каждый просил его взять власть, каждый предлагал передать ему свою собственную или умолял его распорядиться ею, чтобы подчинить то небольшое число людей, которые захотели бы защищать свои позиции. Все наперебой предлагали способы, которые считали лучшими, чтобы он без промедления, без риска и без препятствий пришел к верховному руководству делами. Главные члены высших органов власти государства - Директории и законодательного корпуса - доверяли ему свою судьбу и судьбу нации, отдавая её ему на хранение.

В то время как некое подобие всеобщей отставки, с энтузиазмом поданной в пользу Бонапарта всеми главами государства, казалось, наделяло его властью, вся нация праздновала революцию, которую считала уже свершившейся с того момента, как увидела того, кто должен был её совершить. Если быть узурпатором - значит принять власть из рук тех, кто от неё отказывается, под одобрительные возгласы тех, кто был избран народом и кому народ подчинялся, то Бонапарт, несомненно, им был. Но если для того, чтобы заслуживать имя узурпатора, власть должна быть захвачена силой или получена хитростью, то называть так Бонапарта можно лишь по причине нелепого злоупотребления словами. Факт остается фактом: 18 брюмера положило конец Директории и двум советам только по воле большинства их членов и тех двух директоров, которые единственные обладали репутацией талантливых и честных людей.

Когда в 1796 году я предчувствовал его приход к власти и объявлял об этом Директории (*Journal de Paris* от 23 июля 1796 года - 7 термидора IV года), я не предполагал, что это произойдет именно так. Я говорил: *«Опасайтесь генералов, именно они теперь наполняют государственную казну вместо того, чтобы получать жалованье от правительства, - они сами и их армии»*. Я видел в Бонапарте влияние славы и гения, а также самого могущественного из помощников - деньги. Разумеется, по прибытии из Египта у него не было этого подспорья. Во время своего первого визита в Директорию он был одет в невзрачную серую шинель и поселился в доме с тремя окнами по фасаду, не имея в распоряжении и ста луидоров.

Спустя несколько дней после его приезда Бонапарт через Ренью де Сен-Жан д'Анжели пригласил меня к себе. Я присоединил свои добрые пожелания к общему порыву. Когда Бонапарт спросил меня, не вижу ли я трудностей в том, чтобы это дело свершилось, я ответил: *«То, что я считаю трудным, даже невозможным, так это то, чтобы оно не произошло, ведь оно уже выполнено на три четверти»*. В течение двенадцати или пятнадцати дней, предшествовавших 18 брюмера, я каждый вечер бывал у Бонапарта и вел с ним частные беседы. Бонапарт не хотел ничего предпринимать без Сийеса; сам Сийес не мог склонить на свою сторону Бонапарта. Талейран и я стали теми двумя посредниками, которые вели переговоры между Сийесом и Бонапартом. Все взгляды были прикованы то к одному, то к другому. Нам была запрещена любая частная встреча и любой тайный разговор. Талейран был посредником, который направлял предпринимаемые шаги и линию поведения. Мне было поручено обсудить политические условия соглашения: я передавал друг другу их взгляды на конституцию, которую предстояло установить, и на положение, которое каждый из них должен был занять; иными словами, тактика операции была делом Талейрана, а результат был моим.

Талейран дважды возил меня вечером в Люксембургский дворец, где Сийес жил на правах директора. Он оставлял меня в своей карете, а сам входил к Сийесу. Когда он убеждался, что у Сийеса нет и не ожидается никого постороннего (поскольку, чтобы не вызывать подозрений у своих четверых коллег, живших в том же Малом Люксембургском дворце, он никогда не запирает свою дверь), меня извещали в карете, где я оставался, и тогда происходила встреча между Сийесом, Талейраном и мной. В последние дни я открыто ходил к Сийесу и даже обедал там.

Когда условия между Бонапартом и Сийесом были окончательно утверждены, Бонапарт договорился с главными членами двух советов Законодательного корпуса; этот день стал знаменитым 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 года). В шесть часов утра собралась комиссия инспекторов Совета старейшин; в семь часов Совет, созванный на чрезвычайное заседание, собрался; он приказал перевести Законодательный корпус в Сен-Клу, поручил Бонапарту исполнение декрета и передал ему верховное командование 17-й военной дивизией, гвардией Законодательного корпуса и национальной гвардией, а также вызвал его для принесения присяги.

Я изложил рассказ об этом дне в «Парижском журнале» от 19 брюмера VIII года.²⁷ Сам Бонапарт описал историю этих событий в трудах, продиктованных им на острове Святой Елены.

²⁷ Примечание издателя). Вот этот рассказ:

События 18 брюмера.

В шесть часов утра собралась комиссия инспекторов Совета старейшин. В семь часов Совет, созванный на чрезвычайное заседание, собрался в месте своих заседаний. Корне (от департамента Луаре) от имени комиссии инспекторов делает следующий доклад:

«Доверие, которым вы наделили вашу комиссию инспекторов, наложило на нее обязанность следить за вашей личной безопасностью, с которой связано спасение общественного дела: ибо, как только представители нации оказываются под угрозой; как только они лишаются в своих обсуждениях абсолютной независимости; как только с их действий исчезает этот отпечаток, - больше нет представительного органа, больше нет свободы, больше нет республики.

Самые тревожные симптомы проявляются уже несколько дней; поступают самые зловещие донесения. Если меры не будут приняты, если Совет старейшин не укроет отечество и свободу от величайших опасностей, которые им всё еще угрожают, пожар станет всеобщим, и мы не сможем остановить его губительные последствия; он поглотит и друзей, и врагов; отечество будет уничтожено, а те, кто спасется от огня, будут проливать горькие, но бесполезные слезы над пеплом, который останется после него. Вы еще можете, представители народа, предотвратить это: достаточно одного мгновения; но если вы его упустите, республика перестанет существовать, а ее скелет окажется в руках стервятников, которые будут оспаривать друг у друга ее обглоданные останки.

Ваша комиссия инспекторов знает, что заговорщики толпами стекаются в Париж; что те, кто уже находится здесь, ждут только сигнала, чтобы поднять кинжалы на представителей нации, на членов высших органов власти республики. Поэтому она сочла своим долгом созвать вас на чрезвычайное заседание, чтобы проинформировать вас; она сочла своим долгом вынести на обсуждение Совета вопрос о том, какое

решение следует принять в этих серьезных обстоятельствах. Совет старейшин держит в своих руках средства спасения отечества и свободы: было бы неуважением к его глубокой мудрости думать, что он не воспользуется ими со своим привычным мужеством и энергией».

Вслед за этим докладом Совет старейшин издал следующий декрет:

«Совет старейшин на основании статей 102, 103 и 104 Конституции постановляет следующее:

Статья 1-я. Законодательный корпус переносится в коммуны Сен-Клу. Оба совета будут заседать в двух крыльях дворца.

Статья 2-я. Они прибудут туда завтра, 19 брюмера в полдень. Любое продолжение выполнения функций и любые обсуждения в другом месте и до этого времени запрещены.

Статья 3. Генералу Бонапарту поручается исполнение настоящего декрета; он примет все меры, необходимые для обеспечения безопасности национального представительства.

Командующий 17-й военной дивизией, гвардия законодательного корпуса, оседлая национальная гвардия, линейные войска, находящиеся в коммуне Парижа и в конституционном округе, а также на всей территории 17-й дивизии, немедленно переходят под его командование, и они обязаны признать его в этом качестве. Все граждане окажут ему помощь по первому требованию.

Статья 4. Генерал Бонапарт вызывается в совет для получения копии настоящего декрета и принесения присяги; он будет согласовывать свои действия с комиссиями инспекторов обоих советов.

Статья 5. Настоящий декрет будет немедленно передан с гонцом в Совет пятисот и Исполнительную Директорию; он будет напечатан, расклеен, обнародован и разослан во все коммуны республики специальными курьерами.

Совет старейшин, кроме того, постановляет направить следующее обращение к французам:

«Совет старейшин - французам.

Французы,

Совет старейшин пользуется правом, предоставленным ему статьей 102 конституции, чтобы изменить место пребывания законодательного корпуса. Он использует это право, чтобы обуздать группировки, стремящиеся подчинить себе национальное представительство, и чтобы вернуть вам внутренний мир; он использует это право, чтобы принести внешний мир, которого требуют ваши долгие жертвы и человечество. Общее спасение, общее процветание - такова цель этой конституционной меры. Она будет достигнута. И вы, жители Парижа, будьте спокойны; вскоре в ваше присутствие вернется законодательный корпус. Французы, результаты этого дня вскоре покажут, способен ли законодательный корпус подготовить ваше счастье и сможет ли он это сделать. Да здравствует народ, благодаря которому и в котором существует республика!».

В десять часов двери заграждения открываются; воцаряется глубокая тишина. Появляется Бонапарт в генеральской форме в сопровождении штаба. Президент обращается к нему со следующими словами: «Генерал, вам сейчас зачитают декрет, который только что вынес Совет старейшин». Секретарь читает декрет. **Бонапарт отвечает:** *«Республика гнила; вы это признали: вы вынесли декрет, который её спасет... При поддержке всех друзей свободы, тех, кто её основал, тех, кто её защищал, я её поддерживаю! Генерал Бертье, генерал Лефевр и храбрецы, находящиеся под моим началом, разделяют мои чувства. Вы приняли закон, обещающий общественное спасение; наши руки сумеют его исполнить. Мы хотим республику, основанную на свободе, равенстве, собственности, на священных принципах национального представительства. Мы её получим, я клянусь!»*. Все воины, сопровождающие его, восклицают: «Клянемся!». Крики «Да здравствует республика!» эхом разносятся по всему залу.

Президент: «Генерал, Совет старейшин принимает вашу присягу; он рассчитывает на неё. Тот, кто никогда не был неверен победе, всегда будет верен своим обязательствам». «Завтра в полдень в Сен-Клу Лебрен представит отчет о финансах». Заседание закрыто под крики «Да здравствует республика!».

Вскоре после этого Сийес верхом на лошади отправился в комиссию Совета старейшин, где к нему присоединился Роже-Дюко. Генерал Бонапарт собирался провести смотр гвардии законодательного корпуса; в одном из залов совета к нему подошел Бото, секретарь Барраса. После нескольких слов, которые не были услышаны присутствующими, генерал Бонапарт громко сказал Бото следующее:

«Республика была бы скоро уничтожена, если бы совет не принял решительных и волевых мер. В каком состоянии я оставил Францию, и в каком состоянии я её нахожу! Я оставил вам мир, а нахожу войну; я оставил вам завоевания, а враг теснит наши границы; я оставил наши арсеналы полными, и я не нашел в них ни одного ружья: ваши пушки были проданы; воровство возведено в систему, государственные ресурсы исчерпаны: прибегали к притеснительным средствам, отвергнутым правосудием и здравым смыслом; солдата бросили без защиты. Где они, эти храбрецы, сто тысяч моих товарищей, которых я оставил увенчанными лаврами? Что с ними стало?.. Такое положение вещей не может продолжаться. Не пройдет

Однако некоторые детали, сохранившиеся в моей памяти - и кое-какие из них касаются меня лично - возможно, не лишены интереса. Прежде всего было условлено, что сразу после того, как Старейшины распорядятся о переносе заседаний и Бонапарт принесет присягу, в Париже должны были быть расклеены обращения к парижанам, объясняющие им суть происходящего. Я подготовил одно из них; его черновик, исправленный под диктовку Бонапарта его секретарем Бурьенном, находится среди моих бумаг.²⁸ Именно мой сын Антуан, ныне барон Рёдерер, занимался этим делом и отдал набранную форму в типографию, куда господин Реньо

и трех лет, как оно приведет нас к деспотизму. Но мы хотим республику, республику, основанную на началах равенства, морали, гражданской свободы и политической терпимости. При хорошей администрации все люди забудут о фракциях, членами которых их заставили быть, чтобы позволить им стать французами. Наконец, пора вернуть защитникам отечества то доверие, на которое они имеют столько прав. Послушай мы некоторых смутьянов, вскоре мы все стали бы врагами республики, - мы, кто укрепил её своим трудом и мужеством. Нам не нужно более патриотичных людей, чем те храбрецы, что были изувечены на службе республики».

Бонапарт провел смотр гвардии законодательного корпуса, а затем линейных войск по мере того, как они собирались по его приказу в Тюильри.

Раздались единодушные возгласы одобрения. В полдень собрался Совет пятисот. Он был весьма многочисленным. Один из секретарей начал чтение протокола; председатель прервал его и произнес следующие слова: «Сегодня утром я получил послание, которое по самой своей природе прерывает всякое обсуждение. Поэтому я вынужден немедленно прекратить чтение протокола».

Оглашаются послание, декрет и прокламация. Председатель вновь берет слово и говорит, держа в руках текст закона: «Статья 103 Конституции гласит, что в тот самый день, когда Совет старейшин издает декрет о переносе места заседаний, ни один из двух советов не может продолжать обсуждение, не становясь виновным в посягательстве на безопасность республики. Вследствие этого я закрываю заседание и переносу совет на завтра на полдень в левое крыло Сен-Клудского замка». Все депутаты встают, размахивая своими головными уборами и крича: «Да здравствует республика!» Они расходятся.

Пока эти события происходили в советах, Гоёе, Мулен и Баррас собрались в Директории. Они вызвали генерала Лефевра, чтобы тот отчитался перед ними о происходящем в Париже. Лефевр велел им ответить, что он больше не является командующим 17-й дивизией и что им следует обращаться к генералу Бонапарту.

Бонапарта в этот день сопровождали все генералы, находившиеся в Париже: Моро, Макдональд, Бернонвиль и другие. Он назначил генерала Лефевра своим первым адъютантом; Мармон командует артиллерией, Моран - комендант города. После смотра линейных войск Ожеро представился Бонапарту и сказал: «Как же так, генерал, вы затеяли что-то важное для отечества и не позвали Ожеро!». Бонапарт трижды обнял его. Деятельность муниципалитетов приостановлена. На мгновение возникла мысль отдать приказ о закрытии городских застав, но это распоряжение было тут же отменено. Департамент выпустил прокламацию, как и генерал Бонапарт.

В половине первого Баррас подал в отставку. Он мотивировал её соображениями гражданского долга и чести. Он уезжает в Гросбуа с почетным караулом из ста человек. Гоёе также подал в отставку; Мулен, вероятно, подаст её до конца дня. Утром, когда было объявлено, что Бонапарт, вызванный Советом старейшин, собрал у себя свой штаб, Гоёе хотел отдать приказ батальону оцепить дом генерала. В тот же момент гвардия Директории покидала Люксембургский дворец, чтобы присоединиться к Сийесу и Роже-Дюко. Роже-Дюко проявил в этот день преданность, достойную того гражданского поведения, которого он придерживался во время своего членства в Директории: это была единственная опора, которую Сийес нашел в своих взглядах и в своем мужестве. «Происходящая революция может привести к смещению некоторых чиновников; она не должна беспокоить ни одного честного гражданина». РЕДЕРЕР.

²⁸ (Примечание издателя). Вот текст этой афиши:

ОНИ ДОШЛИ ДО ТОГО, ЧТО КОНСТИТУЦИИ БОЛЬШЕ НЕТ.

Конституция предполагала независимость законодательного корпуса, но 18 фрюктидора его разгромили. С того дня законодательной власти более не существует. В советах не хватает более ста членов, которые до вынесения приговора имели право там заседать, зато там находятся более ста самозванцев, не имевших права туда входить.

22 флореаля VI года Директория испугалась восстания угнетенных и захотела иметь в советах побольше своих ставленников; она имела жестокую смелость противопоставить народ народу на первичных собраниях и произвести раскол: тогда она произвела поименный отбор людей, которых предпочитала, добавив, однако, небольшое число честных людей, чтобы скрыть одиозность остального выбора.

де Сен-Жан-д'Анжели устроил его за шесть дней до 18 брюмера в качестве ученика. Типограф, действовавший в сговоре с Ренью, выделил ему наборные кассы в небольшой комнатке, отделенной от мастерской, якобы для пробы сил. Я также был автором диалога, напечатанного и распространенного утром того же дня, - спора между членом Совета старейшин и членом Совета пятисот. Этот текст был также опубликован в «Парижском журнале», в номере от 19 брюмера VIII года.²⁹

Таким образом, террор, порождающий коррупцию, и коррупция, обеспечивающая террор, привели к тому, что советы до 30 прериаля были лишь машинами для штамповки декретов в руках большинства Директории. Конституция требовала независимости её членов в советах и в Директории; а 18 и 19 фрюктидора трое членов Директории депортировали двоих других и 104 члена советов, либо депортировав их, либо изгнав сто других. Так одна власть трепетала перед другой, и каждый магистрат дрожал перед своим коллегой; всё выглядело так, будто существовали лишь те, кто заставлял трепетать. Как отличить две власти между угнетателями, которые командуют, и угнетенными, которые подчиняются?

Наступило 30 прериаля: угнетенная партия восстала; коррумпированная партия - о правосудие! - сама восстала против своих вождей; они изгнали директора, которого годом ранее сами же назначили по приказу Директории, и, угрожая остальным наказанием за их тиранию, потребовали их отставки. Таким образом, исполнительная власть унижена, уничтожена, и конституция опрокинута с противоположной стороны. Чтобы осуществлять эту поруганную власть, поспешили выбрать троих людей, неспособных её восстановить; и исполнительная власть, окончательно низвергнутая, погрузилась всем своим весом в грязь.

Судебная власть претерпела два подобных изменения, и граждане поочередно судились то присяжными и судьями господствующей фракции. Эта власть, которая должна быть гарантом гражданской свободы, оказалась подлой и превратилась, как и остальные, в орудие угнетения, став еще одним бедствием.

Именно это падение государственной власти, это угнетение и дурной состав законодательного корпуса, угнетение и дурной состав исполнительной власти стали причиной всех обрушившихся на нас бед: возобновление войны, неудачи VI года, наши наборы в армию и реквизиции, уничтожение наших войск, разорение наших финансов, грабительские налоги, принудительный заем, закон о заложниках, гражданская война и так далее. Неужели мы не дойдем до конца этого бедствия? Разве Сийес и Бонапарт не смогут восстановить эту деградировавшую конституцию? Разве они не сумеют сохранить ее для будущего, исправив то, что в ней не так, и добавив то, чего не хватает? Если правда, что уже два года приходится выходить за ее рамки, чтобы защищать свободу, то верно и то, что она не могла ее гарантировать; и в таком случае она сама требовала бы перемен. Ибо что это за конституция, которая не может защитить свободу?

О вы, объединившие в себе силу, мудрость и гений! Посмотрите: перед вами, при этой разоренной конституции, лежат широкие и прочные основания конституции свободной и подлинно республиканской - двойной принцип национального суверенитета и представительного правления. Уберите штукатурку, скрывающую этот великий принцип, и возведите на его месте здание, которое он должен нести. Народ просит убежища после стольких бед; вам надлежит открыть его для него.

²⁹ (Примечание издателя). Вот этот Диалог: 9 ноября 1799 года.

ПРИМЕЧАНИЕ. — Эта беседа состоялась на террасе Совета старейшин 18 брюмера, через некоторое время после принятия декрета о переносе законодательного корпуса в Сен-Клу и наделении генерала Бонапарта командованием войсками, включая те, что находятся в конституционном округе.

Член Совета пятисот. — Ах! Друг мой, что же вы наделали и что собираетесь делать? Объясните мне, как Совет старейшин мог решиться на столь произвольный акт?

Старейшина. — Произвольный! Друг мой, неужели вы так называете декрет о переносе? В чем же ваша ошибка? Откройте конституцию; статья 101 гласит: «Совет старейшин может изменять место пребывания законодательного корпуса; в этом случае он указывает новое место и время, когда оба совета обязаны туда прибыть; его декрет по этому вопросу является окончательным и обжалованию не подлежит».

Член Совета пятисот. — Но нужны же основания; нужно, чтобы в месте нынешнего пребывания возникли беспорядки или смута; а в Париже всё спокойно.

Старейшина. — Конституция не ставит никаких условий для реализации права на перенос, которое она предоставляет старейшинам. Она доверяет им это право без оговорок. Поскольку они - старейшины, предполагается, что они мудры; а также потому, что, будучи лишены права предлагать законы, они не могут извлекать из своих функций иной чести, кроме укрепления благих законов, и считаются их хранителями. Не нужно, говорите вы, чтобы в месте заседаний были беспорядки: достаточно того, чтобы их можно было предвидеть. И в нынешних обстоятельствах кто осмелится сказать, что беспорядки невозможны? Достаточно и того, чтобы Совет желал большей безопасности для свободного выражения мнений, способных взволновать врагов общественной свободы; ибо с того момента, как законодательный корпус не считает

себя свободным, он действительно таковым не является. Следовательно, именно внутреннему убеждению старейшин конституция доверила это решение, и у них нет иного мотива для переноса, кроме осознания его необходимости или пользы.

Член Совета пятисот. — Как же в это вмешивается вооруженная сила, и на каком основании старейшины могут ею распоряжаться?

Старейшина. — В силу конституции и здравого смысла. Когда конституция дает старейшинам абсолютное право на перенос, она косвенно предоставляет им и средства, необходимые для исполнения их воли. Кто хочет цели, тот хочет и средств. Было бы абсурдом, если бы она наделила старейшин правом спастись от существующего или предвиденного угнетения и при этом отказала бы им в силе, необходимой для осуществления этого права. Статьи 103 и 104 конституции объявляют виновными в посягательстве на безопасность республики тех членов Совета пятисот, которые стали бы сопротивляться переносу, и тех директоров, которые затянули бы наложение печати, отправку или обнародование декрета. Конституция, таким образом, предвидит противодействие Совета пятисот и правительства переносу; она предполагает, что они могут стать соучастниками той фракции, из-за которой старейшины опасаются угнетения. Было бы равносильно предоставлению старейшинам призрачной возможности оставить законную силу в распоряжении тех, от чьего влияния они считают нужным освободиться.

Член Совета пятисот. — Но разве вы не боитесь встревожить парижан и вызвать их недовольство, удалив от них власти? Не создаете ли вы сами беспорядок той самой предосторожностью, которую принимаете, чтобы его избежать?»

Старейшина: — Успокойтесь; этот перенос продлится от силы несколько дней и не может затянуться. Выбор Сен-Клу уже сам по себе доказывает, что долгое отсутствие не планируется, так как Сен-Клу физически не сможет вместить вместе с властями, которые там соберутся, всё необходимое для их работы. Если бы планировалось обосноваться вне Парижа, выбрали бы Версаль; и из одного того факта, что об этом нет и речи, публика должна сделать вывод, что Париж всегда останется резиденцией власти. А где еще может быть лучше для общественной безопасности?

Член Совета пятисот: — Но в конце концов, что же задумано? Что это за великий предмет обсуждения, ради которого Старейшины считают необходимым такой избыток свободы мнений?

Старейшина: — Тебя беспокоит то, что задумано, мой друг? Разве тебя не тревожило то, что ничего не делалось? Неужели можно сделать что-то хуже, чем не делать ничего? Разве ты не видишь, что мы приближались к моменту, когда уже ничего нельзя было бы предпринять - ни ради мира, ни ради войны; когда нельзя было бы восстановить ни свободу, ни собственность, ни республиканскую конституцию, гарантирующую и то, и другое? Ты не знаешь разве, что грабительский закон о принудительном займе разорил наши финансы; что закон о заложниках принес нам гражданскую войну; что часть доходов VIII года поглощена реквизициями; что всякий государственный кредит исчерпан; что все частные расходы, составляющие доход рабочего, приостановлены; что все мастерские закрыты; что мы вступаем в зиму, когда бедняку грозит отсутствие работы, а богачу - отсутствие безопасности... что только мир может положить конец стольким бедам; что восстановление нашей конституции, подорванной со всех сторон, одно может предотвратить ее крах и одновременно умерить колебания иностранных держав в переговорах с Францией, а также опасения граждан, всегда находящихся между тиранией и анархией? Вот, мой друг, те великие интересы, о которых нам надлежит позаботиться с быстротой и зрелостью, вдали от беспокойных, мятежных и злонамеренных умов, вдали от фракций, которые содержит среди нас заграница. Вот почему необходимо на несколько мгновений поместить Париж и власть, между интригой и просвещением, между порочностью и патриотизмом, на расстояние нескольких лье, что затрудняет коммуникации.

Член Совета пятисот: — Между нами говоря, мой друг, я опасаюсь вмешательства Бонапарта в это дело. Слава, авторитет, заслуженное доверие солдат к его талантам и, прежде всего, сами эти таланты могут дать ему опаснейшее влияние на судьбы республики. Зависит ли жребий свободы от него одного?.. А если он окажется Цезарем или Кромвелем?..

Старейшина: — Цезарь, Кромвель!.. Дурные роли, избитые роли, недостойные здравомыслящего человека, даже если бы они не были недостойны порядочного человека. Именно так сам Бонапарт объяснялся в нескольких случаях. Это было бы кощунственной мыслью, говорил он в другой раз, - посягать на предстательное правление в век просвещения и свободы. Только безумец, добавлял он еще, мог бы из чистого озорства обречь республику на поражение в споре с монархиями Европы, после того как поддерживал ее с такой славой и в таких опасностях.

На самом деле, мой друг, каково здесь поведение Бонапарта? Его призывают, и он является; ему советуют, и он повинует: вот и всё. Знаешь ли ты, что сделало бы его крайне подозрительным в моих глазах и дало бы повод для справедливых опасений за свободу? Это не было бы поспешное согласие и даже не восторженное предложение своих услуг и своей славы; это был бы отказ.

Бонапарт рекомендовал Талейрану и мне прибыть в семь часов утра в здание департамента, которое тогда находилось на площади Вандом и ждать там его сообщений. Мы с Талейраном договорились встретиться на час раньше у него дома. В шесть часов утра я отправился туда со своим сыном Антуаном, который, как уже упоминалось, был посвящен в тайну. Талейран одевался; он сказал мне: *«У нас в распоряжении еще целый час; нужно составить для Барраса проект почетной отставки, условия которой облегчили бы переговоры с ним. Вам стоило бы этим заняться. Брюи возьмет на себя заботу о том, чтобы он его подписал»*. Тогда я продиктовал своему сыну текст отставки Барраса; Талейран нашел его весьма подходящим и положил к себе в карман. Мы отправились в его карете в здание департамента. Там мы застали сильное оживление. Все шептались друг с другом. Реаль, бывший тогда генеральным прокурором-синдиком и другом Барраса, был убежден - как и сам Баррас, - что Бонапарт действует с ним заодно, и радовался грядущему результату.

Около девяти часов в большой зале объявили о прибытии адъютанта генерала Бонапарта. Реаль бросился ему навстречу, но адъютант, не вступая с ним в разговор, громко спросил: «Гражданина Рёдерера!». У адъютанта был приказ сообщить мне, что необходимо без промедления расклеить воззвания к гражданам и войскам. Я послал сына предупредить типографа. Талейран, со своей стороны, черкнул записку адмиралу Брюи, который тут же явился. Талейран передал ему прошение об отставке Барраса. Брюи отвез его в Люксембургский дворец около одиннадцати часов. Около полудня Бото, секретарь Барраса, принес подписанный документ Бонапарту. Баррас не стал чинить никаких препятствий, хотя и ожидалось совсем иное. Он подписал тот самый черновик, написанный рукой молодого Рёдерера.³⁰ Вот этот документ:

«Вступив на поприще общественных дел исключительно из любви к свободе, я согласился разделить высшую государственную власть лишь для того, чтобы поддержать страну в минуты опасности своей преданностью, дабы уберечь от нападок врагов патриотов, посвятивших себя общему делу, и обеспечить защитникам родины то особое внимание, которое никто не мог бы оказывать им столь неизменно, как гражданин, давно бывший свидетелем их героических добродетелей и всегда принимавший близко к сердцу их нужды.

Слава, сопровождающая возвращение прославленного воина, которому я имел счастье открыть путь к почестям; яркие свидетельства доверия, оказанные ему Законодательным корпусом, и декрет народного представительства убедили меня в том, что, на каком бы посту ни

Если бы Совет старейшин, задумав планы всеобщего умиротворения, восстановления внутреннего порядка, восстановления свободы и собственности, укрепления республиканской конституции, потребовал от Бонапарта лишь обеспечить перенос законодательного корпуса, а Бонапарт отказался бы содействовать общественному спасению... Вот тогда, как мне кажется, каждый прозорливый человек должен был бы сказать о нем: «Глубокие амбиции продиктовали этот отказ: в республике всё гибнет, наступает анархия, распад неизбежен, и Бонапарт это видит. Он попросит командование армией и получит его. Однажды, во главе шестидесяти или восьмидесяти тысяч человек, когда беспорядок во Франции достигнет предела, когда каждый гражданин, вместо того чтобы искать жертву или бесполезное убежище, обратит к нему свои взоры, протянет к нему руки, попросит у него правосудия и постоянной защиты, - тогда ему не нужно будет соглашаться на власть, он окажется ею облечен; это будет сама монархия (и какая монархия!), которая придет предложить себя ему; это будет нация, униженная несчастьем, которая предложит ему железный скипетр».

Вот, мой друг, что означал бы для меня отказ Бонапарта, и именно этот отказ я бы назвал кинжалом Брута. Но свобода, республика, родина радуются простому и чистосердечному принятию власти, данной мудрыми патриотами, составляющими Совет старейшин, воину без армии, без фракции, который возвращается из Африки, и за него лишь воля народа, выраженная со всей силой. И кто же в большей степени заслуживал бы их доверия, чем воин, столько раз доказывавший свою любовь к свободе, столь блистательно отомстивший за нее стольким врагам, воин, которому она обязана своим спасением и который, в свою очередь, обязан ей величайшей славой, какой только могут достичь доблесть и гений?

³⁰ Этот черновик был испещрен исправлениями и пометками. Я находился в Сен-Клу в зале заседаний, рядом с председателем, когда он зачитывал его вслух. Он постоянно запинаясь. Я едва не бросился к нему на помощь, чтобы выручить его из неловкого положения. В последний момент я сдержал этот порыв из скромности; моя опрометчивость могла бы привести к странному инциденту!

потребовала его впрямь общественная польза, опасности, грозившие свободе, преодолены, а интересы армии защищены.

Я с радостью возвращаюсь в ряды простых граждан, счастливый тем, что после стольких бурь передаю в целостности и сохранности - еще более уважаемыми, чем когда-либо, - судьбы Республики, хранителем которых я был.

Приветствую и свидетельствую свое уважение. Подпись: БАППАС.»

На следующий день Законодательный корпус отправился в Сен-Клу. У Бонапарта не было запасных лошадей. Брюи одолжил ему вороного испанского коня замечательной красоты, который, впрочем, сильно артачился во дворе Сен-Клу. Талейран и я вместе поехали в Сен-Клу, в заранее условленное место. Нас сопровождали молодой Рёдерер и Деренот. Последний всю дорогу тяжело вздыхал о том, что должно было произойти. Он называл это свержением конституции и упрямо делал вид, будто она еще незыблема, хотя ему и указывали на бреши, зияющие в ней со всех сторон. Мы с Талейраном поначалу пытались звать к его разуму, затем принялись подшучивать, а под конец нам изрядно надоели его бесконечные причитания. В месте встречи в Сен-Клу мы обнаружили еще несколько человек из окружения Бонапарта, в частности господина Колло, бывшего поставщика Итальянской армии. Он сказал по секрету Талейрану и мне: *«Бонапарт мне ничего не говорил, но на всякий случай я положил в карманы пятьсот лудиров; это может пригодиться»*. Мы видели, как приехали Дюкенуа, а затем Монтрон; господин де Талейран тут же поручил им разузнать обо всем, что происходило, наблюдать, видеть своими глазами всё, что можно было увидеть, и возвращаться, чтобы сообщать нам новости. Эта предосторожность оказалась весьма полезной. Дюкенуа около часов прибежал известить нас, что Совет пятисот только что объявил Бонапарта вне закона. Г-н де Талейран сказал ему: *«Скорее идите и сообщите об этом Бонапарту»*. Дюкенуа и Монтрон поспешили в замок. Бонапарт находился с Сийесом и Роже-Дюко в салоне на втором этаже, расположенном над входными воротами замка. Монтрон рассказал нам, что при этих словах Дюкенуа: *«Генерал, они только что объявили вас вне закона»*, Бонапарт побледнел. Сийес, обратившись к нему с твердостью, сказал: *«Раз они ставят вас вне закона, значит, они сами вне закона»*. Тогда Бонапарт выхватил шпагу и крикнул в окно: *«К оружию!»* и так далее. Газеты того времени описали всё остальное.

После завершения дела г-н де Талейран сказал мне: *«Надо пообедать»*. Он отвез нас с сыном к мадам Симон, у которой неподалеку от Сен-Клу было симпатичное загородное имение, которое с тех пор занимал сам г-н де Талейран. Монтрон тоже приехал туда. Нас ждал готовый обед. Весь вечер Монтрон не переставал повторять: *«Генерал Бонапарт, это не дело!»*, имея в виду то впечатление, которое, казалось, произвели на него слова «вне закона». Я привожу этот анекдот, потому что он делает честь Сийесу и нисколько не умаляет Бонапарта: храбрый перед лицом артиллерийской батареи, он мог на мгновение смутиться от слов, призывающих к мятежу и гражданской войне; однако он был лишь удивлен, но не сломлен. Мало быть просто храбрым, нужно быть закаленным; гражданские опасности заставляли отступать людей, которые смело шли под огонь.

19 брюмера Бонапарт обосновался в Люксембургском дворце. На втором или третьем заседании консулов Бонапарт через письмо своего секретаря пригласил нас: г-на де Талейрана, г-на де Вольнея и меня. Мы отправились в Люксембург. Мы с г-ном де Талейраном были крайне удивлены, встретив там г-на де Вольнея, о котором и не подозревали, что он хоть как-то участвовал в событиях 18 брюмера. Несомненно, он содействовал им ценными советами, так как в Париже он не имел никакого влияния, а по характеру своему обычно был мало склонен к переговорам. Нас пригласили войти, и первый консул выразил нам троекратную благодарность от имени отечества за то рвение, с которым мы способствовали успеху новой революции. Его речь, которой он хотел придать торжественности, давалась ему с трудом: до тех пор он владел лишь лаконичностью команд; язык же, на котором он заговорил впервые, требовал большего размаха, и Бонапарту с трудом давались звучные слова, изящные обороты

и ритмичные фразы, которые он пытался подобрать. Мы по-настоящему страдали в этот момент удовлетворения нашего самолюбия, дарованного нам в награду за содействие великому делу предшествующих дней.

Несколько дней спустя я узнал от г-на де Талейрана, что Бонапарт намерен сделать мне подарок. Он получил от города Милана золотую шкатулку, на которой была эмалью изображена федерация Милана. Говорили, что это настоящий шедевр: он приказал украсить её бриллиантами на сумму 20 000 франков. Эта мысль меня уязвила. Я считал, что в этом было либо высокомерие государя, считающего, что он оказывает честь подданному своими подарками, либо тщеславие частного лица, желающего освободиться от всякой благодарности с помощью вознаграждения и обойтись со мной так, как обходятся со своим адвокатом или врачом. Я попросил Реньо де Сен-Жан-д'Анжели, который виделся с Бонапартом, и еще чаще Бурьенна, его секретаря; я также попросил г-на де Талейрана избавить меня от этого подарка: я не знаю, кому из них двоих я обязан тем, что больше об этом не слышал.³¹

Сразу после формирования временного консульства комиссия Пятисот и Старейшин принялась за работу над конституцией; она гораздо чаще общалась с Сийесом, чем с Бонапартом, и, так сказать, перенимала язык первого. Эта работа продолжалась около месяца. Пока обсуждались первые положения этой хартии, Бонапарт просил разъяснить ему взгляды и мнения Сийеса относительно состава и полномочий исполнительной власти. Я был посредником, который передавал идеи Сийеса Бонапарту и приносил Сийесу согласие или возражения Бонапарта. Я провел восемь или десять дней в Люксембургском дворце, переходя из одного павильона в другой, чтобы всё прояснить и окончательно согласовать между двумя консулами. Я ежедневно обедал с консулом. Главный пункт разногласий между Сийесом и ним состоял в том, должен ли глава государства быть исключительно великим выборщиком министров, генералов и послов, не имея при этом никаких собственных полномочий, кроме как следить за тем, чтобы каждый исполнял свой долг; или же глава государства, будучи самым прославленным воином Европы, будет обязан в случае войны доверить судьбу страны менее способным генералам и, разбитый параличом, будет вынужден наблюдать, как для спасения родины достаточно было бы одного его движения. Сийес быстро осознал, что у него нет аргументов, которые можно было бы противопоставить возражению, рожденному из чувства превосходства, которое было оправдано столькими блестящими успехами. Это значило бы спорить не против

³¹ (Примечание издателя). Вот письмо, которое мой отец написал г-ну Реньо де Сен-Жан-д'Анжели по этому случаю:

«Ноябрь 1799 г. — Брюмер VIII года. РЕНЬО ДЕ СЕН-ЖАН-Д'АНЖЕЛИ.

(Бонапарт сказал ему, что намерен подарить мне эмалированную шкатулку с изображением федерации Милана и украсить её бриллиантами на сумму 20 000 франков). «Мой дорогой друг, эта мысль о подарке меня беспокоит. Я не вполне уверен, что вы отговорили его от этого замысла; но если вы этого еще не сделали, я достаточно полагаюсь на вашу дружбу и надеюсь, что вы сделаете это как можно скорее, я вас об этом прошу. Если бы Бонапарт, как я говорил вам вчера, подарил мне прекрасную книгу ценой в шесть франков, например, "Походы Бонапарта в Италию", с такими словами, написанными его рукой: "Даровано Бонапартом Рёдереру в знак уважения или дружбы", он сделал бы мне..." «...весьма ошутимое удовольствие. Но откуда могла возникнуть мысль о подарке, да еще столь ценном? Я ничего не сделал для Бонапарта. Я лишь хотел, чтобы он сделал что-то для нас - я говорю "для нас всех", французов и патриотов. Именно нам надлежит делать ему подарки, и мой дубовый венок уже готов. Бонапарт еще позавчера не знал, что я был членом Учредительного собрания; я также ясно вижу по одному его недавнему проекту, что он знает меня недолго. Он не видел во мне никого, кроме заговорщика; почему же он хочет обращаться со мной как с придворным? Друг мой, я возвращаюсь и запираюсь в своем кабинете. Есть вещи, которые заставили бы меня бежать на край Сибири. Если наш вчерашний разговор не до конца прогнал мысль о подарке, которой я был польщен, мой друг, окажите мне услугу и скажите генералу, что вы обдумали его проект и считаете, что ему больше не стоит этим заниматься. Добрый день. — Обедаю у С. (Сийеса).

P. S. Прошу вас держать в секрете от всех и этот проект, и наше с вами общение по этому поводу».

мнения, а против самой личности. В результате полномочия великого выборщика и полномочия консулов были урегулированы.³²

Здесь, однако, уместно будет упомянуть одно обстоятельство и весьма примечательную последовательность моих переговоров. Бонапарт, выслушав из моих уст то, что Сийес намеревался сделать со своим «верховным выборщиком», и признавшись мне, что не понимает роли, связанной с этим титулом, добавил: *«Мне кажется, что пока Сийес, Роже-Дюко и я осуществляем исполнительную власть под именем консулов, никакой другой власти в правительстве не требуется»*. Я передал эти слова Сийесу, который ответил мне: *«Генерал Бонапарт, будучи одновременно консулом и генералом, находясь между Роже-Дюко и мной, лишь слегка толкнет нас локтем, чтобы отбросить в сторону»*. Я пересказал эти слова Бонапарту; он был тронут или притворился тронутым, сказав, что ему больно видеть, как Сийес сомневается в его преданности. Он поручил мне передать ему заверения в любви, признательности и глубоком уважении. Сийес принял их с удовлетворением, доверившись их искренности, но он не обманывался насчет опасности того честолюбия, которое должно было увлечь Бонапарта. Чтобы завершить это обсуждение, он поручил мне объявить Бонапарту, что он и Роже-Дюко вовсе не желают быть консулами и ограничивают свои притязания вхождением в сенат.

Бонапарт тогда занялся подбором консулов; он советовался с несколькими людьми. Ему требовались правовед и администратор; его выбор остановился на Камбасересе, его советнике, для места, предназначенного правоведу. Господин де Талейран сказал мне однажды вечером, что думает обо мне как о кандидате на место администратора; но несколько дней спустя Бонапарт сказал мне: *«Гражданин Рёдерер, у вас есть враги»*. Я понимал, что это значит, и ответил: *«Я их вполне заслужил и горжусь этим»*. Спустя мгновение он спросил меня: *«Кого бы я мог назначить на место второго консула?»*. И, не дожидаясь ответа, он как бы наугад бросил

³² Вот как мой отец описывал это происшествие на странице VI предисловия, которое он добавил ко второму изданию «Обращения конституционалиста к конституционалистам», чтобы вызвать немедленные размышления, применяя их к схожей ситуации, в которую хотели поставить короля Луи-Филиппа; ему она могла подойти не больше, чем генералу Бонапарту:

«...Когда Бонапарт, прибыв из Египта, был встречен с беспримерным восторгом и все угнетенные, которыми была полна Франция, бросились в его объятия, он поручил мне обсудить с Сийесом конституцию, которую можно было бы дать нации, чтобы вывести её из того плачевного состояния, в котором она находилась. Я доложил ему, что Сийес считал необходимым учредить в государстве постоянно действующее охранительное жюри. Это жюри должно было выносить решения по заговорам против государства, назначать членов двух палат, которые выбирались бы из постоянных списков именитых граждан; оно должно было также осуществлять своего рода ostracism в отношении лиц, чье слишком большое влияние республика сочла бы тревожным; оно могло призвать их в свой состав, где они были бы поглощены, подобно всем остальным членам корпуса, что делало бы их навсегда неспособными выполнять какие-либо функции в государстве. Во главе этого конституционного жюри Сийес ставил президента под титулом "великий выборщик"; его особая прерогатива должна была заключаться в назначении по своему выбору трех консулов, в которых и была бы сосредоточена вся полнота исполнительной власти: министров, послов и генералов, - сам же он не мог исполнять ни одну из этих функций. Сийес предназначал это место великого выборщика Бонапарту и поручил мне убедить его принять его. Бонапарту потребовалось много времени, чтобы понять эту систему; наконец он осознал суть дела.

— «Правильно ли я вас понимаю? - спросил он меня. - Мне предлагают место, где я буду назначать всех, кто будет что-то делать, а сам не смогу вмешиваться ни во что!».

— «Именно так, - ответил я. - но это значит, что вместо того, чтобы искать, изучать и узнавать всех людей, способных служить государству на высоких должностях, вы будете...»

— «Как! - возразил Бонапарт. - Вы хотите, чтобы враги Франции принесли войну в самое её сердце; чтобы генералы, менее способные или менее удачливые, чем я, или пользующиеся меньшим доверием солдат, позволяли разбивать себя, а я, заставивший трепетать всю Европу, оставался бы, сложив руки в кресле верховного выборщика! Это невозможно: конституция сказала бы сто раз, что нация этого не потерпит. Я не стал бы играть столь нелепую роль. Я хочу быть консулом вместе с Сийесом и Роже-Дюко, или никем. Лучше быть никем, чем быть смешным!». и т. д. и т. д. Если я правильно понимаю нынешнюю доктрину, король Франции был бы именно тем верховным выборщиком, чью роль Наполеон не пожелал на себя брать...».

три или четыре имени, среди которых было имя Лебрена. Я ухватился за него и выразил горячее желание, чтобы его кандидатура была принята.

Никакая личная связь не объединяла меня с господином Лебреном; я не видел его со времен Учредительного собрания, где у меня никогда не было с ним частных бесед, но я всегда любил и восхищался его талантом; спокойствие его ума и достоинство всей его личности внушили мне к нему глубокое уважение. Бонапарт много расспрашивал меня о его связях, принципах, характере и трудах. В то время я записал этот разговор и привожу его здесь. Результатом стало то, что я должен был пойти и спросить его, примет ли он пост второго консула. Я выполнил это поручение и передал его согласие Бонапарту. Моя беседа с господином Лебреном также записана в том же отчете. Я не буду здесь ничего повторять.³³

³³ (Примечание редактора.) Вот этот разговор. Тот, который мой отец вел с господином Лебреном, не является его частью, как он полагал, и мне не удалось его найти:

19 фримера VIII года — 10 декабря 1799 года.

Я был в полдень и завтракал у Бонапарта; его адъютант подошел ко мне со стороны хозяина и пригласил в салон к завтраку. Там был Вольней; он был единственным посторонним. Бонапарт сказал: «Откуда, черт возьми, взяли, что я хочу выслать в Египет женщин, арестованных в Пале-Рояле?».

Мадам Бонапарт. — Министр полиции сказал мне на днях, что они предназначались для Египта.

Бонапарт. — Это ужас! Черт возьми, людей так не высылают!

Моль. — Вчера Реньо также говорил мне, что министр полиции принял решение об их высылке.

Бонапарт. — И откуда он это взял? Гражданин Рёдерер, я прошу вас написать хорошую статью, чтобы опровергнуть этот слух; но статью очень подробную, а не в две строчки, чтобы вопрос был закрыт... Можно желать обуздать распущенность Пале-Рояля, но людей так не высылают.

Вольней. — Эти девицы хотят, чтобы их освободили...

Бонапарт. — Гражданин Вольней (смеясь), ну это уж слишком! Вы рассуждаете как старый холостяк! Нашим войскам не нужны парижские девки в Египте; у них они есть, и красавицы; у них есть черкешенки. (Мамелюк, стоявший за креслом мадам Бонапарт, улыбается.)

Бонапарт (глядя на него). — А! Он меня прекрасно понимает. Не так ли, ты меня понимаешь? (Смеясь.) Не так ли, в Египте есть девушки? (Он оборачивается к своему мамелюку, который ему прислуживает): Не так ли, Рустан, в Египте есть прекрасные султанши? (Он встает из-за стола, повторяет свой вопрос Рустану и добавляет): Ты ведь уже понимаешь по-французски, не так ли? (Он сидел, обхватив голову руками и покачивая ею два или три раза вправо и влево.)

Мы перешли в салон - генерал, Вольней и я. Генерал прохаживается и внезапно обращается к Вольнею и ко мне: «Существовала ли орлеанская фракция?». Вольней пускается в длинный рассказ об одном визите, который нанесла ему мадам де Жанлис, и о другом, который он совершил вместе с ней к герцогу Орлеанскому или Шартрскому, и в итоге заключает, что не верит в существование этой фракции. Рассказ был долгим, касался исключительно личности Вольнея, и не имел никакого отношения к вопросу. Ни Бонапарт, ни я его не слушали.

— А вы? - спросил он меня. - Верите ли вы в существование фракции?

Я. — Мирабо всегда говорил мне, что герцогу оказали слишком много чести 5 и 6 октября 1789 года. Я был лично связан с герцогом Орлеанским и полагаю, что если и существовал орлеанский заговор, то герцог в нем не участвовал. Я был председателем якобинцев, когда он был их секретарем; он сотни раз приносил мне письма на подпись, как Бурьенн - генералу Бонапарту...

Бонапарт. — И всё это не открыло вам глаза?

Я. — Это доказывает лишь его глупость. Кроме того, он назначил меня посредником в деле о разводе с мадам Орлеанской, и он никогда не говорил мне ни слова и не давал повода услышать что-либо, что позволило бы заподозрить заговор.

Поговорили о Деменье, о брошюре Лакретеля и о статье молодого Лакретеля в газете «Публицист».

Бонапарт. — Не хотите ли спуститься ко мне в салон? Я сейчас к вам присоединюсь.

(Внизу, в салоне, примыкающем к кабинету генерала. Только генерал и я.)

Бонапарт. — Ну что ж, гражданин Рёдерер, что говорят люди?

Я. — Надеются, желают.

Бонапарт. — Составили ли вы списки для новых назначений?

Я. — У меня нет должностей, которые я мог бы предложить.

Бонапарт. — Но их нужно создать.

Я. — Я никого не знаю.

Бонапарт. — А вы сами кем хотите быть?

(Я ничего не отвечаю.)

Бонапарт. — Не стоит думать об Охранительном сенате, это могила; он хорош для людей, которые завершили свою карьеру или хотят писать книги. Лапласу там будет очень хорошо, он сможет работать. Бертолле тоже там будет к месту; генерал Атри... Руссо из Совета старейшин... Но у вас есть таланты и энергия... Вам больше подходит Государственный совет; его функции важны. Вы разбираетесь в государственных делах, вы хорошо говорите, вы способны противостоять Трибунату.

Я. — Генерал, я сделаю всё возможное для успеха дела.

Бонапарт. — Я не знаю, кого назначить консулом вместе с Камбасересом. Знаете ли вы Лебрена и Крете?

Я. — Очень хорошо. Лебрен - человек выдающихся достоинств; Крете - человек третьего ряда.

Бонапарт. — Кем был Лебрен?

Я. — Сначала он был секретарем канцлера Мопу, затем видным литератором, членом Учредительного собрания, председателем администрации Версаля и членом Законодательного собрания.

Бонапарт. — Что он сделал как литератор?

Я. — Перевел Гомера и Тассо.

Бонапарт. — Какая у него репутация?

Я. — Его считали роялистом, но он всегда пользовался доверием патриотов и всегда его оправдывал. Если он однажды примкнул к партии, он остается ей верен; нет человека более надежного.

Бонапарт. — Разве он не орлеанист?

Я. — Совсем нет!

Бонапарт. — Сторонник Лафайета?

Я. — Еще в меньшей степени.

Бонапарт. — Не увлечен ли он идеей конституционного жюри?

Я. — Он увлечен лишь одним: сильным правительством, какое у нас скоро будет. Он не принадлежал ни Людовику XVI, ни герцогу Орлеанскому, он был предан монархии, а у нас теперь есть нечто равноценное.

Бонапарт. — Мне нужно быть совершенно спокойным насчет моих двух консулов, чтобы я не мог заподозрить у них никаких планов по возвращению короля.

Я. — Если бы у них были такие планы, они бы оказались в ложном положении по отношению к вам, а вы всегда оставались бы в прежнем положении по отношению к ним.

Бонапарт. — Верите ли вы, что общественное мнение может вернуться к монархии?

Я. — Я думаю, что сейчас нам стоит опасаться этого меньше, чем когда-либо; она может вернуться к нам только через вас.

Бонапарт. — Каким образом?

Я. — Да. Если бы нас постигло несчастье и это дело не удалось; если бы через полгода нация возмутилась, а вы, в свою очередь, рассердились на нее, тогда ваша молодость, которая не умеет ни отступить, ни торговаться, могла бы заставить вас принять решение и договориться с Людовиком XVIII. Это единственный возможный случай; следовательно, нам нечего бояться.

Бонапарт. — Что подумает Камбасерес о выборе Лебрена? Сам-то он немного склонялся к «террористам».

Я. — Он скажет вам, что Лебрен склонялся к роялистам, и это причина для вас взять его: он уравнивает в общественном мнении те упреки, которые могут возникнуть. Что же касается Камбасереса, то бывший член Учредительного собрания будет отлично смотреться рядом с бывшим членом Конвента. К тому же, это старик, которого людям будет приятно видеть подле вас. Вы молоды, и всем понравится присутствие рассудительного и умеренного коллеги. В этом выборе всё удачно... Меня задевает лишь то, что я сам не догадался, насколько Лебрен вам подходит. Я даже ревную к тому, кто подал вам эту идею.

Бонапарт. — Никто мне её не подавал, она мне приснилась сегодня ночью; до этого я думал о Кантеле.

Я. — Кантеле не опозорил бы ваше консульство, но Лебрен значительно поднимет его престиж.

Бонапарт. — А он человек уживчивый?

Я. — Исключительно. Это человек скромный, мирный, мягкий и по натуре своей склонный к компромиссам.

Бонапарт. — У него нет репутации патриота.

Я. — Отбросьте эти предрассудки; на вашем месте я бы только посмеялся над подобными репутациями.

Бонапарт. — Мне нужны только умные люди, об остальном я позабочусь сам.

Я. — Я заметил, что некоторое время назад Сийес проявлял к Лебрену большую симпатию.

Бонапарт. — Ах, Сийес, Сийес! Что мне до его мнений?.. Неужели вы не верите, что он хотел свергнуть меня, когда предлагал эти свои идеи о «поглощении» и пересмотре полномочий, которые он хотел передать конституционному жюри?

Я. — Проект его жюри-пересмотрщика издан уже четыре года назад. Он сам изложил мне его ещё в первый день, когда представлял вам свой план (5 брюмера). Генерал, для славы вашего консульства и надежности вашего пути во всей республике нет человека, равного Лебрену. Вы будете заниматься преимущественно внешней политикой; Камбасерес и он станут вашими главными министрами: один - по делам юстиции и

Когда консулы были назначены втайне (*in petto*), Бонапарт спросил меня однажды утром: «Кого мне назначить министром внутренних дел?». Мои друзья говорили мне в то время, что я совершил большую ошибку, не ответив: «Меня». Но я был совершенно прав: нужно было обладать очень уж скудным рассудком, чтобы не понимать, что человек, для которого он нашел слишком много врагов, чтобы назначить его консулом, имеет их слишком много и для министерского поста. Мне бы очень не хватило такта, если бы я не почувствовал: советовать со мной по поводу выбора министра - значит самым вежливым образом давать понять, чтобы я сам на это место не рассчитывал. На самом деле Бонапарт говорил лишь о временном министерстве, который должен был исполнять обязанности только до создания конституционного министерства. Этот пост был обещан Люсьену, о чем я не знал и чего даже не предвидел - настолько я был далек от мысли, что этот молодой человек способен наладить управление страной после периода анархии. На вопрос Бонапарта я как раз пытался подобрать имена для предложения, когда он сам назвал Лапласа. Я ответил: «Это доставит удовольствие Институту». Лаплас был назначен, но лишь на несколько дней. Около 16 декабря мне поручили пойти и объявить ему, что он войдет в состав Сената. Нужно было сказать, что звание сенатора позволит ему продолжать свои научные изыскания, и дать понять: Первый консул счел бы за грех и далее отрывать его от трудов, которые прославляют его жизнь и способствуют величию Франции.

Во время этих переговоров я не упускал возможности поддерживать общественное мнение в пользу Бонапарта. В газете «*Journal de Paris*» я старался развеять любые опасения и дать почву для всевозможных надежд. Сообщая публике о том, что узнавал в ходе личного общения с Бонапартом, я в то же время не давал ему самому забыть о чаяниях народа, тем самым как бы связывая его обязательствами перед нацией.

полиции, другой - по части управления и финансов. В этом он мастер, а вам как раз нужен человек для этих двух областей.

Бонапарт. — Лебрен женат?

Я. — Не знаю точно, но думаю, что да.

Бонапарт. — Пост секретаря канцлера считался престижным?

Я. — Да, это была отличная должность.

Бонапарт. — Как должность советника парламента?

Я (смеясь). — О нет! Мы не ставили подобную должность в один ряд с судейским сословием.

Бонапарт. — Пришлите мне его труды, я хочу оценить его слог.

Я. — Как! Его речи в Учредительном и Законодательном собраниях?

Бонапарт. — Нет, его литературные произведения.

Я. — И что же решающего для назначения на пост консула вы надеетесь там увидеть?

Бонапарт. — Я посмотрю на его посвятительные послания.

Я (смеясь). — На сей раз это любопытство, которого я никак не ожидал. Я часто сравнивал ваши вопросы о людях и вещах с изучением горсти песка, которую вы рассматриваете через лупу песчинка за песчинкой; посвятительные послания Лебрена - это последняя песчинка в этой куче.

Бонапарт (смеясь). — Уже два часа, мне пора быть в Консульстве; пойдемте обедать со мной.

Произведения Лебрена - переводы Гомера и Тассо - были немедленно отправлены консулу, но без всяких посвятительных посланий, поскольку Лебрен их никогда не писал.

От редактора: Вот письмо, которое мой отец получил от господина Лебрена с известием о его согласии: «Вы этого хотели, мой дорогой и старый коллега; если я наделаю глупостей, я разделю эту славу с вами. В генерале Бонапарте я нашел то дружеское расположение, которое и определило его мнение. Полагаю, он пока не скажет обо мне ничего плохого, а я со своей стороны скажу вам о нем гораздо больше хорошего, чем ожидал сам. Я сделаю для гражданина Г... всё, что вы пожелаете. Мы устроим это, когда я буду иметь честь видеть вас.

Привет и дружба. **ЛЕБРЕН.**

Париж, 24 фримера VIII года».

«Каждое утро, - писал я 17 ноября (26 брюмера), - мы видим отмену очередного ненавистного закона. Какое возрождение гражданских чувств, какой душевный подъем, какая активность умов, какие надежды и какое чувство радости в каждом сердце!». В номере от 28 брюмера (19 ноября) я указывал на погашение государственных долгов как на способ укрепления кредита. Прежде всего я настаивал на закрытии списков эмигрантов, считая это необходимым условием для всеобщего восстановления: «Пока власть может сказать гражданину: "Если ты завтра уйдешь из дома или, наоборот, заперешься в нем, то послезавтра я внесу тебя в список эмигрантов"; или же: "Если ты сегодня будешь докучать мне своим присутствием, я сию же минуту запишу тебя в список как эмигрировавшего три года назад, и тогда твое имущество будет арестовано, а затем продано, и голова твоя окажется под топором палача..." - до тех пор не будет ни собственности, ни свободы, ни энергии в сельском хозяйстве, промышленности или торговле; всё будет пребывать в упадке...»

В номере от 29-го числа я успокаивал тех, кто мог опасаться ответных репрессий: «После событий 18 брюмера, - говорил я, - никакой реакции нет и быть не может. Люди, совершившие этот переворот, не прибежали к помощи или влиянию какой-либо фракции, а потому им некого вознаграждать и не с кем расплачиваться». В номере от 7 фримера я с удовлетворением сообщил о двух временных исключениях из списка эмигрантов: бывшего генерала Валанса и Адриена Лезе; последнее было сделано по моей просьбе.

В номере от 9 фримера (30 ноября) я опубликовал статью за подписью «Э. Л.», в которой первый консул извещался о том резонансе, который вызвало постановление от 20 брюмера VIII года, приговаривающее пятьдесят девять человек к депортации. Статья начиналась так: «Как величественно и благородно это сопротивление порядочных людей жесткой мере, которая должна была поразить лишь их преследователей! Это благородное и мирное восстание общественного мнения в защиту справедливости и морали станет незабываемым!»

Надежды, которые я внушал публике, основывались на том, как благосклонно Бонапарт принимал идеи, высказанные мною в беседах с ним. Однако многие журналисты, прикрываясь моими статьями, начали направо и налево распространять среди публики собственные идеи и притязания, выдавая их за решения консула. Они назначали своих друзей или покровителей на все важные посты, даже создавали новые должности, чтобы пристроить их туда; они увольняли и преследовали чиновников, которые им не нравились. Это самоуправство закономерно вызвало раздражение у консула. Не раз это мешало подписанию указов, так как консул не хотел, чтобы они имели партийную окраску или выглядели так, будто были приняты под давлением прессы. В номере от 13 фримера (4 декабря) под подписью «Д.» я напечатал статью, предупреждавшую этих неосмотрительных репортеров о вреде, который они приносят: «Соперничество сочинителей новостей породило чудеса. Сначала считалось зазорным сообщать новости недельной давности, затем - вчерашние, потом - сегодняшние. Теперь же требуется сообщать новости завтрашнего дня. К несчастью, власти не любят, когда их решения предвосхищают, и часто случается так, что новость, которая завтра могла бы стать правдой, оказывается ложной лишь потому, что её поспешили опубликовать накануне... и т. д.».

В номере от 17 фримера (8 декабря), желая подготовить общество к доверительному принятию конституции, разработка которой завершалась, я доказывал (и эти доводы кажутся мне убедительными и сегодня), что представительная система может быть реально установлена для законодательных функций и высших должностей исполнительной власти лишь с помощью избирательного корпуса, находящегося в центре государства - такого, как сенат в конституции, составлявшейся в то время.

Другая статья, опубликованная на следующий день, сообщает, что новая конституция должна установить три ступени «нотаблей» (видных граждан) по всей Франции; что каждая ступень должна быть результатом выборов; что именно из этих трех списков должны выбираться все должностные лица; что государственные служащие разных уровней должны назначаться из числа лиц, входящих в эти три последовательные категории именитых граждан. Это доказывает, что при многоступенчатых выборах одновременно исполняется желание тех, кто

хочет видеть на высоких постах собственников, и желание тех, кто считает, что занять должность можно, лишь пройдя через нижестоящую ступень. Добавлю, что, объединяя преимущества обеих систем, удастся избежать присущих им недостатков.

В газете от 26 фримера (17 декабря) сообщается, что 24-го числа консулы республики провозгласили конституцию. Эта прокламация заканчивается фразой, опровергнуть которую могли бы лишь события, которые пока трудно себе даже представить: *«Граждане, революция утвердилась на принципах, с которых она началась; она окончена»*. Я перечитываю в газете от 29 фримера (20 декабря), в статье «Смесь», строки, которые так приятно читать снова: *«Бонапарт не раз говорил еще до 18 брюмера: революция, которая готовится, будет прямой противоположностью предыдущим; она не повлечет за собой никаких проскрипций, а, напротив, положит конец многим из них»*. Эти слова заранее обрадовали тех несчастных, чье возвращение из изгнания 4 фримера посчитали преждевременным, но чья амнистия была объявлена шестью днями позже постановлением от 5 нивоза (26 декабря).

Далее я писал: *«Наблюдается огромный приток желающих принять конституционный акт; каждый чувствует, что поспешность в его принятии приблизит тот счастливый миг, когда начнет действовать мягкая, но решительная власть, от которой мы ждем всеобщего восстановления»*.

Конституция назначила трех консулов: Бонапарта, Камбасереса и Лебрена. Она назначила Сийеса и Роже-Дюко сенаторами; и уже 3 нивоза (24 декабря) они избрали тридцать одного сенатора. Я был в их числе. Я находился наедине с первым консулом, когда ему принесли список тридцати одного избранного сенатора. Он сказал мне:

— Не принимайте своего назначения; что вам там делать? Лучше войти в Государственный совет; там предстоит совершить великие дела; именно там я буду выбирать послов и министров. Меня легко было убедить предпочесть Совет, где было много работы, Сенату, и я немедленно отправился подать в отставку. На следующий день Сийес сказал мне с глаза на глаз:

— Мы прекрасно знали, что вы не согласитесь, но мы были обязаны оказать вам этот знак уважения.

25-го числа консулы назначили министров. Люсьен Бонапарт занял пост министра внутренних дел. Также был сформирован Государственный совет. Члены, которым предстояло в него войти, были созваны в Люксембургский дворец, в один из залов апартаментов первого консула. Около пяти часов их начали приглашать по одному. Каждый, принеся присягу, занимал свое место. Первым вызвали генерала Брюна: ему предстояло возглавить военную секцию. Я был вызван вторым. Реньо де Сен-Жан д'Анжели, которому с большим трудом удалось получить место в Совете, был вызван последним; его приняли заметно холоднее, чем тех, кто входил до него.³⁴

³⁴ (Примечание издателя). В заметке, написанной отдельно от этого повествования, мой отец приводит некоторые более точные и весьма характерные подробности этого заседания; мне показалось уместным привести их здесь. Вот они:

24 ноября 1800 года (3 нивоза VIII года).

В половине десятого конституционные консулы вступили в свои должности. Сначала они вызвали Талейрана и вновь назначили его министром иностранных дел; затем Люсьена Бонапарта - министром внутренних дел; остальные были переутверждены на своих министерских постах.

Затем Бонапарт пригласил Брюна и назначил его государственным советником; меня - после Брюна; Буле - после меня и так далее. Этот порядок был выбран не случайно. Назначив Брюна первым, Бонапарт хотел показать, как высоко он ценит военные заслуги.

Со всеми государственными советниками он использовал почти одну и ту же формулу: «Консулы назначили вас...» или «Вы призваны на должность государственного советника; я надеюсь...» или «Они надеются, что ваши таланты и ваше рвение поспособствуют успеху нового порядка вещей. Вы сейчас принесете присягу на верность конституции VIII года».

Исключение было сделано только для меня, Фуркруа, Берлье и Моро де Сен-Мери.

Мне он сказал только о моем назначении и велел принести присягу. Фуркруа и Берлье он сказал: «Мы надеемся, что умеренность ваших принципов и ваше просвещенное рвение будут способствовать» и т. д. Моро он сказал: «Мы надеемся, что ваши таланты и ваше мужество, блестящие доказательства которых вы явили в годы революции, будут способствовать» и т. д.

Секция внутренних дел, руководство которой мне доверили, была той, перед которой стояли наиболее блестящие задачи. Её состав также отличался исключительным благородством. Вскоре в её ряды вошел Жозеф Бонапарт, старший брат Императора; господа Шаптал и Фуркруа, оба - химики, были в ней самыми слабыми участниками. Я занимал пост государственного советника и председателя секции внутренних дел с того самого дня, 25 декабря 1799 года, по 14 сентября 1802 года - в общей сложности два года, восемь месяцев и девятнадцать дней. В течение этого срока, помимо своих обычных и повседневных обязанностей главы секции Государственного совета, я выполнял два чрезвычайных поручения: одно - по инспекции управления в департаментах Мозель и Леса (Forêts), другое - по заключению мирного договора с Соединенными Штатами Америки. Кроме того, на меня было возложено непосредственное руководство народным просвещением.

Чтобы понять некоторые особенности моей жизни в качестве члена Государственного совета, необходимо знать конституционные полномочия этого органа, которые сильно отличались как от того, что было в прошлом, так и от того, что мы видим сегодня.

Конституция отводила Государственному совету важную роль в политическом устройстве. Процесс создания законов был разделен на три части: во-первых, замысел, составление текста и предложение законов, признанных необходимыми; во-вторых, их торжественное обсуждение; в-третьих, вынесение решения после обсуждения. Право замысла принадлежало консулам и министрам; тем не менее Трибунат также мог высказывать пожелания относительно уже принятых или будущих законов, а также планируемых реформ и улучшений, но это пожелание не обязывало к какому-либо разбирательству. Первичное обсуждение, неотделимое от составления текста, и само внесение предложений относились к компетенции Государственного совета. Только ораторы, выбранные из его состава, могли представлять законы и обосновывать их положения в Законодательном корпусе, а также отвечать на возражения против них. Трибунату же принадлежало право экспертизы предложенного проекта и его критики в случае необходимости. Спор между Трибунатом и Государственным советом разрешался Законодательным корпусом, который принимал или отклонял закон.

Когда министр видел необходимость в новом законе или изменении старого, он представлял консулам мотивированный проект; консулы передавали его на рассмотрение в соответствующую секцию. Председатель распределял присланные консулом проекты между членами этой секции для подготовки доклада об их преимуществах или недостатках. После обсуждения секция большинством голосов составляла заключение, и председатель, который часто сам выступал докладчиком, ежедневно во время заседаний совета представлял консулу мнение своей секции по рассмотренным делам и давал ему краткий устный отчет. Тогда консул решал, достаточно ли проработано дело и позволяет ли заключение секции передать его в Государственный совет. Если он считал проект готовым к обсуждению, то передавал его секретарю совета, который вносил его в повестку дня; если же он находил суть заключения несоответствующей принципам или взглядам правительства, государственные секретари оставляли дело у себя.

Очевидно, что при таком порядке министры, по крайней мере в вопросах законодательных предложений, подвергались критике со стороны секции, соответствующей их ведомству, а затем и со стороны всего совета в целом. У них была возможность прийти и защитить свою позицию, но они оказывались один против восьми. Это было своего рода положение подчиненности, которое становилось еще более заметным в пользу председателя секции, работавшего напрямую с консулом и представлявшего ему министерские проекты вместе с замечаниями, которые они вызвали.

Уяснив эти положения, я перейду к обзору законов, подготовка докладов или представление которых в Законодательном корпусе или Сенате были поручены лично мне.

Прежде всего, в самый день создания Государственного совета председателям пяти секций было поручено представить проект регламента заседаний Законодательного корпуса и

Трибуната, а также урегулировать отношения Государственного совета с этими органами. Именно я составил этот проект, который стал поводом для первых нападок господина Бенжамена Констана на правительство. Это произошло на заседании 15 нивоза (5 января 1800 года), когда господин Констан проявил ту оппозиционность, которой он хотел охарактеризовать исполнение обязанностей трибуна. В тот же день, словно предвидя это или, возможно, будучи заранее предупрежденным, я поместил в «Парижской газете» (*Journal de Paris*) статью, в которой попытался определить характер конституционного трибуната. На следующий день «Газета свободных людей» (*Journal des Hommes libres*) крайне резко обошлась с господином Константином и заодно с госпожой де Сталь, которая написала мне об этом.

Пятерым председателям также было поручено незамедлительно представить консулам законопроекты, которые они сочтут необходимыми для введения конституции в действие. Эта работа касалась моего ведомства больше, чем всех остальных вместе взятых, и я составил перечень органических законов.

21 плювиоза VIII года (10 февраля 1800 г.) мне было поручено представить в Сенат результаты подсчета голосов, поданных за конституцию. К концу декабря я подготовил закон для департаментов, выведенных за рамки конституции.

Весьма решительная статья, которую я опубликовал в «Парижской газете» 28 брюмера VIII года (19 ноября 1799 г.), кажется, дала первый луч надежды, проникший в души эмигрантов - как тех, кто мучился раскаянием и сожалением, так и тех, кто испытывал лишь сожаление без раскаяния; а также в души несчастных беглецов, которые по французским законам оказались приравнены к эмигрантам.

Вскоре забота первого консула оправдала и развила эти надежды; в начале декабря он приказал министру юстиции представить ему доклад о принятом порядке действий в отношении вернувшихся эмигрантов и об изменениях, которые мог внести новый порядок вещей. Министр подготовил доклад, который был передан в юридическую секцию Государственного совета для дальнейшего изучения с учетом замечаний этой секции. Секция ответила, основываясь на законах, что вернувшиеся эмигранты продолжают подпадать под действие военных трибуналов и караются смертью при простом установлении личности - то есть на основании одного лишь доказательства того, что имя человека внесено в роковой список!

Тем не менее секция сообщает, что в ходе общей работы по вопросу эмигрантов она предложит в дальнейшем заменить смертную казнь депортацией для вернувшегося эмигранта, а казнь оставить только для случаев нарушения условий изгнания. Бонапарт поставил свою подпись под этим постановлением в знак одобрения.

Секция представила свой законопроект об эмигрантах. Первый консул направил его на обсуждение в Государственный совет и лично прибыл на заседание в качестве председателя. В ходе дискуссии 16 плювиоза (5 февраля) он высказался так, что не оставил никаких сомнений в своих чувствах. Он произнес длинную речь об основах нового правительства, которое должно быть достаточно сильным, чтобы примирить и объединить всех. Вот фразы, которые я записывал дословно по мере того, как он их произносил, и которые я снова нахожу в своих бумагах:

Слова Бонапарта на заседании Государственного совета 16 плювиоза VIII года (5 февраля 1800 г.).

«...Европа смотрит на нас: мы должны совершать поступки, достойные ее и нас самих... Мы живем в восемнадцатом веке, и с двенадцатого века не было ситуации, когда на головы граждан обрушивался бы подобный произвол... Будем достойны века, в котором мы живем...»

«...Сегодня правим мы; завтра, возможно, другие внесут нас в список эмигрантов. Я был в Египте; я не хочу из-за этого оказаться в списке эмигрантов...»

«...Когда обстоятельства становятся менее враждебными и менее острыми, законы следует смягчать... Было бы легче оправдать сентябрьские расправы (1792 г.), чем дело Карчи...»

«...Чтобы управлять французской нацией сегодня, необходимы принципы гуманности и справедливости...»

.....

В тот же день или в один из последующих первый консул распорядился раздать всем членам Государственного совета четыре статьи, составленные им самим для обсуждения на общем собрании. Вот эти статьи, которые я переписываю с того самого листа, что был вручен мне, как и моим коллегам. Эти статьи - лишь прелюдия к полному исключению из списков, которое входило в планы первого консула, но которое можно было осуществить лишь с осторожностью.

Статьи, составленные самим первым консулом и распределенные между членами совета для обсуждения:

«Статья 1. Ни один французский гражданин более не подпадает под действие положений законов об эмиграции, какое бы преступление он ни совершил.

Статья 2. Лица, внесенные в список эмигрантов, поскольку они более не являются французскими гражданами, единственные подлежат процедурам и наказаниям, предусмотренным законами об эмигрантах.

Статья 3. Лица, которые эмигрировали, но при этом не были внесены в списки, могут быть признаны эмигрантами и подпасть под действие законов об эмиграции только по решению обычных судов.

Статья 4. Лица, которые впредь будут покидать территорию Франции, будут подчиняться законам о паспортах».

Первая статья касалась нескольких законов, которые предписывали смертную казнь на основании одного лишь установления личности в отношении депутатов или изгнанников, нарушивших условия своей высылки.

Вторая статья сохраняла существующий порядок в отношении явных эмигрантов. Первый консул щадил общественное мнение, которое даже в самом совете настраивало многих против любой идеи о возвращении эмигрантов; в частности, это касалось Реньо де Сен-Жан-д'Анжели, чью записку, написанную его собственной рукой и переданную мне в совете, я приведу ниже. Он надеялся просветить их относительно той истины, что справедливое и сильное правительство вполне может сдерживать внутри государства восемь или десять тысяч злонамеренных людей с их устаревшими притязаниями. Статьи 3 и 4 были первой попыткой призвать к общественному благоразумию в вопросе, в котором он не хотел полагаться исключительно на мнение людей из своего окружения.

Третья статья имела целью лишить администраторов департаментов возможности вносить в список эмигрантов любое лицо по своему усмотрению не только по причине текущего отсутствия, но и, несмотря на фактическое присутствие человека, за отсутствие в некий неопределенный период в прошлом.

Наконец, четвертая статья имела целью вернуть свободу выезда из Франции без риска оказаться в списке эмигрантов.

Первый консул поручил мне составить законопроект на основе данных им указаний. Я представил его ему, и он вынес его на обсуждение в Государственном совете. С некоторыми изменениями в редакции это стал закон от 22 вантоза VIII года, который определяет порядок применения законов, касающихся эмиграции.

Из моего проекта также исключили статью 3, которая прямо формулировала то, что другие статьи подразумевали: *Список эмигрантов закрыт*. Я настаивал на этой краткой и ясной формулировке, потому что именно эту фразу следовало вложить в уста каждому и сделать ее понятной для всех, чтобы придать этой полезной операции весь тот эффект, на который она была способна. Именно по поводу этой фразы Реньо де Сен-Жан-д'Анжели написал мне и передал записку, о которой я уже упоминал. Мы сидели рядом, на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Но так как ход дискуссии не позволял переговариваться вполголоса, он написал мне то, что хотел сказать. Я переписываю это здесь вместе с замечаниями, которые я сделал на полях в тот же момент, пока выступал кто-то из ораторов совета:

«Если закрыть список, можно эмигрировать». «Если признать, что даже в нынешних обстоятельствах этот список - бедствие, то придется сделать вывод, что его существование в прошлом было еще более продолжительным бедствием. Если можно эмигрировать сегодня, то можно было эмигрировать и два года назад, и четыре года назад; а от закрытия до нарушения закона останется лишь один шаг, который будет легко сделать». «Если можно эмигрировать, то все положения о паспортах становятся иллюзорными и бесполезными; и где бы ни встретили бродягу, он должен будет получить свободу, сказав: "Я эмигрирую"». «Если можно эмигрировать, то можно получать доходы в чужой стране, и никакой секвестр не сможет отобрать их у собственников. Если можно эмигрировать, призывники могут скрыться». «Если можно эмигрировать, дезертирство больше не будет представлять никакой опасности». «Пусть вспомнят Нантский эдикт и его отмену: двери Франции то закрывались, то открывались, миллионы французов покидали родину ради идей и убеждений, и столько же вывозили за границу наше золото и нашу промышленность. В то время эмиграция лишь уменьшала наши ресурсы; сегодня же она пополняет казну и армии наших врагов.

Требовать безоговорочного закрытия списка - значит задаваться следующим вопросом: когда грозная коалиция, спровоцированная и поддерживаемая всей европейской аристократией, стремится вернуть нас к рабству и монархии, должны ли мы позволять французским аристократам направлять свои доходы в кассу союзников? Должны ли мы позволять нашим призывникам и всем французам пополнять ряды тех банд, которые в интересах наших врагов устраивают столь мощные диверсии на западе?».

За законом от 14 февраля 1800 года последовало постановление от 26 февраля (7 вантоза), которое определило порядок рассмотрения просьб об исключении из списка эмигрантов и предписало создать комиссию для принятия решений в течение трех месяцев по жалобам, поданным еще до принятия новой конституции.³⁵

2 марта того же года (11 вантоза) консулы по собственной инициативе и без доклада Государственного совета, желая решить судьбу тех французов, которые первыми признали и провозгласили принципы равенства, поручили комиссии подготовить отчет о членах Учредительного собрания, внесенных в список эмигрантов. Консулы оставили за собой право

³⁵ (Примечание издателя). То, что общественности стало известно о подобии усилий моего отца - сначала ради закрытия списка эмигрантов, а затем ради его сокращения, - принесло ему спустя некоторое время письмо, которое он сохранил и на котором пометил: *«Весьма любопытное письмо господина де Фосиньи-Люсэнжа»*. Вот оно:

Лондон, 11 апреля 1802 года.

Милостивый государь,

Мы были коллегами в одном и том же собрании; это было в 1789 году, а сейчас на дворе 1802-й. Вы были в одной партии, я - в другой. Вы - победитель, я - побежденный и, более того, покорившийся. Весь мир уступил: уступим и мы, мой дорогой Замор. Возможно, вы видели меня способным на вспышку гнева, но я никогда не был способен на дурной поступок и никогда не нарушал данного слова.

Сегодня я стал на двенадцать лет старше и провел их, рисуя портреты, то есть упражняя свое терпение одновременно с терпением других. Мне нужно увидеть жену, нужно познакомиться с тремя взрослыми детьми. Вся моя политика теперь заключается в этом... Верните их мне и верните меня им. Сделайте так, чтобы меня приняли в Кале и чтобы там меня ждал приказ, отправляющий меня в Бургундию. Это будет для меня не совсем Золотой берег, но там у меня будут жена, дети, крыша над головой и хотя бы несколько акров земли. И клянусь вам, вы услышите обо мне только тогда, когда я буду благодарить вас за то добро, которое вы сделаете для нас всех.

Вы спросите меня, почему я решил обратиться именно к вам, а не к кому-то другому. Это потому, сударь, что я помню ваше лицо, часто слышу ваше имя и иногда читаю ваши труды, хотя я и не большой любитель чтения. Так вот, я слышу - и мне кажется это правдой, - что вы говорите языком мудрости, примирения, человечности и великодушия. Богом клянусь, сударь, соизвольте применить все эти чувства ко мне, ибо признаюсь вам: я сыт эмиграцией по горло!

Вытащите меня отсюда, умоляю; устройте мое дело, простите мой слог и испытайте мое сердце.

С почтением и уважением, ФОСИНЬИ, Пантон-стрит, № 22, Лестер-сквер, Лондон.

исключать их из списка на основании простого доказательства того, что те голосовали за установление равенства и отмену дворянства и не дезавуировали этот акт никакими иными действиями.

В это же время в секцию внутренних дел был направлен проект постановления, представленный министром юстиции. Его целью было успокоить покупателей национальных имуществ, опасавшихся махинаций со стороны некоторых лиц, вычеркнутых из списка эмигрантов. Проект состоял из шестнадцати статей, разделенных на три раздела. Первый раздел назывался: «О гарантиях, требуемых от французов, исключенных из списка эмигрантов»; речь шла о присяге на верность конституции. Раздел II: «Об особом полицейском надзоре для обеспечения спокойствия покупателей национальных имуществ»; этот раздел вводил надзор за теми, кто находился в местах, где проживали покупатели принадлежавших им ранее имуществ. Раздел III: «О специальных мерах полиции в отношении исключенных лиц»; он предполагал судебное преследование тех из них, кто совершит против покупателей национальных имуществ действия, влекущие уголовное наказание, а также их выдворение за пределы коммуны, если они совершат поступки, которые, не являясь уголовно наказуемыми, тем не менее могут потревожить или обеспокоить указанных покупателей. Только эти разделы дают представление о деталях проекта.

Секция отклоняет этот проект; я изложил её доводы в докладе консулам.

Она одобряет обязательство приносить присягу, но не в качестве гарантии против подозрительных лиц; она приравнивает это обязательство к клятве несовершеннолетнего, который, достигнув совершеннолетия, ранее не имел возможности принять условия общественного договора. Считать частное лицо, вычеркнутое из списка подозреваемых, виновным - значило бы обвинить органы, исключившие его, в сговоре и злоупотреблении полномочиями.

Секция отклонила второе положение проекта, основанное на том, что оно накладывает своего рода клеймо позора на возвращенцев. Это привело бы лишь к отчуждению тех, кто законно добился своего исключения из списков, и дало бы повод для нарушения общественного порядка тем, кто, будучи слишком счастлив вернуться обманным путем, и не помышлял о том, чтобы беспокоить приобретателей национального имущества.

Наконец, секция отвергла особые и произвольные полномочия, которые министр хотел передать полиции, считая это сочетание коррумпированным и бесчестящим.

Секция полагала возможным создать, если возникнет необходимость, или, скорее, разрешить создание одного или нескольких страховых обществ, которые за умеренную премию обязались бы в течение двадцати лет осуществлять судебную защиту атакованных приобретателей и брать на себя расходы по всем случаям отчуждения имущества, если таковые произойдут. Однако секция сочла, что силы правительства, подкрепленной общественным доверием, будет достаточно для поддержания законов о сохранении собственности без лишних усилий. Это заключение секции было передано мною первому консулу. Полагаю, что оно не направлялось в Государственный совет, но о проекте министра юстиции больше ничего не было слышно.

Обсуждение дела эмигрантов было не единственным занятием совета; одновременно шла работа над созданием административной системы. 7 февраля 1800 года (28 плювиоза VIII года) появился законопроект, касающийся управления и разделения территории на префектуры, супрефектуры и муниципалитеты.

Мне было поручено представить его в тот же день и изложить мотивы Законодательному корпусу. В помощники мне назначили Крете и Шапталя. Я принимал большое участие в разработке этого закона, опираясь на опыт, полученный мною в системе Учредительного собрания, когда я был генеральным прокурором-синдиком в Париже, что давало мне значительные преимущества перед коллегами в этой работе. Именно консул Лебрэн присвоил высшим администраторам департаментов титул префектов. Я же предложил создать совет префектуры, расширив функции комитета по спорным вопросам, который существовал при Директории в Париже.

10 февраля мне было поручено представить в сенате результаты голосования по конституции. Вот речь, которую я произнес по этому поводу:

«Сенаторы, консулы поручили нам представить вам подсчет голосов, поданных по предложению о принятии конституционного акта. 1562 проголосовавших высказались против. 3012569 проголосовавших высказались за. Число принявших проект более чем на миллион двести тысяч превышает число голосов, поданных за конституцию 93-го года, и примерно на два миллиона - за конституцию III года, несмотря на возвращение свободы. Три миллиона голосующих составляют огромное большинство французов, способных осуществлять политические права, и почти общее число граждан - глав семейств, обладающих образованием и собственностью.

Институт Охранительного сената во многом обязан славой такому единодушию. Эту славу следует также частично отнести на счет великих граждан, чьи имена конституция поставила во главе установленных ею властей. И если существует орган, в котором правительственные ораторы могут отметить счастливое влияние прославленных имен, освященных конституционным актом, то это именно тот, где воссоединились двое граждан, которых сама конституция поставила первыми в сенате». (Сийес и Роже-Дюко).

«Европа заметит, сенаторы, это национальное единодушие, свидетельствующее не только в пользу новых институтов, но и в пользу магистратов, призванных к их реализации и поддержанию. Для врагов Франции это предзнаменование поражений, а для нас - залог мира и благоденствия. Мы передаем в ваши руки протоколы голосования по департаментам, поданные за конституцию, а также наши полномочия для сообщения, которое поручили нам консулы».

Первая часть «Очерка моей жизни для моих детей» здесь заканчивается. Вторая часть начинается только 20 вантоза X года (12 марта 1802 г.), оставляя после себя пробел в двадцать пять месяцев. Я восполню его, представив документы, многие из которых относятся к событиям, в которых мой отец принимал участие, или касаются выдающихся личностей, с которыми он был тесно связан. Эти материалы могут представлять интерес для общей истории - именно их он, как уже было сказано, считал основой своих Мемуаров. Также я добавлю сюда несколько документов, относящихся к первому периоду Консульства, для которых в ином месте не нашлось бы столь же подходящего расположения.

Прежде чем перейти к этой публикации, я должен напомнить о том, что уже упоминал ранее: о просьбе господина Арно предоставить ему заметки для статьи об моем отце, которую тот намеревался подготовить для «Новой биографии современников». Я лично обратился к отцу, и он составил очерк, который я передал Арно. Рукопись озаглавлена: «Очерк для новой Биографии, составленный по просьбе моего сына Антуана (1824)».

Таким образом, это произведение охватывает период на двадцать два года больше, чем «Очерк моей жизни», который обрывается на 1802 годе. И хотя это дополнение занимает всего несколько страниц, одного этого факта было бы достаточно, чтобы я решил его не исключать. По правде говоря, я мог бы взять из него лишь те фрагменты, которые дополняют первый «Очерк»; но мне показалось, что сопоставление двух редакций, описывающих одни и те же факты - причём одна была написана для узкого семейного круга, а другая предназначалась для широкой публики, - не может не вызвать определенного интереса.

Поэтому сначала я помещу здесь ту часть этой работы, которая хронологически соответствует предшествующей первой части «Очерка моей жизни», но при этом исключу (по уже упомянутым причинам) всё, что касается событий 20 июня и 10 августа 1793 года, поскольку они со всей необходимой полнотой изложены в «Хронике пятидесяти дней».

Вторую часть «Очерка для Биографии» я размещу после второй части «Очерка моей жизни» и также дополню её важными документами, относящимися к этому второму периоду.

Заметка для биографии, составленная по просьбе моего сына Антуана (1824). Часть первая.

Рёдерер (граф Пьер-Луи) родился в Меце 15 февраля 1754 года в семье уважаемого представителя судейского сословия. Став советником парламента Меца в 1779 году, он, несмотря на свою молодость, отличился там рвением в защите свободы. Он всецело посвятил себя общественным делам и вскоре получил поручение составлять тексты протестов (ремонстраций), которые этот суд, подобно всем остальным, имел в то время частые поводы направлять правительству. В 1787 году он опубликовал труд о вреде, который наносили национальной промышленности *внутренние таможи*, разделявшие провинции Франции между собой так же, как сегодня они отделяют Францию от заграницы.

В 1788 году он выпустил другое, весьма обширное сочинение о представительстве в Генеральных штатах. В нем он изложил принципы представительного правления; здесь можно найти основу всех убеждений, которые он исповедовал в дальнейшем, а также ту строгую логику, которая, единожды установив принцип, не допускает никаких исключений из вытекающих из него последствий.

В 1789 году он был избран депутатом Генеральных штатов от третьего сословия города Меца вместо другого депутата, чье избрание было аннулировано Национальным собранием. Поскольку его избрание состоялось лишь в октябре, господин Рёдерер не был свидетелем первых событий революции; однако в то время он приносил ей пользу в Меце, куда маркиз де Буйе и маршал де Бройль намеревались привлечь королевский двор.

Когда он явился в Учредительное собрание, его приняли как человека с уже испытанным патриотизмом и талантом. С первых же речей он заставил обратить на себя внимание тем философским складом ума, который с высоты проливает свет на обсуждаемые вопросы. Мы приведем некоторые из его мнений. Предметные указатели газеты *Le Moniteur* дают по ряду пунктов сведения, которые едва ли согласуются с текстом.

5 января 1790 года он потребовал, чтобы отсутствующие священнослужители были лишены права пользоваться своими *бенефициями* в соответствии с указами (ордонансами) Блуа и Орлеана. 12 февраля того же года он высказался за упразднение религиозных орденов. На следующий день он выступил против предложения епископа Нанси, целью которого было объявить католическую религию государственной; это предложение, по словам господина Рёдерера, «могло бы заставить поверить, будто религия среди нас находится в опасности и будто мы колеблемся в своем почтении к ней».

12 апреля он поддержал проект декрета, изымавшего имущество духовенства из рук обладателей бенефициев. 2 июня он высказался против того, чтобы число епископств равнялось числу департаментов. 22-го числа он подверг критике скудность и однообразие жалования, предложенного для епископов, и потребовал, чтобы их содержание было зафиксировано на уровне как минимум одной трети доходов от их бенефиций, если только эта треть не окажется ниже 15 000 франков.

В политических дискуссиях он сводил все вопросы к интересам свободы. Равенство политических прав он считал необходимым фундаментом свободы. Он утверждал, что нельзя устанавливать имущественный ценз для права быть избранным на законодательные должности; достаточно одного лишь доверия избирателей. По его мнению, было бы справедливее установить имущественные требования для самих избирателей, нежели для депутатов; из пользования политическими правами следовало исключить только домашних слуг, тогда как актёры, евреи и цветные люди не могли быть лишены этих прав на основании своего статуса.

Он неоднократно предлагал меры, которые считал необходимыми для защиты совести депутатов от соблазнов власти: требовал запретить им занимать государственные должности

и установить наказания для тех, кто их примет; наконец, он настаивал на том, чтобы конституция исключала возможность назначения депутатов на министерские посты в течение четырёх лет после окончания их полномочий.

Что касается правительства, или исполнительной власти, он выдвигал и настойчиво защищал ряд мнений, которые впоследствии были признаны несовместимыми с монархической конституцией: он хотел, чтобы армия присягала на верность нации; чтобы государственная казна находилась в руках хранителей, назначенных народными представителями и ответственных перед законодательным корпусом; чтобы высшие финансовые посты были выборными. Во время пересмотра конституции в 1791 году он дошёл до утверждения, что само понятие «представительная конституция» будет лишь обманом, если административные должности в департаментах, дистриктах и муниципалитетах не будут объявлены конституционно - то есть бесповоротно - выборными. Впоследствии господин Рёдерер изменил это последнее мнение, основываясь на опыте, полученном им в управлении департаментом Парижа.

Относительно судебной системы господин Рёдерер заложил принцип, согласно которому отправление правосудия или применение законов не может быть изъято из рук народа или его представителей в той же мере, что и право издавать законы, поскольку власть злоупотреблять законами неотделима от власти их применять. *«Нельзя допускать, - говорил он 7 апреля 1790 года, - чтобы решениями судов ежедневно отменялось то, что законодатели установили своими декретами».* Вследствие этого он поддержал проект замены старой судебной системы судами присяжных, которые отбирались бы для каждого гражданского или уголовного дела из списков юристов и избранных именитых граждан.

После того как предложение о введении суда присяжных по гражданским делам было отклонено, он потребовал, чтобы судьи назначались на определенный срок, а не пожизненно, и чтобы срок их полномочий был ограничен тремя годами. Составитель указателей газеты *Moniteur*, перепутав создание временных судей с понятием смещаемых судей, приписал господину Рёдереру абсурдное намерение голосовать за сменяемость судей. На заседании 7 мая 1790 года господин Рёдерер произнес речь, которая самым убедительным образом опровергла это обвинение: с замечательным красноречием, которое, согласно *Moniteur*, было встречено всеобщим восторгом, он отверг предложение о том, чтобы король утверждал избрание судей, имел право выбора между избранными кандидатами или обладал правом инвеституры магистратов.

Назначенный членом комитета, созданного для разработки новой системы государственных налогов, господин Рёдерер стал основным соавтором этой системы и постоянным представителем комитета в Национальном собрании. Именно он представил общую концепцию и сочетание всех её частей, объяснил механизм и взаимодействие различных налогов между собой и с национальным богатством. Тогда он продемонстрировал глубокие познания в экономических вопросах, широту взглядов и редкую прозорливость в выборе средств, позволяющих распределить налоговое бремя максимально равномерно и с наименьшим ущербом для воспроизводства богатств. Он был автором законов о гербовом сборе и о патентах. После того как было принято решение о переносе таможен на границы (что он подготавливал своими трудами), Собрание назначило его вместе с господином Дефермоном для пересмотра нового тарифа, составленного комитетом по сельскому хозяйству и торговле.

В ходе различных дискуссий о свободе прессы господин Рёдерер неизменно проявлял себя их ревностным защитником, утверждая, что законов против преступлений, к которым могли привести злоупотребления свободой прессы, вполне достаточно для их пресечения, точно так же как законов против преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, достаточно для борьбы со злоупотреблением этим самым оружием.

После закрытия Учредительного собрания избирательная коллегия департамента Сены назначила его генеральным прокурором-синдиком этого департамента. Эту должность желали занять многие конкуренты, так как она считалась первым выборным местом в королевстве и казалось, что на ней легко приобрести огромное влияние. Но тот, кто был облечен этой

властью, вскоре увидел, что она была совершенно призрачной; реальная власть в те времена волнений принадлежала магистратуре, чьи связи с самыми многочисленными классами общества были более простыми и прямыми. По этой причине муниципалитет Парижа был сильнее администрации департамента; Парижская коммуна была сильнее муниципалитета, а ораторы секций и клубов были сильнее Коммуны, если только последняя не подчинялась их воле. Франция тогда находилась не в состоянии полной анархии, как часто утверждали, а в состоянии полной демократии. Междоусобная война, вспыхнувшая в 1792 году, была борьбой растущей демократии против клонящейся к упадку монархии.

Между демократией и королевской властью стояла партия умеренного республиканства, которая желала аристократии заслуг, подтвержденной народным голосованием, и эта партия погибла. Генеральный прокурор-синдик оказался в центре конфликта трех враждующих сил. Вожди демократической партии в равной степени объявляли предателями партию короля и партию Жиронды - партию представительной аристократии, а также всех чиновников, которые старались заставить работать правительство, свержения которого желала демократия. Г-н Рёдерер оставался глух к обвинениям и яростным нападкам демократии. Он был главой администрации и он управлял. На него было возложено поддержание порядка и общественного спокойствия, и он посвятил себя этому долгу, не разбираясь в том, правда ли, что двор и министры нарушают закон.

Когда события 20 июня, предвестники событий 10 августа, дали о себе знать, г-н Рёдерер сделал всё, что позволял ему закон, чтобы их предотвратить.....³⁶

Будучи под угрозой ареста по ордеру Коммуны 10 августа, ему, впрочем, не нужно было доказывать, что он не состоял с ней в сговоре. Тем не менее, он доказал это длинным рядом статей, опубликованных в *Journal de Paris*. 13 ноября 1792 года, в день начала дискуссии о процессе над Людовиком XVI, он подхватил мнение одного депутата, предложившего отменить смертную казнь, считая это решение радикально спасительным для обвиняемого. «*Возражают, - говорил он, - что момент выбран неудачно для смягчения наших уголовных законов, пока народ еще охвачен самыми справедливыми чувствами негодования. Напротив, момент выбран очень удачно. Время, когда разуму лучше всего проявлять себя во всем блеске - это время, когда он сталкивается с препятствиями. Именно тогда он наиболее внушителен, потому что он более смел; он наиболее могущественен, потому что больше проявляет уверенность в самом себе.*».

В *Journal de Paris* от 20 декабря г-н Рёдерер по случаю обсуждения проекта об изгнании семьи Орлеанов выступил против духа проскрипций и против намерения выносить смертные приговоры: «*Свободе сейчас нужны гарантии, а не жертвы, - говорил он. - Это партийный дух требует жертв; республика же требует только конституции.*».

12-го числа того же месяца генеральный совет Коммуны постановил, что советники, представленные к королю, должны обыскиваться до самых сокровенных мест, их нужно раздевать и переодевать в новую одежду перед общением с Людовиком XVI. 13-го числа г-н Рёдерер написал в *Journal de Paris*: «*Коммуна должна заставить услышать о своем постановлении в других местах - в тюрьмах короля Марокко или дея Алжира.*» 6 июня 1793 года, через десять дней после вынесения приговора Людовику XVI, в те дни, когда самые яростные обращения и разъяренные толпы осаждали Конвент. На следующий день после заседания, на котором Баррер произнес с трибуны речь, ставшую смертным приговором для несчастного принца, господин Рёдерер атаковал его позицию напрямую, решительно и по существу. Он доказывал, что Ассамблея не имеет права судить короля; что полномочия издавать законы не включают в себя право вершить правосудие; что власть по созданию конституции - это лишь власть, доверенная народу с условием последующего общественного одобрения; и что если неприкосновенность короля противоречит (как заявлял Баррер) правам народа, то только сам народ вправе это провозгласить.

³⁶ (Примечание издателя.) Именно здесь я произвел сокращение, о котором объявлял ранее - очень краткого рассказа о событиях с 20 июня по 10 августа, поскольку они изложены в «Хронике пятидесяти дней» со всеми необходимыми подробностями.

Поскольку Баррер утверждал, что осуждение Людовика не будет ни судебным приговором, ни законом, а станет актом революции и мерой общественной безопасности, господин Рёдерер возразил: *«Общественной безопасности не существует там, где нет безопасности частной. Общественная безопасность существует лишь там, где людей судят, а не подвергают проскрипциям. Актами революции нельзя называть иные насильственные действия, кроме тех, что совершены непосредственно в ходе самой революции. Все, что произошло 10 августа, пока пушки стреляли по Тюильри, является актом революции; все же, что совершено после, преступно, если оно не законно»*. Господин Рёдерер подписал эту статью своим полным именем, как подписывал и все остальные; и тем не менее он постоянно оставался объектом преследований и розысков со стороны Коммуны. 12 января в той же газете он обосновал, что Конвент не может допустить голосования за смертную казнь без права на апелляцию - предложение, которое было направлено ему одним из членов Конвента из Майнца. Ничто не смогло предотвратить события 21 января.

Спустя несколько дней оратор от Коммуны явился, чтобы от ее имени потребовать перед судом предания суду лиц, находившихся в замке в ходе событий 10 августа ПРОТИВ НАРОДА. Это предложение было принято. Оно со всей очевидностью ударило по господину Рёдереру, однако он не переставал писать и сохранял тот же тон в «Парижском журнале» (*Journal de Paris*). В то же время он выступал в Лицее с курсом лекций, в котором боролся со всеми писателями, выступавшими против собственности - теми, на кого Марат каждое утро нападал в своих листках.

31 мая Коммуна в ходе ужасающего мятежа вынудила Конвент отдать приказ об аресте двадцати одного его члена; тогда Рёдерер перестал писать. «Парижский журнал», казалось, пал духом; господин Рёдерер, не желая, чтобы его считали способным на компромисс в событиях того дня, заявил в номере от 30 июня, что с конца мая он не принимал никакого участия в редактировании газеты. 3 октября двадцать один арестованный депутат были преданы суду на основании доклада, сделанного от имени Комитета общественного спасения. В этом докладе господина Рёдерера заклеили как «отцеубийцу» за то, что 10 августа он потребовал применить силу против народа. *«Рёдерер, - говорил докладчик, - рассказывая о событиях того дня, отчитывается о мерах, принятых им для обеспечения обороны замка, о призывах, с которыми он обращался к канонирам, убеждая их стрелять в народ; он с болью говорит о неповиновении этих храбрых граждан его отцеубийственным приказам. "Король, - говорил Рёдерер, - это человек; этот человек - отец; он просит у Национального собрания силу, которой ему не хватает, и т. д."»*. Подобные высказывания в то время были равносильны объявлению вне закона; сегодня же кажется лишенным всякого смысла тот факт, что столь малое число злоумышленников могло упорствовать, видя в одной из намеченных жертв демагогии одного из своих сторонников и сообщников.

Депутаты Жиронды были отправлены на эшафот. Господин Рёдерер снова скрылся от преследований и вернулся на политическую арену лишь после падения Робеспьера. Семьдесят один депутат были арестованы в тот же день, когда обвинение было предъявлено депутатам Жиронды. Господин Рёдерер написал в их защиту брошюру, опубликованную 7 ноября 1794 года под именем Жака. 20-го числа того же месяца он поместил в газету «Республиканец» статью о клубах, целью которой было нападение на демократическое правительство. В январе 1795 года он снова начал писать в «Парижском журнале». Он делал это независимо и смело, часто с позиции авторитета. В июле и августе он опубликовал длинную серию статей об организации исполнительной власти. Комиссия, ответственная за составление конституции, пригласила его на свои заседания. Он стремился доказать им, что проектируемое устройство исполнительной власти было слишком слабым; он заявлял, что опыт уже осознал опасность назначения администраторов департаментов народом без участия правительства. Он предложил, чтобы правительство выбирало их только из числа кандидатов, выдвинутых на выборах. По его мнению, такое содействие было необходимо для того, чтобы распоряжения центральной власти, направляемые на окраины республики, не сталкивались там с влиянием и силами местных властей, склонных к сопротивлению авторитету центра.

Г-н Рёдерер также представил комиссии свои идеи по организации законодательных собраний; его труд, основанный на новых наблюдениях, содержит остроумную теорию метода ведения дискуссий, который автор считал наиболее подходящим для обеспечения правильности принимаемых решений. Он назвал этот метод «организованной логикой» и опубликовал свои записи 28 июня и 8 июля 1797 года в «Журнале общественной экономии».

В том же году он выпустил брошюру под заглавием: «О французских беженцах и эмигрантах». В ней он настаивал на том, чтобы не путать изгнанников, которых Террор заставил покинуть страну, с эмигрантами, уехавшими из Франции с намерением вернуться туда победителями, с оружием в руках. В сентябре он выступил против продления полномочий двух третей членов Конвента в следующем законодательном органе. Один из них выступил против него и упрекнул его в том, что 10 августа он вел себя недостаточно безупречно по отношению к патриотам. Рёдерер ответил ему 14 сентября, что хотел спасти короля; что он поступил бы так же снова при тех же обстоятельствах, и продолжал утверждать, что продление полномочий членов Конвента может лишь скомпрометировать республиканскую конституцию из-за ненавистных воспоминаний, которые их присутствие поддерживало в умах всех умеренных граждан. 13 вандемьера (5 октября 1795 года) исход этого спора определили пушки, но не положили ему конец. Господин Рёдерер снова отошел от дел.

В июне 1796 года он был избран членом только что созданного Национального института. Его определили в класс моральных и политических наук и закрепили за секцией политической экономии. Еще в предыдущем месяце жюри по народному просвещению избрало его профессором политической экономии в центральных школах. Он возобновил работу в «Парижском журнале» и, кроме того, предпринял издание декадного «Журнала общественной экономии, морали и политики».

26 ноября он резко атаковал законопроект от 3 брюмера, который исключал дворян и родственников эмигрантов со всех государственных должностей до заключения мира. 9 января 1797 года в статье за его подписью в «Парижском журнале» он обвинил в жестокости указ, принятый накануне, который устанавливал ежегодный праздник в память о казни 21 января 1793 года. Он задавался вопросом, не прискорбно ли, *«что страх прослыть роялистом только потому, что речь идет о казни короля, мешает самым честным сердцам взывать против закона к приличию и человечности?»*. В своем «Журнале общественной экономии» он писал об этом же празднике: *«Все либо краснели, либо содрогались; празднование было осуждено даже теми, кто его предложил»*.

В 1797 году новые выборы заменили новыми депутатами половину продленных членов Конвента, и законодательный корпус вступил в конфликт с Директорией. Этот год был чрезвычайно беспокойным: это был неизбежный результат закона о продлении полномочий, который столкнул дух Конвента с умеренными настроениями. Г-н Рёдерер был убежден, что только друзья мира способны сохранить республику и что члены Конвента своими резкими выходками ежедневно увеличивают число роялистов. Он проложил путь между сторонниками Конвента и эмигрантами, между системой Террора и системой контрреволюции. Он вел против обеих систем войну более энергичную, чем та, на которую, казалось бы, был способен простой гражданин, не имевший иного защитника, кроме самого себя, и иного оружия, кроме своего пера.

В брошюре объемом почти в сто страниц, опубликованной в июне 1797 года под названием «Об использовании государственной власти», он протестовал против запрета католического культа, против преследования его священнослужителей, против разграбления алтарей и требовал свободы для всех вероисповеданий. Он предложил отменить смертную казнь, вынесенную против эмигрантов: *«Эмиграция, - говорил он, - даже массовая, не является преступлением, даже если она совершается для ведения войны против своей страны; это значит превратиться в чужую нацию и объявить себя враждебной нацией. По отношению к эмигрантам законно лишь право войны в военное время и международное право в мирное... Нация во время войны забирает имущество эмигрантов так же, как и имущество других своих врагов... Когда она может без опасности заключить с ними мир, она неправа, продолжая войну... Победившая*

нация при заключении мира может по своему выбору либо вернуть захваченное имущество, либо оставить его себе. Если она его не продала или если у неё есть средства выкупить его, не обременяя народ этой ценой, она поступает правильно, возвращая его. Но если она его продала и потратила вырученные средства на военные расходы, вызванные вторжением, она не должна заставлять народ выкупать это имущество для возврата... иначе это означало бы признание принципа, согласно которому именно ставший жертвой победитель, а не побежденный агрессор, должен оплачивать расходы на войну».

С такими взглядами ему посчастливилось избежать проскрипций 18 фрюктидора. Министр полиции представил список из пятидесяти четырех писателей и журналистов, подлежащих депортации, и господин Рёдерер был в него включен. Господину де Талейрану удалось добиться от директоров исключения его имени из списка, что послужило поводом для жутковатой шутки министра полиции: «Граждане, - сказал он директорам, - у меня теперь не сходится счет; у меня подготовлены повозки и жилье для пятидесяти четырех депортированных; вы убираете одного, дополните мой список кем-то еще». После этого был проведен пересмотр имен уцелевших журналистов, и в этот роковой список внесли Перле.

События 18 фрюктидора обескровили оба законодательных совета. Господин Рёдерер больше не мог оставаться в строю, однако он не пожелал уходить, не высказав своего мнения об этом дне. Он изложил его в своем журнале общественной экономики: *«Средство, использованное Директорией для спасения конституции, может привести к её гибели; оно открыло безграничное поле для частных амбиций»*. Последующие события полностью подтвердили эту истину.

В течение 1798 года и первых месяцев 1799 года господин Рёдерер занимался исключительно литературными и философскими трудами. Он вернулся к политическим дискуссиям 16 мая 1799 года, когда назначение Сийеса в Директорию вернуло некоторые надежды сторонникам разумной свободы.

В сентябре 1799 года господин Рёдерер опубликовал опровержение очень популярного тогда труда Ривароля против современной философии. Он выступал против системы принудительного займа, против закона о заложниках, против постановления, каравшего смертной казнью любого, кто предложит или примет условия мира, ведущие к изменению конституции или нарушению территориальной целостности.

16 октября Бонапарт вернулся из Египта. В это время все частные существования прекращаются, чтобы слиться в одно: существование человека, который тогда уберет Францию от катастрофы, которую один лишь директор Гойе имел счастье не предвидеть, благодаря иллюзии, которую он питал относительно масштабов своего авторитета и силы своего гения.

Господин Рёдерер был вызван к Бонапарту через несколько дней после его прибытия в Париж. Вместе с господином де Талейраном он способствовал перевороту 18 брюмера.

Бонапарт советовался с ним по поводу системы конституции, которую следовало установить, а также относительно людей, которых уместно было призвать к власти. Господин Рёдерер был посредником, через которого Сийес и Бонапарт объяснялись и договаривались об основах конституции VIII года, которой суждено было столь скоро измениться.

Именно господин Рёдерер определил выбор Бонапарта в пользу Лебрена на пост консула, и именно ему было поручено сообщить об этом последнему. Он был одним из первых, кто убеждал первого консула закрыть список эмигрантов. Он просил об этом и в частном порядке, и публично через «Парижский журнал». Статья, помещенная в этом издании 28 брюмера (19 ноября 1799 года), стала первым лучом надежды, открывшимся их взорам.

Вслед за 18 брюмера Бонапарт счел необходимым на некоторое время удалить пятьдесят девять членов Совета Пятисот, которые составили яростную оппозицию воле большинства; постановления от 20 брюмера и 4 фримера предписывали их депортацию. Эта мера, целью которой, вероятно, было лишь предотвращение объединения этого меньшинства, тем не менее задела чувства друзей свободы. Господин Рёдерер напечатал в «Парижском журнале» от 9 фримера (30 ноября) статью, которая начинается так: *«Это великое и благородное противодей-*

ствие честных людей суровым мерам, которые, впрочем, должны были коснуться лишь их преследователей. Оно останется в памяти - это достойное и мирное восстание общественного мнения в защиту справедливости и морали».

29 фримера господин Рёдерер опубликовал в той же газете в форме анекдота настоящий призыв консула к самому себе в защиту пятидесяти несчастных: **«Бонапарт, - гласила статья, - не раз говорил еще до 18 брюмера: Готовящаяся революция будет полной противоположностью предыдущим; она не повлечет за собой проскрипций, а, напротив, положит конец многим из них»**. Пять дней спустя постановление о депортации было отменено. Эти пять дней осужденные продержались лишь благодаря надежде, которую подарила им газета.

24 декабря господин Рёдерер был назначен государственным советником и председателем секции внутренних дел. Несколькими днями ранее его избрали сенатором, но Бонапарт убедил его не принимать это назначение. Почти три года он занимал свой пост в Государственном совете. Этот период был плодотворным на созидательные законы, в разработке которых господин Рёдерер принимал активное участие. Именно он составил закон об административном управлении и территориальном делении на префектуры, супрефектуры и муниципалитеты. Он же представил его Законодательному корпусу и обосновал его цели. Также он стал автором другого закона, чья огромная значимость так и не была оценена по достоинству и чье исполнение было слишком искусно сорвано пагубными амбициями: речь идет о законе, учреждающем систему национальных нотаблей (именитых граждан). Он представил этот проект и разъяснил его суть Законодательному корпусу. Кроме того, он выступил составителем и докладчиком по закону об учреждении ордена Почетного легиона. Тогда он не предвидел (да и кто мог предвидеть?), что итогом создания этого института станет уничтожение системы национальных нотаблей - великого замысла гения Сийеса. А ведь с этим замыслом было бы так легко, а главное, полезно согласовать орден Почетного легиона, столь восторженно принятый нацией и так соответствующий ее характеру. Господин Рёдерер всегда считал за честь, что именно ему первому доверили эту идею и что именно он представил первоначальный вариант закона Законодательному собранию.

В вопросах управления господин Рёдерер неизменно защищал свободу торговли от духа запретов и ограничений, который монополия уже тогда пыталась навязать первому консулу. Он неустанно повторял, что запрет на иностранную промышленную продукцию вовсе не помогает отечественному производству, как утверждали заурядные чиновники, а лишь потакает безрассудной тяге французских фабрикантов к роскоши, их лени, расточительности и глубокому невежеству. Он считал, что подобные меры обременяют потребителей позорной данью лишь для того, чтобы поддерживать самые предосудительные привычки людей, которые должны были бы иметь право на богатство только благодаря упорному труду, талантам, знаниям и бережливости.

Несмотря на обилие дел в Государственном совете, господин Рёдерер вместе с господином Жозефом Бонапартом и господином де Флёрьё был назначен полномочным министром для ведения переговоров о примирении с Соединенными Штатами Америки. Именно он составил мирный договор от 7 марта 1800 года и представил его Законодательному корпусу. Эти переговоры положили начало той особой связи, которая сблизила его с Жозефом Бонапартом и привела в Неаполь, где он занял пост министра финансов.

Заметка издателя (сын Рёдерера) и некоторые фрагменты о Бонапарте.

Мой отец сделал наброски мемуаров, охватывающих конец 1791-го, весь 1792-й и часть 1793 года. Работа над этим трудом была прекращена, и его место заняла «Хроника пятидесяти

дней», включенная в настоящий том. Первая глава под названием «Замысел автора» начиналась так:

«Я провел подле Людовика XVI последнюю ночь его правления, а подле Наполеона - первую ночь его власти. Я был участником событий обеих эпох: в первом случае - как верный и преданный магистрат; во втором - как заговорщик. Повторю еще раз: как заговорщик, ибо речь шла о том, чтобы низвергнуть анархию. Хотя я сам участвовал во многих делах и был очевидцем многих других, существует еще большее количество фактов, о которых я не знаю достаточно точно, чтобы говорить с уверенностью. Но так много людей писали и говорили об этих днях, ничего о них не зная, что я считаю своим долгом рассказать то немногое, что мне известно. В настоящий момент я публикую только то, что касается Людовика XVI и событий 10 августа.

Я не доживу до того дня, когда во Франции о Наполеоне будут говорить без гнева и без пристрастия, *sine ira et studio*; но мои дети увидят это время, и тогда они смогут опубликовать то, что я видел в его жизни и что я знаю о его характере...».

Мы подошли к эпохе, указанной в этих словах. Мне показалось, что их следует привести здесь в качестве вступления к последующим публикациям, о которых я уже неоднократно упоминал в предыдущих издательских примечаниях.

Первая встреча с генералом Бонапартом.

Вчера, 23 вантоза VI года (13 марта 1798 г.), я впервые увидел генерала Бонапарта. Я обедал с ним у Талейрана-Перигора. После обеда Талейран представил меня ему. Генерал сказал мне: *«Рад познакомиться с вами; я составил самое высокое мнение о вашем таланте, прочитав статью, которую вы написали против меня два года назад».*

— *«Против вас, генерал? Я не припоминаю...».*

— *«Напротив: это касается взимания контрибуций в захваченных странах. Вы были совершенно правы в принципе, но ошибались в фактах; ведь я делал именно то, о чем вы просили».*

Мы долго беседовали о **пазиграфии** и о влиянии знаков на идеи. Генерал сказал, что *«не верит, будто мы обязаны знакам хоть какой-то идеей; у нас есть лишь те идеи, которые дает нам наша природа, и ни одной больше».* Я согласился с его мнением, но напомнил ему, ссылаясь на Локка, которого он цитировал несколько раз, что знаки абстрактных понятий и смешанных определений необходимы для того, чтобы зафиксировать их, закрепить в нашем сознании, дать нам средства для их сравнения и извлечения новых идей из этого сопоставления. Он с этим согласился. Лаплас и Прони также принимали участие в этой беседе.

В тот момент, когда Лаплас начал рассказывать какой-то анекдот, генерал живо воскликнул: *«Но я здесь сгораю (он стоял, прислонившись к камину)! Позвольте мне сменить место: я не люблю, когда огонь жжет мне спину».* Кто-то ответил ему: *«Это потому, что вы к этому не привыкли».*

Вариант.

Бонапарт сказал по поводу программы Института,³⁷ что без знаков невозможно думать: Как же тогда возникла мысль о знаках? Или же: — Если идея возможна только через знаки, как же возникла сама идея знаков?

³⁷ Вопрос, вынесенный Институтом на конкурс, звучал так: «Определить влияние знаков на идеи». Премию получил господин де Жерандо, находившийся в то время в армии в чине простого гусара; эта награда принесла ему, помимо прочего, увольнение со службы. (Примечание издателя.)

Заметка редактора. В «Заметках о моей жизни для моих детей» можно прочесть следующие слова, относящиеся к вышеизложенному рассказу о том, что произошло во время первой встречи генерала Бонапарта и моего отца: «...25 июля 1796 года я опубликовал в "Journal de Paris" статью под заголовком: "Об изменении в отношениях правительства с его генералами". Эта статья содержит предсказание того предприятия, которое поставило Бонапарта во главе правительства по его возвращении из Италии. Позже он сказал мне об этом после обеда у господина де Талейрана: "Я с удовольствием читаю ваши статьи в 'Journal de Paris'; но лучшее, что вы написали - это статья против меня"».

Я приведу здесь эту статью целиком. К ней я добавлю другую, последовавшую через несколько дней (7 августа), чтобы ответить на возражение, сделанное, вероятно, под влиянием самого генерала Бонапарта. Последний во время своей встречи с моим отцом у господина де Талейрана сказал ему, как мы только что видели: «...Это касается взимания контрибуций в завоеванной стране... Вы были совершенно правы в принципе, но ошибались в фактах; ведь я делал именно то, о чем вы просили».

Сочетание этих двух статей кажется мне необходимым для правильного понимания вопроса. Мне представляется очевидным, что генерал Бонапарт намекал именно на вторую статью, поскольку он точно процитировал её заголовок, в то время как мой отец, по-видимому, относит его слова лишь к первой. Между тем первая статья рассматривает скорее политическую сторону вопроса, которую генерал (вероятно, намеренно, а также потому, что момент для обсуждения был неподходящим) фактически обошел вниманием, не упомянув вторую статью, которая в своей первой части касается исключительно финансового вопроса - единственного, к которому на самом деле применимы слова генерала.

ВЫПИСКА из «Journal de Paris» от 7 термидора IV года (25 июля 1796).

О значительном изменении, произошедшем в отношениях правительства с генералами республиканских армий, а также с квесторами или сопровождающими их комиссарами.

Я не считаю, что правительству нужны иные гарантии безопасности от своих нынешних генералов, кроме их гражданского долга. Если бы я в этом сомневался, я бы так и сказал; тем не менее, я считаю крайне полезным показать правительству, что ситуация по отношению к ним полностью изменилась; что оно теперь меньше зависит от них, чем год или даже полгода назад. Правительство никогда не должно зависеть от морального облика своих агентов; зависеть от него - значит находиться под их властью; и даже слишком доверять ему - значит развращать его. Впрочем, существуют опасности, которые нужно предвидеть, а не ждать их наступления, и о которых уже поздно говорить, когда они налицо.

Отчего же три генерала, которые на протяжении четырех лет - по ошибке ли или по убеждению - пытались вести свои войска против того, что они считали фракцией внутри правительства, были ими оставлены? При чем оставлены несмотря на привязанность солдат, основанную на уважении, доверии, общности опасностей и славы, которая установилась между ними?

Это происходит потому, что инстинкт больших масс людей заставляет их всегда видеть высшую власть там, где находятся деньги; признавать господствующей силой ту, что распоряжается государственной казной и обеспечивает нужды служителей государства.

Это происходит потому, что на протяжении всего периода господства бумажных денег правители сидели не просто на сундуках с сокровищами, а на источнике, из которого черпались все средства для расходов; им не нужно было ни у кого ничего просить; чтобы оказаться среди богатейших людей государства, им достаточно было лишь наклониться и взять.

В этом они отличались от тех правительств, чья государственная казна может пополняться только за счет частных взносов; которые не могут посягнуть на собственность и сво-

боду, не вызвав всеобщего сопротивления или не подготовив всеобщее разорение и собственный крах; у тех же была возможность не только способность самостоятельно противостоять самым яростным атакам, но и осуществлять самое полное угнетение; и правление Робеспьера - это, бесспорно, то, чем мы обязаны бумажным деньгам.

Поскольку все средства на расходы находились в центре и не поступали туда с окраин, а доходили до окраин лишь путем изливания из этого центрального источника; поскольку правительство не нуждалось в гражданах, а солдатам для удовлетворения их нужд не требовалось ничего, кроме того, что давало правительство, - любые мятежи и восстания были невозможны. Обильных вливаний ассигнаций хватило, чтобы разогнать восставший Кальвадос и дезорганизовать мятежный Юг; а регулярным войскам в менее острых обстоятельствах было достаточно увидеть, откуда идет их жалованье, чтобы сказать себе: «Мы не пойдем против правительства!».

Большим безумием со стороны заблуждавшихся генералов было желание подражать Сулле, Марию, Цезарю и перейти Рубикон. Почему Марию, Сулле и Цезарю удалось повести свои войска на Рим?.. Ответ на этот вопрос возвращает нас к обстоятельствам, очень похожим на те, в которых мы находимся сейчас.

Дело в том, что их войска оккупировали захваченные страны; они обогащались за счет вырванной ими добычи. В римской системе государственная казна, *эрарий*, пополнялась исключительно за счет контрибуций, взимаемых с побежденных народов. Деньги не шли от Сената к армиям, а поступали от армий к Сенату. Генералы и квесторы, через чьи руки они проходили, были вольны использовать их против Рима, вместо того чтобы тратить их по указанию верховной власти. Одним словом, у генералов было всё, а у правительства - ничего. Они кормили солдат, и солдаты вместе с генералами говорили: «Мы кормим правительство».

Вернемся теперь к нам самим: у нас больше нет реальных ресурсов в бумажных деньгах; у нас еще нет регулярных налоговых поступлений; у нас нет администраторов, опытных в этой области; наши законы о налогах - это хаос: всё это еще ждет своего часа и требует людей... Таким образом, нашим главным ресурсом на данный момент являются плоды войны, контрибуции с побежденных.

Всё это очень хорошо, потому что это необходимо и дает время открыть истинные источники и прочистить каналы; всё это очень хорошо, потому что это лишает врага возможности причинять вред. Но не менее верно и то, что наши генералы стали главными казначеями нации, а их сундуки - национальными казначействами. Перед нами правительство, которое вынуждено говорить: «Пришлите мне денег», вместо того чтобы говорить: «Я посылаю вам деньги» или «Я отказываю вам в деньгах».

Наличия гражданского комиссара при каждой армии было бы недостаточно для предотвращения злоупотреблений, если бы генерал был склонен их совершать. Генерал так легко может сделать своего надзирателя сообщником или жертвой! Не должен ли закон урегулировать некоторые вопросы, касающиеся контрибуций, взимаемых в неприятельской стране? Установить определенные правила их размера, сбора, использования и отчетности?

... Эта тема значительно расширяется, если рассмотреть ее вблизи... Р.

ВЫПИСКА из «Парижской газеты» (Journal de Paris) от 20 термидора IV года (7 августа 1796 года).

Я только что прочитал в газете «Редактор» (*Le Rédacteur*) опровержение - скорее показное, чем обоснованное, но, по крайней мере, разумное и достойное - моих статей об отношениях генералов с правительством и правительства с законодательным корпусом. Там отмечен факт, который мне приятно повторить и которому я спешу придать больше огласки.

А именно, что «дань, взимаемая с иностранцев, немедленно поступает в кассу агента государственного казначейства, который осуществляет её сбор; что эти средства выдаются

только в соответствии с формальностями, установленными для всех государственных расходов, и что их использование подлежит, как и все другие доходы казначейства, надзору комиссий законодательного корпуса».

Граждане с удовольствием узнают, что Директория сделала больше, чем требовала от неё конституция, и тем самым заслужила новое право на общественное уважение.

Впрочем, это никак не меняет моего тезиса; ведь он касается не самих правителей, а правительства как института. Напротив, это лишь подтверждает его, поскольку нынешние руководители почувствовали: было бы уместно и необходимо сделать то, что я хотел бы видеть закрепленным в законе.

Пусть ответят на следующий вопрос:

«Если бы Директория не проявила деликатность, добровольно подчинив иностранные контрибуции правилам казначейства, то какой закон обязал бы её к этому?».

«И если после неё другие правители захотят освободиться от этих правил, то какой закон заставит их к ним вернуться?».

Таким образом, закон необходим даже в том аспекте, который мы сейчас рассматриваем, хотя это и не единственная точка зрения, с которой следует подходить к вопросу. Здесь нам напрашивается одно размышление, и мы не станем его отбрасывать. Как получается, что правительство, которое столь часто проявляет глубокое чувство справедливости, силы и величия, иногда кажется пренебрегающим приличиями и собственным достоинством?

И, к примеру, как оно могло написать это письмо от 15-го числа генералу Бонапарту?

Было бы вполне уместно воздать должное его таланту, мужеству и гражданскому духу в то время, когда о нем распространялись оскорбительные подозрения. Но делать это следовало, не забывая о его молодости, пылкости, политической неопытности и о его положении в стране, где климат разжигает кровь французов сильнее, чем кровь местных жителей; где солдата труднее, чем где-либо еще, удерживать в дисциплине, а жителя - в терпении; в стране, ставшей погибелью для стольких армий, для множества старых и новых генералов, поглотившей столько сокровищ и славы. Все эти обстоятельства запрещают правительству ослаблять свою власть над тем, кто командует в подобном крае. Как же вышло, что руководители Французской республики вместо того, чтобы говорить с ним на языке благожелательной власти или, возможно, отеческого тона - одинаково внимательного и к обвинениям, которых он не заслужил, и к тем, которые он мог бы заслужить в будущем, - начинают с того, что вступают при нем в своего рода потасовку с людьми, нападшими на него или заподозрившими его? Кажется, они боятся, что не смогут успокоить или умиловить его, если сначала не отомстят за него. И при этом, не считаясь с сомнениями и тревогами республиканского духа (которые они путают со злонамеренной клеветой), они оскорбляют свободу прессы и мысли, тем самым унижая в самих себе величие исполнительной власти.

Как получается, что через три дня они официально публикуют письмо другого генерала, который заявляет о своей солидарности с первым? Того, кто угрожает и сыплет ругательствами от имени всех; кто называет «современными республиканцами» граждан, которые проложили и открыли ту самую траншею, по которой он с тех пор продвигался; граждан, которые уже заплатили свой долг свободе в те времена, когда её еще не существовало; которые пожертвовали своим состоянием ради родины, когда он только начинал свой путь, и которые, с честью достигнув ветеранства, находили достойное их удовольствие в том, чтобы аплодировать - нет, не герою Вандеи, как многие другие, а его прославленному миротворцу?

Странно, что правительство публикует письмо генерала по гражданскому делу, а точнее - по поводу дискуссии, которая вовсе не является юридическим делом. Какую пользу приносит генерал в споре между журналистами и властью, когда само правительство, выступая в роли журналиста, вступает в перепалку с гражданами, которых оно соизволило третировать или оскорблять как коллег по цеху? Разве официальная печать письма генерала не равносильна тому, чтобы одолжить у него перо? Разве афинский магистрат осмеливался дурно обращаться с гражданами и привлекать генералов к обвинению Мильтиадов, Фокионов или Аристидов?

То, что правительство с достоинством ставит щит своих свидетельств между клеветой и отсутствующим генералом - нет ничего более справедливого, законного и почтенного. Но литературная потасовка памфлетиста ему не к лицу, а генеральская сабля не предназначена для того, чтобы разрубать общественное мнение граждан.

Правители, я уважаю вас как высшую власть государства; более того, я чту ваши действия. Но я осмелюсь сказать вам от имени тех, кто воодушевлен теми же чувствами, и от своего собственного имени: вы обязаны перед нашим уважением оправдывать его во всем и с каждым днем заставлять нас уважать вас всё больше. Р.

27 октября 1799 года (5 брюмера VIII года).

Бонапарт говорил мне вчера (мы обсуждали проект революции, совершившейся 19-го числа): «Нет человека более робкого и мнительного, чем я, когда я составляю военный план; в такие моменты я преувеличиваю все возможные опасности и беды, которые могут возникнуть при данных обстоятельствах; я нахожусь в состоянии крайне болезненного волнения. Это, однако, не мешает мне сохранять совершенно невозмутимый вид перед окружающими; я подобен *роженице в муках*. Но когда решение принято, всё забыто, кроме того, что может привести к успеху».

По возвращении из Италии Бонапарт сказал Сиейесу: «*Я создал великую нацию*». Сиейес ответил: «*Это потому, что мы сначала создали саму нацию*».

1799 год.

В газетах пишут, что Сиейес упорно отказывается от любых должностей. Между тем Сиейес подписал конституцию, которая назначает его охранителем; следовательно, он является членом Охранительного сената. Он не мог отказаться от участия в новом режиме, будучи связан с ним как своим мужественным противодействием анархии до возвращения Бонапарта, так и содействием событиям 18 и 19 брюмера, а также идеями, которые он предложил для новой конституции.

Более того, он был заинтересован в том, чтобы эта революция, в открытии которой он столь блестяще участвовал, завершилась достойно. Несмотря на уловки, использованные для того, чтобы рассорить двух лидеров 19 брюмера, потомки увидят рядом с героем, сделавшим Францию *великой нацией*, философа, который столь много способствовал тому, чтобы сделать Францию *единой нацией*.

Он был связан с новым режимом и своей неизменной любовью к общественному порядку, к славе и процветанию отечества, а также потребностью в личном покое, который зависел от успеха новых институтов власти.

И оба они в достаточной мере доказали свое бескорыстие: Бонапарт, согласившись занять место, установленное конституцией, созданной другим человеком, а Сиейес, ограничившись тем, что занял место не первого ранга.

21 ноября 1799 года (30 фримера VIII года, 9 часов вечера).

Я был у Бонапарта. Я прочитал ему проект прокламации, который он просил меня подготовить к дню введения конституции и текст которой он мне не предоставил. Я верно следовал смыслу; я даже сохранил его слова, насколько смог. После прочтения он сказал мне: «*У меня*

есть два замечания. Первое: вы заставляете меня давать обещания, и я не хочу ничего обещать, потому что не уверен, что смогу это выполнить». «Второе: вы заставляете меня давать обещания на слишком близкий срок; есть много вещей, для которых моих десяти лет едва хватит. Нужно просто сказать: "Я должен сделать то-то, мой долг - совершить это и т. д.", и закончить словами о том, что право всех французов - судить, посвятил ли я свои усилия в течение этих десяти лет исполнению своих обязанностей».

Это не первое доказательство тонкой честности, которое дал мне Бонапарт в тех текстах, что я составлял для него, - в частности, в прокламации о событиях 19 фруктидора, по поводу которой он сказал мне: «Ваш проект делает меня более прекрасным, чем я есть на самом деле. Нужно говорить только правду».

(Примечание издателя). — Я нашел в бумагах моего отца оригинальную рукопись проекта прокламации, о котором идет речь в строках выше, - именно в том виде, в каком её продиктовал первый консул. Я счел уместным воспроизвести её здесь. В этой быстрой диктовке, сделанной с первого наброска, можно найти драгоценный образец замечательного воодушевления её автора. Я добавляю к ней проект, который мой отец представил первому консулу, как он только что упомянул; и, для полноты картины, прилагаю также редакцию, которая была принята окончательно.

Ноябрь 1799 года.

ЗАМЕТКА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОКЛАМАЦИИ К ФРАНЦУЗСКОМУ НАРОДУ.

(Продиктовано первым консулом.)

Принимая пост первого магистрата республики, я осознал обязанности, которые на себя возлагаю, и так далее. Вот цель, которой я должен достичь во время своего правления, и так далее:

- 1) Укрепить республику и так далее;
- 2) Сделать её грозной для врагов.

Чтобы укрепить республику, необходимо, чтобы законы основывались на умеренности, порядке и справедливости. Умеренность - это основа морали и первейшая добродетель человека. Без неё человек лишь дикий зверь. Без неё может существовать политическая группировка, но никогда - национальное правительство.

Порядок в доходах и расходах; и это последнее (sic) может иметь место только благодаря стабильности в административной, судебной и военной организации. Порядок оказывает наибольшее влияние на благосостояние народа. Отсутствие порядка в финансах погубило монархию и поставило под угрозу свободу, поглотив за десять лет миллиарды.

Справедливость - это истинное благо, приносимое равенством, так же как гражданская свобода является благом свободы политической. Без неё ничто не регулирует отношения между гражданами, а в её отсутствие возникают фракции. Только стабильность и сила правительства могут гарантировать беспристрастность правосудия.

Республика может стать грозной для своих врагов лишь при условии мудрости и честности в международных отношениях, а также наличия многочисленных и энергично организованных сухопутных и морских сил. Короли, олигархи, демократы - если они наши друзья, то имеют равное право на наше уважение и внимание; и чтобы иметь право требовать от них не вмешиваться в наши дела, мы не должны вмешиваться в их собственные.

Самый явный признак слабости нации - это нарушение ею своих обязательств; в таком случае её успехи могут быть лишь мимолетными. Армии, чтобы быть грозными и защищать независимость народа, должны возглавляться умелыми офицерами, что может быть лишь результатом стабильности и порядка в правительстве. Если в каждой войне новые командные

кадры заменяют прежние, дух чести в них не сохраняется; получается просто скопление людей, но уже не армия.

Военная наука и искусство войны состоят из всех наук и всех искусств. Наличие хороших офицеров также является одним из результатов политического равенства, когда законы о продвижении по службе требуют необходимых знаний и талантов. Нация, расположенная между двумя великими морями, нуждается в хорошо организованном флоте для защиты своих берегов, охраны рыбных промыслов и торговли. Именно по состоянию торговли и сельского хозяйства люди всех веков судили о счастье и благополучии наций. Ни то, ни другое невозможно в условиях политических потрясений и без сильного правительства.

**Проект господина Рёдерера, представленный первому консулу.
БОНАПАРТ, ПЕРВЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ, К ФРАНЦУЗАМ.**

Принимая пост высшего магистрата республики, я хотел признать свои обязанности: Сделать республику дорогой сердцу французов и уважаемой иностранцами - вот обязательства, которые я на себя взял.

Прежде всего я должен направить силу правительства на восстановление мощи государства, возрождение флота, энергичную организацию сухопутных и морских сил. Необходимо, чтобы твердый режим обеспечил в воинских частях и дисциплину, и ту общность привычек, славы и воспоминаний, которая связывает солдат. Необходимо, чтобы порядок продвижения по службе, который более не будет нарушаться ни политическими потрясениями, ни колебаниями разобщенного правительства, приобщал к наукам и искусствам, из которых состоит искусство войны - то огромное количество способных офицеров, которыми Франция обязана политическому равенству и чьи знания, опыт и таланты так сильно укрепляют мощь оружия.

Правительство также должно сделать республику уважаемой за рубежом благодаря мудрости своих политических взглядов, честности в переговорах, прямоте своих обещаний и верности обязательствам. Ему незачем спрашивать ни у друзей Франции, ни у тех, кто хочет ими стать, какова форма их правления. Монархия, олигархия или демократия, выступая от имени своих народов, будут иметь равное право на его признание и почтение. Если правительство создано сильным, то лишь для того, чтобы соблюдать справедливость и заставлять других её уважать; чтобы пренебрегать мимолетными выгодами, которые можно извлечь из обманутого доверия или из обязательств, навязанных силой или вырванных хитростью.

Стабильность гражданской и военной администраций позволит, наконец, навести порядок и достичь экономии в управлении государственным имуществом. Правительство обязано восстановить их любой ценой. Благополучие народа зависит от снижения налогов и правильного использования государственных доходов; именно это благополучие правительство должно обеспечить прежде всего, подтверждая тем самым правильность своих действий.

Свободное от постыдной необходимости угождать одной партии и вредить другой, оно не имело бы оправдания, если бы не гарантировало гражданам правосудие - как через беспристрастность предлагаемых законов, так и через выбор судей, ответственных за их применение, а также через постоянный дух порядка, который в административном управлении делает всё вовремя и ставит каждого человека на своё место.

Наконец, правительство должно проявлять во всём своём поведении ту умеренность, которая, скрывая силу, заставляет предполагать её наличие.

Оно должно демонстрировать её и в своих законодательных планах, и в распоряжениях, и в инструкциях своим подчинённым.

Оно должно давать её почувствовать и в необходимых строгостях, даже в самом правосудии, даже в своём стремлении творить добро и в выборе средств для этого.

После стольких излишеств и бедствий правительство должно смягчать любые страдания, успокаивать все страсти, сближать все интересы и, проявляя умеренность по отношению к гражданам, навязывать её им самим своим примером.

Граждане, таковы мои обязанности; французам надлежит судить, посвящены ли десять лет моей службы их выполнению.

Окончательная редакция.

БОНАПАРТ, ПЕРВЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ, К ФРАНЦУЗАМ.

Сделать республику дорогой сердцу граждан, уважаемой иностранцами и грозной для врагов - таковы обязательства, которые мы взяли на себя, приняв пост высшего должностного лица. Она будет дорога гражданам, если законы и акты власти всегда будут проникнуты духом порядка, справедливости и умеренности.

Без порядка управление - лишь хаос: нет ни финансов, ни государственного кредита; вместе с государственным достоянием рушатся и частные состояния. Без справедливости существуют лишь партии, угнетатели и жертвы.

Умеренность придает величественный характер как правительствам, так и народам; она всегда сопутствует силе и служит залогом долговечности общественных институтов. Республика будет внушительной в глазах иностранцев, если она сумеет уважать в их независимости право на свою собственную независимость; если её обязательства, подготовленные мудростью и данные искренне, будут соблюдаться с верностью.

Наконец, она будет грозной для врагов, если её сухопутные и морские силы будут крепко организованы; если каждый из её защитников найдёт семью в том подразделении, к которому он принадлежит, а в этой семье - наследие доблести и славы; если офицер, получивший образование в ходе долгих трудов, обретет через регулярное продвижение по службе награду, достойную его талантов и заслуг.

От этих принципов зависят стабильность правительства, успехи торговли и сельского хозяйства, величие и процветание народов. Развивая их, мы наметили правило, по которому нас следует судить. Французы, мы изложили вам наши обязанности; вам решать, исполнили ли мы их.

Ноябрь или декабрь 1799 года.

Вскоре после своего возвращения из Египта, еще будучи временным консулом, Первый консул однажды вечером сказал нам в Люксембургском дворце: «Мне стоило бы написать страниц пятьдесят об искусстве войны; думаю, они были бы новыми и полезными».

7 нивоз VIII года (28 декабря 1800 года).

Сегодня вечером после обеда Бонапарт спросил меня, как, по моему мнению, идут дела. Я ответил, что состав Законодательного корпуса вызывает беспокойство. Тогда я, в свою очередь, спросил его, почему он не оказал большего влияния на выбор кандидатов? Он ответил: «Я не знал достаточного количества людей, способных составить достойное большинство, и не хотел иметь ничего общего с неудачным подбором кадров. Если из этого выйдет что-то плохое, пусть винят других, а моя репутация останется безупречной».

25 июля 1800 года (6 термидора VIII года).

Бонапарт, которому Камбасерес говорил на заседании своего частного совета 6 термидора VIII года: «Если вы разрешите работать в декади и отдыхать в воскресенье, все будут отдыхать в воскресенье», ответил: «Когда француз стоит перед выбором между страхом перед жандармами и страхом перед дьяволом, он выбирает дьявола; но когда он стоит между дьяволом и модой, он выбирает моду. Итак, если правительство будет вести себя правильно, всё, что оно делает, станет модным; и если оно будет праздновать декади, то и остальные последуют его примеру».

ПОЕЗДКА В МОРФОНТЕН.

С 28 по 31 июля 1800 года (с 9 по 12 фрюктидора VIII года).

Первый консул прибыл 9-го числа в шесть часов вечера к своему брату Жозефу в Морфонтен. Там уже находились мадам Бонапарт, её дочь Гортензия, мадам Мюрат с мужем, генерал Бессьер и Евгений Богарне, прибывшие накануне. Также там были трибуны Мио, Станислас и Брежи Жирарден, а также несколько актеров Оперы и Театра Республики.

Я тоже приехал туда 9-го, около двух часов.

В десять часов, 9-го числа, Люсьен Бонапарт, который не появлялся в Париже десять дней, приехал из Плесси, рассчитывая застать Первого консула. Он пробыл до двух часов и уехал в Париж. Они разминулись в пути и совсем не разговаривали. Похоже, в данный момент они в плохих отношениях.

Перед обедом Первый консул взял меня в парк, и мы вместе обошли его. Он сообщил мне, что назначил Трюге государственным советником и вскоре назначит других. Он сказал, что думает о Порталисе и Тибодо, добавив, что отправит одного государственного советника префектом в Бордо. Он говорил со мной о мерах, которые необходимо принять, чтобы помешать вычеркнутым из списков эмигрантам выкупать свое имущество, учитывая важность сохранения на стороне революции около 1 200 000 приобретателей национальных имуществ. Я умолял его избегать мер, напоминающих революционный режим, которые могли бы запятнать его безупречную репутацию.

В половине седьмого сели за стол. Первый консул усадил меня рядом с собой. Он спросил, много ли я пью и крепкая ли у меня голова. Он наполнил мне бокал вином Романе и убрал стоявший рядом со мной графин. «Я, - сказал он, - могу выпить четыре такие бутылки, и голова у меня не затуманится». Во время ужина он спросил Брежи Жирардена, не учился ли тот в военной школе одновременно с ним.

— «Да, генерал», - ответил Брежи.

— «В то время, - сказал Бонапарт, - там был один немец-остолоп, который никогда не хотел давать мне пересдавать, потому что, по его словам, я был сущим тупицей... В те же времена я раздавал неслабые тумачи, не так ли, гражданин Жирарден?»

— «Генерал, я не помню. Когда я их получал, я платил тем же!».

Во время обеда между консулом и мной шел довольно долгий разговор вполголоса. Я не очень хорошо помню его тему, но знаю, что оспаривал один тезис, который он часто выдвигает, а именно: что его власть основана на воображении французов. «Это ошибка, - ответил я ему. - На вашей стороне здравый смысл, осознание ими своих интересов и нужд, но отнюдь не восторженность. Поразительно даже то несоответствие между уважением, восхищением и признательностью, которые к вам питают, и той степенью энтузиазма, которую вы пробовали. Приветственные возгласы, которые вы слышали, - ничто по сравнению с теми, что вызывал Лафайет в 1789 и 1790 годах, хотя он и не сделал ничего существенного для общего блага».

Тогда играло воображение. Сегодня же на французов воздействует глубокое чувство вашей полезности и необходимости».

Я счел эту истину полезной, поскольку мнение, ставящее преданность французов в зависимость от их воображения, неизбежно должно толкать к необычным действиям; тогда как убежденность в том, что они привязаны к вам из благодарности за оказанные услуги, должна вести к преумножению и закреплению этой полезности.³⁸

10-го числа была охота на лис. Мадам Бонапарт приехала верхом. Пока консул был в лесу, преследуемая лиса пробежала мимо мадам Бонапарт и меня. Когда консул вернулся, она сказала ему: «Бонапарт, я видела лису; она пробежала здесь».

— «Ну что ж! Ты не испугалась? - ответил консул, - Рёдерер был там».

Я припоминаю в этот момент то, что он говорил мне в частном порядке 9-го числа за обедом. Вот его слова: «У нас новости из Египта. Клебер был убит турком, который подавал ему петицию. Мену принял командование... Клебер был убит в тот же день и в тот же час, что и Дезе. Какое странное совпадение! Оба моих заместителя убиты в один миг! Это были достойные люди, но очень разные. Дезе был человеком первого ряда. Клебер заставил себя ненавидеть в Египте. Он выставлял напоказ чрезмерную роскошь. Он находил мой дом слишком скромным для него. Я проводил вечера, занимаясь теологией с беями, говоря им, что есть только бог Магомета и что абсурдно верить, будто трое составляют одно. У меня на огне всегда было семь кофейников с кофе и сахаром. Турок никогда не заходил ко мне, не выпив кофе с сахаром (бедняки у себя дома пьют его без сахара). Я принимал их во второй комнате; Клебер принимал их только в пятом зале и никогда не беседовал с ними... Дезе стал бы первым генералом французских армий... У него в Маренго было предчувствие смерти. Я видел его мрачным; и так как вокруг меня в решающий момент было много беспокойства, я специально спешил и сказал ему: "Присядем на минуту на траву, чтобы показать мое спокойствие". Именно в этот момент Дезе сказал мне: *Ядра меня больше не узнают*. Я снова сел на коня; и увидев, что пришел момент действовать, я скомандовал маневр, и как только он начался, Дезе был сражен пулей... Я сам очень верю в предчувствия... и у меня есть предчувствие, что я полностью завершу свое предприятие и оставлю Францию могущественной и процветающей».

2 августа 1800 года (14 термидора VIII года).

Бонапарт. — Вот список амнистированных из Вандеи. Я не совсем понимаю, что делать.

Рёдерер. — Амнистия означает забвение. Предоставив условную амнистию, она перестает быть действующей только со дня выполнения условия: но с этого самого дня наступит полное забвение, и никаких писем, ни помилований, ни отмен приговоров, ни милостей, как

³⁸ (Примечание издателя). Та же мысль воспроизведена в следующей заметке, очевидно, предназначенной для подтверждения этой. Она определенно была написана с тем же намерением и в то же самое время:

«У Бонапарта сложилось высокое представление о силе воображения. Именно это он проверял на своих солдатах. Это знание часто бывает очень полезным, но в нем таится и опасность. Когда солдатами управляют через воображение, их естественным образом подталкивают судить о других людях по себе. Однако это совсем другое дело: молодость солдата, его совместная жизнь, присутствие общей опасности, эмуляция, пробуждающая жажду славы, которая открывается самому великому и самому счастливому, - все это крайне благоприятно для порывов воображения. Но граждане в массе своей, менее сближенные друг с другом, менее объединенные общими интересами даже в своем соперничестве, руководствуются только разумом или чувством личной выгоды. Существует большая опасность ошибиться в этом принципе управления людьми. То, что обращено к воображению, может показаться подозрительным холодному рассудку; и великий человек, впадающий в это заблуждение, заслуживает тем большего сочувствия, что он может очень некстати пасть духом, когда решит, что общественное воображение больше не на его стороне, хотя на самом деле ему так же легко удовлетворить разум, как и увлечь воображение».

вам предлагали вначале. По сути, следовало бы точно выяснить мотив объединения тех, кто вызывает у вас беспокойство.

Бонапарт. — Их мотив это страх, что я умру, и что якобинцы возьмут верх; а под якобинцами они понимают вас и всех, кто не принадлежит к их кругу. Они хотят быть организованными на любой случай, чтобы либо прийти мне на помощь, либо установить другое правительство.

Рёдерер. — Я скорее полагаю, что они сохраняют свою организацию только ради того, чтобы не лишиться жалованья, которое им платит Англия. Им очень приятно иметь несколько сотен тысяч экю, которые можно разделить между собой.

Бонапарт. — Да, это может входить в их планы, но это еще не все.

Рёдерер. — Если их беспокойство вызвано тем, что они не видят достаточной стабильности в правительстве, то они не единственные, кто разделяет это чувство. Как только тревога войны уступит место размышлениям о политическом существовании власти, все зададутся вопросом: «Чем это закончится? Кто станет преемником Бонапарта? Если бы он умер завтра, что стало бы с нами? Если он завершит свой путь, кто придет после него?». Нужно, чтобы у вас видели естественного наследника...

Бонапарт. — То, что вы сейчас говорите - это рассуждения не слишком сильного политика. Наследственность никогда не устанавливалась законом... Она всегда устанавливалась по факту... То, что вы предлагаете, во-первых, приносит много вреда, а во-вторых, совершенно не соответствует истине...

Рёдерер. — То, что я говорю здесь, я не говорю в других местах.

Бонапарт. — Ну что ж! Это все равно лишено смысла. Я много размышлял над всем этим до и после Маренго и убедился, что в существующем порядке ничего менять не нужно. Никто не заинтересован в свержении правительства, в котором каждый, кто обладает заслугами, находит свое место. Вы, остальные, не знаете, что такое правительство, у вас нет об этом ни малейшего представления. Только я, благодаря своему положению, знаю, что это такое. Французами могу управлять только я. Я убежден, что никто другой, будь то Людовик XVIII или даже Людовик XIV, не смог бы в данный момент управлять Францией. Если я погибну - это несчастье!

Рёдерер. — Я вовсе не говорю об изменении конституции или о том, чтобы закон назначил вам наследника. Я лишь говорю, что во Франции было бы больше безопасности, если бы рядом с вами видели естественного наследника.

Бонапарт. — У меня нет детей.

Рёдерер. — Их можно обрести через усыновление.

Бонапарт. — Это не решает текущей опасности.

Рёдерер. — Но это обеспечивает безопасность в будущем.

Бонапарт. — Тщательно все обдумав, я нашел только один осуществимый вариант: чтобы сенат избрал человека, способного занять мое место; чтобы результаты голосования были известны только трем сенаторам и мне. Но кого назначить?

Рёдерер. — Это не исправит ситуацию в будущем. Естественная наследственность при такой конституции, какая будет у нас, когда утвердится система нотаблей, ни в чем не противоречит свободе, республике и самому духу конституции. Если бы я был сенатором и мне пришлось бы назначать вашего преемника, я бы выбрал двенадцатилетнего ребенка.

Бонапарт. — Почему ребенка?

Рёдерер. — Потому что я хотел бы, чтобы он стал вашим ребенком, чтобы вы могли воспитать его и полюбить.

Бонапарт. — У меня нет детей, и я не чувствую ни потребности, ни интереса в том, чтобы они были. У меня нет семейного духа. Больше всего во время сражения при Маренго я боялся, что в случае моей гибели мне наследует один из моих братьев. Нет, осуществима только идея назначения сенатом, как я вам только что сказал. И нужно, чтобы это назначение делалось всего на один год.

Рёдерер. — Это первоначальная идея Сийеса.

Бонапарт. — За тем исключением, что он предлагал назначать на три года, и консул не знал своего преемника.

Рёдерер. — Я понимаю, что если бы в ближайшее время случилось несчастье, человек, которого считали бы вашим ставленником, уже в силу этого пользовался бы огромным авторитетом, и в нем уважали бы власть, переданную вами.

Бонапарт. — И кого же назначить? Говорят, если бы я погиб при Маренго, Сенат назначил бы Карно? Что ж, Карно, возможно, был бы лучше другого.

Рёдерер. — У Карно есть талант. Он хорошо проявил себя во время своего членства в Директории. Но французская нация никогда не почувствует себя свободной и уважаемой под властью бывшего члена Комитета общественного спасения.

Бонапарт. — Если бы Карно был по вкусу всем...

Рёдерер. — Обо всем этом говорили и слышали не более тридцати-сорока человек.

Бонапарт. — И кто же это был?

Рёдерер. — Партия недовольных брюмерянцев.

Бонапарт. — Это были не якобинцы?

Рёдерер. — Нет, я имею в виду именно брюмерянцев - то есть людей, которые, приняв участие в событиях 19 брюмера, связали свою судьбу с вашей. Но я добавляю «недовольных», потому что именно они, поспособствовав успеху в день Брюмера, были раздосадованы тем, что не получили от этого самых почетных плодов. Это Шенье, Шазаль и другие.

Бонапарт. — Что ж, эти люди не заинтересованы в разрушении моего дела; это всё, что требуется от моего преемника. Если он будет слаб, у моих друзей по крайней мере будет время принять меры предосторожности и договориться между собой.

Рёдерер. — Генерал, вы только что сказали, что я плохой политик, раз желаю вам естественного наследника. Позвольте мне говорить откровенно. Если вы намерены упорствовать в убеждении, что только вы один можете управлять Францией, и что любой Бурбон, кем бы он ни был, окажется здесь бессилён, то вся моя политика лишена смысла. Но если бы ваше мнение изменилось; если бы вечно возрождающиеся фракции и тревожные интриги заставили вас взглянуть на престиж наследственной власти как на нечто необходимое для управления невежественным народом; если бы вы сочли, что для возвращения ему некоторого покоя нужно вернуть его к старым предрассудкам и старым привычкам... Я не хочу оскорблять вас предположением, что вы поддались бы этой мысли. Но разве нельзя простить большинству людей мнение, что наличие естественного или приемного наследника остановило бы вас, и что вы сами устояли бы перед искушением...?

Бонапарт. — Мой естественный наследник - это французский народ. Это моё дитя. Я трудился только для него. Что бы ни случилось, я никогда не передам власть претенденту, потому что, как я уже говорил, он не способен управлять Францией, и потому что это значило бы принести в жертву моих друзей... Нет, сколько бы вы об этом ни думали, вы найдете лишь одно разумное решение - провести те выборы, о которых я говорил вам ранее. И всё же, кого выбрать? Кого назначить? Если бы Моро был другим человеком! Но у него совсем нет друзей. Со времени окончания кампании он пять раз менял круг приближенных. Охранительный сенат должен быть сильным. Но он никуда не годится, с ним ничего нельзя поделать. И я не знаю, кого туда назначать. Сейчас там есть вакантное место, и я не знаю, кого предложить.

Рёдерер. — Нужно постараться найти тактика, который умеет руководить собранием.

Бонапарт. — А что во всем этом делает Сийес?

Рёдерер. — Сийес, кажется, ведет очень уединенную жизнь. Я видел его несколько недель назад, когда вы были в Италии. Он сказал мне буквально следующее: «Поразмыслив как следует, я, право слово, убедился, что для восстановления дел требовался один-единственный человек, и этим человеком мог быть только Бонапарт. Я думал так давно, но, исходя из принципа, окончательно убедился в этом, лишь наблюдая за событиями внутри страны и за её пределами». - Генерал, вы придете в Государственный совет?

Бонапарт. — Через минуту.

12 августа 1800 года (24 термидора VIII года)

В ходе дискуссии, состоявшейся в Государственном совете по вопросу организации морского ведомства, Первый консул сказал: «Я считаю, что духу морской торговли не хватает гордости, необходимой для командования национальным флотом; что Дюге-Труэн - лишь исключение; что человек, прослуживший сорок лет лоцманом, не годится для того, чтобы командовать кораблем; что тот, кто подчинялся сорок лет, не пригоден для командования. В этом отношении я придерживаюсь мнения, противоположного остальным: говорят, что для того, чтобы уметь командовать, нужно уметь повиноваться. Я считаю, что тот, кто в течение сорока лет умел только подчиняться, утрачивает способность командовать; нельзя доверять управление кораблем человеку, который, не имея опыта командования, в трудной ситуации просто не будет знать, что делать».

16 августа 1800 года.

Заседание Государственного совета от 28 термидора VIII года (16 августа 1800 года), касающееся колоний. Марбуа утверждал, что больше не следует говорить о свободе свободных негров во французской части Сан-Доминго. Бонапарт настаивал на том, что им необходимо вновь её гарантировать. Он сказал:

«Вопрос не в том, чтобы выяснить, хорошо ли отменять рабство, а в том, хорошо ли отменить свободу в той части Сан-Доминго, где она уже существует. Я убежден, что этот остров перейдет к англичанам, если негры не будут привязаны к нам интересом к собственной свободе. Возможно, они будут производить меньше сахара, чем когда были рабами; но они будут производить его для нас и, в случае необходимости, послужат нам солдатами. Если у нас станет одной сахарной плантацией меньше, зато мы получим лишнюю цитадель, занятую дружественными войсками.

Моя политика - управлять людьми так, как того желает большинство. В этом, я считаю, и заключается способ признания народного суверенитета. Сделавшись католиком, я закончил войну в Вандее; став мусульманином, я утвердился в Египте; став ультрамонтаном, я привлек на свою сторону умы в Италии. Если бы я правил еврейским народом, я бы восстановил храм Соломона. Поэтому я буду говорить о свободе в свободной части Сан-Доминго; я подтверждаю рабство на Иль-де-Франс и даже в рабской части Сан-Доминго; при этом я оставляю за собой право смягчать и ограничивать рабство там, где я его сохраняю, а также восстанавливать порядок и вводить дисциплину там, где я сохраняю свободу».

18 августа 1800 года. В Мальмезоне, в саду, 30 термидора VIII года.

Бонапарт. — Я собираюсь построить здесь зал. Для людей, занимающих высокие должности, нужны большие дома, а сейчас они толпятся в этой первой комнате. Это неприятно.

Рёдерер. — Вы слишком надолго отложили вопрос о принятии Сен-Клу. Вы могли бы занять его еще во время мира.

Бонапарт. — А на что бы я его обставил? Знаете ли вы, сколько у меня просят за обустройство Тюильри? Два миллиона! Это грабители. Поэтому я запретил представлять мне счета, пока их не сократили до 800 000 франков. Меня окружают мошенники...

Рёдерер. — Общие операции обходятся вам дороже, чем домашние кражи.

Бонапарт. — Я вынужден еще пристальнее следить за расходами, которые касаются меня лично.

Рёдерер. — В этом году вы, пожалуй, потеряли 50 миллионов на прямых налогах из-за падения доверия к обязательствам сборщиков. Я не стану настаивать больше, чем это уместно, на идеях, которые я вам уже излагал; но я думаю, что если бы вы не уничтожили амортизационную кассу, она бы поддержала эти обязательства на паритетном уровне, вместо того чтобы позволить им расти до 5 процентов в месяц.

Бонапарт. — Эта касса проводила довольно удачные операции. Она амортизировала 6 миллионов консолидированной трети, а также изъяла часть долговых обязательств.

Рёдерер. — Да, но всего лишь на несколько сотен тысяч франков.

Бонапарт. — Эту операцию провел Банк.

Рёдерер. — Не в интересах Банка повышать стоимость государственных ценных бумаг. Там есть группировка, которая стремится к дивидендам; её интерес в том, чтобы играть как на понижение, так и на повышение.

Бонапарт. — Воруют все; мне никто не помогает. Министры слабы. Наживаются огромные состояния.

Рёдерер. — Без сомнения; но скандал уменьшается тем, что они тратятся так же быстро, как и приобретаются, ибо талант сохранять - это не то же самое, что талант грабить.

Бонапарт. — Нужно было бы, чтобы в высших ведомствах состояние чиновников было обеспечено; ведь ужасно лишиться положения и несправедливо обрекать людей на падение с высоты.

Рёдерер. — Оба консула могут делать сбережения.

Бонапарт. — У них есть сто тысяч экю, и они их тратят. Кроме того, есть братья, сестры, дети и так далее. Мне самому нужно немного. Когда человек прошел через столько войн, хочет он того или нет, ему необходимо иметь небольшое состояние. У меня восемьдесят или сто тысяч ливров годового дохода, городской дом и загородный - другого имущества мне не нужно. Если бы я был недоволен французским народом или народ был бы недоволен мной, я бы удалился в свое поместье, и на этом всё... Но это лишь предположение, ибо до сих пор народ меня баловал; он предвосхищает мои желания так же, как я - его, и я преисполнен благодарности к нему.

Рёдерер. — Не все такие, как вы. Уважение заменяет собой богатство и освобождает от многих расходов. Кроме того, вы обрели независимость в отсутствии многих потребностей, в то время как многие другие находят её лишь в обладании огромными богатствами. Бывают люди, которые прикрывают именем любви к независимости жадность, заставляющую их копить миллионы.

Бонапарт. — Как же быть? Эта страна развращена, и так было всегда. Когда кто-то становился министром, он строил себе замок.

Рёдерер. — Не всегда, ведь на высокие посты выбирали богатых людей. Тюрго, Неккер, Жоли де Флёри не строили замков за государственный счет. У Калонна ничего не было - это исключение, которое часто приводят. Впрочем, в республике чистота нравов важнее, чем в монархии.

Бонапарт. — Как добиться чистоты нравов? Есть только один путь, восстановить религию.

Рёдерер. — Я считаю религию необходимым помощником правительства, но она не должна быть господствующей или тиранической.

Бонапарт. — Разумеется... Но как поддерживать порядок в государстве без религии? Общество не может существовать без неравенства состояний, а неравенство состояний не может сохраняться без религии. Когда один человек умирает от голода рядом с другим, который пресыщен и утопает в роскоши, он не сможет примириться с этой разницей, если нет власти, которая скажет ему: «Так угодно Богу; в мире должны быть бедные и богатые, но позже, в вечности, всё будет распределено иначе». Я получил премию в Лионской академии за ответ на вопрос о том, какими способами можно сделать людей счастливыми. Представим двух моло-

дых супругов, у которых есть дети; они идут к нотариусу, чтобы узнать, почему у них нет ничего, а у других - слишком много. Тот показывает им цепочку актов передачи собственности. Молодые люди всё это отвергают. И потом, если правительство не властвует над священниками, ему следует их опасаться. Вы, метафизики, в этом отношении глубоко заблуждаетесь.

Рёдерер. — В чем именно, генерал? Хотелось бы понять, отношусь ли я к их числу.

Бонапарт. — Я говорю о вас так же, как о политиках вообще. Они думают, что священников нужно оставить в покое: не заниматься ими, пока они ведут себя тихо, и арестовывать, когда они начинают сеять смуту. Это все равно что сказать: «Вот люди с зажженными факелами вокруг вашего дома; не трогайте их; а если они подожгут его, тогда вы их арестуете». Нужно удерживать вождей через их личную выгоду; государство должно платить им жалованье, как раньше платило епископам.

Рёдерер. — Епископы владели земельными угодьями. Именно Учредительное собрание заменило это на жалованье. Выплаты сделают их более зависимыми. Смит, к слову, убедительно доказал, что священники, получающие плату от государства, менее опасны для народа и менее суеверны, чем те, чей доход основан на легковерии - ведь такие священники заинтересованы в том, чтобы запугивать людей напрасными страхами или льстить им ложными надеждами. Но мы только что говорили об экономии, а это будет стоить дорого.

Бонапарт. — Нет. Им и сейчас платят. Их содержание будет рассчитываться исходя из количества прихожан, записавшихся в общину... В конституции есть одна крайне неудачная статья расходов - четыре миллиона на Трибунал. Зачем нужен этот орган из ста человек, бесполезный и нелепый, когда всё идет хорошо, и сеющий смуту, поднимающий настоящий набат, когда что-то идет не так? Нужно сократить этот орган до тридцати членов и проводить заседания закрыто, если только они не проходят перед законодательным корпусом».

Рёдерер. — Я всегда так считал и очень часто говорил об этом прямо здесь, на этой самой аллее, Кабанису, который не видел в этом никакой опасности.

Бонапарт. — Кабанис, Сийес - это всё метафизики и фанатики!

28 августа 1800 года. - В Эрменонвиле, 10 фруктидора VIII года.

Бонапарт посетил Эрменонвиль. Его проводили в комнату, которую занимал Руссо и где он скончался. Бонапарт сказал Станисласу (Жирардену): «Ваш Руссо был безумцем; именно он привел нас к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся».

— «Но нам сейчас не так уж и плохо», - ответил Жирарден.

9 вандемьера IX года (1 октября 1800 года).

Бонапарт вызвал меня к себе в девять часов вечера, чтобы сообщить, что он не одобряет название «Предварительный договор», данное соглашению, заключенному с американцами, и что он не ратифицирует его под таким заголовком. Господин Лафоре также был вызван по этому же вопросу. Ему поручили отправиться к американским министрам и представиться от имени министра иностранных дел, чтобы заявить о неуместности такого названия и предложить заменить его словом «конвенция», без чего министр не мог надеяться на ратификацию со стороны первого консула.

Первый консул, настаивая на исключении слов «Предварительный договор», сказал нам: *«Я знаю, когда нужно отступать от формальностей, а когда - придерживаться их. Я настаиваю на этом в договоре, который должен предшествовать многим другим; я не придаю этому значения в переговорах, где речь идет о том, чтобы расположить общественное мнение в свою*

пользу. Например, я прекрасно знал, что полномочия господина де Сен-Жюльена были не в порядке, когда ратифицировал подписанные им предварительные условия мира. Но мне было очень выгодно выставить императора виноватым в глазах всей Европы, и это мне удалось».

Пока господин Лафоре выполнял свое поручение, мы оставались с первым консулом в его спальне - Маре, государственный секретарь, и я. Мы провели там около двух с половиной часов. Жозеф Бонапарт, который был у консула, когда я пришел, ушел через час ужинать в другую комнату. В его отсутствие первый консул говорил с нами о самых разных вещах. Он жаловался на префекта Шарля Лакруа, который прислал сюда Гране в качестве депутата на праздник вандемьера. Первый консул ясно заметил, что у него дома, во время обеда, его коллеги держались от него в стороне.

Это привело нас к разговору о якобинцах. Я сказал ему: «Пока вы будете назначать их лишь по десять процентов на число порядочных людей, дела будут идти хорошо». Он ответил: «Их нет и пяти процентов». Он спросил меня, почему газета «*Journal de Paris*» стала такой плохой, ведь в ней значатся два имени, подобных нашим. Маре ответил: «Мы владельцы газеты, а не журналисты». Я же ответил: «Вам говорят, что она плохая, но не стоит этому верить».

— (Смеясь.) «Вы думаете, что я как принцы и не знаю ничего, кроме того, что мне говорят? Я сам читаю эту газету».

— «Что ж, генерал, в ней много полезного; в частности, позавчера там дали ясно почувствовать, насколько противоречит государственному кредиту смешение долга и пенсий».

— «Как! Вы считаете пенсию менее священной, чем долг?».

— «Гораздо более, напротив; но когда приостанавливают выплату пенсии, вред наносят только пенсионеру, а когда приостанавливают выплату по долгу, наносят вред кредитору и кредиту, то есть самому себе. Беречь кредит - значит обеспечивать пенсии. Выплачивать пенсии - не значит обеспечивать кредит».

— «Было бы прекрасно опубликовать в «*Journal de Paris*» письмо, которое мне написал Людовик XVIII, и мой ответ. Его письмо очень красивое, действительно очень красивое; но я составил свой ответ соответствующим образом, и он тоже весьма хорош».

— «Генерал, от этого меня бросает в дрожь».

— «Вы неправы. Передать Францию Людовику XVIII было бы поступком предателя...»

.....

В ходе беседы консул произнес такую фразу: «Вот уже скоро год, как я правлю. Я закрыл Манеж, оттеснил врагов, навел порядок в финансах, установил порядок в управлении и не пролил ни единой капли крови».

Человек праведный и добрый, с осознанием такого пути ты можешь жить счастливо и спать спокойно!

Первый консул увидел на кресле сложенный мундир. Он взял его и развернул. Это был мундир полковника консульской гвардии. «Рёдереру не нравится, - сказал он, - когда я ношу военную форму; но этот я заказал специально для поездки в Морфонтен. У меня также есть мундир государственного советника; я надеваю эти одежды, когда хочу оказать почтение государственным органам. Я хочу примерить этот» (Он раздевается и надевает мундир). «Красивый мундир! (Глядя на себя в зеркало). Нет ничего, что я считал бы более прекрасным, если не считать моего мундира артиллерийского офицера».

Октябрь 1800 года

Франция находилась в состоянии войны с Соединенными Штатами Америки. В марте 1800 года первый консул назначил своего брата Жозефа, Флёрье и меня полномочными министрами для ведения переговоров и заключения мирного договора с господами Эллсвортом, Дейви и Ван Мюрреем, полномочными министрами Соединенных Штатов. Переговоры по этому договору длились около семи месяцев (подписание состоялось 3 октября 1800 года).

Именно я составлял все официальные ноты, которыми обменивались с американскими министрами, и все отчеты, которые представлял первому консулу министр иностранных дел господин де Талейран. Я же редактировал текст договора, представлял его в Законодательный корпус и поддерживал его обсуждение в Трибунале. С момента заключения этого договора добрые отношения между Францией и Соединенными Штатами не нарушались.

В период подписания договора, которое проходило в Морфонтене у Жозефа Бонапарта, были устроены празднества,³⁹ на которых присутствовал первый консул. Он приказал министру иностранных дел передать от своего имени каждому из американских министров шкапу со своим вензелем стоимостью 40 000 франков. Министр должен был исполнить это распоряжение на следующий день после подписания, но одно происшествие помешало этому. В сам день подписания, когда французские и американские министры собрались вместе с многочисленным обществом в салоне Морфонтена,⁴⁰ где находился первый консул, прибыл префект департамента Уаза господин Камбри, чтобы засвидетельствовать свое почтение первому консулу. Несколькими днями ранее в его департаменте была обнаружена значительная коллекция золотых медалей,⁴¹ относящихся к разным эпохам Римской республики. Префект преподнес первому консулу полную ими корзину. Консул спросил господина Камбри: «Действительно ли эти медали редки и драгоценны?». Камбри ответил, что не все они таковы, но очень многие встречаются редко, а некоторые, возможно, уникальны. «В таком случае, - возразил первый консул, - нет ничего лучше, чем сделать из этих реликвий великой республики подарок гражданам американских республик». И он взял три горсти медалей, которые раздал трем американским министрам. Через четверть часа после этого вежливого жеста было замечено, что три министра, удалившись в оконную нишу вместе с секретарем своей комиссии, американцем, как и они, и назначенным президентом Соединенных Штатов, ведут весьма оживленную беседу, хотя и вполголоса. Вскоре они сами сообщили нам предмет этого разговора. Секретарь их комиссии упрекал их в том, что они отступили от требования американской конституции, которая запрещает любому участнику переговоров и даже любому послу принимать подарки от иностранного двора или кабинета министров.

Есть основания полагать, что, задетый тем, что его не включили в раздачу, он примешал долю горечи к доводам, продиктованным его республиканской щепетильностью: по крайней мере, пыл первых минут беседы давал основания так полагать. Тем не менее, трое министров в конце концов разделили мнение секретаря комиссии. Они поручили французским министрам известить об этом Первого консула и просить его благосклонно отнестись к тому, что они возвращают полученные медали. Первый консул велел ответить им, что он не собирался делать им дипломатический подарок: он вручил американским полномочным представителям не просто золото, а реликвии свободного народа самым свободным людям из всех, что живут в обществе на этой земле. На этом дело и закончилось. Трое американцев оставили медали у себя, но господин де Талейран так и не рискнул предложить им подготовленные шкапушки.

Первый консул сказал мне по этому поводу: «Мне жаль, что так вышло для вас; вы теряете равноценный подарок, который они должны были сделать в ответ». Он выплатил Флёрё и мне вознаграждение в размере 15 000 франков.

Именно в ходе этих переговоров завязались отношения, связывавшие меня с Жозефом Бонапартом вплоть до его воцарения в Испании. Он оказал мне доверие. Ему я обязан честью продемонстрировать в управлении финансами Неаполя свои способности, бескорыстие и истинное рвение к общему благу и чести имени Бонапарта. Я всегда искал случая и возможности

³⁹ Одно из этих празднеств, данных в малом парке, было зарисовано и выгравировано Пиранези. Его гравюра довольно точна, но на ней изображен алтарь, на котором министры двух стран присягают договору: ничего подобного на самом деле не было.

⁴⁰ В то время никто не осмелился бы назвать это собрание двором, но это был именно он, блестящий и весьма почтительный.

⁴¹ Оценены в 600 000 франков. См. «Парижскую газету» (Journal de Paris) от 7 октября 1800 года. (Примечание издателя).

быть ему полезным. Полагаю, что я не раз оказывал ему услуги перед Первым консулом и никогда не вредил ему. Я также могу порадоваться личной близости, возникшей тогда с господином де Флёрьё, нашим коллегой - человеком глубоких знаний, выдающегося ума, чья скромность и бескорыстие заставляли его смотреть на самые заслуженные отличия и награды как на милости, превышающие его заслуги.

ВОЕННЫЕ ПРАВЫ.

29 вандемьера IX года (21 октября 1800 г.)

Как случилось, что наши войска, состоящие из пылкой молодежи, привыкшей к стремительным и беспорядочным маневрам войны, вышедшей из вражеских стран, с которыми они обращались как с таковыми, и еще недавно преданной лагерному произволу, - как случилось, что эти люди, чье возвращение наводило ужас на граждан и страх перед которыми долго служил предлогом для правителей, постоянно оттягивавших мир, стали сегодня более дисциплинированными, мирными и дружелюбными к согражданам, чем прежде в период полного мира? И это при том, что тогда ими командовали офицеры из высшего сословия и генералы, чья личная слава порой дополняла славу их предков. Как вышло, что эти люди, бывшие грозой граждан, стали их любимцами?

Бонапарт, которому я по возвращении из Меца сказал, что там постоянно задаются этим вопросом, ответил мне: «Все дело в том, что это другие люди». И в самом деле, призыв поставляет иных людей, нежели вербовка через зазывал. Но это другие люди еще и потому, что война, слава, самоуважение, надежда на продвижение по службе и на пенсию сделали их иными, чем они были прежде. Они видят своих начальников - таких же «детей патронной сумки», как и они сами, - и говорят: «Примерное поведение подняло их до этих высот. Неужели я закрою себе этот путь недостойным поведением?». Они видят своих товарищей, ветеранов или раненых, уходящих на покой с пенсией, и говорят: «Неужели я дам себя прогнать и обреку на нищую и позорную старость, когда могу провести ее в покое и почете?». И они говорят: «Мы тоже граждане»; и граждане больше не говорят им: «Вы всего лишь солдаты!». Их любят, потому что они сами себя уважают; они уважают себя вдвойне, потому что их любят.

Кроме того, офицеры живут рядом с ними, постоянно о них заботясь. Всю свою радость они находят в полезном надзоре за благополучием солдата; чуждые изнеженным удовольствиям людей, воспитанных в праздности, они чувствительны лишь к военным воспоминаниям, интересам своих боевых товарищей и гордости командования. Раньше молодой офицер считал, что делает честь низшим чинам, задерживаясь в них на несколько месяцев; сегодня каждый офицер считает честью свое звание. Раньше звание стояло ниже человека; теперь каждый француз рождается и начинает службу ниже звания. Раньше низший чин унижал человека определенного происхождения. Это не имело никакой цены ни для кого: одни не могли возвыситься, другие не хотели оставаться в своем положении. Теперь же любое звание - это награда за верную службу; в этом заключается великое преимущество равенства, которое создало двадцать тысяч младших лейтенантов из тех, кто прежде был бесполезен для здорового соперничества, дало законную пищу амбициям и стало почетной наградой для четырехсот тысяч солдат.

Они также охотно подчиняются командирам, чье право на командование подтверждено подвигом. Понятно, почему люди повинуются тому, кто совершил то, что другие не смогли, или даже то, что человек сделал сам. Но мыслимо ли послушание со стороны того, кто уже делом доказал свои способности, по отношению к тому, кто еще не предъявил никаких доказательств своего права на признание, кроме самого факта своего существования?

На заседании Государственного совета 8 брюмера IX года (30 октября 1800 г.) Бонапарт снова развил идеи, изложенные им ранее, относительно разделения Франции на «сотни» (центурии) и учреждения должностей «сотников» (центурионов), которые выполняли бы двойную задачу: облегчали выборы в местную знать и одновременно обеспечивали общественный порядок благодаря своей организации и постоянству.

На прошлом заседании совета я довольно резко выступил против этой идеи. Я доказывал, что такое постоянное деление Франции и распределение ее по сотням, у каждой из которых был бы свой начальник, станет организованной анархией; что подобный институт существовал в Риме только для военной службы; что он существовал у германцев и даже во Франции до времен Карла Великого, а в Англии - во времена Альфреда Великого, потому что во все эти эпохи общественное устройство было плохо налажено, господствовало варварство и не существовало сильной центральной власти. Когда в государстве царит анархия, это неплохой способ заново начать социальную жизнь: объединить граждан в небольшие союзы по сотням и десяткам, которые дают друг другу взаимные гарантии и представляют собой противовес любой силе, стремящейся возродиться в центре. Но это лишь доказательство бессилия правительства, средство, само по себе крайне неэффективное против бед, возникающих из-за отсутствия энергично сформированной центральной власти, и даже средство, в равной степени пригодное как для сопротивления, так и для подчинения, и так далее.

Итак, Бонапарт на заседании 8-го числа вернулся к своим идеям, высказанным 4-го и оспоренным мною 6-го. Он излагал их с раздражением и закончил такой фразой: «Вот истинные взгляды, которыми должен руководствоваться законодатель при обсуждении подобного вопроса. Секция внутренних дел представила нам лишь нелепые идеи, и нет ни одного человека, который говорил бы мне о её проектах без насмешки». Я живо ответил первому консулу, что если бы он дал себе труд прочитать резюме секции, то увидел бы в них всё что угодно, только не нелепость. В то же время я собрал все бумаги по этому делу, которые как докладчик держал перед собой, и в беспорядке бросил их в свой портфель, который тут же запер на ключ. Я мог бы добавить первому консулу, что причина, по которой вокруг него нашлось столько людей, насмехавшихся над секцией, заключалась в том, что он распорядился напечатать в газете «Монитёр» краткие отчеты, которые, как я полагал, предназначались только для совета и в которых я излагал мнение самого первого консула; было вполне естественно, что лезть находила повод для похвалы в его тексте там, где чиновник нашел бы лишь повод для тщательного изучения.

Первый консул предоставил слово нескольким членам совета, с которыми говорил очень вежливо и мягко, а затем предложил мне высказаться по вопросу, который я затронул на предыдущем заседании. Речь шла о том, следует ли в городах голосовать большими массами или небольшими группами по сто человек. Я настаивал на необходимости голосования по секциям из пятисот человек в городах. Я объяснился очень кратко и холодно. Консул Камбасерес несколько раз выразил согласие с моим мнением. Первый консул возражал мне мягко и так же вяло. Я заподозрил, что мои замечания его поразили, настолько слабым мне показалось его упорство в защите собственного мнения. Тем не менее он поставил вопрос на голосование, и совет принял решение против меня, подтвердив мнение, которое сложилось у него на прошлом заседании еще до того, как был заслушан сам вопрос.

10-го числа, в декады, меня пригласили на обед в Мальмезон. Там присутствовал господин де Кобенцль. Первый консул не вызывал меня для личной беседы. Однако адъютант посадил меня рядом с ним; нас разделяла только госпожа Монж, и он несколько раз дружелюбно заговаривал со мной. Утром 12-го числа я, в качестве председателя, зашел к нему в кабинет перед заседанием совета. Я представил ему проект, составленный мною и Реньо и подписанный нашей секцией, во исполнение планов, утвержденных на совете 8-го числа.

В этот момент из его кабинета выходил министр полиции. Я попросил консула приказать ему вернуться, чтобы он мог объясниться в моем присутствии по поводу донесений, в которых, как мне сообщили, он меня упоминал. «Никогда», - доброжелательно ответил первый консул, -

он никогда не упоминал вашего имени в донесениях, если только речь не шла о том проекте конституции, о котором я вам говорил».

— «Генерал, - сказал я, - надеюсь, что при нынешней открытой вражде между нами вы сочтете справедливым не прислушиваться ни к одному из его донесений против меня, не выслушав меня самого и не столкнув меня лицом к лицу с моим обвинителем».

— «Никогда, никогда, - повторил консул, - он не составлял на вас донесений».

Вернувшись к рассмотрению проекта, который я ему передал, он высказал несколько замечаний. Я спросил его, не найдет ли он уместным собрать вместе с ним и другими консулами нескольких членов секции и нескольких сенаторов, таких как гражданин Лаплас, чтобы обсудить этот вопрос в узком кругу, вместо того чтобы снова выносить его на совет. «Да, - ответил он мне. - Что ж! Я не буду возвращать этот новый проект в Государственный совет. Сначала я соберу вас здесь».

13-го числа нас созвали и собрали: сенатора Лапласа, Крете, Шапталя и меня вместе с тремя консулами. На этом заседании первый консул, выслушав меня и согласившись с моей постановкой вопросов, выставил их на обсуждение. Он уделил этой дискуссии пристальное внимание. На каждом шагу он сталкивался с какой-либо трудностью: «Это очень сложно», - повторял он поминутно. Несомненно, решение найти непросто; но мне показалось - и мне приятно думать об этом, учитывая, как часто он это повторял, - что первый консул хотел смягчить для внутренней секции то обвинение в нелепости, которое он выдвинул против нее 8-го числа перед всем советом. У меня не раз был повод убедиться в его доброте, и сердце подсказывало мне, что и в данном случае он был добр. Его тон, интонация, сама манера речи говорили мне лучше всяких слов: «Я сожалею, что обидел достойных людей, преданных мне».

Набросав на бумаге несколько заметок, которые я собрал и отредактировал для нового способа выборов (они приложены к моему собранию представленных проектов, касающихся нотабилитета), он перешел к вопросу о том, как следует толковать и исполнять 12-ю статью конституции, касающуюся исключения нотаблей, утративших доверие граждан. Его идея была записана мною; она составляет последнюю статью из тех заметок, о которых я только что упомянул.

По этому поводу первый консул сказал нам, что предвидит крайне неприятное потрясение в ближайшее время, если у граждан не будет возможности исключать из списка тех избранных, которые не пользуются их доверием. «Не стоит скрывать от себя, - сказал он, - что если для исключения из списка нотаблей потребовать голоса половины граждан плюс один, то нотабилитет превратится в настоящее дворянство; это учреждение оскорбит народные массы. Есть две вещи, для которых французская нация еще не созрела. Это наследственность должностей и дворянство. Наследственное дворянство, чье происхождение восходило к великим деяниям и огромным заслугам перед отечеством, не смогло удержаться; однако оно было гораздо предпочтительнее искусственно созданного дворянства, которое внезапно возвысило бы новых дворян над их равными. Недовольство начало бы проявляться со стороны женщин. Они хотят равенства. Они с раздражением смотрели бы на соседку, ставшую "госпожой нотаблем". Только религия может заставить людей мириться с неравенством сословий, потому что она утешает во всем».

Я ответил первому консулу: «Четыре главных обстоятельства формируют в общественном мнении уважение и статус нотабля: знатное происхождение, богатство, заслуги и возраст. Мы не можем и не хотим основывать нотабилитет на происхождении. Но мы хотим и можем основать его на собственности, заслугах и возрасте; именно это и подразумевает конституция. На первую ступень нотабилитета, или к уровню коммунальных нотаблей, она призывает мелких собственников или молодых людей, которым в будущем предстоит стать богатыми владельцами; к уровню департаментских нотаблей - более крупных собственников; к национальному нотабилитету - самых богатых граждан. Это призвание не должно нарушаться ничем, кроме разницы в заслугах и личном авторитете».

Первый консул. - «Богатство не может служить титулом. Богач так часто оказывается бездельником без всяких достоинств! Даже богатый купец часто становится таковым лишь благодаря умению продавать втридорога или воровать. Я не собираюсь проповедовать аграрный закон; мы говорим в своем кругу. Я даже хочу, чтобы богатые люди были, ведь это единственный способ обеспечить существование бедных; но я не вижу в богатстве оснований ни для общественного уважения, ни для политических отличий. В настоящее время подобное различие было бы воспринято хуже, чем когда-либо: нынешнее богатство - это плод кражи и грабежа. Кто сейчас богат? Покупатель национальных имуществ, поставщик, вор. Как можно основывать нотабилитет на богатстве, нажитом таким путем?».

Я. — «Признаю, что нынешние богачи не внушают симпатии и момент для нашей системы выбран неудачно. Но первый список нотаблей, который будет состоять как минимум из пятисот тысяч человек, в значительной степени включит в себя средних собственников - то есть самую почтенную часть нации, а не только богачей. Кроме того, вовсе не сказано, что одно лишь богатство должно давать право на включение в национальный нотабилитет; это должно быть богатство в сочетании с заслугами, и я готов поручиться против поставщиков. Наконец, принцип нотабилитета, основанный на собственности, вовсе не плод воображения - он подтвержден опытом. В Англии стать пэром, то есть дворянином, можно только благодаря собственности. Стать кандидатом в палату общин или избирателем можно, лишь выполнив условия имущественного ценза. В Америке также существуют условия владения собственностью для получения представительства. Во Франции, в период принятия конституции VIII года, все требовали установления имущественного ценза для права быть избранным. Желали также постепенности в занятии государственных должностей. Казалось, что система тройного нотабилитета ответила обоим целям, которые имело в виду общественное мнение. Все убедились, что при принятом способе избрания собственность сохранит все свои преимущества. Именно поэтому я по-прежнему считаю, что выбирать нужно, особенно в городах, большими группами, чтобы не вынуждать рабочих, живущих в своих кварталах, назначать только людей из своей среды и не заменять собственников пролетариями.

Впрочем, - добавил я, - опасения первого консула таковы, что требуют самого тщательного изучения; и я желаю, чтобы обсуждение способов избрания было отложено до тех пор, пока совет не проведет новое совещание относительно принципов этого института, его преимуществ, недостатков, опасностей и способов сохранить одни его элементы, уничтожив или, по крайней мере, ослабив другие».

Я предложил отложить на восемь месяцев рассмотрение способов избрания или, по крайней мере, ничего не предпринимать в течение трех лет в отношении способов реализации 12-й статьи конституции - той, которая резервирует за правительством право предлагать более или менее простые способы отклонения кандидатур, в зависимости от того, что покажет опыт: пользуются ли первые списки нотаблей общественным уважением или нет.

Первый консул вышел из своего кабинета и оставался вне его около получаса. Оба консула гуляли вместе, разговаривая вполголоса. Когда консул Камбасерес вернулся к камину, я сказал ему: «Первому консулу следовало бы отложить это дело на восемь месяцев».

— «Нет, - ответил он, - поднимется крик. Правительство не может уклониться от представления законопроекта на ближайшей сессии Законодательного корпуса; но можно затянуть обсуждение в Трибунате и Законодательном корпусе, а затем либо отозвать его, либо дать его отклонить. Тогда будем действовать по обстоятельствам».

Первый консул вернулся; он спросил нас, не советовались ли мы с Сийесом. Я ответил, что нет. Крете сказал: «Я говорил с ним, но он отвечал мне лишь туманными и метафизическими фразами». Первый консул закончил словами: «Это дело еще не созрело. Нужно поговорить об этом здесь еще раз, прежде чем выносить на рассмотрение Государственного совета».

Очерк моей жизни для моих детей. Часть вторая.

Я был назначен генеральным директором народного просвещения 21 вантоза X года (12 марта 1802 года) указом первого консула. Это ведомство было создано в связи с постановкой пьесы, сыгранной несколькими днями ранее в Итальянском театре (кажется, это была «Нойштадтская башня»). В ней якобы усмотрели намеки на генерала Лефевра, ставшего впоследствии маршалом Империи. Первому консулу донесли, что в Итальянском театре этого генерала выставили в смешном виде. На основании этого донесения первый консул сурово отчитал Шапталь, который в качестве министра внутренних дел отвечал за надзор за театрами. Шапталь оправдывался, ссылаясь на Кампенона - начальника бюро, где рассматривались новые пьесы перед тем, как разрешить их к постановке; к тому же Кампенон сам был литератором. Первый консул, выслушав оправдание Шапталя, приказал уволить Кампенона из министерства. А поскольку Шапталь заявил, что прочие обязанности не позволяют ему читать драматические произведения, которые представлялись в огромном количестве, первый консул пришел к выводу, что надзор за театрами необходимо поручить специальному чиновнику. Эта идея получила развитие в ходе обсуждения между тремя консулами; Бонапарт сказал, что необходима *дирекция общественного духа*, которая включала бы в себя народное просвещение, все литературные и научные учреждения, а также зрелища. В течение некоторого времени он также обдумывал идею создания дирекции по расходам и отчетности коммун. Он велел составить проект указа, определяющий положение дел по этим двум вопросам, и раздал его государственным советникам для обсуждения на заседании совета. Печатная копия этого проекта датирована 6 марта 1802 года.

Первый консул поручил Камбасересу спросить меня, не желаю ли я возглавить ведомство *народного просвещения и общественного духа*. Я согласился. На следующий день, когда я по обыкновению пришел к первому консулу перед заседанием Государственного совета, чтобы представить результаты предварительной работы секции внутренних дел, Бонапарт сказал мне: «Ну что ж, гражданин Рёдерер, мы вверили вам *дирекцию общественного духа!*». Я ответил: «Гражданин первый консул, в таком случае следовало бы также проявить доброту и наделить меня умом». Первый консул подробно перечислил некоторые функции, из которых, по его замыслу, должна была состоять эта дирекция. Я воспользовался случаем заметить ему, что название «директор общественного духа» кажется мне претенциозным и вызывающим предубеждение, против которого будет восставать общественное мнение, и следовало бы учитывать, что общественное мнение претендует на то, чтобы направлять правительство, а не быть направляемым им; и что открытая демонстрация намерения управлять им - это верный способ спровоцировать мятеж. Консул Лебрен поддержал мое замечание. В составленном постановлении было указано, что под началом государственного советника будет находиться всё, что касается народного просвещения. Таким образом, термин «общественное обучение» заменили на «народное просвещение» (*instruction publique*), исходя из того, что понятие «просвещение», будучи более широким, чем «обучение», включает в себя средства просвещения общественного мнения и формирования общественных настроений. Следовательно, оно полностью соответствовало цели, которая ставилась при обсуждении проекта управления общественным духом.

Действительно, другим постановлением от того же дня консулы определили полномочия этого управления. В тексте сказано следующее: «В ведение и под надзор государственного советника в министерстве внутренних дел передаются: (1) начальные школы; (2) центральные школы и коллежи; (3) лицеи и другие учреждения, предназначенные для общественного обучения; (4) пританей и частные пансионы; (5) театры и Консерватория музыки».

Шапталь был крайне огорчен тем, что из его ведомства изымают ту часть, которая придавала ему наибольший вес и которой он занимался с особым удовольствием. Он всячески пытался убедить себя, что Первый консул лишь хотел назначить ему более значимого начальника отдела. Вследствие этого он сам составил указ о моем назначении, который гласил:

«Гражданин Рёдерер, государственный советник, прикомандирован к министерству внутренних дел и возглавляет департамент народного просвещения». Он убрал слово «управление» (*direction*) народным просвещением, которое фигурировало в учредительном указе, полагая, что таким образом останется главным руководителем всего министерства. Однако эта маленькая хитрость, как будет видно позже, не принесла ему никакой выгоды.

Еще с начала 1801 года секция внутренних дел Государственного совета занималась системой народного образования. Докладчиком по этой работе был назначен Фуркруа. 8 июля 1801 года членам Государственного совета были розданы основы законопроекта, принятые секцией внутренних дел. Эти предполагаемые основы не страдали излишней широтой. Их составил Фуркруа. Обсуждение в Совете продолжалось до 15 марта 1802 года. Первый консул, видевший в создании системы народного просвещения источник власти, принимал активное и постоянное участие во всех заседаниях, и не раз задавал им новое направление. По предложению секции внутренних дел было подготовлено три редакции. Я представил свой вариант, который считал лучшим, но он не был принят. Затем Шапталъ, как министр, представил консулам свой проект, и именно он стал предметом дискуссий. Было напечатано двенадцать редакций проекта в период с 16 октября 1801 года по 15 марта 1802 года. На заседаниях, посвященных общему пересмотру закона, в текст внесли еще несколько поправок. Фуркруа приложил к этой работе много усилий и считал себя вправе сожалеть о затраченных трудах, когда указом от 12 марта я был назначен директором народного просвещения - на этот пост он сам претендовал и, собственно, сам его и выдумал (статья 13 его основ).

17 апреля консулы утвердили передачу законопроекта в Законодательный корпус.

Представлять проект было поручено Фуркруа, мне и Реньо де Сен-Жан д'Анжели. 20 апреля Фуркруа, назначенный первым, представил Законодательному корпусу пояснительную записку. Обсуждение закона состоялось на заседании 1 мая; я выступил там с пространной речью (на 14 печатных страниц), в которой изложил довольно важные теоретические положения. Закон был принят 11 мая.

9 июня в три часа утра курьер доставил мне из Мальмезона инструкции Первого консула, подписанные им собственноручно, касающиеся исполнения этого закона. Первый консул любил отправлять курьеров в столь необычное время. Он хотел, чтобы все знали: он не спит по ночам; а также желал, чтобы и другие не засыпали слишком крепко.

Это прямое послание от Первого консула укрепило меня в моем мнении о независимости моей должности по отношению к министру внутренних дел. Эта весьма примечательная инструкция вкратце гласит, что в каждом городе с населением в 10 000 человек должен быть лицей; что количество пансионеров, чье содержание будет оплачивать государство, и сами расходы должны будут сократиться, когда приток платных воспитанников обеспечит заведению средства для самообеспечения; префекты будут постоянно сообщать о состоянии средних школ в своих департаментах, а правительство выберет те из них, которые сочтет достойными официального признания. Далее первый консул указывает способы быстрого создания большого числа лицеев. Главный из них заключается в том, чтобы с согласия собственников преобразовать в лицеи крупные коллежи Жюйи, Сорреза и Турнона. Кроме того, можно предложить по одному лицейу двенадцати или пятнадцати крупнейшим городам, таким как Лион, Тулуза, Марсель, Бордо, при условии, что эти города предоставят помещения и мебель. Первый консул откладывал организацию специальных школ до того времени, когда начнут действовать несколько лицеев; заметив, что трех генеральных инспекторов по учебной части будет недостаточно для одновременного формирования проектируемых лицеев, он счел целесообразным добавить к ним трех членов Института, ответственных за *руководство учебным процессом*. В завершение он попросил представить список лиц, которых было бы уместно назначить инспекторами.

Во исполнение этих указаний я составил постановление от 4 мессидора (23 июня 1802 года), предписывающее составить перечень школ в каждом департаменте, которые могут рассматриваться как средние школы. 29 числа я направил префектам циркулярное письмо. В нем

я изложил мотивы закона от 11 флореаля (2 мая 1802 года), касающегося образования второй ступени. Вот основные из них:

«Вслед за революцией, которая расширила или сузила многие сферы деятельности, открытые до того времени для граждан, и которая ввела полную свободу вероисповедания, правительство не имело возможности определить объем каждого вида образования, способного удовлетворить насущные потребности. Именно частному интересу, чьи запросы собираются и оцениваются самим же частным интересом, надлежит определять этот объем. Наконец, представляется, что стремление учителей к совершенствованию должно родиться из их конкуренции; и есть надежда, что это соперничество заставит их очень внимательно подходить к выбору методов обучения и тщательно совершенствовать те из них, которые они приняли. Это ускорит прогресс просвещения в большей степени, чем это обычно делают государственные учреждения, которые всегда склонны полагаться на поддерживающую их власть и считать себя избавленными от необходимости внедрять самые удачные инновации... Сохранять, поощрять и преумножать школы, созданные и одобренные волей отцов семейств и составляющие сегодня основу национального образования, является, ко всему прочему, желанием правительства, которое враждебно всякому разрушению, дорожит чувствами, чья чистота очевидна, и мнениями, которые есть все основания считать просвещенными...».

В ожидании списков, запрошенных для формирования средних школ, я занялся организацией определенного числа лицеев; я составил различные доклады, которые направил первому консулу. Я просил, чтобы были назначены генеральные инспекторы по учебной части и члены Института, которые должны были стать их помощниками; чтобы было определено их жалованье, а также возмещение командировочных расходов; и чтобы им было поручено провести в департаментах необходимые экзамены и проверки. Это позволило бы правительству решить, в каком количестве и в каких местах лицеи и специальные школы могли бы быть открыты к началу XI года; какие лица могли бы быть назначены как в администрацию, так и для преподавания; наконец, на каких условиях туда могли бы приниматься чиновники и профессора, государственные стипендиаты, пансионеры и приходящие ученики.

Ни один из моих докладов не был вынесен на обсуждение и не получил решения первого консула. Тем не менее, я не пренебрегал никакими средствами, чтобы через переписку получать сведения, которые, по моему мнению, было бы быстрее собрать на местах силами инспекторов и их помощников - они могли бы разделить и работать одновременно в разных точках Франции. Я призывал города и существующие учебные заведения подавать заявки. Я подсказывал, какие предложения должны сделать крупнейшие города, чтобы обеспечить себе скорое открытие лицея или специальной школы.

Я собирал вокруг себя в пританее из Парижа самые подробные сведения о расходах, необходимых на содержание каждого отдельного воспитанника - как о фиксированных тратах, так и о расходах на общее пользование, которые более или менее значительны для каждого индивида в зависимости от числа лиц, разделяющих это бремя.

Я тщательно изучал, во сколько должна обходиться еда, одежда, стирка для каждого ученика; какую долю в расходах каждого должны составлять освещение, отопление, обслуживание и обучение, исходя из общего количества воспитанников. Каждая отрасль личного содержания подразделялась на пятнадцать или двадцать статей; расходы на питание состояли более чем из пятидесяти пунктов. Чем большее отвращение я питал к этим деталям, тем с большей добросовестностью принимался за их изучение. Я сделал это, и справедливо, делом своей совести. По правде говоря, я иногда говорил себе: в этом деле я подобен секретарю из комедии «Сутяги», который, дабы просветить правосудие, обязан составить:

В суде отчет подробный о сере,

Что может съесть одна лишь курица в день.

Но мне тотчас становилось стыдно за это пренебрежение, стоило мне подумать о важности цели: ведь речь шла о том, чтобы сделать учебные заведения доступными для как можно большего числа отцов семейств за счет низкой стоимости обучения и обеспечить ученикам максимальное благополучие при наилучшем образовании. Я на собственном опыте узнал, что

значит полагаться в экономических вопросах на экономов. Для коллежских экономов плата за обучение никогда не бывает достаточно высокой. Я также говорил себе: миллионы ежегодных расходов в крупных ведомствах складываются из статей, которые составляют всего лишь один сантим на человека в день. Наполеон никогда не упускал возможности представить себе общую сумму малейшего расхода, предлагаемого ему для сухопутной армии или флота. Что стало бы с государством, если бы все нормы потребления солдата не оценивались вплоть до одной десятой сантима?

Впрочем, я находил вознаграждение в основной работе, которую мне предстояло выполнить для создания лицеев. *Предмет* обучения был определен лишь самым общим, если не сказать туманным образом в законе от 11 мая (21 флореаля X года). В этот вопрос необходимо было внести точность. Более того, сам ход обучения не был регламентирован, и эта задача представлялась моему уму как нечто в высшей степени важное. Я был убежден - и остаюсь убежденным до сих пор, - что методика преподавания интересует человеческий разум не меньше, чем само его содержание; что она способна дать уму новый импульс к развитию, увеличить его широту, силу и гибкость. Мне казалось, я обнаружил, что путь, которым следовали до сих пор, препятствовал подобному совершенствованию человеческого рода; и я льстил себя надеждой, что нашел метод обучения, способный произвести столь желаемую революцию. Здесь необходимы некоторые пояснения.

Я давно заметил, как и многие другие до меня, черты, отличающие склад ума геометров и физиков от склада ума людей дела или тех, кто посвятил себя искусствам воображения. У первых (я говорю лишь в общих чертах) - точность и сухость; у вторых - гибкость, доходящая порой до утонченности, и проницательность, порой граничащая с хитростью; у третьих - изящество, вдохновение, воодушевление, доходящее до определенной неумеренности.

В ходе революции мы все видели, как из новых школ, где преобладало преподавание точных наук, выходила толпа молодых ученых, которые не умели ни составить фразу без грамматической ошибки, ни написать свое имя и звание без орфографической погрешности. С другой стороны, другие молодые люди, посвятившие себя чисто литературным занятиям, не умели сложить два числа и питали непреодолимое отвращение к любому применению науки даже в самых простых вычислениях.

Я говорил себе: если полет воображения - это дар человеческой природы, а способность к наблюдению и усердию - другой дар, который может быть распределен между точными науками (науками о фактах) и науками чистого рассуждения, то почему же крайне редко, и никогда в полной мере, мы не видим в одном и том же человеке все эти способности в действии или, по крайней мере, развитыми достаточно для того, чтобы ими можно было пользоваться по своему желанию? То малое число исключений, которые можно привести, вполне достаточно, чтобы доказать совместимость различных функций и даже различных склонностей ума.

Филидор был геометром, великим шахматистом и великим музыкантом; Бюффон блистал наблюдательностью, рассудительностью и воображением; Вольтер, выдающийся поэт, с честью занял место среди геометров, моралистов, политиков, экономистов и в первом ряду историков благодаря своим познаниям в области экономических, политических и гуманитарных наук в сочетании с мастерством литературного слога и тем безупречным вкусом, который его отличал. Паскаль - великий геометр, великий логик, великий моралист.

Я не питал безумной надежды на достижение универсальности высших талантов, но хотел активировать у одних и тех же людей различные способности, которыми наделила их природа в равной мере; дать им через практику и привычку возможность всегда находиться в движении; я хотел, чтобы каждый приобрел ту долю богатства, которая доступна каждому; наконец, чтобы эти способности вступали во взаимодействие друг с другом и образовывали сообщество, чтобы помогать друг другу, укрепляться, взаимно обогащаться, давать толчок новым движениям, задавать новые направления и делать легкими те операции, которые считались невозможными.

Я говорил себе: раз природа наделила всех людей с нормальной организацией одними и теми же способностями - пусть и не в одинаковой пропорции, несомненно, но в определенной общей мере, - значит, именно плохие методы обучения заставляют одну из этих способностей доминировать исключительно у всех индивидов, подавляя и, казалось бы, уничтожая все остальные. То, что это доминирование является результатом выбора профессии и следования ей в течение многих лет в обществе, - в этом нет ничего более естественного и неизбежного; это следствие привычки, а привычка - вторая натура. Но когда само образование формирует человека до того, как у него появятся привычки, когда оно должно работать над тем, чтобы сделать его пригодным для различных дел и способным к разнообразным применениям сил, когда его задача - подготовить его к превратностям судьбы, которые могут случиться в его жизни; когда само образование заставляет вырабатывать исключительные склонности ума в ущерб другим, распределяя по разным школам элементы различных наук, являющихся предметом обучения, - это можно назвать плачевным калечением интеллекта.

Этот порок имеет место не только тогда, когда литературное обучение, преподавание морали и права, а также преподавание физических и математических наук разделены по разным школам, но и тогда, когда в одной и той же школе они распределены между отдельными, последовательными классами, где ученики переходят из года в год; и точно так же, когда эти виды обучения объединены в нескольких классах, но не во всех; и, наконец, когда в одном и том же классе для трех различных видов обучения предусмотрен только один и тот же учитель. Ведь учителя нашего времени, испытав на себе, как и все остальные, влияние узконаправленного обучения, мало способны преподавать параллельно более одной из трех наук и, прежде всего, мало приспособлены к тому, чтобы внушить вкус к той науке, в которой они сами являются лишь плохими учениками.

То, что я намечал на основе этих наблюдений, заключалось в следующем:

1. С самых младших классов колледжей вести параллельно три вида знаний: литературные, физико-математические, а также морально-политические, соизмеряя их с интеллектом детей в каждом классе и основами каждой науки.
2. Сделать так, чтобы в каждом классе, даже в самых младших, три науки преподавались тремя разными учителями, каждый из которых был бы специально посвящен одной из этих трех отраслей. Каждый преподаватель конкретной науки, проводя лишь треть занятий в каждом классе, мог бы делать это в трех последовательных классах; таким образом, ученики, изучающие науку в шестом классе, переходя в пятый, находили бы того же учителя для продолжения своего обучения.

Я предвидел два возражения: страх перегрузить детей в младших классах и опасение, что разнородные занятия будут мешать друг другу. Эти опасения проистекают из ложного предположения, что речь идет о том, чтобы заставить учеников выучить за один и тот же год в трех разных науках то, что они изучали каждую в рамках одного года, но последовательно в течение трехлетнего периода. Моя система устроена иначе. Я полагаю, что, преподавая три науки одновременно вместо одной, мы пропорционально снижаем учебную нагрузку по каждой из них; их следует давать, так сказать, очень тонкими слоями, чтобы в каждой части обучения ученик шел к неведомому только через уже известное и знакомое.

Преимущество одновременного, но постепенного обучения доказывается примером детей, выросших в странах или домах, где говорят на двух или трех языках: можно видеть, как с трех- или четырехлетнего возраста они одинаково свободно изъясняются на них. Они усваивают их так же быстро, как если бы учили только один, потому что учат их понемногу. Трудность же последовательного обучения подтверждается примером тех зачастую бесполезных усилий, которые затрачиваются на то, чтобы обучить других детей тому же количеству языков посредством их последовательного изучения.

Таков был мой проект; его можно выразить в нескольких словах: прекратить разрыв, установившийся между различными способностями ума, восстановить их естественный союз и дать всем им новый импульс через развитие каждой в отдельности.

Г-н Деламбр, бессменный секретарь Академии наук по математической части, и г-н Кювье, другой секретарь того же общества по физическим наукам, любезно согласились помочь мне своими советами относительно того, как установить во всех школах лицеев это тройственное обучение. Они как никто другой были способны оценить его пользу, а сочетание их разнообразных талантов доказывало то превосходство, которое такой союз дает уму. Они разработали проект распределения одиннадцати профессоров между девятью классами и определили для каждой науки ту степень, до которой преподавание должно быть доведено в каждом классе.

14 сентября 1802 года эта работа была изложена в форме постановления из сорока трех статей с приложением ряда пояснительных докладов. Генеральный секретарь народного просвещения принес мне чистовик всего документа вместе с сопроводительным письмом для подписи первому консулу, когда газета «Монитор» известила меня, что я больше не являюсь государственным советником и что я назначен сенатором в силу прерогативы, предоставленной первому консулу сенатус-консультум от... Тем не менее я направил свой труд первому консулу: я попросил его разрешить мне присутствовать на заседании Государственного совета, когда будет обсуждаться вопрос об организации народного просвещения. Я искренне верил, что мой план будет поставлен на обсуждение - если не из уважения ко мне, то, по крайней мере, из внимания к двум прославленным ученым, которые приняли мою систему, укрепили её и путем удачайшего сочетания изыскивали средства для её реализации. Напрасные надежды!

Я еще расскажу, как и почему произошло мое назначение в сенат, которое одним могло показаться опалой, другим - политическим маневром, отвечающим видам первого консула, третьим - уступкой моей просьбе, и которое на самом деле было всем этим одновременно. Но сейчас мне нужно вернуться к ходу моего управления. Оставшиеся части моего отчета объясняют одну из главных причин моего назначения в сенат.

Постановление консулов, определявшее мои полномочия (8 марта 1802 года), гласило, как я уже упоминал, что, помимо руководства и надзора за народным просвещением, в мои обязанности входит руководство и надзор за театрами и Консерваторией музыки.

Эта часть моих функций, казалось, должна была компенсировать суровость остальных. У меня была отличная ложа в четырех главных театрах. Репертуар каждой недели представлялся мне на утверждение; новые пьесы проходили через мою цензуру. Требовалось моё распоряжение о дебюте для артистов, претендующих на место в «Театр-Франсе» или в Опере; оно также требовалось для актеров и актрис, певцов и певиц, танцоров и танцовщиц, чтобы они могли опробовать свои таланты и предстать на суд публики. Принятые артисты не могли получить ни отпуск, ни вознаграждение, ни бенефисный спектакль без моего согласия. Одним словом, у меня были средства покровительствовать самым выдающимся деятелям литературы и самой прекрасной части нашей драматической литературы; актеры и актрисы, дебютанты и дебютантки, все приятные таланты... Игры, Смех, Грации, Амуры, казалось, должны были собрать людей вокруг себя, и благодаря их содействию, соперничеству и усердию превратить мою государственную службу в бесконечный праздник, наполняя каждое мгновение разнообразными удовольствиями и новыми радостями. Даже все четверо первых камергеров при Людовике XV, вместе взятые, не обладали и десятой долей той власти, которую давала мне моя должность: она распространялась на все театральные зрелища, большие и малые, как в столице, так и на главные постановки в провинции...

Что ж! Могу заверить, что никогда я не чувствовал себя более павшим, чем когда обрел эту власть. Никогда я не ощущал свою жизнь столь недостойной человека сколько-нибудь серьезного; никогда на меня не обрушивалось столько мелочности. Я был низведен до самых ничтожных подробностей, обречен на постыдные хлопоты и унижительные предосторожности. Всё было для меня предметом отвращения и поводом для унижения.

В ту эпоху Первый консул уже утвердился в монархической власти. Вокруг него уже зарождался и пробовал свои силы двор. Этот новорожденный, едва намеченный двор уже стре-

мился подражать самым прославленным дворам в их привычках к роскоши и распущенности. Если бы Первый консул был склонен к изнеженной и сладострастной жизни, Франция вернулась бы к монархии через те нравы, которыми так славилась эпоха Регентства. Судьбе было угодно, чтобы из-за моего руководства театрами я оказался под прицелом первых проявлений этого придворного духа - духа, в котором интриги куртизанок и придворных, слуг и господ смешиваются и переплетаются ради двойной выгоды: богатства и удовольствий....

Центральные школы, созданные во времена Республики, были посвящены преподаванию физических и математических наук, а литературные занятия в них были сведены к нулю. Общественное мнение не приняло эту систему, и в результате сложилась ситуация, когда средства, предназначенные для народного просвещения, почти полностью уходили на оплату профессоров точных наук, у которых совсем не было учеников. Я же разработал совершенно иную систему. Я провел различие между знаниями общего характера, необходимыми всем - поскольку их применение требуется каждому и поскольку они служат ключом ко всем остальным областям, - и специальными знаниями, которые нужны лишь в определенных профессиях. Я хотел, чтобы объем последних соотносился с числом специалистов, которых эти профессии могли задействовать. Это стало прекрасным поводом для возмущения - не со стороны настоящих ученых, таких как Лаплас, Деламбр или Кювье, а со стороны тех педантов от точных наук, которые набили ими свои скудные мозги, и в которых не осталось места ни для единой мысли за их пределами. Это были люди узких, ограниченных взглядов; им было угодно утверждать, вопреки авторитету Паскаля, и верить, будто полезна лишь их наука, достойные умы - только их собственные, а логика существует лишь в их доказательствах. Шапталь натравил на меня людей этого сорта, и они ввели в заблуждение других, более достойных лиц.....

Я не хотел ничего этого видеть, или же видел всё, но не снисходил до того, чтобы этим заниматься. Друзья без конца твердили мне: «Остерегайтесь этого; будьте обходительны с тем-то; о вас говорят то-то; некто сказал Первому консулу следующее...». Меня оскорбляли эти непрошенные советы. Я думал лишь о том, как лучше исполнить свой долг; я работал с чистым рвением в поисках того, что было бы хорошо и что было бы еще лучше. Я чувствовал в себе жизнь и силу спокойной совести. И когда такие люди, как господин Деламбр и господин Кювье, одобряли меня, поощряли и помогали мне, я видел далеко внизу под собой мнимую пользу постыдных мелочных забот и трусливых предосторожностей ради сохранения своего места.

Господин Шапталь тешил себя надеждой, что мое управление будет подчинено его руководству. Он обнаружил, что мой характер совершенно не подходит для того стиля управления, которого он ожидал и который был бы лишь должностью его помощника. Я же видел независимость в самой природе доверенных мне функций, в законе, который их учредил, и в прочих обстоятельствах. Я открыто и четко заявил о своем притязании быть по отношению к нему в таком же положении, как директор департамента вероисповеданий, а не как директор управления мостов и дорог. Я решил вовсе не ходить к нему для работы ни в его кабинет, ни под его началом; словом, совершенно не признавать его своим начальником. Я признавал его лишь распорядителем расходов, которые производились в моем управлении за счет средств его министерства; но это было лишь формальностью, обусловленной тем, что кредит был открыт в государственном казначействе на его имя. Что же касается распределения этих средств, то здесь я претендовал на такую же независимость, как и во всех остальных делах моей администрации. Самолюбие Шапталя, сильно уязвленное моими притязаниями, нашло в моем сопротивлении предлог и способ действовать против меня довольно открыто: он пожаловался Камбасересу как хранителю консульской власти....

Я должен объяснить, на чем основывал свои притязания на независимость от Шапталя. Прежде всего, я всегда помнил первоначальный проект создания моей должности, который вверял мне руководство *общественным сознанием* одновременно с *народным просвещением*. Я помнил слова, сказанные мне Первым консулом: «Мы вверяем вам руководство общественным сознанием». Я помнил и свои замечания о том, какое неблагоприятное впечатление это

название производит на общественное мнение; и то, что вследствие этого общее понятие «народное просвещение» заменило термины «преподавание» и «общественное сознание», поскольку это слово объединяло в себе оба понятия, избавляя от двусмысленности первоначального выражения.

Я рассуждал так: меня назначили директором по вопросам *общественного сознания* под титулом директора *народного просвещения*; это было неоспоримо. Но что же такое, по сути, руководство *общественным сознанием*? Если бы общественное сознание было чем-то материальным, как, например, управление и отчетность ведомства путей сообщения, я бы сказал: предмет этого *руководства*, будучи делим на части, предполагает множество действий, которые можно распределить, классифицировать и подчинить различным волевым решениям и иерархии этих решений. В самом деле, в таком ведомстве, как управление путями сообщения, задача состоит в том, чтобы направлять внимание главных инженеров на объекты, требующие содержания, и на персонал, ответственный за это; на работы, которые необходимо предпринять, и на порядок их выполнения в зависимости от их срочности и полезности; на планы и проекты исполнения - выбирать из них самые надежные, простые и экономичные, а также согласовывать с инженерами план регулярных работ. Это руководство заключается также в поддержании дисциплины среди инженеров, исключаяющей любые отступления от установленных правил; наконец, оно состоит в проверке их отчетности и так далее. Я прекрасно понимаю, как подобное руководство может быть поручено государственному советнику и подчинено одобрению министра внутренних дел. Директор отсеивает те планы и проекты, которые кажутся ему неудачными; он бережет время министра, которое тот иначе потратил бы на изучение нелепых предложений, и избавляет его от риска принять необдуманное решение из-за спешки и нехватки времени. Он обсуждает те проекты, что кажутся достойными; выбирает из них предпочтительные; рассматривает способы реализации и останавливается на самых убедительных вариантах. Тем самым он снова оберегает министра от неожиданностей и спасает государство от напрасных трат. Однако остается проверить, не ошибся ли сам директор в тех идеях, на которых он остановился, и нет ли лучшего решения; остается сделать выбор между двумя мнениями, когда доводы «за» и «против» заставляют директора колебаться, - и тогда он идет к министру и представляет ему результаты своих трудов. Министр выносит решение или сам докладывает главе государства. Такой порядок мне понятен.

Если речь идет об отчетности, то директор устанавливает правила, а министр их утверждает. Когда директору представляют счета, он проверяет, соблюдены ли его правила и верны ли расчеты; затем он высказывает свое мнение министру, который либо доверяет ему и утверждает отчет, либо проверяет его сам. Это ясно и легко объяснимо.

Но руководство общественным сознанием - совсем иного рода. Общественное сознание неосознано. Его невозможно подчинить жестким рамкам. Его нельзя ни вылепить, ни потрогать, ни выровнять по шнуру, ни отковать, ни точно измерить. Это *огонь, который поддерживается и направляется лишь через воодушевление или внутренний порыв*. Следовательно, директор по вопросам общественного сознания - это человек, который, будучи исполнен любви к общему благу и заботы о государственных интересах в мирное время, непосредственно передает этот чистый порыв общественному мнению через воспитание юношества, через народные празднества и зрелища для всех возрастов; и в смутные времена он умело выбирает людей, верно расставляет их и направляет помощников, раздувающих искру, так, чтобы это воздействие передавалось от добродетельного гражданина к дурному, а не в обратном направлении.

Я полагал, что мои права и обязанности укладываются в несколько слов: Первый консул, доверяя моим взглядам и чувствам, сказал мне: «*Вы будете выдыхать тот воздух, которым дышите*». И я не мог без сокрушенного пожатия плечами слушать господина Шапталя, который пытался внушить мне совсем иное: «*Вы здесь для того, чтобы выдыхать тот воздух, которым дышу я*». Я рассуждал так: если бы я был обязан передавать лишь идеи господина Шапталя, то именно он руководил бы общественным мнением, а я был бы лишь проводником его

взглядов. Но Первый консул хотел именно моих убеждений: назначая меня, он учитывал сходство моего видения с его собственным. Первый консул вверяет дело моей совести, и моя совесть не может подчиняться кому-то другому. Конечно, может случиться, что в своих действиях я разойдусь с ним, и ему важно знать, когда это происходит; но и мне это важно не меньше, ведь необходимо либо восстановить согласие между нашими умами, либо мне придется оставить свой пост.

Поскольку руководство общественным мнением в конечном итоге должно было принадлежать Первому консулу, господину Шапталю следовало бы доносить до него мои мысли и сообщать мне мысли Первого консула. Таким образом, пришлось бы делать двойной перевод. Но я сомневался, что идеи могут дважды переливаться из одного сосуда в другой без значительных потерь смысла и без того, чтобы не напиться примесями из того третьего сосуда, через который они проходят.

Первый консул укрепил меня в этой мысли, когда 3 июня направил мне напрямую с курьером, выехавшим из Мальмезона в три часа утра, свои инструкции о том, как следует исполнять закон о народном просвещении. Я сказал себе: если Первый консул ведет переписку лично со мной по вопросам образования, то тем более он захочет делать это по вопросам театров.

Для меня не было в новинку работать напрямую с Первым консулом - у меня уже было это преимущество как у председателя секции внутренних дел. Более того, все законопроекты или постановления, представленные министром внутренних дел консулам, передавались на рассмотрение и критику именно в эту секцию. Я, будучи председателем, сам распределял между ее членами доклады, которые не хотел готовить лично. И именно я затем в ходе прямой работы с Первым консулом докладывал мнение секции. Следовательно, в этом отношении я занимал положение выше министерского. Настолько, что еще до моего назначения господин Шапталъ по собственной инициативе предложил регламент для театров. Консулы переслали мне этот регламент для изучения в секции, и у меня до сих пор хранится оригинал с его подписью. Таким образом, поскольку мое управление было, с одной стороны, делом ума и совести, не зависящим от министра; с другой стороны, подразумевало прямую работу с Первым консулом; и, в-третьих, включало экспертизу и критику трудов самого министра, я никак не мог стать его подчиненным.

Случись так, что я был бы обязан обращаться к господину Шапталю, возникла бы ситуация, когда дела, по которым его власти не хватало и которые он передавал на рассмотрение консулам, возвращались бы ко мне для изучения в секции, где я председательствовал, а затем снова попадали бы к консулам через мой личный доклад Первому консулу. Получился бы бессмысленный круг: в качестве председателя секции я бы выполнял ту прямую работу, в которой мне отказывали по тому же самому делу в качестве директора народного просвещения.....

Мне также пришлось вытерпеть странное представление от *Ларива*: однажды он явился ко мне на прием и, напыщенно рассуждая о своем уходе со сцены, о положении театра и драматического искусства, спросил, когда я оплачу его *театральный гардероб*, который якобы идеально подходил по размеру и фасону господину Лафону. Я ответил ему со всем возможным сочувствием, что не вижу, из каких средств могу покрыть эти расходы; что министр внутренних дел, несомненно, осведомлен об этом лучше меня; и что я опасаясь, как бы нам не стало вовсе невозможно выплатить актерам «Комеди Франсез» даже ту помощь, которая им уже была обещана. Господин де Ларив вел себя настойчиво, даже горячее, чем мне казалось приличным; он довольно громко ссылаясь на обещание министра. Терпение моё лопнуло, и я заявил ему, что не считаю себя обязанным опускаться до интересов его лавки со всяким тряпьем; этими словами я умерил его «гнев Ахилла». Он попросил прощения за то, что рассчитывал на мою благосклонность, и так далее.

Это лишь крошечный пример тех сцен, участником которых я постоянно становился в общении с большинством театральных артистов.....

17 флореаля X года (7 мая 1802 г.) господин Виже, литератор, написал мне письмо с просьбой разрешить дебют мадемуазель Дюшенуа, которой он помогал своими советами при подготовке нескольких трагедийных ролей. Он просил меня самого составить мнение о её таланте и послушать, как она репетирует сцену. Я принял мадемуазель Дюшенуа. Селлерье, директор Оперы и возлюбленный мадемуазель Шевиньи - одной из самых очаровательных танцовщиц того времени - был у меня, когда вошла мадемуазель Дюшенуа. Она предложила исполнить монолог-признание Федры. Мой секретарь взял книгу, чтобы подавать реплики; она продекламировала сцену с совершенным пониманием и тем страстным акцентом, который был ей присущ. Я был в восторге. Селлерье же, хоть и вежливо, но холодно, осыпал её комплиментами по поводу очарования её голоса и точности декламации. Я обнадежил её относительно дебюта, но попросил провести еще одну пробу, чтобы не оставлять ничего на волю случая. Мадемуазель Дюшенуа ушла очень довольная. Когда она вышла, я спросил Селлерье, чью холодность я заметил: «Искренне скажите, как она вам?»

— «Совсем не хороша собой, - ответил Селлерье, - у неё ничего не выйдет».

— «Вы так думаете?» - удивился я.

— «Нет, ну право же, - возразил Селлерье... - Вы заметили её левую ногу во время всей сцены?». Это замечание директора Оперы заставило меня расхохотаться; Селлерье же казалось, что он никогда не говорил ничего более разумного.....

Завершая тему театров, скажу: если что и могло внушить мне отвращение к драматическому искусству, то отношения, к которым меня обязывала моя должность с артистами, неизбежно привели бы к такому результату. Невозможно представить, как мало общего между мадемуазель Клотильдой в роли Калипсо, мадемуазель Шевиньи в роли Психеи или мадемуазель Марс в роли Викторины, и теми же мадемуазель Марс, Шевиньи и Клотильдой, когда они приходят просить компенсацию или вознаграждение. Ни чувства меры, ни грации, ни деликатности в том, как они просят. Психея скажет вам, что сменила двадцать пропотевших рубашек, репетируя роль; Калипсо - что подвернула колено на охоте с Телемаком, и перечислит, сколько омлетов и алтейной воды ей понадобилось, чтобы вылечить это колено. А инженеру из «Комеди Франсез» потребует вознаграждения тоном еще менее человеческим, чем тот, которым она заказывает платье у своей портнихи: у неё есть право, она этого хочет, она требует, она ждет не обещания, а распоряжения, причем немедленно. Мужчины ведут себя скромнее этих дам. Тальма, Дазенкур, Флёри, Дама были людьми благовоспитанными. С другими мне не довелось познакомиться.....

Если проявляли хоть каплю строгости или сопротивления, артисты заявляли, что им предлагают выгодный контракт в Петербурге и они собираются его принять. В те времена это была главная угроза со стороны артистов. Однажды мать привела ко мне прелестную девочку шести-семи лет, которая играла в Опере Амура и долгое время не имела другого имени. Она сказала мне: «Я прошу у вас вознаграждение». Я ответил, что дам ей конфет. Она возразила: «Если вы не дадите мне вознаграждение, я уеду в Гуссию (Россию)».....

Меня теснили дела куда более серьезные, чем те, что были связаны с театром: не только в ведомстве народного просвещения, но и в Государственном совете, где я принимал активное участие в составлении законов, а также в Законодательном корпусе, где мне поручалось представлять и обсуждать их.

Об этих последних трудах я расскажу отдельно, после того как закончу всё, что касается моего управления.

15 мая 1802 года, в связи с постановлением о том, что французскому народу следует выразить свое мнение по вопросу: «Станет ли Наполеон Бонапарт пожизненным консулом?», я разослал префектам циркуляр. Я привожу его здесь не столько потому, что он перекликается с методами, используемыми сегодня (я пишу это 7 мая 1824 года), сколько потому, что он доказывает, насколько искренней и благородной была забота о народном счастье. Она исключала те жалкие и постыдные приемы принуждения, обмана, угроз, а также тщетные и одиозные ресурсы власти, находящейся в разладе с общественным мнением. Этот документ

показывает, как естественно доверие правительства к народу, когда народ уже отдал правительству свою поддержку.

«Важно, - писал я в своем циркуляре, - чтобы при исполнении этого постановления пробудился общественный дух, дабы он проявил себя таким, какой он есть на самом деле. Нужно, чтобы ни один гражданин, как бы скромно он ни жил, как бы уединенно ни протекала его жизнь и в каком бы глухом месте ни находилось его жилище, не оставался в неведении о том, что сейчас необходимо выразить одновременно и чувство благодарности, и чувство надежды. Пусть реестры будут открыты и доступны для всех, как только вам будет приказано приступить к исполнению постановления. Пусть никто не пренебрегает возможностью высказать свое мнение, считая его излишним; пусть каждый выразит его свободно, полно и незамедлительно. Одним словом, пусть результат этой процедуры станет верным и ярким отражением общественного духа. Вот, гражданин префект, чего требуют от вас обстоятельства».

В моих бумагах можно найти полное собрание ответов, которые прислали мне префекты: все они сохранились в оригиналах. В некоторых из них сообщается даже об отрицательных голосах, выраженных в выражениях, не позволяющих усомниться в полной независимости мнений. Эти подлинные документы являются ценным памятником единомышленных чувств французского народа к Наполеону в 1802 году.

Ответы префектов натолкнули меня на мысль проанализировать структуру национального мнения. Я имею в виду разделение его на элементы и изучение по отдельности интересов (а не взглядов) различных классов, составляющих общество. Я счел целесообразным сначала собрать сведения о крупнейших собственниках, поскольку они являются, так сказать, вершиной нации, и именно среди них находится наибольшее число врагов революции. Вследствие этого 3 или 4 июня (14 или 15 прериаля X года) я написал префектам следующий циркуляр:

«Гражданин префект, среди средств, не требующих сыскных мер и помогающих узнать общественные настроения, одним из самых надежных является определение круга идей о положении самых крупных собственников страны. Именно они благодаря силе примера, своим речам и расходам определяют в спокойные времена общие мнения и настроения» (Мне следовало бы сказать «в периоды безразличия»; но не слишком ли смело приписывать им настроения? Впрочем, я просто не хотел говорить «в периоды, близкие к революции»). В связи с этим, гражданин префект, я прошу у вас два вида сведений: одни - предварительные, очень простые, которые можно подготовить очень быстро; другие - более обширные и сложные, требующие больше времени. Предварительная работа заключается в том, чтобы сообщить мне имя человека, облагаемого самым высоким налогом в списках прямых налогоплательщиков в каждом округе вашей префектуры. Статья LX закона о нотаблях предписывает, чтобы плательщик самого высокого налога в каждом округе назначался выборщиком для департаментских выборов. Их список, весьма короткий, составить очень легко; для этого достаточно заглянуть в протоколы подсчета голосов, которые должны были быть присланы вам супрефектами в соответствии со статьей 77 упомянутого закона.

Я полагаю, что эти протоколы содержат, помимо имени самого крупного налогоплательщика: 1. его статус и профессию; 2. его место жительства; 3. сумму его налоговых отчислений; 4. характер этих отчислений - то есть являются ли они поземельными, личными или патентными, или же включают несколько видов налогов. Прошу вас точно передать мне эти сведения.

Если они не были приложены к именам самых крупных налогоплательщиков-выборщиков в актах ваших архивов, вы сможете оперативно получить их у директоров налоговых служб вашего департамента.

В любом случае, я прошу вас, гражданин префект, переслать мне сведения, которые вы сможете предоставить мне в кратчайшие сроки. Когда эта работа будет выполнена и отправлена, я прошу вас составить для меня список из шестидесяти граждан вашего департамента, облагаемых самыми высокими налогами. Директор по налоговым сборам, который предоставит вам этот список, укажет характер различных налогов, которыми может быть обложен один и тот же налогоплательщик, и позволит вам заполнить первые четыре колонки таблицы, образец которой я прилагаю; общественная репутация, ваши личные знания и сведения

от ваших супрефектов дадут вам возможность заполнить остальные колонки. Хотя инструкции правительства нацелены на сбор информации, они не касаются ни мнений, ни действий отдельных лиц; единственным объектом этой программы является состояние собственности во Франции. Поэтому будет разумно избегать того, чтобы ваша работа получила широкую огласку. После потрясений, которые пережила Франция, умы легко поддаются тревоге, а недоброжелательность всегда готова проснуться. Прошу вас, граждане префект, действовать осмыслительно и оперативно. Приветствую вас. Подпись: РЁДЕРЕР».

Едва мой циркуляр был разослан, как я узнал от господина де Талейрана, что Первому консулу доложили о его содержании; ему сказали, что это письмо сеет тревогу в департаментах, и что он крайне недоволен. 21 прериаля (10 июня 1802 года) я написал ему, изложив свои мотивы: Полиция, - говорил я ему, - собирает сведения о действиях и речах отдельных лиц, которые говорят и действуют и которых она подозревает. Но ее расследования не могут проникнуть в сплоченную массу мнений и чувств, из которых рождается то, что называют общественным мнением. Администрация может достичь этого, классифицируя и наблюдая по отдельности интересы, которые управляют различными классами общества.

«Говорили Первому консулу, что мой циркуляр сеет тревогу; я прошу его заметить, что 19 прериаля было крайне трудно узнать, какой эффект произвело во Франции письмо, отправленное из Парижа лишь 15-го числа. Смею верить, что преамбула и концовка этого письма составлены таким образом, чтобы рассеять любое беспокойство... Смею также полагать, что моя личная репутация не дает повода для подозрений в политической инквизиции, и я признаюсь Первому консулу, что это обстоятельство - одно из тех, в которых я сказал себе: "Репутация честного человека - это также способ быть полезным великому человеку"».

Весьма вероятно, что доносчиком на мой циркуляр был министр внутренних дел: мои ведомства пересекались с его ведомствами, и только он мог быть так быстро проинформирован о рассылке; только у него был интерес предполагать опасные последствия. Однако я не могу его обвинять. Но я счел уместным донести до сведения Первого консула, что если бы я работал с ним напрямую, как я надеялся и просил, мое письмо было бы представлено ему перед отправкой: *«Я не считал себя вправе, - говорил я ему, - представлять свои взгляды Первому консулу, поскольку меня не призывали ни к какой прямой работе под его началом; сомневаясь в том, захочет ли он оказать мне эту честь, я хотел заслужить ее небольшим делом, прежде чем сказать ему, что, вступая в должность, я осмелился на нее рассчитывать».*

Я отправил свое письмо господину Маре, чтобы он передал его Первому консулу, и сопроводил его запиской следующего содержания:

«Постоянно говорят о необходимости учитывать "общественное мнение"; это весьма похвальное намерение, результат которого должен быть очень полезен правительству и нации. Но что же такое "общественное мнение"? Это мнение моей компании? Это мнение завсегда-таев кафе на углу? Выясняется ли оно путем подслушивания у дверей или вскрытия писем? Нет. Каков же тогда способ узнать, чего оно хочет, чего боится? Как узнавать об этом во все времена, при любых обстоятельствах, по любому вопросу, относительно того, что уже сделано или что планируется сделать? Способ заключается в том, чтобы создать систему комбинированных сведений, которая фиксировала бы мнение там, где оно есть, и предоставляла бы его периодически в том виде, в каком оно существует. Эту систему я попытался сформировать; я, по крайней мере, на пути к успеху. Я считаю необходимым получать сведения: 1-е - об интересах различных классов общества; 2-е - об их ежедневном и привычном чтении; 3-е - об их публичных развлечениях; 4-е - о духе гражданских и коммерческих сделок, о проповедниках, которых слушают, об ораторах в судах, которых предпочитают, об адвокатах, о врачах, с которыми консультируются и так далее; и периодически, каждые три месяца или при определенных обстоятельствах, получать подобного рода информацию. Это позволило бы иметь критерий для оценки мнений... Если я не гожусь для этой работы, значит, я не гожусь и для министерства народного просвещения. Фуркруа справится с лицами лучше меня, Дюрок лучше справится с театрами. Меня нужно вернуть в секцию внутренних дел, где нехватка времени сводит мою деятельность к нулю с тех пор, как я занимаюсь народным просвещением. Если

вы желаете мне добра, как я полагаю, вы поможете мне выбраться отсюда. С дружеским приветом».

Я не получил ответа, но решил, что в глубине души Первый консул не был недоволен, судя по тому, что он назначил моего старшего сына лейтенантом. Я поблагодарил его письмом и воспользовался случаем, чтобы попросить его не отказывать мне в непосредственной работе по народному просвещению, не выслушав меня: *«Я не прошу, - писал я ему, - ни другого звания, ни другого чина, ни другого мундира, ни другого жалованья. Я прошу лишь возможности принести пользу Первому консулу и обществу в том ведомстве, которое мне доверено. Народное просвещение может и должно быть мощным инструментом в нашей политической системе; именно через него законодатель сможет возродить национальный дух, а затем и сам опираться на него... Ведомство народного просвещения - это не обычное управление делами, как другие министерства, которое можно регулировать точными законами; это управление умами через посредство ума. Разум и идеи правительства не могут быть восприняты и переданы гражданам во всей их чистоте иначе как через орган, напрямую связанный с главой правительства. Прошу Первого консула заметить, что непосредственная работа, о которой я прошу в качестве администратора, уже была предоставлена мне как председателю секции внутренних дел и так далее».*

Ответа не последовало. Господин де Талейран, которому я жаловался, однажды посоветовал мне не удивляться этому молчанию: по его словам, друзья Шаптяля помогали чернить меня в глазах Первого консула. Он сообщил мне, что накануне сенатор Лаплас сказал Первому консулу: *«У вашего директора народного просвещения странные взгляды: он заявил делегации Коллеж де Франс, что в государственных учебных заведениях полезно преподавать только четыре правила арифметики. Это значит свести почти на нет всё образование, которое уже так успешно начато во Франции, и прочее».* Я тут же написал господину де Лапласу письмо с упреком и изложил ему факты такими, какими они были на самом деле:

«Большинство профессоров математики, физики и естественной истории, назначенных во все центральные школы самых заурядных городов, оставались без учеников; и Государственный совет единогласно решил вводить это специальное обучение только в крупных городах. Однако все эти профессора, лишённые учеников, тем не менее писали своим покровителям и друзьям среди ученых мужей столицы. А те, не зная, что их протекже при всем своем желании были бесполезны, вообразили, что в проводимой реформе объявлена война науке. Господин Био, тогда еще молодой и пылкий приверженец математических и физических наук, входил в состав делегации Коллеж де Франс, которая пришла ко мне - уже не помню, по какому именно случаю. Он говорил мне о беспокойстве, которое вызывали у всех друзей просвещения те меры, которые правительство, казалось, принимало в отношении профессоров точных наук. Я обрисовал ему положение дел и намерения правительства, добавив, что, хотя специальное преподавание этих наук и закрепляется за определенными школами, подразумевается, однако, что во всех заведениях четыре правила арифметики должны изучаться в рамках начального образования. Ведь оно является основой для всех остальных предметов и должно быть общим для детей всех сословий и положений. Это улучшение старой системы обучения должно удовлетворить всех, так как только эти четыре правила имеют общепользное значение для всех слоев общества. Я мог бы добавить: это то, что низшие классы способны запомнить, тогда как их обычные повседневные занятия делают все остальные науки для них чуждыми».

Господин де Лаплас ответил мне 6 июня в следующих выражениях: *«У меня никогда не было намерения, мой дорогой коллега, вредить вам в глазах Первого консула: это слишком чуждо моему характеру и моим чувствам к вам, и моя искренность в отношениях с вами должна это доказать. Я говорил с ним о математике только в связи с аналитическим мемуаром, рассмотрение которого он мне поручил. Мне кажется, вы придаете слишком большое значение моим словам, и я не могу поверить, чтобы это оставило у него какое-то неблагоприятное впечатление о вас. Но раз вы этого опасаетесь, не сомневайтесь в моем желании исправить при первой же возможности эту невольную оплошность, передав Первому консулу то удовле-*

творительное объяснение, которое вы мне дали и которое убедило меня, что вас просто неправильно поняли. Примите, пожалуйста, уверения в моей искренней привязанности. ЛАПЛАС. 17 прериаля X года».

Неприятности, с которыми я столкнулся, заставили меня принять решение вернуть свою должность Первому консулу. Я даже составил два проекта прошения об отставке, которые сохранились в моих бумагах. Но я уже начал работу над системой образования; мой план обрел зрелость в обсуждениях с господами Кювье и Делабром, и уж конечно мои намерения были бесконечно далеки от тех, что приписал мне господин Био. Я сдержал свое раздражение, и решил изложить в достаточно подробном мемуаре всю свою систему формирования министерства народного просвещения. Я был убежден, что если Первый консул и колебался между притязаниями Шаптяля на верховенство и моими требованиями независимости, то лишь потому, что еще не сформировал окончательного мнения о том, каким может быть моё ведомство и каким оно должно быть, чтобы приносить реальную пользу. Я составил этот мемуар и направил его Первому консулу под заголовком: *«Доклад консулам об организации департамента народного просвещения»*. Он представляет собой тетрадь из пятнадцати-шестнадцати страниц бумаги большого формата.

Я не ошибся в том, какой эффект произведет мой доклад. Господин Маре, государственный секретарь, написал мне 9 июня следующие слова: *«Спешу сообщить вам, мой дорогой Р., о двух распоряжениях, которые вас касаются: (1) Я только что направил Второму консулу вашу заметку о причинах, которые должны побудить назначить вам работу напрямую с консулами. Первый консул считает это уместным, и - согласно вашему пожеланию - вы будете работать каждые две недели В ПРИСУТСТВИИ министра. (2) Мне поручено написать министру внутренних дел, чтобы в следующую пятницу (новый назначенный ему рабочий день) он привел с собой граждан Рёдерера, Крете и Франсэ, поручив им собрать всё, что касается уставов, законов и трудов по их ведомствам. Обнимаю вас. Г. Б. МАРЕ»*.

Я не могу отказать себе в том, чтобы привести здесь начало своего доклада, который господин Маре называет заметкой, поскольку именно право делать прямой доклад было тем самым пунктом, который у меня оспаривали. Это вступление излагает взгляды, которые я еще не высказывал в данных мемуарах:

«Управление народным просвещением должно охватывать - как и само образование - всё, что обучает, всё, что стремится просветить умы, привязать их к отеческой власти, к родине, к своим обязанностям: общественное обучение, публичные библиотеки, зрелища, национальные праздники, занятия изящными искусствами, учёные и литературные сообщества, периодическую печать, книжную торговлю.

Если консулы желают, чтобы народное просвещение управлялось согласно регулярной и полной системе и чтобы все его части были направлены к единой цели, они легко признают, что глава этого ведомства должен подчиняться только правительству и должен объединять в своих руках все ветви народного просвещения.

Когда нация с очень живым умом и весьма подвижным характером не имеет ни институтов, ни нравов, ни привычек, которые могли бы служить ей сдерживающим фактором; когда эта нация находится в эпохе возрождения после долгих гражданских раздоров; когда речь идет не о том, чтобы сохранять, а о том, чтобы подготавливать, создавать, формировать и направлять национальный дух - необходимо, чтобы ум законодателя, занятый заботой о возрождении государства, уделял внимание всему, что закладывает идеи в умы граждан, всему, что находит отклик в их душах. В таких обстоятельствах важно, чтобы подле законодателя и под его надзором существовал особый орган управления, способный быстро улавливать его взгляды, развивать их, придавать им значимость и отчитываться о результатах. Связь с этим органом не должна ни замедляться, ни прерываться, ни искажаться какими-либо посредниками. Эта структура не должна быть второстепенной: нельзя ожидать ничего, кроме работы простого клерка, от человека, чьи амбиции ограничиваются лишь трудом под чужим именем и ради славы министра. Этот орган должен напрямую взаимодействовать с законодателем,

поскольку, когда речь идет о передаче не буквы закона, а его духа, и об отчете в том, как этот дух был передан, необходимо избегать потерь и искажений, неизбежно возникающих при прохождении через ненужные иерархические ступени.

Такая прямая связь необходима еще и потому, что, поскольку источником этого управления является мысль глав государства, оно может иметь последовательность, действенность и устойчивость только благодаря их непосредственному и личному контролю.

Я прошу консулов позволить мне изложить, каким я представлял себе их намерение при создании департамента народного просвещения и каков он есть на самом деле.

После того как консул Камбасерес оказал мне честь, сообщив о намерениях Первого консула, и опираясь на слова самого Первого консула: «Мы вверили вам департамент мысли», я пришел к выводу, что под этим понятием мне надлежит направлять и контролировать две сферы: народное просвещение, а именно: 1) общественное обучение; 2) общественный настрой.

Я полагал, что для того, чтобы управлять обучением мягко и без усилий, правительство намеревалось предоставить мне право представлять кандидатов на места учеников и преподавателей - точно так же, как мой коллега Порталис представляет кандидатов из числа священнослужителей. Это нужно для того, чтобы благодарность и доверие облегчали подчинение, и чтобы люди видели: те же руки, что отдают повседневные распоряжения, могут оказывать и благодеяния.

Надзор за людьми, чья служба заключается в создании произведений мысли, может осуществляться только через определенное влияние на их умы и доступ к их душам, чего невозможно добиться иначе, кроме как через благодарность за назначение или надежду на продвижение.

Я также считал, что в моем ведении находится руководство и надзор за публичными библиотеками, по крайней мере в департаментах. Ведь публичные библиотеки, число которых в последнее время значительно выросло за счет частных собраний, являются институтом «немом обучения», не менее эффективным, чем активное преподавание в лицеях.

Что касается руководства общественным настроением, то я полагал, что оно должно осуществляться через моральное управление театральными постановками и через надзор за печатными трудами.

Управление театрами должно было включать в себя и организацию народных празднеств, так как это тоже зрелища, причем самые влиятельные из всех возможных. Однако эту сферу рассматривали лишь с материальной стороны, и она оставлена в ведении министерства внутренних дел.

Надзор за печатными трудами, по моему мнению, должен охватывать:

1. Новые произведения, причем тремя способами:
 - во-первых, через контроль над литературными обществами, состоящими из авторов и тех, кто их оценивает;
 - во-вторых, через надзор за книжной торговлей;
 - в-третьих, через распределение поощрений, которые стимулируют усердие литераторов и вознаграждают полезные труды.
2. Газеты и журналы - либо для запрета вредных изданий, либо для исправления сомнительных, либо для поддержания достойных изданий в их духе. Это достигается как путем передачи или предложения качественных статей, так и через вознаграждение за те материалы, которые были опубликованы по собственной инициативе авторов.

Объединив все эти полномочия и осуществляя их под непосредственным руководством консулов, я мог бы представить им четкий и полный план народного просвещения. Однако было естественным, что департамент, отделенный от министерства (к великому неудовольствию министра), не получил столь логичного завершения, какое он мог бы иметь, будь он изначально создан как самостоятельное ведомство. Из-за бюрократической инерции и в силу определенных обстоятельств, указывавших на его зависимость, часть власти, необходимой главе этого ведомства, осталась в руках министра, порой даже вопреки его собственной воле.

Например, я не имею чести представлять Первому консулу учеников пританеи. На меня возложена неприятная обязанность отказывать: именно к министру относится благодарность за полученное, мне же достается лишь ненависть за отказы.

У министра составляются списки кандидатов на административные должности в сфере образования. Он дает обещания выдающимся людям (и он прав, если на него возложена обязанность их представлять), но затем перепоручает мне этих буквоедов, и они снова возвращаются ко мне сами. Если случается так, что лицей или частная школа просят книги из какого-либо хранилища для формирования библиотеки, я не могу принять по этому поводу никакого решения.

Мне совершенно невозможно должным образом осуществлять надзор за театрами, так как надежды актеров обращены к другим властям. Многие получают деньги от полиции, а те, кто их не получает, используют это как предлог, чтобы вымогать средства из поощрительных фондов; с другой стороны, мне до сих пор не удалось получить от центральной бухгалтерии министерства внутренних дел отчет о состоянии фондов, полученных за VIII год, и об их использовании, так что я не знаю ни какие платежи предстоят, ни кому причитаются поощрения для восполнения тех, что уже были выданы. Всё идет вразброд, когда актеры видят строгость в руках ответственного чиновника, а милости - в руках министра, который за это не отвечает. Есть лишь один способ управлять актерами - тот, что применялся при старом дворе: поставить их под начало власти, которой они никогда не смогут перечить, когда она наказывает; от которой они только и могут ждать наград; и чтобы эта власть немедленно принимала приказы главы правительства, говорила и действовала всегда от его имени.

Литературные сообщества были выведены из ведения департамента просвещения. Однако никто не займется более полезным делом, чем тот, кому поручено направлять общественный дух, делая его благоприятным для правильного развития этого самого духа. Впрочем, я могу доказать, что для правительства крайне важно учредить в самом Институте некий класс, который представлял бы старую Французскую академию; и так как он создан для достойного и разумного восхваления правительства, защищающего права граждан, правительство не может само предлагать себе хвалу, требовать литературных памятников своей славе. Тем не менее, если оно желает получить их от потомков в бронзе и мраморе, и если оно хочет, чтобы они возобновлялись даже тогда, когда время их разрушит, необходимо, чтобы справедливость литературных талантов оставила бессмертные следы в сочинениях, достойных потомства. Похвалы, которые правительство не может ни вызвать, ни приказать самому себе, ни просить иначе как через деяния, порой неверно оцененные, - их просит у красноречия и поэзии академия, раздающая награды за красноречие и поэзию; и талантливый писатель, который побоялся бы скомпрометировать свое перо по собственному почину или пренебрег бы этим из-за отсутствия личного мотива, с пылом откликается на призыв литературного сообщества, которое гарантирует ему как минимум честь быть судимым. Людовик XIV прекрасно понимал, что делал, покровительствуя Французской академии. Его поэты и ораторы отчеканили для него больше медалей, чем могли бы отчеканить за целый век все монетные дворы его королевства.

Я намерен предложить консулам проект организации книжного дела - организации, без которой, как я полагаю, невозможен никакой надзор за книжной торговлей. Этот надзор прежде доверялся члену совета, и теперь он требует восстановления.⁴² Но к чему служат сред-

⁴² Примечание, написанное в 1824 году.

Господин де Мальзерб, который долгое время занимался этим вопросом, доказал, что это может быть полезным; не следовало воспринимать это иначе, чем он. Впрочем, признаюсь, что здесь я, возможно, поддавался желанию выиграть свое дело, объявив первому консулу, что у меня были планы на надзор за книжным делом, которого он страстно желал. Это единственный раз, когда подобная слабость проявилась в моем поведении при его правлении. Однако я не должен и клеветать на себя; что я подразумевал под надзором за книготорговлей? То, как это понимал господин де Мальзерб, и никак иначе. Я хотел организации французского книжного дела и инспекции книг, поступающих из-за границы, - не для того, чтобы

ства полиции, если тот же чиновник, которому она поручена, не уполномочен также предлагать консулам распределение наград и литературных поощрений, и если он не может заказывать работы авторам, получающим государственное содержание, которые еще в состоянии писать? Однако министр внутренних дел не пожелал, чтобы фонды, предназначенные для выплат литераторам в качестве поощрения, распределялись по моему представлению. Этот фонд полностью отделен от моих полномочий; в результате чего несколько писателей, у которых я мог бы попросить сочинение или газетную статью в знак признательности за благодеяние правительства, остаются бесполезными для моего ведомства и для общественных дел. Со смертью одного из таких получателей пособия ни у кого нет причин обращаться ко мне за освободившейся выплатой; таким образом, эта возможность получить от пишущего таланта некую дань уважения мудрости правительства перед судом общественного мнения будет утеряна.

Консулы Камбасерес и Лебрен направили ко мне почтенного и несчастного старика, гражданина Понсе де ла Грива, чтобы я включил его в число лиц, получающих литературные поощрения; я могу ответить им лишь словами: «Это меня не касается». Первый консул желает облагодетельствовать гражданина Парни, за которого хлопотал его родственник генерал Бернонвиль. Пенсия в 1000 экю или 4000 франков, в обмен на которую от этого остроумного и изящного поэта можно было бы получить небольшие произведения, которые были бы весьма полезны и отвечали бы его желаниям; но распределение пенсий меня не касается. Не имея, таким образом, возможности предложить кому-либо надежду, я не мог бы рассчитывать ни на чье перо. Сочтя весьма полезным издать к XI году республики популярный альманах, который познакомил бы 200 000 жителей сельской местности с их первым правителем и обучил бы их многому полезному, я направил на этот расход средства, сэкономленные мною за счет упразднения ненужных должностей в подчиненных мне канцеляриях. Но нашлось бы еще сто подобных дел, которые следовало бы сделать, а у меня нет средств.

То, что я говорю о книгах, я могу сказать и о газетах, и журналах. Консул Камбасерес сообщил мне, что намерением правительства было, чтобы я присматривал за этой сферой. Но правительство само оформляет подписку на несколько газет. При этом я не знаю ни принципов, по которым распределяется эта милость, ни из каких фондов она оплачивается. Таким образом, я больше не имею влияния на газеты ни путем внушения, ни путем цензуры. Ведь сегодня право вознаграждать дает единственную возможность критиковать и предлагать исправления. Я бы даже сказал, что ведение этой части дел крайне запущено. Полиция вполне может запрещать то, что явно вредно; но может ли она побуждать делать то, что было бы хорошо, и так, как это было бы уместно и кстати?

Я не стану отрицать того, чем обязан доверию правительства, вплоть до опасения, что мой статус владельца "Journal de Paris" мог сделать меня подозрительным для полиции и в вопросе поощрения журналистов. Смеею верить: правительство посчитало, что поручить это мне - значило исключить "Journal de Paris" из числа любых милостей и обеспечить, пусть даже в ущерб этому изданию, справедливость и защиту всем тем, кто служит общественным интересам.

Закключение: если консулы желают регулярного управления народным просвещением, я хочу, чтобы они сочли полезным и справедливым: (1) Объединить публичные библиотеки и

стеснять или препятствовать книжной торговле, но для того, чтобы способствовать ее процветанию, чтобы точно знать, какие идеи, какие мнения, какие знания имели хождение и проникали в умы; измерять их прогресс или упадок: именно благодаря этим результатам надзор за книжным делом входил в систему информации, касающейся общественного духа, которую я хотел установить на постоянной основе. Я до сих пор помню идею, которая меня занимала и которую я отмечал в небольшой заметке, которая должна находиться в моих записях о прессе: она заключалась в том, чтобы предоставлять любому автору, который того потребует, эксперта для проверки произведения, которое он желает опубликовать, дабы этот автор мог получить, если пожелает, гарантийное свидетельство против судов и полиции; то есть против государственных прокуроров и произвольных преследований. Но я не хотел ничего навязывать. Я вынужден признать, что порочное правительство могло бы легко злоупотребить этой системой, созданной для славы правительства достойного; но эта возможность не исключала её полезности; и я не верил, при тогдашнем правительстве, в опасность злоупотреблений, по крайней мере, в течение долгого времени.

книжные склады; (2) Ученые сообщества и литературные объединения; (3) Все виды школ, включая медицинскую; (4) Распорядиться о том, чтобы все фонды, предназначенные на содержание и поощрение театров, ученых и литераторов, а также периодических изданий, были переданы в распоряжение директора народного просвещения; (5) Распорядиться о том, чтобы он представлял прямые доклады первому консулу по всем назначениям, относящимся к сфере народного просвещения; (6) Чтобы он представлял прямые доклады консулам об использовании фондов, предназначенных для различных подразделений системы народного просвещения, чтобы отчитываться о состоянии каждого из них и предлагать те постановления и правила, которые могут им потребоваться. *«Всё это - под его личную ответственность и с обязательством соблюдать те же формальности, что были предписаны гражданину Порталису для управления делами культа, или те, что ранее соблюдали граждане Дюфрен и Барбе-Марбуа при управлении государственным казначейством; ведь департамент просвещения требует не менее прямой связи с правительством, чем два этих ведомства, имея при этом большое сходство с первым из них».*

9 июня (20 прериаля) министр внутренних дел, вследствие письма, направленного ему государственным секретарем, написал мне: *«Предупреждаю вас, мой дорогой коллега, что мы должны собраться в Мальмезоне послезавтра, в пятницу, в час дня. Мне поручено известить вас об этом и пригласить вас взять с собой законы, касающиеся ваших полномочий».*

Мне нечего возразить против кандидатов, которых вы предлагаете. Общественное мнение на их стороне, и они пользуются всеобщим уважением. Можно представить на рассмотрение первому консулу и других. Камбри - в их числе, и он утверждает, что получил обещание. Мы закончим это дело послезавтра. Привет и дружба. ШАПТАЛЬ».

11 июня я отправился в Мальмезон. Господина Шапталя вызвали в кабинет первого консула для работы, а я ждал до четырех часов, пока не вызвали и меня. Войдя, я по лицу первого консула понял, что господа Шапталю и Камбасерес излагали свои доводы без всяких возражений со стороны. Тем не менее я спокойно открыл свой портфель, чтобы достать отчеты, которые должен был представить. Сначала я прочел проект указа о назначении инспекторов учебного процесса и список лиц, которые казались мне подходящими для этих должностей. В их числе был господин де Буффлер. Услышав это имя, первый консул прервал меня и сказал: *«Как вы можете предлагать в инспекторы лицеев автора столь вольных и столь известных стихов? Ученики, услышав его имя, спросят: „Не тот ли это кавалер де Буффлер, что написал „Сердца“?“».* Я ответил, что стихи уже позабыты, а сам человек - превосходный... *«Позабыты! - возразил первый консул. - Позабыты!..».* По этому вопросу, как и по некоторым другим, касающимся образования, никакого решения принято не было. Я перешел к делам театров. Обсуждались некоторые претензии актеров «Театра-Франсез» относительно оплаты аренды их зала и пенсионных выплат; консулы приняли решение по этому поводу. Затем рассматривались способы поощрения «Театра-Франсез». Для Шапталю это был щекотливый момент, и я мог бы по своему усмотрению сказать, намекнуть или дать понять многое, что значительно укрепило бы мое положение. Однако я вовсе не коснулся тех злоупотреблений, которые Дазенкур называл «малыми забавами министра», равно как и распределения поощрительных фондов - распределения, которое тот же Дазенкур включал в свой весьма забавный список «способов разорения Театра-Франсез». Я ограничился лишь упоминанием о злоупотреблениях с бесплатными ложами и билетами, которые требовали от актеров, основываясь на записке, касающейся исключительно этого вопроса, которую Дазенкур передал мне по секрету. Я воспользовался ею с толком, не раскрывая автора. Будет нелишним привести её здесь, дополнив некоторыми замечаниями, которые лучше высветят последствия различного рода, порождаемые подобным злоупотреблением.

Ведомость лож, занятых в Театре-Франсез и не оплаченных.

- Консул Камбасерес, ложа на пять мест в первом ярусе: 4 400 фр.
- Консул Лебрэн, ложа на пять мест в первом ярусе: 4 400
- Министр внутренних дел, ложа на семь мест в первом ярусе: 6 160

- Префект полиции, ложа на пять мест во втором ярусе: 3 300
- Министр общей полиции, ложа на пять мест в галерее: 4 400
- Генеральный штаб, ложа на пять мест в галерее: 4 400
- Генерал, командующий в Париже, ложа на пять мест в первом ярусе: 4 400
- Первый консул имеет три ложи:
 - Одна на шесть мест: 5 280
 - Одна на четыре места: 3 520
 - Одна, уровнем ниже, на четыре места: 3 000
 - **Итого за три ложи: 11 800**
- **Всего: 43 260**

«Министр получает 20 000 фр. за ложи от первого консула, но полноправные члены труппы (сосьетарии) их не получают, и министр внутренних дел распределяет эти 20 000 франков по своему усмотрению».

Билеты.

«Далее: 900 билетов в месяц для служащих канцелярий различных министерств. Далее: ... билетов для полиции. Далее: 60 билетов в месяц для министра внутренних дел лично для него и для распоряжения в пользу его друзей. Далее: кредиторы двух объединенных театров (Театра Франсе и театра Республики); далее: артисты Оперы, Итальянского театра и так далее; совет. Добровольные пропуска со стороны артистов; далее: множество полицейских комиссаров, муниципальных чиновников, судей различных трибуналов и прочее. Актерам-сосьетариям это обходится более чем в 100 000 франков - и всё ради того, чтобы им угрожали тюрьмой, чтобы их набирали или увольняли по прихоти министра или его канцелярий, и чтобы они жили посреди республики в самом тягостном рабстве, губительном для театрального искусства. Я играю слуг и искренне остаюсь вашим покорным слугой; но я и помыслить не мог, что окажусь лакеем у такого огромного количества людей. Подлинность подтверждаю, ДАЗЕНКУР. P.S. При первой же возможности, когда буду иметь честь вас видеть, я заберу эту записку, которая предназначена исключительно для вас».

Должен заметить, что из вежливости Дазенкур не упомянул в своем списке ложу, выделенную мне в первом ярусе, стоимостью 4 400 франков. Он также забыл про ложу комиссара Маэро стоимостью 3 520 франков. Злоупотребление ложами и бесплатными билетами не только наносило ущерб кассовым сборам, но и сильно вредило самому зрелищу. Места требовали под предлогом власти, которой были наделены, - это была ложа или билеты для собственного удовольствия; их требовали от имени власти под предлогом пользы дела. Чтобы придать действиям видимость полезности, авторитет власти использовали в массе случаев, применяя его ко всевозможным мелочам, которые власти вовсе не касались. Штаб крепости судил о новых пьесах; полиция судила пьесы и актеров. Полиция занималась администрацией и доходами; полиция назначала пенсии артистам больших театров. Таким образом, у актеров и актрис у каждого был свой покровитель, и каждый соразмерял свой тон в общении с товарищами в зависимости от того влияния, которым, как он полагал, обладали его личные защитники.

На заседании 11 июня первый консул, основываясь на моих докладах, навел относительный порядок в некоторых злоупотреблениях, распорядившись, чтобы власти оплачивали места и вносили их стоимость в кассу Комедии. Он приказал прекратить выплаты отдельным актерам и произвести новое распределение долей прибыли и так далее.

Первый консул также соизволил принять решение по поводу притязаний молодых актеров, которым ведущие артисты не давали возможности выступать на сцене. После тщательных расчетов, проведенных министром внутренних дел, было решено, что после первых пяти представлений старой пьесы, возвращенной в репертуар после пятилетнего перерыва, дублер или заместитель ведущего актера сможет играть в трех спектаклях подряд сразу после самого мастера.

Первый консул также высказался по жалобам ныне живущих драматургов, которые обвиняли актеров в том, что те отдают предпочтение старым пьесам, за которые не нужно платить авторские отчисления, и даже исключают новые произведения из своего репертуара, чтобы не делиться доходами с авторами. Он постановил, что каждую неделю должна ставиться одна новая трагедия и одна новая комедия. Остальное время отводилось пьесам старого репертуара.

Во всех этих решениях исходили из фактической ошибки: считалось, что ложно поняты интересы нескольких актеров всегда берут верх над истинными интересами всех, которые заключаются в том, чтобы радовать публику исполнением хороших произведений силами хороших артистов. По правде говоря, корыстный интерес отдельных лиц действительно мог быть направлен на то, чтобы оттеснить новых актеров и новые пьесы, и зачастую это удавалось. Но общий интерес был безошибочным средством исправления ситуации, и только на него можно было рассчитывать. Власть, объявляя, что дублиеры будут играть в определенной пропорции с ведущими мастерами и что новые пьесы будут регулярно конкурировать со старыми, забывала, что только публика обладает властью и компетентна распоряжаться подобными вещами, и публика лишь высмеивала все решения властей, когда те пытались навязывать свои вкусы. Постановление, согласно которому Лафон должен был играть в пятом представлении пьесы там, где зрители желали видеть Тальма, приносило Лафону лишь свист, если он выходил без предупреждения, или же пустой партер, если об этом объявляли в афише. Назначать в одну неделю постановку пьес Шенье, Монвеля или Кайява в то время, когда великолепная игра актеров привлекала толпы на «Федру», «Андромаху» или «Манлия», было равносильно приказу зрителям покинуть театр. Власть еще не видела другого препятствия для своей воли: дело в том, что актеры были способны настроить публику против правительства, объединяя все свои таланты для успеха старых пьес и небрежно играя новые. Таким образом, власть дискредитировала себя одновременно и перед публикой, и перед актерами. Чрезмерное стремление управлять неизбежно приводило здесь к быстрому и явному наказанию.

О моих разногласиях с господином Шапталем не было и речи: Первый консул не ответил ни на один из направленных мною отчетов. Он лишь косвенно вынес решение по памятной записке, которую я передал госпоже Бонапарт, касающейся создания системы бесплатного образования для дочерей военнослужащих всех чинов, погибших на службе государству. Он заявил, что из средств, выделенных на бесплатные пансионы, следует зарезервировать четверть мест для детей женского пола. В связи с этим он выразил некоторые сомнения по следующему вопросу: не должен ли пансион для женщин, по примеру Сен-Сира, находиться под управлением женщин, подчиненных монастырскому уставу? Учитывая эти обстоятельства, я составил новую записку об учреждении бесплатных школ и передал ее, как и первую, госпоже Бонапарт.

Доказав, что создание бесплатных пансионов для девочек будет не менее справедливым и политически оправданным, чем учреждение бесплатных стипендий в пританеях для мальчиков (поскольку семья слуги государства, оставившего после себя только дочерей, заслуживает не меньшего внимания, чем семья того, кто оставил сыновей, и поскольку во Франции именно женщины завершают воспитание мужчин), я предложил формировать учебные заведения со светскими женщинами, а не с монахинями, и начать так, как начинал Людовик XIV в Сен-Сире, создав сначала простое женское сообщество. Но так как подобное заведение не могло быть создано внезапно, а во Франции тогда не существовало ни одного женского сообщества, я предложил временно выбрать среди женских пансионов, открытых в Париже и окрестных городах, восемь заведений с хорошей репутацией, достойным преподаванием и твердыми принципами. Половину из них следовало предназначить для обучения дочерей-сирот офицеров, а другую половину - для дочерей рядовых солдат. Сразу же предполагалось распределить двести учениц между этими восемью домами и объявить, что через два года эти ученицы будут собраны в двух больших национальных воспитательных домах: один в..., другой в...; а из числа учительниц и начальниц восьми временно утвержденных пансионов будут

назначены наставницы и начальницы национальных домов, если они оправдают ожидания правительства.

Также предлагалось безотлагательно принять меры, необходимые для устройства двух больших национальных воспитательных домов: в одном предполагалось давать основательное и простое образование, в другом - основательное и более изысканное, в каждом по двести воспитанниц. Дочери военных или чиновников, погибших на службе государству, в возрасте от семи до десяти лет, признавались бы единственными претендентками на места даже во временно утвержденных пансионах. Средства на эти пенсии должны были выделяться из сумм, предназначенных для нужд народного просвещения. Госпожа Бонапарт объявлялась бы основательницей. Она осуществляла бы надзор за временными школами, а затем и за двумя национальными домами. Первый консул назначал бы воспитанниц на вакантные места по докладу государственного советника, ответственного за вопросы отчетности и надзор за экономическим управлением.

Я не получил никакого ответа по этому проекту. Но мне кажется - если я верно представляю себе то, что было сделано впоследствии, - что мои идеи не пропали даром. Они пошли на пользу не императрице Жозефине, а Марии-Луизе.

19 мая законодательный корпус проголосовал за создание Почетного легиона. 2 августа 1802 года (14 термидора X года) Бонапарт был объявлен пожизненным первым консулом. Эти институты фактически означали упразднение системы нотаблей. Первый консул избегал назначения должностных лиц, которые должны были официально вноситься в первые списки, а также момента, когда правительство было бы обязано остановить свой выбор на кандидатах, указанных в этих списках. У него были на то свои причины. Конституция гласила, что консулы вносятся в первые списки; при этом другое положение гласило, что должностные лица, пропущенные в последующих списках при трехлетнем обновлении, теряют свои места. Бонапарт видел в этом положении (которое, впрочем, не относилось напрямую к консулату, но соответствовало духу закона) способ объявить о прекращении своих полномочий. Это стало для него поводом под разными предлогами откладывать постановление, часто предлагаемое секцией внутренних дел и министром внутренних дел, целью которого было определить срок обязательного выбора из списков, а также утвердить чиновников, вносимых в первые списки в силу конституции. Таким образом он провоцировал голосование за пожизненный консулат, чтобы избавить себя от этой необходимости.

Когда Бонапарт добился пожизненного консулата, что освобождало его от внесения в списки и от последствий возможного исключения из них; когда он учредил Почетный легион, противопоставив нотаблям, назначенным им самим, награжденным и получающим жалование, «чисто моральных» нотаблей, установленных национальным законом, ему было достаточно не завершать реализацию последнего, чтобы оно не имело никакой силы. Он так и поступил. В результате вопрос о законе о нотаблях больше не поднимался, и ничто не стесняло выбор ни правительства, ни сената.

Чтобы обладать абсолютной властью, оставалось лишь сделать так, чтобы сенат, чей выбор больше не ограничивался волей народа, находился под влиянием воли правительства. Оно приняло 16 термидора так называемый органический сенатус-консульт, набросок которого был продиктован Реньо. Этот документ глубоко искажал конституцию: под названием «сенаторий» создавались бенефиции для распределения между главными сенаторами и для назначения первого консула; кроме того, все сенаторы получали право занимать высокие государственные должности, которыми распоряжался первый консул и которые конституция ранее объявила навсегда несовместимыми со статусом сенатора.

Политическая свобода была тогда уничтожена. Сенат, подкупленный с этого момента правительственной властью, перестал быть тем избирательным органом, который, выбирая кандидатов из различных слоев нации, должен был придавать - гораздо совершеннее, чем это удавалось до тех пор - чисто народный характер представительству нации в Трибунате и За-

конодательном корпусе. Напротив, сенат превратился в самое явное и подлинное орудие правительства для проведения тех выборов, которых желало само правительство. Коррупция была торжественно утверждена и организована внутри избирательного корпуса Франции.

Именно в этом заключался переворот представительной конституции. Именно тогда следовало бить тревогу, а не тогда, когда первый консул стал наследственным императором. Императорский титул и наследственность ничего не меняли в республике; эти два нововведения, исказившие суть сената, отдавали его во власть абсолютизма под прикрытием консульской власти. Если бы сенат остался нетронутым, ни император, ни наследственность империи не нанесли бы ущерба свободе.⁴³ Тогда никто ничего не сказал. Все поддавались происходящему с удивительной легкостью - не из низости и не из корысти, а из доверия, благодарности и любви к первому консулу; из страха, как бы его не лишила власти какая-нибудь фракция, или, я бы сказал, из страха, как бы он не почувствовал отвращения к власти, которую считал недостаточной и несоразмерной своим масштабным замыслам; страха, который был не таким уж идиотом, как он и доказал это в последнее время, когда, вынужденный выбирать между обладанием униженной властью и небытием, он выбрал небытие.

Здесь я сделаю признание, которое могло бы мне дорого стоить, будь у меня меньше уважения к истине. Я был достаточно сильно ослеплен доверием и восхищением, которые питал к Бонапарту, и не знаю, под влиянием какой иллюзии относительно действия двух законов я не заметил, что закон о Почетном легионе - проект которого я сам составил, представил, обсуждал и отстаивал в Законодательном корпусе - на самом деле означал ликвидацию системы нотаблей, которую я также разрабатывал, представлял и поддерживал. Ибо на следующий же день после того, как был принят закон о Почетном легионе (получивший сто шестьдесят шесть голосов «за» при всего лишь ста десяти «против»), я написал первому консулу, что столь многочисленная оппозиция была вызвана в значительной степени ложным представлением, будто учреждение Почетного легиона уничтожает систему нотаблей. Я убеждал его, дабы опровергнуть это мнение, установить срок, когда национальный список станет обязательным для выбора членов правительства. Ответа я не получил. Нужно было быть слепцом, чтобы не видеть абсурдности моего доклада. О вопросе нотаблей больше не вспоминалось; и когда на частном совете первый консул выдвинул первые идеи сенатус-консульта от 16 термидора (4 августа 1802 года), который учреждал сенатории и делал сенаторов претендентами на все высшие государственные посты, он - вместо того чтобы сказать мне, согласно своему неизменному обычаю: «Гражданин Рёдерер, пишите», и диктовать мне - обратился к Реньо де Сен-Жан-д'Анжели со словами: «Пишите».⁴⁴ Тем самым он дал понять, что более не видит во мне человека, подходящего для осуществления своих дальнейших замыслов, и словно говорил мне: *«Вы всё ещё держитесь за свои списки выборщиков, которые должны дать нам законодателей, назначенных народом. Вы меня больше не понимаете»*. С этого момента я начал понимать его лучше, чем мне того хотелось бы.

Мое пребывание в фаворе окончательно подошло к концу. Мне нравится убеждать себя, что именно мое письмо по поводу принятия закона о Почетном легионе послужило поводом для решения первого консула перевести меня в Сенат и передать занимаемое мною место в

⁴³ (Примечание редактора.) «Г-н Рёдерер, - говорит г-н Тьер в своей "Истории Консульства и Империи", т. III, стр. 210, - был в то время самым пылким монархистом, тем, кто желал наиболее быстрого и полного возвращения к монархии...».

Да, конечно, мой отец хотел наследственной монархии; это был единственный способ обеспечить будущее. Но здесь он категорически объясняет, как именно он это понимал! Это была мысль всей его жизни!

⁴⁴ (Примечание издателя). До этого времени мой отец был предпочтительным секретарем первого консула. Тот обращался к нему для составления важных редакций. Мы уже видели несколько тому подтверждений, и вскоре увидим новые. Вот что говорит по этому поводу Бурьенн в своих «Мемуарах» (т. VI, стр. 57): «У Реньо де Сен-Жан-д'Анжели была легкая, не очень глубокая речь, но он обладал большим тактом и поразительной легкостью в оформлении идей, которые ему внушали. Господин де Фонтан обладал тем же достоинством, имея при этом больше знаний. Однако я помню, что, когда я был при Бонапарте, он часто говорил мне, что предпочитает редакции Реньо де Сен-Жан-д'Анжели всем прочим, если только это не редакции Рёдерера, хотя и находил (это было его выражение), что Рёдерер слишком спешит в делах».

Совете (вместе с сопутствующим ему влиянием) Реньо, который стал одновременно оратором первого консула, а затем и императора. Именно тогда Сенат и Законодательный корпус начали слышать с трибун речи на новом языке, на котором мне было бы невозможно говорить. Я считаю главным благодеянием императора по отношению ко мне то, что он счел меня неспособным отстаивать - как это делал Реньо - мнения и интересы, чуждые нации, и что он удалил меня из Совета в тот момент, когда дела почтенные и полезные начали смешиваться с излишествами власти.

Некоторые полагали, что меня отправили в Сенат лишь потому, что в планы первого консула входило назначение Фуше, чьим противником я всегда являлся. Поскольку первый консул намеревался удовлетворить порядочных людей, удалив Фуше, он все же не хотел, чтобы республиканцы, считавшие меня склонным к абсолютной власти, решили, будто увольнение Фуше стало моим триумфом.

Первый консул, который 11 июня допустил меня к непосредственной работе вследствие решения, о котором мне сообщил господин Маре, более не вызывал меня и оставил в стороне вопросы народного просвещения. Тем не менее он поручил консулу Леброну убедить меня работать вместе с министром внутренних дел и свести нас для примирения; однако он был уверен в моем сопротивлении, мотивы которого ему были известны. Нас пригласили, господина Шапталя и меня, к консулу Леброну. Шаптал, который предвидел мой отказ, нашел предлог не приходить на встречу. Я же туда отправился. Я прямо заявил консулу Леброну, что, когда речь идет об управлении театрами, я не считаю свое положение столь низким, чтобы признавать над собой начальство в лице господина Шапталя и подвергать себя необходимости отстаивать свои решения перед его любовницами в его же ведомстве. Что же касается руководства общественным мнением, то я не чувствую в себе достаточно проницательности, чтобы постигать замыслы первого консула через посредство господина Шапталя и доносить свои собственные идеи до первого консула, пробиваясь сквозь того же Шапталя! Я добавил, что если первый консул полагает, будто независимость вверенного мне управления вредит делу, то я не желаю ничего лучше, как вернуться в сенат, который я покинул лишь по приглашению самого первого консула. Прошло четыре дня, в течение которых я ничего не слышал об этом деле. Но в - открыв газету «Монитор», я прочитал о своем назначении в сенат рядом с назначением Фуше; это сопровождалось, как и в случае с Фуше, похвалами, которых мы удостоились отнюдь не за одни и те же заслуги.

На следующий день после моего назначения в сенат я отправился к господину де Талейрану в Нёйи. В его гостиной было много людей. Он провел меня вместе с собой в свою спальню и выразил удивление, которое испытал, прочитав накануне в «Мониторе» о моем назначении в сенат. Он сказал мне: *«У меня было тем меньше оснований этого ожидать, что за три дня до того я получил письмо от первого консула на ваш счет. У меня были причины полагать, что он дает мне время передать его содержание вам и сообщить ему о вашем ответе; ему следовало бы велеть мне поговорить с вами немедленно. Однако он дал мне понять, что это должно стать темой нашего разговора без лишней спешки, при первой же нашей обычной встрече»*. Говоря это, он вынул из кармана и развернул письмо первого консула. Он передал его мне, и я прочел следующие слова: *«Отказ гражданина Рёдерера работать с министром внутренних дел вредит делам. Прошу вас поговорить с ним об этом. Одно из двух: либо у него есть амбиции, либо их нет вовсе. Если амбиции у него есть, почему он отказывается признавать права должности, которая находится непосредственно над его собственной? Если же их нет, почему он не подчиняется установленной системе?»*. Господин де Талейран повторил эти слова: *«Прошу вас поговорить с ним об этом»*. *«Вы видите, - сказал он мне, - ничто не указывало на необходимость беседовать с вами раньше, чем представится случай при наших частых встречах. Мне было бы крайне досадно, если бы вы могли подумать, что ваше назначение произошло из-за моей медлительности. Впрочем, будьте уверены, что он никогда не хотел видеть вас министром и вы им никогда не станете...»*.

Мне показалось, господин де Талейран опасался, как бы я не сказал: «Если бы я узнал о письме первого консула раньше, я бы смирился и до сих пор оставался бы председателем секции в Государственном совете и директором народного просвещения». Вероятно, он еще больше боялся, что я, оправдывая свое упорное сопротивление, доведу до сведения первого консула, что не знал о его определенных намерениях. Вскоре я развеял его опасения и сомнения, сказав ему: «Даже если бы вы показали мне это письмо до моей отставки, оно бы ничего не изменило. Я бы ответил вам так же, как консулу Лебрену: я не рожден для того, чтобы отчитываться об управлении театрами перед министром, чьими любовницами являются актриски, а о руководстве общественным мнением - перед кем-либо иным, кроме того, кто, поручая мне это дело, подал надежду на прямое общение с ним. Ведь такое руководство не может быть предметом лишь письменных докладов. К тому же я стоял гораздо выше должности, которая ставила бы меня в подчинение Шапталю». И здесь я, справедливо или нет, отношу к себе слова Монтескье: «Я не люблю мелких почестей. Раньше никто не знал, чего вы стоите; теперь же они определяют ваше место и решают, что именно вам подходит».

Даже сегодня (в 1824 году), спустя двадцать два года после того незначительного события, о котором я пишу, я содрогаюсь при мысли об опасности, которой я тогда подвергся, едва не согласившись хоть на мгновение занять место ниже господина Шапталя. Я считаю одной из удач своей жизни то, что мне удалось этого избежать и что я могу предъявить свое сопротивление как свидетельство твердости моего характера. Впрочем, господин де Талейран, возможно, очень правильно понял первого консула, не показав мне письма до моей отставки. Оно было вполне способно заставить меня замолчать, имей я глупость жаловаться, и доказать крайнюю доброту первого консула ко мне, если бы я вздумал сказать, что, убеждая меня отказаться от назначения в сенат, он не уточнил, что это делается ради того, чтобы вернуть меня туда через два года. Вероятно, эта фраза не была написана специально для этого случая. Первый консул не был лишён беспокойства по поводу упреков, которых он больше всего боялся заслужить; его старые боевые товарищи не щадили его, обвиняя в неблагодарности и в том, что он не ценит ни их труды, ни их преданность. Разумеется, никто не стоял выше подобных упреков более него, но тогда доказательства этого еще не были столь очевидны, как впоследствии. На следующий день после моего назначения в сенат Жозеф Бонапарт сообщил мне, что первый консул поручил ему узнать, чего я желаю. Я ответил: «Никаких денег: лишь почетную должность без жалованья в Почетном легионе». Три дня спустя первый консул пригласил меня на обед в Мальмезон вместе с Фуше, который приехал первым. Когда я вошел, первый консул весело сказал мне: «Ну что, гражданин Рёдерер, мы отправили вас к нашим отцам-сенаторам!»

— «Да, генерал, - ответил я ему почти в том же тоне, - вы отправили меня *ad patres* (к праотцам)». Фуше разнес этот ответ повсюду; он показался слишком дерзким, хотя я так и не понял, почему. Адмирал Брюи спросил меня, правда ли это, и когда я подтвердил, он заметил: «Вы смелее меня». Под своим ответом я подразумевал следующее: «Вы отправили трудолюбивого человека в структуру, где нечего делать». Похоже, Фуше, желавший, чтобы консула обвиняли в неблагодарности, именно так истолковал слова первого консула и мой ответ:

— «Ну что, гражданин Рёдерер, мы возвели вас на блестящий пост!» .

— «Да, генерал, мы обязаны вам счастьем быть мертвыми и погребенными».

Вот краткий обзор нескольких писем, относящихся к периоду моей административной деятельности.

16 апреля. Письмо господина де Фонтана.

Я привожу его целиком либо как доказательство его доверия ко мне, либо чтобы подтвердить мое доверие к нему, так как доверие между нами нуждается в подтверждении с обеих сторон.

«Департамент, где я родился, милостивый государь, хочет, чтобы я ходатайствовал перед вами и докучал вам; следовательно, я подчиняюсь. Как я ни сопротивлялся, мои соотечественники неумолимы. Они говорят, опираясь на вашу репутацию, что вы очень справедливы и весьма просвещены. Они правы. Я же, кроме того, знаю, что вы очень любезны и снисходительны. Этого достаточно, чтобы я рискнул отправить свое письмо. Вы его прочтете и ответите мне откровенно.

Благодаря вам народное образование улучшается. Департамент Дё-Севр хотел бы приобщиться к тому благу, которое вы несете всей Франции. Главный город, Ниорт, находится на равном расстоянии от Бордо и Ренна, в семидесяти лье от побережья. К интересам Вандеи присоединяются интересы Дё-Севра. Правительству важно, чтобы очаг просвещения находился рядом с последним театром наших гражданских и религиозных войн. Этот мотив должен впечатлить такого государственного деятеля, как вы. Добавлю, что в Ниорте всегда была весьма уважаемая коллегия, которой до революции руководили отцы-ораторианцы. Я видел в этой коллегии множество воспитанников из Ла-Рошели, Рошфора, Нанта и Бордо. Центральная школа, сменившая её, является одной из самых образцовых и посещаемых. Вот наши основания. Судите о них в своей мудрости и простите мою назойливость из любви к родине. Примите заверения в моем глубоком уважении и преданности. ФОНТАН».

Апрель или май 1802 года. — Письмо господина де Буффлера (кавалера).

«В газетах пишут о трех вакансиях инспекторов по учебной части, дорогой коллега; не слишком ли амбициозно с моей стороны желать одну из них? Если они в вашем распоряжении, я осмеливаюсь рассчитывать на вашу беспристрастность; если же нет - на вашу рекомендацию. Надеюсь вскоре быть в состоянии навестить вас и поблагодарить вашу любезную супругу за тот краткий миг её появления среди моих страданий, который принес мне больше пользы, чем все предписания медицины. Я знаю, что вы обременены делами и трудами. Но я полагаю, что вы ежедневно освобождаетесь от каких-то задач и что после того как вы приложили столько усилий, чтобы застелить себе постель, спать в ней будет гораздо спокойнее. Слава в вышних Богу. Б.»

P. S. На обороте письма: „Кстати, пришлите мне немедленно, если это возможно, новое христианское чудо господина де Шатобриана; мне прямо-таки не терпится прочитать его и написать отзыв“.

19 марта. — Письмо господина де Сент-Анжа.

«Милостивый государь, примите экземпляр моего сборника „Поэтические смеси“. Возможно, среди моего поэтического „тряпья“ вы найдете несколько довольно значительных лоскутов ткани, отмеченных печатью чувства, разума, морали и здоровой критики. Мне бы хотелось, чтобы вы сочли их имеющими некую ценность. Рифмоплетов много, а поэт - редкость. Сегодня это верно как никогда; и это лишний повод для того, чтобы правительство особо выделяло тех, кто в глазах потомков прославит своими литературными успехами эпоху консульства Бонапарта. К сожалению, пронизательные судьи в поэзии встречаются почти так же редко, как и хорошие творцы. Лишь довольно поздно Кольбер научился у Депрео отличать Корнеля от Шаплена. Вам же дано быть одновременно и Депрео, и Кольбером.

Примите, сударь, уверения в моей преданности и почтении.

ДЕ СЕНТ-АНЖ,

улица Претр-Сен-Поль, № 31.

P. S. Прошу вас во второй или третий раз: сообщите мне, в какие дни вы принимаете тех, у кого к вам есть дела, касающиеся народного просвещения. Я хотел бы сказать вам кое-что такое, чего другие вам не скажут».

В ответ на это письмо я назначил господину де Сент-Анжу встречу на 21 марта (30 ван-тоза). Он пришел и объявил, что хочет попросить место в системе общественного образования.

— Какое именно место, сударь?

— Я бы хотел получить должность профессора словесности в Коллеж де Франс...

Я не знаю, какое именно препятствие помешало этой просьбе. Должность, как мне кажется, была вакантной, но все еще числилась за аббатом Делилем.

— О, в таком случае! - подхватил Сент-Анж, - если это место мне не достанется, вы могли бы, возможно, помочь мне получить должность генерального инспектора по учебной части.

— Эти должности еще не учреждены. Я не могу сказать, какими они будут и когда будут распределяться.

— Ну что ж! Тогда я удовлетворюсь должностью директора лицей в Париже.

— Сударь, вы вправе рассчитывать на справедливость Первого консула, и я подчеркну ваши заслуги.

— Надеюсь, вы будете добры и не забудете обо мне.

— Не сомневайтесь в этом, прошу вас.

— Чтобы точно не путать меня с другими литераторами, запомните, пожалуйста, что я - единственный, кто никогда ничего не просит.

Господин де Сент-Анж обещал мне в своем письме сказать нечто такое, чего другие мне бы не сказали; и он сдержал свое слово.

Из всей моей сохранившейся переписки того периода больше всего мне льстит записка, которую господин Кювье написал мне на следующий день после моего назначения в Сенат:

«Гражданин Кювье прибыл засвидетельствовать свое почтение гражданину Рёдереру и поблагодарить за то сердечное отношение, которое встретил он сам и его коллеги в то время, когда имели честь сотрудничать с ним.

Ж. КЮВЬЕ.

3-й дополнительный день X года Республики».

В тот же день актеры театра «Комеди Франсез» также пришли поблагодарить меня за мое отношение к ним и выразить свои сожаления.

Заметка для биографии, составленная по просьбе моего сына Антуана (1824). Часть вторая.

В 1802 году первый консул, задумав учредить управление общественным мнением и народным просвещением, возложил эту дополнительную обязанность на господина Рёдерера. Господин Рёдерер принял назначение, однако заметил, что общественность всегда претендует на то, чтобы управлять собой самостоятельно, и, более того, сама стремится руководить правительством. По его мнению, открыто заявить о намерении управлять умами было бы верным способом спровоцировать мятеж. В итоге название должности «директор общественного мнения и образования» сменили на «директор народного просвещения». Под началом этого управления находились учебные заведения и театры. Господин Рёдерер занимал этот пост всего шесть месяцев. О его руководстве театрами напоминает то, что именно при нем в Комеди Франсез дебютировали мадемуазель Дюшенуа и мадемуазель Жорж, а в Опере - мадемуазель Биготтини. Именно благодаря ему они получили распоряжение о дебюте, несмотря на довольно сильное противодействие.

Что касается народного просвещения, господин Рёдерер разработал совершенно новую систему образования, которая заслуживала как минимум серьезного рассмотрения. План был согласован с двумя выдающимися людьми - господами Делабром и Кювье, которые с удовольствием поддерживали его идеи. Он предлагал развивать одновременно, начиная с самых

низших классов, три направления обучения, которые до того всегда были в той или иной степени разобщены: литературное образование, физико-математические знания, а также моральные и политические науки. Он хотел, чтобы три великие способности человеческого разума - воображение, наблюдательность и рассуждение - упражнялись вместе, не утомляя ученика. Он стремился положить конец разрыву, возникшему между этими способностями из-за недостатков старых методов образования, способствовать их естественному союзу и дать каждой из них новый импульс через развитие, примерно равное для всех. Проект закона, составленный с величайшим тщанием, уже должен был быть представлен первому консулу, когда господин Рёдерер узнал, что назначен в Сенат. Это назначение, которое многие расценили как опалу, приписывали его отказу работать с господином Шапталем, министром внутренних дел, против которого господин Рёдерер упорно выступал. Скорее казалось, что настал момент, когда первый консул, стремящийся к трону, стал меньше нуждаться в людях, преданных идеалам консульства, или даже начал их опасаться. Господин Рёдерер сохранил в Государственном совете тот же характер, который проявлял ранее в государственных делах в конце первого года консульства - самого славного периода в политической жизни Бонапарта. Господин Рёдерер опубликовал результаты деятельности за этот год, завершив свой труд словами, полными патриотической гордости: *«Да будет нам позволено, - писал он, - прославить этот великий год, принадлежащий нам, горстке граждан, которых он заметил в их неизвестности; нам, кто, привязавшись к нему, пожелал связать свою судьбу не с самым сильным, но с самым великим; нам, кто жаждал не его милостей, но его уважения, ибо он ценил наше; нам, кто связал свое существование не только с его жизнью, но прежде всего с его добродетелью, разделяя ради него ту величайшую опасность, которой могут подвергнуть себя люди, имеющие хоть каплю уважения к самим себе, - а именно публично хвалить человека живого, молодого и облеченного верховной властью»*. Разве это не было равносильно словам: «Вы можете оправдать наши ожидания лишь своими общественными добродетелями и любовью к родине»?

Первый консул вовсе не хотел, чтобы назначение господина Рёдерера в сенат воспринималось как опала. Спустя несколько дней он пригласил его на обед в Мальмезон. Когда господин Рёдерер вошел в салон, первый консул весело сказал ему: *«Ну что же! Мы поместили вас в число наших отцов-сенаторов»*.

— *«Да, - ответил господин Рёдерер в том же тоне, - вы отправили меня AD PATRES (к праотцам)»*.

— *«Сенат больше не поглощает людей безвозвратно»*, - серьезно возразил первый консул.

И действительно, сенатус-консульт от 4 августа, изменив саму суть сената, позволил первому консулу по своему усмотрению возвращать сенаторов к активной деятельности. Ранее конституция закрывала им путь к любым иным должностям, чтобы оградить выборы консулов и законодательного корпуса от влияния чьих-либо страхов или надежд. Первый консул вновь открыл для них доступ к высшим чинам и великим полномочиям, которыми он располагался.

На следующий день после обеда в Мальмезоне, 30 сентября, первый консул, объявив себя посредником между враждующими партиями Швейцарии, назначил господина Рёдерера членом комиссии, созданной для выработки совместно с гельветическими депутатами основ новой конфедерации кантонов и новой конституции для каждого из них. Господин Рёдерер стал автором Акта о медиации и основных кантональных конституций, в частности Берна, Цюриха, Золотурна, Фрибура и Вале.

15 октября 1803 года он был назначен на должность сенатора в Кане.

В 1804 году он принимал активное участие в обсуждении сенатус-консультов, которые признали императорское достоинство за личностью Бонапарта и право наследования за его семьей. Еще в своем труде «О правительстве», написанном во время работы над конституцией III года, господин Рёдерер со всей возможной на тот момент ясностью показал, что считает *единство* необходимым условием для решительности, силы и даже правильности действий власти. Он предсказывал, что Директория станет колыбелью враждующих фракций и гнездом противоборствующих партий. Он любил республику, но такая форма государственного

устройства, при которой управление находилось бы в руках одного человека при поддержке независимой судебной власти и подлинно представительного законодательного корпуса, казалась ему наиболее достойной имени республики. Таким образом, как из принципа, так и из личной привязанности к первому консулу, а также ради его безопасности (на которую за время его правления трижды покушались) и прежде всего из опасения новых потрясений во Франции, он желал, чтобы принцип единства и наследственности был закреплён за Бонапартом и его семьей.

Однако в то же время он выступал за создание институтов, которые ограничивали бы императорскую власть. Будучи членом комиссии, ответственной за рассмотрение проекта органического сенатус-консульта об императорском правительстве, он предложил важные поправки, которые не были приняты. Он особенно желал, чтобы сенат обрел независимость благодаря праву собственности и наследственности. Тем не менее он подготовил доклад комиссии и предложил принять сенатус-консульт, который, согласно воле трех с половиной миллионов граждан, закреплял императорский титул за семьей Бонапарта. В тот же период в «Парижском журнале» (*Journal de Paris*) он опроверг мнение, высказанное господином Карно в Трибунате против наследственной власти.

В 1804 году он был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.

1 апреля 1806 года сенат направил его в Неаполь вместе с двумя другими сенаторами, чтобы поздравить Жозефа Бонапарта с восшествием на престол Королевства Обеих Сицилий. Жозеф Бонапарт оставил его при себе и 23 ноября поручил ему управление финансами. В период этой службы император назначил его великим офицером ордена Почетного легиона, а некоторое время спустя - графом. Король Неаполя пожаловал ему звание великого сановника королевского ордена Обеих Сицилий. Жозеф пообещал себе привнести в управление этой прекрасной страной либеральные принципы, которые он всегда исповедовал. Кроме того, он стремился установить в финансовой сфере тот порядок, умеренность и экономию, которыми тогда отличались финансы Франции. Господин Рёдерер поддержал его в этом. Он основал систему справедливого и умеренного налогообложения. Он ввел строгий порядок в государственном казначействе и королевском банке; благодаря этим мерам он без каких-либо ухищрений создал государственный кредит - преимущество, доселе неизвестное неаполитанскому правительству. Аббат Морелле в своей опубликованной переписке и граф Орлов в труде о Неаполитанском королевстве с почтением отзываются о его управлении; всё, что он сделал в Неаполе, сохраняется и по сей день, принося добрые плоды. Это и есть лучшая похвала в его адрес. Кроме того, неаполитанцы отдают должное его бескорыстию. Доверие и дружба короля, общие интересы, связывавшие его с монархом, а также любовь к общественному благу и забота о репутации ставили министра гораздо выше любых денежных вознаграждений.

Когда Жозеф покинул Неаполь, чтобы взойти на испанский престол, он наделил господина Рёдерера правом назначить другого министра на свое место, если тот сочтет нужным вернуться во Францию. Он также делегировал ему иные полномочия, которые фактически составляли некое подобие регентства. После отъезда короля в Байонну, где его ожидал Наполеон, господин Рёдерер передал эти полномочия в запечатанном виде государственному секретарю, так как не счел необходимым ими воспользоваться. Спустя шесть недель он передал портфель министра финансов принцу Пиньятели, который управлял ведомством до назначения и прибытия преемника Жозефа.

Вернувшись в Париж, господин Рёдерер имел случай написать новому королю, Иоахиму, по вопросам финансов; в конце своего письма он выразился следующим образом: *«Король (Жозеф), доверив мне свои финансы, оказал мне честь и милость, обязавшись не проявлять в отношении меня никакой щедрости. Его Величество соизволил признать, что малейшее приращение моего состояния ослабило бы эффективность моего управления, сделало бы мою строгость к злоупотреблениям смешной и презренной, подорвало бы всякое доверие к моим операциям с государственным долгом, сделало бы меня подозрительным и ненавистным в министерстве, где возможность обогащения заставляет смотреть на иностранца с завистью. Наконец, это поз-*

волило бы общественности ставить французского сенатора, и без того обеспеченного благодаря милостям императора, в один ряд с вечно голодными царедворцами. Король, не огорчая меня никакими дарами, столь же верно оценил мой характер, как и моё положение... и т. д.». Жозеф, став королем Испании, полностью подтвердил содержание этого письма. 9 ноября 1808 года он написал господину Рёдереру из Витории: *«Я подтверждаю всё, что вы написали. Смеею сказать, что вы должны гордиться моим уважением так же, как я горжусь вашей дружбой. Передайте также господам де Ласепеду, Лагранжу, Монжу и другим, что я ценю их мнение выше всех тех величий, что даются слепым случаем и которые я разделяю с таким множеством бедных принцев всех веков»*.

Господин Рёдерер, вернувшись из Неаполя, обосновался в Париже. Летом 1809 года между императором и его братом, королем Испании, возникло некоторое недопонимание; этого трудно было избежать. Жозеф, считавший, что ему суждено править испанцами, хотел завоевать их доверие и с этой целью стремился не допускать произвольного взимания военных налогов. Он требовал от французских войск такой деликатности, которую генералы считали несовместимой с обеспечением нужд солдат и которая была необычна для завоеванной страны. Императору с обеих сторон поступали постоянные жалобы. С одной стороны, короля упрекали в том, что он «оиспанился» и доверился французским офицерам, которые, по слухам, вслед за ним надели испанскую кокарду. С другой стороны, отдельные армейские корпуса упрекали в том, что они упорно продолжают обращаться с Испанией как с покоренной страной, хотя она стала союзным государством и другом Франции, покорившись принцу из дома Наполеона. Император направил господина Рёдерера в Мадрид, чтобы довести до короля те жалобы, которые показались ему обоснованными. Господин Рёдерер выполнил это деликатное поручение с большой мудростью. Он сумел отделить факты, которые могли вызвать недовольство обеих сторон, от предубеждений, порожденных ложными доносами. Он развеял эти предубеждения и без труда нашел все необходимые средства и объяснения, чтобы братья пришли к согласию по существу возникших трудностей. Император был признателен ему за то, что по возвращении из Мадрида тот выступил в защиту его брата, и с удовольствием принял заверение в том, что слухи о маршале Журдане, якобы надевшем красную кокарду, были ложными.

В 1810 году император назначил господина Рёдерера председателем комиссии, которой было поручено вести переговоры с депутатами Вале о присоединении этого региона к Франции. 24 сентября того же года он назначил его на пост министра и государственного секретаря Великого герцогства Берг с пребыванием при нем в ранге и с почестями французских министров. *«Эта администрация, - сказал ему тогда Наполеон, - должна стать образцовой школой для других государств Рейнской конфедерации; это нечто большее»*. В глазах господина Рёдерера эта должность имела и другое преимущество: она не требовала от него ничего, что противоречило бы его принципам. Вместо того чтобы поддерживать, как другие министры, запретительные меры против любой иностранной промышленности, он был обязан бороться с ними как защитник интересов Великого герцогства Берг - одной из самых развитых промышленных стран Европы. Наполеон, видевший, как его министры возводят таможенную систему в основной принцип управления (хотя по сути для его политики она была лишь полезным орудием войны против Англии), не раз с удовольствием сталкивал министра Великого герцогства Берг с защитниками монополии, окружавшими его в административном совете.

3 апреля 1813 года господин Рёдерер получил от Наполеона Большой знак ордена Воссоединения. В начале июля того же года, после тяжелого поражения французской армии под командованием Жозефа при Витории, господин Рёдерер по приказу императора отправился навстречу королю, которого нашел еще в Испании, но уже на самой границе с Францией. Господину Рёдереру было поручено предупредить короля о том, что маршал Сульт, герцог Далматский, прибывает для принятия командования армией и прибудет не позднее чем через двадцать четыре часа. Император предвидел, что король не без боли откажется от этого командования, особенно потому, что тот был убежден: назначение другого главнокомандующего армией, а возможно, и нация расценят как явное осуждение его действий при Витории.

Он поручил Рёдереру отговорить короля от этой мысли, не раскрывая при этом тех доводов, которые он сам собирался изложить брату. Когда Рёдерер объявил королю, что тот будет замечен на посту командующего армией, король огорчился и возмутился этим как несправедливостью, наносящей удар по его репутации, которой он не заслуживал потерять. Тогда Рёдерер высказал ему то, что считал истинным мотивом императора, и этим мотивом, по мнению Рёдерера, было беспокойство власти. Ему казалось естественным, что после крупных неудач император, находившийся в Германии в критических обстоятельствах, не хотел, чтобы его брат, которому пять лет королевских привычек могли привить любовь к власти и который располагал в сенате и среди множества друзей значительной поддержкой, вернулся во Францию, лишенную войск, во главе закаленной в боях армии, которой он сам давал доказательства своей личной доблести. Это мнение успокоило Жозефа, и герцог Далматский был благосклонно принят им, когда явился в его ставку для принятия командования.

В конце декабря 1813 года господин Рёдерер был направлен в Страсбург в качестве императорского комиссара. Он оставался там на протяжении всей блокады союзниками, обеспечивал нужды крепости средствами, в которых не было ничего от той суровости, которую необходимость навязывает и оправдывает в осажденных городах. Жители Страсбурга сочли за счастье провести это критическое время под его началом.

В 1814 году господин Рёдерер отошел от всякой государственной службы. Во время «Ста дней» 1815 года он был направлен комиссаром в девять южных департаментов, затем назначен пэром. 22 июня он голосовал в Палате пэров за предложение признать Наполеона II. В апреле 1816 года, после второго возвращения короля, он был исключен из состава Института. Звание великого офицера ордена Почетного легиона за ним сохранилось: королевский указ от 4 июля 1821 года подтвердил это право. Одна особенность связана с должностями, которые он занимал в Сенате и в Институте: в первый он назначался дважды - один раз Сенатом, другой - первым консулом; а во второй - трижды: в первый раз самим Институтом, во второй - членами старой Французской академии, которые образовали в 1800 году вольное общество, и в третий раз - декретом, который сформировал новую Французскую академию в составе Института и включил туда прежнюю Академию.⁴⁵

В 1789 году господин Рёдерер являлся членом Королевского общества наук и искусств Меца. В 1800 году он был избран почетным членом Лионского Атеней; в 1802 году - почетным членом Общества наук и искусств Майнца; в 1803 году - членом Общества просвещения Бастии; в 1804 году - членом-корреспондентом Академии наук, искусств и изящной словесности Кана; в 1820 году - почетным членом Общества литературы, наук и искусств Меца.

Господин Рёдерер, отойдя от дел и уединившись в деревне с 1814 года, полностью посвятил себя литературным занятиям. В 1820 году он опубликовал значительный труд под названием «Мемуары к новой истории Людовика XII». В настоящее время готовится к выходу новое издание этой работы, которое будет дополнено другими «Мемуарами к новой истории Франциска I», всего в двух томах форматом в восьмую долю листа (in-8°).

Труды господина Рёдерера чрезвычайно богаты наблюдениями и идеями. В политических дискуссиях его стиль отличается силой и часто властностью; в экономических спорах - пронизательностью, глубоким анализом и доступностью; в исторических трудах - неизменным достоинством, когда он пишет о нации, и беспощадной колкостью, когда речь заходит об историках.

⁴⁵ После исключения в 1816 году он вернулся в Институт в четвертый раз в 1834 году, когда было создано отделение нравственных и политических наук.